



“Твоё имя напишут на борту одного из “Белых лебедей” — сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца с крылом изменяемой стреловидности, самого крупного, самого мощного и самого скоростного в истории военной авиации. И “Белый лебедь”, набрав высоту, понесёт твоё имя — в огромное небо.

Но всё это будет потом, в далёком и неизвестном будущем.

А сейчас ты идёшь, ведя за собой спортивную рать, завоевавшую золотые, серебряные и бронзовые награды.

Ты — знаменосец, и нет для тебя счастливее минут жизни, чем эти драгоценные и выстраданные мгновения.

Ты крепко держишь в вытянутой могучей руке древко, на котором упруго реет красное знамя Родины, озаряющее её непревзойдённую славу”.

Читайте в следующих номерах нашего журнала новый роман Александра Сегеня “Знамя твоих побед”.

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№ 2 2017

В этом году исполняется 100 лет со дня события, которое одни называли Февральским переворотом, другие — буржуазной революцией. Одни видели в данном событии “весну демократии”, другие — катастрофу. В любом случае именно крушение самодержавия, произошедшее в форме безвольного отречения от престола... царя, открыло “кладезь бездны”, захлопнуть который было суждено тем, кто против своей воли превратился из интернационал-социалистов, земшарников в государственников. Речь, понятно, о большевиках.

Всё многообразие точек зрения по поводу Февральского переворота на то, что к нему привело, что (и почему) за ним последовало, можно свести к двум базовым подходам.

Согласно одному из них, в позднесамодержавной России, т. е. в России конца XIX — начала XX в. всё было не так плохо, XIX в. был успешным веком России (“и хруст французской булки”, правда, не для всех), развивался капитализм, ещё чуть-чуть и Россия стала бы подлинно великой капиталистической державой, но всё испортили большевики, низвергнувшие её в Тартар Истории, в “тоталитаризм-коммунизм”, в гулагию и т. д. и т. п.

Здесь необходимо сразу же сделать два замечания. Во-первых, в катастрофу Россию, свергнув самодержавие, толкнули либералы-февралисты и их англо-французские подельники (они же — кураторы). Во-вторых, мнение о том, что при спокойном развитии в течение лет эдак двадцати России было суждено великое буржуазно-либеральное будущее вкупе с экономическим процветанием и геополитической мощью, чаще всего навеяно знаменитым тезисом классово весьма близкого нынешнему правящему слою РФ П. А. Столыпина о значении двадцати спокойных лет для России. Предполагается, что в этом случае успех его реформ и их блестящим результатом был бы гарантирован. На самом деле по иронии истории именно Столыпин, несмотря на провал реформы, ускорил её революцию в России. А вот если бы реформа не провалилась, то революцию Россия получила бы уже году в 1912-м, самое позднее — в 1913 году, и “мощный человек” Лермонтова с булатным ножом явился бы на пять лет раньше. Однако сторонники схемы “блестящая Россия конца XIX — начала XX века» (“Россия, которую мы потеряли”) всего этого видеть не желают.

Но есть и другая точка зрения, другой подход: конец самодержавия был вполне логичным и закономерным финалом, развязкой нараставшего в течение нескольких десятилетий и ускорившегося с начала XX в. кризиса. Строй стремительно загнивал, а его руководители и охранители оказались совершенно неадекватны наступающей эпохе.



Мы с печалью склоняем головы перед последним приютом нашего друга, соратника, замечательного поэта, тонкого прозаика, глубокого философа и религиоведа Владимира Игоревича Карпеца. Совсем недавно мы поздравили его с присуждением журнальной премии за статью “Опередивший время” об адмирале Александре Семёновиче Шипкове. И теперь с горечью приходится говорить нашим товарище — “Он был...”

Его книги “Федор Глинка” и “Муж отечестволюбивый” взрывали историко-литературное пространство 1980-х годов. Книги “Русь, которая правила миром” и “Русь меровингов и корень Рюрика” заставляли под совершенно новым углом зрения обозревать отечественную историю. Его работы о единоверии (сам он был членом Приходского совета единоверческого храма Архангела Михаила в Михайловской Слободе) вынуждали заново пристально взглянуть в “чад Русской Православной Церкви, хранящих старые обряды и подчиняющихся церковному священноначалию”.

Он вошел в литературу, как поэт, но в конце жизни говорил о себе как о поэте “несостоявшемся”. И был, на наш взгляд, жестоко несправедлив. Свидетельством его удивительного поэтического дара является хотя бы пророческое стихотворение, написанное в переключке с его духовными учителями — Львом Тихомировым и Константином Леонтьевым — еще в 1980 году, стихотворение, достойное включения в любые поэтические антологии XX столетия.

*Напустит бы тепла. Разморозит бы вечные льды.
И детей, и отцов рассудит по закону и праву...
Кто-то там, впереди, заметёт по оврагам следы,
Кто-то по миру пустит с дырявой сумою державу.*

*Две имперских столицы морозом железным свело.
В молотилке времён человеческий век перемолот...
Есть один только путь сохранить родовое тепло —
Государственный холод.*

*Разморозит, растает — ударит мороз мировой,
И погибнет зерно, и к зиме не пожнут урожая...
Этот марш на плацу, этот времени ход роковой,
Этот взгляд, что горит, неизбежной судьбе угрожая.*



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Т. В. ДОРОНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ
В. А. ШТЫРОВ

Проза

Андрей УБОГИЙ
Пиры 6

Геннадий МАЙКОВ
На Масленной неделе.
Рассказ 59

Иван ПЕРЕВЕРЗИН
Постижение любви.
Роман (продолжение) 81

Поэзия

Василий КАЗАНЦЕВ
Всех греет Солнце 3

Виктор ПЕТРОВ
Скифский квадрат 54

Владимир МОЛЧАНОВ
Давайте будем честными 78

Геннадий КРАСНИКОВ
От первых слёз
до крайней той версты... 153

Евгений СЕМИЧЕВ
В душе у меня тишина 157

Очерк и публицистика

Андрей ФУРСОВ
"По-над пропастью,
по самому по краю"
(Февральский переворот
в русской и мировой истории) 160

Виталий ТРЕТЬЯКОВ
"Своеволие элит" 183

Александр СМОЛКО
"Мир и информационная
война" 191

Лидия СЫЧЁВА
Три дня одного года 206

Галина ЗАСУХИНА-ПЕТРЯНОВА
Что я ещё могу
сделать для людей? 213

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

Отдел прозы —
(495) 625-57-45

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

С. С. Зотов —
ред. отдела публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Леонид БАСНИН,
Анатолий ЩЕЛКУНОВ
О чём шумите вы,
народные витии?.. 233

Слово читателя

“Русское слово,
русская мысль,
русская боль и радость” 238

Критика

Валентин КУРБАТОВ
Здравствуй, завтра! 255

Марк ЛЮБОМУДРОВ
Чужое 277

Отечественный архив

Наталья КОРНИЕНКО
“Упавшее небо” 260

В конце номера

Платон БЕСЕДИН
Путешествие на край жизни..... 286

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 06.02.2017. Формат 70х108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 326-2017. Тираж 5000 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

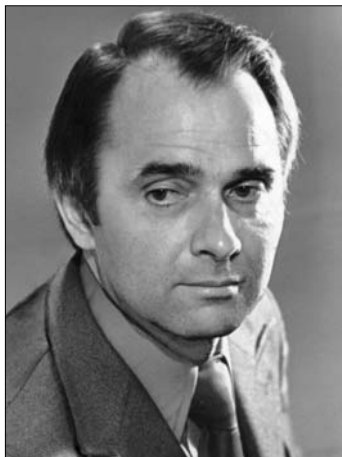
(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarp.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ



ВСЕХ ГРЕЕТ СОЛНЦЕ

* * *

Нет, не скрывайся, не таи
И чувства, и мечты свои.
...Нет, не погаснет, не затмится
Среди теней лесных, густых —
Высоким светом озарится,
Там, в чистом небе, загорится,
Там, в небе, громом подтвердится,
Там, в небе, в высях, сила их.

* * *

Так долго ходит по базару,
На это смотрит и на то.
Так много, много здесь товару —
Не разобраться ни за что.

Глядит на то, глядит на это,
На это смотрит и на то.
— А ты бери и то, и это.
— А я не знаю, что есть что.

КАЗАНЦЕВ Василий Иванович родился в 1935 г. в д. Таскино Нарымского района Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского университета и Высшие литературные курсы в Москве. Работал школьным учителем, журналистом. Автор многих книг стихотворений. Живёт в Подмосковье.

— Лишь у того товар бери ты,
Кто не обманет ни за что.
Лишь у того, того бери ты.
— А я не знаю, кто есть кто.

— Себе поверь. Бери свободно,
Своих пристрастий не тая,
Всё, что душе твоей угодно.
— А я не знаю, кто есть я.

* * *

И льются с неба, льются волны света,
Всё льются с неба, льются волны света —
Сияющее Солнце греет всех.
Всех греет Солнце. Всех. Всех. Всех.

Не потому, что судит так нестрого,
Не потому, что света своего
Ничуть не ценит, — потому что много,
Так много, много света у него.

* * *

На крыше выросла берёзка.
Дрожит на солнечном свету.
Откуда столько сил берётся,
Чтоб взмыть в такую высоту?

Вось яркая, свобода — чудо.
Кругом открыты все пути.
...Но силы, силы взять откуда,
Чтоб с этой высоты сойти?

* * *

Блещат вечерним блеском сосны.
Так ясно вьсь небес горит.
— Ещё не поздно, нет, не поздно, —
Лесной мне голос говорит.

Прохлада. Сумрак. Тихо. Росно.
Туманцем тонким лес укрыт.
— Ещё не поздно, нет, не поздно, —
Лесной мне голос говорит.

Ночь. Тишь. И тьма. И сон. И звёздно
Сияет небо надо мной.
— Ещё не поздно, нет, не поздно, —
Мне голос говорит лесной.

И вот блестит, цветёт восход.
И над землёю день встаёт.
И птица малая: — Не поздно,
Ещё не поздно, — мне поёт.

ПОЛЯНА
(голос из юности)

Люблю её душою всюю,
Ценю её душою всюю,
Ценю, люблю душою всюю,
Но всё равно расстанусь с нею.

Я навсегда расстанусь с нею.
И никогда не пожалею.
Нет, пожалею, пожалею.
Нет, горько, горько пожалею.

...А если, если не посмею,
А если, если не сумею
Расстаться с нею, пожалею
Я во сто, во сто раз сильнее.

* * *

Лесная, солнечная тайна,
Воздушно-лёгкий, зыбкий свод.
Иходишь ты под этот свод,
И ускользящая тайна
Зовёт, зовёт, зовёт, зовёт.

Весь лес прошёл. А где же тайна?
Ты оглянулся — лес в полёт,
В полёт, в полёт, в полёт идёт.
В глуби его — лесная тайна
Поёт, поёт, поёт, поёт.

АНДРЕЙ УБОГИЙ



ПИРЫ*

АРБУЗ. Как любой букварь открывается картинкой арбуза — кто не помнит его алую мякоть, полосато-зелёную корку и чёрные семечки? — так, пожалуй, арбузом откроем и мы кулинарный словарь. Тем более что букварь и словарь — это братья: и тот, и другой сообщают о главном, о базовом знании, как бы вручают нам те кирпичи, из которых мы строим картину своего мироздания.

И вот перед нами лежит самый первый “кирпич”: буква “А” — и сахарный алый ломоть, истекающий розовым соком, над которым кружит пара ос, своим напряжённым брузжаньем как будто ещё добавляя арбузу и спелости, и красоты. Ведь арбуз — он не просто арбуз: это символ щедрого лета, знак его изобилия и полноты. Арбуз — это знойные полдни, короткие тёплые ливни, это лиловая вязкая грязь чернозёмной дороги, это коршун, плывущий в промывтой дождём синеве, это польнь-подорожник в сквозной тени лесопосадов, где мы сели перекусить...

Наш арбуз можно даже не резать, а молодецки разбить кулаком: он треснет и распадётся на несколько крупных, крупитчато-алых долей. Кажется, арбуз разорвал себя сам, не выдержав собственной спелости и полноты. Теперь достанем из сумки полбуханки чёрного хлеба — и приступим к обеду.

* Надеюсь, тень Евгения Баратынского не явится взыскивать с меня за название его поэмы, поставленное заглавием кулинарного словаря. Но более подходящего названия этому сочинению найти мне не удалось. (Автор)

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в Калуге. Хирург. Автор нескольких книг прозы. Пишет также критические статьи. Член Союза писателей России. Член Общественного совета журнала “Наш современник”. Лауреат премии имени В. В. Кожина за 2004 год. Живёт в Калуге.

Хлеб с арбузом прекрасно подходят друг другу, особенно если хлеб поздреват и душист, а арбуз сладок. Едим, аж трещит за ушами, да пощёлкивают на зубах арбузные семечки, которые мы время от времени сплёвываем в руку, любимея их гладко-лаковой чернотой, и жалешь стряхнуть со своей, уже лишкой от сладкого сока, ладони. Да и семечкам жаль расставаться с тобой: они липнут к руке, и приходится шаркнуть ладонью о жёсткую траву.

До чего же хорош наш обед! Поглощая вот эту сладчайшую мякоть, да ещё заедая её свежим хлебом, мы словно и сами становимся частью этого полдня в степи, этой неги и благости лета. Только жаль, что арбуз быстро съеден — вон, только корки белеют в пожухлой траве, и по ним деловито снуют муравьи, — жаль, что нам скоро вставать, расставаясь с насиженным местом. Может, лучше вздремнём, чтоб не топтать по самому пеклу? Тем более, мы осоловели от сытости и смотрим на всё словно сквозь её поволоку.

Ложишься ничком, прямо там, где сидел и взахлёб жевал сладкий арбуз, и почти моментально проваливаешься в забытьё, из которого вынырнешь только минут через сорок, изумлённый, не понимающий, где ты находишься и с неперменной сухой травинкой, приставшей ко всё ещё липкой от арбузного сока щеке...

“АРТЕМИДА”. “Артемиды” — не только богиня охоты, но ещё и название греческого кафе, в котором мы ели вкуснейших кальмаров, запивая их местным вином. Мы с Еленой подошли к нему с задворок, и я поразился тому, до чего же здесь всё затрапезное и до боли родное: бурьян, козы, куры, ржавые вёдра и чугульки на плетне, сонный пёс возле будки да покосившаяся калитка. “Какая же это, — подумал я, — Греция? Это наша Россия: даже запах сухого навоза тот самый, который мне памятен с детства”. А уж мальвы — их розовые цветы на высоких прогонистых стеблях знакомы мне лет, наверное, с трёх. И даже пчёлы сюда залетели как будто из детства, их клубящийся гул словно запутывал само время, которое больше не знали, куда ему течь, и сонно крутилось в блаженном бреду настоящего...

Моя бы воля, я бы так и остался где-нибудь здесь, на завалинке, в тени пожелтевшей от зноя акации, и сидел бы, слушая пчёл, что гудели над розовой мальвой. Это надо же было уехать Бог знает куда, чтобы вновь окунуться в ту вечно юную дряхлость русского сельского быта, которая так мне мила и знакома.

Но долго побыть на задворках кафе “Артемиды” не удалось. Мы завернули за угол и оказались перед просторной верандой, лежащей в тени полосатых маркиз. Помню зажимы, которыми были прихвачены бумажные скатерти на столах, чтоб их не сбрасывал ветер.

Наш заказ был простым: хлеб, кальмары, вино. Так, в простоте, пировали и древние греки: они понимали, что истинно насыщает не то, что стоит на столе и потом наполняет желудок, а то, что питает и радует душу. И здесь, на веранде кафе “Артемиды”, этой радости было хоть отбавляй — чего стоили одни виды! Вокруг поднимались склоны аттических бурых холмов, вдали бирюзово светилась полоска Эгейского моря, смуглый мальчик гнал стадо коз по обочине пыльной дороги, от домов ближней деревни доносились звуки “Сиртаки”, а полосатый навес над верандой кафе так надувался и хлопал от ветра, словно это был парус.

Но каковы же, вы спросите, были кальмары? Выловленные сегодняшним утром и обжаренные в оливковом масле, они возвышались на блюде румяною горкой, а рядом желтели лимоны. Их вкус напоминал одновременно и рыбу, и курицу, и при этом был очень простым, как и всё в “Артемиде”.

А разве не просто жили и древние — те, кого мы здесь вспоминали так часто? Вот как, например, начинается “Пир” Платона: “Он встретил Сократа, умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось, и спросил его, куда это он так вырядился. Тот ответил:

— На ужин к Агафону...”

И что же они ели-пили на этом пире? Наверное, тоже что-нибудь очень простое: хлеб, вино, сыр, оливки, да ещё, может быть, вот таких же обжаренных в масле кальмаров. Изобилие было в другом: в разговорах и мыслях.

Уж в этом-то древние греки оставили нас далеко позади; и спасибо, хоть здесь, в этом славном кафе “Артемида”, мы вспомнили о настоящих пирах, о высокой и радостной их простоте.

БАБУШКИН ПОГРЕБ. В пору, когда я был ребёнком, холодильники на селе были редкостью, и еду хранили в погребах.

Вспоминая бабушкин погреб в Тиму, перво-наперво вижу покатаю крышу погребка; на её серых шиферных волнах сушатся дольки нарезанных яблок. Погребок мне, пятилетнему, кажется ветхим и накренившимся домом, который врос в землю настолько, что снаружи осталась одна его дверца. Железная ручка её так нагрелась на солнце, что обжигает пальцы.

Но открыть лёгкую дверцу погребка несложно; гораздо труднее откинуть люк погреба. Я с натугой, с сопением дёргаю ручку, пока, наконец, не откидываю дощатую крышку, прикрывающую вход в подземелье. Передо мною прохладная, вниз уходящая тьма. Земляные ступени кое-как укреплены досками; но земля всё равно осыпается из-под ног, когда я начинаю спускаться, и там, глубоко в темноте, комки земли барабанят о крышки невидимых банок с компотом. Вот за ним, за компотом, я и спускаюсь под землю.

Надо сказать, что моя бабушка по отцу, Мария Павловна Панюкова, работавшая провизором районной аптеки, все заготовки — варенья, соленья, компоты — исполняла с такой безупречно-аптекарской точностью и аккуратностью, что вишни, груши и яблоки в этих компотах становились вкуснее, чем были в свежем виде. Бабушка сотворяла с каким-нибудь “белым наливом” или грушей-бессемянкой то, что художник творит с человеком, когда пишет его портрет. Отсекая случайное, лишнее, нехарактерное, он защищает человеческий образ от действия времени, изымает его из суеты перемен и сохраняет негнущую суть человека. Так и бабушка: консервируя фрукты и овощи, она защищала их от воздействия времени, и не просто хранила их вкус, форму, цвет, но ещё и проявляла самое характерное в этих плодах, возводила их в некую высшую, недоступную тлению степень. “Консервация”, то есть “сохранение”, становилась воистину схваткой со временем, с тем исконным и непримиримым врагом человека, которого хоть и не удаётся победить окончательно, но всё же возможно заставить остановиться.

И вот бабушкин погреб был тем самым местом, где время останавливалось. Даже я, пятилетний, и то смутно чувствовал: здесь, в прохладе и сумраке, времени как бы не существует. Во тьме подземелья, где нет звуков, движения, света и цвета, не было и ничего, что могло бы отмечать его, времени, ход. Поэтому груши и вишни под крышами банок были почти что бессмертны, они пребывали в том мире, где нет перемен.

Спустя много лет, оказавшись в Египте, в подземных склепах Долины Царей, я испытал то же самое, с детства знакомое чувство отсутствия времени. Прохлада, сумрак и тишина — вот именно, что гробовая! — тишина, которую нарушало лишь шарканье ног туристов, и узоры иероглифов на стенах, в которых терялся и путался взгляд, — это был мир, в котором время остановилось. Да и фараоновы мумии в склепах Долины Царей были чем-то вроде консервов — того, чему предназначалось преодолеть смерть и тление и обмануть вездесущее время. Только, ясное дело, бабушкины консервы выглядели куда аппетитнее, чем сушёные фараоны.

...Но пора было и выбираться из погреба. Я наугад брал ту банку, что мне подвернулась, сдувал с её крышки землю и начинал карабкаться вверх, переставляя тяжёлую ношу со ступени на ступень. Земля сыпалась из-под моих рук и ног; чем выше, тем было светлее, и я хорошо уже видел ступени и доски, что их подпирали, и видел тряпки, которыми бабушка затыкала крысиные норы. На середине подъёма всегда останавливался, смутно чувствуя: погреб не хочет меня отпускать. Он исподволь как бы тянул меня вниз, в тишину и прохладу. Но и день, что сиял наверху, — он манил в его знойный блеск, в изобилие света и цвета, в то суетно-яркое коловращение, которое и называется “жизнь”. Я стоял, замерев на той зыбкой черте, что лежит меж поверхностью и глубиной, между светом и тьмой, между жизнью и смертью...

И не так-то уж просто мне было решиться вскарабкаться на очередную ступеньку, то есть выбрать тревогу, тоску, неустойчивость жизни взамен тишины и покоя, которые мне обещал неподвижно-таинственный мир под-земелья...

БАНАНЫ РИШИКЕША. Гроздь бананов составляла как раз мой обед в Ришикеше, на севере Индии. Это большая деревня в гималайских предгорьях; и во всём Ришикеше не найти ни куска мяса, ни ломтика рыбы, потому что здесь зона строжайшего вегетарианства.

Больше всего меня удивляло, как живут собаки, которых здесь множество и которые вовсе не выглядят истощёнными или несчастными. Может, они по ночам ловят крыс? Или даже собаки здесь стали настолько миролюбивы, что им хватает растительной пищи?

Встретив рассвет на Ганге, искупавшись в холодной, жемчужно-серой воде, я переходил священную реку по подвесному мосту, под которым лениво всплывали и вновь погружались огромные рыбы (их здесь никто не ловил), а потом брёл по солнечным улочкам Ришикеша. Мне здесь всё очень нравилось: тишина и покой, и мелькание ласточек в небе, и ряды сохнувшего кизяка на зелёной траве перед хижинами, и коровы, свободно бродящие всюду, и щebet, что доносился из крон деревьев, который издавали вовсе не птицы, а шустрые и неутомимые обезьяны. Их здесь водится столько, и они так бесцеремонны, что в ресторанчиках на открытых верандах посетителям иногда раздают бамбуковые палки, чтоб отгонять обезьян.

Не меньше, чем обезьян, в Ришикеше было и нищих, кормленье которых я наблюдал с большим интересом. На просторном дворе, под раскидистым фикусом дымилась армейская кухня, к которой выстраивалась живописная очередь из полутора сотен бродяг. Молодые и старые, длинноволосые, с холщёвыми сумками через плечо, нищие — все, как один, — были очень красивы. Лица их были ясны, глаза — глубоки и спокойны. Достоинству, с которым они ожидали свою миску похлёбки, мог бы позавидовать и какой-нибудь принц. Получив порцию чечевичного супа, щедро сдобренного перцем — я как-то попробовал: чистый огонь! — нищие рассаживались по двору и начинали неспешную трапезу. Всё было чинно и благородно; ни суеты, ни жадности, ни беспокойства нельзя было заметить во время раздачи бесплатной еды.

Однако пора было обедать и мне. Не утруждая себя сложным выбором, я подходил к ближайшей тележке, нагруженной фруктами, и за двадцать рупий покупал гроздь бананов: маленьких и невзрачных, но сладких. Садился в тени, с наслаждением вытягивал ноги и не спеша поглощал один банан за другим. До России такие бананы, увы, не довозят: здесь мы едим какие-то суррогаты. А те, в Ришикеше, были настолько вкусны и душисты, что хотелось съесть даже бурю банановую кожуру.

Впрочем, до кожуры быстро находились охотники. Увлечённо жуя, я вдруг услышал сопенье за правым плечом и, обернувшись, увидел печальную морду коровы. Она, шумно вздыхая, тянулась губами к остаткам банановой грозди. Так мы с ней вместе и доедали обед: я очищал очередной банан, сам жевал мякоть, а корове протягивал мясистые лоскуты кожуры. Было приятно чувствовать, как шершавый язык и мокрые губы коровы шлёпают мне по ладони; я легко ей прощал даже то, что она исполнявила мне всё плечо.

Не в тот ли момент, когда я трапезничал вместе с коровой, я и почувствовал Индию как не просто страну, но как особенный склад бытия? Я чувствовал: эта корова, чей взгляд так глубок и прекрасен, а вздохи печальны, есть не просто животное, близкое мне, но это как будто я сам. Каждый вздох её так отдавался в душе, словно она за меня самого выражала и мою грусть, и усталость от жизни, и одновременно любовь ко всему, что нас с ней окружало. И великая древняя истина Индии “тат твам аси” — “то — есть ты сам” — вдруг становилась настолько понятна, что я удивлялся другому: да как же я раньше мог жить без неё?

БАТОНЧИК “ЗАДАВАКА”. Почти сутки пришлось провести близ Онежского порта, ожидая моторку, которая могла бы забросить нас на Кий-остров. Порт был безлюден, казалось, он никому в целом мире не нужен. Дебаркадер ржавел; почти все рейсы были отменены; доски и ялики гнили по берегу; несколько тощих собак бродили меж луж, словно тени былого.

Знобящее и беспокойное чувство рождалось в душе при виде всей этой северной шири: Онежской губы, по которой в отлив обнажались десятки оклистых и плоских, как шляпки опят, островов; низких речных берегов, так обдутых ветрами, что даже смотреть на них, и то было холодно; серой онежской воды, которая в час отлива с молчаливою мощью неслась в Белое море, а во время прилива бурливо и нехотя двигалась вспять. На душе было тоже просторно и холодно, ветрено и бесприютно. В том, что порт, оживлённый когда-то, теперь так заброшен, что на берегу, кроме нас с другом да бродячих собак, больше нет ни души, — в этом было, конечно, много печали; но ощущалось ещё и согласие с ходом вещей — с тем движением времени, что уносит следы человека с такою же равнодушною силой, с какой и Онега несёт свои воды в холодное Белое море.

После долгого дня был долгий вечер, и алый закат над Онежской губой, и розовый отблеск по илистым отмелям (был как раз час отлива), и тишина, столь глубокая, что ей не мешали те звуки, которые нас окружали — плеск волн о берег или шипенье сырых досок в костре. Огонь горел ярко и ало, чадил — доски, что мы собирали по берегу, пропитались мазутом — но, странное дело, почти не согревал. Низовой ли, от моря тянувший ветер тому был причиной, или просто костёр был маловат, но сидение возле огня не только не приносило покоя, как это бывало обычно, а словно ещё обостряло тревогу. Где-то в полночь костёр догорел, мы залезли в палатку, но даже сквозь дрему и сон ощущалось холодное равнодушие Севера. Казалось, мы в мире последние люди и утром, выбравшись из палатки, даже следов человека не сможем найти на пустом берегу.

Правда, утром следы ещё были. Был дебаркадер и перевёрнутый ялик, почти утонувший в песке, и порожние бочки из-под соляры, в которые, словно в громадную флейту, гудел и посвистывал ветер. Ночная тревога не только не стихла, но даже усилилась. Я ходил неприкаянный — всё валилось из рук — и не знал, что мне делать с самим собою и с той безграничною северной ширью, что нас окружала.

— А что, у нас к чаю ничего не осталось? — спросил мой товарищ, пытаясь раздуть ещё тлевшие угли.

— Ничего, — сказал я, вспомнив, что вчера мы ужинали последнею горстью изюма.

И тут стало ясно, что в этом тревожном ознобе, который с вечера не давал нам покоя, виновен не только весь этот северный стылый простор, но и просто-напросто голод.

— Лёш, пока ты разводишь огонь, я схожу в магазин, — сказал я товарищу и зашагал в город.

Минут через десять ходьбы я стоял перед прилавком и спрашивал у круглолицей молоденькой продавщицы:

— Мне бы самых дешёвых конфет. Есть у вас что-нибудь вроде батончиков?

— Дешёвых батончиков? — переспросила девушка и ненадолго задумалась, а потом улыбнулась. — Да, есть! Называется “Задавака”.

— Как-как? — удивился я.

— “Задавака”! — и девушка засмеялась так радостно, так хорошо, что у меня даже заныло в груди. — Вам сколько взвесить?

— Ну, граммов триста...

Скоро я вышел, неся “Задаваку” в кармане и всё ещё улыбаясь. Как же мало, думал я, нужно для счастья, если всего-навсего смех милой девушки, которую я больше никогда не увижу, способен настолько переменить отношение к миру. Да, возвращался я в порт совершенно другим человеком. Всё вокруг было мне интересно: и основательные дома, и их резные наличники,

и палисады, и непривычные деревянные тротуары, скрипуче пружинящие под сапогами, и дощатые будки для лодок почти возле каждого дома.

Когда я вернулся, чай был готов. Мы с другом уселись на брёвнышко, лицом к морю, чья светло-серая полоса поблёскивала на горизонте, и начали неторопливое чаепитие. С каждым терпким глотком и с каждым соевым сладким батончиком, съеденным нами, что-то в душе размягчалось, тепло; даже в ветре, что продолжал тянуть по-над берегом, что-то словно смягчилось. Он казался не так уже зол и не так равнодушен, хотелось не отворачиваться от него, как давеча, а, напротив, подставлять лицо его упругим потягам.

И снова я думал о том, что вот такая мелочь — батончик из сои, да ещё так смешно называющийся, — а как помогает нам жить... Горсть этих мягких конфет в тёмно-красных обёртках, что я высыпал рядом с уже догоравшим костром, и сама была, словно костёр, согревающий нас. Одну “Задавку” мы бросили рыжей собаке, крутившейся возле нашего лагеря, и она, сразу признав нас за хозяев, легла охранять нашу палатку.

Как раз начинался прилив. Вода реки забурлила и потекла вспять. С каждым плеском волна наступала на илистый берег, и скоро река поднялась до прибрежного ивняка. Отмели и острова утонули, и больше ничто не мешало взгляду скользить к горизонту.

Наконец, затарахтела моторка, и Пётр Моисеевич, с которым мы познакомились накануне, помахал нам из лодки рукой: мол, пора собираться. Уложились мы быстро, и скоро “Казанка”, шлёпая плоским днищем о воду, потащила нас в море. Пётр Моисеевич, несмотря на библейское отчество, по виду был настоящий помор, коренастый и немногословный.

— Болтает, однако! — крикнул он нам, сильно окая, и до самого Кий-острова мы больше не слышали от него ни единого слова. Да и что говорить! Разве перекричишь посвист ветра, плеск волн о борта, крики чаек и переменное — то басовитое, то вдруг скулящее — завыванье мотора?

БОЛЬНИЧНЫЕ СУДКИ. С больничной едой я познакомился рано: не оттого, что болел, а оттого, что моя мама-доктор, когда дежурила и не могла накормить меня ужином дома, делилась со мною едой из больничных судков.

Это называлось “снимать пробу”. Прежде чем раздавать больным обед или ужин, санитарка-буфетчица приносила дежурному доктору пробу еды из котлов пищеблока. До сих пор помню, как выглядели эти стопки плоских кастрюлек, поставленных одна на другую и перехваченных общей ручкой-скобой. Обычно кастрюль было три: для супа, “второго” — то есть котлет или гуляша — и для чая или компота.

Отчего та казённая стопка кастрюлек вызывала во мне волну нежности и умиления? Может, мы просто-напросто обречены полюбить то, с чем судьба сводит нас в раннем детстве, и первые впечатления жизни становятся незабываемы? Или и впрямь та больничная пища так уж была хороша? Но как бы то ни было, до сих пор памятен вид и запах больничных, к примеру, котлет, гарниром к которым служило водянистое картофельное пюре. Котлеты, обвалинные в сухарях, да и состоявшие, как я теперь понимаю, в основном тоже из хлеба, так упоительно пахли и так сочилились янтарным жиром, что их было жаль рвать казённой вилкой из четырёх зубьев, один из которых был обломан, а три оставшихся торчали в разные стороны. Но и котлеты, и вилка были те самые, какие должны были быть, как и чашка с отбитой ручкой, и тарелка с сиротскою синей каймой и с непременно овальным клеймом “Общешита”.

А картофельное пюре? Тогда, ещё в раннем детстве, я на всю жизнь усвоил, что настоящее картофельное пюре и должно быть таким: жидким и синеватым, с комками картофельных тёмных “глазков” и тем характерным вкусом, в котором ты различал даже привкус хлорки, которой буфетчица ополаскивала тарелки. А уж как удавалось буфетчицам одним лишь волшебным движением ложки придавать водянистой картофельной кляксе изящно-волнистый рельеф — это и до сих пор для меня остаётся загадкой.

В казённой еде (в тех же самых больничных судках, что так памятно мне) содержался особый — не знаю, как это точнее назвать — уют неуютя. Такой же уют неуютя был и во всей той эпохе, на которую выпали моё детство и юность. Общачи, вокзалы, больницы и лагеря (правда, я был знаком только с пионерскими), санатории, стройки, казармы, бараки — то есть места, где кипела общая жизнь, — были, с одной стороны, бесприютно-унылы, бесцветны, по всей стране одинаковы, и наполнял эти места общей жизни единый казённый и сумрачный дух. Но с другой стороны, ты всегда чувствовал — это было каким-то подкожным, глубинным, мистическим знанием, — что именно в этих местах тебе не дадут пропасть. Если даже окажешься сир и наг, болен или несчастен, гол как сокол, то казённая и неумелая ласка огромной страны обогреет тебя, даст кров и пищу, подыщет работу: тоска, бесприютность и холод казённых пространств обернутся вдруг нежностью, даже любовью...

Вот и в той стопке больничных кастрюль, перехваченных общей ручкой-скобкой, содержалась не просто еда (хоть больничную пищу с тех пор и доныне я предпочту иным деликатесам); нет, в тех кастрюльках-судках воплощалась суровая ласка-забота страны обо всех своих детях, пусть даже самых потерянных и непутёвых.

ВИШНИ. С чего начать оду вишням? Не с того ли, как ты, лет уж тридцать назад, сажал гибкие прутьики и не верил, что из них когда-нибудь вырастут не просто деревья, а целый вишнёвый сад? И вот этот сад уже вырос, так же стремительно и незаметно, как прошла молодость, а за ней и почти вся жизнь, и весной мы выходим смотреть на цветущие вишни.

Прекрасней всего они в сумерках, когда розовеет закат, — цветом он напоминает вишнёвый компот — и на фоне заката цветущие ветви, теряя отчётливость, становятся то ли воспоминанием, то ли мечтой или грёзой — чем-то, словом, таким, что прекрасней и глубже реальности. И ещё, если вслушаться, цветущие вишни в густеющих сумерках звучат тихой музыкой. Словно кто-то невидимый там, среди белых ветвей, настраивает виолончель; её бархатистые ноты то тянутся, то обрываются, то опять начинают гудеть басовито и нежно. Это гудят внутри облака вишни майские сумеречные жуки. Приглядевшись, их можно увидеть: мохнатые шарики выются, толкаясь о ветви и даже сбивая порой лепестки. Лепестки эти падают в твою чашку чая и на скамью, на которой ты оцепенел, не решаясь прервать равновесия редкой минуты созерцания цветущих вишен на фоне заката...

Пропустим, пожалуй, май и июнь и вернёмся в наш сад в ту пору, как вишни созрели, и время их собирать. Но почти каждый год нас опережают скворцы. Когда их стая, издавая жужжащие свисты, влетает в густую вишнёвую крону, то кажется: по ветвям и по листьям прошлась волна свежего летнего ливня. Лиственный купол вдруг наполняется щебетом, шумом и дрожью, а на землю срываются алые капли расклёванных птицами ягод. Такие, побитые клювами, вишни вкуснее всего. Подберёшь пару ягод с земли — пальцы тут же окрасятся ярко-вишнёвою кровью, — с наслаждением раздавишь о небо их сочную винную мякоть и будешь долго мусолить во рту две вишнёвые косточки, словно и нет у тебя дел важнее и интереснее, чем это катание косточек на языке.

Скворцы обирают не всё, кое-что остаётся и нам. Стремлянку мы так и не завели, поэтому собираем вишни, кто как горазд: и с забора, и с табурета, и с развилки стволов. До сих пор пальцы помнят сопротивление ветки, которую пригибаешь к себе: глянцевиные листья шуршат по лицу, вишни качаются перед глазами. Иную из ягод рвёшь прямо ртом, и ты вдруг на секунду-другую ощущаешь себя частью этого дерева, как бы одной из ветвей, напряжённо несущих груз листьев и ягод.

Когда вишни собраны, лето уже перешло за зенит, и наступают дни варенья. И вот тут я должен описывать, как под деревьями сада в латунном или медном тазу поднимается розовой пеной варенье: описание это для русской литературы ещё неотвратимее, чем знаменитая рифма “морозы-розы”. Но я, хоть убей, не могу точно припомнить: а я-то сам видел такую картину? Или

я только воображал её или, пуще того, только вычитал из чужих описаний?

Иногда кажется, что всё-таки видел: в раннем детстве, в саду одной из двух бабушек, Марии Павловны или Марии Денисовны. А потом опять сомневаюсь: да нет, всё же вряд ли... Наверное, я себе это надумал...

Но откуда ж тогда вижу я жёлтый латунный таз, он такого же цвета, как примус, который гудит под ним напряжённо и туго; вижу розовый венчик пены по краю варенья, пытящего алыми пузырями, и чувствую даже тот запах: сладкий, с миндальным привкусом косточек, запах варенья из вишен?

И вообще: откуда приходит к нам то, что мы знаем и любим? Откуда приходят слова, мысли, образы? Из нас ли самих или из того мира, что нас окружает? Или из каких-то нездешних пространств, где как раз и хранится всё то, что и было, и будет, и откуда возник, может быть, этот именно таз с пузырящейся, розовой пеной варенья?..

ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАШКИ ЧАЯ. Вот сижу на осеннем балконе, попиваю дымящийся чай, смотрю на сады и на крыши, на рыжую линию дальнего леса, на небо, уже поменявшее розовый утренний свет на дневной, голубой, и думаю: а ведь то, что в руках у меня чашка чая, которую я могу пить, никуда не спеша, — ведь это же настоящее чудо! Сколько всего должно было сойтись и совпасть, случиться — или, наоборот, не случиться, — уравновесить друг друга, поймать миг гармонии в этом негармоничном, куда-то всё время несущемся мире, чтоб я неспешно сейчас поднимал эту синюю чашку, подносил бы к губам, ощущал во рту терпкую горечь, а после смотрел бы сквозь марево чайного пара на зубчатую, рыжую линию дальнего леса...

Во-первых, должно быть всё более-менее ладно в семье и во всём нашем доме. Родители, дети, жена должны быть здоровы, никакие серьёзные неполадки и ссоры не должны омрачать нашу жизнь, соседи должны быть дружелюбны, а такие спокойные дни, как вы понимаете, выпадают не так уж и часто. Во-вторых, там, где я работаю, не должно оставаться тяжёлых, неясных больных, да ещё, не дай Бог, с осложнениями после моих операций. Какое уж там спокойное чаепитие, когда мысли всё время в больнице?

Но, допустим, в семье и в больнице наступило временное затишье. А всё ли в порядке в твоём старом доме? Не засорилась ли фановая система, не завоздушились ли отопительный контур, не капает ли с потолка конденсат, не прохудились ли водопроводные трубы? А ведь дом-то давно уж немолод — он ровесник мне самому — и болеет почти так же часто, как и любой пожилой человек.

Вот ещё, кстати, помеха спокойному, неторопливому чаепитию: собственные болезни. С одной стороны, на здоровье грех жаловаться: на шестом-то десятке я ещё кое-как трепыхаюсь, но, с другой стороны, я давно позабыл то счастливое время, когда о здоровье не думалось вовсе.

Да ладно здоровье — о нём, в конце концов, можно какое-то время не думать, — а как быть с совестью? Разве можно спокойно пить чай, наслаждаясь прозрачной ясностью осени, когда неспокоен “когтистый зверь, грызущий сердце — совесть”? А ведь совесть-то, по-настоящему, никогда и не может быть ни спокойной, ни вполне чистой, потому что все мы в грехах, как собака в репьях.

Вот и получается, что возможность спокойного, неторопливо-блаженно чаепития стремится к нулю. Рассуждая логически, оно просто-напросто невозможно; а когда оно всё же случается, это и есть настоящее чудо.

Но давайте посмотрим на чайное чудо ещё и с другой стороны. Как много трудилось людей для того, чтобы чашка горячего чая дымилась сейчас перед тобой! Это и сборщицы чая где-нибудь на плантациях Индии или Цейлона, и рабочие чаеразвесочных фабрик, грузчики и водители автомобилей, это железнодорожники и продавцы магазинов, и ещё множество разных людей. А те, кто построили дом и вот этот балкон — разве они не вложили свой труд в сегодняшнее чаепитие? А гончары, что слепили вот эту чудесную чашку? А те, кто стоят, так сказать, на страже чайного ритуала: полицейские и коммунальщики, энергетика и дежурные доктора, управленцы и пограничники, и разные там губернаторы или министры, — словом, “вся королевская рать”?

Как подумаешь, чуть ли не всё человечество потрудились иль трудится в эту минуту, чтоб ты мог неспешно и благодотно выпить вот эту свою чашку чая.

И как же не быть благодарными людям за то, что они подарили? Как не ценить этот дар, как не чувствовать: чашка чая, которую ты сейчас держишь в руке, есть, так сказать, фокус жизни во всех смыслах слова? И фокус, как некое чудо, которого не должно было быть, но которое всё же случилось; и фокус, как точка схождения множества сил, интересов, надежд и энергий.

Так что, когда вам захочется чуда, не стоит ходить далеко — чудеса всегда рядом. Хоть эта вот чашка с дымящимся чаем, хоть вообще всё, что угодно, на что только упал ваш внимательный взгляд; это всё чудеса, которых, сказать откровенно, и быть не должно, но которые всё же случились внутри того главного чуда, которое называется жизнь...

ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ. Вообще-то мы только их так называли — “голодные”, то есть без запаса еды в рюкзаках, — а на самом-то деле редко когда удавалось поесть с таким наслаждением, как в этих самых “голодных” походах.

В них еду воспринимаешь особо: как милость, которую нас одарила дорога. Что бы ни подвернулось — гроздь ли горькой рябины, куст спелой смородины или калины, молодой кукурузный початок, земляничная россыпь в сосновом лесу, горсть липовых почек или сладкое корневище рогоза, — ты всему этому радуешься, словно ребёнок подарку. Да и сам превращаешься на это время в ребёнка. Ты с таким любопытством рассматриваешь, ощупываешь, нюхаешь, пробуешь очередной дар дороги на вкус, как бывало лишь в раннем детстве, когда ты познавал мир непосредственно: через его вкус, запах, форму и цвет. Это уже потом пришло время абстракций, умственно-отвлечённых понятий о мире; но абстракции порой напоминают замороженные продукты в пластиковых упаковках, те, что лежат в супермаркетах: через их целлофановый холод трудно почувствовать цвет, вкус и запах живой, настоящей еды.

В этом смысле “голодный” поход — это встреча с реальностью безо всяких посредников, так сказать, носом к носу. Уже ради этого — то есть освещения в себе самом чувства жизни — стоит странствовать с полупустым рюкзаком. Обычно мы брали с собой только чай, да немного овса и изюма, чтобы подстраховаться на случай какой-нибудь крайней бескормицы.

Но встреча с реальностью, о которой я здесь рассуждаю, — она порой требует и немалых затрат. Чтобы себя прокормить, нужно много труда и терпения. Разве просто поймать, а потом запечь в углях змею? Да пока нажжёшь сами угли, сойдёт семь потов. Или, шаря руками по илистой отмели, стоя по пояс в воде, собирать пресноводных перловиц или беззубок? А надирать ленты липовой заболони, потом крошить их ножом мелко-мелко — иначе не прожухёшь — и часа полтора варить суп из коры? А собирать чернику или бруснику, когда комаров вокруг столько, что ближайшие кочки, кусты, сапоги и свои распухшие руки видишь в каком-то звенящем дыму? А выдирать корневища рогоза, ощущая, как под ногами зыблется, чавкает и пускает болотные газы трясины?

Но всё равно, как бы ни было трудно, — эти хлопоты по добыванию пищи были некой игрой, в которую ты играл с детским, давно уж забытым азартом. Возвращенье к ребёнку в себе было главным, что ты находил в этих самых “голодных” походах.

Не забудем и то, что вместе с движением к личному детству, ты приближался и к “детству” всего человечества. Ведь то собирание разных плодов и корней, моллюсков и листьев, ягод, зёрен и почек, которым ты занимался в походе, было именно тем, чем на самой заре человечества занимались и первобытные люди. Ещё прежде того, как они научились рыбачить или охотиться, или, тем более, возделывать землю, они просто-напросто собирали то, что им дарил мир. Наверное, и Адам со своею лукавой подругой, когда были выдворены из Эдема, стали шарить в траве или листьях деревьев, отыскивая что-нибудь на пропитание.

Но ведь это же значит, что мы, собиратели, как бы двигаясь вспять по пути человечества и приближаясь к его, человечества, “детству”, тем самым становимся ближе и к раю. Нас больше не отделяют от него те препоны и стены, которые воздвигла цивилизация; собирая плоды и коренья, мы слышим дыхание райских садов, потому что живём в это время вот именно тем, что Бог дал...

ГОРОХОВЫЙ СУП. Приходилось ли вам есть настоящий гороховый суп? Может статься, и нет, потому что такой суп готовят в немногих, особых местах.

Я всегда удивлялся: почему никакой из супов, что мне доводилось поесть, не шёл ни в какое сравнение с тем гороховым супом, которым меня, как дежурного доктора, кормили в больнице? Все иные супы — в том числе и гороховые, но “небольничные” — были словно бледные копии с оригинала, дышавшего жизнью и силой. Такой густоты, аромата и вкуса, как в больничном гороховом супе, нельзя было встретить нигде: ни в гостях и ни дома, ни в простецких столовых, ни в дорогих ресторанах.

Но вот как-то раз судьба занесла меня в крымский посёлок Вилино. В центре его располагалась столовая: там кормили сезонников, приезжавших на сбор винограда. И вот сижу я в полупустой столовой, попивая вино прошлого года урожая и жду, когда будет готов мой любимый гороховый суп. Спешить некуда — в Крыму вообще торопиться нельзя, — и я с интересом разглядываю, как за стойкой раздачи, отделяющей залу столовой от кухни, меж огромных кастрюль неторопливо и важно проплывают грудастые поварихи. Вот одна из них сняла крышку кастрюли — взлетел, клубясь, пар — и, помешивая шумовкой, стала что-то высматривать в недрах бурлящего варева. Судя по запаху, это и был долгожданный гороховый суп. Но странно: над рыжым, бургистым, клокочущим озером супа время от времени появлялись друг за другом акулы. “Что за диво?” — недоумевал я. И вдруг повариха, засучив рукава, ухватила сначала один, а потом и другой треугольник и, натужась, потянула их из бурлящего варева.

Я подумал, что брежу: из недр клокотавшей кастрюли, словно подлюдка из океанских глубин, всплывала громадная, страшная морда свиньи! Волны супа стекали с её оскаленного рыла, оставляя кружки моркови и лука на кожистых складах, а звериные глазки смотрели пронзительно-злобно...

Повариха, крихтя, перебрехала эту громадную голову в эмалированный таз, отёрла лоб тылом ладони и крикнула мне:

— Ну что, суп-то есть будешь?

И вот уже я, вместе с тарелкой густейшего и ароматного супа, нёс от стойки раздачи и разрешение давнишней загадки. Теперь-то я знал, почему лишь в огромных больничных котлах да в кастрюлях такой вот столовой гороховый суп получается так наварист и густ. Ибо где ещё можно сварить — целиком! — свиную голову, которая и превращает обычный гороховый суп в кулинарный шедевр?

ГРИБНАЯ РАДОСТЬ. Тема грибов начинается в сумраке леса, с треска веток под сапогами, со шмыганья разных там мышек-лягушек в ногах, с паутины, которая липнет к лицу, и с бродильного запаха лиственной прели, чем гуще который, тем больше шансов вот-вот набрести на грибы. А тут ещё космы лишайников и наплёпки зелёного мха на стволах, и далёкие крики: “Ау-у!”, и огненный куст бересклета, который заставил тебя обойти вокруг него, любуясь на алые ягоды-серьги и розово-полупрозрачные листья.

Но недаром же то, чем ты занят сейчас, называют “грибная охота”. Желание найти гриб нарастает в душе с такой силой, что первый сегодняшней боровик появляется, кажется, даже не столько из вороха рыжей листвы возле старого пня, сколько именно из твоего желания отыскать его. Словно вешышка, округлая бурая шляпка на миг ослепляет, ты содрогаешься, как от удара, а потом со счастливой улыбкой падаешь перед грибом на колени...

Можете, если угодно, смеяться, но в этом тягостном, всё нарастающем напряжении поиска, затем краткой вспышке-разрядке, что вдруг сменяется приступом слабости, в этом есть нечто почти эротическое. Во всяком случае, я нередко встречал в лицах молодых женщин, выходящих с полной грибной корзиной из леса, такое счастливое изнеможение, словно они только что предавались любви, а не просто искали грибы.

Но мы отвлеклись. Грибная охота — ещё не кулинария (а пишем мы именно кулинарный словарь), но всего только подступы к ней. Пропустим, пожалуй, и то, как мы, еле живые, в поту, в паутине и листовном соре вышли из леса (сделав пару вёрст крюку, до крови сбив ноги, но всё же не бросив корзину с грибами), пропустим то, как потом до полуночи всей семьёй перебирали грибы, и как всё в квартире пропахло грибным духом, и приблизимся сразу к столу, на котором, среди прочих закусок, стоит миска солёных груздей.

Да, внешне они неказисты. Даже сахарно-белые кольца лука, которыми сверху присыпаны эти буро-зелёные ломти, даже горка сметаны, белеющей на краю грибной миски, не очень-то добавляют им привлекательности. Грузди кажутся вялыми, сонными, и не скажешь, взглянув на них мельком, что это одна из прекрасных закусок. К тому же, оклизлые эти лепёшки так и норовят ускользнуть из-под вилки, которою ты, раздражаясь всё более, тычешь в грибную тарелку. Не хватало ещё — как порой и бывало — неловким движением вытолкнуть скользкую эту лепёшку на стол, и потом, чертыхаясь, ловить на испачканной скатерти груздь, который — ах ты, зараза! — уплывает всё дальше и дальше, скрываясь то за бутылкой “Столичной”, то за гранёною вазочкой с винегретом. В конце концов — ну, не мерзавец ли? — гриб прыгает на колени красивой соседке, которая охает и, скорей всего, с этой минуты тихо возненавидит тебя...

Но допустим, что всё обошлось, и ты загарпнул груздь тяжёлою вилкой с пожелтевшим от времени костяным черенком. Теперь аккуратно зачёрпываем сметану: чтобы она покрывала половину гриба. Пока произносится тост и выпивается — залпом, на выдохе! — рюмка ледяной водки, сметана никоим образом не должна капнуть с гриба, а должна вся, вместе с груздем, оказаться на твоём языке, опалённом холодною водкой.

И вот тут для груздя настаёт его звёздный момент. Ух, как он захрустел, брызнул соком, как упруго затрепетал на зубах, как солёной волною обдала гортань, и как ты, не в силах сдержаться, застал, замычал, замотал головой! По тебе словно вдруг пропустили электрический ток: ты помолодел лет на десять, и глаза твои вновь загорелись азартною радостью жизни.

Ну, что — по “вторительной”, как говорил один мой знакомый? Тем более, гости, похоже, раскушали грузди: миска с ними пустеет стремительно, и, если будешь зевать, то придётся закусывать традиционной селёдкой.

ГРУШИ СТАРЫХ САДОВ. Бывало, бредёшь в одиноком походе и заходишь в какой-нибудь старый заброшенный сад на окраине тихой деревни. Здесь-то, думаешь, и пообедаю: тем, что найду под деревьями, да натрасу с узловатых ветвей. Вон стоят две полузасохшие яблони, чуть поодаль — несколько слив, окружённых густой юной порослью; но взгляд привлекает, конечно же, груша — высокое статное дерево, редкое в наших калужских краях. Сейчас ранняя осень, и груша очень красива. Багрянец листвы отливает то синевою, то медью; желтовато-зелёные грушки висят высоко — не достать! — впрочем, эти, высокие, нам пока и не нужны. Вполне обойдёмся и паданкой: тем, что лежит меж корней, под шуршащей багряной листвою, испуская дурманящий винный запах.

Похоже, не я один люблю падшие груши: вон сколько ос вьётся под деревом! Их гудение, их полосато-клубящийся танец всегда воскрешает далёкое детство, когда я увлекался изучением ос и когда книга Фабра “Жизнь насекомых” была для меня интереснее любых сказок. Надеюсь, что и сегодня, в память о былой дружбе, они со мною поделятся грушевым сладким обедом.

Первым делом снимаю рюкзак, разминаю затёкшие плечи, а уж потом опускаюсь на корточки и начинаю искать в траве самые сладкие, полусопревшие груши. Трудно даже сказать, что же именно заключено внутри их бурой потрескавшейся кожуры. Каким словом назвать эту крупитчато-сочную, бурю мякоть? Это не то забродивший компот, не то грушевое варенье, не то вино — сладкое, очень душистое и даже немного хмельное. Стоит выдернуть из невзрачной коричневой груши её черенок, — он отделяется с чмоканьем, словно пробка бутылки, — и мякоть груши начинает дразнить тебя терпким, хмельным ароматом. Эти сладкие груши не столько жуёшь, сколько именно пьёшь, глоток за глотком поглощая вино опустевших осенних садов...

И сейчас я прошу своего двойника, который уселся под деревом и, отгоняя вьющихся ос, поедает душистые груши: пожалуйста, не торопись! Когда ещё выпадет вот такой же пронзительный день, состоящий из золота листьев и синевы предосеннего неба? Когда ещё ты посидишь на жухлой траве, созерцающая и ос, и деревья осеннего сада и слыша протяжный крик петуха из соседней деревни? И когда ещё вон тот лунь, что, раскинув белёдые крылья, кружится над садом, будет тебе так же близок и так интересен? Ты следишь за парящею птицей, лунь следит за тобой — и вы оба, созерцающая друг друга, образуете как бы ось всего дня, на которой вращается всё его золото и синева...

Нет, всё же груши хмелят: трезвому взгляду навряд ли всё то, что он видит, покажется столь же таинственно-непостижимым. И эти деревья, и осы, и космы пожухлой травы, и твоя собственная ладонь, на которой лежит эта бурая груша, в разломе которой искрится коричневый сок — что всё это значит, чего ждёт от тебя и что хочет тебе объяснить? Но, боюсь, если я даже съем все груши этого сада, мне и тогда не приблизиться к тайне того, чем на самом-то деле является эта душистая груша, которую я держу на ладони...

ГУСИ. Вот сейчас, написав слово “гуси”, я собрался порассуждать о гусе рождественском: о запечённых в нём яблоках, о коричневой корочке, чуть приставшей к жаровне и оттого ещё более вкусной, о гузках и крыльях — обо всём, словом, том, что так нравится нам смаковать за рождественской трапезой.

Но вдруг вспомнилось совершенно иное — и перо побрело по другому пути. Я вспомнил холмистую курскую степь, блестящий внизу, под холмом, пруд-ставок и гусиное стадо, вразвалку ковыляющее на водопой. Дорога спускается по косогору, и над ней дрожит марево, сквозь которое всё кажется зыбким и призрачным. Только резкие крики гусей сопротивляются зною: если б не этот бодрящий отрывистый рёгот, можно было б совсем одуреть от жары.

Гусям, видно, тоже неважно. Время от времени кто-то из них, вытянув шею, бьёт крыльями, но от этого никому не становится легче, и только горячая пыль завивается над косогором. И тут вожак — грузный, серый, огромный — принимает решение лететь. Шлёпая лапами, он разгоняется, и за ним, регоча, припускает всё стадо. Вот громадные птицы, одна за другой, начинают распахивать крылья, гнать ими пыль и, уже в облаке пыли, продолжается полу-бег, полу-лёт всполошённой гусиной станицы.

Поразителен этот порыв, этот бунт против косной, мучительной тяжести жизни! Кажется, грузные птицы, чьи гузна почти волочатся в пыли, давно позабыли свободу и радость полёта, и нет в мире сил, что способны поднять их на крыло. Но, видно, позор несвободы страшнее, и гуси, как им ни тяжело, стараются всё ж оторваться от пыльной земли, по которой всё чаще хлопают их могучие крылья...

Наконец, вожак поджал лапы, и его серая туша уже низко-низко летит над землёй! За ним оторвался другой, третий — и вот уж всё стадо, шумя, словно буря, несётся над косогором. Кажется, окажись на пути этих птиц — тебе снесут голову их громадные крылья. И вот уже гуси — быстрее, чем ты сумел описать их полёт, стали падать на зеркало пруда. Они, словно бомбы, разбили-разбрызгали воду, и ещё долго над взбаламученным прудом стоял торжествующий, радостный рёгот гусей...

ДАР БОРОВСКА. Этот дар был вручён нам троим: мне, Виталию и Валере. Мы приехали в Боровск октябрьским пасмурным утром и, направляясь в Пафнутьевский монастырь, шли от автостанции в сторону храма Бориса и Глеба. Вдруг в одной из поворотов я увидел стоявшую на асфальте непочагую водочную бутылку. Немного посомневавшись, мы всё-таки взяли бутылку с собой. Хозяина всё равно нигде видно не было, и, если б не мы, так следующий прохожий непременно б её прихватил. Всё, в конце концов, решили слова, которые произнёс кто-то из нас: “Это нам подарок — а от подарка отказываться грешно”.

Мы продолжили путь: мимо храма Бориса и Глеба, затем по мосту над Протвой, а затем по дороге вдоль поймы, откуда были видны купола и кресты храмов древнего города. Поднявшись к погосту села Роща и оттуда ещё раз полюбившись на Боровск, мы стали спускаться в долину реки Истерьма, к белеющим среди сосен стенам и башням монастыря. Нашли отца Зосиму, знакомого нам молодого монаха, затем отстояли долгую службу, а потом, в пустующей келье, куда нас Зосима определил на ночлег, мы решили достать найденную нами бутылку.

— Вот, отец Зосима, сомневаемся: можно ли её употребить? Не отравится бы: мало ли что там налито...

Зосима разрешил наши сомнения самым решительным образом.

— Ставьте бутылку на стол, малюверы! Я её отчитаю.

— Как это?

— По-нашему, по-православному. Против силы молитвы никакая отравка не устоит.

И он, осенившись крестом, стал громко читать 90-й псалом.

— ...Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи во тме преходящая, от сряща, и беса полуденного...

Чуть не волосы дыбом вставали от гудения царственных слов, от их звука и смысла, от их торжествующей мощи.

— ...На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу свою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия...

В молчании, что наступило, когда псалом был дочитан, даже бутылка, стоявшая посередине стола — и та, казалось, тихонько звенела: словно молитва физически действовала на неё.

Стоит ли говорить, что после “отчитки” мы смело разлили бутылку на четверых? Зосима, подняв свой стакан, произнёс:

— Ну, что? Пост закончился — выпьем же, чтоб не впадать в грехи более тяжкие. Слава Те, Господи!

ДЖИМБОЛОС. Джимболос — есть такое чудесное крымскотатарское слово. Оно означает подбор винограда уже после того, как прошли сборщики, срезали большую часть урожая, с плантации сняли охрану, и на виноградник теперь может зайти каждый, кому это не лень.

Нам было не лень. Когда мы спускались с хребта Эчки-Даг и видели, как внизу, на небольшом винограднике, прилепившемся к склону, десятка полтора сборщиков уже садятся в тракторную тележку и как затем старенький “Беларусь”, фыркая синим выхлопом, увозит их по дороге на Щebetовку.

— Джимболос, джимболос! — радостно восклицал мой двенадцатилетний сын Димка, кидаясь к рядам виноградных шпалер.

Курчавые, жёсткие, рыже-зелёные виноградные плети только на первый взгляд были пустыми. Если нагнуться, пошарить в листве — можно было найти тяжёлые бледно-зелёные конусы, в которых ягоды были сбиты так плотно, как каждая гроздь напоминала кукурузный початок. Их и приходилось кусать, как початок, не отделяя ягоды одну от другой, при этом сладчайший сок брызгал на щёки, на руки, на грудь, и скоро все мы оказались засахарены с головы до ног. Такого сладкого винограда никому из нас прежде есть не доводилось.

— Это технический сорт, — пояснил Дим Димыч Марков, знаток Крыма и виноделия. — Он идёт на десертные вина.

Но мы и без вин уже были словно хмельными: и от неожиданного угощения, и от полынного воздуха Крыма, и от тех видов, что нам открывались со склона. С одной стороны поднимались морщинисто-бурые волны хребта Эчки-Даг, сухие и древние, как лицо старика, а с другой стороны мерно накатывали на берег фиолетово-чёрные, в белых прожилках пены, тяжёлые волны Эвксинского Понта.

— Смотрите, дельфины! — завопил Димка, показывая рукой вдаль.

Мы всмотрелись. Действительно, по морской зыби катились округлые чёрные спины дельфинов. Не сам ли, подумалось мне, бог Посейдон нёсся на этих колёсах — стремительных, гладких, бесшумных? Вообще, ощущение, что мы оказались в Элладе, укреплялось едва ли не с каждой минутой. И сухие, кремнистые склоны холмов, и курчавая вязь виноградника, и ритмичные вздохи прибоя, а тут ещё и замелькавшие спины дельфинов — всё было античным и, значит, родным. Все мы, в сущности, родом из Греции, из античных камней и сыпучего треска цикад, из бодрящего зноя Эллады. Вот и виноград, что мы подбирали на склонах хребта Эчки-Даг, был тоже античным: каким-то немислимо древним и, в то же самое время, таким молодым и живым...

Продолжение дня было тоже прекрасным. К вечеру мы добрались до Судака и заночевали в гроте меж Генуэзской крепостью и Новым Светом. Смеркалось по-южному быстро; шум шоссе наверху затихал, зато нарастал шум прибоя внизу — там, где море вздыхало и пенилось в бурных камнях. Надвигалась гроза. Хорошо, что мы знали о гроте и успели залечь в его щель ещё до того, как обрушился ливень.

Всё, что мы видели из расщелины грота, — скалы, море и мыс Меганом — исчезло за белой кипящей завесой. В частых промельках молний казалось, что струи воды не срываются вниз со скалы, а возносятся вверх. Стало ясно: сегодня из грота мы больше не выйдем.

— Ну, что ж, будем ужинать! — распорядился по праву старейшего Дим Димыч. — Доставайте, что там осталось от джимболоса.

Буханку мягкого белого хлеба, купленного в Судаке, мы разрезали на четверых, и раздали каждому по тяжёлой кисти сладчайшего винограда. Свежий, с кислинкою хлеб и виноградные сладкие ягоды так подходили друг другу, словно они были чем-то единым. Помнится, мы поглощали свой ужин в молчании, наслаждаясь им и прислушиваясь к грозе. Вспышки молний выхватывали из темноты нас, четверых сотрапезников, в отчётливо замерших позах: вот чья-то рука, вот кус хлеба, вот зубы, что впились в гроздь винограда, как будто гроза решила нас сфотографировать в декорациях крымского скального грота, чтоб мы отпечатались в вечности. И — кто знает? — может, и впрямь эти снимки доселе хранятся в каком-то вселенском архиве?

ДИМЛАМА БУХАРЫ. Положа руку на сердце, должен сказать: я нигде не встречал столь вкусной еды, как в Средней Азии. Вот даже не знаю, какое из тамошних кушаний взятыся описывать? Может, плов, что я ел в Самарканде, на задворках парадной площади Регистан: золотистую гору из риса, моркови, гороха, на склоне которой лежал кус говядины? Или вспомнить ту ошхану на базаре Ургенча, где я обедался тушёными потрохами, столь вкусными, что я позабыл всё на свете — даже то, что мне пора ехать в Хиву? А лагман в Навои? А самса в Шахризабсе? А шашлык в Гиздуване? А ташкентский люля-кебаб?

Нет, лучше вот что. Вспомню-ка я димламу Бухары. Я только-только приехал, поселился в старинном доме Мубиджона-аки — дому было двести семьдесят пять лет, а хозяину — семьдесят пять, но оба казались на редкость сохранны — и пошёл поискать, где бы перекусить. Подходящая ошхона подвернулась неподалёку, на берегу Ляби-Хауза: бухарец сразу поймёт, о чём я говорю. Из блюд, что мне были предложены, я выбрал шурпу — душистую, в блёстках янтарного жира, — но всё же посетовал:

— Досадно: вторую неделю нигде не могу найти димламы!

Хозяйка всплеснула руками:

— Что вы говорите! А приходите-ка завтра, вот в это же время, я приготовлю для вас димламу.

На том и расстался. И, стыдно признаться, но на другой день свидания с димламой я ждал так, как, бывало, ждал встречи с какой-нибудь юной красоткой. С утра маялся и не знал, куда себя деть. Сходил в баню, что на Зелёном базаре, напился там чаю, потом листал книги в букинистической лавке, потом рассматривал украшения из фирузы на лотках ювелиров, но мысли мои были всё об одном: “Как там моя димлама?”

Наконец, настал час обеда. Хозяйка, приветливо улыбаясь, поставила передо мной на клеёнчатый стол синий чайник кок-чая, тарелку с тандырной лепёшкой, пиалу с густым, ароматным говяжьим бульоном и, наконец, глубокую синюю миску, в которой дымилась гора димламы.

Всё это было очень красивым, так сказать, ориентально-орнаментальным. Узоры тарелки, пиалы и миски, горячая пряная смесь димламы, виетовато-однообразная музыка, что доносилась в открытые двери от Ляби-Хауза, перестук молотков от ремесленных лавок, крики разносчиков — всё сливалось в единую арабеску, в орнамент из перетекавших друг в друга узоров, как зрительных, так и звуковых.

Но когда я взял ложку и стал понемногу зачёрпывать димламу, я впал в забытьё и почти перестал понимать: где же я нахожусь? Мир, такой пёстрый и звучный, куда-то пропал, а осталась одна димлама. И сейчас из той трапезы я могу вспомнить только фрагменты. То лист капусты на ложке, то пятно солнца на рыжей клеёнке стола, то взгляд весёлой хозяйки, украдкой следящей за тем, как я ем, то тёплая мякоть лепёшки, которую я отрываю...

Но разделение мира на эту вот пёструю смесь, оно происходило вовсе не от его, мира, ущербности, а, напротив, от избыточной его полноты. Окружающий мир был настолько богат, изобилен и щедр — что любая частица его представляла собой как бы тоже особенный, яркий и радостный мир. А уж димлама — та и вовсе казалась мне целой вселенной. Чего только не было в этой пёстрой, сочащейся груди: морковь и капуста, картофель и перец, куски мяса и жира, какие-то, мне неизвестные, специи — и всё это, словно живое, вздыхало и двигалось, когда ложка перемешивала димламу. Казалось, из этой вот яркой и пламенной смеси, томящейся в миске, можно создать ещё один мир — подобный тому, что уже сотворён.

Но, как я ни восхищался лежащей передо мною картиной, я азартно и жадно, мыча от восторга, её поедал. Я не мог удержать свою руку и ложку, не мог не жевать, не глотать и, увы, димлама убывала. Ложка всё чаще стучала о дно, и сердце сжималось: я чувствовал словно вину перед этим вот блюдом, которое я торопливо уничтожал... Из-за стола я встал с таким грустным видом, что хозяйка даже встревожилась:

— Вам не понравилось? Что-то было не так?

Но как было ей объяснить, что, напротив, её димлама оказалась столь хороша, что, когда она кончилась, мне стало очень печально? Я, как мог, успокоил хозяйку и расплатился — её кулинарный шедевр, как и вся еда в Азии, оказался на удивление дешёвым, — а потом вышел на улицу, на плящее солнце и в пыль Бухары. Той порой, как я брёл по глиняным улицам, меж саманных дувалов, тандыров и кузниц, печаль сытости мало-помалу меня отпускала, но мне ещё долго мерещилась синяя миска, в которой дымилась гора димламы...

ДОБАВКА. Такое знакомо, наверное, многим. Только сядешь к обеденному столу, распробуешь какое-нибудь, особенно нынче удавшееся, любимое блюдо — овощное, к примеру, рагу или макароны по-флотски — и вдруг почувствуешь шевеленье неясной тревоги. Что-то мешает тебе наслаждаться едой безмятежно, что-то царапает душу и наполняет её почти страхом — глубинным, подспудным, но всё-таки страхом пред будущим. И почти машинально, сам не успев осознать, что с тобой происходит, спрашиваешь хозяйку — причём спрашиваешь каким-то заискивающим, именно что испуганным голосом:

— А добавка есть?

Она улыбнётся тебе, как ребёнку, и, утешая, ответит:

— Есть, есть — не бойся...

И как груз упал с плеч: сразу стало спокойнее, легче, словно развеялась некая мгла впереди. Может, это смешно, но для меня без добавки и обед не обед. Причём совершенно не важно, велика ли она, но добавка должна обязательно быть, чтобы страшная истина “скоро конец” (а она ведь маячит почти за каждым явлением жизни, да и за всей жизнью в целом) была хоть немного прикрыта, замаскирована существованием добавки.

По сути, надежда на то, что к трапезе будет добавка, есть надежда на нечто большее, чем просто-напросто продолжение еды. Ожидая добавки, я смутно надеюсь, что земной наш конец — ещё не конец, и тогда, когда он настанет, явится щедрая и милосердная чья-то рука и предложит нам некое продолжение жизни уже после того, как она завершилась. Можно сказать, мы и живы-то только надеждой на то, что в пустыне грядущего нам будет явлено нечто отрадное, то, ради чего нам и стоит терпеть эти тяготы жизни. Мечта о добавке — надежда на то, что дары бытия бесконечны.

А можно на всё посмотреть и с другой стороны. Вот сейчас, живя свою жизнь, я уже получаю добавку, и должен быть благодарен судьбе. Ведь мой путь, в общем, пройден: позади тридцать лет хирургии, позади путешествия, позади целый воз семейных забот и трудов, позади, словом, жизнь. Можно было б уйти и сейчас. Как говорил один герой Достоевского, больше сорока лет живут только конченные мерзавцы, но так уж случилось, что мне выпала некая как бы добавка: жизнь после прожитой жизни. Что, как не добавка, и то, что я слышу агуканье внучки Анюты (ей на днях исполнился месяц), и то, что я до сих пор могу размышлять вот над этой, пестрящей помарками рукописной страницей?

ДЫНЯ. Выбор дыни на рынке — процесс, доставляющий радости чуть ли не больше, чем её поедание. Сам выход за дыней — уже праздник, особенно в августе, в ту изобильную пору, когда за зелёными горами полосатых арбузов почти не видны кепки их продавцов, а запах дынь, персиков, груш, слив и яблок затопляет ряды гомонящего, шумного рынка.

Рынок в августе — торжество земледелия. Всё, что может дарить нам земля, — как калужские, местные супеси или суглинки, так и южные чернозёмы — всё лежит на лотках и прилавках, всё радует глаз живописным разнообразием. Чего стоят одни помидорные алые груды или холмы разноцветных, словно светящихся, перцев, или снопы пряно пахнущей зелени — укропа, петрушки, кинзы, базилика и рукколы, — меж которыми бродишь, как в райском саду? А вёдра вишен? А банки смородины — белой, красной и черной, — при одном виде которых рот уже полон слюной?

Но сегодня нам нужны именно дыни. Поэтому, не отвлекаясь на прочие искушения и соблазны, мы будем искать дынный ряд. Ага, вот и он. Здесь мы, пожалуй, задержимся. Выбор дыни, как и служение музам, не терпит суеты; поэтому надо сначала прийти в себя, настроившись на созерцательно-благодостный лад.

Главный помощник при выборе дыни, конечно же, нос. Зрение зачастую только мешает, отвлекая на мелочи и пустяки; но всего больше мешает сейчас продавец, суетливый и масляноглазый, который назойливо сует тебе дыню в руки, восклицая:

— Командир, возьми эту! Ай, хороша! Потом скажешь: спасибо, Рахмет!

Приходится остановить его:

— Не мельтеши.

Рахмет обиженно замолкает, и вот теперь, наконец, можно спокойно взять дыню в руки, понянчить её, как младенца, и подержать возле лица. Да, запах есть, но он сыроват ещё, с зеленцой: значит, дыня незрелая. А вот у этой, которую ты взял следом, наоборот, ощущается переспелая вялость. А третья — так та вообще лишена всякого запаха; её-то, кстати, и предлагал мне Рахмет, в масляных глазках которого обида сменилась на уважение: мало кто выбирает дыню так кропотливо, как это делаю я.

Приходится перенюхать чуть не два десятка разнообразных дынь — больших и маленьких, золотистых и зеленоватых, шершавых, как пятка, и гладких, как камень-голыш, — пока, наконец, не почувствуешь как бы толчок изнутри, и внутренний голос не скажет: “Да, это она!”

Вообще, мир запахов — удивительный мир, и о нём об одном можно написать целую книгу. Недаром пророк Магомед говорил: “В земной жизни больше всего я любил женщин и ароматы”. Вот и дынный, такой сладковатый и тёплый, податливый запах чем-то напоминает женщину: в нём есть что-то неуловимое, полное неги и обаяния — то, от чего уже не оторваться. “Да, это она...” — думал ты, прижимая избранницу к сердцу. Пусть она с виду и неказиста, с одного бока помята, а с другого зеленовата, но запах её, словно ласковый ветер, обвеял тебя и позвал за собой...

Этим тёплым её ароматом потом будет пропитано всё: и рюкзак, в котором ты понесёшь дыню домой, и твои руки, в которых лежало шершавое, продолговатое дынное тело. Даже в салоне автобуса, который тебя повезёт на Бушмановку, люди будут оглядываться с удивлённой улыбкой: запах дыни будет их волновать, пробуждая, быть может, какие-то давние и сокровенные воспоминания.

А дома, едва ты перешагнёшь за порог, дочка Даша радостно крикнет из комнаты, ещё даже не видя тебя: “Ура — папа дыню принёс!”

ЗЕМЛЯНИКА. Представьте себе крутой берег Угры, летний полдень и землянику под соснами, в редкой траве, пересыпанной рыжею хвоей. Наша байдарка только что ткнулась форштевнем в песок, мы вышли на берег, чтобы размяться, но запах нагретой смолы, земляники и хвои заставил нас позабыть обо всём на свете. Мы разбрелись по основному склону, по пятнам солнца и тени и словно растаяли в роскоши этого полдня. Кто-то уже и упал на колени: земляники так много, что можно буквально ползти, собирая её, по подстилке из хвои.

Кажется, то, что сейчас происходит, — это какой-то счастливый и солнечный сон, это сказка, в которой мы оказались случайно и не по заслугам. Словно суровый взгляд жизни где-то за нами недоглядел, и мы неожиданно вырвались из-под гнёта реальности, ускользнули в лазейку, ведущую в рай, к земляничным полянам Угры...

На склоне под соснами так хорошо, что случалось и задремать, прямо здесь, в неглубоком окопчике, что остался с войны. Сквозь непрочную дрему слышен и ветренный шум в кронах сосен, и плеск переката, и гул оводов и шмелей, проносящихся, словно тяжёлые пули, над самым окопом. Эти пули шмелей, и окоп, и обрывки “колючки”, и ржавые каски — фронт в этих местах стоял целых два года — напоминают, что здесь, где теперь летний солнечный рай, был когда-то и ад. “Здесь чья-то жизнь дрожала”, как сказал один хороший писатель; и крови на этих вот склонах краснело не меньше, чем нынешним днём — земляники.

Но мысли об этом не только не гасят, а лишь обостряют твою благодарность за всё, что вокруг: за эти вот сосны, за зной безмятежного полдня, за запах смолы, земляники и хвои, который сильнее всего именно там, где ты лёг, придавив своим телом полдюжины ягод.

Земляника, которой так много, скорее всего, не отпустит нас быстро и заставит разбить здесь бивак. Под соснами встанут палатки, шишки, падая, будут звенеть по их туго натянutosым тентам; потом затрещит костерок, и его сизый дым поплывёт по-над склоном, добавляя к запаху земляничных полян горьковатую ноту.

А ночью, когда небо над соснами будет усыпано звёздами, земляничные склоны покажут ещё одно чудо. Стоит отойти от костра и привыкнуть к потёмкам, как взгляд различит, что по склону, который спускается к тихо журчащей Угре, бледно светятся зеленоватые огоньки. В иные погожие ночи светлячков высыпает так много, что береговой склон кажется отражением звёздного неба, и ты начинаешь угадывать в зеленоватом мерцании как бы контуры созвездий. Или это — подумаешь вдруг — светятся земляничные ягоды, те, что набрали за долгий день зноя и солнца?

Но без светлячков, как и без земляники, летний рай будет неполон; интересно, подумаешь, а в настоящем раю, куда все мы мечтаем попасть, будет ли там земляника, и сосны, и зеленоватые огоньки светлячков? Хочется верить, что всё это будет и что нам доведётся ещё собирать землянику на солнечном склоне под соснами, в редкой траве, пересыпанной рыжею хвоей...

ИСЦЕЛЕНИЕ МОРЕМ. Не писать же подробно о том, как мы вышивали с Ришатом? Как тепла была крымская ночь, как звенели цикады, а море, вздыхая, шипело по гальке пологой волной?

Портвейн же, которым нас угощал наш случайный знакомый, был просто чудесен. Густой и душистый, он пах виноградом и солнцем и не туманил ни взгляда, ни мыслей, а как-то, напротив, всё прояснял: после пары стаканов портвейна жизнь становилась понятна, проста и тепла — как эти вот гладкие камушки, что лежат на ладони...

Но так было ночью, пока мы сидели на галечном пляже посёлка Весёлое, пока раздавались тяжёлые, мерные вздохи прибоя, а звёзды висели над нами так низко, что их при желании можно было потрогать, вот только лень было встать да поднять руку к небу.

Наутро же зябкий рассвет открыл совершенно иную картину. Туман залил всё побережье; граница не только притихшего моря и серого неба, но даже моря и берега как-то размылась; всё в тумане казалось безжизненным, плоским и серым. Причём трудно было понять: окружающий мир так размыт, удручающе сер, или это в похмельной твоей голове всё смешалось настолько, что ты видишь мир таким скучным и плоским?

Путаясь в собственных вялых руках и ногах, я вылез из спальника — мы спали у кромки прибоя — и шагнул в воду: уж море-то, я надеялся, сможет меня освежить. Я грёб усердно, проплыл метров сто, но легче не становилось. Пологие гладкие волны вздымали меня, затем опускали; от этой раскачки лишь только сильнее мучило. Хуже всего была злая похмельная жажда. “Эх, сейчас бы рассолу...” — с тоскою подумал я.

Вдруг меня осенило: да я же плыву в этом самом рассоле! Бросив грести и чуть отдышавшись, я сделал два полных глотка горьковатой солёной воды. Больше, я знал, пить опасно: уж что-что, а книги о кораблекрушениях я в детстве читал.

Но и то, что я выпил, меня исцелило. Голова прояснилась, дышать стало легче, и плыл я уже не с усилием, как минуту назад, а почти с удовольствием. Больше того: я увидел, как быстро редет туман, и как открывается берег от мыса до мыса, до скал на востоке, откуда вот-вот должен был появиться альпий солнечный диск. Поразительно, но причащение морю, которое я совершил, исцелило не только меня, но словно исправило весь окружающий мир, которому вновь возвращались его многоцветность, объём, глубина.

Я плыл к берегу, ощущая себя частью моря, которое было вокруг, и чувствуя, как теперь море стало частью меня, моей собственной крови. На пёструю, морем омытую гальку я вышел ну, если не как Афродита из пены морской, то всё же много свежее, чем был недавно.

Как раз проснулся Дим Димыч, наш седой “адмирал”, и внимательным взглядом окинул меня.

— Экий ты свежий — как огурец! Морем, что ли, опохмелялся?

— Так точно! — отрапортовал я ему, и мы рассмеялись просто-напросто оттого, что проснулись в Крыму, на морском берегу, и впереди нас ждал новый день, полный дорог, встреч и приключений.

КАПУСТА. Из всех овощей, составляющих наш рацион, едва ли не первое место принадлежит капусте. Уж если сам Диоклетиан променял римскую власть на капустную грядку, значит, тайна капусты и впрямь велика. Это тайна, по сути, самой жизни и, уж конечно, она много глубже всего, что связано с мелким тщеславием власти.

Действительно: что нам римская власть? Ну её к лешему — кесарю, как говорится, кесарево. Лучше полюбоваться капустною грядкой: тем, например,

как широкие бледно-зелёные листья покрыты испариной крупной росы, или как дождь сечёт по тугим кочанам, и каждый из них гудит, словно барабан, или тем, как над грядкой порхают белянки, которые любят капусту не меньше, чем любил её император Диоклетиан.

А как приятно взять в руки тяжёлый, прохладный, поскрипывающий кочан! Он отзывается тугим хрустом на каждое пожатие рук, он словно разговаривает с тобой, подавая бодрые реплики.

Этот хруст кочана и воспоминания пробуждает какие-то бодрые и молодые. Вот сейчас вспомнилось, как я, по наказу матери, шёл за капустой в овощной магазин на Хрустальной. Мне было тогда лет тринадцать, а день был ноябрьский, седой и хрустящий от инея. И не было лучше контраста, чем поздняя осень окраины, заиндевелая ветхость сараев, пустынных садов, водостоков и крыш и моя молодая, горячая бодрость. Просто шагать было скучно, и я порою переходил на бег, радуясь пару дыхания, что вылетал изо рта, и упругости собственных мышц.

Когда я подбегал к магазину, там как раз стоял грузовик, с которого и торговали капустой. Кочаны взвешивали безменом — с хрустом накалывая кочаны прямо на его крюк.

— А откуда капустка? — спрашивала востроносая старушонка, недоверчиво мнущая и даже нюхающая кочаны.

— Из Шопино! — отвечала ей краснолицая продавщица, сама тугая и круглая, словно капустный кочан. — Да что ты их, бабка, перебираешь? Не видишь — капуста у нас первый сорт!

Кочаны, в самом деле, были отборные. Тугие и белые, они не просто поскрипывали, а пели, особенно, когда я положил их в рюкзак, и они на ходу тёрлись один о другой. Можно было подумать, что я несу в рюкзаке повизгивающего поросёнка. Прохожие даже оглядывались, и кто-нибудь, самый догадливый, спрашивал:

— Где, парень, капустку-то брал? На Хрустальной? Надо и мне поспешить, пока не разобрали...

Дома ждёт новая радость: засолка капусты. До чего же приятно смотреть, как большой нож, дробно стуча, обстругивает кочан и как вспухает рассыпчатый ворох нарезанной, сочной капусты. Всегда удивляешься: как же эта гора, завалившая стол, помещается всего-навсего в одном кочане? Скоро от кочана остаётся одна кочерыжка, которую мать обязательно предлагает тебе:

— Андрюша, ты где? Кочерыжку-то будешь?

— А как же!

До сих пор у нас с матушкой продолжается давняя эта игра — кормление меня кочерыжкой, и я, пожилой и седой человек, до сих пор с детской радостью принимаюсь хрустеть её сочным и сладким бруском. Ведь главное в кочерыжке даже не вкус, а вот именно бодрый и радостный хруст, от которого всё вокруг молодеет. Молодеет и утварь на кухне, и вид за окном, молодеют даже твои отец с матерью, которым сейчас нипочём не дать их действительных лет.

А ёмкостью для засолки капусты много лет нам служил пузатый керамический бочонок. И, помнится, было очень приятно набивать его сочную смесь капусты, моркови и соли, трамбуя её кулаком — под которым хрустел и пружинил наш зимний запас. Сверху капуста накрывалась перевёрнутой тарелкой, на которую укладывался округлый гранитный валунчик. И бочонок тогда напоминал старинную пушку, заряженную вместо пороха нашинкованной капустой, а валунчик был вместо ядра. Что ж, бочонок капусты и был тем оружием, что нам помогало отбиться от натиска долгой, морозной зимы и дожить до весны.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУПЧИК. Жестока ли жизнь? Да она порой просто ужасна. Нет нужды перечислять все её беды и горести, тем более, что всех и не перечислишь, потому что тогда ничего, кроме горьких стенаний, не ляжет на эти страницы. Причём бед и несчастий бывает полна даже самая обыкновенная жизнь, без тюрьмы и суммы, без войны, та, которую мы назы-

ваем благополучною жизнью. Сколько тяжких трудов, угрызений совести, сомнений, тревог и печалей выпадает нам с вами; иногда думаешь: покажи кто-нибудь нам в начале жизненного пути, как тяжела будет эта самая жизнь, ещё неизвестно, согласились бы мы терпеть её тяготы?

Но к чему я всё это веду? А к тому, что, при всей беспощадной жестокости жизни, при её жестяном равнодушии к судьбам любого из нас, в ней в то же самое время скрыт и запас доброты. И она окружает нас повсюду, надо только увидеть её и почувствовать, надо понять, что и живы-то мы до сих пор лишь по милосердию жизни.

Давайте представим: вот вы возвращаетесь в дом после трудного дня. День был именно тот, жестяной, о котором я только что говорил, он сполна дал тебе ощутить и жестокость, и равнодушие жизни. Душа словно выжжена: пепел и пыль покрывают её...

И, конечно, тебе сейчас не до еды. Но ты машинально, по многолетней привычке, достаёшь из холодильника кастрюлю позавчерашнего супа, ставишь её на плиту и, пока она разогревается, продолжаешь терзать себя мыслями о тщете жизни. Ты так погрузился в тоску этих мыслей, что не заметил, как суп закипел и залил плиту. Чертыхнувшись, переливаешь остатки похлёбки в миску, и теперь ждёшь, пока супчик остынет. Проходит минута, другая, и ты неожиданно ловишь себя на том, что уже не терзаешься мыслями о никчёмности жизни, а с интересом ворочаешь ложкой в дымящейся миске. Всплывают и тонут кружки моркови и кольца лука, ломти картошки, блестят капли жира, и коловращение это прямо-таки завораживает тебя.

А картофельный запах, что мреет над миской и заставляет тебя машинально, бездумно, но вдруг улыбнуться? Ведь он, этот запах, не просто душист и приятен; он именно что утешителен, он действует, как бормотанье какой-нибудь доброй старушки, которая, не подбирая особенных слов, монотонно и тихо бубнит, утешая тебя: ничего, мол, милок, глядишь, как-нибудь оно всё и обойдётся...

К тому времени, как ты зачерпнёшь супчик ложкой и поднесёшь к губам его душистую гущу, ты уже будешь почти исцелён. А уж когда этой мягкой картофельной кашей наполнится рот, а затем и желудок, ты станешь другим человеком. Куда подеваются злость и тоска, раздражение и недоверие к жизни? Те острые жизненные углы, которые так тебя задевали недавно, враз как-то сглаживаются. Неужели всего лишь тарелка картофельного супа смогла примирить тебя с миром, а заодно и с самим собою?

КИЛЬКА В ТОМАТЕ. Чьё сердце не забьётся сильнее при словах “Килька в томате”, особенно, если это сердце мужчины, и оно бьётся достаточно долго, чтобы помнить ещё те, давнишнего советского образца, кильки в томате, которые стоили двадцать четыре копейки за банку?

В пору всеобщего дефицита витрины продовольственных магазинов порой украшали одни эти консервы: пирамиды из серебристо мерцающих шайб, обёрнутых в чёрно-красную этикетку. И вообще, это был предмет символический, означавший закуску как таковую. Что изображалось, к примеру, на страницах сатирического журнала “Крокодил”, когда нужно было заклеить позором тех несознательных граждан, которые засоряют природу? Конечно, порожняя банка из-под кильки в томате, оскверняющая какую-нибудь идиллическую лужайку.

А если требовалось изобразить типичного пьяницу — ну, такого, у кого нос обязательно сизый, — то чем он закусывал? Правильно, килькой в томате: эта закуска считалась столь же обязательным спутником пьяницы, как и гранёный стакан.

Но ведь символом может быть нечто лишь совершенное; консервы “Килька в томате” и были таким совершенством. Уже сам размер и вес круглой банки, и то, как она укладывалась в ладонь или соскальзывала в карман телогрейки, — уже одно это пробуждало в душе неизъяснимо отрадное чувство.

А как было приятно её открывать! Когда клык консервного или даже простого ножа пробивал жесть, выступала аппетитная капля томатного соуса, которую непременно хотелось слизнуть. Когда же, с нажимом, взрезалась

и отгибалась жёсть крышки, глазам открывались продолговатые рыжие тушки, лежавшие хвост к голове. Конечно, тогда, в те далёкие годы, когда юный голод тебя торопил, ты не очень-то долго раздумывал, прежде чем подцепить пару килек (ножом, если не было вилки) и отправить их в рот. Но теперь, когда огонь желаний угас и жажда жизни утолена, можно спокойно порассуждать о консервах как таковых.

Ведь только подумать: вот эти рыбёшки, если бы их предоставить природе, они бы давно уже сгнули где-то в пучине морской или пошли на корм чайкам или каким-нибудь кашалотам; они бы исчезли, как будто их никогда не бывало. А в жестяной этой капсуле они оказались изъяты из времени, сохранены: разве это не чудо?

К тому же, консервы нередко бывают вкуснее, чем натуральный продукт. Вот и свежепойманная килька, если пожарить её, на мой вкус, проигрывает себе же самой, но в томате. То есть некая вещь, превращаясь в консервы, не только избегает тления, но ещё и становится лучше.

Но не в этом ли — то есть в сохранении и в улучшении реальности — и состоит задача искусства? Взять что угодно: пейзаж ли художника или роман писателя — жизнь, что показана там, будет, во-первых, защищена от тлетворного действия времени, а во-вторых, она, скорее всего, будет лучше, чем тот образец, с которого списана книга или картина.

Выходит, искусство и занимается, по преимуществу, консервацией. Начиная с этого места, можно спеть целую оду консерватизму как направлению мыслей и образу жизни; но это завело бы нас очень уж далеко от кулинарного словаря.

Да, “Килька в томате”, о которой я вспоминаю, была настоящим произведением искусства. И вот тут есть один тонкий момент. Почему-то прекрасным становится только то, что уже отдалилось от нас, ушло в прошлое, а то, из чего состоит день сегодняшний, кажется мелким, неважным и недостойным внимания. Предложи мне сейчас ту самую кильку в томате, о которой я здесь вспоминаю с такой ностальгической нежностью, и я, скорее всего, откажусь от такого подарка. Не сама же мне килька нужна — нет, мне нужна моя память о ней; мне нужен тот образ, тот идеал, что живёт в моём сердце, мне нужен, иными словами, я сам, как-то странно, таинственно и необъяснимо сроднившийся с этим почти что случайным предметом — с банкой “Кильки в томате”.

Или и вправду, о чём бы ни рассуждал человек, хоть о звёздных туманностях или всемирном потопе, но если проникнуть в глубинную суть, в сердцевину его слов и мыслей, то окажется, что говорит-то он, в сущности, лишь о себе самом? А если так, то не есть ли вот этот, как я называю его, “Кулинарный словарь”, по сути, попытка автопортрета? Из блюд и напитков, из тех обстоятельств, в которых я с ними встречался, я пытаюсь сложить ту картину, в которой надеюсь увидеть себя самого...

КНЕДЛИКИ. Кнедлики — это забавное слово, похожее на имя какой-нибудь птахи, впервые я вычитал в книге о Швейке. И я долго воображал, что кнедлик — это нечто немисливо вкусное. Ну, ещё бы: ведь на страницах романа Гашека герои говорят о кнедликах часто и неизменно с любовью, доходящей до обожания. Кажется, кнедлик — символ всего, чем так дорожит человек: символ уюта, покоя и мирной, наполненной тихою радостью жизни. В сущности, весь знаменитый роман и написан за кнедлики — против войны.

Но реальность, как ей и положено, не оставила камня на камне от моих юных грёз о прекрасных, как девушки, кнедликах. Настоящие пражские кнедлики, с которыми мне довелось познакомиться, оказались комками серого теста, лежащими в липкой мучнистой подливе. Даже на вид они были противны, но вкус оказался ещё хуже внешности: что-то вязкое, пресное, да ещё и назойливо липнущее к зубам. Не раз вспоминаю я пушкинские слова (сказанные им, правда, о калмыцком чае): “Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-либо гаже”. В общем, моё впечатление от встречи с кнедликами было примерно таким: я ждал встречи с прекрасною

юною девушкой, умной, изящной, весёлой, а мне вместо неё привели дебелую сонную бабу с полуоткрытым ртом и оловянно выпученными глазами.

Но не спешите ставить на кнедликах крест. Жизнь гораздо сложнее и милосерднее к нам, чем это кажется с первого взгляда. Пожив в Праге несколько дней, до одури находившись по её средневековым улочкам и старинным мостам и, разумеется, выпив за эти дни столько пльзеньского, сколько в России не выпиваю за год, я стал чувствовать: чего-то мне недостаёт. И я долго не мог понять, чего именно, пока в очередной пивнице, куда я зашёл за очередной парой кружек, не увидел, как за соседним столиком молодой парень жадно ест кнедлики. И я вдруг почувствовал, что тоже хочу съесть полдюжины вот таких вязких, непропечённых комков, которые словно замаяжут внутри меня некую брешь — ту, в которую тянет сквозняк беспокойства и неизбывной тревоги. Да, именно кнедликов мне не хватало, не хватало покоя, который приходит, когда неторопливо пьёшь пиво, глотая одну за другой эти сытные плотбы из вязкого теста.

Пиво и кнедлики неотделимы от Праги, а Прага непредставима без них. Именно кнедлики вместе с пивным хмелем создают ощущение сказочно-бесконечного сна, в котором бредёшь, уже не надеясь, да и не желая проснуться. Кнедлики — своего рода мост в пражскую сказку: то, без чего очень сложно почувствовать неторопливо-дремотную пражскую жизнь.

И, любя Прагу, — а её нельзя не любить! — нельзя не полюбить и её полномочного представителя: кнедлика. Он — как бы это сказать? — позволяет почувствовать счастье обыденности. Ведь счастье лежит на избитых дорогах: эта мысль Шатобриана очень, кстати, нравилась Пушкину. И не в том ли глубокий урок чешских кнедликов, что они словно нам говорят: слушай, да брось ты все эти дурацкие поиски, это стремление вдаль, эти мечты и надежды, в которых проходит и гаснет твоя беспокойная жизнь; счастье — оно всегда рядом. Протяни только руку — и вот пред тобою тарелка мучнистых комков, которые хоть и не блещут красотой или вкусом, но зато безотказно насытят тебя, успокоят-утешат и никогда не обманут. И ещё — говорят они нам — с той красоткой, о которой ты, парень, вздыхаешь, ох, нахлебаешься горя; зато, может быть, будешь счастлив с дебелой доброю бабой, которая телом и сутью похожа на мягкий, податливый кнедлик...

Чехи, я думаю, стали счастливой нацией с тех самых пор, как признали, что лучше кнедлик в руках, чем журавль в небе. А вот мы, русские, так и будем несчастны, пока будем мечтать, тосковать и вздыхать по прекрасным, всегда улетающим вдаль журавлям...

КОНЬЯК. Так уж случилось, что из всех видов спиртного коньяк мне знаком лучше всего: за тридцать лет хирургической практики уж чего-чего, а коньяком я перепробовал множество.

И вот я до сих пор изумляюсь: как возникло, а затем закрепилось это чудовищное заблуждение, что коньяк, дескать, закусывают лимоном? Конечно, люди доверчивы, и убедить их можно в чём угодно, даже в том, что чёрное — это белое, и что Земля покоится на слонах или на носороге. Но лимон к коньяку — это уж, знаете, слишком!

И вот я хочу сказать — нет, даже крикнуть — люди, опомнитесь! Вот садитесь вы в кресло с коньячным бокалом в руке — желательно, чтобы коньяк был хорошим — и, глядя, как за окном тихо падает снег (идёт дождь — тоже неплохо), дожидаетесь, когда коньяк потеплеет от вашей ладони. Это важно: холодный коньяк ещё хуже, чем тёплая водка. По окну оплывают потёки дождя или талого снега, а по стенкам бокала — коньячные “ножки”, маслянисто-густые потёки напитка, который мало-помалу перенимает ваше тепло и распускается, словно цветок, облаком крепкого аромата.

Удивительно, как всё связано, как всё рифмуется в мире: скажем, оплывы дождя на стекле и потёки на стенках бокала или золотистый цвет коньяка с золотом липовой кроны напротив окна. А следом приходит и мысль, что хороший коньяк — это сгусток солнца, который донёс вот до этой минуты холодного, хмурого дня частицу полдневного зноя и света, что лился в каком-то далёком году и в далёкой стране лозы винограда. И вот только теперь,

найдя точку гармонии между коньячным бокалом, желтеющей липой в окне, воспоминаньем о лете и тем, как наплывы дождя омывают стекло, — вот только теперь можно пригубить коньяк. Душистый огонь растечётся во рту и согреет гортань, а потом мягко опустится к сердцу. И ещё не уляжется тёплая эта волна, как голова уже чуть зашумит, как бывает, когда ты выходишь из тени на яркое летнее солнце и тебя накрывает облако зноя.

Теперь время улыбки. Вообще качество коньяка определить очень просто. Если, сделав глоток коньяка, ты не сморщился, а улыбнёшься, значит, это хороший коньяк. Улыбка выразит многое: и, главным образом, благодарность напитку, который согрел твоё тело и душу и позволил — в который уж раз! — ощутить, до чего же, при всех своих тяготах, жизнь хороша...

Но если вы, не дай Бог, в эту минуту улыбки подхватите с блюдца и бросите в рот кислый ломтик лимона — гармонии как не бывало. Ваши губы скривятся брезгливой гримасой, вас всего передёрнет, и двери рая, которые только что приоткрылись для вас, снова захлопнутся.

Вот поэтому я и прошу: когда пьёте коньяк, даже не прикасайтесь к лимону! Коньяк, если уж его надо закусывать (а хороший коньяк закусывать вовсе необязательно), признаёт только две настоящих закуски: ломтик дыни или спелый персик. И дыня, и персик — они не проглотят улыбку с ваших уст, пригубивших коньяк, но продлят её и укрепят; ведь дыня и персик — такие же сгустки полдневного солнца, как и душистый коньяк, маслянисто стекающий по тюльпану бокала...

КОРА КОДИНЫ. Кодина — река в Архангельской области, по которой мы шли с другом Лёшей; а кора — это то, что мы ели в походе.

Река, по которой недавно вели молевой лесосплав, рыбой была небогата, и за целый день мы поймали лишь несколько окуньков. Хочешь не хочешь, надо было добывать пропитание не в реке, а в лесу. Кора — точнее, заболонь — это первое, что приходило на ум, и раздобыть её было проще всего.

Ободрали мы, помнится, липку. Было жаль губить деревцо, но не более жаль, чем прикалывать ножом рыбу, ещё трепещущую в руке. Жизнь жестока: в ней все друг друга едят, и даже смерть не выводит нас из всеобщего круговорота еды. Вот мы съедем сейчас липку, а нами когда-нибудь станут питаться новые липки, которые будут корнями тянуть наши соки. “Так что свой долг липкам со временем мы отдадим”, — утешал я себя, шинкуя ножом на седёлке байдарки сырые, упругие ленты липовой заболони.

Думалось и о том, что кора — еда нищеты, почти голода. Если дело дошло до коры — человек на краю, у черты, за которой голодная смерть. Хотя, казалось бы: почему не питаться корой постоянно? Чем она так уж хуже какой-нибудь репы или редьки? Да, пожёстче; да, варить её нужно подольше, чем свёклу или картошку; но по составу это те же самые углеводы, из которых состоят и любые растения. Так что, пока есть кора, и желудок способен с ней справиться (а способен ли — это мы скоро узнаем), помирать с голодухи вроде как рановато.

Вода в котелке забурилась, и Лёша — он у нас главный, да и единственный, повар в походах — высypал в неё миску мелко нарезанной липовой заболони, посолил и, для навару, бросил туда же шесть окунёвых голов.

— Вышак! — объявил он торжественно. — Через час будет готово.

Час тянулся томительно. На реке главный способ занять чем-то время — это взять спиннинг да побросать блесну. Я вышел к торчащим из воды сваям разрушенного моста — река меж них гнулась буграми — и долго пытался провести “вертушку” по самой стремнине, по мускулисто напрягшимся струям. Но блесна была слишком легка, и река выбрасывала её на поверхность. Пару раз показалось, что была хватка, но я не был уверен, что блесна просто-напросто не ударялась о свай моста или донные камни. Кончилось тем, что блесна намертво зацепилась за свая на самой стремнине, там, куда лезть за ней было опасно: не хватало ещё напориться на старые гвозди. Да и вода была ледяная: стоял, как-никак, конец сентября. Пришлось, натянув лесу до звона, обрывать её и возвращаться к костру без блесны и без рыбы.

Зато кора уже сварилась, и я с интересом стал её пробовать. Вкус её неожиданно оказался очень даже неплох. Представьте себе очень жёсткую курицу, вываренную почти до безвкусия, но с отголоском горчинки и сладости, да ещё с лёгким запахом рыбы от окунёвых голов. В общем, было не просто съедобно, но даже и вкусно. Только вот чёлности уставали жевать волокнистую жёсткую массу; хорошо, что мы её нашинковали достаточно мелко, и можно было просто глотать один кусок за другим.

— Думаешь, усвоится? — спросил я товарища.

— Поживём — увидим, — резонно ответил он мне. — Ну, что? Ещё по тарелочке?

Мы съели весь котелок. Чувство сытости так меня оглушило, что я едва сумел встать и побрёл искать место для сна. Сон вообще составляет важнейшую часть обеда, особенно русского. Говорят, и Лжедмитрий был уличён в самозванстве, потому что он не спал днём, после обеда, что для русского было почти кошунством. А уж в походе, устав после гребли да набив себе пузо варёной корой, вздремнуть было необходимо.

Лёг в мелком осиннике, чья огненная листва трепетала вверх, как ручей, непрерывно шумящий на перекате. Сон накрыл сразу; я даже не стал, как обычно, кряхтеть и ворочаться, поудобней укладываясь между корней, и вот уже, уносимый полуденной дрёмой, я видел нос лодки, с которым сближались шумящие, пенные буруны переката. Но во сне отчего-то я был уверен, что мы пройдем перекат, даже не стукнувшись килем о камни. Может, причиной такого спокойствия был именно полный желудок? Набитый варёной корою, я был словно закован в броню; что, в самом деле, могло одолеть человека, который питается липовой заболонью, а потом спит на земле, ещё и получая от этого удовольствие?

КОРНЕВИЩЕ РОГОЗА. Долгое время я не любил сырые места: болота, пойменные луга и речные урёмы, охвостья прудов — те низины, где между кочек почмокивала вода, гундосили комары и где ноге не было твёрдой опоры. И в этой своей неприязни я был не одинок: по народным поверьям, именно вот в таких непролазных и топких местах обитает различная нечисть.

Но после многих походов, причём без запаса еды — что нашёл, то и съел, — я стал даже к болотам относиться совсем по-иному. Можно сказать, я стал ожидать встречи с ними, радуясь, когда впереди намечалась низина — обычно её начинали сухие деревья, — когда земля под ногами сырела, пружинила, и приходилось уже не брести напролом, а перескакивать с кочки на кочку. Причина же радости, с какой мы встречали болотца, была очень проста: в сырых местах много рогоза — растения, которое не единожды выручало нас в “голодных” походах. Если не ошибаюсь, по содержанию крахмала в корневищах рогоз превосходит картофель; нам даже кисель доводилось варить из него.

Конечно, рассуждать-то о ценности рогоза просто, а вот как раздобыть метр-другой корневища? Ведь это же надо в конце непростого походного дня лезть в болото! Одно представление о комарах и холодной болотной трясине уже вызывает озноб! Но делать нечего: голод не тётка. Разувшись и сняв штаны, со вздохом ступаешь в болотную ржавую жижу. Податливый торф проседает, урчит под ногами, и вода начинает кипеть от болотного газа. В эту минуту всегда вспоминается “Макбет”: “Земля, как и вода, рождает пузыри — и это были пузыри земли...”

Да, вот они, эти самые пузыри поднимаются вокруг твоих вязнущих ног целым облаком и обдают резким запахом серы. Так и кажется, следом за ними появится кто-то ещё — сердце сжимается то ли от холода, то ли от страха — и, сам удивляясь себе, торопливо и как-то совсем по-старушечьи осеменяешь себя крестным знаменем.

Цель же твоя — вон она, впереди, где стеной стоят высоченные стебли рогоза. Каждый стебель украшен коричневым толстым цилиндром, напоминающим шомпол эпохи наполеоновских войн. Кое-где эти цилиндры растрёпаны, и их рыжий пух покрывает болотные кочки и окна застойной воды.

Подобраться к рогозу непросто: приходится выдержать целую схватку с трясинной. Уже пожалел, что, раздеваясь, не снял и трусы: придётся теперь их сушить. Но вот, наконец, ухватился за крепкий, прогонистый стебель рогоза и потянул его на себя. Из ржавой воды с чмоканьем вылезло узловатое корневище. Оно всё в буграх и наростах, в свисающих слизистых нитях, в болотных червях и личинках стрекоз. Да, экземпляр мне попался отменный: он толщиной почти в руку, и погонного метра вполне бы хватило на суп. Но его сложно чистить: поди-ка, отмой-отскобли эту лишнюю грязь, да срежь все наросты и корки. Мы поступаем проще: берём только почки, что спрятались в пазухах корневища. По виду они напоминают чесночные гладкие дольки; двух-трёх горстей таких почек вполне хватит на ужин для двоих.

Я минут уже десять копаюсь в болоте: вытаскиваю, одно за другим, корневища, рассматриваю их и отламываю сочно хрустящие почки, удивляясь их гладкости, белизне, чистоте, пока не наполню ими карман “брезентухи”. “Пожалуй, хватит”, — думаю я и вдруг удивляюсь тому, что мне вовсе не хочется вылезать из болота, в которое так не хотелось недавно входить. Я привык-притерпелся и к хлопанию этой вот жижи, которая больше не кажется мне ледяной, и к податливой вязкости торфа, и даже к сернистому запаху донного газа, который щекочет мне ноги. Я вошёл в этот мир, почти принял его, как и он почти принял меня, и даже болотные птахи перестали меня опасаться. Вот воробей — и откуда он взялся в болоте? — присел на согнувшийся стебель рогоза и начал азартно трепать его рыжий цилиндр — так, что пух полетел над трясинной. Вот пёстрый дятел припал к сухой ели, торчащей из топи, и выдал весёлую дробь. А ворон, огромный и угольно-чёрный, пролетел надо мною так низко, что я ощутил колыхание воздуха от его тугих взмахов.

Выходит, всё дело в том, как мы сами относимся к миру, и он отвечает на наше к нему отношение, становясь и добрее, и ласковей к нам. Вражда порождает вражду, а добро и доверие порождают добро — вот какое открытие вместе с рогозом я выношу из болота. Что ж, ради этого стоило лезть в ледяную жижу. Редко когда я бывал таким грязным, как в ту минуту, когда вылезал из болота, и редко когда бывал так просветлён и спокоен. Даже тех комаров, что накинудились, алчно звеня, на мои голые ноги, даже комаров я не хлопал, как раньше, а только сгонял, улыбаясь при этом какой-то блаженной улыбкой...

КОТЕЛОК. Как вам такая картина: вечерний туман, низкий берег реки и костёр, над которым висит котелок? Для меня это зрелище сызмала невыразимо отрадно. Оно означает, — если попробовать всё же выразить это невыразимое чувство, — что всё идёт правильно, в мире царят и покой, и порядок: раз день завершается тем, что костёр тихо-мирно потрескивает на речном берегу, огонь лижет дно котелка, а в самом котелке варится каша. Чувства и мысли, похожие на “жизнь удалась”, или “всё слава Богу”, возникают тогда даже не в голове, а, скорей, где-то в сердце.

Потому можно сказать, что вечерний костёр и висающий над ним котелок для меня есть не просто устройство для приготовления пищи, а нечто сакральное — то, без чего мой мир был бы неполон. В конце концов, каждый из нас строит свой личный космос, и в моём мироздании котелок над костром почти так же необходим, как восход Солнца или речь на родном языке. Наша жизнь обязательно чем-то должна быть согрета, чем-то очень простым, человеческим, близким, и когда я мешаю какой-нибудь струганой палкой бурлящую кашу или снимаю пену с ухи, мне тогда кажется, что не так уж я и одинок в этом мире, под этими звёздами, что так чисто и холодно светятся над головой...

В предмете значительном — таком, как котелок, — мелочей быть не может. Например, как мы с вами подвесим его над огнём? Привычки, традиции, флора и почва тех мест, где ты оказался с походным своим котелком, — всё влияет на способ подвески. Лучше всего то, что попроще: две рогулины, вбитые в землю, и перекладина между ними, протая в дужку котла.

Впрочем, на “северах” костровая подвеска ещё проще: там рогулину ставят только одну. Перекладина над ней торчит наискось: на её верхнем конце, над огнём, висит котелок, а нижний привален увесистым камнем. Но такая конструкция, на мой взгляд, слишком уж напряжённо-тревожна, и это её напряжение неизбежно передаётся душе. Где нет симметрии и равновесия — нет и покоя; а покой-то как раз в предвечерние эти часы у костра нам дороже всего.

В горах Крыма, где рогульки не вбить, приходилось устанавливать котелок на камнях. Получалось подобие очага, и сухой можжевельник пылал под котлом на горячем полынном ветру.

А на песчаных отмелях рек случалось устанавливать котелок на три сырых кольшка, вбитых прямо в кострище: вода в котелке закипает быстрее, чем эти кольшки перегорают. Есть ещё тросы, которые можно подвесить между деревьями; есть складные треноги; есть решётки-жаровни, на которые ставится котелок. Но это всё приспособления, скорее, для пикников, чем для серьёзных походов: не тащить же с собой в рюкзаке треногу или жаровню?

Как разнообразны способы подвески котелка над костром, так же разнообразны вес, форма, размер и самих котелков. Помнится, много лет котелком нам служила помятая и закопченная диоралевая кастрюля, к ручкам которой была подвязана дужка из проволоки. Нынче в моде котелки-каны: ёмкости продолговатой бобовидной формы, которые можно вставлять друг в друга, словно матрёшек. Нет слов — удобно. Но всё же привычнее котелок-полусфера: тот самый, классический, который и вызывает в душе все те мысли и чувства, о каких я писал выше. Именно такой котелок гармонически соотносится со всем, что его окружает: и округлой зелёной палаткой, стоящей поодаль, и жёлтой половинкой луны, что восходит над лесом, и с той полусферой звёздного неба, что накрывает нас легкой ночью.

А сколько загадок таит в себе котелок — вещь, казалось бы, примитивно простая! Как объяснить, например, вот такое туристическое поверье (подтверждавшееся в моём личном опыте множество раз): если, не отрываясь, смотреть на воду, налитую в котелок, то она очень долго не закипает? Вода словно стесняется нашего взгляда; словно та сокровенная встреча огня и воды, что совершается в недрах котла, не должна быть доступна случайному или равнодушному зрителю.

Но даже зная об этом мистическом свойстве, отвести глаза от воды, начинающей закипать в котелке, почти так же трудно, как, скажем, от раздевающейся на берегу юной купальщицы. Вот от стенок котла начинается едва видимое струенье, вот по днищу во множестве высыпают жемчужные пузырьки, которые наливаются, зреют, растут и вдруг, трепеща, отрываются и взмывают к поверхности. От воды поднимается пар, который мешается с дымом костра, а тот, расстилаясь по-над росистой травой, смешивается с туманом, слоями ложащимся над луговиной. И всё же это ещё не кипенье; должно пройти время, чтобы уже не отдельные пузырьки, а целые их ручейки заструились от днища и побежали к поверхности, чтоб ожившей воде стало тесно внутри напряжённо подрагивающего котелка. И вот когда она вдруг замужется, взбуржится, а потом начнёт даже кидаться за борт котелка, с шипением заливая костёр, — вот только тогда время сыпать крупу.

Кружка гречки, опрокинутая в бурлящий котёл, мгновенно останавливает кипенье и ложится по дну рябым, ровным слоем. Но чуть погода этот слой начинает подрагивать: так родниковые струи приподнимают донный песок, заставляя его танцевать.

И вот уже затанцевала вся гречка. Рябые крупинки взлетают всё выше и выше, потом они разбухают — и скоро котелок с гречкой напоминает не столько родник, сколько жерло небольшого вулкана. Лава гречневой каши непрерывно извергается из его недр, вспучивается и выворачивает саму же себя наизнанку. Когда каша поспела, — а это легко понять даже на слух, ибо она уже не клокочет, а всхлипывает, — самое время открывать тушёнку. Знаете ещё одно туристическое поверье: “Чем веселее свинья на банке — тем хуже тушёнка”? Но сегодня нам, кажется, повезло: мордочка нашей свиньи на редкость уныла.

Впрочем, тушёнку, я думаю, вы добавите в кашу и без меня. Я же пока посижу у реки, погляжу на вечернюю воду, да запишу в блокнот мысли о котелке и о гречневой каше.

КРУЖКА ВОДЫ. Когда кружка воды означает спасение? Я говорю не о тех ситуациях, когда человек умирает от жажды в пустыне, но о самой обыденной жизни.

Вот представьте: вы просыпаетесь мутным и тягостным послепраздничным утром и, томимые жаждой, шарите в сумерках кухни, наливая неверной рукой возделенную кружку воды. Ведь самое тяжкое в состоянии похмелья — именно та безотрадная сухость, в которую ты погружён, словно в жаркий песок. Кажется, что из тебя ушла жизнь; что не одно только тело, но даже душа (если б её можно было увидеть) потрескалась и почернела, как земля в засуху. И чудится, что из её пыльных трещин вот-вот начнут выбираться разные там пауки, сколопендры да аспиды...

Но ещё хуже, чем сухость, глубинное чувство вины. Может, ты накануне ничего и не сделал особо плохого, но сейчас виноват уже тем, что ты существуешь и не можешь никак в этот тяжкий утренний час оправдать своё бессмысленное существование. Твоя нынешняя вина — вина перед всем, так сказать, бытием...

Словом, если мы и способны почувствовать ещё на земле и при жизни дыхание ада, то похмельная жажда и неотступное чувство вины уже нам дают представление о тех безнадежных пространствах, где сохнет, мертвеет и гибнет душа. Ад — он всегда рядом, и не надо, как писал Гоголь, ходить за чёртом тому, у кого он за плечами.

Но жизнь милосердна к своим непутёвым питомцам: хоть близок ад, но ещё ближе спасение. И нынешним утром оно воплощается в этой кружке воды, за которую ты ухватился, как утопающий за спасательный круг. Припадая сухими губами к её запотевшему краю, ты жадно пьёшь саму жизнь. И с каждым глотком, что прохладной волной омывает твоё пересохшее горло, ты утоляешь не только похмельную жажду, но ещё и вымаливаешь прощение. Чувство вины, что так жгло твою душу, понемногу стихает...

А всего-то, казалось бы, — кружка воды! Но Бог — в мелочах; порою достаточно кружки воды, чтобы почувствовать благодатную силу прощения. Значит, мелочь — уже не такая и мелочь; неслучайно же именно кружка воды так нередко приходит на ум, когда вспоминают о смерти. “Кто подаст ему кружку воды?” — вопрошают, имея в виду тяжкий труд умирания. Стало быть, и на последнем земном переходе — из жизни в смерть — кружка воды может нам помочь. Предсмертная кружка становится той последнею милостью, которую нам дарит жизнь; и надо молиться не только о том, чтобы был рядом тот, кто её поднесёт, но и чтобы нам, уходящим, хватило бы сил принять этот дар с благодарностью.

КУЛЁК. Вот пришли времена: уже надо объяснять молодёжи, что такое кулёк! А полвека назад редко какой покупатель выходил из продуктового магазина без кулька в руке либо в сетке-авоське (тоже, кстати, слово-реликт).

Кулёк — то есть конус из серой (иногда синей), шершавой, очень приятной на ощупь бумаги — был тогда универсальной упаковкой. В кульках несли всё: сахар и яйца, конфеты и пряники, муку и крупу, макароны и семечки. Даже селёдку бросали в кулёк — и сквозь бумагу проступало масляное пятно. Или, скажем, подсолнечная халва — она тоже пропитывала бумагу, и кулёк становился пахучим и сладким, почти съедобным.

Всегда нравилось наблюдать, как продавщица где-нибудь в сумраке сельского магазина виртуозно сворачивает кулёк. Она берёт лист бумаги из стопки, встряхивает его с лёгким хлопком, затем стремительно оборачивает вокруг собственной полной руки, ловко заламывает вершинку, — и вот перед ней ровный конус, в который скоро с шуршаньем начнут сыпаться сахар или крупа. В магазине прохладно и пусто, с потолка висят клейкие ленты, на которых брызжат невезучие мухи, а по углам стоит и висит всякая всячина, которую так интересно рассматривать. Тазы и решёта, серпы и лопаты,

примусы и керогазы, лампы “летучая мышь”, дымари, сапоги и калоши, чугунки и ухваты, печные заслонки, мышеловки и конопляные веники — всё, что могло пригодиться в сельском быту и чем здесь торговали вместе с продуктами.

Удивительно, до чего проста была тогда жизнь: всё её материальное, так сказать, обеспечение помещалось в единственной на всю деревню лавке под названием “сельпо”. И эта жизнь — во что сейчас даже трудно поверить — была практически безотходной. Ни мусора, ни, тем более, мусорных свалок тогда просто-напросто не существовало. Все съестные остатки доставались курам или поросётам; всё, что могло гореть, оказывалось в печи; верёвочкам, крышечкам или коробочкам обязательно находилось место в хозяйстве. Взять, к примеру, какую-нибудь круглую жестяную коробку из-под селедки — разве можно было её выбросить? Нет, отмытая от сельдяного рассола, она или служила хозяину хранилищем для гвоздей, — а гвоздь, даже гнутый и ржавый, был тогда большой ценностью, — или становилась кормовой миской для дворового Тузика.

Это я всё к тому, что нынешние времена, по сравнению с аркадской идиллией моего детства, буквально выбросили нас на свалку: упаковочного мусора вокруг столько, что мы рискуем быть захоронены в его горах. Наша цивилизация превратилась в прямом смысле в цивилизацию упаковок. Полюбуйтесь какой-нибудь компанией горожан, выехавших на пикник. Да, посидят они у костерка или мангала, подурчатся, выпьют-закусят, пожарят свои шашлыки, но упаковок, бутылок, пакетов оставят после себя целую гору! И ведь это всё вечный мусор: пластик, которым отдыхающие осквернили природу, переживёт их самих, их детей, внуков и правнуков.

А кроме того, цивилизация упаковок — это мир видимостей и обманов. Никакая вещь, спрятанная в ярко-призывную оболочку, не может быть так хороша, так вкусна и полезна, как об этом кричат картинки и надписи на упаковке. Скорее, всё наоборот: чем ярче форма, тем скуднее (порой, и опаснее!) содержимое.

Поневоле со вздохом и нежностью вспомнишь о старом добром кульке из обёрточной серой бумаги. Он был скромненький, да честен: лишнего не сулил, а уж если что нёс в себе, так добротное и настоящее. И финал кулька всегда был достойным. Какое-то время он хранил те продукты, что были завернуты в нём; потом бумага кулька могла стать обёрткой, к примеру, куриных яиц, уложенных в старой плетёной корзине. Но, в конце концов, любой из бумажных кульков становился печною растопкой. Бумага комкалась; этот комок подсовывался под щепки, лежащие в топке печи, и скоро бумага смуглела от зыбкого пламени спички. Кулёк служил людям последнюю службу: он становился огнём, а потом улетал в виде сажи и жара в печную трубу...

КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ. Какой только нынче не встретишь литературы по кулинарии! Стоит зайти в книжный магазин — глаза разбегаются от обилия ярких обложек и сотен названий, призывающих нас к наслаждениям чревоутодия. Никакой Лев Толстой не издаётся так нарядно и привлекательно, как какой-нибудь сборник “Рецепты тёти Моти” или “Тайны кулинарии аборигенов острова Окинава”.

Но глянecь и золото этих изданий во мне лично аппетита не пробуждают. То ли я чувствую во всём этом некий подвох — уж больно всё пёстро и броско! — то ли вкусы мои, что сложились ещё в прошлом веке, расходятся со вкусами нынешних дней, и взгляд почти равнодушно соскальзывает с лакированных ярких обложек.

Зато до чего интересно держать в руках старую, а ещё лучше — старинную кулинарную книгу, ту, которая передавалась от бабушек к внукам и на страницах которой остались следы поколений. Полистайте какой-нибудь пожелтевший, затрёпанный том “Домоводства” или “Книги о вкусной и здоровой пище” — той самой, которая пятьдесят лет назад играла роль катехизиса, книги ответов на основные жизненные вопросы. Вы сразу почувствуете, как много жизни хранит эта старая книга, в том числе и потому, что традиции быта, как правило, переживают крушения царств и империй, триумфы

и гибель вождей, ужасы войн и судороги революций. Кухонный очаг долговечней дворца, и насущные интересы желудка всегда будут людям ближе политических лозунгов или партийных пристрастий. Как известно, “любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда”. Что можно добавить к печальной и мудрой улыбке этого народного изречения?

Давайте же полистаем старую кулинарную книгу. Закладками в ней служат то ломкий засохший цветок, то листок отрывного календаря, несущий память о дне, что давно канул в Лету, то нитка или лоскуток пёстрой ткани, а чаще всего — страничка с рукописным рецептом, услышанным от подруги или соседки, и дополняющим том кулинарного руководства. Эти листочки бывают обычно помяты, захватаны пальцами и забрызганы жиром; но зато можно сказать, что старинные кулинарные книги непрерывно дписываются теми, кто ими пользуется.

По этим вкладышам можно порой догадаться, какому празднику предназначалось жаркое или пирог, чьи следы отпечатались на листке разлинованной школьной тетради. Вот, скажем, рецепт гуся с яблоками: это, конечно же, Новый год или Рождество, это ёлка, гирлянды и свечи, оранжевые мандарины и непрменный салат “оливье”, это ожидание счастья, которое в нас сохраняется на всю жизнь.

А вот рецепт пасхального кулича: сразу же представляешь апрельское ясное утро, счастливых старушек, бредущих от всенощной, пасхальные возгласы и поцелуи, и горку малиновых, синих, зелёных и пёстрых яиц на столе.

Рецепт окрошки — это, скорей всего, Троица: день, когда храмы пахнут берёзой, а поселковая наша околица — свежескошенным сеном.

А сладкие пироги — это дни рожденья детей. Духовка раскрыта, она пышет жаром, а масляный противень глухо гремит, когда по нему расстилают корж теста и заливают его ярко-алым вишнёвым вареньем. И та девочка, что зачарованно смотрит на эту картину, девочка, которая спустя много лет сама станет бабушкой и будет печь внукам праздничные пироги, не будет ли и она воскрешать в памяти этот вишнёвый пирог как самое сладкое воспоминание жизни?

ЛЕДЕНЕЦ. Можно, конечно, сварить леденец самому, как мы это и делали в детстве. Берёшь ложку сахара, держишь её над огнём, и сахар тает, желтеет, и вязкий сироп начинает кипеть. Янтарные пузыри разбухают и лопаются — и тогда убираешь с огня закопченную ложку, чтоб твой леденец мог остыть.

Его сладкий, с оттенком горелого, вкус памятен до сих пор, и памятно то удивление, с каким я наблюдал переход вещества из одного состояния в другое. Только что в ложке был сахар, сыпучий и белый, и вот в ней пузырится вязкая карамель, а вот уже, стукнув ложкой о стол, я выбиваю из неё гладкий и твёрдый, как камень, кусок леденца.

Но ещё большее удивление и восхищение вызывал “петушок на палочке” — популярное лакомство прежних лет. Эти леденцы продавались обычно с лотков, во время каких-нибудь празднеств или гуляний. Помнишь, спрашиваю я самого же себя, как лежали они, слипшись боками, на вощёной бумаге торговца и с каким целующимся звуком отлеплялись один от другого? Цвет леденца был обычно янтарным, хотя попадались и красные, и зелёные петушки. А размер его был таким, что, засунутый в рот целиком, леденец выширал изнутри детских щёк и раздвигал губы в оцепенелой улыбке, посередине которой торчала липкая палочка-черенок.

Чем больше ты облизывал леденец, заглаживая языком его острые рёбра, тем он становился прозрачней — уже до того, что сквозь петушка можно было увидеть и солнце, и ствол ближнего дерева, и даже шагающих мимо людей. Иногда начинало казаться: всё то, что видишь, находится не за леденцом, а внутри него, в его собственном полупрозрачном теле, которое словно содержит в себе целый сказочный мир. Этот мир завораживал, всё в нём светилося янтарным, таинственным светом. Ребёнком ты ещё не понимал слова “преображение”, но сквозь леденец, истаявший до толщины бутылочного

стекла, ты видел мир уже как бы преображённым, таким же, каков он есть, только лучше.

А иногда, отвлечённый чем-либо, ты совал недоеденного петушка в карман и надолго о нём забывал. Помнишь, как потом было странно и грустно доставать леденец из кармана штанов или куртки? Он был потускневший и жалкий, облепленный сором, ничтожный. И куда подевалось бывшее его волшебство? Пытаясь хоть что-то исправить, стараясь вернуть тот таинственный мир, что тебе померещился давеча внутри леденца, ты начинал отлеплять от него шелуху семечек, нитки и хлебные крошки, комочки свалявшейся шерсти — тот сор, которого леденец нахватался в кармане. Но усилия были напрасны: петушок оставался безжизнен и тускл.

И вот только когда ты слизывал с угловато-шершавого, сладкого тельца соринки, ворсинки и крошки, тогда леденец оживал. Он опять становился прозрачен и гладок, и в нём ненадолго опять возникал тот таинственный свет, в котором волшебю менялся весь мир. Поднося леденец к глазам, ты опять видел сказку, тот мир, что как будто похож на обычный, но только прекрасней его. Одно было плохо: леденец быстро таял, а с ним исчезало оконце в тот сказочный мир ...

ЛЕПЁШКИ. Речь пойдёт даже не о лепёшках из пресного теста, а, скорей, о давнишней мечте. Была у меня в детстве любимая книжка: “Мумитролль и комета”. И был в ней рисунок, сделанный самой Туве Янссон, автором книги: Снусмумрик, один из героев, сидит у костра меж корней старого дерева и печёт на сковородке лепёшки. Уж не знаю, чем так покорила меня этот рисунок — быть может, каким-то уютом печали, что наполнял и его, и всю книгу? — но всё моё детство, а потом и всю молодость во мне сохранялась мечта: когда-нибудь тоже вот так, как Снусмумрик, расположиться у старых древесных корней, развести костерок и вот так же неспешно испечь полдюжину лепёшек. Смутно мерещилось, что ничего лучшего в жизни не может и быть и что вполне счастлив я стану только тогда, когда на мерцающих углях костра зашкворчит сковородка, а на ней, становясь всё румянее, будут подпрыгивать ноздреватые кляксы из теста...

Ждал я этой минуты лет, наверное, двадцать. И вот наконец всё совпало: и вечер, и берег реки, и костёр, чьи блики мерцают на тёмной воде. Пошевелишь дрова — искры взлетают и гаснут в ветвях старой ивы, по чьим оголённым корням так удобно спускаться к реке за водой. Я спустился и зачерпнул из реки котелком — отраженье костра задрожало, расплылось и снова собралось, — а потом, сев на корточки возле огня, начал смешивать в миске воду с мукой. На Снусмумрика, правда, я пока не был похож: слишком уж суетливо я растирал комки теста, и во мне ещё не было медленной грусти — той, без которой никак не испечь настоящих походных лепёшек.

Лишь когда тесто было готово, и на крышке от котелка (заменявшей мне сковородку) шкворчал кусок сала, и ночь пододвинулась ближе, потому что костёр уже не плясал языками огня, а лежал грудой жарких, мерцающих углей, — лишь тогда ощутил я толчок затаённой печали, которая мне говорила: “Едва ты исполнишь мечту, как расстанешься с ней”. Что же, подумал я, пришло время расстаться и с давней мечтой о лепёшках — пришло время их печь...

Я даже тесто стряхивал с ложки на сковородку каким-то прощальным, как бы обрывающим что-то движением. Но не подумайте, что мне было плохо — нет, вовсе нет! — просто я так устроен, что грусть-печаль часто приходит как раз в те минуты, когда всё хорошо и когда, кажется, нечего больше желать. Я словно знал: всё, что будет потом, будет хуже вот этого вечера на реке, этой груды углей со шкворчащей на них сковородкой и этого чувства покоя, который приходит так редко и так ненадолго.

Края лепёшек уже подрумянились — пора было их переверачивать. Я загодя выстругал плоскую щепку (вспомнив, что именно щепкой пользовались герои любимой книги) и теперь, поддевая лепёшки, одну за другой перебрывал их наизнанку. Шкворчание теста вмиг сделалось громче, хлебный дух поплыл над костром — и какая-то птица (или, быть может, летучая мышь?)

так бесшумно и низко скользнула над головой, словно ей тоже хотелось лепёшек.

Не терпелось и мне. Подцепляя лепёшку ножом, обжигаясь и дуя, кусая хрустящий обугленный край, я начал есть — спору нет, было вкусно! — но всё же в азарте еды, в торопливом жевании — в этом всё оставалось уже очень мало от той мечты о лепёшках, с которой я отправлялся в поход. Можно сказать, я свою мечту съел; и мне становилось так грустно и так одиноко, как будто я в самом деле не знал: как жить дальше? Костёр догорал, от реки поднимался туман, становилось сыро и зябко; и ночь, что была у меня впереди, представлялась огромной и неодолимой...

ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА. В годы нашего студенчества килограмм ливерной колбасы стоил шестьдесят копеек — деньги пустяшные! — и это было хорошим обедом для трёх-четырёх человек. Ещё брали буханку чёрного хлеба (“Орловский”, 16 копеек); не исключалась и пара бутылок портвейна. Самый дешёвый, на этикетке которого красовались три цифры “семь” — мы его называли “три топора” — стоил рубль с небольшим; самый же дорогой, “Молдавский” — по-нашему, “мужик в шляпе” — тянул, если не ошибаюсь, аж на три сорок.

Сейчас я и сам удивляюсь, почему так отрадны воспоминания о той простецкой еде и даже о мизерных ценах тогдашней поры? Или вообще всё, что связано с молодостью, с годами становится всё драгоценнее? Или и впрямь та эпоха была исключительной и неповторимой, и всё, что напоминает о ней — даже мелочи быта — имеет особую ценность?

Итак, ливерная колбаса. Выйдя из магазина с её тяжелым и гладким пахучим кольцом, так приятно свисавшим с ладони, мы решали: а где же сядем перекусить? Смоленск замечателен тем, что почти в центре города есть заповедное место: старинная крепостная стена. Вот к подножию этой стены мы обычно и направлялись. В те годы она была полуразвалена, словно поляки только что осаждали её, а героический Шеин возглавлял оборону Смоленска, и пустынные склоны холмов за стеной выглядели примерно так же, как и в шестнадцатом веке. Вот как раз там, у подножия башни Орёл, мы и начинали наш студенческий пир.

Голод и молодость — лучшие из поваров. Потом, уже в зрелости, приходилось мне пробовать кушанья и поизысканней; но никакое из них не сравнялось с краюхою ноздреватого серого хлеба и куском ливерной колбасы. Помните, как колбасная оболочка туго лопалась на изгибе, и упоительный ливерный запах окутывал нас, словно облако?

А портвейн? Как забыть о портвейне, об этой тяжёлой бутылке, которая на тогдашнем жаргоне называлась “огнетушитель”? Упругий пластиковый колпачок на нём сидел так плотно, что снять его было непросто... Уж чем только мы ни пытались сдёрнуть его — зубами, ногтями, ключами — пока, наконец, не поддевали и не срывали крышку какой-то ржавой железкой (быть может, осколком военной поры?), что валялась в пыли под стеной.

И почему-то сама прочность и плотность пластмассовой крышки бутылки нас радовала. Казалось, уж если предмет заурядный — какая-то крышка — настолько надёжен и несокрушим, то как же прочна должна быть та жизнь, что нас окружает? Мерещилось, что нас всех, всю нашу эпоху, со всем её подвижимым и недвижимым содержимым защищает от сквозняков перемен какая-то тоже незримая крышка, какой-то колпак, что надет на всех нас; и пока эта крышка не сдёрнута, портвейн будет крепок и сладок, а колбаса будет очень дешёвой и вкусной, и мы все будем жить, словно в раю, где время остановилось.

Но всё оказалось иначе. Не успели мы там, под старинной стеной, попить вволю портвейна и вдоволь наестся ливерной колбасы, как страна и эпоха, любимые нами, исчезли. Не успев повстречаться, мы, сами того не зная, уже провозжали эпоху, а заодно уж прощались и сами с собой, молодыми.

Но ещё поразительней то, что всё сохранилось: и молодость, и руины старинной стены, и бутылка портвейна с тугою пластмассовой крышкой, и стая стрижей, свиристевших над нами, и тот тугой хруст, с каким мы

ломали кольцо ливерной колбасы. Когда я вспоминаю об этом, потом кое-какие из воспоминаний записываю, потом перечитываю то, что сумел записать, былое встаёт предо мною не просто таким же, как было когда-то, а ещё даже более ярким и достоверно-живым.

И вот это, конечно же, чудо: то, что память и слово способны не просто бороться со временем, а могут ещё воскрешать былое в каком-то лучшем, преображённом виде. Ведь даже та ливерная колбаса, которую я уплетал, запивая портвейном, в какой-то далёкий, почти незапамятный день — тогда она мне не казалась настолько вкусна и желанна, как кажется в эту минуту, когда я словно чувствую пальцами её гладкую кожу, вдыхаю её пряный запах и когда всё прочнее во мне убеждение, что ничто из бывшего не исчезает бесследно...

ЛОЖКА. Что, казалось бы, проще, обыденней ложки? Каждый день мы берём её в руки, зачерпываем ею суп или кашу, или позвякиваем в чайном стакане, почти не обращая на неё, ложку, внимания. Но если вдуматься, этот предмет не так прост. Уже одно то, что ложке посвящены десятки пословиц и поговорок, заставляет взглянуть на неё с интересом. Тут и “дорога ложка к обеду”, и “одною ложкою щи хлебаем”, и “ложкой кормит, а стеблем глаз колет”, и пресловутая “ложка дёгтя в бочке мёда” — читатель, если желает, сам может продолжить этот ряд поговорок и присказок.

А ведь ложкою, кетати сказать, богаты далеко не все цивилизации или народы. Кто-то за трапезой обходится вовсе без приспособлений — первобытным народам они неизвестны, — а кто-то, имея возможность есть ложкой, сознательно отказывается от неё. Известно же, что главная пища Азии, плов, гораздо вкуснее, если брать его прямо пальцами. Иногда вместо ложки используется ломоть хлеба: так, я множество раз наблюдал, как индусы черпают острейшее чечевичное хлёбово куском лепёшки-чапати. А японские или китайские палочки, из которых у европейских туристов вываливается еда, но которыми аборигены пользуются так виртуозно?

Так что давайте подробнее поговорим о старинной, испытанной нашей подруге — о ложке. А начнём мы, пожалуй, с того, что самая первая ложка — это наша ладонь. Кому не случалось, страдая от зноя, напиться холодной воды из горсти, а потом отереть ледяною ладонью пылающий лоб? По образу нашей ладони и создана ложка; можно сказать, это самый первый протез — то есть искусственный орган, — который придумало человечество.

Первая же настоящая ложка, с которой мы с вами встречаемся ещё во младенчестве, — та, что дарится нам “на зубок”. Она обычно серебряная, очень нарядная, и на черенке её красуется забавный какой-нибудь зайчик или медвежонок. И молодые родители просто млеют от счастья, когда эта ложка вдруг стукнет о первые зубки младенца...

Но я своей младенческой ложки не помню. Зато хорошо помню ложку немецкую, оставшуюся с войны: она была склёпана с вилок и складывалась вдвойне — так, что было удобно сунуть её хоть в карман, хоть в сапог. Эта ложка стала настоящей реликвией нашей семьи: отступая во время сражения под Курском, немецкий солдат обронил её в хате деревни Камыш, где жил тогда мой трёхлетний отец, и потом я, родившийся через двадцать лет после войны, часто вертел в руках этот военный трофей. Уже по одной этой ложке можно было понять, до чего же могучею силой был вермахт — и чего нам, русским, стоило его сокрушить. Уж если простая солдатская ложка была сделана так основательно — её заклёпка не разболталась за столько лет! — то что же тогда говорить об автоматах и пулемётах, о самолётах и танках? Чтобы победить армию, вооружённую, в том числе, и такими вот ложками, в семье Панюковых (это семья моей бабушки по отцу) из пяти братьев, ушедших на фронт, пали четверо — вот цена этой ложки, брошенной в хате деревни Камыш отступавшим немецким солдатом.

Большинство из тех ложек, что мне приходилось потом держать в пальцах, — детских, мальчишеских, подростковых — в памяти не задержались. Но вот что меня удивило и что я запомнил — так это дюралевые гнутые ложки родного советского “Общепита”. Они, небрежно сполоснутые тёткой-по-

судомойкой, лежали обычно в гремящих железных лотках, и большинство из них было странным образом покорёжено. Черенок был то завит винтом, то согнут в дугу, то вовсе отломан, словно эти казённые ложки нарочно терзала и портила неведомая сила. А потом, полюбив “Общепит” и проведя немало часов в его сумрачных недрах, я не раз наблюдал, как подвыпившие мужики увечат эти самые ложки, как их крутят и гнут в грубых пальцах, как черенки чуть ли не завязывают в узел, и какая при этом тоска наполняет хмельные, угрюмые взоры. Словно жизнь была мужикам так тяжела, так давила и мучила их, что это мучение неосознанно передавалось их пальцам, терзающим ложку, отчего она, бедная, и превращалась в уродливо скрученный жгут.

Но вот какую ложку свернуть в узел было нельзя, так это исконно крестьянскую, деревянную; её можно было только сломать или сжечь. Оставшись, быть может, последним из символов изыяной деревенской Руси — той, есенинско-клюевской, канувшей в Лету, — деревянная ложка доносит до нас отголоски традиционного строя веками отлаженной жизни. Тем более что деревянная ложка давно уж не столько прибор для еды, сколько ещё и музыкальный инструмент или объект декоративного искусства. Костяной перестук этих ложек, рассыпанный под “Камаринского” или под “Барыню”, напоминает лихой перестук кастаньет, их испанских сестёр.

А когда деревянные ложки расписаны мастерами из Палеха или Мстёры, то глаз не оторвать от их лаковой пестроты, от яркости черни и золота, охры и киновари. Такую ложку и в суп-то бывает жаль опускать — её только держать, как цветок, за стебель, да любоваться её красочным буйством.

Но когда всё же ешь деревянной ложкой, то возникает чувство, что ты поедаетшь именно ложку; а сама еда — это всего лишь придаток к ней. Ты и облизываешь ложку, и прикусываешь её, и стараешься так её обсосать, словно это не ложка, а мозговая сладкая кость. Недаром деревянные ложки, бывшие в частом употреблении, становятся стёрты, обгрызены и именно “съедены”, как о них говорят.

Излишне писать, что любая еда, если зачёрпывать её деревянной ложкой, обретает вкус изначальный и правильный. Разве можно сравнить горшок гречневой каши или тарелку наваристых щей, рядом с которыми мы положили любимую деревянную ложку, с теми же блюдами, но оснащёнными ложкой стальной? Есть простую, исконную пищу металлической ложкой — почти то же самое, что выйти на пахоту или покос в бальных лаковых туфлях: смешно, неуместно, неловко.

Вообще, раз уж мы заговорили о деревянных ложках, можно добавить, что расписная липовая ложка — своего рода портрет той нации, что её сотворила. Она и проста, даже, можно сказать, простодушно-наивна, она небогата и недолговечна (а русские и до сих пор живут меньше других), но, в то же самое время, душевна, тепла и нарядна, и очень талантлива. Деревянная ложка — это и танец, и песня, которую мы порой держим в руках, часто даже не замечая того, каким праздником нас одарила судьба.

ЛОЗА ЧЕРНОГОРИИ. Черногория очень красива. Но, как всегда, чем прекрасней что-либо, тем труднее поведать об этом словами. Это как с девушкой: чем она больше нравится, тем глупее твой вид и нескладнее речи.

Вот как отразить на бумаге не просто серпантин горной дороги — наш как бы взлёт по каньону, над бирюзовою лентой реки, что мелькает внизу, среди бурых скал, но ещё и ту смесь восторга и страха, которая охватывала, когда колесо автобуса на поворотах чуть ли не повисало над бездной, где на дне пропасти ржавели останки рухнувших туда автомобилей? А водитель, к тому же, гнал так, словно он торопился скорее попасть не то в рай, не то в ад — уж не знаю, куда ему было назначено.

Наконец, мы остановились у горного монастыря и с облегчением ступили на твёрдую землю. Я, как обычно, отбилса от группы и пошёл побродить по задворкам: мимо пасеки, где возился монах с дымарём, мимо скудного монастырского огорода и виноградника, обошёл вокруг храма, который по форме и цвету почти не отличался от окружающих скал, и вышел к церковной

лавке, где торговали богослужебною утварью. Здесь были свечи, кресты и иконки, цепочки и чётки, бутылочки масла, молитвенники и лампадки цветного стекла. И вдруг среди этих мерцающих позолотой предметов я увидел приличных размеров бутылку, на которой было написано “лоза”. Встретить бутылку виноградного самогона вот именно здесь, где всё было чинно и благопристойно, где воздух пропитан был воском и ладаном, вовсе не показалось мне странным. Я вспомнил, что латинское “spiritus” означает как “спирт”, так и “дух”. Да и само получение спирта — возгонку — изобрели как раз в монастырях, ещё в раннем Средневековье, так что здешняя лоза занимала своё законное место.

Старая женщина, что торговала в той лавке, заметила, как я внимательно рассматриваю бутылку, и, улыбнувшись, спросила:

— Русия?

— Русия, — кивнул я в ответ.

И не дожидаясь, что я у неё попрошу, старушка налила мне полную рюмку пахучего и ледяного — аж запотело стекло! — самогона.

— На здравие! — сказал я, подняв рюмку, залпом выпил и вытер слезу: уж очень крепка оказалась та монастырская лоза.

Я бы, конечно, ещё постоял рядом с доброй старушкой, поговорил бы о чём-нибудь с ней — рюмка лозы магическим образом увеличила мой запас сербских слов, но, увы, пора было ехать.

Автобус, натужно гудя, опять потащил нас выше и выше по серпантину, колёса на поворотах снова едва не зависали над пропастью, но теперь, после выпитой лозы, почти не было страшно. Не то чтобы действовал хмель — он почти и не ощущался, — но в душе укреплялось глубокое чувство покоя. Как будто возгонка — процесс, при котором из виноградных отжимок получается самогон, — могла совершиться с любым из предметов и даже с любым состоянием души. Недавно тебе было страшно смотреть на ту пропасть, по краю которой, гудя, поднимался автобус; но теперь только чувство полёта вызывали те горные виды, что открывались глазам. Склоны гор становились всё более голы, по каменным осыпям медленно лился туман — или мы уже въехали в слой облаков? — и орлы, что кружили под нами, казались теперь не крупнее ворон. Туман становился всё гуще — водителю даже пришлось включить фары — и уже начинало мерещиться, что подъём бесконечен: если вдруг кончится горная эта дорога, то наш автобус сумеет, натужно гудя, подниматься даже по облакам...

ЛУКОВИЦА. Согласитесь, приятно держать в руке золотисто-сухую и шелестящую луковичу. И, коль уж мы её взяли, что с нею делать?

Можно очистить её, нарезать на крупные сочные доли и, сморгнув слезу, поставить на кухонный стол. Можно, не очищая, положить её рядом с солонкой, буханкою хлеба и старым ножом с костяным черенком и писать натюрморт. А ещё можно, опустив луковичу в банку с водой, дожидаться, пока она пустит зелёные перья посередине морозной и снежной зимы.

Проросшая луковича на подоконнике, перед заиндевелым стеклом мне памятна с детства. Простая, казалось бы, вещь — что может быть проще луковичи? — становилась тогда чем-то праздничным и необыкновенным. Нарушался сам ход времён — среди зимы наступала весна! — и любой, кто бросал взгляд на проросшую луковичу, всегда улыбался.

Зелёные перья тянулись всё выше, а с донца луковичи всё гуще свисала борода из белёсых корней. Вода в банке мутнела; а сама луковича день ото дня становилась всё более дряблой, пустой: её сила и жизнь уходила в зелёные стрелы. Наступал тот момент, когда мама срывала два-три пера, шинковала их на доске и бросала в кастрюлю с картофельным супом.

— О-о, летом пахнет! — отец, прикрывая глаза, вдыхал острый луковый запах, и ты, подражая ему, начинал тоже старательно нюхать тарелку.

Действительно, пахло травую, полуденным зноем — пахло истомой далёкого летнего дня, которая сохранялась вот в этой луковиче, и даже зима не могла одолеть этих запахов лета и жизни.

С луковицей связано и ещё одно, уже школьное, воспоминание. Классе в пятом или шестом, когда мы начинали курс биологии, один из уроков был посвящён изучению клеток кожицы лука. Нам раздали предметные стёкла — они были прямоугольными, шероховатыми на торцах — и стёкла покровные, лёгкие, как лепестки. Потом по рядам пустили сахарно-белую луковицу. Каждому надо было пинцетом снять с неё полупрозрачную плёнку и разложить её на предметном стекле. Затем препарат нужно было прокрасить. Пипетка роняла с дрожащего кончика каплю рыжего йода, и она растекалась по луковой плёнке янтарным пятном. Теперь, накрыв кожицу лука невесомым покровным стеклом, можно было класть её под объектив микроскопа.

Тут я с трудом удерживаюсь, чтобы не пуститься в пространные описания самого микроскопа. Как сейчас, вижу его гнутый штатив, напоминающий чью-то усердно согбенную спину, его ствол, что нацелен туда, где обычное зрение бессильно, его круглый столик с блестящей пластиной-зажимом, с винтами подачи, и вижу тот солнечный блик от рефлектора, который было так интересно ловить. Сначала наводишь подвижное круглое зеркальце на окно, ловишь им свет и направляешь его в потаённый, загадочный мир микроскопа. И в момент, когда солнечный зайчик попал на отверстие столика, поле зрения вдруг озарилось, и в его светло-матовом круге ты угадывал некие контуры. Теперь, осторожно и не дыша, надо было чуть подработать винтами — объектив отступал на какие-то полмиллиметра, — и вдруг открывалась картина, которую я не могу позабыть до сих пор.

Ряды ровных клеток лежали в мерцающем, тающем блеске: цитоплазма, казалось, дышала, пузырьки вакуолей напоминали жемчужины, а зрочки карих клеточных ядер будто смотрели навстречу тебе, вопрошая: “Ну, как ты, приятель?”

И вот ныне, почти полвека спустя, я думаю: каково было жить тому мальчику, что находил друзей в клетках кожицы лука? Видимо, очень непросто: в большом одиночестве должен жить человек, для которого даже кожа лука — подруга. Но зато такой человек никогда и нигде не останется совершенно один: уж чего-чего, а луковицы жизнь для него не пожалеет...

МАЛИНА. “Не жизнь, а малина”, — говорим мы порой. Большею похвалы этой ягоде трудно и высказать; на этом вполне можно ставить точку.

Но жаль расставаться с малиной так скоро. Она-то нас не оставляет даже зимой, когда ты, иззябнув, уже начиная покашливать и шмыгать носом, ставишь на стол блюдце малинового варенья и принимаешься за целебное чаешитие. И удивительно, сколько жара содержит в себе это варенье: стоит проглотить пару сладких крупитчатых ложек, как в тебе словно костёр загорается, лоб и виски покрываются потом, и простуду буквально выпаривает из груди.

То, как много в малине сухого, добротного жара, ты знаешь и по весенним кострам. Как только в саду сходит снег, наступает пора выламывать старые малиновые побеги. Сухие высокие прутья ломаются с лёгким, стреляющим треском, почти что с таким, с каким они скоро займутся в костре. На глазах растёт грудка хвороста — пара лимонниц танцует над ней, — и это порхание бабочек над сухою малиной окончательно убеждает тебя: да, наступила весна.

Ну, что — поджигаем? Неуверенный огонёк спички сначала исчез внутри вороха прутьев, повалил густой белый дым, но вдруг как-то разом малиновый хворост оказался охвачен гудящим и бледным огнём! От костра польхнуло таким жаром, что, хотя ты и отшатнулся от пламени, от его гула и треска, но брови тебе всё равно опалило.

Вот это костёр! Сухая малина не просто сторает, а тает в огне; пламенный вихрь подхватывает и уносит вверх листья, мусор, золу и даже лёгкие ветки, которые вспыхивают и догорают уже на лету. Вилами ты подцепил на меже и бросил в огонь какую-то драную тряпку — то ли кофту, то ли рубаху? — и вот она вспыхнула тоже, и весенний костёр в этот миг стал почти ритуальным, он стал тем языческим пламенем, на котором сторает Зима-Кострома.

Ну, что же? Зима сожжена, теперь ждём в гости лето. А летом одно из любимых занятий — наведаться в сад по малину. Если утро росистое — листья малины темны, тяжелы; и рука, что ты сунул в куст, мгновенно становится мокрой по локоть. На ладонь липнет мелкий лиственный сор, паутина, какие-то мошки-козявки; но ты тянешь пальцы к тем налитым, почти чёрным от спелости ягодам, что падают, стоит только коснуться их мягко-ворсистого бока.

Вынимаешь ладонь из куста, когда в ней краснеет десяток малиновых ягод и, первым делом, вдохнёшь из горсти запах спелого лета. Наверное, именно эту минуту и представляют себе, когда говорят: “Эх, не жизнь, а малина!” Когда же одними губами подбираешь с ладони душистую мякоть, от чего-то всегда представляешь себе, что ты сейчас лошадь, которую кормит заботливо-щедрая чья-то рука. Что ж, поэт сказал верно: “все мы немножечко лошади”, и все мы нуждаемся в ласке, которой нам так не хватает.

МЁД. Конечно, мёд, да с краюхою свежего хлеба, — кушанье истинно райское. Даже в Библии говорится о нём. В Евангелии от Луки, где повествуется о явлении Христа ученикам уже после Воскресения, мы читаем: “Они подали ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред ними” (Лк, 42-43).

Но это касается воспоминаний всего человечества; для каждого же из нас есть свои собственные “медовые” воспоминания. Так, мне с раннего детства памятна пасека — мир клубящихся пчёл, дымарей, ульев, рамок, медогонок и сот — мир, прикасаясь к которому, я всё уверенней чувствую: рай существует.

И в этом раю, который, конечно же, есть уже потому, что мы с вами способны помыслить, представить его, не может не быть старых яблонь и ульев, стоящих под ними, запахов мёда, воска и дыма и слитного, словно органная fuga, гудения пчёл...

Пчеловодом был мой прадед, Денис Максимович Попов. Он прожил долго, девяносто три года, и поэтому я хорошо его помню. От старика исходил запах пасеки: запах холодного дыма, вошины и рамок — тех самых, что косо висели в сарае, на старинном кованом гвозде, вбитом в стену. Прадед был худощав, медителен и молчалив: таким и должен быть глубокий старик, тем более, пасечник. И я его, помню, любил, хотя откуда мне, пятилетнему, было знать, что такое любовь? Я всегда волновался, увидев Дениса Максимовича, и меня всегда тянуло к нему: хотелось встать рядом с ним, прижимаясь щекой к прохладному рукаву его пиджака (старик ходил в пиджаке даже в самое пекло), и подышать тем особенным запахом дыма и мёда, который, как я теперь понимаю, был будто дыханием вечности.

Прадед в неё, вечность, скоро и убыл; я же остался жить пока без него, в мире временном и несовершенном. Но пасека, о которой я нет-нет, да и вспоминаю. Те самые синие ульи, вольготно стоящие в тени старых яблонь, создают для меня как бы мост между жизнью и райскою вечностью. Это воспоминание, так неразрывно слившееся с мечтой, что я уже толком и не понимаю, в прошлое или в будущее устремляется внутренний взор, когда мысли о пасеке вновь посещают меня?

Часто думаю: неужели жизнь не подарит мне, пускай в самом конце, летний полдень, наполненный слитным гудением пчёл? Попыхтев дымарём, я медленно подойду к возбуждённому улью, гудящему, словно орган, и сниму с него крышку. Пчелиный клубящийся город со всем своим множеством сот, со всей суетою строительства и размноженья откроется мне, поразив, и уже не впервые, таким сходством с людскою, в суете и трудах протекающей жизнью. Я выну тяжёлую рамку, смахну с неё серых, легко отлетающих пчёл, увижу, что соты полны, и мысли о собственной смерти, которые в эту минуту меня посетят, не будут иметь ни особенной важности, ни интереса. “Ну, помру так помру, — как-то очень обыденно, просто подумая о я. — Не я, как говорится, первый. Слава Богу, пожил, поработал, помаялся: что ещё нужно? Жизнь идёт, пчёлы гудят, взятки нынче хорошие — в такое-то славное лето не жаль и уйти...”

МИДИИ ЛИСКИ. Что же мы, не едали изысканных блюд? Ещё как едали! Вот, скажем, мидии.

В Лисей бухте Восточного Крыма — Лиске, как любовно её называют nudисты, что с давних времён приезжают сюда — впервые я оказался с молодой женой в знойный день августа. Склоны хребта Эчки-Даг плыли в мареве, море сонно вздыхало, а обнажённые люди, что загорали вокруг, казались почти миражами. Откровенная нагота для нас, детей пуританской советской эпохи, была ещё непривычна, и мне в самом деле казалось, что вон те две красотки почти шоколадного цвета существуют только в моей голове, отуманенной зноем.

Но не будешь же долго и тупо глазеть на голых красоток, забыв про жену и про море? И вот я ныряю, любуясь подводными скалами, серебристыми искрами рыб в толще бледно-зелёной воды и шустрыми крабами, что шныряют по дну. “Интересно, а что это там за ракушки на скалах, — думал я, фыркая и отдуваясь, и снова ныряя. — Наверное, мидии: что-то такое я слышал о них...” Через полчаса я наломал пару дюжин крупных мидий — и гордо показал сетку с добычей супруге.

— Что это? — удивилась Елена.

— Это мидии. Деликатес. Надо будет попробовать...

Но мой голос был, видно, не слишком уверенным, и Лена смотрела на чёрных моллюсков с большим недоверием. Для надёжности я решил проконсультироваться у аборигенов Лиски, nudистов: в самом ли деле съедобно то, что я набрал в сетку-авоську? Выбрал двух обнажённых наяд и направился к ним.

— Девушки, подскажите: а вот это есть можно? — я показал свою сетку с мидиями.

Красотки лениво взглянули на сетку, с которой сочилась вода, потом осмотрели меня — о, сколько всего было в их томных, насмешливых взглядах! — и, улыбнувшись, кивнули:

— Да, можно...

Одна из них, помню, с ехидцей добавила:

— Кстати: моллюски повышают потенцию...

В общем, эти наяды чуть меня не околдовали, и я бежал от них, как Одиссей от Цирцеи.

Но как и на чём было мидий готовить? У коктебельской старухи, сдававшей нам комнату, я выпросил старую сковородку и побрёл с ней на берег того ручейка, что течёт через весь Коктебель. Бурьян, перевитый побегими ежевики, вставал непролазной стеной — едва нашлось место для костерка. Я положил сковородку на два кирпича, развёл под ней огонь, высypал мидий на разогретый чугун — и, в ожидании пиршества, отхлебнул из бутылки, предусмотрительно взятой с собой.

Чем хорош Крым? Тем, что в любом его месте — хоть среди бурьяна, хоть на обочине пыльной дороги, хоть где угодно — можно сполна ощутить негу зноя и юга, покой созерцания и равновесие между собою и миром, то равновесие, что гораздо трудней обрести под неласковым северным небом. Вот и теперь, сев на жёсткую землю и слушая звоны цикад, я словно выпал из времени, места, себя самого и блаженно поплыл, сам не зная, куда...

Но из nirваны меня возвратил треск раскрывавшихся мидий и шкворчанье вскипевшей в их створках воды. Как я понимал, кушанье было готово. Признаюсь, с недоверием я брал в руки горячую мидийную скорлупу и рассматривал складчатый смуглый комочек, лежавший меж перламутровых створок. Вспомнился вдруг Собакевич из “Мёртвых душ”, с его фразой: “Уж я-то знаю, на что устрица похожа!” Действительно, вид у моллюска был, откровенно говоря, весьма непристойный.

А вот вкус — тот, напротив, оказался застенчиво-нежный. Что-то чуть сладковатое, отдающее солью моря и горьким дымком костерка, что-то, состоящее из полутонов и намёков и оставляющее послевкусие неисполненного желания. Нечто подобное, помнится, я ощущал, когда девушка, которую я ожидал где-нибудь под часами, на свидание так и не приходила, и на душе

у меня оставалась такая же нежная горечь, как и на языке после медленно пережёванной мидии.

Но вдруг, размяная во рту очередной сладко-горько-солёный комочек обманного мяса, я почувствовал на зубах костяной стук и сплюнул на ладонь небольшую жемчужину. И до сих пор у нас где-то хранится — надо будет спросить у жены — десяток таких вот жемчужин, добытых мной в мидиях Лиски.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ КАШКА. Не каша, а именно кашка: речь о той “размазне”, которой мы кормим наших младенцев, а потом доедаем за ними сами.

Но кашка, понятное дело, не сразу становится главной пищей ребёнка. Вначале всего — материнская грудь, этот, по выражению одного из чеховских персонажей, “буфет для младенца”. Вряд ли, конечно, кто-то из нас может вспомнить, как кормили грудным молоком его самого; зато, наблюдая ребёнка, чавкающего и пускающего пузыри у материнской груди, каждый может представить, как это происходило когда-то и с ним. Мир был тогда опрокинут, нечётко, почти нереален, само его существование оставалось ещё под вопросом, но несомненной реальностью выступала тёплая, даже местами горячая материнская грудь. Вытесняя весь мир, она и сама была целым миром; нависая, как мягко-упругое облако, она подавалась от нетерпеливых движений младенца — толчков его головы, беспорядочно шарящих ручек, — но всегда возвращалась, опять вытесняя собою весь прочий, сомнительно-призрачный мир.

Младенец у материнской груди, то засыпающий, то опять начинающий искать тёплый сосок — не лучшее ли из состояний, какие когда-либо нам были дарованы? Это был, в сущности, рай, из которого, правда, нас быстро изгнали; но до сих пор, бродя по пустыне неласковой жизни, мы храним память об этом утерянном рае.

И вот именно детская кашка, которую мы доедаем за малым ребёнком, есть некий мост между нами и нашим младенчеством. Задумчиво шлёпая ложкой по жиденькой “размазне” в разрисованной детской тарелке, мы, хотя бы отчасти, но исполняем наказ “быть, как дети” — то есть, в сущности, движемся в сторонурая. Состояние детской безгрешности, тихого счастья, доверия к миру, который вдруг кажется нам и заботлив, и добр — всё это, забытое и непривычное взрослому, оживает в душе рядом с детской тарелкой каши. Она — словно оклик и зов, возвращающий нас в незапамятно-давнее детство. Недаром и позже, в те дни нашей жизни, когда мы “близимся к началу своему”, то есть во время тяжёлой болезни или в пору немощной старости, детская кашка снова становится главной, а то и единственной нашей пищей.

Чем накормим больного, который так слаб, что и ложку-то сам не сумеет держать? Ясное дело, молочную жиденькую кашкой. Как говорила мне, помнится, одна санитарка: “Ешь, милый, ешь: коли середка сыта — так и краешки радуются...” Ведь больному важнее всего не лекарства, не разные там перевязки да клизмы; нет, важнее всего осознание того, что жизнь ещё не отторгла его, не забыла, не обделила заботой и лаской, раз она поднесла ему эту тарелку, которая вдруг напомнила дни далёкого детства...

А старик — что дадим старику? Уж верно, не устриц или омаров; нет, мы тоже нальём ему жиденькой каши. И для него вновь воскреснут далёкие — или теперь уже близкие? — дни, когда мать или бабка кормили его. Эта пресная кашка тогда ему вовсе не нравилась; но он принимал её, и теперь принимает со смирением, как условие жизни, которая в старости так же мало понятна ему, старику, как была мало понятна тогда, ещё в самом начале. “Ешь, милый, ешь — иначе не вырастешь”, — говорила заботливо и терпеливо покойница-мать. “А зачем мне и было расти?” — думает, верно, старик (то есть тот же, по сути, ребёнок), ковыряясь дрожащей ложкой в тарелке своей — неужели той самой, за целую жизнь не доеденной? — кашки...

МОЛОДОЙ ГОЛОД. Годы юности прошли в общежитии медиков, в комнате на семерых. И мы всегда были голодными, независимо ни от времени суток, ни от того, сколько съели еды.

После ноябрьских праздников, когда все возвращались в общагу из дома, пространство между двойных рам окна оказывалось чуть не на треть завалено свёртками со съестными припасами. По-особому сумрачно тогда становилось в нашей комнате номер двенадцать — сумрачно, но хорошо. Сама мысль, что у нас столько сала, капусты, варенья и разных солений-квашений, согревала нас. А согреться было необходимо, поскольку в старой общаге топили из рук вон плохо, изо ртов валил пар, а на подоконнике за ночь замерзала в стаканах вода. Вот мы и ели почти непрерывно, и на глазах убывали межкочонные наши запасы. Даже ночью случалось проснуться, чтобы затеять ночной перекус.

Бывало, бессонно ворочаешься на скрипучей казённой кровати — ноги мёрзнут, в желудке урчит — и слышишь, как в темноте так же бессонно вздыхают, ворочаясь, шесть твоих сотоварищей.

— Эй, вы что там, не спите? — окликаешь их шёпотом.

— Как же? Уснёшь тут в такой холодине, — отвечают тебе.

— Да и жрать хочется! — выражает кто-нибудь общее мнение.

Все отчего-то хохочут — мы тогда много и часто смеялись — и дружно решают вставать и готовить еду. То, что сейчас второй час ночи, никого не смущает: голод и молодость не наблюдают часов.

С треском распахивается створка окна, и из щели меж обледенелых стёкол извлекается брусок сала. Картошка обычно хранилась в шкафу — там же, куда мы складывали пустые пивные бутылки. На то, чтоб порезать сало и почистить — в шесть рук — два десятка картошин, уходит не больше пяти минут.

И вот мы на кухне общаги: наша большая закопчённая сковорода уже потрескивает на огне. Сало шкворчит, над картофельным белым холмом поднимается пар, и рука сама собой тянется, чтоб ухватить ещё совершенно сырую картошку. Торопливо хрустишь сочным ломтиком — вкусно! — но Коля Лозбенев, наш сегодняшний повар, возмущенно кричит:

— Эй, не наглей — команды не было!

От соблазна выходишь из кухни в ночной коридор. Видишь уводящий вдаль гулкий сумрак: у торцевого окна обязательно жмутся студент со студенткой, кто-то пьяный бредёт, опираясь о стену, кто-то, вынеся стул в коридор, готовится к завтрашнему зачёту, и откуда-то слышен гитарный тоскующий звон. Общага не спит никогда, она лишь притихает в ночные часы и после дневной суматохи впадает в задумчивость и отрешённость. Мерещилось, что если бродить по ночным коридорам общаги час, другой, третий, то можно встретить сам дух, сам таинственный призрак громадного этого дома, который бессонно блуждает по сумрачным лестницам и переходам.

Но пока вместо духа общаги ты ощущаешь лишь запах жареной картошки. Он растекается по коридору так соблазнительно, что опасаясь: вдруг, пробудившись среди ночи, на этот запах поднимется весь наш этаж?

А в комнате номер двенадцать, несмотря на позднее время, царит возбуждение. С круглого стола убрали учебники, смахнули сор и разложили по кругу семь ложек. Появление Лозбенева с дымящейся сковородой встречают радостными криками и водружают сковороду в центр стола. Вот все в готовности встали вокруг, а ложки блестят в руках, словно клинки.

— Ну что, все собрались? Тогда вперед! — командует повар.

То, что происходит в следующую минуту, напоминает короткую схватку, где семеро фехтовальщиков бьются то ли друг с другом, то ли с тем чувством голода, которое и подняло нас всех среди ночи. Ложки звенят друг о друга и о сковороду, рты чавкают, ноздри сопят — и всё происходит в сосредоточенном и напряжённом молчании. Кажется, не дай Бог оказаться в центре этого коловращения из ложек и рук, потому что тебя самого съедят так же стремительно, как и картошку, от которой остались одни только шкварки. Впрочем, нет: их уже отскребли, подобрали — странно, что сама сковорода осталась цела!

Отдуваясь, икая, семеро сотрапезников падают по своим койкам. Все кажутся вялыми и постаревшими, словно, победив ночной приступ голода, мы победили и молодость, которая от этого юного голода неотделима. После

таких полуночных пиршеств засыпал я обычно в тоске, мучась смутными угрызеньями совести. Словно я изменил сам себе, променяв молодую тревогу и голод на вялую сытость и сонный покой. Неужели, думал я, и всю свою жизнь я вот так разменяю на сытость?

Ещё слава Богу, что голод, а вместе с ним юность к утру возвращались. Хрипкое, словно простывшее, радио начинало играть государственный гимн, и я просыпался: опять молодой, полный юной тревоги и полный желанием что-нибудь съесть.

МОЛОКО. Конечно, лучшее молоко — парное, только что от коровы; но такое не каждому доводилось попробовать.

А вот мне повезло. Студентом, работая на Смоленщине в стройотрядах, я, случалось, ходил на вечернюю дойку. Уже на закате — столбы мошкары, словно дым, колыхались над пыльной дорогой — я шёл в направлении гула компрессора, который звучал каждый вечер на ферме, на окраине Сяковки (так называлась деревня, где мы работали). Этот густой и задумчивый гул был той колыбельной, под которую в сумерках засыпала деревня. На подходе к коровнику уже было слышно мычание, звоны подойников, крики доярок; и во всех этих звуках, таких утешительно-мирных, покоя было едва ли не больше, чем в полной, почти никогда не случавшейся здесь тишине.

Мысленно двигаясь вслед за собой, молодым, на вечернюю ферму, я даже вспомнил имя доярки, которая разрешала мне подоить корову, чтобы потом выпить собственноручно добытое молоко. Звали её Сидоренкова Зинка — не Зина, не Зинаида, а именно Зинка — и была она полной, тугой, краснощёкой весёлою бабой. Любимой её поговоркой была: “Не зевай, Фома, — на то ярмарка!”

— Что, студент, молочка захотелось? — кричала Зинка, увидев меня. — Или коровьи титьки приятнее бабьих?

И она хохотала так громко, что коровы начинали испуганно переступать по доскам настила. Механической дойке поддавались не все, поэтому многих коров приходилось доить и вручную; вот из этих, “ручных”, Зинка выбирала какую-нибудь посмирнее, отирала её вымя мокрою тряпкой и совала мне в руки подойник.

— Садись! Только подойник придерживай — Милка, холера, любит его опрокидывать.

Я присаживался на скамеечку рядом с шумно вздыхавшею пегой коровой, зажимал ведро меж колен и брался за тёплое, мягкое, всё в надувшихся венах коровье тяжёлое вымя. Касание вымени и, тем более, первые неуверенные попытки тянуть за коровьи сосцы вызывали во мне очень сложные, путанные ощущения. С одной стороны, мне казалось, что всё происходит во сне, — с какой это стати я, студент-медик, вдруг превратился в дояра? — но, с другой стороны, я догадывался, что вряд ли я прежде настолько же приближался к реальности, сам становясь её неотъемлемой частью. Всё остальное — учебники, кафедры, лекции, подружки-приятели — всё превращалось в мираж; а реальность сгущалась до колыхания тёплого, грузного вымени, до мокрых, тугих, ускользавших сосцов и до нежного звона подойника, в днище которого вдруг ударяли первые белые струи...

— Да не дёргай, а сжеживай! — голос Зинки доносился словно откуда-то издалека. — Вот же бестолочь! И чему вас только учат в мединституте?

Она хохотала; корова, переступая, норовила выбить копытом подойник у меня из колен, но я усердно тянул за сосцы, и дойка мало-помалу налаживалась. Нежный звон струй о подойник становился ритмичнее, и дно оцинкованного ведра уже закрывалось слоем белого пенистого молока. Струи уже не звенели, а мягко шипели, поочерёдно вспарывая молочную пену.

Мои пальцы, немея от непривычной работы, казались чужими; зато вымя, которое колыхалось передо мной, как живое и самостоятельное существо — вся остальная корова казалась всего лишь придатком к нему — вымя становилось всё более близким, знакомым, своим. Я уже знал, какие сосцы доятся легче, а какие труднее; и я сгонял оводов, норовивших присесть на тугое, горячее вымя, с таким раздражением, словно сгонял их с собственного

лица. Передо мною, я чувствовал, была не просто живая молочная фабрика, кормившая, можно сказать, всё человечество, но передо мною сейчас была сама жизнь, с её очевидной и невероятной тайной. Да, в этом вымени, в его вздувшихся венах и горячих сосцах, за которые я усердно тянул занемевшими пальцами, белыми от молока, в нём была жизнь, к которой я только надеялся как-то приблизиться и причаститься. Вымя пахло коровой и хлебом, навозом, травой, молоком, мокрой тряпкой и жестью подоюника, пахло кирзой сапог Зинки, стоявшей у меня за плечом и как-то странно в эти минуты притихшей, пахло пылью и полем, закатом, вечерним туманом, который уже начинал опускаться на Сяковку; оно пахло всем, что было вокруг, и ещё чем-то неуловимым, чего в мире как будто и нет, но без чего невозможен ни этот вечер, ни гул затихающей дойки, ни Зинка, ни я, ни корова...

— Ладно, хватит, а то совсем ей соски оторвёшь, — Зинка, со странной досадою в голосе, наконец, останавливала меня. — Ишь, присосался!

А я, прекращая доить и с трудом разгибая затёкшую спину, вдруг догадывался, что доярка, похоже, ревнует меня, молодого, к корове. Зинке, самой ещё полной живых, неистраченных сил, досадно, наверное, было видеть, как здоровенный студент увлекается, из любопытства и прихоти, дойкой коровы, и это вместо того, чтобы заняться чем-нибудь существенней.

— Ты молоко-то пить будешь иль как?

— Буду, конечно — за тем и пришёл.

— Ну, давай нацежу...

Доярка, вздохнув, накрывала подоюник лоскутом чистой марли и начала лить в кружку густое и странно бесшумное — словно во сне — молоко. Когда я подносил эту кружку к губам, мои руки дрожали — напряжение дойки ещё не оставило их, — а в молочной податливой пене выдувалась ямка от дыхания. Но скоро я ничего этого — ни дрожжи, ни ямки — не замечал, глоток за глотком я всё больше тонул в молоке, над которым шипела белейшая пена. Казалось, не молоко сейчас льётся в меня, а я тону в нём, погружаюсь в него, словно в реку иль женщину, в ночь или в недра глубокого сна...

НОЧЬ ХОЛОДЦА. Была в моей жизни воистину раблезианская трапеза: при свечах, глухой ночью, когда холодец мы черпали ложками из громадных тазов, а по стенам металась и корчилась наши огромные тени...

Развесёлой компанией — только что кончили мединститут! — мы приехали в небольшой городок на Псковщине, на свадьбу нашего общего друга. Накануне по этим местам прошёл смерч — старожилы, возможно, помнят лето 1986 года, — и мы, пока ехали, видели из окон вагона целые полосы леса, словно прокошенные гигантской косой: деревья были обломаны ровно посередине, верхушки их беспорядочно разбросало, а запах листвы, начинающей вянуть, пробивался даже сквозь горько-мазутные запахи поезда.

В городке, куда мы приехали ночью, света не было: смерч везде оборвал провода. Жених Николай встретил нас с фонарём и повёл к себе в дом, где, несмотря на позднее время, полным ходом шли приготовления к свадьбе. Мать жениха, тётя Римма, встретила нас, как родных, но чем-то явно была озабочена.

— Что случилось, тёть Рим? — поинтересовался я.

— Ох, и не спрашивай — прямо беда! Холодца наварили три таза, а теперь его хоть выбрасывай. Электричества нет, холодильники не работают: боюсь, наш холодец до свадьбы не доживёт.

— Так давайте, мы прямо сейчас его и съедим: чего зря добру пропадать?

— И то правда, — обрадовалась хозяйка. — Выручайте, ребята!

И вот на столах стоят три таза холодца, горят свечи, а мы, оголодавшие после дороги, да ещё подогретые водкой, которой тут оказалось два ящика (напомню: то было время “сухого закона”), начинаем столовыми ложками черпать из тазов подтаявшее заливное. Это был не то жидкий студень, не то что-то вроде грузинского “хаша”, не то мясной суп, столь густой, что в нём ложка держалась стоймя, — что-то, в общем, исключительно вкусное.

А ведь в приготовлении этого блюда участвовал ни много ни мало сам смерч, что пронёсся недавно. Не повали он столбы, не порви провода, разве выпало б нам это ночное обжорство? Свечи мерцали, громадные тени металась по стенам, гвалт хмельных голосов становился всё беспорядочней — такой удивительной трапезы ни до, и ни после мне в жизни не выпадало. И отчего-то мне кажется: тени “Ночного дозора” Рембрандта лежат на фигурах, предметах и лицах, которые вспоминаются в эту минуту. В той полунощной трапезе было что-то могучее, полное тайны и страсти, и что-то, увы, обречённое, как и сама наша жизнь. Куда подевались и где расточились те силы, что были и в нас, молодых, и в огромных тазах холодца, который мы поглощали так жадно, как будто ели последний раз в жизни?

А куда рвутся герои “Ночного дозора”, красавцы в плащах и ботфортах, в кого они целят мушкеты и шпаги? Разве знают они, что станет с ними со всеми, когда новый день сменит тени и сумерки их ночного дозора?

ОБЩЕПИТ. И что же хорошего было в той придорожной столовой? Там было шумно, накурено, тесно; по стёклам сёк дождь; шоферня материлась, ругая погоду, дорогу, начальство. В ногах чавкала жижа и катались, гремя, пустые бутылки: принесённую водку, таясь от буфетчицы, разливали под столиками, там же и оставляя порожнюю стеклотару. Так уж здесь было принято, такая здесь шла игра под названием “со своими спиртными напитками запрещено”.

Конечно, мир той “стекляшки” в посёлке Стодолище, где мы пережидали дождь по пути в стройотряд, мог бы кому-то казаться ужасен и груб, неопрятен, почти первобытен. Но мне он казался воистину раем. Я хмелел там не столько от пива, сколько от самой атмосферы густой, герметической жизни, кипевшей вокруг. Я дышал уж не воздухом, а крепчайшим настоем из дыма и пота, шофёрского мата, перегара, бензина, сапожной кирзы, из звона стаканов и звяканья ложек, из грубого смеха над чьей-нибудь грубой шуткой, из крика-призыва: “Танюша, ещё гуляша!” — да из гула машин, проносившихся по шоссе мимо мутных, забрызганных стёкол дорожной столовки. И я испытывал там глубочайшее чувство покоя. Да что говорить, если даже шум ссоры, которая вдруг разгоралась в углу и вполне могла кончиться пьяною дракой, — если даже шум ссоры не только не разрушал это чувство покоя, но как бы ещё укреплял ощущение слитности общей жизни, которая окружала тебя, словно дымное, тёплое, густо гудящее облако...

И чем более шумным, угарным и грубым был мир придорожной столовой, тем более я ощущал его нежность, его доброту и свою с этим миром сроднённость. Уж меня-то никак не могло обмануть ни хрипенье прокуренных глоток, ни оскалы зубов, меж которых торчал “Беломор” или “Прима”, ни хруст кулаков, на которых синева вздутых вен была смешана с синевой татуировок. Это был мой, родной мир, и я верил, что уж он-то меня не предаст и не выдаст, не выгонит вон, не оставит меня замерзать на стылом ветру одинокой судьбы.

И пока я жил там, в недрах общей и слитно клубящейся жизни, я словно был защищён от возможных невзгод и напастей, лишений и бед. Потому что какая беда отыскала б меня в том густом и прокуренном сумраке, где и сам-то себя я не мог отыскать?

Да, это был герметический мир — мир, закрытый, словно парник или оранжерея, все его обитатели были равны меж собою и жили по правилам, общим для всех. И блюда, которыми нас там кормили, тоже были едины для всей необъятной страны: “Общепит” — он и есть “Общепит”.

Усреднённым, единым и общим там было всё: от заветренных образцов блюд на витринах, от тарелок с синим овальным клеймом “Общепит” и гранёных стаканов, от солонок с намокшею солью и банок засохшей горчицы до имён подавальщиц или буфетчиц, которые могли быть только Зинками, Клавками или, на крайний случай, Татьянами. В каком городе или посёлке ни зайдешь вот в такое кафе, всюду встретишь и толстую Клавку-буфетчицу, и фикус в углу (его кадка всегда была полной окурков), васнецовских

“Богатырей” на стене, встретишь спирали коричневых лент-мухоловок, свисающие с потолка, и всюду почувствуешь: ты здесь свой, ты — на родине.

И ещё — может, это и было важнее всего — ты всегда был уверен, что этот привычный, знакомый до скуки, уныло-родной мир советского “Общепита” так же незыблем и вечен, как какие-нибудь Гималаи. На что время могло покушаться в том мире, где нет никаких перемен, где всё так однообразно-едино, где всё словно спит в вечном сумраке?

До сих пор непонятно: куда же всё это девалось? Где тот гуляш и тот огненный борщ, где Клавка-буфетчица с её необъятною грудью, где фикус в кадке, где варёные яйца с синим клеймом на боку, где водка “Столичная” за пять двадцать пять, где гул разговоров в табачном дыму — где вся та грубая, нежная мощь общей жизни, что так густо клубилась, дышала, жила меж прокуренных стёкол в те баснословные годы, когда я был так ещё молод, а страна, что меня воспитала-вскормила — уже незаметно, но неудержимо рушилась в пропасть?

ОГУРЕЦ. Что ж, настала пора описать огурец. Но какой огурец мы сейчас вспомним? Молодой ли, в колючих и нежных пупырышках, только что с грядки, с ещё незасохшим цветком, или сизый, матёрый, с прилипшею веткой укропа, извлечённый из кадки с ядрёным рассолом?

Хорош что один, что другой; но, пожалуй, начнём с огурца молодого. Его ещё нужно найти, поворошив огуречные плети на грядке. Июльская ночь была тёплой — в такую как раз и растут огурцы, — а утро случилось росистым и свежим. Твоя рука, шарящая в шершавой узорной листве, уже мокрая. Но вот, наконец, замечаешь огурчик: он торчит как-то робко, ещё не касаясь земли, и весь серебристо-белёс от росы. Вот такие-то, в палец длиною, вкуснее всего. Когда, оторвав его от потянувшейся дрогнувшей плети, обтираешь колючий сырой огурец о штаны, он становится ярко-зелёным, блестящим, и в воздухе распространяется его свежий запах. Так пахнет, можно сказать, само огуречное лето: парное, обильное зноем и грозами, с непременной окрошкой на сытном столе, с долгим тихим закатом и со свистом стрижей над коровьими спинами, когда стадо, устало мыча, возвращается с выпаса.

— Огурцов нынче — пропасть! — слышишь, как сокрушается какая-нибудь деревенская бабка. — Уже и не знаю, куда их девать.

— Ох, соседка, и не говори! — раздаётся в ответ. — Вчера засолила аж две кадушки. Мой мужик столько водки не выпьет, сколь теперь у нас в доме закуски.

А закуска и впрямь — первый сорт. Особенно если огурцы не из банок, а именно из кадушки. Сверху их прикрывает деревянный кружок, который отрывается от рассола с таким вкусным чмоканием, что хочется укусить уже его край, мокрый, пахучий, с прилипшим вишнёвым листом. А в сизо-молочном рассоле, меж смородиновых листьев и веток укропа, видны словно спины зелёных пупырячатых рыб.

— Тебе какой огурец выбрать, парень? Побольше, поменьше? — продавщица туга, молода, она и сама, словно крепко засоленный, бодро хрустящий огурчик.

— А вот такой, на пол-локтя! — твой жест получается очень уж откровенен, и баба хохочет.

— Такой, говоришь? Я давненько таких не видала...

Сдвинув к локтю рукав и запустив руку в кадку, пошарив в рассоле, весёлая баба торжественно извлекает добычу. Да, огурец и впрямь царский — не огурец, а целая подводная лодка! Рассол льётся с него, свисают, как водоросли, нити укропа, а зимнее солнце сверкает на бородавчатом — будто в заклёпках — борту.

— Отрезать на пробу?

— Ну, отрежь...

Огромным ножом — таким коллот свиной — торговка отхватывает кусок огурца и стряхивает, прямо с ножа, тебе на ладонь. Немного есть запахов, столь же бодрящих, как запах солёного огурца из кадушки, да ещё

в зимний солнечный день на гудящем предпраздничном рынке. А когда начинаешь хрустеть огурцом, то аж передёрнет, словно ты проглотил не кусок огурца, а стакан самогона.

— Что, хорош? — интересуется продавщица.

— Ох, и хорош! — отвечаешь ты ей, и вы оба смеётесь, сами толком не зная, чему...

Этот сизый кадушечный огурец как-то словно встряхнул, оживил и тебя, и весь мир, что шумит и клубится вокруг. И ты уже с новым, живым интересом смотрел и на эту весёлую бабу в овчинном тулупе — до чего ж хороша! — и на весь огуречно-капустный засолочный ряд, на толчею гомонящего зимнего рынка, на дымы, что встают над морозной Калугой, и на блеск куполов, отражающих зимнее солнце...

ОЛИВКИ. Вспоминая о Греции, первым делом представляю рощи оливок. Издалека их струящийся и переливчатый блеск примерно такого же цвета, как серебристые ветлы по берегам русских рек; и, когда ветер бежит по оливковым рощам, то кажется, что по ним катят волны то бледно-зелёного, то серебристого моря.

Когда же рассмотришь оливы поближе — поражает их узловатая, жилисто-грубая мощь. Каждый ствол перекручен в мучительный жгут; корни торчат из сухой каменистой земли, как колени рожающей женщины; ветви выгнуты так, что на них больно смотреть. Дерево выглядит так, словно кто-то обрёк его на бесконечные роды, с натугой и болью которых олива давно уж смирилась, и даже находит отраду в таком вот усилии непрерывного преодоления. Каждое дерево — словно Атлант, на котором лежит груз всего мироздания; порой кажется, что именно это усилие напряжённых стволов и ветвей держит мир на последней, сомнительной грани между существованием и небытием.

Ну, а что же рожают могучие эти деревья? Оливки, которые собирают обычно с расстеленных по земле полотниц после того, как постучат по стволам и ветвям колотушкой. Они с виду вовсе неаппетитны. И кто, интересно, додумался есть эти зелёные, жёсткие, костяные плоды? Но ведь додумались, и не просто стали их поедать, а положили оливки в фундамент всей кухни Средиземноморья: грек без оливок — как русский без чёрного хлеба.

Может, в Греции просто-напросто больше и нечего есть? Ведь земля там суха и скудна; что, кроме оливок да ещё винограда могло вырасти на белёсых и пыльных античных холмах? Не забудем, что древние греки питались так просто и скудно, что вряд ли кто ныне способен им в этом следовать. Оливки, козий сыр, хлеб — вот и всё, чем кормились творцы античной культуры. Мясо случалось им есть только в дни праздников, когда забивали жертвенных коз и быков. Вино? Да, вино они пили; но разбавляли его водой в два с лишним раза, превращая вино в розоватый, почти не хмеляющий компот.

Я как-то пробовал пообедать именно так, как это делали древние греки. Это было на родине спорта, в деревне Олимпия. Как раз удалось пробежать по жаре и пыли один греческий стадий по тому самому стадиону, где побеждали олимпийцы древности. Что ж, решил я, надо теперь и потрапезничать так, как они: оливками, сыром и хлебом.

Но мой заказ в ресторане, где мы обедали, вызвал почти замешательство: современность ушла от античности несколько больше, чем на один стадий. После настойчивых переговоров мне всё-таки принесли брусок козьего сыра, тарелку солёных оливок и несколько ломтиков хлеба, причём взяли за это, как за полноценный обед.

Что сказать об античной еде? Врать не буду: едал я кушанья и повкуснее. Но я был счастлив уже оттого, что сумел, причём дважды — и на стадионе, и за этой вот трапезой — прикоснуться к античности, так сказать, напрямую, не одним лишь умом, через чтение книг, но и всем существом, через мышцы, дыхание, сердце, язык и желудок. На какое-то время я перестал быть туристом и сделался словно бы греком: как древний грек, я смотрел на холм Хроноса, возвышавшийся над руинами храма Зевса, на пинии и обломки колонн между ними, слушал жёсткие трели цикад, бормотание горлинок, шарканье

ног по истёршимся плитам и гомон толпы, то есть видел и слышал почти то же самое, что и зрители древних Олимпиад. Зной густел — или это густело само задремавшее время? — и только солёная горечь оливок, которые я запивал кислым местным вином, не позволяла мне окончательно впасть в забытьё, раствориться в горячем и радостном воздухе Греции...

ОМАР. Нагулявшись по итальянскому Римини, вечером мы посетили театр рыбного ресторана. Это был именно театр, то есть представление, в котором мы являлись и зрителями, и актёрами одновременно. Официант, брутального вида мужчина со шрамом на левой щеке — он напоминал мафиози средней руки — обсуждал со мною меню вполголоса, с таким скорбным, серьёзным лицом заговорщика, словно речь шла о плане свержения власти в стране. Вино, которое выбрал я, он решительно забраковал. “Но, синьор, но!” — трагически морщился он, словно мой выбор причинял ему нестерпимую боль. — “Что до меня, я бы выбрал вот это...” Он указал на тосканское белое урожая 2005 года; я согласился; официант вытер со лба пот с таким облегчением, словно мы с ним только что избежали опасности, грозившей разрушить наш с ним заговор.

Мы (то есть я, жена, дочь) заказали полдюжины гребешков, рыбу на гриле, тигровых креветок под солью и, наконец — гулять, так гулять! — диковинного для нас омара. Ужин шёл своим чередом; вино оказалось и впрямь неплохим, рыба — отличной, креветки чуть суховаты, но когда в зал ресторана внесли поднос со сверкающими хирургическими инструментами, я понял, что с омаром, кажется, погорячился. Не имея понятия, зачем в ресторане нужны рёберные кусачки Листона, я выглядел, должно быть, растерянным. Не даром и наш официант-мафиози, и его молодые приятели поглядывали на меня с любопытством и плохо скрытой насмешкой: дескать, сейчас позабудемся, наблюдая, как этот русский будет мучиться с омаром! Может, так и оставит его неразделанным? То-то будет потеха...

Скоро внесли и этого жуткого зверя-омара: его глазки смотрели колоче и зло, огромные бородавчатые клешни торчали угрожающе, усы в локоть длиною, покачиваясь, свисали с овального блюда — это бронированное страшилище напоминало дракона, который вот-вот оживёт и тогда непременно нас всех растерзает. Официант грохнул на стол тяжёлое блюдо и скосил на меня издевательский глаз: ну, что ж, дескать — воюй!

Отступать было некуда. Я вздохнул, взял тяжёлые, холодившие руку, кусачки и ринулся в битву. Осколки панциря полетели во все стороны, один из них ударил мне в грудь, другой — в потолок, а третий, кажется, угодил в лоб стоявшему за моей спиной официанту. Тот застонал, отшатнулся, его молодые товарищи захохотали, но я, не обращая внимания на неизбежные в воинском деле потери, продолжал сокрушать упорно сопротивлявшегося дракона. Компания официантов, похоже, была разочарована: эти парни явно ждали иного исхода. Но откуда же им было знать, что мой хирургический стаж — двадцать шесть лет и что русских омаром не испугаешь?

Минут через восемь всё было кончено. Стол был усеян осколками панциря и забрызган масляным соусом, я отирал салфеткой лицо и руки, а официант-мафиози, склонившись ко мне, уважительно прохрипел по-английски: “It was beautiful...” — “Это было великолепно...”

Вы, может быть, спросите, вкусен ли был этот самый омар? Но вкуса его я почти не запомнил — уж очень непросто достались мне эти комочки белого и сладковатого мяса. Но точно помню, что после битвы с омаром я вышел из ресторана голодный и протрезвевший, с пустым кошельком и с чувством недоумения: зачем мы вообще сюда заходили? Ради, разве что, шоу, которое, правду сказать, удалось.

ОРЕХИ ИМПЕРИИ. Не странно ли, что моё ощущение империи — чувство, так близкое русскому и так мало понятное большинству иностранцев, — начиналось с пакетика чищеного фундука?

Это случилось ночью, на тульском вокзале, в бессонной и возбуждённой толпе, наполняющей зал ожидания. Мне ещё не было и пяти лет; мать с от-

цом перевозили меня из курской деревни, где я жил под присмотром бабушки Марии Денисовны, на новое место, в Калугу. И вот в Туле, всего в сотне вёрст от Калуги, мы застряли на целую ночь.

Вообще, тульский вокзал — тема особая. Сам зал ожидания, где мы приткнулись возле своих чемоданов, был настолько громаден и гуллок, что целиком я его как-то и не воспринимал: это было нечто, выходящее за пределы моих детских понятий и чувств. Потолок мне казался высоким, как небо, а стены далёкими, как горизонт. Стенные же росписи (они сохранились, как это ни странно, доселе) изображали какую-то стройку с огнями и дымными трубами, ещё какое-то многолюдное шествие с флагами и счастливыми лицами, но это всё мне было мало понятно. Только сельский знакомый пейзаж — речка, домики, купы деревьев, — помню, немного меня примирил с монументальным искусством вокзала. Но всё равно, на вокзале было тревожно и неуютно. Голоса объявлений в динамиках звучали зловеще-невнятно, со скрытой угрозой; бесконечный поток пассажиров то и дело распахивал створки тяжёлых дверей, и по гулкому залу протягивал горький, углём и мазутом напитанный ветер. Когда же снаружи стучали составы, весь зал начинал напряжённо дрожать — так, что даже звенела громадная люстра над головами.

Зачем, думал я, мы уехали из деревенского нашего дома, где всё было тихим, родным и знакомым, где даже соседские гуси, и то узнавали меня, и уже не шипели, когда я бежал по проулку на выгон? Зачем эти гулы и гуды, и этот сквозняк, это шарканье множества ног, этот гвалт голосов, эти груды узлов, чемоданов и сумок? Эти люди — куда они едут? Разве им так уж плохо жилось в их домах, на привычных местах? Что за сила сорвала их с места и гонит куда-то?

Ко всему, — а, быть может, как раз от знобящего чувства тревоги — мне приспичило, что называется, “до ветру”. Я подёргал отца за рукав, и он повёл меня в вокзальный сортир.

Впечатление от посещения этого грандиозного заведения осталось незабываемым. Во-первых, уже на подходе мои глаза заслезилась от резкого запаха хлорки и аммиака, и я видел всё сквозь какую-то слёзную муть. По жиже, которая хлопала на цементном полу, мы с отцом подошли к высоченной и мокро блестящей стене. Под ней, по наклонному серому жёлобу, журчал ручеёк, а по самому верху стены тянулась ржавая дырчатая труба.

— Отливай вон туда, — отец указал мне на серый жёлоб.

Смущаясь всего — и отца, и людей, и резкого неприятного запаха, и влажного блеска стены с трубой наверху — я начал копаться в одежде, пробираясь к причинному месту. И вот тут — никогда не забуду тот ужас, который меня охватил! — наверху заурчало-завылло, труба затряслась — и из дыр её рухнул бешеный, пенный и ржавый поток! Сначала я обмер — казалось, меня самого смоем этот гудящий и содрогающийся водопад, — а после, подёрнув штаны, припустил наутёк.

Так первая встреча с вокзальным сортиром окончилась моим полным фиаско. Уж не помню, как меня настигали, ловили; но зато помню, как моя мать, утешая сына после только что пережитого им потрясения и сама не зная, плакать ей или смеяться от всей этой трагикомедии, как она угощала меня чищеными лесными орехами. В кулёчке были только отборные, смуглые ядра, и я изумился: да кто же взял на себя труд все эти орехи почистить? Хорошо помню, что этот кулёчек орехов потряс меня чуть ли не больше, чем недавно — рычащая Ниагара сортира.

Ведь я, мальчик почти деревенский, хорошо представлял себе, что такое расколоть хотя бы один орех, чтобы выковырнуть из скорлупы всего одно ядрышко, часто к тому же морщинисто-кислое или червивое. То колотишь по скорлупе каким-нибудь камнем, а орех улетаёт, как пуля, в дорожную пыль, то мусолишь орех меж своих слабых зубов, безуспешно пытаешься его раскусить, то находишь в сарае у деда щипцы-гвоздодёры, но в их челюстях орех держится плохо, и вот уже ты орёшь благим матом, прищемив себе палец... В общем, раскалывание всего одного ореха, и то превращалось в сложное,

часто и вовсе неразрешимое дело. А тут вдруг тебе предлагают целый кулёк уже чищенных — и поразительно вкусных! — орехов.

— Где же ты их взяла? — изумлённый, спросил я у мамы.

— Они продаются вон там, в буфете, — улыбнувшись, сказала она. — Да ты ешь, ешь...

И вот те чищенные лесные орехи — они, как я после узнал, назывались “фундук” — оказались для меня связаны не просто с дорогой, но именно с тяжеловесной, имперской мощью вокзала. Тогда, пятилетний, я уже смутно почувствовал, что есть некая сила, которая может не просто воздвигнуть вот этот громадный и гулкий вокзал, не просто построить в ней туалет со стеной-водопадом, но способна и на совсем уже невероятные вещи. Например, она может начистить целый кулёк отборных орехов и запросто угостить меня ими. Да, думал я, потрясённый, видимо, эта сила и впрямь всемогуща...

Конечно, тогда я не знал ни названия, ни источника этой таинственной силы. Но хорошо помню то чувство благоговения, которое я испытал. Это было именно благоговение, то есть смешанный с восхищением ужас, и это было, как я понимаю теперь, моё первое прикосновение к империи. Уже после, в той жизни, которую мне ещё лишь предстояло прожить, я встречу множество разных вещей и событий, которые оживят во мне это имперское чувство. Услышу ли я, как ритмично вздыхают басы духового оркестра, или увижу, как грозен и сумрачен взор чугунного маршала на пьедестале, или прочитаю тяжеловесно-имперские строки Державина, или, услышав гудок тепловоза на дальних путях, подумаю: “И велика же Россия...”

ОСТАТКИ ЕДЫ. Вот кто-нибудь мне объяснит, почему я всю жизнь так радовался, доедая остатки: последние ложки и ломти, то, что осталось на донце кастрюли или на бортиках сковороды? Что это: скрытая тяга к юродству? Или это стремление освободиться от пут, налагаемых жизнью, — доесть уж последнее, чтоб ничего не осталось! — и оказаться свободным от пищи, от быта, от всяких житейских хлопот и забот, даже, быть может, свободным и от себя самого?

Начинать поедание блюда — особенно праздничного, любовно украшенного хлебосольной хозяйкой — мне всегда было как-то неловко. Казалось, что я недостойн вторгаться в торжественный кулинарный шедевр, разрушая его, словно варвар — святилище. Как это: взять да сломать розовеющей холм какой-нибудь “сельди под шубой” или, тем более, грубо обрушить башни и своды торта, напоминающего средневековый замок в миниатюре? Нужно слишком любить себя самого, чтобы бестрепетно, с полным сознанием права и силы, сокрушать труды чужих рук, да ещё получая от этого удовольствие. К сожалению или, может быть, к счастью, такой любви во мне нет, и потому за столом праздничным я всегда себя чувствую лишним и как бы незванным.

То ли дело увидишь, бывало, кастрюльку с недоеденной детками кашкой и, даже не разогревая её, поставишь себе на колени, усевшись где-нибудь в кухонном уголку. То, что ты будешь делать сейчас, называется даже не “есть”, а “подбести” — подобрать те остатки, которые, если бы ты не наткнулся на них, были бы, скорей всего, выброшены.

И вот только в остатках еды я ощущал настоящий вкус пищи и настоящую радость общения с ней. В такие минуты с кастрюлькой в руках любая каша, даже столь нелюбимая детками манная, казалась тебе настоящею манной небесной. Каждая ложка была словно бы подаванием, которое ты принимал со смирением и благодарностью, то есть именно так, как и надлежит принимать подавание. Особенно сладки бывали остатки остатков: то, что ты отскребал со дна и со стенок кастрюли. Орудую ложкой, ты и мычал, и сопел от удовольствия, которое омрачала лишь только его скоротечность: кашка, увы, исчезала быстрее, чем я пытаюсь сейчас описать, как её доедал.

Я уверен: любовью, доедающий кашку младенца, становится, пусть на время, но лучше себя самого. Согласитесь, что человек, подбедаящий кашку из детской кастрюльки, в этот момент неспособен к злодейству, предательству, даже просто-напросто грубому слову: ангел детства витает над ним, осеняя

своими крылами. И разве можно сравнить эту детскую кашку с каким-нибудь брызжущим кровью бифштеком? И человек, поедающий то и другое — разве это один человек? И когда — за бифштеком или кашкой — он будет ближе к себе настоящему? Недаром же пост — то есть жизнь на остатках, на самой непритязательно-скромной еде — является старым, испытанным средством очищения и обновления человека.

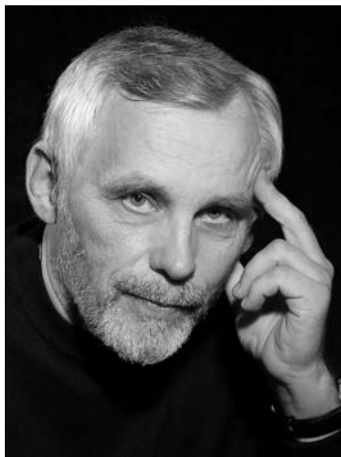
Эта особенность — любовь к подьеданью остатков — всегда проявлялась во мне и во время походов. Идёшь, например, укладывать в лодку мешок с провиантом, увидишь, что там остаётся всего ничего — полпакета крупы, пара луковиц, да пяток сухарей — и почувствуешь, как твой рот сам собой расплывается в произвольной улыбке. А причина-то этой нечаянной радости в том, что осталось так мало еды, и придётся теперь или поголодать, или всерьёз приниматься за рыбную ловлю.

Тут дело, скорей всего, в том, что, оставшись совсем без еды, мы готовы отдать себя воле и милости Божьей. “Бог даст день — Бог даст и пищу”, — всё слышней начинает звучать в наших душах народная мудрость. Будет клёв — будет рыба; подвернётся хороший лесок — наберём подберёзовиков или лисичек; встретим малинник — полакомимся малиной. Ну, а если не будет ни того, ни другого, поголодать тоже невредно.

Доедая остатки, мы избавляемся от иллюзии нашей самодостаточности (то есть, по сути, гордыни) и передаём себя попечению свыше. Мы становимся, в полном смысле, “у-богими” — теми, кто жив только милостью Божьей. И поэтому только, пожалуй, в походах, когда иссякают запасы еды, я становлюсь вполне сам собой, совпадая с той редкой фамилией, что мне досталась от предков.

(Окончание следует)

ВИКТОР ПЕТРОВ



СКИФСКИЙ КВАДРАТ

НИЧЕГО СВЯТЕЕ НЕТ...

Целую крест, и мне сам чёрт не брат!
А золотое солнце ходит кругом,
Рифмуя русский север с русским югом...
Строфа моя — не скифский ли квадрат?
Его среди простора начертал —
И что границы, что размежеванье,
Когда глухое раздаётся ржанье,
Свистит в ответ заржавленный металл!
У скифского квадрата моего
Немало званых, избранных — не густо.
Я вроде рад, на самом деле — грустно:
Иначе представлялось... Ничего!
Моя любовь, что больше, чем любовь,
Угадываться хочет, вея дымкой,
И губы ягодою горькой, дикой
Дарует мне, и принимаю боль.
А может быть, что у Господних врат
Архангелы, отринув буквы, числа
И высшего преисполняясь смысла,
Начертят скифский правильный квадрат.

ПЕТРОВ Виктор Сергеевич родился в г. Авдеевка Донецкой области. “Рабочими университетами” его были порт, бондарный завод и судоверфь, служил он в ракетных войсках. Окончил Ростовский государственный университет. Главный редактор литературно-художественного журнала “Дон”. Автор 17 поэтических сборников. Лауреат Всероссийской премии имени М. А. Шолохова и журнала “Юность”.

ТАЙНОПИСЬ

Чёрт завалится в чертополох,
Верстовая огорошит весть:
Между строк записываю вздох —
Тайнопись ты сможешь ли прочесть?
Родина моя бредёт в бреду,
И бредёт по свету босиком.
Хочет ветер отвести беду,
Катит листьев залежалый ком.
Листья палые — из книг листы.
Книги чёрные — их чёрт писал,
Чтобы сгнули и я, и ты
За рекою Дон, рекою Сал.
Эй, нечистый! Запалю костёр,
И метнутся дали до небес!
Тотчас выйдет — глаз да слух остёр,
Выйдет из чертополоха бес.
— Ну-ка, чёрт, иди сюда ко мне!
Морок, серный дух, заморский сон.
Ты казачьих зря пугал коней...
Слышишь, гул идёт со всех сторон?

* * *

Ни крика, ни плача, ни стоны, ни звука,
А их продолжение — тишь, немота.
И даже не воет соседская сука,
Чьих малых детей побросали с моста.
Змеится текучее пламя позёмки,
И сбита птица летит в буерак.
Душа пропадает, не выдержав ломки:
Я думал — сиянье, а это был мрак.
Последний стакан хлобыстну без остатка
За то, чтоб не сгинул во тьму белый свет!
Длиннее раздумья кирпичная кладка —
Запретная зона: кого только нет...
Я тоже там был, хотя всё-таки не был.
Я знаю такое, что лучше не знать.
И хляби разверзлись, и падало небо,
И время пришло, мой друг, умирать.
Куда ни посмотришь — глаза б не глядели:
Слезится до рези фонарь на ветру.
Дойду к неуступчивой той цитадели
И там на сей раз, может быть, не совру.
А что остаётся, когда не осталось
Уже ничего, что хотел и просил...
Откуда теперь на груди моей впалость,
Где билось и выбилось сердце из сил?

ПОЕЗД

Поезд шёл в ночную пору
Расписанию вдогон,
И вольготно было вору
Спящий обирать вагон.
Вор в законе издалёка:
Не улыбка, а оскал,

Чёрный глаз, гортанный клёкот...
Души русские искал.
И, куражась, для почина
Сунул нож проводнику:
Пусть заткнётся дурачина,
Служка жёлтому флажку.
Заградил дорогу тельник —
Только что он мог спяна? —
И скользил по лицам тенью
Тот залётный сатана.
Облапошил молодуху,
Не перечил инвалид...
К моему прикинул уху:
— Что, мужик, душа болит?
А душа и впрямь болела,
Так болела — невтерпёж,
Впору вырваться из тела
Да и броситься под нож.
Душу клятую и битую
Как таскать не надоест?
И ворюга хват в открытую
Мой нательный медный крест!
Непробудный сон России
Ехал с нами, нами был,
А вокруг леса, трясины,
Мрак и морок, глум, распыл...
Поезд темень рвал, стеная,
И являлась неспроста
Родина, как неродная,
Хоть и русские места.
Ирод сгинул. Слава богу,
Не заметил пацана,
Что не вчуже знал дорогу
И очнулся ото сна.
Будь ты проклят, чёртов потрох,
Ведь сошли бы под откос,
Но спасителем стал отрок
С нимбом золотых волос.
Он глядел и ясным взглядом
Успокаивал вагон,
Что проехал рядом с адом,
Оборвав невнятный сон.
Поезд шёл, летел по свету,
Как всему и всем ответ:
Ничего святого нету —
Ничего святее нет...

КАЗАЧИЙ ПОМИН

М. А. Шолохову

Плыл по Дону красный закат:
Был казак — и нет казака.
Принесут домой это “нет”,
Как зарубленный белый свет.
Станет жёнка волосы рвать
На краю могильного рва.
Хоронить не хватит раки —
Кто живой, так и он убит.

Родина моя без небес...
Ходит в чёрной кожанке бес,
Носит маузер в кобуре
И взрывает храм на бугре.
Очи мёртвые у реки
Скроют лунные пятаки.
Прокричит мне ветер степной,
Чтобы по стране стороной
Я ходил, вроде не казак...
Всё бы так, да совсем не так!
Конь ты мой, аллюр три креста,
Поминальной чарки верста.
Горевать и про горе спеть,
Где кровоточащая степь
Вынимает душу весной —
Только родины нет иной!

ХАДЖ

Я хадж совершал в дагестанских горах,
Где Пушкина лик обращён к небесам.
Прости богохульство такое, Аллах!
Да разве поэтом ты не был и сам?

Медина и Мекка — святые места.
А здесь журавлиная музыка сфер
Во мне ль не опять воскрешает Христа?..
Была бы лишь вера — любая из вер!

И я мусульманином стану, клянусь,
Пленённый очами горянки одной,
Пускай только слово начальное — “Русь” —
Курлыканье птиц разнесёт надо мной.

Упала, разбилась звезда на плато,
Коснулся бумаги таинственный свет...
Прости же поэта, Всевышний, за то,
Что прочей бумаги не знает поэт.

Я грезил вершиной гунибской скалы,
Но твой муэдзин разбудил на заре,
И еду на север от Махачкалы —
Стиха обёрнут лаваш в сумаре.

Я хлеб разделю... А стихи? Что стихи!
Слагает их Каспий талантливей всех:
Омоет волна, и простятся грехи,
Но всё же один не отмолится грех.

Кому рассказать — не поверит никто,
А верят строке, где и правды-то нет.
Темнеет в окне моя ночь, как плато.
Так рви же бумагу на клочья, поэт!

Железная сцепка летит напролом,
Бросаюсь к проёму и ветру кричу:
— Нет лучше стихов, чем намаз и псалом!
И бьёт меня ветер, как друг, по плечу.

ДАЛЬ

Свои пятилетние планы
Уже осмеяла страна,
Пьяны тем столицы и пьяны,
Одна только даль не пьяна.

Кочует любовь молодая,
Коль старые стены тесны,
И стелет простынку Валдая
С подветренной злой стороны.

Приятель к жеманному югу
Ударную выправит даль,
Сманив наудачу подругу
Рассказом про сладкий миндаль.

Разлука срывает стоп-краны,
Бросается на полотно,
И нет ослепительней раны,
Чем рваного солнца пятно.

Трефовые ставят кресты нам,
Рязанская морось горчит...
Но что за путеец настырный
Стучит по железу, стучит?

Владимир, звонарь заполошный,
Сзывает на праведный бой,
И жёлтая кофта, как плошка,
Маячит, влечёт за собой.

Сегодня махнём до Усть-Кута,
А завтра — туда, в никуда...
Ты певчее горло укутай —
Сибирские жгут холода!

Клубы паровозного пара
Плывут из отъявленной тьмы.
С тобою, как рельсы, на пару
В снегах затеряемся мы,

Где жёлтая кофта, как роба,
Дорогу торит наугад,
И сталью становится Коба,
И враг не возьмёт Сталинград!

ГЕННАДИЙ МАЙКОВ



НА МАСЛЕННОЙ НЕДЕЛЕ

РАССКАЗ

На Масленой неделе решили собрать мальчишник. Собралось пятеро в дому у Юрия Григорьевича, были: Алексей Иванович, Анатолий Семёнович, Борис Анатольевич и Валерий Анатольевич — родные братья — и сам хозяин, из них младшему 61 год, двое вдовцов. Прочитали молитву и мясопустную обязанность соблюли, вино, правда, пили. А что же делать? Ещё мой дедушка говорил: “Казак без вина, что пуля без пороха или шашечка заряженная под стрехою”.

Сначала помянули родителей, потом умерших жен. Вино домашнее из вызревшего, почти перед морозами собранного каберне. Необыкновенное вино, сладкое, терпкое, густое, стакан с ним на солнце наведёшь — солнце гаснет. Делалось вино с нежностью, молитвами, перед ним не курили, матов не произносили, даже нехорошим словом не вспоминали никого, словно готовились к причастию, потому оно и понеслось — доброе, смелое, хоть и совсем младенческое. В ноги вино ударило скоро — и по литру выпить не успели. Кушали еду простую, домашнюю, всё со двора и от природных сборов. Перед встречей купили небольшого сома, пойманного в Казачьем ерике, ещё живого, килограмм на пять. Его пожарили, и выглядел он красивее индейки, на вкус — и того лучше. Соседка Светлана, она и перед смертью жены Юрия часто бывала в их дому, знала, что соберутся одни хлопцы, потому на-

МАЙКОВ Геннадий Григорьевич родился в 1947 году в г. Черкесске. Окончил Харьковский политехнический институт и Кубанский государственный университет. Работал в Институте радиофизики и электроники АН УССР, главой администрации Тамани, в 2008 году избран членом-корреспондентом МАНЕБ по секции “Духовное возрождение”. Публиковался в журналах “Родная Кубань”, “Всерусский Собор” и в “Сборнике русского исторического общества”. Живёт в Тамани.

жарила им блинов. У Светланы муж умер ещё три года тому назад, как раз на голодную кутью. Она была благодарна соседу за то, что уже второй год он ранним утром, опережая баб, стучал к ней в дом и приносил пучочек прощлогодних трав и миску крещенской воды. Эти травы он приносил из церкви на Троицу, собирал их с поля понемногу сразу после чтения Евангелия. Дома он закладывал их за икону Святого Георгия, а крещенская вода стояла там же, в красном углу, по многу лет в стеклянной двадцатилитровой бутылке, доставшейся ещё от маменьки с довоенной поры. Как она сохранилась? Просто удивительно, может, крещенской водой и сохранилась. Каждый год эту бутылку крещенской водой и пополняли. Она была высокой, стройной, с вытянутым горлышком, будто и сама перед иконами стояла и молилась. Светлана благодарила Юрия Григорьевича за то, что кропил он букетом трав и святой водичкой на голодную кутью всё в её дому: двери, окошки, старый шкаф и сундук, трапезный стол, старую швейную машинку, даже кирпичи во дворе, из которых её муж Митя хотел построить маленький сарай. Она так жалела, что не успел он это выправить, и окошко к нему уже было, и дверь заготовлена. Замечательно, что приходил в это утро Юрий Григорьевич и впрямь до рассвета. Опережал он и её кумушек, и соседских баб, и случайных женщин, которые брели на ранний базар. А то ведь как? По месяцам никого не бывало у неё, а на голодную кутью обязательно кто-то из девок, даже ранее и вовсе не приходящих, притащится. А пришедшая в дом первая на голодную кутья женщина — к беде, ну, если не к беде, то обязательно к какой-нибудь печали. А Григорьевич вырuchал её в этот день.

Вот за всё это, да и не только за это, Светлана наготовила мужчинам блинов. Ей приятно было соблюсти давние традиции земли, которые повелись до неё и до родителей, да и до прадедов. Блинами на мясопустной неделе обязательно нужно угощать соседей и добрых людей. К блинам на столе у них была домашняя сметана, керченская селедка, свежее, с жару топлёное масло и малосольная хамса. Топлёное масло, если оно домашнее и из него выгнана лишняя влага, да ещё разгорячённое во рту вместе с блином, создаёт вкус необыкновенный, так что вспоминается детство, родители, братья и сестры, вся семья, которая когда-то садилась за общий стол на Масленицу. А керченская селедка как хороша к блинам! Ещё и в эту пору она была жирнющая, такая, что и за три дня не усолится, если её, рано пойманную утром, ещё в нежной зелёной камке принести с базара, обмыть морской водой и сразу в соль и под гнёт её положить. Лучше любого маслица и конфет такая селедка на третий день после засолки. К домашней сметане нашёлся и рассказ.

Заговорили о Титаровской свадьбе. Титаровка — это соседняя станица. Лучше всех эту байку мог пересказать Григорьевич.

“Люди говорили, что раз в станице была свадьба, у Кириченко Василия, они живут по Первомайской. Сами знаете, что в Титаровке огороды по три-пять гектар (это явно преувеличение, но чего не скажешь в хорошей байке!). Говорят, что на свадьбе не было Марковны, что замужем за Николаем Петренко. Свадьба шла уже пятый день, а она всё никого не видела из гуляющих на ней. В среду Марковна перед базаром долго караулила кого-нибудь с той свадьбы. Наконец, она увидела Алексеевну, дальнюю родственницу Кириченко по его жене Татьяне. Марковна сразу быка за рога:

— А ну, скажите мне, Алексеевна, вы были на свадьбе у Кириченко? — спросила она хлёстко, хоть и знала наперечёт всех титаровцев, которые были на свадьбе, и знала, что была там и Алексеевна, а самих станичников было там в первый день четыреста семьдесят две души. Было бы четыреста семьдесят четыре, но две дальние родственницы по кумовской линии жены Кириченко обиделись, что их пригласили на свадьбу после кумовских родственников по линии невесты, и не пришли. Алексеевна, чтобы раздосадовать Марковну, с радостью объявила:

— Ой, Марковна, были у нас в Титаровке свадьбы, всякие были, а такой ещё не было. Представьте, на весь огород поставили столы, еле их набрали с достатком, и в стройцехе взяли, и в отделениях, и по домам ходили. К нашим титаровским понаехало родственников, знакомых, от детей Кириченко тоже, может даже больше, чем местных, коренных. Сын Кириченко

и его невеста учились где-то в университетах. Столы позакрывали скатертями белыми, специально для этого купили одинаковые. Красивые такие скатерти, аж в глазах от той белизны и глажки на солнце слёзы выступили. Мать невесты так и пряталась со своими слезами за эту белизну. Старый Кириченко сильно выхвалялся: оркестр нанял не наш, а привёз откуда-то издалека, ребята все рослые, красивые, в мундирах красных, как у Попандопуло галифе, на костюмах нашиты аксельбанты, погоны и лампасы широкие, тоже красные. Дудки все начищены, на солнце блестят, как глаза у мухи. А играли они точно лучше, чем наши, может быть, только в Краснодаре та в столице так умеют играть. После загса поехали на памятники, фотографировались и у нас, и по району с шиком, на всех газах. Машин было, ну, наверное, штук сто с хвостиком. Потом приехали, и все сели в огороде за столы, над столами шатры накрыты, и не просто каким-то там брезентом или, как у татар, плёнкой, а коврами. Где тот Кириченко их столько нашёл — и неведомо.

— Ну, а что хоть ели? — перебила Марковна с умыслом похвальбу Алексеевны, которая какая-никакая, а родня была семьи Кириченко и потому так выхвалялась, да ещё чтобы Марковне насолить послаще.

— Что было, спрашиваете, Марковна? Да всё было! Про закуски вам даже и рассказывать не буду. Сначала про выпивку. Чего там только не было! Все коньяки — и наши, и забугорные, — потом виски, ну, это как наша покрашенная горилка, водка была и казённая, и со спирту сделанная. А вина со всех заводов на Тамани, даже с Курчанской что-то приволокли. Домашнее вино тоже было и белое, и красное. А вы бы видели, как подавали птицу? Вся была птица, какую вы знаете и не знаете, даже дичь была всякая — и варёная, и жареная, и копчёная, и на пару́, и в костре запечённая. Были страусы, я их видела живых в Голубицкой, когда со сватами специально ездили на лотосы смотреть и на страусов. Их на свадьбу готовили на вертелах и на костре, а разносили на носилках. Вы бы такое видели: их несут, а головы и ноги свисают с носилок на обе стороны. Мясо тоже было всякое: и кабаны были дикие, я их не ела, а то знаю, что от этого мяса можно и умереть, сначала заболешь от сальмонеллы, а потом и коньки отбросишь. И тёлочек молоденьких забили, и бугай здоровенный был. И тоже было оно всё варёное, пареное, копчёное. А рыбы! Марковна, ну, это даже и не пересказать: и наша лиманная, и черноморская, и азовская, и кубанская, и с океанов была куплена в Краснодаре. Ну, конечно же, и подрались на свадьбе. Сначала нашим хлопцам дали, потом наши чужим, потом пили мировую, весело было. А ещё, Марковна...

Марковна не дала разгуляться Алексеевне и дальше в своих присказках, перебила её сурово и лукаво:

— А скажите, Алексеевна, была ли у их на столах домашняя сметана? — сказала так, что Алексеевна опешила, несколько времени не смогла проронить не слова, а потом выпалила:

— Точно, Марковна, домашней сметаны не было, — и дальше уже с удовольствием: — Дерьмо, а не свадьба!”

Все засмеялись, хоть и слышали эту байку не раз.

— А вот скажите, братцы, и впрямь в городе такую сметану уже не покупать, — выронил после улыбок самый старший — Алексей. Он сам часто называл себя Божьим человеком, ибо так по святам назвала его мама Наталья Гавриловна. Благодарен был этому имени и считал, что имя его не раз спасало в бедах да несчастьях.

— Так откуда они такую сметану возьмут, — поддержал его Борис, — ведь деревенские люди тоже испортились: хорошую сметану в город на продажу не повезут. Это не так теперь, как было раньше.

Немного помолчали, даже погрустнели чуть-чуть.

— А вы сами возьмите: совхозного стада давно нет, а сколько у нас на сегодня в станице голов скота будет у частника? Если за пятьдесят со всех стад наберётся, то считайте, уже прогресс, — настойчиво встал в разговор обычно молчаливый Валерий, но вышито винца было уже достаточно для мудрых выступлений. — Какие коровы им такое молоко дают в их огромные магазины — только главный санитарный врач знает. Оно и на цвет голубо-

ватое, что вода в лимане Цокур, и никакого следа в посуде не оставляет, наверное, корова-робот его выделяет.

И тут заговорили о коровах.

Старший своего брата на пять лет Борис Анатольевич с большим удовольствием начал вести разговор о своих домашних коровах, которых помнил всех с самого детства. Да и братишка его Валерий тоже знал их наперечёт, и у него к ним было своё отношение. Воспоминания их о детстве всегда были подквашены не только удовольствиями. Была и беда, которую трудно переносить в детстве. Отца за малую провинность забрали на семь лет в тюрьму, осталось их с мамой шесть человек, в самостоятельность к этому времени выбился только старший брат. Пришлось им всем туговато. Мама ездила в Керчь за известкой и чуть-чуть ею приторговывала, ведь правило было раньше такое: к Пасхе дома должны быть выбелены заново, тут уж хозяйка перед хозяйкой наперегонки, потому известка в это время нарасхват, да и по году она требовалась. Кто-то готовился к свадьбе, у кого-то — похороны или родственников ждут, дом в таких случаях должен быть выбелен и подведён. Раньше это было как неотменимый закон. Спать хозяйка не ляжет, пока дом не приведёт в порядок. Хозяйство у их семьи, даже без отца, было большое, ведь с него только и жили. Борису в этом досталось самое трудное: добывать траву, заготавливать сено на зиму, убирать в коровнике. Валерка был ещё совсем маленький, ему тоже забота — встретить коров, привязать их налыгачем, привести во двор. Мама или старшая сестра коровок подоят, навеют из молока сливочек, одну часть поставят в закваску, чтобы сохранить их уже сметанкой, а из другой приготовят маслица. Пахтица и обрат тоже в дело: и тёлочек попоить, и курам дать, иной раз и свиньям перепадёт такая вкусная редкость.

Валерка, когда немного захмелевал, часто со слезами на глазах вспоминал, как ещё мальчишкой — ему тогда только двенадцать лет исполнилось — ездил к отцу в тюрьму, в далёкий, незнакомый Краснодар. Почему не смогли поехать старшие брат и сестра, теперь не помнил. Мама собрала тогда ему две огромных сумки с едой и какой-то одеждой, посадила в автобус на Темрюк, дала денег на проезд, сказала:

— В Темрюке купишь билет на Краснодар, попросишь водителя остановиться возле кирпичного завода у самого въезда в город, там у кого спросишь, как добраться в тюрьму, ну, а дальше — как Бог даст.

Она перекрестила его на дорогу и всё сожалела, что сама поехать к мужу не может, ибо хозяйство не бросить, и уже когда автобус тронулся, добавила громко:

— Помощи у людей проси, не стыдись, сынок, добрые люди всегда помогут.

Валерий сделал всё, как наказала мама, хоть и стыдно было ему просить о помощи, но сумки были такие тяжёлые, что ему и так стали оказывать помощь. Мама отдельно в маленькую сумочку положила ему еды на дорогу. Но до самого Краснодара он к ней не прикоснулся. Встал возле кирпичного завода, а как дальше добираться, не знал. На пустынной дороге оказался один, сидел, сидел и расплакался. Случай помог ему. Один мужчина приблизительно через час слез с попутной машины, увидел его красным от напряжения, усталости и обиды, спросил:

— Ты чего плачешь?

Заметил, что сидит Валерка с огромными сумками, через паузу добавил:

— Тебе куда?

— Мне в тюрьму, — ответил Валерка и опять заплакал.

— И мне туда, давай помогу.

Добрались они к тюрьме уже во второй половине дня. Валера всё выполнил, как наказала мама, и домой он возвращался совсем счастливым. Ему удалось папе доставить передачу, и в этот летний день, он, совсем осмелевший и бодрый, на попутке и налегке добрался домой. Ему хотелось быстрее вернуться и рассказать маме о своих успехах. И папа его через несколько лет после освобождения, когда вместе со своими коллегами-шофёрами на посиделках проводил время, с гордостью отмечал, как со своими сокамерниками

ел он продукты, которые в тюрьму привёз ему сынок. Доверительно в этой компании мог рассуждать Валеркин папа, ибо всегда самое малое трое из пятаерых проходили великую русскую школу под названием “тюрьма”. Отца его уважали, он был справедлив, для многих стал учителем в дальних рейсах по Родине.

Сметана за этим столом на Масленицу заставила вспомнить братьев об общей любимице семьи — коровке Жанне. Жанна была красавицей, и даже звездочка на её лбу не дала ей обычное в таком случае имя. Жанной окрестил её Валерка после того, как в школе узнал на уроках про воительницу Жанну д’Арк и полюбил её за смелость, отчаянность, необузданное стремление к воле. Многие годы корова давала большое количество жирного вкусного молока. Когда в семье было две доящихся коровы, то Валера просил маму молоко не смешивать, чтобы пить Жаннино. Он всегда замечал, что опять смешали молоко. Это могла делать сестра, но не из вредности, а по забывчивости, сказано: девичья память. Мама всегда после говорила:

— Нюра, зачем молочко объединила, ведь знаешь, что Валерочка любит Жаннино.

Валерка был у неё последним, поздним сыночком, и она его баловала.

— Ой, мам, ну, вредничает он, — отвечала сестра и убежала после дойки летом на море, а в холодное время — на свидание: она была уже барышней.

Упорство Жанны Валера всегда видел, если опаздывал её встретить из стада и набросить на неё налыгач. А Жанна, увидев Валеру издалека, старалась убежать от него, и если естественной преграды не было, ей это удавалось.

“Ну, теперь опять бегать по обрывам, — думалось мальчику, — опять пропустить придётся своё гуляние”, — и он даже злился в такой момент на Жанну и бежал за ней следом.

Почему Жанна убежала, никто догадаться так и не смог. В стаде она всегда питалась хорошо, ставков в округе было достаточно, так что и питья в изобилии, а вот убежала — и всё! Когда Валерке надоело искать её, он приходил домой и объявлял всем об этом. За такое известие все на него сердились, ибо тогда нужно было Жанну искать всем сообща, оставив свои заботы и радости. У Бориса пропадало вечернее гуляние с ребятами, у Ани — её желания. А искать Жанну было необходимо, потому как она могла нанести травму на чужие огороды или придворные цветы.

Один раз Валерке всё же улыбнулась удача. Он опаздывал к Жанне, но выбежал с лакомством — ломтем чёрного хлеба, на который размазывалось подсолнечное масло, посыпанное солью. Масла всегда держали дома достаточное количество, и это было хорошее масло, которое изготовлялось из поджаренных семечек. В этот раз Жанна не убежала, а издали, вытянув шею принохиваясь и раздвигая ноздри, пошла к Валере навстречу. Жаннины ноздри раздувались и подергивались, как меха в гармошке, её морда стала сообразительной и заинтересованной, и такая страсть к его еде наметила мало-го. Он дал ей покушать это лакомство, а тем временем накинуд налыгач, и Жанне не удалось убежать. Потом Валера стал пробовать свои приёмы только с хлебом или хлебом с солью, но ничего не получалось. Жанне нужен был именно кусочек посоленного хлеба, намащенного именно таким маслом, — магазинного она тоже не принимала. Один раз Валера очень опаздывал на встречу с Жанной и, как назло, позабыл взять с собой угощение, не выработалась в нём ещё эта привычка. Жанна убежала. Целую ночь вся семья искала её по станции, и только под утро нашли её мёртвой: сбил её кто-то машиной и уехал.

Прошло больше пятидесяти лет, но и теперь у Валерия от переживаний навернулись слёзы.

— Ну, раз пошли разговоры о коровах, и я вам расскажу о своих барышнях, — продолжил Алексей Иванович. — Держали мы с мамой коровок всегда, без них, может быть, и не выжили бы, отец на войне погиб, туговато нам пришлось. Однажды мне нужно было поехать в Керчь в магазины, посмотреть на велосипеды. Соседу нашему купили родители харьковский велосипед, и мне так захотелось его иметь, потому и решил прицениться в Керчи. Ведь ещё совсем малым был, только в седьмом классе учился, летом думал

пойти на заработки и исполнить свою мечту. Собрался по весне в поездку, а мама мне говорит:

— Ну, куда ты, Алёшенька, Майка вот-вот разродиться должна, а ты с дому.

Майкой звали мы нашу корову. А я маме:

— Ну, что вы переживаете, я туда и обратно.

— Сыночек, я же без тебя не справлюсь, боюсь я, а ты уезжаешь.

— Ну, мама, вы говорите, будто меня век не будет. Рано утром уеду, вторым рейсом вернусь, не страшитесь.

Поездка на теплоходе в Керчь — одно удовольствие, особенно в хорошую погоду. Первый рейс был рано-рано, чуть только наступит рассвет. Помните, у нас “Пион” в Тамани ночевал, чтобы рано в Керчь привезти на базар продукты. Море спокойное, и цвет его меняется в зависимости от освещённости, растительности на дне и наличия облаков. Не поездка, а настоящее баловство. Теплоход зайдёт на Среднюю косу, там постоит, заберёт пассажиров и — дальше, в Керчь. Город станет прирастать с приближением катера, первыми увидятся портовые краны, дома, стоящие на высоте, выбеленная лестница на Митридат, потом бухта, в ней уже другие пароходы, которые стоят у причалов. А на самой пристани — суета людей, не слишком торопящихся в Тамань, но обязательно мнущихся, чтобы первыми вскочить на борт и занять лучшее место.

Алёша действительно вернулся в Тамань вторым рейсом теплохода, ещё с моря увидел, что мама топчется по пристани.

— Ну, что там, мама?

— Ой, Алёшенька, беда, погибает Майка, разродиться не может.

Вдвоём заспешили. Наталья Гавриловна всю дорогу приговаривала:

— Погибнет Майка, погибнет кормилица наша, беда нам без неё. Ведь всё приготовила, весь коровник выбелила, хлоркой разжилаась и всё, что надо, ею сделала, и соломки яровой постелила, и обмыла её, и ведёрки с горячей водой стоят, и тряпочек настелила, да приготовила всё.

Мама в разной последовательности говорила почти одни и те же слова, иной раз срывалась на плач, от быстрого хода она задыхалась и всхлипывала, дробя слова на части.

— Мама, ну, что там случилось, скажите по делу?

— А что случилось, сынок... Никак не разродится Майка, уже и глаза закрывает, слезами изошла, мычать устала. Коровьим стоном даёт знать, что помирает.

Домой они уже не шли, а бежали.

— А ветеринара вызывали, мама?

— Да нет никого, сыночек, сам спасай.

У Майки и впрямь была беда. Телок вышел одной ножкой и головой, а вторая подломилась внутри, и не давала выйти всему плоду.

Алёшка, сам ещё, можно сказать, мальчишка, в такой перипетии ему бывать не приходилось, а не растерялся, повторял то, что делали взрослые при таком деле. Он помыл руки с хозяйственным мылом, после тем же мылом обильно смазал руки по самые плечи, одной рукой взялся за лобик, а другой за ножку и затолкал бычка внутрь. Мама ему помогала и советами, и делом. То, что это бычок, по лбу определила Наталья Гавриловна сама. Когда его рука вошла в Майкино тело, Алёша даже напугался — такое горячее нутро было у коровы, и так ему стало страшно, что подумалось, какой же это бритвой ему отхватило руку?... Даже поглядел на неё. Это успокоило его, он помог обеим ножкам бычка выйти наружу, со столба снятым налыгачем связал вместе распрямлённые ножки бычка и медленно стал тянуть его наружу. Бычок вышел большеголовый и обессиленный, будто это сам он трудился, а не за него и за мать его Майку бились в сарае Алёша с Натальей Гавриловной. Майка обессиленна и, казалось, уже не выживет; у неё и сил не было облизать бычка. Мама сама обтёрла его мягкими тряпками, отвалившуюся пуповину обрезала в положенном месте и обильно смазала йодом.

И уже теперь за столом Алексей Иванович произнёс:

— Что бы мне ни говорили люди, учёные или ещё там кто, что животные без разума, — никогда не поверю. Майка, когда совсем отошла от мучительных родов, при нашей встрече смотрела на меня, как на Бога, в первые дни после отёла аж плакала... Сказать ничего не могла, а только молчала лизала мои руки. Я понимал, что так она благодарила меня за спасённую её жизнь и жизнь её детёныша.

— А ещё был случай перед самой перестройкой, — после совсем короткой паузы продолжил Алексей Иванович, — когда поехал я по производственным делам в Ярославскую и Костромскую область.

Алексея Ивановича потянуло на воспоминания. Когда бывал он в настроении, то рассказывал про жизнь или события с удовольствием:

— Недалеко это случилось, от Ростова Великого совсем недалеко. Послал меня директор на разведку, как купить отборного скота симментальской породы, ох и горя когда-то мне принесли такие симментальцы, расскажу после. Приезжаю я в одну деревню, дороги ужасные, вернее, их нет, грязь непролазная. Встретился с ребятами, какие мне были нужны, разговорились. На ферме это было всё, скот красивый, правда, стоит, ведь кормов у них там — завались, не ленись только, ребята, не уйдёте в запой в нужное время, в богатом положении и зиму пройдёте, и весна не укусит горем. Ибо нет большего горя, когда скот голоден. Колхоз этот вроде бы и богатый был, а какого-то порядка нашего кубанского не видать. Мы разговорились. От фермы совсем недалеко церквушка стоит. У нас как-то не так: фермы обычно за станицу выносят, а здесь нет, рядом, почти в центре деревни. Спрашиваю их:

— Ребята, а почто ферма почти в деревне стоит?

Они мне в ответ:

— А ты, мил человек, попробуй в нашу распутицу сто метров пройти, тогда и поймёшь. — Рыжий один так сказал едко, и на меня смотрит, лыбится. Я вздумал тоже ему ответить так же, но успокоился быстро: как мне с ними отношения портить, не ко времени. Я проситель, тут марку держи. И чтобы отвлечься как-то, дальше совсем о других событиях хотел спросить, а меня всё в ту же сторону клонит:

— А церковку вашу когда же так охаяли?

Почему так спросил, и теперь не знаю. Может оттого, что у нас в станице всё время церковь в открытую жила, служба не уходила из неё. Хоть и батюшки менялись в ней, а она всегда стояла побелённая, и хоть малым промыслом, совсем малочисленным и бедным приходом, но намоленная стояла, лампы надолго не гасли в ней. И маменька моя всегда по воскресеньям и в праздники в неё ходила. Уже когда совсем плохая стала, к причастию соберётся, пересилит себя, пойдёт в церковь. Батюшку никогда в дом не звала; только когда совсем слегла, то просила дома её причастить, это уже за девяносто ей было.

— Что же дальше? — спросил Анатолий.

— Ну, представляешь, Семёнович, мне всё тот же рыжий отвечает:

— Это ещё до войны наши коммунисты повалить взялись, а не сладили, к другой службе её приспособили после того, как кресты сбросили. То артели, то клуб наладили, танцы там устраивали, а как клуб новый построили, то яды и химикаты в ней сваливают.

Все стали глядеть на эту церковь, она вся обиженная стоит, сиротская, но явно прочная, из красного кирпича сделана, даже непонятно, от какого обжига и из какой глины такого багрянца можно выправить, цвета закатного солнца, которое готовит на утро ветер.

— Может быть, тем бы и закончилась моя встреча с этой церковью, но после долгого молчания я вдруг глянул на одну корову. Она, неразумная, стоит в стороне от стада и тоже на церковь заглядывается. И от нас не отходит, вроде бы в разговоре участвует. Её отогнали в сторону, она отошла, опять развернулась и смотрит на самую вершину той церквушки, мне даже не по себе стало. А потом вдруг как заревёт, протяжно, жалобно и, мне показалось, с каким-то смыслом. И уже когда всё сладилось, и я уезжать надумал, меня невидимая сила поволокла в церковь. Мама приучила меня

ходить в нашу Покровскую церковь с самого малолетства, поэтому я знал молитвы, где на службе стоять, когда креститься. В эту местную церковь заходил один, старые церковные двери были давно сломаны, проём задраен отхожим материалом, внутри ничего не было, от сваленной маковки в церковь попадал дождь, и от него посреди зала, перед самым алтарём была большая лужа. Видно было, что и удобрения в неё сваливали под стены, стены от этого набухли красным и фиолетовым цветом, почти все иконы, которые выполнялись по штукатурке, облезли, отшелушились и потому выглядели обиженными и страдальческими. Я в ней постоял, перекрестился на алтарь, в сторону, где когда-то стояла Голгофа, на другую сторону, засобиравшись уходить, мне стало мутно и грустно от увиденного безобразия, но тут произошло чудо. Сначала полилась музыка и пение от хоров, потом по стеночке побежал лучик и стал рисовать большую раму. Внутри этой рамы стал прорисовываться образ Богородицы с Младенцем. Христа она держала так же на левой руке, как и у Казанской, но не Казанская икона являлась, а другая, я её не знал. Я после, через несколько лет всё сравнивал её с Казанской иконой. Когда всё проявилось, окрасилось цветом, у Богоматери стали из глаз сыпаться слёзы, именно сыпаться, а не катиться. Слёзы эти были из крови, но кровь не такая, как из раны. Они катились крупными шариками по Её лицу и скатывались на землю, по пути эти слёзы Богоматери превращались в золотые. Но когда они падали на пол, то золото рассыпалось в мелкие брызги. Не помню сам, как ушёл из церкви, а до сих пор не выходит из головы моей эта невидаль. Почему так произошло, откуда и зачем мне видение такое — не понимаю, но так было, и не сон это вовсе или какая блажь. Хотел бы я побывать там теперь, посмотреть на церковь и сохранилась ли та икона. Не вру я вам, — Алексей Иванович перекрестился на иконы, — не сойти мне с места! — И сразу продолжил: — Я когда бывал в других храмах, то всё присматривался, увижу ли когда-нибудь такую икону, какую нарисовал луч, или я сам всё это выдумал аль привиделось мне. Оказывается, не выдумал я эту икону. И вот однажды, тоже это было в командировке, я увидел её. Главное ведь, что цвета такие же и Младенец в полный рост, в одном храме это было. Дождался, когда закончилась служба, и уже когда батюшка уходил из церкви, я спросил у него:

— А что это за икона?

Он мне ответил:

— Смоленская Божья Мать, мил человек. Такую чудотворную икону с собой в сражения брал Михайло Илларионович Кутузов.

— Вот так-то, братцы, чудо — оно и есть чудо! — Алексей Иванович перекрестился, даже не для подтверждения своих слов, а знаменуя святость события.

Все почти разом заголосили:

— А что ж ты капельки золотые не собрал?

— Поехали туда!

— Завтра соберёмся да поедем.

— Поехали, Алёша, что тут до Ростова Великого.

— Да нет, братцы, я один должен сперва съездить, а потом и вы, — ответил Алексей, и тут все увидели, что на глазах у него слёзы. И он не стеснялся этого, молча вынул из кармана платок и долго вытирал им горькую влагу.

— А ведь Смоленская губерния — родина моих родителей и братушки моего старшего. Смоленщина всегда была грудью, щитом Отечества. Гитлер, когда взял Смоленск, произнёс даже: “Теперь Россия на коленях, скоро Москву брать будем”. А что же теперь? Там людей нет совсем. Мои дети, когда ездили под Смоленск, удивлялись: все дома стоят в деревнях заколоченные, а средняя школа — одна на весь район. Это сколько же там людей осталось?! Вот и грудь России стала хуже нашей старческой, проваленная грудь. Мы такие, что в обоз ещё сойдёмся, а Смоленщина на коленях давно, — это Григорьевич откликнулся на слова о Смоленской иконе.

— А нас, ребят, не приучили в церковь ходить, мы даже не знаем, где стоять, и как молиться — да, Валера? На Пасху даже не всегда ходим, иной

раз постоим в кругу, когда батюшка со всеми идёт, кропит у людей, кто какие припасы принёс. И если нет ветра, то красота, свечи горят, люди в три круга стоят, церковь посередине тоже в свечах и огне, а чувства, кроме внешней красоты и нет, вот беда, — Борис Анатольевич сказал это с огорчением, и видно было, что ждал он какой-нибудь поддержки.

— Был такой случай в одной северной деревне. Глухомань, многие деревни друг от дружки чуть ли не за десять километров, а то и больше стоят, — стал пересказывать одну услышанную притчу Юрий Григорьевич. — Там не в каждой деревне церковь имеется. И вот жила в одной такой деревне старушка, Марфой её звали. В той деревне домов едва с десяток набиралось. И приходилось ей на службу церковную ходить почти за четыре километра. Время шло-шло, и стала она совсем немощна. Все органы чувств её почти потерялись, осталось лишь несколько: дороги она знала наизусть, могла ощупывать все нужные ей предметы, по памяти могла назвать их, так и в своём огороде справлялась сама, оттого и поддерживала свой достаток, даже человека, едва проведет рукой по лицу, и сразу скажет, кто это. И на слух она была так слаба, что ей нужно было кричать в самое ухо. И вот зимой — пурга, холод, а в воскресенье Марфа уже к началу службы в церкви, на своём месте, всю литургию отстоит и только тогда домой. Батюшка один раз пожалился над ней, уже никого не было в храме, и немного погоды, как уже Марфа собралась домой идти, он ей прокричал:

— Марфа, ну, что ты себя так мучаешь, ведь не слышишь ничего, не видишь, в такую погоду идёшь в церковь, стоишь всю службу, бедная, даже не присядешь.

Марфа выслушала всё, постояла с минуту, повернула к батюшке ласковое лицо и сказала:

— Я не бедная, батюшка, я счастливая, я всё чувствую: и ангелов на небесах, и Её, Заступницу, и Христа, отец родной. — Вымолвила всё это Марфа, лицо её сияло, она перекрестилась на алтарь, на иконы, чуть в сторону отошла, обернулась к отцу Герману и уже грустно чуть слышно проронила:

— А если бы меня не было, тебе бы одному иной раз службу нести было надобно, я и тебя жалею, батюшка, ты не грусти, мы ещё на Страстной неделе постоим, и в Святой четверг все двенадцать Евангелий ты прочтёшь, а я узелками на ниточке их переберу, — сказала и направилась домой. Батюшке показалось, что даже походка у Марфы стала другой, легче.

— Марфа, а фонарик для четверговой свечи принесёшь?

Она обернулась, счастливая-счастливая, что батюшка через неё вспомнил о её родне, ведь знает всё:

— Как же, как же, обязательно принесу. Этот фонарь ещё моя прабабушка носила, потом бабушка, опосля он маме достался, а теперь вот и мне. У отца Германа навернулись слёзы на глазах, и он сказал ей вслед:

— Вот на таких людях Русь держится, молитвами их сохраняется Отечество.

Помолчали все, никому говорить не хотелось.

Но потом заспорили, теперь заспорили о водке. Сначала стали вспоминать советские цены на неё. Тут всё перепуталось у них, наперебой заговорили, какая цена была на “Столичную”, “Посольскую”, “коленвал”, “андроповку”. Оказалось, что цены у них не совпадают, то на две копейки, то на три. Смешно всем стало, каждый утверждал своё, вспоминал, где и когда покупал он водку и точно помнит её цену.

— А вы помните, у нас в центре была “Чайная”, — вдруг сказал меньше всех участвующий в разговорах Анатолий. — Мы в детстве собирались около неё и ждали, когда вынесут пустые бутылки из-под водки. Они в те времена ещё сургучом запечатывались, даже непонятно, для чего.

— Как непонятно, — подхватил тему Валерка.

В последнее время его стали называть Варелик, подглядели в каком-то фильме перековку имени и понеслось.

— Делалось это, — сказал он уверенно, — чтобы не влили отравы какой-нибудь или не отбавили водочку. Сразу ведь станет заметно, что кто-то в бутылку лазил.

— Да я не об этом, — продолжал Анатолий. — Мы тогда на сданные бутылки покупали конфеты, знаете, такие подушечки, посыпанные какао. А магазин один был, где принимали бутылки, заведовал там дядя Серёжа Бурло. Принесёшь ему бутылки, он спросит:

— Битых нет? — спросит так, для активного участия. Он ведь бутылки эти будто рентгеном смотрел, его не проведёшь. А рентген у него был мизинец — другие пальцы в бутылку не влезали. Он этим пальцем внутри горлышка крутанет, сразу определит, есть там скол или нет. Пробовали мы на чуть сколотых бутылках сургучом замазывать, никогда не проходило, даже если дядя Серёжа пьяный был. Вот он нам на эти целые бутылочки, отставленные в сторону, на счётах костяшками прикинет за них цену и подушечек отвесит, свернёт кулёк из бумаги, подаст кулёк, заулыбается, улыбка у него была как-то наружу больших мясистых губ, протянет почти басом:

— Гуляй, братва.

А мы счастливые с этими подушечками на море. Разделим их по-братски, на всех поровну, и целый день промысел этот нас кормит. Только кусать эти конфеты нельзя, а то сразу их незаметно съешь. А вот сосать подушечки — это одно удовольствие! Сначала лёгкая горечь проступит на языке, когда пудру от какао слизнёшь, пудра — она как мел на языковую ощупь, пока её не употребишь, конфета будет шершавая, а потом радуешься леденцовой сладости целых полчаса. Дососёшь эту конфету до дырочки с какой-нибудь стороны, потянешь из неё повидло или джем, а потом уже до конца, до самой тонкости облизнешь её и медленно дождёшься её исчезновения. Пройдёт часа три, и мы станем считать, сколько у кого осталось конфет, кто-то обрадуется: “У меня на одну больше”. Так целое лето и жили: море, конфеты, огурцы и помидоры с огорода, помощь родителям по дому и солнцем вокруг. По улицам станешь бегать — босыми ногами учуешь, какая мягкая дорожная пыль, перетёртая колёсами бричек. С улицы — опять на море, и назавтра почти то же самое. Красота! Я только после армии узнал, откуда у дяди Серёжи Бурло была свобода в деньгах. Он ведь битые бутылочки назад не отдавал, а я думаю, что он своим рентгеном и небитые за битые принимал. Вот после армии мы с ним как-то на море встретились. Он мне:

— Анатолий, давай, водочки выпьем.

В своё время ведь в станице все друг друга знали да привечали, не то, что теперь. А после службы в армии ты входил в круг взрослых людей, как ровня им. Сегодня не то, что поздоровается первым с тобой парень значительно моложе тебя, а то, глядишь, и по морде ни с того ни с чего врежет, так не от злости даже, а чтобы развлечься. Я помню как-то, когда пацаном был, не по шалости, а по отвлечённости не поздоровался с нашим соседом дядей Андреем Залозним, забыл даже про это. Напомнил мне отец — три дня на задницу сесть не мог.

Ну, вот, вспомнишь — раньше в станице водочку почти не пили, при колхозах денег у людей было совсем мало, потому пили вино, своё — домашнее. Спросит, бывало, кто-нибудь какого-нибудь Василия:

— Ну что, Вася, сколько вина надавил?

А он и ответит:

— Да так, немного, для себя, не для продажи, вёдер с двести будет, наверное.

А вот как я отслужил срочную, уже по-другому пошло, народ стал предпочитать водочку. И на поминках, и на свадьбах почти вина не пьют, ни сухого, ни креплёного, простоит оно на столах, так к нему почти никто и не прикаснётся, только особые любители, и то предпочтут винзаводскому вину домашнее.

Мы вышли с дядей Серёжей бутылочку, одной оказалось мало, тогда он мне рисует записку и посылает в свой магазин, только теперь он был в самом центре, помните — возле “скобяного” и почты. Я с той записочкой в магазин, мне в ответ красненькую, я в другой магазин — за водочкой и — на море. Так в тот день он мне три раза записочку рисовал, домой нас развозили дружинники на дежурной грузовой машине, развезли уже, как груз. Моя мама на следующий день даже заругалась на него, он в ответ:

— Не сердчай, Сергеевна, он ведь солдат, ему, может, не дай Бог, воевать ещё придётся, а воевать без водочки и привычки к ней — это вам не глину месить, это человека надо заколоть, — и он показал всем телом, как надо колоть штыком.

Выпили ещё по стакану винца и опять заговорили о еде.

— А мне жалко наших горожан, — тихо сказал Борис Анатольевич, — что они там, бедные, кушают? Я вот был у дочери в Москве, сам удивился. В магазин зайдёшь, они в супермаркетах закупают еду на всю неделю. Красиво, ничего не скажешь, и витрины, и сам магазин, а там наставлено всего, нам бы в станице и за год всем вместе не съесть. А ты попробуй еду эту есть, — одна пластмасса, мне кажется, всё там из нефти сделано, а фрукты — точно восковые: не укусить, не понюхать.

— Да, это так, — подхватил Анатолий, — ни мяса там не увидишь, ни колбасы нормальной, такой, как у нас домашняя колбаска. Кабанчика когда заколют, обязательно женщины колбас наделают, в натуральной оболочке — в кишочках. Начинят их мясом, салом, все специи там, какие нужно, чесночок обязательно, колечками обжарят, аккуратно положат в банки и залыют смальцем, после только доставай и ешь, а она чесночком и горчицей шибает в нос, кишочка хрустит, когда ты её зубами проткнёшь, сам себе завидуешь от такого удовольствия. Раньше, лет пятьдесят назад и магазинная колбаса была ничего, съедобная. Тётя Нюра, помните, что на фантале водой торговала, она когда-то поехала к сестре на паровозе, совсем недавно это было, годков семь назад. И вот рассказывала, зашла она в вагон в Крымске, идёт, ищет себе место, вокруг все колбасу едят, а колбасой этой совсем не пахнет. Так она потом всем рассказывала про это — так была удивлена. А в конце пятидесятых годов пришлось ей тоже ехать на поезде. В том же Крымске, тогда он, правда, станицей ещё был, называлась Крымская, села она в вагон, а по вагону запах колбасы, да такой, что аж голову кружит. И что удивительно: ел её в вагоне всего один мужчина, который сидел на самом последнем месте, а дух колбасный — по всему вагону.

— Да, запахи и теперь они научились без настоящих специй производить. Ту же колбасу или рыбу, к примеру, напишут про неё, что копчёная она, а на самом деле никто её не коптит. Побросают в воду, нальют туда какой-то гадости, подержат в такой ванне — и получай копчёности. Ешьте, ребята! — Алексей Иванович так напряжённо это сказал — аж жилы на шее напряг от неудовольствия.

— А настоящий окорочок покушать, особенно на Пасху, радость по телу пойдёт от этого, будто ангел по нему потопчется, — продолжал Анатолий.

— Да вот Валерочка делает окорока, сами знаете, какие они. Братушка, скажи, ты ведь мастер по этому делу, — обратился Борис Анатольевич к своему брату Валерию.

— Ну, что, колотушники, разговорились, пора бы за Масленую неделю вышить по стаканчику красенького, — сыпанул самый старший, — говори, Валера, тост, ибо требуется понемногу употребить.

Валера встал, поднял стакан вина, повертел его, любуясь на все грани, поднёс к ещё освещённому вечерним светом оконному стеклу, а сидели они уже пятый час, порадовался его рубиновому цвету, стакан был насквозь прозрачный и действительно красивый, только солнца убавил, таинственно понюхал его содержимое и традиционно произнёс:

— Разрешите поднять этот бокал прекрасного таманского вина, которое изготовлено из винограда третьего отделения нашего совхоза, — он оговорился по привычке так называть знакомую всем производственную местность. Совхозы ведь давно исчезли, появился собственник, который изменил существующие порядки, названия, традиции, жизнь и быт станицы, вселил в неё сумятицу и какую-то затаившуюся злобу на всё и на всех. Валера продолжил:

— Это каберне изготовлено из винограда с третьей клетки седьмого поля, — он не любил чётные числа с самого детства, потому поле и клетка всегда выдумывались, всё это для красного словца. Не сокращая мысли и выражения, он сиял от радости, бодрился и стелил дальше:

— Вырастили его прекрасные руки наших станичников. На самом деле... У Валеры были любимые слова “на самом деле”, “по существу заданного вопроса”, “вернее сказать”. Это были слова, за которыми он прятался, как за паузу или как его бабушка за молитву.

— На самом деле мы должны помнить, — продолжал он, — что живём на лучшей земле, при самом светлом солнце и на воздухе, который бодрит не только голову, но и мысли. Посмотрите, ведь почти по всей России-матушке снега и холод, а у нас зацвёл миндаль и вот-вот зацветут жердели. Давайте выпьем за память наших родителей и за светлые праздники впереди.

Все выпили, не чокаясь.

— Ну, ты, Иванович, вспомнил, что нас, таманцев, зовут колотушниками, а ещё бы сказал про стеблиевцев, что они чаканы.

— Ха-ха-ха... — опять разнёсся дружный смех мальчишника.

Прозвище “колотушники” получили станичники за то, что часто местные казаки спорили на ловле колотушки, к которой привязывался нетолстый фал. Колотушку бросали на пристань от парохода, стремящегося причалить. За колотушкой тянулся фал, к нему привязывался причальный канат. Причальный канат тяжёл, его с парохода на пристань не добросить, потому и нужна была колотушка, которую умело выплетали моряки из верёвки. Капитан парохода давал в старину копейку тому, кто её поймал. Вот из-за этой копейки и выходил спор, а иной раз ссора и драка. Лучшим колотушником много лет слыл Данила Харитонович Погребенко. Он работал на старой, ещё дореволюционной пристани грузчиком. На эту пристань причаливали пароходы за зерном, которое свозили из многих станиц Кубани для отгрузки её в Крым и Европу дальнюю. Данила был силен, мог на себя взвалить два мешка, иной раз для похвальбы перед девчатами брал их под мышку и заносил на пароход. На спор он мог занести мешки, как котят, для этого сам перевязывал горловины мешков, складывая их концы в куль гармошкой, перед этим подворачивая кромки холстины. Именно за них брал Данила два мешка и мог пронести их хоть до церкви. За колотушкой, брошенной с парохода, нужно было всегда потолкаться. Тут Данила был самым искусным мастером, растолкает всех, а колотушку добудет. Был случай, когда Данилу Харитоновича пытались расстрелять в смутное время, в гражданскую войну. Тогда было так: белые придут в станицу — расстреливают своих врагов, красные приходят — тоже расстреливают, только уже своих. В тот год, когда ему не повезло, красные особо сильно лотовали, насиловали женщин, коровам от непонятной злости вырезали вымя, резвились и развлекали себя диким промыслом и лотовали, конечно. Не одного в тот день замучили темрюкские портовые разгулявшиеся ребята — печаль они так свою развеивали. До того разлотовались, что привязали одной барыне камни к ногам и шее и прямо под пристанью потопили её. Данила жил в зажиточной казачьей семье, у них даже была своя, запутался он в волосах утопленной барыни и едва не задохнулся. Но барыня отпустила его — двум смертям не быть, да ещё потопленными в одном месте! — пожалела она его. Пробыл Данила Харитонович под пристанью до самой ночи. Слышал он, как жена его Пелагея Марковна носилась по берегу, кричала, звала его, а он не находился. Горем убитая Пелагея так и подумала: “Убили моего милого, шлёпнули красные!.. Где он теперь всплывёт и когда?.. Завтра опять нужно по рассвету бежать на берег, искать его”. А искать не пришлось. Ночью пришёл её Данилушка, тихонько постучал в окно. Засветилась лампа. Пелагея испуганно спросила:

— Кто там?

— Да это я, Полюшка, открывай быстрей.

Пелагее подумалось, что это уже мёртвый пришёл Данила, посмотреть, как тут без него живут. Пелагея стала креститься и читать молитвы. Тут уже строго Данила прошептал:

— Открывай, Полина, замерз я, одежду на конюшню принеси.

Полина на конюшню, чтобы никто не видел, принесла ему горячей еды и одежду. Не взяла смерть колотушника Данилу, мимо пронеслась. Данила Харитонович на время затаился, отселелся в чужой стороне, а когда стихло, воротился домой.

А звонари — это уже казаки и казачки станицы Ахтанизовской. Тоже прозвище получили не зря. Станица Ахтанизовская, как и многие прижатые к Кубани и лиману места, была сторожевой станицей. Адыги и черкесы совершали набеги на весь Таманский полуостров, часто ходили и на неё. По Кубани они доплывали до лимана Цокур, а дальше незаметно по заросшей камышом, чаканом и кустарником местности можно было перекинуться в Ахтанизовский лиман и подойти к станице. Эти набеги предупреждались набатом с колокольни местной церкви. Однажды вся станица сбежалась на набатный призыв к площади, а оказалось, что в верёвке, привязанной к колоколу, запуталась коза. Это она наделала дикий переполох. Так ахтанизовцы навсегда стали звонарями.

Непренменно нужно сказать и о казаках Вышестеблиевской станицы. Они слыли горобцами, зайцами и чаканами. Чаканами их звали за то, что в изобилии он рос по лиманам, из него делали маты, которые употребляли при ловле рыбы, приспособляли маты и на другие дела, из чакана делали поплавки к сетям, из его цветков приготавливали мази от ран, а корневища пускали на отвары вместо чая. Стеблиевцы во множестве заготавливали чакан и на продажу. Горобцами их звали за то, что птицы этой в станице было умеренно много, и к ней относились уважительно, ребятам запрещали ловить их и истреблять, как это делалось в соседних станицах. Раньше заборов почти не было, хаты и сараи камышом крылись. Хозяина или хозяйку звали из дома на улицу ударами кнута по тыну да криком. После этого из всех камышовых нор вылетали горобцы, тучами вылетали, такими стаями, аж небо потемнеет. Вот за это и понесли Вышестеблиевцы это прозвище — горобцы. А почему звали зайцами, теперь не удаётся выяснить. Зайцы, они и есть зайцы. В станице и сейчас живут семьи по фамилии Заяц. Ещё есть семьи с переделанной фамилией на кацапский манер — Зайцевы. Тоже из казачьих родов, но Зайцевы.

Старотитаровцы никогда не любили таманцев. От титаровца часто можно услышать:

— Да что там той Тамани, захоlustье, там только и радости, что Керчь рядом. А у нас в Титаровке цивилизация!

И что там входило в понятие цивилизация — никто не знал. Может быть, была у них гордость за своих детей, которые выучились и в районе занимали начальственные места. Может, оттого, что стояла станица на перепутье дорог, и был всегда в ней большой рынок, и шла через неё железная дорога, и был там вокзал. На Бокаях было много воды, в лимане — рыбы, и огороды у них были по гектару и больше. Последняя война их не сильно отбомбила, восстанавливать долго хозяйства не пришлось, богаче они были, потому и дети их выучились. Это не Тамань, которую сровняли бомбами с землёй почти всю. В ней заканчивалась немецкая оборонная “Голубая линия”. Всего несколько домов старинных и красивых осталось после войны: дом Петренко, от него и балка получила название Петренковская, которая плавно своими мягкими обводами выходила к заливу. На самом берегу, в порту, где сброшено было и нашими, и немцами больше всего бомб, выжил постоялый двор казаков из дворян Толстопятых, у самого памятника “Запорожцам” дом землемера и архитектора Тамани, совсем недалеко от центра дом, в котором после войны жил закройщик Пострагань. Уцелела церковь с колокольной, ещё дом, где в войну был госпиталь, а до войны — грязелечебница, после войны — школа. Пожалуй, и всё! А так остались землянки да глинобитные турлучные домики. Таких построек почти во все времена было большинство на Кубани.

Титаровцев звали все в округе “та шей га”. Посторонний никогда не поймёт, почему так. А прозвищем этим наделили их ещё в дореволюционное время. Готовилась станица к встрече войскового атамана. Событие значительное. Из церкви за станицу вынесли иконы и хоругви, вышел батюшка, станичный атаман волновался и всё бегал от батюшки к своим старейшинам и казакам. Испекли каравай, ребятишек выставили на самое высокое место наблюдателями, они влезли на деревья и должны были закричать о приближении его высочества — атамана войска. Ждали долго, измучились на пекущем солнце, за станицу высыпали не только казаки и ребятишки — там собрались почти все, кто мог ходить, даже иногородние. И вот закричали с деревьев ребята:

— Едут, едут!..

Вся станица на несколько шагов выдвинулась вперёд, атаман с иконой, казаки навытяжку, все в парадных мундирах. Показались брички, на безветренной погоде дорога сильно пылила. Каково же было удивление всех, когда на передовой кибитке к строю подбехал седой цыган. Он сам остолбенел от неожиданности: нигде его так не встречали, целую вечность, казалось, вглядывался в толпу, переводил глаза с икон на казаков и казачек на строю атамана, да как закричит от волнения:

— Здорово, титаровцы! — И уже сам не понимая, как ему от беды отворотиться, добавил еще бодрее: — Та шей га! — закрутил кнутом, ударил себя по ногам и почувал, что будут его, наверное, бить, да и всех других цыган заодно. И чтобы как-то смягчить свою участь, заорал:

— Батька атаман, дарю вам сивую кобылу и нанки на штаны! — И только тут толпа разразилась хохотом.

Вот так целый век титаровцев на Тамани при встрече приветствуют и теперь:

— Здравствуйте, титаровцы, та шей га!

Жителей хутора Солёный звали шаранами. Это тоже с давних времён, когда ещё Ахтанизовский лиман подходил к кручам с самого края хутора. Они и хвалились уловами дикого шарана, коего в лимане было предостаточно.

Курчанцев по делянкам называли то хвостовые — они были самыми близкими к Темрюку и слыли его хвостом, — то чапраками, то есть мастерами выделывать кожу для шорников и ремесленников, кои готовили ножны к кинжалам, а казаков одной делянки и вовсе величали караимами. Меж казаков станицы Курчанской затесался в начале прошлого столетия один крымский человек, чёрный лицом, даже верховодил одно время не только своим многочисленным кланом, но и на казаков влияние имел. И когда к нему обращались со словами: “Эй, татарин”, — он зло отвечал на это: “Я не татарин, я караим, мы от самого Адама стоим”. Казаки смеялись над этим, но так и стали называть этот околоток караимами.

— Курчанцы тоже завидуют Тамани, как и титаровцы, — заголосил Анатолий. — Они даже утверждают, что таманские казаки бескультурные. Не от одного слышал, как они говорят: “Видели вы, как едят вареники таманцы? Они вареник накальвают на вилку, макают им в сметану, потом руками снимают с вилки и кладут в рот. Наши курчанцы совсем другие, у них в родах чистота и великолепие. Они берут вареник руками, обмакивают его в сметане, накальвают его на вилку, и только после едят его уже с вилочки”.

Опять все засмеялись.

Тамань, Тамань — ветренная моя, какая ты прелестная и таинственная! Твои очертания радовали греков, византийцев, римлян... На твоём месте стояли, заводили детей, ласкали жен, надеялись, что достались эти места им навсегда, и хазары, и тмутараканцы-русичи, и генуэзцы, и золотоордынцы, и турки всех мастей, и татары. Баюкали тебя, окутали любовью, стараниями и смелостью переселенцы-запорожцы, которые нагрянули сюда по милости государыни Екатерины, устроили здесь войсковую столицу, за год поставили свою первую на Кубани церковь Покрова Богородицы, стали жить здесь и умирать достойно. Твои берега, Тамань, баловали воды Таманского залива, Азовского моря и моря Чёрного одновременно. Ты приучила ласкать себя

и разорять неудобные постройки ветрам со всех сторон. Ветры сами спорили между собой, кому в данное время дуть, потому и меняли своё направление над Таманью часто, иногда и по три раза в день. Майстра — это ветер западный, который дует с Керчи. Он может исполниться своей силы почти мгновенно, обычно это ветер рыбный, но и капризный ветер. Он часто может подкинуть снег, дождь, любую непогоду. Северный ветер — его местное название певучее — тримунтан. Обычно это не очень сильный ветер, рыбаки его любят и часто про него говорят: “Масло, а не ветер”. Он приносит селедочку, сарганчика, другую рыбу. Даже бычки, сидящие на дне, чувствуют ветер и при тримунтане хорошо ловятся. Грего — для Тамани это ветер от Горелой горы, которая стоит на противоположном берегу залива. Он неприятен лишь для отдыхающих, которые приехали погреть свои тела на нашем солнышке, потому что он дует им прямо в лицо, и воду в заливе всю переколотит, замутит и сделает неприятным купание. Наши люди про этот ветер много не говорят, потому и название его подзабыли. А вот левант — чистый восток, это ветер из неудобных, буйных, капризных, он и летом такой, таманцы его не любят. А за что его любить?! Местное население большие рыбобеды, и в те дни, когда дует этот ветер, рыбы они не дождутся — отгонит её левант к другим берегам. Меньше трёх дней он не дует, и если не перестанет дуть за это время, то ещё три дня будет надоедать несущейся пылью, а то и песком, не прекратится — ещё три дня мучайтесь, бывает такое несчастье, что дуть он будет целый месяц. От этого ветра все прячутся: и люди, и собаки, и даже муравьи, да и насекомые всякие. Только деревьям не спрятаться — стоят, качаются, аж корни у них стонут под землёй и просят, чтобы дождь не пошёл. Дождь в такой ветер, — погибель для деревьев. Не за что ухватиться корням, когда размякла земля, потому и просят корни о спасении, жалуются там в темноте, переговариваются по соседству с другими корнями деревьев об опасности. Спокойный ветер низовка, он с юга, потому и низовка, к нему относятся почтительно, осенью он приносит тёплый дождь и дует он как-то осторожно, предупредительно. Ребяшня любит в такие дни ловить бычков с пристани или на Лысой горе прямо с камней. Когда дует низовка — тепло, у моря она почти не ощущается, так только, тербит слегка одежду, да если без головного убора будешь стоять, то волосы переберёт на голове, будто нежными пальцами. Вода в заливе у берега спокойная и прозрачная, низовка отгонит на другую сторону даже слежавшуюся камку, прибитую к берегу другими ветрами, и дальняя рябь от него на воде будет трепетной и чуткой. Будто бы разговаривать с вами хочет море или услышать какую-нибудь тайну, а добудет тайну, уже её не спрячет, а понесёт по белу свету, хотя бы к противоположному берегу. В такую погоду и впрямь слышимость над водой заметно лучше. Но если низовка перерастёт в раптовую широкаду, такой ветер так может обозлиться, что сорвёт у домов крыши, разобьёт слегка прикрытые ворота, поломаёт ветки на деревьях, а сухостой опрокинет на землю и станет таким, что из убежищ никому выходить не хочется. Не зря греки, здесь жившие два с половиной тысячелетия назад, крыши домов накрывали черепицей, каждая из которых весила больше двадцати килограммов. Такую черепицу так просто не сдунешь! Лютее гарбия ветра нет. Это настоящий убийца. Сколько кораблей он погубил и людей — одному Богу известно! Это юго-западный ветер. Ещё в античные времена, когда греческие корабли стремились попасть в Каракандамский залив — так тогда назывался залив Таманский — и торопились к своим городам Гермонассе, Фанагории, Кепам, Тирамбе, и если на пути им попадался свирепый гарбий, то гибели можно было не избежать. Судходство было здесь сложным всегда. По пути обычно наткнёшься на рифы, исходящие от мысов Тузла, Панагия, Железный Рог. Всё Чёрное море пройдёшь легко, а на эти рифы напорешься. Когда дует гарбий, лучше где-то отсидеться кораблю, переждать его в закрытой бухте. Ещё есть такой ветер “понент”, даже название его похоже на артиллерийский выстрел, особенно если производить его с малой задержкой на первом звуке, немного надувая губы и щеки, то на выдохе так и случится, словно это и не слово, а вспыхнувший порох. Да и сам ветер понент предупреждает людей, дворовую скотину, диких

зверей и птиц, что скоро он “пальнёт”. А пальнёт потому, что быстро он может перерасти и превратиться в губительный гарбий, а если его проскочит, то обязательно станет раптовой широкадой. И тот, и тот ветер — настоящая отрава. Понент же — ветер-предупреждение, ветер-порох.

Летом бывают редкие дни, когда никакого ветра нет, местные люди так и скажут: “Бунация прижала...” Жара и днём, и ночью, ни уснуть, ни сделать лишнего движения невозможно, и каждому подумается: “Ну, скорее бы наш таманский ветер вернулся, дал бы Бог”. И он обязательно вернётся, и станет кружить над водою и над землёй, какой-то из них захочет оторвать Таманский полуостров целиком и бросить его куда подальше, будто одинокого лебедя. С вершин Карабетовой и Комендантских гор оконечность Тамани с косою Тузла и впрямь похожа на смертельно раненого лебедя, крылья его чуть распрямлены, голова на длинной шее упала в Керченский пролив. В предчувствии большого ветра проснутся вулканы Карабетовой горы, станут поднимать с километровых глубин тысячи тонн грязи, вместе с нею выбросится горючий газ, он может вспыхнуть, и тогда всё земное пространство содрогнётся, от него по воде в заливе пойдёт рябь, совсем не похожая на ту, что производится от ветра. Эта рябь взволнованно распушит крылья “лебедя”, и покажется, что вот-вот он сам вздрогнет, сердце его забьётся, вскинется голова, а под водою задвигаются его ноги. Ветры тут же ответят страшному гулу и дрожанию земли, и с высот этих горюшек кажется, что гарбий, тримунтан и майстра действительно смогут поднять этого “лебедя”, оживить его полностью и заставить лететь куда-то на запад или на север, где он не будет одиноким и где сможет найти свою пару. Тогда и ты закричишь:

— Не улетай, мой милый “лебедь” — Таманский полуостров, останься, потерпи, дай насладиться ногам, которые осторожно перебирают твоё дивное пространство, дай умному сердцу настроиться на твою непознанную спрятанную душу, позволь прикоснуться слухом и участием к твоим бедам, роняемым словам и стону твоему. И мне, как многим, хочется тебе помочь обрести прежнюю вольность и святость.

— А чем теперь поможешь? — будто откуда-то издалека, гулко и тревожно произнёс Юрий.

Оказывается, он не слышал, думая о своём, как долго уже обсуждали деды беду, которая набросилась, как хищник, на их большую Тамань. Все наперебой говорили об этом. В выражениях не стеснялись. Решили выговориться, а потом, в прощенное воскресенье, отмолиться. Обсуждали всё. Зачем кто-то выдумал для этой святой земли дурное будущее и горькую славу. Деньги веером посыпались в эти места, чтобы устроить здесь, на тёплом добром море зловредные терминалы. На земле, по которой прошёл апостол Андрей, святые Кирилл и Мефодий, где устраивал непрерывными молитвами одну из первых православных монастырских обителей на Руси ещё в XI веке преподобный Никон. Здесь в Покровской церкви молился о стяжании Святого Духа Игнатий Брянчанинов, эту землю воспели Пушкин и Лермонтов. А богатые люди задумали почти привычное, когда бизнес источает душу, — надругательство. Этим разорителям вместе с властью было не страшно растаптывать мечтания местных зодчих, как обустривать землю успехами строителей от античных времён до наших дней. Ведь места эти были не только красивыми, но и полезными для отдыха и лечения. Есть здесь вулканическая глина, глина синяя, грязь целебная в лиманах, сытый воздух. Грозно говорили деды на эту Масленую о чиновниках и начальниках местных, районных, а то бери и выше, у которых нет никакой заботы о том, где теперь отдыхать нашим людям, не только станичным, но и всем, живущим небогато в нашей стране. А ведь Тузлинская грязелечебница стояла здесь от начала прошлого века, казаками выстроенная и для своего сословия пригодная. Много народу вылечилось в этой грязелечебнице, приезжали с костылями — уходили пешком. Традиция там такая завелась — вылечился — костыли оставь на месте. За годы там выросла целая гора из костылей. Кубанскому войску эта лечебница была нужна, а Советам и нынешним капиталистам с их властью не нужна. У них есть заграница, Европа, острова в океанах. Терминалы начали строить разные от самого Кизилташского лимана до косы Тузла.

Лучшие земли и пляжи решили отдать новым богатым деятелям, и перева-ливать задумали всё: аммиак, метанол, нефть и нефтепродукты, сжиженный газ из угледородородов, зерно, уголь, а в планах ещё что-нибудь поплоче.

— Превратим Тамань в советскую шампань, — провозгласил когда-то Никита Сергеевич Хрущев.

Ведь безграмотный был правитель, но вместо хлопка стали выращивать у нас виноград, и вино хорошее производить, люди зажили лучше.

— Вы вспомните, как только стали закладывать виноград, и все ещё смущались, баба Клава, что выдавала талоны на продажу в базаре, наказывала:

— Вы, бабы, не бойтесь винограда, грошив у вас будет, как у жидов, — напомнил Алексей Иванович. — Так и стало.

— А эта власть решила землю нашу превратить в мусоросборник. Успешно у них всё получается, — Анатолий сказал это тихо, сожалея о будущем своей малой Родины. — Уехать даже хочется, так у нас закрутили зло.

— Сгорел забор, гори и хата! — Борис Анатольевич это выговаривал, когда какое-то дело становилось безнадежным. — Они ещё и ядерные отходы будут тащить через нас.

— На чужой беде личного счастья не построишь, — вымолвил Алексей Иванович.

— Дети наши стали другими, в поля их и калачом не заманить, на шее у родителей висят, ночью гуляют, днём спят, вот и вся наша жизнь, правильно про них говорят — “золотая молодёжь”, — неожиданно для всех проронил Анатолий нетерпимо.

— Да какая она золотая! Вот закончатся деньги у родителей, дипломы их, которые они купили, никому не нужны, как и они сами. Посмотрим потом на это золото. В больнице специалистов нет, закрыли хирургию, детское отделение, роддома давно нет, в аптеках лекарство столько стоит, что пошёл туда с головной болью, а вернулся домой с инфарктом, — поддержал Анатолия Алексей Иванович.

— Почти за любой бумажной в Темрюк надо ехать, даже за свидетельством о смерти. Вот были у нас загсы при администрации, и то легче жилось. Малую Родину отняли у нас. Теперь все в Тамани, как и в других станицах, только умирают, а у ребёнка в свидетельстве о рождении ставят “Темрюк”. Раньше, когда женщины наши рожали и в Керчи, и в Краснодаре, всё равно ставили в свидетельстве родную станицу. Теперь родина у них размытая. Пройдёт лет тридцать, никто с гордостью не скажет: “Я родился в Тамани”. Вот так, мальчики! — Юрий всё это произнёс с горечью, обидой и растерянностью.

— Вы знаете, что противно телевизор смотреть, особенно их рекламы. “Газпром — национальное достояние России”, — с издёвкой произнёс Валерий. — Им бы в морду за такие слова! Совсем нас за дурней держат. — Так перевели старые казаки разговор медленно, как обычно происходит в русском застолье, на политические темы.

— Да нет! Не за дурней. Это самое прямое издевательство, — поддержал Анатолий, ещё не успев остыть от своих огорчений. — Они под эту рекламу чарку пьют и хохочут над нами.

— Ребята, да ну её, эту политику, наливайте по стаканчику нашего любимого с шестой клетки, — старался перевести разговор Алексей Иванович в обратное русло, ближе к своей родимой Тамани.

— Да не с шестой, а с седьмой, — поправил его Валерий, настаивая на нечётном числе.

Потемнело. Весна всё ещё не приходила, а на дворе март. Земля не парила, но кто-то в февральские окна осмелился посадить картошку. Озимый чеснок пробрался наружу по холоду, одновременно с нарциссами, сорняком и едва тронувшимися после зимнего сна листиками роз. Весенняя тёмная ночь всех настраивает по-разному. Одному хочется уже ранним утром выходить в огород, по которому соскучились крестьянские руки, другому не терпелось заняться ремонтом старенького МАЗа, чтобы свежей покраской на удавшееся солнце привести его в состояние ответственности и весёлости одновременно. Третьего уменьшенная по длительности ночь заставляла укор-

тять свой сон, четвёртый всё больше стал думать о своих пчёлах, которые требовали не только рабочего внимания, но и длинных разговоров с хозяином. Самый старший из всех — Алексей Иванович — был хороший хозяин. Как он успевал в свои семьдесят с гаком лет содержать хозяйство, в котором теперь были свиньи, индюки, кролики, простые утки и индоутки, гуси, бессчётное количество курочек, которые вольно ходили на хозяйственном дворе, а ещё собаки и обязательно какая-нибудь затейная им стройка? Но самое главное, почти таинственное, что делало его совсем загадочным, весёлым и чутким, были его пчёлы. Как только начиналась весна и укорачивались ночи, он становился неразговорчивым, но улыбчивым и неугомонным, ворочался по ночам, ждал утра, но более всего — первого облёта своих пчёл. По ночам он несколько раз выходил к ним, прикладывал левое ухо — на правое он был чуть туговат — к каждому улью и по звукам в них понимал, что там происходит внутри. Но перед самым облётом пчёл — его он предчувствовал — Алексей Иванович готовил водичку для них, обязательно фонтанную и подогретую. Водогрейку он сам смастерил из ящика, приспособив в нём под поилкой лампочки — они-то и нагревали водичку, которая у него была трёх видов: одна солоноватая, в другой он разводил чуть-чуть меду, а третья — свободная, чистая. Обязательно станет наблюдать за своими любимцами, из какого улья первыми они подлетают к поилке, и в какой последовательности из этих трёх чашек пьют. Всю ранее сбережённую разговорчивость он возместит в беседах с пчёлами. Больше всего он станет разговаривать с матками, каких-то из них хвалить за чистоту в улье, за порядок, с некоторыми будет построже, над трутнями станет посмеиваться, даже поддразнивать их, при этом думать о своей молодости, о красивых девчатах, кои встречались ему на пути, а то и сам себе скажет: “Господи, забрал силы, забери и мысли”, — и в голос засмеётся. Спросишь его:

— Алексей Иванович, что ты там шепчешь своим пчёлкам?

Он ответит, ласково так скажет:

— Да оно тебе и не надо. — И сам уйдёт то в огород, то ещё по каким-нибудь делам, а всё нутро и мысли торопят его к пчёлкам.

Позже, когда всё обустроит Алексей Иванович в ульях и увидит полный порядок, погрузит необходимое хозяйство и скарб на специальный прицеп и вывезет пчёлку в поле, на цветение садов, полевых цветов, маслянки, других медоносов. Какое-то время поживёт с ними в поле, и не будет счастливее человека, чем он наедине с небом, полем, таманскими ветрами и ночными звёздами, которые улыбаются там, в вышине, только ему. В будочке при прищепе он будет готовить себе обеды и ужины, а по вечерам, уже в сумерках читать молитвы и маленькую любимую книжицу Екклесиаста при керо-синовой лампе “Летучая мышь”.

А Валерия уже больше месяца преследовали неудачи, разочарования, беды. Весна только их объединила, и ночами они не давали ему спать, и всё-то он бросался в рассуждения по кругу, и они травили его. Если бы не было плохих соседей и споров о межах! От этого сердце его стало работать с перебойми, головные боли не отступали, даже появилась ломота в теле.

— Я их скоро всех перестреляю, — неожиданно злобно, после горьких терзаний, с тихим шипением произнёс он.

— Кого, Валерочка? — Григорьевич не искажил его имя, ибо испугался за своего друга.

— Да всех — судей, соседский выводок нелюдей, у меня и пятизарядка припасена для этого, — стало видно, что Валера не переставал думать о своих переживаниях, только выливалось это наружу после выпитого вина.

Прошлым летом у него умерла жена. Потом поломал на работе ногу. Повалялся в больницах, почти внезапно стало болеть сердце, да так болеть, что он подумывал, что ему вот-вот придёт конец. Но особенно сильно в последнее время донимала Валерия ссора с соседями по огородной меже. Сначала соседка Клава с небольшим заступом к нему построила баню и кухню одним строением с сараями длиною метров пятнадцать. Сделала она это совсем без согласования с Валерием. Через пару лет попросила его разрешения попользоваться двором, чтобы перекрыть в этом строении крышу. Валерий не воз-

ражал, было это уже после годовщины смерти жены. Но вместо крыши в несколько дней возник второй этаж, и крыша второго этажа вовсе нависла уже над его огородом, при этом они отпилили ветки его груши, которую посадил когда-то его отец. Это его и взбесило. Смело и решительно действовал Валерий только тогда, как вышивал, а вышивал теперь часто для того, чтобы загасить боль и скуку от потери своей супруги. И вот не успела возникнуть крыша, как Валерий Анатольевич, выпив немножко вина, завёл бензопилу и спилил все стропила ровно по той черте, которая повторяла между на высоте. И пошло дело — суды, пересуды. Деньги наступали на него, как вражеские полки. С полками ещё можно бороться удалью, смелостью. А тут — нет. Суды после того, как получили нужные участники свой куш, на всё отвечали не логикой, правдой и действительными событиями, экспертизой, а так, как нужно было богатым. Валерий Анатольевич понял, что с этой машиной не справиться. Он бы уже и бросил тяжбу, ну, Бог с ними, с этими квадратными метрами огорода, но уж больно засела в нём обида, и он собирался предпринять решительные действия. Один раз уже он ходил в атаку с ружьём, по станице ходил ночью, отыскивал обидчиков. Засело в нём это оскорбление, как заноза, как постоянная боль.

— Чуть-чуть сердечко начнёт совсем сдавать, я их постреляю, — снова и снова Валерий откатывался в свои прошлые горькие размышления, — а потом и себя порешу.

— Да что ты заладил всё это, так вопроса не решить, Валерочка, — Григорьевич старался говорить ласково, чтобы как-то отеплить его настроение. — Да и прощёное воскресенье впереди, негоже так рассуждать.

Анатольевич немного затеплился, даже улыбнулся:

— Ладно, пойду в воскресенье попрошу у них прощения, а на следующей неделе всех расстреляю.

Валерин родной брат Борис Анатольевич сидел всё это время в растерянности, ему было жалко своего меньшего, потому только приговаривал:

— Валер, Валер, да брось ты это, подними руку и опусти.

— Ну, как же бросить, Боренька, ведь это земля наших родителей — папы и мамы, — слёзы катились по его лицу от огорчения, обиды и беспомощности. — Да бросил бы я всё это, но они не унимаются, всё новые и новые суды затевают, желание такое имеют, чтобы отказался я самостоятельно, и новые документы на землю, как это им надо, оформил. Устал я, брат.

— Рассказывают нам по телевизору, что прежняя царская власть была лучше, чем большевики. Белое движение ушло на запад, долго сохраняли и воинские традиции, и русскую честь. Бывшие князи и графы работали там таксистами, жены и дочери мыли посуду и становились уборщицами в богатых домах. Твердят, что вернулась в страну бывшая власть, — Анатолий недавно увидел такую передачу и хотел поделиться впечатлениями, да и перевести разговор в другое русло.

— Да какая там новая власть! У тех была своя правда, честь, совесть — за царя и Отечество, а у этих одни деньги на уме! Грабители они нашей страны, неужели это наше будущее?! Это, братцы, — банда, которая орудует везде по стране. — Алексей Иванович тоже разнервничался, ему так стало обидно за Валеру и страну, что захотелось завывать.

— Давайте попоём песни наши, — тихо сказал он, и сам первым затянул про соловейку в вишневом саду. Пели долго, почти полночи, вина больше не пили и не разговаривали. Петь на Кубани всегда любили, и на улицах, и в домах. Жаль, что теперь почти не поют, изведётся ведь так народ.

Лишь раз кто-то сказал:

— А как поёт наш Кубанский казачий хор! Он часто к нам в Тамань приезжает. И Лихоносов бывает, у него мама на нашем кладбище похоронена, Тамань он любит.

Кто сказал, я не помню. А про симментальских коров Алексей Иванович в эту Масленую неделю рассказать не успел. Разошлись они по домам уже утром.

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ



ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫМИ

* * *

Сковало морозом округу,
Деревьям все ветки свело,
И ходит позёмка упруго,
И студит по кругу тепло.

Но кланяться выюге послушно
Не стоит, поверь мне, мой друг.
Чем хуже в округе, тем лучше
Хорошее видим вокруг.

И это совсем не случайно,
Ведь всё нам даётся взаимно,
Чтоб мы веселились печально,
Печалились весело мы.

МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович родился в станице Ильской на Кубани. Детство и школьные годы прошли на Белгородчине, в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Окончил Белгородское музыкальное училище и Воронежский государственный университет. Автор двенадцати книг стихотворений, поэм и переводов, двух юмористических сборников, трёх сборников песен и романсов, вышедших в Москве, Воронеже и Белгороде. Публиковался в столичных и региональных журналах России, а также ближнего зарубежья — Украины, Казахстана и др. Стихи переводились на немецкий, польский, болгарский, украинский и азербайджанский языки. Член Союза писателей СССР, России, секретарь правления Союза писателей России, председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России, лауреат ряда Всероссийских и региональных литературных премий и конкурсов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Да, в жизни идёт всё по кругу:
То тёмная ночь, то светло.
...Ручьи побежали по лугу,
И стало деревьям тепло...

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Мы родились с тобой в двадцатом веке,
Чтоб пережить грядущие века,
Чтоб марши рот, как воды речек в реки,
Втекли в поток Бессмертного полка.

Солдатом быть — не должность, а призванье,
Под козырёк сама летит рука.
Нет в мире выше воинского званья,
Чем рядовой Бессмертного полка.

Мы в будущем за прошлое в ответе,
Смотреть на нас не надо свысока.
Нет ничего на этом белом свете
Бессмертнее Бессмертного полка.

Не умереть вовек святой надежде,
Ей в наших душах жить и жить, пока
Мир защищают от врагов, как прежде,
Теперь бойцы Бессмертного полка.

* * *

Только так и не иначе
На земле я проживу:
От обиды — не заплачу,
От беды — не зареву.

Только так... Я — гордый, братцы,
Не прильну к чужим ногам.
Лишний повод для злорадства
Недругам своим не дам.

Что сломаюсь, — думать бросьте! —
Маясь белкой в колесе.
И пускай враги от злости
Хоть полопаются все...

* * *

Стихом лукавым, песнею
Играемся с судьбой.
Давайте будем честными
Хоть сами пред собой.

Коль главным станет прочее,
То в жизни, милый мой,
Остаться на обочине
Рисуем мы с тобой.

Словами неуместными
Мы гасим жар любви.
Давайте будем честными
Пред Богом и людьми...

* * *

Горный ветер гордо свищет,
А в низине — сник, ослаб.
Кто свободу где-то ищет, —
Тот в душе по жизни раб.
Хоть пройди огонь и воду —
Не найдёшь... А коль с умом,
То ищи всегда свободу
Только лишь в себе самом.

* * *

Травы пахнут луговые,
Из реки туман растёт.
Где вы, годы молодые,
Сердца радостный полёт?!

Солнца свет, на землю брызни,
Ветер, вихрем закружись!
Всё проходит в этой жизни,
Не проходит только жизнь.

Приоткрыв былого дверцу,
Нам его не возвратить.
Если радостно на сердце,
Значит, есть о чём грустить.

Травы никнут луговые,
Тает утренний туман.
Где ж вы, годы молодые,
Сердца радостный обман?!

.....
С Владимиром Молчановым нас, сотрудников редакции, связывают долгие годы совместных выступлений по всей России, поездок по Белогорью, подготовка и публикации произведений белгородских писателей в “Нашем современнике”. Всегда общение с ним доставляет истинное удовольствие. От души поздравляем нашего давнего автора и друга с 70-летием!

Редакция

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН



ПОСТИЖЕНИЕ ЛЮБВИ

РОМАН*

23

В Ньюю въезжали уже в синих сумерках, ставших с началом августа настолько густыми, что пришлось включать дальний свет фар. Да, предосенний месяц с каждым днём заявлял о себе всё сильнее, всё явственнее вернувшейся вечерней, переходящей в ночную темень, в которой всегда чувствуется если не таинственность чего-то не изведанного до конца, то тревожное ожидание, пускай пока необъяснимого, но нового в природе, в родной жизни, в горячих трудовых хлопотах — везде, где присутствие человека определено свыше. Полуденное солнце по-прежнему светило со своей небесной вершины золотоносно, мощно, но в его искрящихся, густых лучах уже не было того молодого задора, той смелости, того огня, что неумоимо прогревали воздух до звона и маревой розоватой прозрачной дымки на горизонте.

Небо, продолжавшее бодро синеть, отливая лазурью, как бы стало ниже, всё чаще и чаще цепляясь медленно, словно натужно плывущими на север плотными, белёсыми облаками за верхушки могучих лиственниц, венчающих скалистые сопки правобережья Лены. По утрам от сильного падения температуры воздуха над рекой образовывался такой густой, непроглядный, медленно клубящийся туман, что пароходы вынуждены были, чтобы не наскочить на мель или того хуже — на береговые скалы, бросать якоря и подавать всю ночь длинные, глухие, словно глубоко вязнущие в тумане предупредительные гудки на случай, если бы какой-нибудь капитан-ухарь, пренебрегая правилами судоходства, всё-таки решился на продолжение слепого плавания в темноте.

В полуночном мраке, плотно окутывающем реку, мужики из прибрежных посёлков перешли на рыбалку с лодки. Для этого на самом носу ставили ярко горящий от автомобильных батарей фонарь, чтобы светом пронизывать до берегового дна прозрачную воду со стоящими против течения линьками и тайменями. Лодка в безветренную погоду славлялась по речной глади так бесшумно, что совершенно не пугала их,

Продолжение. Начало в №1 за 2017 год.

пока в спину не вонзалась смертоносная острога, метко направленная в резком и метком броске рукой рыбака. Но густой темнотой пользовались всю ещё и, чёрт их подери, ленивые охотники. Дело в том, что подростки зайцы, ещё совсем не опытные, точней, совершенно не пуганные, от дневной жары испытывающие сильную жажду, по ночам из прибрежных тальниковых кустов безоглядно выбегали к реке попить воды. Но по дороге к ней или от неё неожиданно их ослепляли ярким сабельным автомобильным светом, и вместо того чтобы пулей нырнуть в спасительную темень, они, словно заколдованные, бросались наутёк в световых границах, становясь лёгкой добычей для меткого стрелка. Назвать по чести такое промысловое занятие иначе, как убийством, было нельзя. Люди с тонкой, жизнелюбивой душой страшно жалели бедных зайцев, а к так называемым охотникам относились с нескрываемым негодованием и презрением. Между тем, и такой подлый промысел являлся суровой правдой жизни. Можно было не понимать её, но не принимать значило считаться или человеком, как бы свалившимся с луны, или просто духовно слабым, не способным бороться со злом в любом его проявлении.

Анатолий Петрович в юности немало пострелял водоплавающей птицы, добывал величественного, могучего, с ветвистыми рогами-коронай гордого лося. Один раз даже на таёжной тропе столкнулся с медведем. От охватившего душу испуга щёлкнув курками двухстволки, резко вскинув её исключительно с целью защиты, прицелился в грудь лесного великана. И, скорей всего, не нажал бы на курок, если бы царь таёжных зверей, вместо того чтобы, как обычно летом, когда, находясь в состоянии сытости, он становится как бы мирным, свернуть с таёжной тропы, спровоцированный враждебным поведением человека, вдруг встал на задние могучие лапы и, грозно рыча, был готов в любую секунду наброситься на него. И, к сожалению, ничего не оставалось, как только, выстрелив картечью, свалить зверя наповал. О чём потом Анатолий Петрович очень долго и мучительно сожалел, ибо от природы был неисправимым романтиком, а добычкой стал, можно сказать, поневоле, исключительно с целью пропитания в глухой тайге, находясь от дома в нескольких десятках километров на заготовке сена для совхозного скота.

Со временем, летящим большим, пусть невидимым, но острокрылым, образно говоря, вскрикивающим гортанно соколом, в таёжной глухомани напрочь отпало и желание охотиться вообще, и вскоре птицы и звери иначе, как братья меньшие, не воспринимались. И когда мать попросила юного Анатолия для супа зарубить курицу, то он, хотя сразу и стало тяжело на душе, все же нашёл в себе силы поймать её и, держа за задние ноги, не только положить головой на чурку, но даже и занести над птичьей шеей остро отточенный топор, а вот отпустить его уже ну никак не смог. Вместе с тем в посёлке во всех драках, то и дело возникающих между ребятей, он являлся самым активным, самым упорным, самым жёстким бойцом; если считал, что прав, то бился до последних сил, порой до крови. Со временем дать сдачи, конечно, стало ярко выраженной чертой его волевого характера. Но однажды в большом и шумном городе, в трамвайной жёсткой сутолоке, получив от пассажира, напролом протискивающегося к выходу, нечаянный резкий толчок в бок, по рёбрам, он еле сдержался, чтобы в ответ не ударить “обидчика” кулаком по лицу. Прослужив в армии всего лишь первую неделю, умудрился, встав на защиту на вид ну, совсем тщедушного солдата, якута, на глазах всего взвода подраться с хохлом, за что при вечернем разводе получил от капитана, дежурившего по части, три наряда вне очереди. И за ним, как среди сослуживцев, так и офицеров части, даже закрепилась кличка “Драчун”. Повзрослев, осмыслил свою горячность, сопровождавшую всю его юность, пришёл к выводу, что она была, скорей всего, вызвана природным, острым чувством желания справедливости всегда и во всём...

Ещё на дальнем подъезде к дому Анатолий Петрович заметил, что оба фасадных окна гостиницы, ставшей его семейным гнездом, хоть и были плотно зашторены, но матово светились в темноте, освещая деревья и кусты в палисаднике. “Несмотря на поздний час, Мария, моя, да-да моя! — жена, нежданно-негаданно, словно с неба, свалившаяся в мою такую непростую судьбу, ожидает меня, как и подобает верной супруге! Счастье-то какое!..” — солнечно подумалось Анатолию Петровичу. От этой мысли душу окатила волна глубокой нежности и та трогательная умиленность, от которой сладко замирает, становясь мягким, податливым, словно пластилин, крепкое мужское сердце. Отпустив водителя, он ветром влетел в дом. На шум открываемой двери из кухни вышла Мария, со следами лёгкой тревоги на лице, но тотчас приветливо улыбнулась:

— Что так поздно? Ладно, все разговоры потом! Сейчас давай быстро мойся и садись за стол — я тебя ужином кормить буду!

Анатолий Петрович скороговоркой ответил:

— Конечно, конечно! Я мигом!..

Но, продолжая находиться во власти нежности, охватившей его душу, подошёл к жене, обнял её за хрупкие девичьи плечи, и страстно, словно после годовой разлуки, поцеловал в губы. По телу огнём полетело желание близости, голова пошла кругом, но Мария, как обычно, в ответ не стала оплывать горящей свечой, а как-то неожиданно внутренне туго напряглась, и это чуткими своими пальцами тотчас ощутил Анатолий Петрович. Не выпуская жену из объятий, а лишь откинув голову и сверху пытли-во глядя в её огромные глаза, удивлённо спросил:

— Что-нибудь случилось? Дома? На работе?

— Дома, как видишь, все нормально! А вот на работе, действительно, произошла неприятность, но она, мне кажется, не настолько значительна, чтобы сейчас, когда ты сильно устал, так голоден, с дальней дороги, да на сон грядущий говорить о ней. Завтра утром придёшь в контору и сам всё узнаешь! Во всём разберёшься! Хорошо, милый?

— Хорошо! — не без сожаления согласился Анатолий Петрович и, быстро приведя себя в порядок, сел за стол. Он в самом деле, как никогда, по-настоящему сильно проголодался, поэтому ел быстро, словно боясь опоздать на какое-то очень важное дело. Запил второе горячим чаем со смородиновым вареньем и только теперь, откинувшись на спинку стула, посмотрел взглядом сытого человека на жену, за весь ужин не проронившую ни слова, но с благодарностью отмечавшую, что приготовленный ею ужин очень пришелся мужу по вкусу.

— Спасибо, милая! Ты меня в самом деле спасла от голодной смерти! — управившись с едой, шуточно поблагодарил жену Анатолий Петрович.

Потом взял её тёплую ладонь в руки, слегка сжал пальцами и, не отводя от её лица серьёзных глаз, неожиданно проникновенно заговорил:

— Несмотря на свою семейную неопытность, ты, надеюсь, знаешь, что семья без детей — как кирпичная кладка, не скреплённая цементным раствором, не может быть крепкой. Поэтому я очень прошу тебя, когда поймёшь, что беременна, тотчас сообщи мне об этом. Моя просьба естественна и вряд ли нуждается в обсуждении!

— Я согласна с тобой! — ответила Мария, тронутая тёплой мужней заботой о ребёнке. — Но по совести, откровенно, скажи мне, кого ты больше хочешь — мальчика или девочку?

— К счастью, я не принадлежу к эгоистичным мужчинам, для которых крайне важно, чтобы первенцем был мальчик! Поэтому любому ребёнку я буду очень рад, ведь его мне подарит дорогая женщина! Мужчин, думающих иначе, я не осуждаю, поскольку их самолюбием правит на протяжении многих веков сформировавшаяся в сознании необходимость иметь наследника, так сказать, продолжателя рода. И сегодня это важно в странах с монархическим строем для коронованных особ, а мне — сыну учителя и ветеринарного фельдшера — несколько!

Довольная рассудительным ответом мужа, Мария, пленительно улыбаясь искрящимися глазами, обнажённо, солнечно воскликнула:

— Анатолий, какой ты милый!

И тотчас посмотрела на него с нежностью таким выразительным, томно-пьянящим горячим взглядом, что он тотчас утонул в нём со всей вспыхнувшей в душе, как порох, глубокой страстью...

На днях вторую комнату, единственное окно которой выходило в огороженный штакетником двор, было решено превратить в спальню. Для этой цели в неё перенесли кровать и, какой она ни казалась маленькой, ещё осталось свободное место для будущего бельевого шкафа и трюмо. Мария от природы была жаворонком: обычно ложилась спать рано и засыпала, едва положив голову на подушку, а Анатолий Петрович, наоборот, — совой и потому раньше двенадцати не отходил ко сну, и то лишь после обязательного тщательного обдумывания всего пережитого за день, а если всё не засыпал, то и завтрашнего. И в этот поздний вечер, верней, в начале ночи, он, ещё раз посмотрев с нежностью на супругу, заснувшую прямо в его расслабившихся объятиях, чьё милое лицо в лунных лучах, льющихся сквозь белую тюль, казавшееся нежно-матовым, было еще прекраснее, осторожно лёг на спину и, привычно закинув правую руку за голову, устремил взгляд в окно, словно там, в небесной выси, серебряно мерцающей ярким светом бесчисленных звёзд, хотел найти ответ, что же в самом деле случилось на работе в его отсутствие.

Но всё-таки, каким вихрем ни пронеслись в отяжелевшей голове разные тревожные мысли, в конце концов, сильная усталость взяла своё, и он заснул беспокойным сном. Поэтому ранним утром, на самой алой зорьке, когда проснулся, ему подумалось, что лишь малость дремал, и он, конечно, не смог сполна отдохнуть, тем более, что во сне перед мысленным взором проходили какие-то странные, чёрные, вихростые видения, напоминавшие пляшущих и кривляющихся чертей... Во всём теле остро чувствовалась

угрюмая, свинцовая усталость, словно и не было ночного отдыха, Тем не менее Анатолий Петрович, стараясь не разбудить, сладко спящую жену, осторожно поднялся. Но только стал не спеша одеваться, как за спиной услышал её сонный голос:

— Дорогой, ты без меня позавтракай, ладно?

— Нет проблем! Поспи ещё немного — время есть!

Зарождающийся новый день щедро обещал быть погожим: малиновое огромное солнце, поднявшись над горизонтом, светило ярко, весело, как праздничное лицо молодки на Масленицу, в сгустившейся за долгую ночь синеве, по краям с дымкой-туманом, величаво плыли в своём извечно строгом молчании легко клубящиеся, розоватые облака, с реки дул свежий, ещё прохладный ветерок, игриво шелеста начинающей темнеть листвой берёз и тополей, незлобиво покачивая верхними ветвями, на которых, рассевшись поудобней, свистели во все свои сладкозвучные дудки чижи и дрозды, и, стараясь не отстать от них в утреннем пении, залиvisto, им в унисон свистели синицы и красногрудки.

Анатолий Петрович, стремительно сбегав с крыльца и войдя под лесную сень, не мог не восхититься природой, не проговорить в душе: “Красота! Только жить бы да радоваться!..” Пройдя через небольшую сосновую рощу по тропинке, сплошь застланной прошлогодней хвоей с валявшимися сухими старыми шишками и ветками, издававшими под ногами лёгкий хруст, вышел на улицу Новая, наполовину застроенную в пору его совхозного прорабства. Двухквартирные дома, возведённые из соснового бруса, стоящие под двухскатными шиферными кровлями, с застеклёнными верандами и штaketными заборами, смотрелись добротнo, как бы ненавязчиво свидетельствуя, что порученное дело было им выполнено на совесть и теперь вызывает в душе глубокое, заслуженное удовлетворение собой, говорит, что жизнь проходит не зря.

На половине пути к совхозной конторе повстречался лет пять тому назад обосновавшийся в посёлке Добрынин Константин Иванович, ветеран уже давно отгремевшей Отечественной войны. Но при воспоминаниях о ней у каждого бывшего фронтовика продолжало саднить сердце, как бы вскрываться и больно ныть полученными в жестоких боях ранами... Но хотя и вышедший по возрасту и рабочему стажу на заслуженную пенсию Добрынин, обладавший редким для посёлка даром печника, продолжал трудиться себе на радость и на благо всех нуждающихся в его трудовой помощи односельчан: одному заменил прогоревшие колосники или треснувшую плиту, другому забившиеся сажей дымоходы прочистит, а третьему и вовсе печь переложит, при этом за свою непростую работу плату брал весьма умеренную, а поскольку ещё и алкоголь употреблял лишь строго по календарным праздникам, то среди односельчан, особенно их женской половины, пользовался непререкаемым авторитетом. На быстром ходу поздоровавшись с ним, Анатолий Петрович едва прошёл мимо, как печник его вежливо, но твёрдо окликнул. Хотя времени было в обрез, тотчас остановившись, Анатолий Петрович повернулся:

— Константин Иванович, хотите со мной о чём-то поговорить? Только, пожалуйста, прошу, поконкретней, ибо времени почти нет!

— Да-да, если вы не против, то парой слов надо бы обмолвился с вами! И в первую очередь о том, что по тому, как вы железной хваткой, словно быка за рога, взяли за своё директорство, можно верно судить о вашем намерении наконец-то навести в совхозе подобающий порядок. И это делает вам честь! Только мне кажется, что ваши ближайшие помощники сделать это вам так просто не дадут!

— Почему?

— Анатолий Петрович, а разве вы в самом деле ещё не в курсе, что произошло вчера на закладке силоса в траншею?

— К сожалению, нет!

— Неприятно первому сообщать о плохих вестях, но, как говорится, коли назвался груздем, так полезай в кузов! Дело в том, что назначенный вами руководителем управленческой бригады главный агроном Хохлов после обеда прямо на рабочем месте, а именно в силосной траншее, на глазах рабочих устроил, так сказать, с коллегами, верней, собутыльниками, празднование своего дня рождения. Надрались все без исключения так, что управляющий отделения их по домам целый вечер на своём бортовом “уазике” развозил. Стыд и срам!

Услышав и правда недобрую весть, Анатолий Петрович вдруг ощутил такой жар на лице, словно по нему с отяжкой кожаной плетью ударили. Всё же нашёл в себе силы более-менее спокойно спросить:

— А что вы хотите сказать ещё?

— О происшедшей в траншее дикой, извините, что слов не подбираю, пьянке уже через несколько часов совхозные рабочие только и говорили! А сегодня, думаю, и весь

посёлок об этом на все лады судачит! Ведь у нас как: на одном конце аукнул — на другом тотчас и откликнулось...

— И что же?

— Они, как и я, прекрасно понимают, что вчерашняя организованная безответственная гулянка — это не что иное, как наглый, ничем не прикрытый вызов вам! В связи с этим, естественно, у всех возникает вопрос: “Как директор отреагирует? Примет меры или, подобно своим предшественникам, сделает вид, что ничего страшного не произошло?”

— Не переживайте — приму и вызов, и, как смогу, отреагирую на него!

— Это хорошо! Только говорить — что по ветру листву пускать, а вот сделать задуманное по совести, да так, чтобы другим nepовадно было даже подумать о плохом. Ох, сколько для этого стальной воли, кремневого терпения иметь надо! Ну, ладно, иди, милый!

— Спасибо за напутствие! Я его непременно учту!

Оставшийся путь до конторы, чтобы хоть как-то сбить охватившее, словно клещами, душу негодование, Анатолий Петрович преодолел на пределе сил. Взяв ступеньку на крыльцо, обратил внимание, что в кабинете главного ветеринара Олега Сергеевича Очирова, бурята из Улан-Удэ, сорокапятилетнего, низкорослого, полноватого, с кривыми ногами, с круглым, как полная луна, лицом, на котором синели узкие глаза-щёлочки, а в уголках рта часто пробегала то ли лёгкая улыбка, то ли горькая усмешка, собрались все главные специалисты и о чём-то с похмелья лениво, почти не жестикулируя, говорили...

Вместо того, чтобы пройти в кабинет и в рабочей обстановке трезво, в присутствии председателя профкома разобраться с происшествием, Анатолий Петрович, словно влекомый какой-то высшей волей, с сильно бьющимся сердцем, с гудящим шумом в ушах от резко прихлынувшей крови, ринулся на свою грозную судьбу в лоб. Шумно распахнув двери, он предстал перед своими заместителями так неожиданно, с таким злым огнём в глазах, что они, опешив, тотчас замолчали. На несколько секунд в кабинете повисла глубокая, давящая душу тишина, даже было отчётливо слышно жужжание мухи, бессмысленно пытавшейся сквозь оконное стекло вылететь на улицу. В это короткое время в голове Анатолия Петровича вихрем пронеслись мысли в поисках верного решения, но оно никак почему-то не приходило, и тогда он, наконец, стараясь не сорваться на крик от всё никак не проходившего негодования, в упор устремив пронизывающий, огневой взгляд на главного агронома, медленно, словно языком ворочал что-то больно тяжёлое, заговорил:

— Хохлов, я думал, ты порядочный человек, ответственный специалист, как-никак совсем недавно сам совхозом руководил, а на поверку о тебе иначе, как о мерзавце, сказать нельзя! С Бахтиным повёлся? Или сам насквозь гнилой, с душой размером с вошь? Если это так, то я ведь не его назначил руководителем силовой бригады, а именно тебя! Значит, в любом случае, — нет, не перед совестью, поскольку она у людей подлых спит непробудным, дремучим сном! — а по трудовому Закону будешь ты отвечать по всей строгости! Надеюсь, меня хорошо понял?

— Понял! Но только то, что не тебе, пока ещё товарищ директор, мне мораль читать! — и подойдя почти вплотную, пальцем нервно тыча своему начальнику в грудь, продолжил: — Сам ты — вошь! И знай, мы и тебя раздавим так, что только мокрое место останется!

Последние слова Хохлова ещё больше усилили и без того клокочущий лавой гнев в душе Анатолия Петровича. Тотчас в нём словно проснулась многие годы дремавшая молодецкая драчливость, и он, не помня себя, со всей силой так точно ударил заместителя в скулу, что тот, всплеснув руками, точно подбитый селезень крыльями, перелетел через стол и обязательно грохнулся бы на пол, если бы коллеги не подхватили его под мышки. Увидев непростительное дело кулака своего, Анатолий Петрович мгновенно проникся сознанием совершённой серьёзной ошибки, которой не может быть никакого оправдания, но вдруг почувствовал, что его словно с головой окатили ледяной водой, и накопившийся в душе гнев, словно крутая волна, стал понемногу остывать. Тяжело, прерывисто дыша, он вышел в коридор.

В горле напрочь пересохло, страшно захотелось пить, а от злости на себя за проявленную, как в мальчишестве, несдержанность, которая сделала его ещё больше уязвимым как руководителя, хотелось загнанным волком выть. Секретарша, с кем-то живо говорившая по телефону, увидев директора с пылающим лицом, одновременно со следами то ли дикой усталости, то ли острой боли — с чем именно, она никак не могла понять, — быстро положила трубку, и своего начальника, уже входившего в кабинет, с тревогой, чуть слышно спросила:

— Чай пить будете?

— Извини, не понял!.. Повтори, пожалуйста! — в ответ приглушённо, словно из-за плотной двери, прозвучал директорский голос.

— Я спросила про чай!

— Да-да, принеси!

Оставшись один, Анатолий Петрович залпом выпил горячий, свежесваренный чай, молча принесённый секретаршей на расписанном цветами жестяном подносе, и, переосмыслив свой никуда не годный поступок, задаясь вопросом: “Что же делать дальше?” В попытке ответить на него невольно стал напряжённо думать: “Если следовать моему правилу, то надо пойти и извиниться перед Хохловым. И я это без колебаний сделал бы! Но ведь он на самом деле получил лишь немного от того, что в полной мере заслужил. Подумать только: в самый разгар кормозаготовительных работ, когда если не день, то неделя точно год кормит, преследуя подлые цели, на глазах рабочих, своих подчинённых, устроил самую настоящую пьянку, после чего потерял всякое моральное право руководить ими и запятнал позором весь управленческий аппарат! Из любых правил есть исключения. Вчерашнее происшествие является вызовом не только мне, но в моём лице и всему трудовому коллективу хозяйства, и без того пользующегося недоброй репутацией. И это говорит лишь об одном: надо и дальше, конечно, без всякого распускания рук, давить на зарвавшихся заместителей, ибо в противном случае они меня сами точно, как вошь, раздавят...” От этой мысли-ответа на свой вопрос на душе стало легче, словно после долгих скитаний во тьме впереди вдруг забрезжил спасительный свет. И Анатолий Петрович дал короткое, но строгое указание секретарше срочно собрать расширенное совещание с приглашением всех руководителей среднего звена.

Вскоре кабинет полностью заполнился, явился даже Хохлов с заметно припухшей скулой, скромно сел у самой двери, опустив глаза. “Ага! — подумал Анатолий Петрович. — Всё-таки поняли товарищи главные специалисты, которые ну, совсем мне, к сожалению, пока не являются товарищами, что я играть в поддавки с ними никоим образом не намерен. И выходит, снова оказалась права мой, можно сказать, земной ангел-хранитель — Клара Исааковна Усман, как-то в разговоре в качестве наставления сказавшая, что, если люди тебя по каким-то причинам, от тебя не зависящим, не хотят уважать, то пусть боятся! Конечно, это к заместителям неприемлемо, но коли в самом начале моего директорства нельзя иначе, а верней, не получилось, то пусть будет так, а дальше — поглядим...” И вслух как можно твёрже произнёс:

— Ни для кого из вас, срочно приглашённых на, прямо скажу, чрезвычайное совещание, не секрет, что произошло вчера в силосной траншее центрального отделения, поэтому сразу строго заявляю: терпеть подобные вопиющие, впрочем, как и любые другие факты нарушения трудовой дисциплины не собираюсь. Каждый, не понявший моих слов, будет жёстко наказываться! В подтверждение этого объявляю всем участникам пьянки вчерашний день прогулом! А конкретным наказанием за него, поскольку для многих выговор всё равно, что слону дробина, будет стопроцентное лишение квартальной, а значит, согласно трудовому положению, согласованному с профкомом и утверждённому приказом директора, и годовой премии в полном объёме! Вопросы есть?

— Есть! Вполне конкретный! — тотчас сказал Бахтин. — А не слишком ли круто, словно с места в карьер, берёте?

— А это уж позвольте мне самому решать в рамках предоставленной мне директорской власти! — ответил не без вызова Анатолий Петрович. Хотел ещё проникновенно призвать к совести, но поняв, что этого сейчас делать не следует, поскольку она у многих специалистов настолько глубоко за время практического безвластия в совхозе заснула, что её сначала надо каким-то образом разбудить, закрыл совещание.

В самом конце рабочего дня ожидаемо позвонил начальник сельхозуправления Пак. Поздоровавшись, начал разговор издалека:

— Заготовка кормов, если судить по ежедневным сводкам, вот-вот должна войти график! Это хорошо! А как семейные дела?..

— Владимир Андреевич, извините, но вы же мне не с этой доброй целью решили позвонить! — вместо ответа несколько нервно сказал Анатолий Петрович. — А о моём рукоприкладстве! Так вот, опережая вас, скажу сразу, что о своём, ну, совсем неверном поступке сожалею, но в то же время ничуть в нём не раскаиваюсь!

— Как это?! Или ты не даёшь себе полный отчёт?!

— Даю! Но, повторяю, хоть режьте на куски, не раскаиваюсь — и всё!

— В таком случае, я должен тебе сообщить, что Хохлов намерен подать заявление в милицию. Свидетелей у него, сам знаешь, больше, чем надо, чтобы привлечь тебя к ответственности, вплоть до уголовной!

— Пусть подаёт, если кишка тонка! Я и этот вызов приму!

На несколько секунд Пака замолчал, потом, хорошо зная упрямый характер Анатолия Петровича, примирительно сказал:

— Что ж — оставайся при своём мнении! Но прежде, чем лететь в Якутск на обкомовское утверждение, зайди ко мне — разговор есть!

— Непременно!

— Вот и хорошо!

Между тем, контора опустела, лишь в приёмной секретарша продолжала, как дятел по дереву, нудно стучать на печатной машинке. В кабинетной тишине был ясно слышен каждый железно-бумажный звук. Он казался таким однообразным, что Анатолию Петровичу невольно подумалось: “Сколько же надо иметь терпения, чтобы день за днём, лишь с небольшими перерывами, делать одно и то же, образно говоря, попугайское дело? Значит, несколько дел, одновременно совершаемых, могут в одночасье запросто лечь непосильным бременем на уставшую душу, придавить её неподъёмной гранитной плитой так сильно, что она или от боли, или от удушья в крик закричит!.. Не произошло ли нечто подобное со мной этим утром? И я вовсе не от гнева, а от того, что надел на себя, образно говоря, тулуп явно с большего плеча и шапку ну, совсем не своего размера, как бы враз обессилел, и в слепом, нервном отчаянье, забыв о последствиях, ударил Хохлова?.. Как же будет мучительно горько сознавать верность моего предположения, эх!”

Тем не менее, Анатолий Петрович вернулся домой в сгущающихся сумерках, спустившихся с тёмных, словно недовольно насупленных небес, где одна за другой серебряно вспыхивали звёзды, как лампочки новогодней гирлянды, словно ничего сверхъестественного на работе не произошло. Как всегда, помывшись, нежно улыбнулся жене и, будто неделю не ел, набросился на ужин. Утолив голод, прошёл в гостиную, сел в кресло, откинулся на спинку, ноги вытянул, руки безвольно скрестил на животе и закрыл глаза. Таким образом он привык снимать накопившуюся за день психологическую и физическую усталость. Но едва Мария, стараясь не шуметь, на цыпочках стала проходить мимо него, он поймал её за руку, притянул к себе, усадил на колени.

— Ой, а я думала, что ты вздремнул! — воскликнула она.

— И правда хотел, да вдруг вспомнил, что не предупредил тебя о завтрашней поездке в Якутск, по словам Пака, для соблюдения чисто формальных протокольных процедур, связанных с моим назначением! Оказывается, в самом деле, должность директора совхоза относится к республиканской кадровой прерогативе. Вот так-то! Гордись!..

— Так я только это и делаю! — засмеялась Мария. — А меня с собой в столицу возьмёшь, скажем, в качестве секретаря?!

— Возьму, милая, возьму! Как же я без тебя!..

— Вот здорово! — от радости она чуть не захлопала в ладоши, словно девчонка-школьница с аккуратно заплетёнными косичками. — Я первым делом навещу своего доброго знакомого!

— Это какого же? — враз до звона напрягаясь и натянувшись душой, будто струна, ревниво спросил Анатолий Петрович.

Увидев, как чуть ли не мгновенно натянулась кожа на острых скулах мужа, Мария поспешила его успокоить:

— Да начальника кадров республиканского управления “Сельхозхимии”. Кого же ещё?! — и, чтобы окончательно успокоить мужа, добавила: — Он тебе как раз в отцы годится! А мне за всё время летней практики столько чисто по-родственному доброго сделал!.. Я, благодаря общению с ним, и более-менее сносно пережила разлуку с домом!.. Если хочешь, то я вас познакомлю, тем более, что он тебя заочно знает!

— Я не против, если, конечно, время позволит!

На минуту-другую в гостиной установилась тишина, только ясно был слышен цокающий ход настенных часов, да где-то под полом, в углу, словно наперегонки, шумно бегали мыши. Каждый из супругов задумался о чём-то своём. Анатолий Петрович вновь некстати вспомнил Хохлова, увидел его припухшую скулу, словно наяву услышал его угрозы, и на душе стало не то чтобы тоскливо, но как-то неуютно, скорей всего, от сознания невозможности исправить свою ошибку, связанную с его горючей от природы натурой, и значит, остаётся только один путь — вперед! Но он же ох, как непрост, труден, ох, как буквально выслан острыми шипами, так и норовящими проткнуть кожу до крови... Но, может быть, только этим и интересен до восторга для настоящего мужчины.

А Мария уже в мыслях пролетела по воздуху тысячу километров до якутской столицы и уютно сидела в кабинете своего ангела-хранителя, такого доброго, отзывчивого, убелённого сединой и умудрённого долгой северной, непростой, суровой жизнью,

вела с ним задушевную беседу, в которой вспоминала о днях, проведённых на летней практике, при этом она так светло, нет, лучезарно улыбалась, что со стороны могло показаться: во всём мире нет счастливее человека! Наконец, она, спустившись с мысленных небес, вдруг спросила мужа:

— Дорогой, ответь, пожалуйста, а почему ты никогда не назовёшь меня просто Машей или ещё ласковей — Машенькой, как это всегда в родительском доме делала моя мать, да и отец тоже?

— Знаешь, — ответил Анатолий Петрович, — я как-то совсем не задумывался над тем, как к тебе обращаться! Наверно, это связано с тем, что ты носишь самое любимое мной женское имя. Для меня его произношение почему-то связано с торжественным, небесным звучанием органа, которое, кажется, и в самом деле возносится до небосвода, где его слушают ангелы, рассевшись в задумчивости по золотистым облакам, подперев скулы руками, а крылья сложив на спине. Чаще всего это происходит, когда исполняется бессмертная музыка таких великих композиторов, как Бах, Шопен, Моцарт. Ну, вот послушай сама, как твоё имя действительно прекрасно звучит! — и по слогам, нараспев, с искрящимися глазами Анатолий Петрович словно душой несколько раз выдохнул: — “Ма-ри-я... Ма-ри-я... Ма-ри-я...” И восторженно спросил:

— Не правда ли, здорово?

— И правда! Зови меня, милый, и впредь так, как тебе нравится!

— Хорошо, родная! Но у меня вдруг возникла мысль, что было бы очень здорово в случае рождения у нас дочки назвать её в честь моей горячо любимой бабушки по материнской линии Верой!

Мария не поспешила согласиться с предложением мужа, ибо она давно уже выбрала имя для будущей дочки и, опустив голову, словно враз ушла глубоко в себя, замолчала. Это не осталось незамеченным Анатолием Петровичем, и он, крепко обняв жену, спросил:

— Обиделась, что я не поинтересовался твоим мнением?! Да?!

— А разве могло быть иначе! Родным детям надо давать имена по обоюдному согласию, ведь никто же нас не гонит, значит, всегда сможем в своём выборе прийти к единому мнению! Или я не права?!

— Права! И прошу за проявленную бестактность извинить! Хотя у меня вдруг созрело предложение... О нём-то я могу сказать?!

— Конечно! Я слушаю!

— Так вот, давай с тобой договоримся насчёт того, что если первенцем будет девочка, то имя ей дам я! А если мальчик, то его назовёшь по своему усмотрению ты! Ну, что ты на это скажешь?!

Мария вновь задумалась, но уже не морща недовольно лоб, не сдвигая в обиде чёрные густые брови к переносице. Её милое лицо озарялось каким-то вдумчивым светом, скорее говорившим, что ей предложение пришлось по душе. Наконец, Мария посмотрела на Анатолия Петровича своим, так нравившимся ему глубоким взглядом с лёгкой грустинкой и вместо того, чтобы ответить, спросила:

— А ты правда хочешь ребёнка?

— Милая, что за вопрос! Да я не просто хочу, а требую как можно скорей обрадовать меня первенцем! И попробуй только затянуть с его рождением!.. — выпалил скороговоркой, словно из ружья, Анатолий Петрович и, увидев, как от его слов обрадовалась Мария, закончил: — Ты даже не представляешь, насколько для меня важно иметь нашего общего с тобой ребёнка, ибо наипервейшая, самая важная задача каждого человека — это посадить и вырастить своё дерево, а лучше несколько! Это необходимо и для того, чтобы креп и расширялся родовой сад, и для того, чтобы наши дети не выросли полными эгоистами, которые, любя только себя, в конце концов, могут стать самыми несчастными людьми!

— В таком случае, я согласна, что имя девочке дашь ты! — очень доброжелательно выслушав мужа, сказала Мария.

24

Когда утром, собравшись в дальнюю дорогу, вышли на улицу, им в глаза ударили золотистые, тёплые снопы солнечных лучей. Кроме вечного светила, на небе не было ни одного, даже самого небольшого облака — от края до края, от конца до конца, которые мог охватить человеческий взгляд, простиралась глубокая, пронзительно чистая лазурь. Воздух, за ночь крепко настоящий на хвое, был терпким и свежим, бодрящим душу настолько, что супругам казалось: весь этот огромный небесный и земной мир создан исключительно для счастья. И люди, как их ни выгораживай, в общем-то неис-

правимые дураки, поскольку своими руками порой нещадно, без оглядки ломают и ломают его, словно от этого получают неземное удовлетворение... Ох-х!

Анатолий Петрович помог жене поудобней сесть на заднее сидение подъехавшего к назначенному времени — минута в минуту! — “уазика”, туда же положил почти пустую дорожную сумку и, сам привычно устроившись на переднем сидении, как бы шутя спросил водителя:

— Пётр, надеюсь, в этот раз перед самым выездом в дальнюю дорогу гайки подкрутил, и их не придётся собирать по всей трассе, а?

— В обязательном порядке! Кстати, у меня по нашей недавней поездке в Беченчу есть для вас очень важная информация!

— Не торопись! — тотчас резким голосом перебил Анатолий Петрович водителя. — Когда вернусь, вот тогда с толком, не спеша, в деталях поведаешь о ней! Ведь дело-то непростое случилось!..

— Мужчины, вы это о чём? — с любопытством вмешалась в разговор Мария.

— Понимаешь, дорогая, между нами неожиданно сформировалась одна серьёзная тайна, только мы друг другу слово дали: до поры до времени не разглашать её! Правильно я говорю, Пётр?!

— Так и было!

— Вот! Да и сегодня, в такое на удивление погожее утро грешно забивать голову лишними мыслями, заботами, тем более в дорогу!

— Анатолий Петрович, едем сразу в аэропорт? — спорил водитель.

— Нет! Прежде мне необходимо заскочить в сельскохозяйственное управление, но, думаю, не больше, чем на полчаса! Поехали! Но предупреждаю, поскольку мы не одни, то аккуратно, на скорости не больше шестидесяти километров в час веди машину!

— Так это же не езда, а скука смертная!

— Зато безопасно! — заметил Анатолий Петрович, чувствуя на себе благодарный взгляд жены, почему-то страшно боявшейся ездить, так сказать, с ветерком, да таким, чтобы дух захватывало!

В бессмертной поэме Николая Гоголя “Мёртвые души” есть замечательная фраза: “И какой же русский не любит быстрой езды...” Действительно, какой?! Такого, пожалуй, среди мужчин точно днём с огнём вовек не сыскать. И это крылатое выражение, ставшее со временем народной поговоркой, в полной мере соответствовало горячему характеру Анатолия Петровича, ибо жажда не просто вдохновенной гонки, а самого настоящего лихачества, скорей всего, и привела его в расцвете молодости на автодром, оборудованный за городом в огромном овраге, где он на соревнованиях, гоняясь с такими же, как он сам, любителями экстремальной езды, и вылетал с трассы в глубокий кювет, и переворачивался по несколько раз кряду, но, к счастью, всякий раз без серьёзных последствий для здоровья — защитные обводы, сваренные из крепких труб, надёжно защищали от травм...

Однажды о себе и своих друзьях-гонщиках он даже сподобился написать соответствующие стихи:

*Рвут колёса слежавшийся дёрн —
клочья в стороны с воем летят!
Стаи чёрных, как уголь, ворон
перепуганно в небе кричат!
В милой жизни, где счастья звезда
нам горит всё сильнее и сильнее,
гонит, что ли, нас злая беда?
Нет, мы сами несёмся за ней!
И разбиться до смерти пустяк!..
Чуть неверно я руль поверну —
тут же мигом сорвёмся в овраг
или врежемся с ходу в сосну!
Но мы молоды, нравом резки,
нам неведом растерянный страх.
Только кровь ударяет в виски,
только вёрсты мелькают в глазах!*

Перевалив тридцатилетний рубеж, когда многие начинают понемногу сбавлять жизненные обороты, Анатолий Петрович не изменил себе — при любом удобном случае отказывался от услуг персонального водителя и на песчано-галечной трассе, выбитой напрочь задними колесами автомашин, от чего казавшейся большой стиральной

доской, включив самую высокую скорость, надавив ногой педаль газа до упора, гнал и гнал бедный “уазик”, да так, что он, скрипя, дрожа и воя, казалось, только чудом на ходу не разваливался на части. Вскоре нагонял машину, от которой пыль поднималась таким песчано-густым облаком, что впереди на двести-триста метров ничего не было видно. Но это ничуть не смущало Анатолия Петровича, и он, лишь ещё крепче стиснув зубы, на всякий случай как можно сильнее упершись ногами в дно кузова, а руками — в ребристую баранку, смело шёл на обгон, на несколько секунд оказываясь в пыльном мраке, управляя машиной вслепую.

Другому человеку даже подумать было бы страшно, что в любой момент можно на бешеной скорости столкнуться со встречной машиной, в результате чего смерть неминуема, но только не Анатолию Петровичу, ибо он упрямо верил в свою спасительную звезду, о чём и написал:

*Машины высушили трассу
жарой стремительных колёс,
и ветер туч густую массу
за сопки скальные унёс.
С какой невероятной силой
всё напрягалось существо,
когда авто в вираж входило
и выходило из него.
Как ликовали дух и тело
и возносились над судьбой,
когда я обгонял умело
одну машину за другой.
Ни в коем случае, поверьте,
я не дразнил незримый рок,
я просто был от чёрной смерти,
как от любви, далёк, далёк...*

Со второй, с третьей — со всеми машинами на любом пути он поступал точно так же, как с первой. Конечно, от физического напряжения порой страшно, до дрожи в руках и в ногах, уставал, зато психологически был душой аж на седьмом небе... И парил там, как гордый, неустрашимый, словно бросающий вызов самой природе горный орёл!

А день в самом деле зарождался ясным, без единого облака на светло-синем небе. Солнце в радужном ореоле лучей только поднялось над восточными сопками, но уже вовсю пятнало тёплым, ярким светом дорогу, на которой от деревьев, почти вплотную подступающих к ней, лежали длинные, фиолетовые тени. Обильная роса, лишь начинавшая испаряться, увлажнила дорожное гравийно-песчаное полотно настолько, что въедливая пыль за машиной почти не поднималась. В салоне было прохладно и свежо. Дышалось легко, во всю грудь! Все словно дали себе обет молчания, ехали, ни о чём не спрашивая, ничего не говоря. Зато было чётко слышно мерное урчание двигателя, которое, как классическая музыка, располагало к размышлению. Но Анатолий Петровича, хорошо выпавшего и остро чувствующего упругость духа, словно привязанная, преследовала всю дорогу только одна мысль: о предстоящем разговоре с Паком, ибо нельзя было не понимать, что в сложившейся за последний день ситуации он будет непростым.

Через два с половиной часа “уазик” с довольно сильно укачанными от дальней, тряской дороги пассажирами остановился на автостоянке районной администрации. Тем не менее, Анатолий Петрович, потянувшись всем мускулистым телом до лёгкого хруста в суставах, бодро произнёс:

— Пока я буду в управлении, вы, Мария и Пётр, в своё удовольствие прогуляйтесь по скверу, ноги разомните, стряхните дорожное утомление, расслабляйтесь слушаньем птиц... Не может быть, чтобы в такой солнечный день они во все свои чудные голоса залиviste не пели! Только к ним прислушаться надо! Это я сказал для примера, а сами делайте всё, что душе угодно! И всё-таки далеко не отходите...

И, выйдя из машины, легко взбежал по довольно крутой лестнице на крыльцо под красивым ажурным железным козырьком в открытые настежь двери здания районной администрации. В просторной приёмной, вежливо улыбнувшись секретарше, женщине в возрасте, с круглым лицом, немного полноватой, с высокой грудью, которую легко обегала белая с синим горошком кофточка, приветливо спросил:

— Шеф у себя?

— Да! Вас ждёт, проходите!

Едва поздоровавшись, Анатолий Петрович сел в своё, уже ставшее привычным, глубокое мягкое кресло с подлокотниками, стоявшее напротив длинного стола совещания. Начальник управления, озабоченно посмотрев на часы, словно должен был куда-то срочно идти или ехать, тем не менее, как всегда, доверительно, спокойно заговорил:

— Ходить вокруг да около не буду. Скажу сразу, что я очень даже хорошо понимаю: после событий двух последних дней, имею в виду и пьянку в силосной траншее, и твоё ну... ну, совсем не директорское поведение, вы теперь с Хохловым точно не работаетесь!..

— Это почему же? Пусть на совесть относится к своим трудовым обязанностям, да и продолжает на добрую пользу трудиться, сколько сил хватит! Или вы действительно считаете, что я своих зарвавшихся заместителей не смогу, если не вдохновить, то заставить относиться к государственным проблемам, как к своим, глубоко личным?

— Поверь, я так не считаю!

— И в чём же тогда дело?

— В том, что у тебя, Анатолий Петрович, и без Хохлова в совхозе, по твоему же меткому выражению, лежащем на боку, как сдыхающая корова, проблем, выражаясь по-дворовому, выше крыши! А Хохлов ещё этой весной заявление написал о переводе его в управление на вакантную должность главного агронома! Вот я пораскинул мозгами, да и решил: пусть будет у меня под боком. Здесь работа не то, что в хозяйстве, так сказать, непыльная: знай в кабинетной тиши в установленные свыше сроки составляй бумажки-отчёты, да и отправляй их исправно в министерство! А то, что он иногда по службе будет наезжать в твой совхоз, надеюсь, тебя не слишком беспокоит, тем более, ты сам сказал о готовности с ним и дальше работать! Ну как, мудро я придумал?

— Хозяин — барин! Только я просил бы не забывать, что перевод Хохлова в управление — исключительно ваша инициатива!

— А разве это важно?

— Для меня очень! Поскольку, если бы она исходила от меня, то вы подумали бы, что я — слабак! Пусть я ещё не вполне сформировавшийся руководитель, но, поверьте, дважды на одни и те же грабли наступать, ну, совсем не намерен! Тем более, надеюсь, что на это у меня мозгов хватит! И вот ещё что: коль рубить сук, то одним ударом, поэтому сделайте так, чтобы к моему возвращению Хохлова в совхозе не было, ведь он всё равно только место занимать будет. А, как сами знаете, уборочная на носу, в подготовке к ней даже дня терять нельзя!

— Хорошо! Только как это без тебя сделать?

— Очень просто!

Анатолий Петрович, тотчас взяв чистый лист бумаги, в верхнем левом углу наложил визу: “Согласен” и расписался, сказав:

— Ну, а нужный текст заявления о переводе ваш будущий главный агроном, надеюсь, сам напишет, для этого ведь много ума не надо!

— Добро! А кого намерен назначить вместо Хохлова?

— Выбор у меня, честно признаюсь, невелик... Нет, совсем его нет! Пусть старший агроном Кокорышкина и идёт на повышение — не век же ей, человеку от земли, на побегушках бегать! Да и несолидно как-то, даже унижительно! Ведь она в совхозе с самого его создания работает, а до этого много лет была бригадиром полеводства в отделении, так что растениеводство, как свои пять пальцев, знает. Давно надо было вместо того, чтобы расшаркиваться перед пришлыми со стороны, совхозные кадры местными специалистами укреплять! Смотришь — и порядок был бы, а с ним — и богатый урожай, и высокие надои...

— Не возражаю против твоего выбора! — сказал с готовностью Пак. — Только в связи с этим хочу задать тебе последний вопрос: кого за себя на время поездки оставил?

— Главного экономиста! Он единственный, кто в пьянке не участвовал!

— Что же его подвигло на благородный поступок?

— Скорей всего, моя убедительно твёрдая просьба срочно произвести все необходимые расчёты, позволяющие при воплощении их в жизнь сделать совхоз если не рентабельным, то уж точно не убыточным, да он и как человек, смело говорю, очень порядочный!

— И ты на полном серьёзе веришь, что в условиях Крайнего Севера возможно в сельском хозяйстве рентабельно работать?

— Более чем!.. Только надо мне и в этот раз, как в случае с “Сельхозхимией”, помочь решить вопрос в министерстве с выделением в следующем году на первое время хоть каких-нибудь финансовых средств для значительного повышения урожайности пашен и лугов!

— Но, как ты верно заметил, финансы, тем более сверхплановые, да ещё в большом количестве, спускаются строго сверху!..

— Точно! Только кто вам, уважаемый председатель, мешает, не мешкая, самым внимательным образом ознакомившись с экономическими расчётами, основанными на подлинных показателях растениеводства и животноводства, один экземпляр которых я оставлю вам лично, сначала сегодня же позвонить министру, а потом и направить на его имя в полном соответствии с установленными правилами письменное ходатайство?!

— В принципе — никто!

— Так будьте добры выполнить мою просьбу, если, конечно, вы посчитаете, что она не фантазия... Я могу быть свободным?

— Да! И успехов тебе!

Но только Анатолий Петрович встал из-за стола, как Пак, посветлев лицом, заговорил каким-то добрым отеческим тоном:

— Я хочу, чтобы ты знал: если раньше у меня были какие-то сомнения в отношении твоих возможностей по наведению в совхозе порядка, то после того, как ты себя повёл, дав по морде Хохлову, они вполне отпали. Ведь я, признаюсь, сам не могу утверждать, что, будь тогда на твоём месте и в твоих молодых годах, поступил бы с человеком, которому доверился, иначе, чем это сделал ты! Понимаешь?!

Опешив от услышанного, Анатолий Петрович не сразу нашёлся, что ответить. Но внимательно посмотрев в глаза своему непосредственному начальнику и увидев в них свет глубокой искренности, произнёс:

— Не совсем!.. Но за высказанное мне доверие большое спасибо! Слово даю, я вас не подведу ни словом, ни делом!

Выйдя из кабинета, он сразу не пошёл на улицу к машине. Всё ещё находясь под впечатлением, может быть, даже невольно вырвавшегося у Пака признания, подошёл к окну, выходящему во внутренний двор, где у него в машине неожиданно произошёл разговор с Эльзой о Марии. Но в этот раз ему подумалось, как всё же непросто устроен человек: чем выше он восходит по служебной лестнице, тем больше отдаляется от себя того, молодого, который каждый день, словно впервые, открывал окрестный — да и не только! — с виду вполне лучезарный мир, на самом деле сплошь состоящий из тёмных закоулков с хитроумно расставленными в самых неожиданных местах ловушками, капканами. И вот, чтобы не попасть в них, человек должен если не изворачиваться против своей воли, то, в любом случае, придерживаться всех новых правил поведения и работы, которые до него за десять, а может, и за все сто лет устоялись в обществе, куда занесла его судьба. А это значит, что с каждым днём, по крайней мере, на людях всё удаляться и удаляться от самого себя, как бы ни старался оставаться верен своим первоначальным чертам характера! И, увы, с этим ничего не поделаешь!

По дороге в аэропорт Анатолий Петрович, как само собой разумеющееся, буднично, как бы между прочим, сказал:

— Мария, производственные да, пожалуй, и жизненные обстоятельства сложились так, что у тебя, можешь считать с завтрашнего дня, будет новый руководитель в лице Кокорышкиной!

— Да! А что с прежним, Хохловым?

— Не поверишь!.. На повышение пошёл!

— Это за какие же такие великие заслуги?! Его же, падлу, судить принародно надо! — невольно вырвалось у Петра.

При этих словах Мария своей высокой грудью аж подвинулась вперёд и неожиданно для мужа почему-то возмущённо сказала:

— Что ты такое говоришь! Подумаешь, человек в день своего рождения выпил лишнего! С кем в жизни такого хоть раз не бывает!

Анатолий Петрович, как ни был удивлён мнением жены, обернулся и, внимательно вопросительным взглядом посмотрев в её, от волнения показавшиеся ему ещё красивее глаза, вздохнул:

— Мария, ты это серьёзно? Впрочем, не отвечай! Характеру русских женщин, к сожалению, присуще защищать тех, кого, как им кажется, незаслуженно обидели или даже хотят это сделать! И с этим, увы, ничего не поделаешь... А ты, Пётр, помни евангельскую мудрость: “Не суди, да и сам не судим будешь...” И вообще, как солдат, хоть и в запасе, должен знать, что приказ начальника обсуждению не подлежит. Считаю, что карьерный рост Хохлову обеспечил я своим несдержанным поведением. А сейчас просто делай своё ответственное дело — рули!

Перенесённый ещё пятнадцать лет назад из городской черты в лесные близлежащие сопки аэропорт находился в десяти минутах езды от районной администрации.

Само новое двухэтажное здание приёма, регистрации и отправки пассажиров с залом ожидания и комнатой матери и ребёнка на втором этаже, куда вела широкая бетонная лестница с отделанными под орех деревянными поручнями железного ограждения, было построено из щелевых бетонных блоков, оштукатурено и красиво, с дизайнерским вкусом покрашено в тёмно-синий цвет. А вот необходимых денег на самое важное для непрерывной работы аэропорта, а именно: бетонирование взлётной полосы, почему-то не предусмотрели, и оно, как и на старом месте, в черте города, несмотря на заверение руководства алмазной компании не в этом, так в следующем году обязательно достроить аэродром, продолжало оставаться грунтовым. В летнее время от затяжных дождей оно раскисало, да так сильно, что по этой причине в соответствии с авиационной техникой безопасности аэропорт закрывали, и до столицы республики можно было добраться только водным путем — по Лене на парохоме. Однако в этот день, поскольку в последние время стояла солнечная погода, аэропорт работал, как хорошо отлаженный механизм: самолёты приземлялись и вылетали строго по расписанию.

Расстояние от Ленска до Якутска в одну тысячу километров Ан-24, надёжный пятидесятиместный, с рядами сдвоенных кресел по бортам, преодолевал за два с половиной часа. Времени было достаточно и вздремнуть, и привести мысли в порядок, а если попадётся разговорчивый попутчик, то и обсудить с ним интересующие обоих жизненные вопросы, поднятые вездесущей печатной и электронной прессой. В самолёте Мария села у иллюминатора с небольшими раздвижными серыми шторками, а Анатолий Петрович — рядом с ней. Зная, что жена боится летать, стараясь придать ей уверенности, он взял её от тревоги враз похолодевшие, почему-то влажные руки в свои, нежно сжал их и как можно спокойней, твёрдым и вместе с тем трогательным голосом уверенно произнёс:

— Знаешь, дорогая, мне одна врач-ясновидящая как-то предсказала, что я доживу до глубокой старости! Ну, а раз ты летишь со мной, то ничего плохого в полёте, ну, никак произойти не может!

— И ты ей в самом деле веришь?!

— Как себе! По крайней мере, многое, что я от неё услышал, со временем в точности сбылось! Так что не волнуйся! Закрой глаза, постарайся скорей внутренне расслабиться и уснуть!

— Хорошо, милый!

Сам же Анатолий Петрович в полёте, особенно не слишком продолжительном, никогда не спал. Всегда голова была забита если не производственными, то творческими мыслями, да и поразмышлять вообще о жизни никогда не мешало. В этот раз, поглядывая не без тревоги на Марию, с закрытыми глазами замершую в кресле, он, ясно ощущая, как её руки потеплели, вдруг в глубине своей вечно мятущейся души почувствовал к ней такую глубокую нежность, такое умиление её девичьей красотой, а вместе с тем и какое-то необыкновенное, сводящее с ума желание близости, чего прежде с ним в самолёте никогда не бывало, что, часто задышав, даже глухо простонал. И, как мыслящий человек, не мог не задаться вопросом: “Что это происходит со мной?..”

А разум выдавал на-гора всё новые вопросы: “Естественный страстный порыв молодого организма к красивой женщине или всё-таки, наконец, я снова полюбил? А разве страсть и любовь — это не одно и то же?” Пытаясь хоть как-то ответить на них, он подумал: “Лет десять назад я бы тотчас сказал, что так и есть! Но сегодня, когда столько пережито, столько передумано, так намучился я, так настрадался, говорю: совершенно разные чувства! Но нет выше счастья, когда они, в конце концов, соединяются воедино! Я могу ещё сколько угодно гадать, полюбил ли я, как никогда, солнечно, возвышенно, но несомненно то, что моя Мария — именно та женщина, которую я искал всю свою мужскую жизнь!..” От этого, можно было смело сказать, судьбоносного заключения на душе у Анатолия Петровича стало так светло и легко, будто ему только что, наконец, удалось ответить на один из самых древних и сложных на свете вопросов — бессмертный шекспировский: “Быть или не быть?”

В столицу республики он любил наезжать по многим причинам. Но самой главной из них, пожалуй, было то, что здесь с мужем Виктором вот уже больше десяти лет проживала его старшая сестра Наталья. Ещё в детстве между ними сложились настолько доверительные отношения, что они смело открывали друг другу свои даже самые глубоко личные секреты, всё — и плохое, и хорошее — делили пополам. Разницы в возрасте в три года для них как бы не существовало. Можно было сказать, что прежде они были самыми настоящими друзьями, а уже потом — близкими родственниками. Анатолий Петрович знал о том, что первая девичья любовь сестры к однокласснику Николаю, сахолярю — в его венах текла кровь пополам русская и якутская — оказалась несчастливой, но настолько глубоко вошла в сестрину душу, что однажды Наталья

в разговоре пророчески заявила: “Увы, увы! Но, к сожалению, я больше никогда никакого другого мужчину не смогу по-настоящему полюбить!”

Замуж за Виктора Иванова сестра вышла исключительно назло подло предавшему её однокласснику, хотя он, поняв свою ошибку, страстно умолял простить его и начать строить отношения заново. “Зачем, к чему? — спросила она ещё совсем недавно такого дорогого ей человека и сама же ответила: — Моя любовь к тебе, не скрываю, — судьба, но по ней прошли такие глубокие кровотокающие трещины обиды и разочарования, что той солнечной, незамутнённой, как горный родник, жизни у нас не сложится. Когда ты будешь ласкать меня, то я не смогу не думать, что твои руки и губы дарили тепло и нежность чужой женщине! Нет, это для меня невыносимо! А живя с другим, я научусь греть душу надеждой на создание семьи, основанной на глубоком уважении мужа, с которым я обязательно воспитаю благородных детей. Прощай!”

Виктор был ростом под два метра, широкоплеч, с крепкими, мускулистыми руками. Он обладал той строгой, несколько даже суровой мужской красотой, которая так покорила женские сердца, вселяет в них уверенность, что за спиной этого человека можно чувствовать себя, как за каменной стеной! Выросший на селе, он с ранних лет полюбил труд, цену ему знал по пролитому неизмеримому поту и тяжкой, изматывающей усталости. Окончив десятилетку, отслужил в армии, а после неё получил техническое образование в Якутском речном училище, из стен которого вышел механикомотористом. Несколько навигаций проплавал на нефтеналивном танкере по матушке Лене от Усть-Кут до морского порта Тикси.

Женившись на Наталье, которую без памяти любил, он с ней, подальше от своих родителей и родителей жены, которые никак не могли поделить между собой их первенца — дочку Анжелику, — переехал из посёлка в республиканскую столицу, где устроился на работу в городское дорожное строительное управление простым бульдозеристом, но с обещанной начальством скорой перспективой стать механиком. А Наталья, родив первую дочку Анжелику, заочно закончила финансовый техникум и стала трудиться бухгалтером в одной из рабочих столовых. Денег, зарабатываемых обоими супругами, вполне хватало для достойной жизни. Даже образовались излишки, на которые был куплен мотоцикл с коляской “Иж-Юпитер”. В семье, в основном, над суетой преобладали лад и покой. Если бы не некоторая слабость Виктора к алкоголю, который, кстати, он употреблял лишь в праздники и выходные дни, то о Наталье можно было со всем основанием смело сказать, что она в материальном плане как сыр в масле каталась! Вскоре совсем неожиданно семья Ивановых обзавелась и очень даже престижной по тем советским временам легковой автомашиной — вездеходом “Нива” а помог им в этой случай, происшедший с любимым старшим братом Натальи...

Анатолий Петрович, работа мастером по строительству в леспромхозе, в неполных двадцать пять лет был избран профсоюзным вожаком на общественных началах на Нюйском лесозаготовительном участке. К новой сфере деятельности приступил с такой серьёзностью, так активно организовывал и проводил праздничные мероприятия, с такой совестливостью относился к решению того или другого жизненно важного для рабочих вопроса, да и чего греха таить, безотказно и добротнo писал для секретаря первичной партийной организации праздничные доклады и выступления, что по итогам двухгодичного соревнования он был неоспоримо признан лучшим председателем профсоюзной организации среди лесозаготовительных участков и в награду за это получил вне очереди вездеход “Нива”. Кстати, первый в посёлке.

В то время он заочно заканчивал Хабаровский лесотехнический техникум. И вот, вызванный на зимнюю сессию, рано утром выехал в районный аэропорт. Дорога, проходившая по сопкам в глухой тайге, изобиловала круглыми поворотами, закрытыми лиственными кустами, тянувшимися к солнечному свету ветвями-лапами. После бурно проведённой ночи по молодому делу Анатолий Петрович на одном из них даже не понял, как прямо за рулем заснул, в итоге неуправляемая машина врезалась во встречный леспромхозовский бензовоз с горючим. Хотя удар вроде был и не такой большой силы, но его хватило, чтобы искорежить переднюю облицовку и повредить радиатор, а водителю, поскольку он не успел сгруппироваться, травмировать левое плечо.

О дальнейшей поездке не могло быть и речи. Анатолию Петровичу, вернувшемуся домой, потребовалось потратить на лечение целых десять дней. Но это не помешало ему после выздоровления, слетав в Хабаровск, успешно сдать все необходимые зачёты и экзамены, причём за две недели до окончания сессии. Дома работа вновь в своей бешеной круговерти закутила его так, что всё никак не мог выкроить время для ремонта машины, и она, накрытая светло-зелёным брезентом в самом дальнем, глухом углу ограды — подальше от глаз хозяина, чтобы лишний раз не напоминать ему о дорожной неудаче, —

так и простояла до самого начала лета. В это время из Якутска прилетел проведать своих стареньких родителей Виктор. В один из отпускных дней зашёл в гости и к Анатолию Петровичу. Увидев закрытую машину, поинтересовался:

— А что это у тебя за агрегат стоит под брезентом?

— Вездеход “Нива”! Почти с иголочки!.. Только я на нём этой зимой на глухом повороте по неосторожности, верней, из-за потери внимания столкнулся — лоб в лоб! — с леспромхозовским бензовозом!..

— Понятно! А можно посмотреть, какой ремонт требуется?

— Какой вопрос! Смотри, сколько душе угодно! Только мне самому что-то после аварии ездить на ней ну совсем не хочется!

Виктор решительно сбросил брезент, несколько раз обошёл “Ниву”, внимательно оглядел, кое-где даже ощупал повреждения, о чём-то подумал, что-то прикинул и удивлённо, с вдохновением произнёс:

— Слушай, родственничек, да тут работы — всего ничего! Будь под рукой необходимые запчасти, я бы машину за три дня отремонтировал!

Анатолий Петрович, видя, с каким огнём в глазах зять смотрел на “Ниву”, понял, что такой вездеход — предел его водительских мечтаний! И неожиданно для себя от чистого сердца взял да и сказал:

— Так забирай машину с собой в Якутск! Там с запасными частями, думаю, у тебя, классного механика, проблем не будет, время для ремонта тоже найдёшь! Ну, а когда поставишь, так сказать, машину на колёса, катайся себе на здоровье! В конце концов, сколько можно мою любимую сестру по пыльной, ухабистой просёлочной дороге на дачу возить в мотоциклетной люльке! Очень уж неудобно, да и несолидно как-то!

— Если я, Анатолий, правильно тебя понял, то ты сейчас предлагаешь мне купить эту аварийную “Ниву”? И по какой же цене?

— А вот не угадал, зятек! Я дарю её твоей семье!

— Так это же царский подарок!

— Может быть, и так! Но с самого что ни на есть рабочего плеча! Вот и думай теперь своей умной головешкой, что дороже?!

И прежде Ивановы были Анатолию Петровичу душевно рады, а после этого случая ими вообще каждый его приезд иначе, как большой праздник, не воспринимался! Устраивался хлебосольный ужин с замечательной закуской, как правило, рыбной, на второе подавался вкусный, из нельмы или омуля, пирог с коричнево-золотистой корочкой. Для дорогого гостя ставилась бутылка его любимого сухого красного вина, а улыбающийся, довольный Виктор, как всегда, ублажал себя водочкой местного разлива, холодной, только что вынутой из холодильника. Наталья была исключительной трезвенницей, поэтому составляла компанию мужчинам тем, что наливала в стакан брусничного сока и после каждого тоста выпивала глоток-другой. А едва муж хмелел, заранее зная, что он в разговоре, оставаясь верен себе, начнёт обсуждать производственные проблемы, возникшие в его организации, вовсе уходила в спальню заниматься любимым вязанием, к которому пристрастилась ещё в юности, и совсем не зря, поскольку во всём городе прослыла искусной мастерицей!..

После принятия очередной стопки Виктор неизменно произносил услышанную от кого-то на работе и так пришедшуюся ему по душе чисто русскую поговорку: “Ахма, — денег бы тьма! Купил бы деревеньку, да и жил бы помаленьку!..” В разговоре, пока ходил в бульдозеристах, из раза в раз ругал своё начальство, ну, а когда, наконец, сам выбился самоотверженным трудом в механики, то переключился на рабочих, которые, по его словам, только и думают, как бы лишнюю деньгу зашибить. Анатолию Петровичу хватало ума не поддакивать зятю, а просто внимательно слушать его язвённые полупьяные речи, тем более, что тому, кроме как излить сполна душу, ничего другого и не надо было. В конце концов, Виктор, допив бутылку, говорил, что более душевного человека, чем брат любимой жены, во всей своей жизни не встречал, долго целовался и, наконец, уходил в спальню, чтобы проспать. А Анатолий Петрович с сестрой, уединившись в гостиной, до самой глубокой ночи говорили о жизни и не могли наговориться!..

25

Примерно в половине пятого вечера самолёт, сделав положенный круг над якутской столицей, слегка качнув крыльями, плавно совершил посадку, чиркнув колесами по бетонной взлётной полосе в аэропорту, находящемся в пяти километрах от города. Солнце, скатываясь с голубого небосклона с редкими перистыми облаками, ещё продолжало всю озарять северную землю оранжево-золотистыми, тёплыми лучами.

Синеватые, лёгкие тени, падающие от ангаров и здания вокзала, значительно удлинись. Воздух был так густо был пропитан острым запахом сгоревшего керосина, что когда Анатолий Петрович с Марией спустились по дюралевому, вручную передвижаемому шаткому трапу на нагретый за день шершавый бетон стоянки, то невольно вскинули головы, словно им поднесли, как после сильного угара, нашатырный спирт... Тем не менее, быстро выйдя на привокзальную площадь с разбитым в самом центре тальниковым сквериком, они подошли к припаркованным к бетонному бордюру тротуара такси, с разрешения водителя, мужчины лет сорока, черноволосого, с тёмными жгучими глазами, с орлиным носом, очень похожего на кавказца, сели в переднюю машину. Анатолий Петрович внимательно посмотрел на часы, о чём-то, словно сомневаясь, секунду-другую подумал и ровным голосом сказал жене:

— Слушай, я планировал к министру зайти завтра утром, но поскольку до конца рабочего дня остаётся времени ещё почти час, то не вижу никаких причин, чтобы не сделать этого сегодня! Как ты считаешь?

— Считаю, что ты прав!

— В таком случае, уважаемый водитель, — вежливо сказал Анатолий Петрович таксисту, — будьте так добры, подвезите нас к министерству сельского хозяйства, Адрес его, надеюсь, знаете?!

— Знаю и адрес, и как быстрее доехать!

— Вот и отлично!

Вырулив на полупустое шоссе с бетонным покрытием, машина понеслась в сторону города. Анатолий Петрович, наконец, снова ехал по земле, где родился, пошёл в школу, познал первые, к сожалению, не всегда радужные уроки жизни. От любви к родным местам сердце сладко защемило, как будто в ожидании светлого счастья... Тотчас захотелось восторженно рассказывать Марии о земле, которая вспоила его ледяной водой, закалила характер яростными июльскими зноями и жестокими январскими морозами. Но вдруг он увидел справа, вдалеке, рядом с сопками, очертание военной части, в которой проходил курс молодого бойца, и почему-то сразу память выхватила из армейского прошлого не суровые солдатские будни, наполненные до отказа строевой подготовкой, практическими занятиями с оружием, не благодарности, объявленную на стрельбище перед строем командиром части за меткую стрельбу — все три пули послал в “яблочко”! — не обидный первый наряд вне очереди, полученный за то, что, являясь ротным запевалой, маршируя в столовую, только пел куплеты, что было замечено взводным и расценено как грубое нарушение Устава, а тоненькую книжку Алексея Суркова, которую он взял в библиотеке, и, как ни сильно уставал от ежедневной шестичасовой маршировки на плацу, почитывал урывками, уходя в текст настолько глубоко, что даже не слышал происходящих рядом с ним в казарме разговоров и не замечал действий сослуживцев — ровным счётом ничего! Особенно ему понравились пронзительные стихи о любви, нежно посвящённые возлюбленной Софье Кревс, — “Бьётся в тесной печурке огонь”, — и куплет со строками: “Ты сейчас далеко-далеко, // Между нами снега и снега. // До тебя мне дойти нелегко, // А до смерти — четыре шага...”

Он был поражён, что среди ужасов войны, с болью, с кровью, со страданиями и лишениями, душа поэта каким-то чудом оставалась светлой и чистой, продолжающей любить и, значит, побеждать! От сознания этого на душе легало, армейские тяготы стали восприниматься не иначе как работой, которую, словно в поле или на покосе, надо только на совесть делать. Но тотчас встал вопрос: “Почему именно из огромного количества событий прошлого вспомнились именно эти замечательные стихи? Уж не оттого ли, что я в душе всё-таки на самом деле от матушки-природы поэт?.. А может, потому, что рядом со мной сидит женщина, чью хрупкую ладошку, как озябшего воробушка, я нежно держу в своей руке, которую, несмотря на разделявшие нас три тысячи километров, я всё-таки по воле свыше встретил. Хотя немного жаль, что моя сегодняшняя жизнь очень сильно напоминает самую настоящую боевую обстановку, только вокруг пока ещё, слава Богу, снаряды не рвутся, да пули над головой не свистят?..”

Нахлынувшие, как морская волна, совсем непростые, даже в конце тягостные, тревожные размышления прервал бодрый голос водителя:

— Ну, вот и приехали!

— Да? И точно! — немного удивлённо сказал Анатолий Петрович, ясно увидев справа от своей дверцы знакомое трехэтажное здание, главным фасадом выходившее на площадь имени Орджоникидзе. К положенной по счётчику сумме добавил чаевых и, быстро рассчитавшись с водителем за поездку, отпустил такси.

Главная сельскохозяйственная контора республики делила это многоэтажное строение с комитетом государственной безопасности, построенным ещё до войны на железобетонных сваях, вбитых не менее чем на десять метров в вечную мерзлоту

и возвышающихся над землёй на три метра. Таким образом, получалось, что оно было как бы подвешено в воздухе, и это позволяло теплу, идущему зимой и летом от здания, не влиять на оттаивание грунта больше допустимой нормы и, значит, не “гулять” сваям, вызывая опасные разрушения бетонного пояса фундамента и кирпичных, оштукатуренных стен.

Приёмная была небольшой, продолговатой, вмещающей лишь несколько стульев, ровно выстроившихся вдоль стены справа от входа. Напротив них чинно стоял рабочий стол и два массивных шкафа со стеклянными дверцами, плотно заставленных пухлыми пронумерованными папками с деловыми бумагами. Единственное большое окно с тремя рамами, всё ещё по-зимнему утепленное, выходило в сильно затенённый небольшой внутренний квадратный двор, поэтому, если бы не горящая ярко люстра, свисающая с побелённого потолка, то в помещении даже в самый разгар солнечного дня было бы сумрачно. Паркет, постеленный в “елочку”, со временем не только сильно истёрся, но и разошёлся так, что по-старчески ворчливо скрипел под ногами...

Миловидная секретарша, якутка средних лет, с чёрными, блестящими, как антрацитный уголь, завитыми волосами, с раскосыми, тем не менее, из-за длинных ресниц казавшимися распахнутыми, словно оконные створки, тёмными и глубокими, как омут, глазами, в которых солнечно искрился свет, при появлении незнакомых посетителей, дождавшись, когда они поздороваются, сама, доброжелательно улыбнувшись, поприветствовала их и вежливо спросила:

— Вы, уважаемые, к министру?

— Да! Но только я один! И разрешите представиться: я Анатолий Петрович Иванов! А пришедшая со мной молодая женщина — Мария Васильевна! — и секунду-другую помолчав, несколько смущённо добавил: — Моя дорогая половинка! Она, кстати, как и я, тоже работает в совхозе “Нюйский”, только в качестве агронома!

— Очень приятно! Но, к сожалению, министр в данное время очень занят! А интересно, вы к нему по какому вопросу?

— Понимаете, я только что прилетел в столицу из района, чтобы меня на заседании бюро обкома утвердили на должность нового директора совхоза “Нюйский”. Но подумал, что будет правильным сначала нанести визит своему непосредственному будущему начальнику!

— Хорошо! Как только у Михаила Ефимовича закончится экстренное совещание, я доложу ему о вас! Подождите!..

Долго ждать не пришлось. Минут через двадцать в приёмную один за другим гуськом вышли несколько чиновников. Кое-кого Анатолий Петрович знал по прежнему месту работы, но с другими он не был знаком. У всех без исключения лица то ли от волнения, то ли от полученной за какие-то огрехи в работе взбучки от министра пунцово пылали, как сваренные раки. Печать внутреннего сосредоточения лежала на них. “Интересно, за что же им так досталось?” — не без тревоги за себя подумал Анатолий Петрович, но тотчас услышал, словно издали, мелодичный голос секретарши, обращённый к нему:

— Пожалуйста, заходите!

Министр сельского хозяйства республики был мужчиной пятидесяти лет, ниже среднего роста, с открытым сухощавым лицом, на котором светились большие, круглые, словно озарённые небесным светом голубые глаза. Это говорило о том, что у него, по национальности якута, в венах ещё и в значительной мере текла славянская кровь. Словно в компенсацию за небольшой рост, природа одарила его негромким, но таким внутренне сильным, харизматическим голосом, что слушать его равнодушно было невозможно: каждое произнесённое им слово ложилось глубоко в сознание, как бетон в фундаментную траншею, — раз и навсегда!

Двадцать лет назад, ветеринар по образованию, он возглавлял пригородный совхоз “Якутский”, одним из отделений которого руководил отец Анатолия Петровича. Директор, высоко ценя управляющего, не раз, посещая отделение, заезжал на обед к нему, поэтому членов его семьи знал достаточно хорошо. Однако, скорей всего, ещё не отойдя от совещания, министр встретил молодого директора натянуто, сухо. Коротко поздоровавшись и предложив сесть, даже не поинтересовался здоровьем своего бывшего управляющего, совсем недавно ушедшего на пенсию. Это неприятно резануло по душе Анатолия Петровича, но ему ничего не оставалось, как в ответ сделать вид, что с министром он не знаком, вообще видит его в первый раз, тем более что разговор с ним тот начал с вопроса о событии аж полуторагодовой давности:

— Анатолий Петрович, а не скажете, с каким результатом закончилось расследование письма какого-то совхозного то ли водителя, то ли рабочего, точно сейчас что-то

даже и не вспомню, поступившего к нам в министерство из редакции такого уважаемого центрального журнала, как “Человек и закон”?

Дело в том, что в период работы в совхозе заместителем директора по строительству Анатолий Петрович новый самосвал ЗИЛ-130, выделенный находящемуся у него в подчинении стройотделу, не зная, что на него нагло претендовал Сергей Мордосов, отдал другому водителю, безотказному, сумевшему выдержать бешеный темп работ, заданный новым начальником. Уязвленное самолюбие как бы оставшегося с носом Сергея ничего другого, кроме как написать клеветническое письмо на Анатолия Петровича, ему не подсказало. Приехавший из министерства ревизор, проведя тщательную проверку жалобы, пришёл к выводу, что все изложенные в ней факты якобы имевших место злоупотреблений служебным положением не подтвердились. В том числе и то, что Анатолий Петрович десять кубометром обрезного совхозного теса прямо с леспромхозовской Солдыкельской пилорамы без всякой оплаты вывез в райцентр своему брату для строительства собственного дома. Но этот поклёп, по сравнению с другим, а именно с тем, что водители, выполнявшие по зимнику рейсы за строительным материалом в Якутск, по фиктивным путёвкам якобы получали оплату в оба конца, хотя груз везли в один, был совершенно высосанным из пальца и свидетельствовал о нравственном падении завравшегося Сергея, поскольку этим он, окончательно впад в несправедливое негодование, без всякого зазрения совести клеветал уже и на своих друзей-коллег.

Не чувствуя за собой никакой вины, Анатолий Петрович, смело глядя министру в строгие глаза, твёрдо ответил:

— В результате тщательного расследования назначенная вашим приказом ревизионная комиссия установила, что все изложенные в письме примеры злоупотребления мной служебным положением вымышлены исключительно с одной целью: хоть как-то досадить мне за верно принятое по отношению к нему решение — только и всего!

— А чем вы можете подтвердить свои слова? — не унимался министр.

Этот вопрос в душе у Анатолия Петровича вызвал недоумение: “Как это так — руководитель, своим приказом назначивший расследование, даже не удосужился узнать, чем же оно закончилось?! Да быть такого не может!.. Скорей всего, он просто, обжегшись вместе с райкомом партии на моих четырёх предшественниках, испытывает меня как нового, теперь уже пятого будущего директора на твёрдость характера! Ладно, пусть будет так!” И, весьма вовремя взяв себя в руки, ещё спокойней, чем прежде, уверенно, чеканя каждое слово, произнёс:

— Если вы не против, то я постараюсь как можно быстрее сходить к главному ревизору, проводившему проверку сведений, изложенных, как я считаю, в клеветническом письме, которого, идя к вам на приём, встретил в коридоре, и попрошу у него для вас весь отчёт!

— Хорошо, я подожду! — тотчас согласился министр, словно хотел распорядиться сам о вызове к себе председателя комиссии.

Уже через пять минут довольно толстая папка документов ревизии лежала перед министром. Он открыл последнюю страницу, на которой были напечатаны выводы проверки, прочитал их и удовлетворённо, словно и не сомневался в порядочности бывшего заместителя директора неблагополучного совхоза, произнёс:

— Я рад, что письмо жалобщика оказалось обыкновенной клеветой! Тем не менее, — тут министр смягчил голос, — советовал бы вам, Анатолий Петрович, сделать из него все необходимые выводы!

— Не против! Но какие именно, не скажете?

— Скажу! Тем более что теперь перед вами стоят производственные проблемы куда сложнее, чем когда-либо были. Крупный руководитель не имеет права смотреть на жизнь однобоко. Чтоб не быть голословным, отмечу, что если бы вы у заведующего гаража узнали, кто по очереди должен был получить машину, и с этим водителем переговорили бы по-человечески, то, уверен, он не стал бы никуда жаловаться, тем более так подло! Вы меня поняли?

— Понял, Михаил Ефимович! А вопрос можно?

— Пожалуйста!

— Вам, случайно, сегодня начальник нашего сельскохозяйственного управления Владимир Андреевич Пак не звонил?

— Звонил! Но поскольку я почти весь день провёл в пригородном совхозе, то переговорить с ним не смог! А в чём вопрос?

Анатолий Петрович положил на министерский стол папку с экономическими расчётами и сказал:

— Здесь документы, подтверждающие, что и в наших северных суровых природных условиях даже самый отстающий совхоз, специализирующейся в основном на

растениеводстве, можно сделать передовым! Поручите вашим заместителям по экономике и финансам по совести, не жалея времени, изучить их и предоставить вам соответствующие заключения. А как ими лучше распорядиться, вы уж решите сами!

Министр посмотрел на Анатолия Петровича изучающе глубоко, словно хотел проникнуть в его мысли, явно заряженные на что-то новое, явно полезное, но лишь сухо, как в самом начале встречи, сказал:

— Договорились!

Анатолий Петрович, считая визит законченным, хотел было уже раскланяться, как вдруг Михаил Ефимович, с мягкими, светлыми нотками в голосе, враз перейдя на “ты”, поинтересовался:

— Анатолий, а отца, Петра Ивановича, давно видел?

— В прошлом году, когда в отпуск летал на Кавказ!

— И как его здоровье? Чем на пенсии занимается?

— Знаете, на первый вопрос даже не знаю, что и ответить, поскольку отец, как бы себя плохо ни чувствовал, никогда об этом не скажет. Просто уединится на день-другой в своей комнате, скажем так, словно собака, забившаяся в конуру, залижет свои глубокие физические, а порой и душевные раны, да и вновь трудится, не покладая рук! Конкретно — выращивает в теплице овощи, а в огороде — цветы. На вырученные от продажи деньги и живёт — пенсия-то, сами знаете какая — кот наплакал! В общем, перед тяготами жизни не склоняет в бессилии голову. Боец!

— Это точно! У меня в совхозе “Якутский”, пока я им руководил, более инициативного управляющего, чем твой отец, не было! В связи с этим единственное, что я тебе, Анатолий, пожелаю на директорском поприще, так это быть таким же волевым, как он! А ума, находчивости, вижу, тебе не занимать! В твои годы самое время, образно говоря, звёзды, причём самые яркие, с неба неустанно хватать! А вот теперь, с этим моим добрым пожеланием, иди! После заседания бюро обкома приказ о твоём назначении директором я немедленно подпишу!

Когда Анатолий Петрович с Марией вышли из министерства, на улице уже стало смеркаться. В медленно остывающем воздухе, за день раскалившемся до тридцати градусов, словно в таёжном лесу, тучами, противно зудя и всё норовя укусить, носились крупные, с жёлтыми крыльями кровожадные комары. Асфальт на тротуаре от полуденной жары настолько размягчился, что женские тонкие каблочки оставляли на нём заметные вмятины-точки. Во многих окнах пятиэтажных панельных домов ярко горел свет, который, падая на тротуары, выхватывал из густеющего на глазах сумрака редких прохожих, тальниковые кусты, растущие вдоль улицы в палисадниках с низким, решётчатым ограждением из полосового железа. Мимо по асфальтированному дорожному полотну довольно широкой улицы имени Петра Ойунского проезжали с включёнными на ближний свет фары многочисленные легковые автомобили, в том числе и неутомимые такси. Но поскольку до дома, в котором проживала сестра Наталья со своей семьёй, было рукой подать, Анатолий Петрович, несмотря на комаров, предложил жене прогуляться по вечернему, залитому золотым светом фонарей столичному городу пешком. Она с лёгкостью согласилась, ибо самой хотелось теперь, когда полётные тревобления окончательно улеглись, пройтись по северному городу, сыгравшему в её девичьей жизни свою судьбоносную роль.

— А ты что так долго был у министра? — взяв мужа под руку, не без тревоги как-то больно уж живо поинтересовалась Мария.

— Знаешь, — не задумываясь ответил Анатолий Петрович, — просто как-то с самого начала разговор пошёл по неожиданному для меня руслу!..

— И всё же?

— Да, уважаемый министр то ли в качестве напутствия, то ли просто для более верного выражения своих мыслей посчитал необходимым строго напомнить мне, что сегодняшний день уже завтра будет прошлым, а оно имеет свойство, особенно плохими делами, очень часто печально напоминать о себе. И выходит, что без хорошего, стоящего настоящего можно запросто лишиться светлого будущего!

— Только и всего?

— А разве этого мало?! — спросил Анатолий Петрович и, не дожидаясь ответа, сказал: — Но вообще, думаю, нам, хоть и атакуемым комарами, будет более приятным в этот вечер поговорить о чём-нибудь другом! А лучше давай я в качестве исключения прочитаю сейчас тебе свои стихи о городе, по одной из улиц которого мы с тобой идём?

— Читай! Я с удовольствием послушаю! — искреннее обрадовалась Мария, не смотря на то, что лихо прихлопнула на шею ещё одного комара.

Анатолий Петрович, в полной мере можно сказать, состоявшийся большой ответственный руководитель, хотя и уже давно пишущий неплохие стихи, но всё ещё оста-

вавшийся безызвестным поэтом, от природы хорошо поставленным голосом чтеца продекламировал:

*Треща зловеще, будто лёд,
всё ходит вверх и вниз:
и столб, где радио орёт,
и цоколь, и карниз.
А крепкий железобетон,
сдавивший грудь земле,
и вовсе в небо вознесён,
как ведьма на метле.
Моя измученная жизнь
летит, как птица стерх,
в палящий зной то вверх, то вниз,
но чаще всё же вверх.
Когда же вьюги налетят
и стужа зазвонит,
недвижно всё, что видит взгляд,
и даже сердце спит...*

— Ну, и что, дорогая, скажешь?

— Суровые, но очень верные стихи! — ответила Мария и с живым интересом спросила: — А когда ты их успел написать?

— Это совсем неважно! Главное заключается в том, что моё отношение к родному городу передано в стихах действительно образно и верно! Так бы ещё суметь в полной мере и жить на этом свете!

— И что же мешает?

Вместо того, чтобы ответить, Анатолий Петрович задал вопрос жены себе: “А действительно — что?!” И сам же на него мысленно попробовал ответить: “Да ровным счётом ничего! Дело в другом! На высокую жизнь, исполненную света и добра, кроме мужества, упорства и силы, нужна в обязательном порядке любовь. Та единственная, которая все перечисленные качества во сто крат увеличивает, от которой душа, как весенняя птица, вдохновенно и залиvisto поёт и, в конце концов, жаждет подвигов во имя её величества любви!..” От этих неожиданных мыслей на Анатолия Петровича, словно откуда-то свыше, сошло озарение, наконец, позволившее ему, как никогда прежде, понять, что он в полной мере исполнился яркой любви к этой молодой красивой женщине, можно сказать, нечаянно повстречавшейся ему. Но любовь его была не полыхающим в душе ветровым костром, а наполняла его величаво и восхитительно, словно равнинная, полноводная река, где с одного берега не видно другого — настолько она широка, и до её дна, сколько упрямо ни ныряй, не достанешь, и как бы долго ни плыл, как Вселенной, ей не будет ни конца, ни края!

Он резко, словно вкопанный, встал, порывисто повернулся к Марии, взял её за хрупкие плечи, притянул к себе так резко, что она невольно запрокинула голову. Глаза её, словно в ожидании самого заветного, в лунном свете таинственно сверкали, выражая покорность и нежность; и он, не отводя от них горящего взгляда, почти прокричал: “Я тебя люблю! Понимаешь, нет ли, но люблю!..” И, не дожидаясь ответа, которого в эту минуту и не надо было, настолько он был поглощён вдруг охватившим его душу огромным чувством любви, тотчас, как пушинку, взял на свои крепкие руки Марию и закружил, закружил, словно нежданно налетевший солнечный вихрь, при этом ещё и готовый нести и нести свой небесный дар, как ему тогда казалось, бесконечно!.. Но запыхавшись, словно от бега в гору, наконец, не без сожаления опустил своё сокровище на землю, вновь заглянул в такие милые, такие дорогие глаза и от сильного волнения почему-то вдруг севшим голосом снова произнёс, как самое дорогое заклинание: “Нет, родная, ты понимаешь, как же я тебя люблю! И только тебя!”

И теперь ему действительно страшно захотелось спросить её, а разделяет ли она его самое великое чувство на свете? Но вдруг совсем без огорчения здраво подумал: “А зачем? Ведь если бы она была готова к признанию, то сама, прямо сейчас вдохновенно сказала бы мне об этом. А раз молчит, значит, её душа ещё не созрела для самых заветных слов... Что ж — подожду! Буду верить, что, как капля за каплей камень точит, так и моя любовь своим ярким горением однажды запалит и душу жены, чтобы она, как костёр на внешнем ветру, неумоимо горела!..”

Дверь открыла Наталья в лёгком домашнем халатике, перехваченном в талии тонким пояском, с каштановыми волосами, волнами спадавшими на округлые, слегка полноватые плечи. Увидев брата, она радостно, как белая лебедь крыльями, всплеснула гибкими руками:

— Наконец-то!.. Самолёт уже два часа назад приземлился, а тебя, извините, вас, — посмотрев на незнакомую ей молодую женщину, поправилась она, — всё нет и нет! Мы уже хотели в милицию звонить!

— А я уже, ожидая, и вздремнул! — с добродушной улыбкой произнёс басом Виктор, заслонивший своей огромной фигурой весь дверной проём гостиной. — Анатолий, а кто эта красавица, пришедшая с тобой?

— Красавица — это точно! Но кроме этого — знакомьтесь! — она моя жена! Звать её Мария! Ну, что вы, зять и сестра, рты от удивления раскрыли? Повторяю, для большей убедительности: да, моя законная супруга! Прошу её любить и жаловать больше, чем меня!

Первой опомнилась Наталья:

— Дорогие гости, а что, вы так у порога и будете стоять? Давайте поскорей снимайте обувь, надевайте домашние, между прочим, мной лично вязанные шерстяные тапочки и, помыв руки в ванной, проходите на кухню! А я пока ещё раз в микроволновке разогрею ужин!

Приведя себя в порядок, молодожёны сели за стол, полный всевозможных закусок, над которыми, поблёскивая в электрическом свете потолочной лампы стеклянными боками, возвышались две открытые бутылки: одна — с водкой, другая — с красным сухим грузинским вином. Виктор, предвкушая близкую выпивку, заразительно потёр ладони и, налив себе в стопку любимого напитка, сказал:

— А ты, Анатолий, поухаживай за дорогими женщинами! Хоть моя дражайшая супруга ни вино, ни водку не любит, но, надеюсь, за приезд брата с женой хоть глоток вина выпьет с удовольствием!

— А что? Выпью! Только не вина!..

И, встав из-за стола, достала из холодильника пузатую бутылку “Советского шампанского”, передала брату, чтобы он осторожно открыл её, а сама поставила на стол два хрустальных, в ламповом свете весело переливавшихся узорчатыми тонкими гранями фужера:

— Что вы, Наталья, никакого другого алкоголя я и не пью!

— Вот и отлично!

— А я, как всегда, — сказал Анатолий Петрович, — останусь верен сухому вину! Так за что, мои дорогие родственники, выпьем?!

— “И снова нальём!” — не без радости произнёс Виктор.

— Может быть! Но всё-таки?..

— Тут и думать нечего! — тотчас произнесла Наталья. — Конечно, за тебя, мой дорогой брат, и за твою красавицу-жену!

— Согласен, ох, и как же я согласен, с тобой, моя любимая сестра! Но пьем, как всегда: мужчины — стоя, женщины — до дна! Шучу, конечно! Но, как говорится, в каждой шутке доля правды есть!..

— Подождите, подождите! — скороговоркой сказал Виктор. — Я вот на полном серьёзе кричу: “Горько! Горько! Горько!..”

— Мой супруг совершенно прав! — поддержала мужа Наталья, — я тоже прошу, нет, требую: “Горько! Горько! Горько!”

Анатолию Петровичу с засмущавшейся Марией ничего не оставалось, как, сделав несколько глотков из бокалов, встать и под дружное хлопанье ладоней родных, как у друга юности Иннокентия в вечер, посвящённый бракосочетанию молодых, соединиться в длительное, сладко-нежным поцелуе, от которого головы невольно слегка, как от хорошего сухого вина, закружились. Вернувшись к закуске, они, изрядно проголодавшиеся, быстро доели её, а когда Наталья на второе подала плов, то и его принялись поесть с таким удовольствием, что Виктор, снова налив в рюмку водки, напористо, как на рабочем собрании, запротестовал:

— Подождите! Подождите! Плов, тем более что, гарантирую — вкусно приготовленный, — никуда не денется, а вот желание выпить может запросто пропасть! А у меня, кроме произнесенного тоста, ещё и вопрос к дорогим гостям имеется, который почему-то не был задан ещё до ужина!

— Дорогой муженек, это у тебя-то пропадёт интерес к алкоголю?! Ну, и сказал — курам на смех! — не дала договорить мужу Наталья.

— Сестра, подожди, не перебивай мужа! Пусть Виктор удовлетворит свой живой интерес! — быстро сказал Анатолий Петрович и весело, с душой, по которой волнами расхлосилось тепло, продолжил: — Спрашивай, зять! Мы с Марией — одно сплошное внимание!

— Во! Я всегда считал, что мужская солидарность незыблема!.. А вопрос у меня, друзья, самый простой: в нашу разлюбленную столицу с какой такой важной целью вы приехали?

— Мария, — за себя и за жену ответил Анатолий Петрович, — проведать своих друзей в республиканском объединении “Сельхозхимия”, где она, учась в сельскохозяйственном институте, каждое лето проходила предсессионную практику, можно сказать, в каких-то нескольких шагах от вашей дачи — на опытных участках в Кильдямцах, то есть, Наталья, на родине нашего с тобой отца Петра Борисовича! А я прилетел на утверждение в обкоме партии на должность директора совхоза “Ньюский”. Вот так — не больше не меньше, мои дорогие!

— Я как в воду глядел, словно предчувствовал, что для второго госта очень уж серьёзная причина объявится! — воскликнул Виктор и, вдруг на несколько секунд замолчав, посмотрел пытливым, как-то сразу посерьёзневшим взглядом на Анатолия Петровича и произнёс:

— Если я не ошибаюсь, то за последние три года ты уже в третий раз получаешь всё более ответственные должности! Ничего не скажешь, молодец! Поэтому, дорогие женщины, второй тост — за моего дорогого зятя!

И тотчас, вскинув голову, приняв на грудь очередные пятьдесят граммов водки, вкусно закусил квашеной капустой, выдохнув:

— Ух! Как же хорошо пошла и в этот раз, проклятая!..

— Брат! — произнесла Наталья. — Отец всегда самые большие надежды из всех своих детей возлагал на тебя! Представляю, как же он обрадуется твоим успехам! Я тоже от всей души поздравляю тебя с новой, более высокой должностью. Но извини, этот тост поддержку смородиновым соком!

Тожe соком поддержала её и Мария, трогательно улыбнувшись своей белоснежной милой улыбкой, излучая глазами жизнерадостный свет.

— Спасибо, родные, за искреннее поздравление, за душевные, тёплые слова, — то ли с грустью, то ли с каким-то непонятым сожалением сказал Анатолий Петрович. — Но я должен признаться, что никакой особой радости не испытываю, а вот громадную ответственность, навалившуюся на меня тяжелой гранитной плитой, ощущаю в полной мере! Это, скорей всего, потому, что я ещё всё-таки до конца не уверен в своих силах! Нет, их у меня — хоть отбавляй! А вот практического опыта, что ни говори, всё же маловато! Приходится буквально на ходу, руководя огромным коллективом, постигать высокую математику управления... При таких обстоятельствах единственное, что позволило мне всё же согласиться стать директором, честно говоря, так это благодарность нашему с тобой, Наталья, отцу, при котором центральное отделение совхоза, которое он целых пятнадцать лет успешно возглавлял, процветало, а теперь всё хозяйство, словно загнанная бешеной скачкой лошадь, никак отдышаться не может... Я просто обязан сделать всё для его победного возрождения! Ну и, конечно, ещё раз на излом проверить свою волю, свой мозг, как бы они до сих пор мне верно ни служили! Хотя, признаюсь, что мне порой всё больше и больше кажется, что в этот суетный, пёстрый и скандальный, но всё равно прекрасный мир я пришёл для чего-то ну, совершенно другого, пусть не столь карьерного, но намного богаче, намного возвышенной и духовней! Ну, хотя бы затем, чтобы сгорать дотла в бессмертном огне любви ко всему доброму на этом свете,

— И я, брат, с тобой полностью согласна! — сказала Наталья. — Ты по знаку зодиака Рыба, значит, твоя стихия — творчество! Не зря же тебе было дано свыше сначала валять, а потом и писать стихи! Мы всей семьёй радовались каждому твоему творческому успеху! Тем не менее, ты окончательно забросил первое, разлучился аж на целых десять лет и с поэзией, правда, в пользу публицистики, но, по моему мнению, это шаг в сторону, а не вперёд! А жизнь, к великому сожалению, на месте не стоит — и хорошо, что это так! — оглянуться не успеем, как она пролетит стремительной птицей, но ты, кому от природы дано больше, чем кому-то другому, как бы, в конце концов, не остался у разбитого корыта! Вот обидно-то будет, да так, что и высказать тяжело, насколько!

— Наталья, что ты такое говоришь! — резко перебил жену Виктор. — Мой дорогой зять уже столько в этой жизни сделал, несмотря на молодость, что мне и не снилось, хотя я его старше на целых десять лет! Ну, не стал он по своей воле скульптором и поэтом, значит, тому были серьёзные причины — это во-первых! А во-вторых, если человек талантлив, то во всём! И на новом посту директора, уверен, он оставит заметный след в жизни района. Не удивлюсь, если местная власть Нью построенную им

лицу когда-нибудь назовёт его именем. И народ возрождённые поля будет называть не иначе, как Ивановскими!

— Виктор, ты, когда я говорила, — перебила мужа Наталья, — где был? В каких облачных небесах витал, словно беззаботная птица?

— Ты это о чём?

— О том, что я в своих суждениях касалась творчества, а не совхозного или какого другого производства! И вообще, вы с моим любимым братом дальше вдвоём поговорите, а мы с Марией уединимся для своих, сугубо женских разговоров!

Едва мужчины остались одни, Анатолий Петрович как бы в поддержку Виктора, выпившего третью стопку, не закусывая, освежил бокал вином и для продолжения разговора спросил:

— Слушай, твоё мнение по отношению к рабочим не поменялось?

— Пожалуй, нет! Разве что стало менее категоричным!

— Интересно, почему?

— Посуди трезво сам: когда мои подчинённые — механизаторы, это экскаваторщики, бульдозеристы, асфальтоукладчики и водители самосвалов — работают в поле, то есть непосредственно на строительстве и ремонте городских дорог, в песчаном и галечном карьерах, то я на них не нарадуюсь: план ежемесячно перевыполняют на сто двадцать, сто тридцать процентов! Но стоит технике из-за серьёзной поломки надолго выйти из строя, так они в гаражной курилке часами то в домино козла забивают, то в карты играют, а то и вовсе на троих соображают!.. В общем, хоть увольный за грубое нарушение производственной дисциплины! Да жалко — ведь почти у всех семьи!.. Да немалые!

— А тут, Виктор, судить нечего! — сказал Анатолий Петрович, — ибо причина их, как тебе кажется, наплевательского отношения к ремонту заключается в том, что ваш заведующий мастерскими просто занимает не своё место, поскольку не может обеспечить твоих подчинённых исполнением в срок токарных, сварочных, кузнечных и других работ! Не случайно же ты, работая бульдозеристом, за этим столом разносил в пух и прах своё начальство — механиков, главного инженера! А теперь, став одним из них, вместо того чтобы с пеной у рта отстаивать интересы своих бывших коллег-работяг, ты поёшь с чужого голоса! И если бы на ремонте платили больше, чем, как ты выразился, в поле, то я с тобой согласился бы, а поскольку всё наоборот, то, извини, ну, никак не могу! Что тобой движет? Животный страх из механиков снова в одночасье по воле начальства оказаться в простых бульдозеристах?

— Даже точно и не знаю! — несколько удручённо ответил Виктор. — Но, во всяком случае, не боязнь чёрной работы до десятого пота и сжигающей гортань жажды, тем более, что сейчас я получаю с учётом всех премиальных — ежемесячных, квартальных и годовых — намного меньше, чем прежде, когда в карьере рычагами двигал!..

— Вот мы и пришли с тобой в разговоре к главному вопросу сегодняшних дней, к сожалению, пока только на кухнях обсуждаемой проблемы, образовавшейся в государственном устройстве и развитии. Но рано или поздно, как бы её, словно джинна в бутылке ни удерживала, скажу так, властная пробка, она непременно перенесётся в трудовые коллективы, а оттуда — и на улицы!

— А в чем по-твоему, Анатолий, заключается сегодня этот тяжёлый период?.. — выпив ещё одну стопку водки, спросил с заметно посоловевшими глазами, но все ещё твёрдым голосом Виктор.

— В первую очередь, в том, что в нашем обществе так и не построенного социализма, — заметь, о коммунизме я вообще даже не смею говорить, — в сфере оплаты труда всё поставлено с ног на голову. Ну, разве можно считать нормальным, что, к примеру, учёный, от вклада которого сначала в современную науку, а потом и в производство его новейших конструктивных решений и передовых технологий может значительно увеличиться жизненный уровень миллионов человек, получает в два раза меньше, чем городской таксист, к тому же потративший на получение своей профессии значительно меньше времени и усилий? Нет! Вот они, эти научные светила, при удобном случае, каким в основном у нас является заграничная туристическая поездка, и просят якобы политического убежища в капиталистической стране, а на самом деле они просто хотят, во-первых, иметь необходимые условия для претворения в жизнь своих передовых идей, изобретений, во-вторых — получать по праву, в соответствии с вкладом умственного труда заработную плату, чтобы — заметь! — лишь содержать в достатке семью и дать своим детям прекрасное образование, а вместе с ним и гарантированное обеспечение светлого будущего! Хотя до упаду всей страной, к примеру, греби и греби до полного изнеможения совковой лопатой, но без высоких технологий немислимо успешное развитие таких отраслей, как медицина, машиностроение, электроника, та же

культура, пусть в меньшей степени, но — тоже. Вот мы и топчемся на месте, словно в ступе воду толчём.

— Да, Анатолий, слушаю тебя и радуюсь, что на дворе не тридцать седьмой год, что, надеюсь, нас никто из работников КГБ не подслушивает, а иначе тебе бы не только директорства, как своих ушей, не видать, но ещё и из партии в три шеи в один миг выгнали бы!

— Не сомневаюсь! Причём ничуть! Но поверь мне, что и там, наверху, власть пре-держажие уже не могут не понимать, что экономика нашей страны находится в самом что ни на есть тупике, что необходимо её в срочном порядке перестраивать! И уже давно начали бы это делать, да всё никак не могут избавиться от коммунистических, ничего общего с природой человека не имеющих, страх как губительных догм! Один дурацкий лозунг: “От каждого по способности — каждому по потребности!” чего, твою мать, стоит, ибо призывает ленивых от природы людей стать самыми настоящими захребетниками трудолюбивых!

— Анатолий, ты говоришь о перестройке! И получается, что, к примеру, я, честно работающий, отдающий родному предприятию все силы практические знания, здоровье, наконец, топчусь на месте! Или как?

— А так, что твой труд, как, впрочем, и мой, обезличен и не имеет верных ориентиров! А главное, мы наёмные работники, которые лишены чувства хозяина. А без него невозможно раскрыть в полной мере своих природных способностей! Хотя, уверен, на генном уровне оно ещё живёт, как бы его все советские годы в нас ни пытались умертвить, чтобы можно было нами легко управлять, бросать, как мечтал полусумасшедший людоед Троцкий, с одной великой стройки на другую, в общем-то платя грошовую зарплату, позволяющую лишь с голоду концы не отдать да мало-мало одеваться. Поэтому, в первую очередь, не нам с тобой, работающим на совесть, надо перестраиваться, а руководству государства родного исполнить обещание первых, главных революционных вожаков, к примеру, того же Ленина лозунги-призывы “Вся власть Советам!”, “Заводы и фабрики — рабочим!”, “Земля — крестьянам!” как можно скорей претворить в жизнь! Ведь если не сделать этого, то из тупика, в который мы вместе со всей страной попали, не сможем выбраться. А это значит, что никаких перспектив даже в самом отдалённом будущем у нашего многострадального народа нет и — вот что разрывает сердце! — не будет...

— Ты говоришь такие заумно смелые вещи, что, не выпив, я понять их своим вроде неслабым умом ну никак не могу! — заметил Виктор.

И ещё одну стопку водки махом опрокинул в рот, немного скривил лицо, но почему-то ничем закусывать не стал, а лишь глубоко вдохнул запах чёрного хлеба, нарезанного аккуратными ломтями, и вновь устремил на шурина вопросительный, заметно посоловеший взгляд. Как Анатолию Петровичу ни хотелось скорей закончить слишком затянувшийся разговор, он не мог сделать этого, не высказав затаившейся где-то в самой глубине его разума, выношенной давным-давно мысли:

— Вот ты, Виктор, про КГБ говорил!.. А я тебе расскажу, какими же крамольными мечтами мы с моим отцом, между прочим, сыном самого настоящего по-сталински кулака, а по-человечески — рачительного хозяйственника-крестьянина жили, когда я, окончив школу, пошёл работать подменным скотником на совхозную ферму. Так вот, бывало лежим мы с ним вдвоём, закинув руки за головы, на раскладном диване, слушаем транслирующийся по радио эстрадный концерт с участием наших любимых артистов: моего — Муслима Магомаева, отцовского — Иосифа Кобзона, и потихонечку говорим, что как было бы хорошо вернуть времена стольпинских реформ, когда каждому крестьянину, пожелавшему осваивать дикие сибирские земли, выделяли земельной надел, выдавали для закупки семян и техники льготный кредит — и будь здоров! — с душой да с песней от зари до зари возделывай суровую землицу, выращивай, что рынку угодно, и будь счастлив! Причём многократно!.. Ведь над тобой в виде строгого надсмотрщика никого, кроме твоей совести, нет! Не то, что сейчас! Всяк вышестоящий чиновник, хоть инструктор райкома, хоть представитель народного контроля, хоть следователь прокуратуры — всех не перечесть! — только и смотрят, как бы совхозные директора по команде, спущенной из министерства или обкома партии, точно в срок и неуклонно шли, как лошади на весенней вспашке, строго одной бороздой, по которой ещё хаживали наши деды, нет, прадеды!

— Обидно?! — спросил Виктор, замолчавшего шурина.

— Противно! Но главное — бесперспективно!

— В таком случае, как же ты совхозом руководить будешь?

— Есть такая поговорка: “Капля камень точит!..” Вот я и возьмусь за самое пер-востепенное, без чего не может быть поднята сполна производительность труда, —

за пробуждение у своих рабочих, к счастью, всё ещё окончательно не убитого, а только заснувшего в подкормке сознания чувства хозяйина той земли, на которой он работает!

— А разве такое в наше время возможно?

— Возможно! Конечно, не с таким большим размахом, как страстно хочется, но повторяю — возможно! И совсем, как некоторые наши соотечественники, из-за своей экономической, да и политической близорукости разуверившиеся в крестьянском светлом будущем думают, не на пустом месте, а через те же небольшие сельскохозяйственные кооперативы, которые наконец-то, пусть через пень-колоду, но стали появляться и у нас в районе! Вот только, чувствую, много чего придётся пересилить, а может, просто, стиснув зубы, переждать. Не может быть, чтобы наверху, в Кремле, в конце концов, окончательно не поняли всю необходимость не только жить по-человечески, но хозяйствовать на земле!

Тут в кухню вошла Наталья:

— Мужчины! Время позднее, пора на отдых! Анатолий, я вам с Марией постелила на диване в гостиной! Спокойной ночи!

— Приятных снов! — ответно тепло пожелал любимой сестре Анатолий Петрович и Виктора, заметно охмелевшего, спросил:

— Ты завтра после обеда не сможешь меня с женой свозить в Кильдямцы — что-то больно тянет побывать в родовых местах?

— О чём речь! Хоть с самого утра!

— Вот и хорошо! А сейчас, действительно, пора укладываться!

— И что же мы с тобой, дорогой родственничек, на сон грядущий, да после такого душевного разговора и не выпьем? — уже почти пьяно, с трудом ворочая заплетавшимся языком, спросил Виктор.

— Хозяин — барин! А я — пас!.. Пока!

Двухстворчатые двери были плотно закрыты. Анатолий Петрович осторожно открыл их и, войдя в гостиную, затворил за собой. С минуту постоял, позволяя глазам привыкнуть к темноте. И, когда это случилось, то увидел, что она, показавшаяся ему сначала густой, на самом деле была как бы светоносной из-за небесных, лунных лучей, широкими волнами лившихся сквозь оконную прозрачную тюль. Стараясь сильно не шуметь, он лёг под одеяло, сразу ощутив всем телом нежное тепло, исходившего от пахнувшего резедой и мятой упругого тела жены. По её неровному дыханию понял, что она ещё не заснула, и тихо спросил:

— А ты почему ещё не спишь?

— Да что-то от стольких треволнений прошедшего дня всё никак не могу душой до конца отойти! В глазах постоянно мелькают то незнакомые лица, то мчащиеся машины, то уличные фонари!

— А если честно, как на духу?!

— Как на духу, говоришь? Ну, конечно, жду тебя!..

Анатолий Петрович, опершись на локоть, приподнялся так, что сверху вниз посмотрел на казавшееся в лунном свете матовым красивое лицо Марии. Глаза её жарко блестели, сочные губы были чувственно приоткрыты, на чистом лбу лежала нежная прядь духмяных волос. Он лёгким движением ладони отвёл её в сторону, коснулся горячей щеки, и по его телу вихрем пронёсся сладостный огонь глубокой нежности, быстро переходящий в сладостное желание близости. Сердце, словно объётое пламенем, часто-часто забило, в висках заухала наполненная страстью молодая кровь, перехваченное дыхание стало порывистым, жарким... И он, лишь горячо прошептал: “Как же я тебя люблю!..” — в каком-то полубоморочном состоянии осознал, что оба огромных мира — земли и неба — сузились до таких пленительных, таких удивительно милых губ жены, и ему нестерпимо захотелось с головой зарыться в жаркий сугроб её натянувшегося до стонущего звона ядрёного, молодого тела.

Вселенная постепенно стала расширяться до своих привычных границ... Анатолий Петрович, немного досадуя, что Мария продолжала сохранять молчание, за исключением того момента, когда в страсти на его вопрос: “Тебе хорошо, милая?” — она ответила с придыханием: “Очень!..” Откинувшись на спину, взял жену за руку, слегка сжал её и, усмиряя частое дыхание, взволнованно, с глубокой проникновенностью проговорил:

— Знаешь, чем я больше думаю о нашей встрече, тем сильнее верю, что она послана нам свыше. Но каждый из нас к ней шёл своим путём, на котором было всё: и радость, и горечь, и смех, и слёзы, и, конечно, глубокие разочарования, — и вынес из всего этого своё отношение к жизни. Лично я понял, что без любви — неважно, ответной или безответной — человек постепенно превращается в бесчувственное животное... Поэтому до встречи с тобой, сколько бы раз я ни ошибался в выборе своей половинки

сердца, как бы в кровь ни терзал душу обидой на самого себя, что в очередной раз чувственный розовый мираж принял за единственную любовь, я упрямо искал свою женщину. Вспоминать об этом нестерпимо тяжело, да и стыдно. Но вот появилась ты, которая в моё сердце ворвалась не весенним ветром, не морской волной, как бывало прежде, а вплыла солнечным облаком, затопив все уголки моей души, проникнув в самые сокровенные её места, и я понял: ты — моя судьба! И поскольку понимание этого пришло не в чувственной горячке, не в пылкой одноразовой, как спичечный огонь, страсти, а с чётким осознанием всего своего земного предназначения, то я уже, как мне всё больше и больше кажется, никакую другую женщину не смогу полюбить. Несмотря на это, ты в своём окончательном выборе женщины свободна, словно птица, летающая высоко в небе. Поверь, брачный штамп в паспорте для меня, в общем-то, ничего не значит. Одни считают, что браки свершаются на небесах, другие — что в храмах, третьи — в загсах — и все по-своему правы! Но прежде всего, необходимость брака должна, как получилось у меня, созреть в душе! А о твоей свободе я сказал потому, что считаю: если что-то и спасёт мир, то это будет не красота, не любовь, а именно возможность каждого человека чувствовать себя до конца своих жизненных дней вольным в своих чувствах и поступках. Но без чёткого понимания, что брак — это великий праздник, мужественно сотворённый руками двоих любящих друг друга человека, в семье никогда не будет царить солнечный лад и покой. Никогда!

Мария слушала мужа, не перебивая. Она, младше его на целых десять лет, конечно, многое из того, что он говорил, до конца не понимала, но по уверенной речи, когда каждое слово ложится в строку, как кирпич в кладку стены, не могла не проникнуться чувством уверенности в завтрашнем дне. Её чуткая душа наполнилась таким глубоким умиротворением, что она прижалась к мужу так жарко, что их сердца, может быть, в первый раз забились, как одно...

27

Когда Анатолий Петрович, проснувшись, встал, то Виктор уже уехал на работу. Наталья, собрав дочку Анжелику, повела её в детский садик, оставив на кухонном столе записку, в которой просила брата дожидаться её. Мария тоже успела не только принять душ, но и позавтракать. Но и она, поцеловав мужа и пообещав к обеду вернуться, отправилась в управление республиканской «Сельхозхимии» проведать своего старого друга — пожилого начальника отдела кадров, к которому совсем не случайно питала дочерние благодарные чувства. У Анатолия Петровича до заседания бюро обкома была ещё уйма времени, поэтому он не спеша подкрепился вторым, разогрев его в микроволновке, и только стал пить чай, как вернулась Наталья. Не переодеваясь, прошла на кухню, бодро поздоровалась с братом и, сев напротив него, заговорила:

— Анатолий, я специально решила задержаться, чтобы поговорить с тобой, как прежде, по душам, — ведь другого времени у нас для этого не будет: после обеда ты уедешь в Кильдямцы, а завтра утром улетишь домой, в свой совхоз, где за суматошной работой всё позабудешь!..

— Хорошо! Давай, как прежде, по душам поговорим о самом сокровенном! Я очень рад, что в наших отношениях сохраняется глубокая доверительность и тёплое участие... Только спрошу сразу: ты удивлена моей женитьбой?

— Представь себе, нет!

— Это почему же?

— Потому что слишком хорошо тебя знаю! Ты, как почти все мужчины, чем самостоятельней на людях, в работе, тем больше нуждаешься в домашнем уюте, женском тепле. Но скажи мне, что тебя так неожиданно подвигло взять в жены именно Марию?

— Месяц назад сказал бы, ничуть не кривя душой, что только производственная необходимость! Да-да! Именно она самая! И не смотри на меня такими недоуменными глазами, ведь сама же, извини, вышла замуж не по любви! А мне Мария хотя бы нравилась!

— Да, вышла не за того, кому безвозвратно отдала сердце, и живу! А у тебя это ведь второй брак! Впрочем, я тебя не дослушала!

— Вот-вот! В настоящее время, когда, наконец, я сам разобрался в своей поспешной женитьбе и характере Марии, могу твёрдо заявить: она именно та женщина, которую я столько лет искал!

— Допустим, я за тебя очень рада! Но как ты собираешься противостоять природе, верней, небесным, звёздным силам?

— Ты это о чём, дорогая сестра?!

— О том, что вы с Марией по знакам зодиака совершенно не подходите друг другу!

Если ты — камень, то она — железо! А что бывает, когда одно находит на другое, сам знаешь!

— Знаю: треск с искрами, а верней, самая настоящая ссора!

— Так на что же ты надеешься? На чудо? Но если это именно так, то мне, поверь, совсем не смешно, а обидно за тебя!

— Ну, во-первых, чудес не бывает, значит, верить в них — быть дураком! А этого обо мне, надеюсь, ты не скажешь! Во-вторых, рано или поздно звёзды, какими бы они ни были разными по величине и по энергии тепла и света, сходятся... перекрывают одна другую. Но я в надежде на семейное счастье уповаю на разум и свою любовь к Марии!

— А она-то тебя любит?

— Не знаю! И, может, не узнаю никогда! Но будь я ей безразличен, она не приняла бы мою руку и сердце! Или я ошибаюсь?

— Скорей всего, нет! Но мой дорогой, горячо любимый брат, выражение: “Блажен, кто верует!..” — точно, как ни к кому другому, относится к тебе! Но помни: ты вновь пошёл по пути наибольшего сопротивления, то есть усталому совсем не розами, а ветками шиповника. И будут ли розы — только время покажет!

— Вот на этом, дорогая сестра, давай, по крайней мере, сегодня и закончим наш разговор! — сказал Анатолий Петрович и, посмотрев на часы, продолжил: — Да и пора уже выезжать на заседание бюро!

Наталья словно не услышала брата. Она надеялась если не вернуть его с тех солнечно сияющих высот любви, куда он со всей силой своей страстной души вознёсся и теперь там блаженно парит, как молодой орёл, впервые поднявшийся на прежде недостижимую высоту, то хотя бы открыть ему, что совместная жизнь с избранной женщиной — это, прежде всего, уверенность в том, что в горький час испытаний ему есть на кого опереться, кому излить до конца душу... И она взволнованно сказала:

— Извини, но давай поговорим ещё, ведь другой случай у нас с тобой вряд ли скоро представится!.. — и, не услышав возражений, уже спокойней продолжила: — Так вот, когда ты ушёл от Зинаиды, я, честно говоря, сильно расстроилась, конечно, в первую очередь, за тебя, но и за неё мне тоже было обидно! Ведь вы с ней вместе прожили больше десяти лет, она родила тебе прекрасного сына, которого ты, как сам не раз говорил, очень любишь! Понимаешь, твоя первая жена, как и я, относится к той категории женщин, которым небесами дано любить только раз — жертвенно, преданно и до конца!.. А вот, извини, Мария совсем другого душевного склада. Может быть, она тебя никогда и ни в чём не предаст, но, поверь мне, и в полной мере не разделит ни твоих радостей, ни твоих горестей, какими бы сильными они ни были, а если всё же будет это делать, то наедине с собой... Но своими бесконечными проблемами по полной нагрузит тебя так, что мало не покажется! Скажу больше: твои успехи, в лучшем случае, ею будут как бы игнорироваться, а в худшем — восприниматься чуть ли не враждебно! Да-да! Именно так! Ибо, видя их, она невольно, в силу своего эгоизма, проникнется сожалением, что, попадись ей другой мужчина, духом слабее, чем ты, и, глядишь, она бы в полную силу проявила свои лучшие душевные качества. Не была бы твоей слабой, едва заметной тенью, а сама лучезарно сверкала в глазах людей!.. Таким образом, сделав выбор жениться на ней, ты сам, по своей воле, обрекаешь себя на непонимание и вечное одиночество. Может быть, для творческой натуры это бесспорно является одним из условий высоких достижений, неважно — в поэзии или в прозе. Но находиться постоянно в психологическом напряжении, что тебя с трудом слушают, но совершенно не слышат, а вернее, слышать не хотят, — поверь мне, на это никакой воли, никаких сил не хватит!

Тут Наталья внезапно замолчала, с раздирающей её сердце острой болью глубоко, словно в бездну, посмотрела брату в голубые глаза и, с горячностью взяв его руку, с силой сжала её, как бы стараясь помочь родному человеку, и только потом вновь заговорила:

— И тогда жизнь для тебя обернётся самым настоящим земным адом, выдержать, с честью пережить который на этом свете дано не многим! Брат, я очень переживаю за тебя, очень! И прости, если вдруг не то говорю!

И последнее: ты за многие годы никак не мог или просто из-за обиды, которая, наверно, до сих пор сидит и саднит в твоём сердце, не захотел простить Зинаиду якобы из-за обмана в отношении её беременности, и в какой-то мере ты был прав. Но пойми, она пошла на эту исключительно вынужденную меру во имя защиты, нет, спасения своей огромной любви к тебе. Будь я на её месте, то, возможно, поступила бы если не точно так, то всё равно совершила бы какой-нибудь отчаянный шаг! Единственное, что действительно можно было бы всерьёз поставить ей в некоторую вину, так это то, что она, скорей всего, из-за неумения или нежелания хоть как-то предвидеть

своё будущее, одновременно с тобой не стала упрямо расти духовно да и профессионально тоже, и в итоге между вами окончательно образовалась глубокая пропасть, которую, увы, не перепрыгнуть, не перелететь... Но ведь то же самое, если не хуже, может запросто случиться и с Марией, хотя бы потому, что она со своим природным самолюбием и невыносимой самовлюбленностью вряд ли будет, преодолевая себя, вместе с тобой хватать звёзды с высоких жизненных небес. А вот пользоваться теми благами, которые ты заработаешь своим талантом, заплатишь за них потом, а может, и кровью, она никоим образом не сочтёт для себя зазорным! Ты ведь в работе и в творчестве так целеустремлён, что порой совсем забываешь о себе. Помню, ходил в одном и том же пальто аж десять зим подряд и делал бы это ещё неизвестно сколько, если бы мы с матерью тебя всерьёз не пристыдили бы и не заставили купить новое.

Анатолий Петрович беспокожно посмотрел на часы и, посчитав, что сестра если не всё, то самое главное для себя сказала, с вежливой улыбкой, как бы глубоко извиняясь, перебил её:

— Ты так уверенно, настолько рельефно, такими, как сказал бы художник, пастозными, сильными мазками охарактеризовала Марию, словно самая настоящая ясновидящая, увидела её душу насквозь! И я не буду с тобой спорить, переубеждать тебя. Поздно... Да и надежда, сама знаешь, умирает последней! А поскольку я свой выбор сознательно сделал, то мне теперь остаётся только уповать на лучшее... И прости, сестра, но, кажется, что ты всё-таки глубоко заблуждаешься!..

— Считай, как хочешь, — не маленький! Только ведь любому известно, что женское сердце редко когда ошибается... И не забывай о моём природном даре — уметь читать будущее по звёздам!

Поняв, что сестра обиделась, Анатолий Петрович, чтобы хоть как-то снять возникшее между ними напряжение, спросил:

— Неужели я настолько не слезу за собой, что мне, здоровенному мужику, и правда в некотором роде нянька нужна?

— Нужна! И, знай, не в некотором, а в полном смысле этого слова, как, впрочем, всем настоящим мужчинам. Только, к сожалению, далеко не каждая женщина, даже горячо любящая, в полной мере понимает это.

— Вот оно как оказывается... Может, ты и права... Но извини, дорогая сестра, мне все же надо бежать, иначе, слушая тебя, я не только без новой жены останусь, но ещё и без директорской должности! Шучу, шучу... Но за твою тёплую заботу обо мне без шуток спасибо!

И Анатолий Петрович прочувствованно обнял на прощание дорогого и, может, самого близкого ему человека. Но одевшись и уже взявшись за дверную ручку, обернулся и, посмотрев в глаза сестре, стоявшей в коридоре со сведенными крест-накрест руками, многозначительно спросил:

— Наталья, а ты можешь по знакам зодиака как можно вернее просчитать, когда наши с Марией звёзды сойдутся?

— Могут! А зачем тебе это надо?

— Затем, чтобы знать, на сколько же лет мне надо запастись стойким терпением, помноженным на сильную волю, — только и всего!

— Хорошо, я выполню твою просьбу! Но ты также должен чётко понимать, что поскольку звёзды находятся в постоянном движении, то им свойственно не только сходиться, но и расходиться!

— Пусть будет так! Но знаешь, даже скоротечное счастье, в котором два любящих сердца бьются, как одно, стоит многих лет страданий! В этой жизни, что ни говори, лучше трепетно прогореть душой, как костёр на внешнем ветру, чем тлеть и тлеть, словно головешка!

И Анатолий Петрович вышел из квартиры. Улица встретила его дворовым шумом: звонкими голосами играющих в песочнице детей, металлическим урчанием чёрной “Волги”, подбехавшей к соседнему подъезду, сварливым карканьем ворон, возившихся в мусорном железном ящике, наполненном доверху бытовыми отходами. Он обратил пылливый взгляд в небо и вынужденно сощурил глаза — настолько мощно, так ярко польхало в пронзительно синей вышине восторженно вкатывавшееся вверх по небесному склону оранжево-золотое, в малиновом ореоле неисчислимых лучей, победоносное солнце. Тотчас удовлетворённо, с чистой радостью подумалось: “А денёк-то выдался, словно по заказу — красота!..” И на душе стало так легко и свободно, что даже воздух, довольно ощутимо пахнувший бензиновой гарью, вдыхался полной, словно распахнутой навстречу быстротекущей жизни грудью.

Обком партии находился в монументальном, отделанном коричневым мрамором, с объёмными колоннами, подпиравшими массивный карниз, четырёхэтажном здании,

стоящем на площади Ленина с огромным гранитным памятником вождю всемирного пролетариата в самом центре. Поднявшись по широкой лестнице с частыми ступенями, со сплошными перилами, облицованными дорогой плиткой, на высокое крыльцо, Анатолий Петрович прошёл через двойные двери и был вежливо остановлен молодым милиционером в новенькой форме с лейтенантскими погонами, аккуратно коротко подстриженным ровным ежиком, с твёрдым взглядом узких якутских глаз, который вежливо попросил предъявить паспорт. Не спеша, внимательно сверив его данные с данными, занесёнными в дежурный журнал, отдал молодежато честь:

— Проходите, пожалуйста!

— А не скажете, в каком зале проходят заседания бюро? — не совсем уверенно спросил дежурного офицера Анатолий Петрович.

И тотчас от него услышал:

— В десятом! На четвёртом этаже!

— Спасибо!

Утверждение действительно прошло чисто формально. Один из членов бюро лишь кратко представил Анатолия Петровича и спросил своих посевших, умудрённых большим опытом партийной работы коллег, есть ли у них к нему вопросы. Но поскольку они почему-то промолчали, то председательствующий на заседании бюро первый секретарь обкома партии тотчас предложил утвердить молодого руководителя в должности директора совхоза, что и было сделано почти одновременным поднятием не менее двадцати рук. Анатолий Петрович понимал, что надо обязательно сказать ответное слово, но то ли от волнения, то ли от неожиданно быстрого решения своей производственной судьбы, чувствуя, что щёки его буквально пылают, лишь твёрдо произнёс: “Высокое доверие партии, уважаемые члены бюро, оправдаю!”

Выйдя на улицу, посмотрел на часы. Процедура утверждения директором совхоза “Нюйский” длилась десять минут. Так как времени до обеда был ещё почти час, Анатолий Петрович решил, чтобы быстрее успокоиться, пройтись по городу пешком. Любуясь современными высотными, из камня, стекла и бетона жилыми и производственными зданиями, которыми был застроен проспект Ленина, с мчащимися лавиной по ровному бетонному полотну автомашинами, он неожиданно ясно, как наяву, вспомнил, что всего каких-то двадцать с небольшим лет назад отец из Капитоновки, где они тогда жили, привозил его девятилетним парнишкой на санях, запряжённый чёрной, резвой лошадей, на эту площадь в магазин “Детский мир”, расположенный в угловом двухэтажном деревянном здании, за многие десятки лет чуть ли не по самые лдыстые окна ушедшем в топкий грунт.

В торговом зале сновало столько народа, что он, страшно боясь потеряться, не выпускал полу отцовского полубубка. Но едва под стеклом прилавка увидел коробки с разноцветным пластилином, как напрочь забыл о всего лишь минуту назад направившейся машинке — игрушечном самосвале. Глаза вспыхнули, как спички, от жажды получить в своё распоряжение хотя бы коробочку этого волшебного, этого сказочного материала! И как же он был счастлив, когда щедрый отец, вняв его чуть ли молитвенной просьбе, купил ему не одну, а целую упаковку пластилина! И, вернувшись домой, он всё свободное от уроков время с упоением лепил и лепил разные человеческие фигуры, средневековые замки и даже метровые военные корабли, вплоть до линкоров!

Ах, какое же у него было прекрасное детство! Да и юность тоже! Но почему жажда ваять с прежней силой не перетекла в молодость, не расцвела в ней пышным цветком успеха и признания?.. Почему?! Пропала?! Сгинула?! Бог дал — Он и забрал назад сказочный дар?! Сказать: “Так и есть!” — значит, солгать, поскольку упоительная жажда ваять трансформировалась в желание строить, творчески руководить! Ничего просто так не делается даже там, высоко, на этом синем-синем, с ослепительно ярким якутским солнцем, словно насквозь прозрачном небе! И, конечно, ничего без следа не проходит! Когда-нибудь ему будет дано узнать в полной мере, для чего он пришёл в этот удивительно разнообразный мир! А пока надо не ждать, словно манны с небес, заветного часа, а самому ломиться к нему, как по таёжной чаще, с той твёрдостью духа, с такой неуемной силой, будто каждый день и в самом деле может откатиться для тебя последним!..

И Анатолий Петрович, довольный, что пришёл к такому жизнеутверждающему выводу, ещё с час погулял по знакомым, нет, навсегда родным городским улицам. Ему упрямо казалось, что он не идёт по ним, вспоминая юность, а словно листает и листает огромную книгу своего прошлого. Наконец, он вернулся к Ивановым, где Мария с Виктором, одетые по-дорожному, уже ждали его во дворе, сидя в салоне когда-то от всего щедрого на добро сердца с радостью подаренного им сестре везехода “Нива”.

На выезде из города остановились у цветочного магазина, где Анатолий Петрович купил три букета с чётным числом чайных роз. Садясь обратно в машину, кстати,

работающую, как хорошо отлаженные швейцарские часы, отливающую на изгибах кузова в полуденных лучах кофейными, матовыми переливами, он на вопросительный взгляд Виктора глубокой, идущей из самых глубин души грусти ответил:

— Надо будет непременно заехать на старое кладбище! Деда с бабой и тётей Викою проведать! Когда ещё приеду!

— Понятно!

Езды до родового села отца Анатолия Петровича было не больше тридцати минут: сначала по асфальтированной трассе, как бы рассекающей долину Туймада пополам ровно посередине, потом, повернув налево, как раз напротив конца взлётной полосы аэропорта, по гравийной дороге через якутское поселение Тулугино. Не доезжая до родового села Кильдямцы метров двести, у самого деревянного, довольно крепкого и вместе с тем лёгкого моста, перекинутого строителями через проточное длинное озеро с топкими берегами, сплошь поросшими густой, зелёной осокой, Анатолий Петрович с Марией вышли из машины. Но прежде чем пойти дальше пешком, он показал жене на стоящую впереди, под самой песчаной сопкой на крутом взлобке довольно большую пятистенную избу с четырёхскатной высокой крышей из обрезного теса в два ряда, с небольшими окнами с резными ставнями, с палисадником, в котором росли кусты рябины и черёмухи, с вкопанной в землю лавочкой рядом с глухой калиткой в высоком заплоте.

— Представляешь, в этом старом, почерневшем от времени доме родился и вырос мой отец! — восторженно сказал Анатолий Петрович. — Кто в нём живет в настоящее время, я, увы, не знаю! А жаль!.. Но из родни, кому он принадлежал, последней была тётя Маруся. Я тогда ещё даже в школу не ходил. Но всякий раз, когда отец щедрой на морозы да метели зимой на санях-розвальнях, с подбитыми полосовым железом полозьями, а жарким, скорей, даже знойным летом — на двуколке с пружинистыми рессорами отправлялся в Кильдямцы проведать свою старшую сестру, то непременно брал меня с собой. Тётя Маруся ставила старый, ещё царских времён, пузатый медный самовар с рельефно вылитыми медалями и при помощи обыкновенного кирзового сапога распалила заранее приготовленные угли. Вскоре вода вскипала, и мы с превеликим удовольствием пили свежезаваренный, с коровьим молоком такой вкусный чай, что поныне, как вспомню о нём, так слюнки текут...

— Что ты говоришь! — воскликнула Мария, вскинув свою точёную руку в сторону пятистенка. — Получается, что мы, студенты, на летней практике каждый день ходили на опытные участки мимо дома твоих отца и деда! Знаешь, даже сразу как-то в такое и не верится!..

— Вот как! Но мне же это вдохновенно говорит о том, что наша с тобой встреча словно заранее была predetermined свыше! — сказал восхищённо Анатолий Петрович, чувствуя тепло ладони жены. — Ещё несколько лет назад, когда мы жили за несколько тысяч километров друг от друга, судьбе было угодно, можно сказать, заочно познакомиться нас. А потом,неважно, где и когда, но счастливо свести для совместной жизни, лишний раз доказав мою правоту, что мы сейчас совершенно не случайно находимся здесь. И мне сейчас, как никогда, хочется с тобой рядом — плечом к плечу! — не спеша пройти по этому старинному селу, чтобы, дыша воздухом, насквозь пропитанным прошлым, в котором на протяжении целого века жили и умирали мои предки, укреститься их несгибаемой волей и жизнелюбивой силой! Понимаешь меня?!

— Понимаю, милый!

И они, не отпуская рук, пошли мимо изб, выстроившихся вдоль узкого, но длинного озера в одну улицу, переживающих второе столетие, рубленных в лапу из сосновых брёвен, звенящих от удара обухом топора или тяжелой палки, как медный колокол, гулко, протяжно, словно говоря: “Пройдёт ещё не одна сотня лет, а мы всё так же будем стоять на этой суровой якутской земле, приютившей и обогревшей в страшном холоде, на снежных, колючих ветрах наших исконно русских ликом и характером хозяев, не побоявшихся в поисках лучшей жизни за несколько тысяч вёрст от родных мест забраться в таёжную глухомань и жить в ней так, что она со временем стала их второй родиной!”

В этот день то ли потому, что он был рабочий, то ли по причине переезда многих селян в город улица казалась пустынной. Лишь одинокие бабушки, несмотря на августовское тепло, укутавшись в тёплые, ими же связанные шерстяные платки, одиноко сидели возле своих изб на скамейках и, проводя двоих незнакомых молодых людей пытливым взглядом, мысленно вопрошали: “Кто такие? Что они забыли здесь, в селе, начавшем, увы, увы, понемногу забывать самого себя?..”

Мария интуитивно понимала, что вторится на душе мужа, после многих лет, наконец, по случаю оказавшегося у истоков, можно сказать, и своей жизни, потому шла молча, лишь плотней прижавшись к родному плечу. А Анатолию Петровичу в это время

почему-то вдруг из всех своих четырёх дядей по отцовской линии вспомнился самый старший — Андрей, который, как он знал пусть по несчастью, но ярким рассказам отца, был краснощёк, статен, высок, широкоплеч, при этом очень подвижен, с чёрными, как смоль, волнистыми густыми волосами, зачёсанными назад, с цыганскими, горящими, словно костровый уголь на солнечном, свежем ветру, большими, синими-синими, как весенние бездонные небеса, глазами, с грудным басистым голосом. Не мужик, а огонь! Даже в самые лютые крещенские морозы он прогуливался по единственной улице села в полушубке нараспашку, без шапки и рукавиц.

От него исходила такая молодецкая сила и удаль, что не каждый из местных задир осмеливался даже повысить на него голос. В Масленицу, настоящий, уходящий в глубину многотысячных лет, самый русский зимний праздник, дядя Андрей в обязательном порядке из отцовской конюшни выбирал самых нахрапистых, быстрых на ноги трёх лошадей разной масти, впрягал в сани-розвальни с задней стойкой, украшал их разноцветными лентами, оловым тёмно-зелёным лапником, на днище под ноги бросал охапку душистого сена, рассаживал поудобней молодых — кровь с молоком! — краснощёких девочек и под неугомонный, залиvistый лай уличных собак, словно серебром переливающийся перезвон медных колокольчиков, подвешенных к самой цветасто раскрашенной лентами дуге, с силой упершись ногами в настил и слегка отпустив вожжи, давал такую волю лошадям, что они, хрипя и выдыхая с шумом из лёгких воздух, который на сорокаградусном морозе мгновенно превращался в клубящийся пар, неслись во весь дух, на крутых поворотах раскатывая и ударяя сани о сугробы с такой силой, что молодухи от страха вывалиться в снег визжали, как оглашенные, но счастливые были безмерно!

Густой, белёсый пар от казавшихся дымящимися спин разгорячённых лошадей, несущихся галопом, стлался белёсым шлейфом далеко за санями и, подхваченный ветерком, восходил в поднебесье, где медленно, словно нехотя, таял... От залихватской скорости длинные, густые волосы дяди Андрея, как и конские гривы, развевались на ветру, глаза полыхали солнечным, ядрёным, как крепкий мороз, задором, только что огонь и пламя с силой не вылетали из вздувающихся ноздрей!

Но его жизнелюбивое, большое сердце двадцатилетнего парня пленила не молодуха-красавица, а сорокалетняя вдова, причём с ребёнком. И как его родные ни увещевали отступить от неё, он взял да и женился на своей зазнобе. И так уж любил да миловал, так желал её, что односельчане только диву давались: бывало суровой зимой в домовой ограде огромные берёзовые чурки час-другой удар за ударом колуна раскалывает на поленья, да вдруг бросит хозяйское дело, как ошпаренный, ворвётся с мороза в избу, подхватит своими здоровенными ручищами, точно птичью пушинку, жену-любовницу да и снесёт на кровать...

Насколько удастся, пригасит разбушевавшуюся страсть, как огонь обложной дождь, да по новой на улице, с чурками играючи расправляться. Так и работал с перерывами на любовь до позднего вечера! Ох, и завидного же здоровья был человек!

Только недолго пришлось ему пожить счастливо. Вскоре в жизнь каждого советского человека, как ураганный вихрь, сметая всё на своём кровавом пути, ворвалась проклятая война. Одним из первых в селе, уже осенью сорок первого года дядя Андрей был призван в действующую армию и в составе сибирского полка брошен на защиту родной столицы. Но в первом же жестоком бою вражеский снаряд попал ему прямо в грудь и разорвал всё тело на такие мелкие кусочки и разбросал их по всему полю, что собрать их воедино не представлялось никакой возможности. Весной, после зимнего наступления Красной армии, в котором немецкие захватчики были отброшены на сотни километров от Москвы, колхозники при весенней вспашке завалили останки дяди Андрея землёй. Таким образом, его могилой, можно сказать, стало всё большое, усыпанное неисчислимыми осколками снарядов и мин колхозное поле. Не потому ли однажды Анатолий Петрович, словно слыша с небес голос души родного дяди, в одночасье написал, как сам считал, одно из своих лучших стихотворений:

*В небе чёрном гроза прогремит,
тело дрогнет, душа отлетит,
но пойдут и пойдут ковыли
светлой вестью до края земли.
Ты могилы моей не найдёшь,
я повсюду, где поле и рожь,
я под снегом, родная, я здесь,
словно светлая-светлая весть...*

Кладбище, на котором были похоронены дед с бабой и младшая тётя Анюта, возникло почти одновременно со строительством села на опушке разлапистого, густого, вечно зелёного ельника, поднимающегося по пологому склону сопки на самую вершину. Приняв в себя многие десятки переселенцев, оно после войны было закрыто. Когда-то крепкая изгородь со временем пришла в ветхость, во многих местах и вовсе завалилась. Печать запустения и разрушения легла и на скорбные могилы. Невысокие бревенчатые срубы, которыми были обнесены земляные холмики, почернели, покрылись густой зеленоватой замшелостью, а кое-где и вовсе, превратившись в труху, развалились. Православные кресты, хотя и продолжали стоять, но уж как-то неестественно, косо, словно готовые рухнуть. А вот двухскатные навесы, построенные из теса для защиты могил от дождей и снегопадов, хоть и обросли сплошной, вверху мягкой, волнистой, как лесной мох, зелёной плесенью, каким-то чудом продолжали ровно стоять на листовничных столбиках-стойках. Давно уже почти все родственники умерших разъехались по всей стране, поэтому редко на каких могилах, заросших лебедой, пыреем и польнью, терпко пахнущей горечью, лежали свежие цветы. Но, словно всегда для прощания родственников упокоившихся, сердобольная природа летом каждый могильный холмик украшала якутскими розами — саранками со светло-красными, бархатными лепестками, — и не было на тысячи вёрст вокруг красивей этих цветов!..

Родные Анатолия Петровича были похоронены рядом, друг за другом, в самом центре погоста. В глубокой скорби, в кладбищенской тишине, нарушаемой лишь нудным зудом редких жёлтых комаров да хриплым поскрипыванием на ветерке железных, покрывшихся коричневой ржавчиной самодельных венков, он со слезами на глазах возложил на дорогие его сердцу могилы по букету чайных роз и погрузился в тяжёлое, словно гранитная плита, молчание. Ему было в этот день, как никогда, до слёз досадно, что никого: ни деда, ни бабу, ни тётю Анюту он не застал в живых, — не слышал их добрых голосов, не видел их светлых, светящихся к нему нежной любовью лиц.

А повезло бы ему застать их в юном возрасте, когда полным ходом формируется человеческий характер, утверждаются на всю жизнь многие привычки, приоритеты, пристрастия, то сколько же глубоко поучительного, полезного они смогли бы внуку передать, и, глядишь, в этой до предела сложной, порой навзрыд суматошной жизни ему удалось бы избежать многих ошибок, ибо уж кто-кто, а его дед с бабой в свою очередь сформировались как личности ещё во времена степенной, словно разложенной по годам жизни с таким расчётом, чтобы исполнить ещё, ради чего они и появились на свет. Анатолию Петровичу невольно обидно подумалось: «Мы, современные люди, ищем счастье по всему свету, когда оно — бесконечно щедрое, дарующее жажду жить и творить добро во имя добра, — образно говоря, среди дедовских могил... Ох!»

На обратной дороге к ожидавшему в «Ниве» своих молодых родственников Виктору Мария, долго, словно погрузившись глубоко в сложные женские мысли, молчаливая, вдруг тихо произнесла:

— Анатолий, ты так вдохновенно, так образно и сильно рассказывал о дяде Андрее, о том, как он необычно погиб, героически защищая нашу столицу от фашистских захватчиков, а о своём отце, которого сильно любишь, с которого стараешься во многих жизненных, особенно тяжёлых ситуациях откровенно брать пример, почему-то даже словом не обмолвился, словно он и не родился в этом селе!

— Точно, не рассказывал! Но не специально, а просто так получилось! Жизнь у него действительно сложилась так необычайно, что не может не захватить человеческое воображение, не восхитить глубоко душу! Ну, хоть самый настоящий роман по ней пиши! За один раз даже малую часть её вряд ли удастся раскрыть! Но если тебя в данный момент больше всего интересует вопрос: «Воевал ли отец?» — то ответу: «Ещё как!..»

— Вот и расскажи, ведь это должно быть так интересно!

— Не интересно, — сказал Анатолий Петрович, — а поучительно! Так слушай!.. Перед самой войной отец выучился на тракториста, но потом, видимо, из-за того, что в его душе вверх над другими чувствами взяла любовь к литературе, закончил якутское педагогическое училище и в качестве преподавателя начальных классов работал в школе... На фронт, как старшего брата, его сразу не взяли... Когда отец пришёл в военкомат с заявлением о призыве в Красную армию, военком сказал: «Сегодня каждый боевой штык на счету, но, как бы тяжело, как бы трагично ни складывалось начало войны, надо думать — я твёрдо уверен в этом! — о её победном конце. Повоевать ещё успеешь, а пока иди уму-разуму детей учи, да так, чтобы они, словно с молоком матери, глубоко впитывали знания с праведной верой в своё светлое будущее, которого их никакой враг, как бы он коварен и силен ни был, не лишит!» Однако в самом начале сорок третьего года отец был мобилизован и отправлен на фронт рядовым механиком-водителем самоходной артиллерийской установки. На этот счёт он иной раз даже шутил: «Я с детства простого

тележного скрипа боялся, а тут мне доверили управлять железной тридцатитонной машиной, словно гром, грохочущей и, как драконова пасть, извергающей огонь!..” Однако вскоре в бою отец получил тяжёлое ранение и после выписки из госпиталя, скорей всего, потому, что имел профессиональное среднее образование, был направлен в офицерское училище с ускоренной программой обучения. Через три месяца в звании младшего лейтенанта он принял под своё командование миномётный взвод, с которым и дошёл до самого вражеского логова — Берлина! В семейном альбоме до сегодняшних дней сохранилась заметно потемневшая от времени фотография, на которой запечатлён эпизод, где отец углом трофейного портсигара расписывается на стене Рейхстага. За боевые заслуги он был награждён тремя орденами и двумя медалями, в том числе и за взятие Берлина, но более всего он гордился грамотой с факсимильной подписью Сталина. Бережно, словно дорогую сердцу реликвию, он хранил её отдельно от других наград в светло-коричневом большом портмоне, которое держал в запираемом на ключ выдвижном ящике посудного шкафа. Почему он отдавал такое явное предпочтение именно ей? До сих пор понять не могу! Пока жили вместе одной семьёй, всё никак не удосужился его об этом спросить, а теперь лишь строю догадки, что, видать, как отца родного, он уважал Верховного главнокомандующего! Хотя, мне кажется, отец должен был на него, по крайней мере, таить глубокую обиду, словно душевная рана, больно саднящую и саднящую!

— Почему ты так считаешь?! — перебила мужа Мария.

Анатолий Петрович ответил не сразу, сначала довольно долго молчал, словно решал для себя очень сложную задачу со многими неизвестными, морща высокий лоб, сдвигая к самой переносице широкие брови, сжимая и разжимая тонкие волевые губы, наконец, вздохнув всей грудью, вновь медленно, взвешивая каждое слово, заговорил:

— После войны отец ещё год прослужил в войсках, находившихся в Германии, может быть, и вообще до полной выслуги не уволился бы в запас, ибо от природы имел сильную волю, обладал командирскими способностями — качествами, крайне необходимыми для успешной воинской службы! Но судьба распорядилась иначе... По натуре будучи человеком романтичным, отец решился на связь с одной симпатичной немкой, что в то суровое время было непозволительно для советского офицера. Не знаю, на каком языке они друг другу объяснялись в любви, только отец потерял бдительность, и о его связи стало известно начальству, которое, от греха подальше, в срочном порядке издало приказ об отцовской демобилизации. Вернувшись в родные Кильдямцы, он почему-то не продолжил свою профессиональную преподавательскую деятельность, а устроился продавцом в магазин смешанных товаров. Вскоре по всей стране власти провели денежную реформу. И надо же было так случиться, что на следующий день после её окончания, когда уже старые деньги не действовали, а новые ещё не были в нужном объёме запущены в оборот, к отцу в магазин пришёл его старый боевой товарищ и слезно попросил за старые рубли продать хотя бы немного спирта. Отец пошёл другу навстречу, всерьёз не обдумав всех возможных последствий! А они словно только и ждали, когда он, выражаясь его языком, даст маху! И он дал, да такого, который и в страшном сне в доброе время вряд ли приснится... Представляешь, всего за бутылку спирта, неверно проданную, его судили в мирное время, несмотря на все ранения и многочисленные награды, словно по самому что ни на есть закону военных лет, в результате чего он получил четыре года колонии строгого режима, которые отсидел “от звонка до звонка”. Почему-то именно зимой, когда мороз с каждым днём только крепчал и крепчал, заключённых ежедневно гоняли за пятнадцать километров на якутские городские стройки выполнять самую тяжёлую работу: копать вручную при помощи лома и лопаты ямы глубиной не менее восьми метров под сваи в вечной мерзлоте. Копать — мягко сказано, а на самом деле долбить грунт, по крепости ничуть не уступающий граниту! Однако за выполнение нормы в один кубометр выдавали хлебную пайку всего четыреста граммов, а в случае невыполнения — лишь двести! Отец, хотя от природы был очень жилистый, в первый день, как ни старался до темноты в глазах орудовать и орудовать тяжёлым ломом, едва выполнил норму, при этом так сильно устал, что лишь благодаря стальной воле преодолел обратный путь в колонию. На нарах кое-как придя в себя, горестно подумал: “Если враги на фронте не смогли добить, то свои это сделают запросто непомерно тяжёлым трудом, который из-за хронического недоедания с каждым днём будет становиться самым что ни на есть каторжным!.. Обидно!” Надо было срочно что-то предпринимать. На отцовское счастье, вскоре его прямо на стройке навесил старший брат Алексей, занимавший ответственную должность в городском военкомате. Посмотрел участливо, как уродуются заключённые, и на завтра принёс отцу хорошо оттянутое, крепко насаженное на удобную ручку кайло. Оно оказалось таким подходящим для разработки мерзлого грунта, что моему родителю удалось к концу смены выполнить аж две нормы! Удвоенная пайка

позволила к весне вконец не ослабнуть организму, и отец назвал судьбу не лёг костыми вместе со многими братьями по несчастью в суровую тюремную могилу. Казалось бы, любой человек, переживший сполна жестокую несправедливость, должен озлобиться на всех и вся, но отец, наоборот, стал ещё теплее и человечнее относиться к людям, за это они воздавали ему заслуженным уважением. Когда я, оставшись наедине с собой, напряжённо думаю о нём, то постоянно задаюсь одним и тем же вопросом: откуда же мой дорогой отец, трижды тяжело раненный, дважды контуженный, заболевший на фронте от сырости, холода и окопных лишений неизлечимым недугом — полиартритом, можно сказать, инвалид, черпал и продолжает черпать силы для вдохновенной, до самых краёв наполненной жизни?! И всегда прихожу к одному и тому же неизменному ответу: в любви ко всему живому!..

— А не кажется тебе, — вдруг снова прервала мужа Мария, — что если бы отца за связь с немкой по всей строгости наказали, то он впредь в серьёзных жизненных ситуациях вёл бы себя осторожней!

— Наказали, говоришь! — вспыхнул Анатолий Петрович, — Но как? Разжаловали бы в рядовые или, того хуже, судили военным трибуналом? Но тут возникает вопрос: за что?! Уж не за любовь ли? Выходит, именно за неё, ибо она целиком завладела отцовским сердцем. Об этом говорит хотя бы тот факт, что он на свидание со своей избранницей он ездил на простом велосипеде за сорок с лишним километров в другой город, да так часто, что когда в берлинском гарнизоне среди офицерского состава проводилось соревнование, то отец настолько оказался натренирован, что с большим преимуществом, как профессиональный велосипедист, на зависть любителям музыки выиграл главный приз — великолепный трофейный, самый настоящий аккордеон! И не надо отбрасывать и второй серьёзный факт, что отец не мог не дорожить своей офицерской честью, не бояться ответственности за нарушение установленного военной командатурой порядка, чётко дающего понять, как именно, пусть и в послевоенное, но всё же режимное время вести себя военнослужащим по отношению к населению территории бывшего врага! И всё же он не поступился своим чувством и продолжал горячо любить!..

Нет, моя дорогая, что ни говори, но тогдашнее военное начальство в полной мере знало цену боевым наградам, уважительно относилось к их обладателям! А в северной глубинке прокурорский работник, который утверждал обвинительное, извини, “бутылочное” представление в суд, видать, не то что капли крови не пролил за своё Отечество, но даже и пороха-то не нюхал! Вот он в печальных традициях проклятого тридцать седьмого года, навсегда оставшегося в истории нашей страны одним из самых трагичных периодов, и руководствовался, а, говоря точнее, нагло “шил” дело... Не исключаю, что он ещё подло и мерзко действовал из-за самой банальной зависти, которую вызывали отцовские боевые ордена! Я хорошо знаю людей этой юридической породы! Они на всё пойдут, в том числе и на самое гнусное преступление, чтобы оправдать свою полную никчёмность и бездарность!

Анатолий Петрович, выговорившись, замолчал... Но глаза его продолжали полыхать гневным огнём, словно он сам только что вышел из атаки, в которой потерял лучшего друга. Мария почувствовала себя не то, чтобы виноватой перед ним за свой поспешный вывод, но точно и сполна понимающей, насколько ему сильно у мужа развито чувство справедливости. Она обрадовалась этому, но ни словом не выразила своего восхищения, а лишь плотней прижалась к его крепкому плечу.

Между тем время стремительно несло, надвигались сумерки. Дневное светило, почти полностью закатившееся за поросшие густым сосняком низкорослые сопки, напоследок лишь торопилось облизывать своими огневыми пламенными языками небесный окоём, из чисто синего неумолимо обращавшийся в тёмно-фиолетовый... Как ни хотелось Анатолию Петровичу хотя бы на день продлить командировку, жизнь сурово требовала от него скорейшего возвращения к директорским обязанностям. Конечно, её можно было и послушаться, но это могло запросто означать, что ради быстрой памяти прошлого, каким бы дорогим оно ни было, он по своей воле отказался бы не только от вдохновенного настоящего, но и, скорей всего, и от солнечного будущего, поскольку они между собой, словно ребёнок пуповиной с матерью, накрепко связаны, и одно неоспоримо вытекает из другого!

Ленская земля встретила пассажиров, прилетевших из Якутска, полуденным, ярко горящим в высоком светло-синем небе, словно вдавленным глубоко вовнутрь вселенной золотисто-оранжевым солнцем и, как бы в противоположность ему, порывистым,

сильно дующим с севера, посвистывающим в кронах деревьев ветром. Он поднимал на свои невидимые, но сильные, упругие крылья сухой песок со взлётно-посадочной полосы и, словно штопор, неудержимо вкручивал его в солнечную высь, а на открытых головах пассажиров, как огромной пятернёй, ерошил волосы, трепал и путал их. У женщин — вот проказник! — так задирали подола цветастых платьев, что высоко оголялись ноги, и они, невольно согнувшись, стыдливо поглядывая на мужчин, пытались прижать к коленкам вырывавшиеся из рук непослушные юбки.

Едва замолкли авиационные турбины, как в установившейся тишине стал явственно слышен шелест густой листвы раскидистых молодых берёз, тополей и лип, растущих в палисаднике здания аэровокзала. В беспокойном воздухе, насквозь пропахшем керосином и выхлопными газами, кружились редкие, до срока пожелтевшие листья деревьев, слегка напоминающие бабочек, слетающихся на яркий свет таёжного костра. У выхода на привокзальную площадь сгрудилась разношерстная толпа встречающих, причём последние бесцеремонно подпирали первых, нетерпеливо толкая их локтями, но они были так охвачены радостью встречи с родными или знакомыми, что не обращали на это серьёзного внимания.

Анатолий Петрович с Марией, не без труда протиснувшись через многолюдье, увидели на автомобильной стоянке совхозный “уазик” и стоящего рядом с ним водителя Петра с поднятой вверх рукой, которой он словно бы говорил: “Я здесь!” Подойдя к машине, Анатолий Петрович крепко пожал ему жилистую руку, а Мария приветливо кивнула головой. Без суеты, но быстро они заняли в салоне свои места.

— Ну что — домой? Или будем заезжать в сельскохозяйственное управление? — привычно вежливо спросил директора Пётр.

— Домой! — услышал в ответ.

И, заведя двигатель и включив первую скорость, вырулил на трассу. Тотчас яркий солнечный свет ослепительно ударил в глаза Анатолию Петровичу, и он, недовольно поморщившись, опустил до конца защитный козырёк. Город проехали по объездной дороге, проходившей по водозащитной от весеннего паводка дамбе и, миновав пункт ГАИ, стали преодолевать крутой километровый подъём, не зря носивший якутское название “Шаман”. Двигатель натужно, монотонно, словно жалуясь на машинную долю, загудел, скорость упала. Однако едва въехали на вершину, как дорога пошла ровно, и за стёклами снова замелькали, словно кадры длинной киноленты, могучие, ветвистые сосны с медными, золотящимися в солнечных лучах стволами, от которых поперёк дорожного полотна ложились длинные, языкастые фиолетовые тени.

— Пётр, теперь, когда встречных машин почти не попадается, можно и поговорить! — наконец нарушил молчание Анатолий Петрович.

— Вот и хорошо! А то я было уже начал думать, что у вас в Якутске что-то недоброе случилось — всё молчите да молчите...

— Специально это делал, чтобы не отвлекать тебя на участке интенсивного движения. Или за всего-то три дня ты умудрился забыть о настоящей просьбе Марии вести машину как можно осторожней?

— Как же забыл? Помню!

— Молодец! И можешь меня поздравить с назначением директором совхоза по всем статьям и с соблюдением всех дежурных формальностей!

— Поздравляю! А в районном управлении, да и в нашей совхозной конторе тоже никто и не сомневался в этом! Поэтому кое-кому из главных специалистов сейчас, думаю, ох, как нехорошо!

— Ты мне об одном расскажи — о новом главном агрономе!

— Кокорышкиной, что ли?

— О ней самой!

— Думаю, вы будете ею довольны! Старается! На главного инженера, можно сказать, как хорошая наездница на сноровистую лошадь, верхом села и погоняет, и погоняет!.. Всё ей кажется, что ремонтные работы по подготовке техники к уборочной идут слишком уж медленно! А вообще то, что ваш выбор пал на неё, вызвало у старожилов недоумение!

— Это почему же?

— Так ведь ещё до образования совхоза, когда ваш отец работал управляющим, она считалась одним из самых активных его противников, если не сказать жёстче — врагов! Да вы и сами об этом должны знать!

— Знаю, только по слухам! Значит, не имею никакого морального права ставить ей прошлое в вину, а тем более — мстить, хотя бы потому, что, во-первых, верно не ведаю о всех причинах их серьёзных, неважно, общественных или производственных разногласий; во-вторых, не зря же в народе говорят: “Кто старое вспомнит, тому глаз вон!..”

— Но, Анатолий Петрович, у этой известной поговорки есть и более суровое продолжение: “...А тому, кто забудет, — два!”

— Да я помню, помню о нём! Но не буду придавать этому никакого значения до тех пор, пока на её отношении к порученному делу сам лично не смогу убедиться в халатности или даже в подлости! Руководить, Пётр, это тебе не дрова рубить!.. В таком архисложном деле для успеха нужна не физическая сила, а, прежде всего, умственная, да ещё и нравственная! Объявить выговор или даже уволить работника — много ума не надо, а вот зажечь, в первую очередь, сердца своих ближайших помощников необходимостью решения общего дела — даже и не знаю, сколько! Но твёрдо уверен, много, очень много!

Так за неспешным разговором и одолели за два часа с небольшим весь таёжный, проложенный по лесистым сопкам да мшистым марям и через сбегающие с верховий речки нелёгкий путь. В посёлок въехали в постепенно сгущающихся, всё ещё светлосиних сумерках, но уже вполне достаточных для того, чтобы рано включённый свет в окнах домов был виден отчётливо, как на ладони. Всю дорогу Анатолий Петрович поглядывал на Марию, которая, утомлённая перелётом, даже от сравнительно ровной езды быстро укачалась и, положив голову на сумку, сладко то ли дремала, то ли в полной мере спала. Её красивое лицо было расслаблено, губы слегка приоткрыты, длинные ресницы чёрной тенью лежали на бархатной коже гладких, лишь слегка тронутых румянцем щек. От неожиданно раздавшегося свистящего скрипа тормозных колодок она открыла глаза, протёрла их и слегка заторможенно спросила:

— Уже приехали?

— Приехали, дорогая, приехали! — живо ответил Анатолий Петрович и вежливо предложил: — Мария, ты пока одна заходи в дом, а я приду через минуточку-другую, нам с Петром ещё немного наедине, так сказать, с глазу на глаз, поговорить кое о чём очень важно надо! Хорошо?

— Ну, конечно! Только сумку не забудь!..

И, пожелав водителю всего хорошего, она вышла из салона.

— Так что ты так порывался мне сказать, когда из Нью Йёрк вез в аэропорт? — тотчас спросил водителя Анатолий Петрович.

— А то самое, — словно шибко ждал этого вопроса, быстро заговорил водитель. — Что, как шила в мешке не утаишь, так и в нашем небольшом водительском коллективе рано или поздно, но любая тайна вскрывается! Ваш давнишний недоброжелатель Сергей Мордосов совсем недавно по пьянке проболтался, что это он по просьбе бывшего главного агронома совхоза Хохлова гайки на переднем колесе ослабил! Представляете, какой колючий мерзавец! Я, как узнал о его преступном поступке, так сразу же и хотел ему по морде хорошенько съездить, да ведь слово вам дал — никаких действий до вашей команды самостоятельно не предпринимать!

— И совершенно верно поступил! Молодец! И впредь продолжай делать вид, что тебе ничего не известно!.. Знаешь, как говорится: сколько верёвочке ни виться, а конец ей непременно будет!

— Слово даёте?!

— Даю! Даже два!

Несмотря на то, что Анатолий Петрович, как обычно, лёг в постель поздно, долго не мог заснуть... Сообщение водителя не застало его врасплох, но он был, скорей всего, склонен грешить на Бахтина, ведь пойти на крайние меры мог только человек, вконец отчаявшийся в достижении очень важной жизненной цели. Этим для главного зоотехника могло стать назначение директором уже в который раз не его, а другого, тем более, что он первыми шагами в своей деятельности заявил о своем желании работать в совхозе столько, сколько посчитает для себя нужным. Но надо же! На проверку оказалось, что именно Хохлов решился встать на очень скользкий и опасный путь. Оправдать это тем, что он, семьянин, отец пятилетней дочки, получив по морде, затаил в душе страшную злобу, было бы делом неверным. Тем не менее, он, а не кто другой из директорских завистников переступил разумную, по крайней мере, поддающуюся объяснению черту... Значит, у него появилось какое-то более серьёзное основание, возникла более важная причина... А вот какая именно? На этот, в первую очередь, сложный психологически вопрос Анатолий Петрович, сколько ни думал, ни гадал, ответа не находил... И чтобы, наконец, уснуть, прибегнул к испытанному средству: в душе усилием воли положился на время, которое, как известно, все расставляет по местам, всему даёт и верный ответ, и верное обоснование к нему.

Утром, встав с первыми лучами рассвета, Анатолий Петрович отправился на работу с таким расчётом, чтобы до планёрки проведать капустное поле — уж очень ему хотелось собственными глазами поскорей убедиться, насколько продвинулась в своём

росте капусты. За ночь небо затянули волглые, тёмные тучи, подсвеченные снизу красно-золотистыми лучами солнца. Едва Анатолий Петрович ступил на тропинку, ведущую через лес к полю, как тотчас вокруг него залетали, занудили комары, так и норovia впиться в открытые участки тела. Отломив от куста можжевельника ветку, Анатолий Петрович стал ею отбиваться от гнуса, всё ускоряя и ускоряя шаг.

Капустное поле открылось его взгляду враз и полностью. Несколько гусеничных тракторов с подвесными дождевальными установками, только что закончив ночной полив, мирно урча, как сонные коты, выезжали с него в сторону темнеющего вдали гаража. В свежем воздухе, не успев осесть, висела влажная взвесь. Проходя через неё, солнечные лучи переламывались, и от одного края до другого над полем перекинулась яркая радуга, восхищая своей красотой взгляд, весело радуя душу. Но сполна счастливым человеком Анатолий Петрович почувствовал себя, видя, что листовой аппарат капусты, буйно разросшись, сомкнулся, — и теперь все поле представляло собой одно сплошное светло-зелёное море, которое от серебряного сияния капель утренней росы и ночного полива казалось жемчужным. Ну, совсем не верилось, что всего какой-то месяц назад от взгляда на заросшую сорняками капусту сердце болезненно сжималось, и, конечно же, умирала всякая надежда на хоть какой-нибудь урожай!

И всё-таки директорскую душу тревожило опасение: хватит ли оставшегося до уборки времени, чтобы начавшиеся формироваться кочаны налились в полную силу. Что ни говори, но минимум на две недели рост капусты из-за сорняков был приостановлен, а время первых сильных морозов и снегопадов не отодвинуть. “Единственный выход, — думал Анатолий Петрович, — в сложившейся ситуации — это максимально сжать сроки рубки, чтобы начать уборку как можно позже и тем самым сполна выдержать вегетационный период созревания кочанов. В общем, снова идти пусть на оправданный, но риск. А что — и пойду! Надо только умудриться свою первую уборочную провести на необычайно высоком организационном уровне. Но как это сделать? Вопрос, ответа на который пока нет, ведь я, образно говоря, стою перед широкой рекой, которую необходимо успешно форсировать, но мне, к великому сожалению, пока неизвестны места нахождения мостов и бродов!..”

В рабочий кабинет Анатолий Петрович вошёл за целых полчаса до планёрки. Этого времени ему с лихвой хватило, чтобы понять по ежедневным сводкам, отмечаемым секретарём на ватмане, лежавшем прямо на директорском столе, что заготовка грубых и сочных кормов не только вошла в плановый график, но даже перекрывала его. Как только специалисты заняли свои места, он, тепло ответив на их приветствия, поблагодарил нового главного агронома за достойное начало деятельности, в результате которой силы и финансовые средства, затраченные на прополку капусты, не пропали даром, а сенозаготовка вошла в ту фазу, при которой возможно лишь дальнейшее увеличение темпов, и значит, в настоящее время необходимо всем специалистам, ответственным за растениеводство, сосредоточиться на подготовке к проведению уборочной кампании. После этого он, к удивлению многих из присутствующих на планёрке своих заместителей, сделал откровенное заявление:

— Уважаемые коллеги! Я, понимая всю сложность столь важного производственного мероприятия, должен сказать, что предстоящая уборочная для меня является первой, значит, в отличие от вас, я, честно говоря, необходимого опыта организации и проведения её не имею! Поэтому прошу всех, в чьи обязанности входит определённая мера ответственности решения уборочных вопросов, в течение двух дней подготовить подробный — вплоть до почасовой деятельности! — письменный план их решения! На следующей планёрке-совещании мы, основываясь на них, составим единый общесовхозный план с таким расчётом, чтобы во время уборки никаких неожиданных срывов не допустить! Тем не менее, я осмелюсь указать на необходимость, в первую очередь, внимание уделить подготовке помещений к приёму и размещению рабочей силы из городских организаций и учебных заведений, а также ремонту всей уборочной техники, от копалок до сортировочных пунктов! Какие-нибудь вопросы, предложения в связи со сказанным мной у присутствующих товарищей есть?

— А как же, Анатолий Петрович! — тотчас негромко, но весьма уверенно отозвался главный инженер Слуцкий.

— Слушаю вас, Валерий Николаевич!

— Поскольку моё сугубо деловое предложение займёт немало времени и требует только вашего решения, то, чтобы не задерживать всех специалистов, я бы хотел высказать его вам в рабочем режиме!

— Хорошо! На этом короткое, — время не терпит! — совещание объявляю законченным! Желаю всем успешной работы над уборочными планами! И не забудьте, что установленного мной срока на её успешное выполнение больше, чем достаточно!

Главный инженер Слуцкий был родом из степного города Сальска. В нём и высшее техническое образование получил, и семьёй обзавёлся. И, может быть, до сих пор, как говорится, жил-поживал бы да добра наживал, но когда единственная дочь Вера пошла в пятый класс, завязался у него служебный роман с молодой особой. Вскоре жена прознала об этом и поставила вопрос ребром: или развод, или переезд подальше от ненавистой искусительницы. Поскольку Валерий Николаевич очень любил дочку, то ради сохранения семьи согласился на второе. Сначала они обосновались в одном подсобном сельском хозяйстве где-то под Иркутском, но то ли у него, то ли у жены, имевшей экономическое образование, на новом месте с работой не заладилось, только Слуцкие перебрались вниз по течению величественной Лены аж на целую тысячу километров на север, в недавно образованный совхоз.

Это по времени совпало с переводом Анатолия Петровича в город на должность председателя районного объединения «Сельхозхимия», но Валерий Николаевич, мужчина сорока с небольшим лет, ниже среднего роста, сухощавый, с тёмными волосами, со спокойным, исполненным мудрости глубоким взглядом карих глаз, хорошо ему запомнился, тем более, что из других главных специалистов Слуцкий с самого начала работы выделялся взвешенностью и глубокой трезвостью суждений, самостоятельностью решений, готовностью отвечать за неудачи — в общем и в частности, вполне обоснованно знал себе цену и в полной мере соответствовал занимаемой им технической должности.

Когда Анатолий Петрович остался с ним в кабинете один, то более внимательно, чем прежде, посмотрел в его умные глаза:

— Я слушаю вас, Валерий Николаевич!

— Спасибо! Предложение моё заключается в создании на постоянной основе механизированной бригады, состоящей из токаря, сварщика и слесаря высокого разряда, с целью механизации целого ряда трудоёмких процессов, к примеру, связанных с уборкой и обработкой капусты!

— Интересно! А за счёт чего?

— Изготовления за многие годы добровольного изобретательства сконструированных лично мной разнообразных машин, приспособлений, аппаратов, конвейеров и агрегатов!

— Даже так! Здорово! Только где же вы раньше-то были? Почему до сих пор ни в одной отрасли не внедрили свои изобретения?

— Потому что вашему предшественнику они оказались неинтересны!

— Понятно! Но осуждать его не будем! А лучше вы, Валерий Николаевич, объясните-ка мне подробно суть механизации уборки капусты, поскольку, должен сказать, что сегодня утром я сам задавался вопросом: каким же образом максимально ускорить рубку этой очень важной для совхоза в финансовом плане культуры? — говоря это, Анатолий Петрович имел в виду, что взятый в банке кредит под будущий урожай капусты надо будет уже этой осенью, чтобы избежать лишней выплаты, набежавшей за штрафные проценты, безотлагательно гасить!

— Охотно! — сказал главный инженер. — Из имеющихся у нас ленточных транспортеров и приёмного бункера с помощью сварки построим разделочный конвейер. Посадим по обе его стороны два десятка женщин с топориками, чтобы они двигаясь по ленте кочаны капусты, очистив от листового аппарата, перекладывали на параллельную, с которой они и будут сыпаться в подвешенные на кронштейны мешки, который, в свою очередь, по мере их наполнения мужчины будут заменять на новые. А уже затаренные при помощи железной иглы и зашитые шпагатом мешки складировать под навесом. А капустный лист можно, опять же при помощи транспортера, загружать на телегу, а лучше установить конвейер напротив силосной траншеи — и пусть он сразу закладывается на зиму в качестве высококаратинного корма для коров.

Непосредственно в поле капусту надо будет только срубить и загружать на самосвальный транспорт, безостановочно двигающийся по полю, тем самым как бы заставляющий ещё активней, с большей отдачей работать полеводов! А для того, чтобы уборку можно было продолжать и в самую дождливую погоду, необходимо построить из обыкновенного необрезного теса, а можно даже и из горбыля ещё один сарай-навес непосредственно над нашим рукотворным конвейером! Это, конечно, тоже финансовые затраты, но такие небольшие, что вряд ли сильно скажутся на повышении себестоимости выращивания капусты. По скромным подсчётам, с внедрением моего изобретения производительность уборки капусты увеличится минимум в три раза! Но это только первый шаг, так сказать, на скорую руку. На следующий год, если получится, произвести планировку всех занятых под капустой пашен, то можно будет совершить и второй — запустить вот уже несколько лет подряд стоящие без дела, такие дорогостоящие уборочные комбайны!

— Ладно, мечтать не вредно! Но слово даю, что в случае успеха первого шага, второй обязательно сделаем! Только честно ответь: до уборочной успеешь претворить в жизнь своё изобретение?

— При условии срочного создания бригады и гарантированного финансирования всего объёма технических работ — в полной мере!

— Тогда готовь соответствующий приказ, но прежде чем принесёшь мне его на подпись, согласуй его с главным экономистом!

— Спасибо за понимание, Анатолий Петрович! Можно идти?

— Подожди! Я хочу с тобой обсудить ещё один важный вопрос! И, возможно, тут же принять по нему конкретное решение!

— Слушаю вас! — сказал Слуцкий и, было уже вставший, чтобы идти, снова сел, устремив на директора пытливый взгляд.

— Успех уборки до заморозков картофеля на девяносто процентов зависит от ритмичной работы комбайнов. На этой неделе мы должны в “Сельхозтехнике” получить по министерской разрядке несколько новых. Я недавно их смотрел и убедился, что за последние десять с лишним лет они не претерпели хоть какого-нибудь усовершенствования, между тем некоторые агрегаты и узлы требуют усиления, которое, к счастью, возможно произвести даже в наших, не Бог весть каких мастерских.

— Анатолий Петрович! — вежливо, с живым интересом перебил директора главный инженер. — А спросить вас можно?

— Можно! Но в следующий раз прошу тебя набраться необходимого терпения и, прежде чем говорить самому, сначала выслушать до конца своего непосредственно-го начальника! Договорились?

— Конечно! И, пожалуйста, извините! Я поторопил события от искреннего удивления, что вы, по образованию строитель, а в сельскохозяйственной технике разбираетесь детально! Откуда это у вас?

— Вы что, с управляющим Беченчинского отделения сговорились? Сначала он был немало удивлён моими агрохимическими знаниями, теперь вот ты — техническими! Но можешь не отвечать! Дело в том, что я свою трудовую деятельность на постоянной основе начал сразу после окончания школы-десятилетки. В тот же год осенью семнадцатилетним парнем на период уборки картофеля был назначен машинистом комбайна, понятно — устаревшей модели, довольно изношенного. Опыта работы на нём я совершенно не имел! Набираться его пришлось через ремонт агрегатов, который на наших полях, отвоеванных у вековой тайги, и значит, изобиловавших палками, сучьями и корягами, случался каждый день да через день! Но поскольку я по характеру — максималист, то мне страшно хотелось за каждую смену не только выполнить установленную плановым отделом норму попки, но и значительно перевыполнить её! Скажем, убрать картофеля с площади не полтора гектаров, а хотя бы с двух! Если поломка комбайна происходила в конце рабочего дня и была мне под силу, то я просил тракториста оставить его на ночь у моего дома. Не переодевшись, на скорую руку ужинал и в уже стусившихся до непроглядности густых вечерних сумерках приступал к ремонту того или другого вышедшего из строя агрегата. За неимением электрической переноски для освещения использовал обыкновенную восковую свечку, вялое пламя которой от моего неосторожного движения или порыва ветра часто гасло, но я упрямо вновь и вновь чиркал спичками, зажигал её. Исправив поломку, с целью предотвращения выхода из строя другой детали я производил перетяжку всех гаек и болтов, при помощи которых к основной раме крепились механизмы, приводящие в движение агрегаты комбайна, смазывал солидолом цепи, в общем — работал, не считаясь с временем, до осознания, что по максимуму сделал всё, что знал, до чего смог дойти своими мозгами. Да, я сильно уставал, часто недосыпал, зато к концу уборочной досконально изучил комбайн, знал, как свои пять пальцев, все его слабые и сильные стороны! Это позволило на следующий год, проведя заранее в мастерских весь комплекс работ по усилению и регулировке наиболее часто выходявших из строя агрегатов, убирать в смену по три и даже четыре нормы! Короче, стал ходить в передовиках!.. На пороге уборочной этого года я и подумал, что было бы неплохо на базе наших мастерских организовать и провести недельные курсы по изучению эксплуатации и ремонту комбайнов не только для механиков отделений, но и для машинистов. Это настолько важно, что я готов был сам прочитать несколько лекций и даже провести два-три практических занятия. Что вы так снова удивлённо на меня смотрите? Думаете, где я возьму время или будет ли мне, директору, удобно принять на себя ещё и функции обыкновенного технического преподавателя? Пусть это вас совсем не волнует, ибо авторитет руководителя как раз формируется большей частью личным доверительным общением с рабочим людом!

— Коли так считаете, то я сегодня же подготовлю обстоятельный приказ и о создании ускоренных курсов механизации!

— Вот и добро!

И Анатолий Петрович уже хотел отпустить главного инженера, но почему-то вдруг задумался, словно что-то важное в разговоре упустил, но всё никак не мог вспомнить, что именно, и потому молчал. Наконец, глаза его вспыхнули, и он, как о деле давно решённом, твёрдо произнёс:

— Ты вот ещё хорошенько поломай голову над тем, как нам сразу же после окончания уборочной и постановки скота на зимнее содержание организовать при нашем управлении курсы трактористов. Чего мы будем и дальше молодых ребят весьма длительное время отрывать от семьи для учёбы в городской школе механизации, организованной на базе “Сельхозтехники”, платя при этом немалые деньги! В число опытных преподавателей по устройству и работе дизеля, как в случае с картофелеуборочными комбайнами, можешь смело включить и своего директора! Не улыбайся так скептически, словно я без дела шучу!.. А между тем, я говорю на самом полном серьёзе! И надеюсь, что в моих технических знаниях ты, уважаемый Валерий Николаевич, и в этот раз ни на йоту не разочаруешься. Одним словом, не подведу! Чтобы не быть голословным, расскажу тебе одну поучительную историю... Слушай... Лет двенадцать назад, совсем безусым парнем я после окончания школы механизации, тогда она действовала при совхозе “Ленский”, к своему неопишуемому восторгу, получил колёсный трактор “Беларусь-80”. Был он старый, но его прежний хозяин, кстати, родной брат моей первой жены Владимир Никитин, невысокий, но коренастый, с крепкими руками, с рыжей чёлкой на светлом лбу, любитель задорных разговоров, но главное — прирождённый технар, содержал его настолько ответственно, я бы даже сказал, с любовью, что стальной конь хоть порой и хромал то на одну, то на другую ногу, но борозды не портил... Жизнь моя так сложилась, что я женился рано и к тому времени уже был отцом сынишки-голопуза! Не без профсоюзной помощи, о чём говорю прямо, получил более просторную квартиру аж в целых двадцать пять квадратных метров! По сравнению с предыдущей однокомнатной, где с трудом вмещались обеденный стол и раскладной диван, она казалась царскими палатами! Конечно, от свалившегося на мою молодую семью счастья я был на седьмом небе! Но так называемая квартира оказалась в прямом смысле без окон и дверей, внутри совершенно не отделана. Ждать, когда совхоз удосужится ликвидировать недоделки, можно было и месяц, и год, а переехать в новое жильё очень уж хотелось! В результате всего этого я по собственной воле оказался в сильной финансовой нужде, из которой надо было как можно скорее выбираться, чтобы начать жить на радость семье и в своё полное отцовское удовольствие! Вот я и решил с целью заработать как можно больше рублей делать в день на вывозке дров с лесной деляны, согласно разрядке, не два рейса, а четыре, а если удастся, то и пять! Себе в грузчики взял молодого, как и я сам, парня Семёна Красноштанова, эвенка, высокого, широкоплечего, с длинными руками, напоминавшими крабовые клешни, не то чтобы жадного до работы, но очень исполнительного! А командовать я уже в то время был горазд, и, может быть, мог бы и всем гаражом заведовать, да, как говорится, бодливой корове Бог рогов не дал... Ну, да ладно, пошли дальше... Поначалу всё шло хорошо: трактор исправно работал, установленный мной самому себе план успешно выполнялся. Но однажды, уже ближе к позднему вечеру, возвращаясь из леса с прицепной телегой, доверху груженной дровами, на затяжном подъёме температура в двигателе резко пошла вверх! Потом из горловины радиатора вместе с пробкой и паром вылетела разогретая до кипятка вода охлаждения! Я со всей силы нажал на тормоза, ибо смог мгновенно оценить печально сложившуюся обстановку, которая требовала немедленно заглушить двигатель. Что я и сделал и тяжело вздохнул, но переживай, не переживай, а факт перегрева двигателя был очевиден... “Ладно, — подумал я, — при помощи паяльной лампы, которую зимой на всякий пожарный случай возил с собой, растоплю снега, полученную таким способом в нужном объёме воду в радиатор залью, но вот вопрос: не заклинило ли напрочь дизель!” Чтобы ответить на него, я нехотя вылез из тёплой кабины на мороз. Он с наступлением поздних сумерек только усилился, то и дело в таёжной, вязкой, как трясина, от сильной стужи тишине раздавался хлесткий треск, очень похожий на винтовочные выстрелы, — это лопались у деревьев волокна... Перемороженный, отчего ставший мелким, словно пыль, снег, хотя и укатанный, под ногами глухо хрустел, как разросшийся капустный лист. Натянув поглубже на голову шапку-ушанку, я с опаской откинул пошитый из плотной парусины и утеплённый технической ватой замасленный капот и рукой осторожно за маховик “пускатча” решил проверить поршни в цилиндрах. К моей неопишуемой радости, они тяжело, но сдвинулись!..

— Семён! — крикнул я, — Давай скорей набирай в вёдра из-под солярки побольше снега, а я тем временем лампу разожгу!

— Разве сможем ехать?! — радостно спросил он.

— Думаю, да! Только пошевеливайся!

Где-то через час я после разгрузки дров загнал трактор в свой бокс, но перед тем, как пойти домой отдохнуть, да и есть страшно хотелось, ведь уже больше шести часов маковой росинки во рту не было, решил, чтобышний раз не тревожиться, проверить верность предположения, всю дорогу не дававшего мне покоя. Я думал, что во время перегрева двигателя уплотнительные резиновые кольца могли потерять свою эластичность, тугость, и вода, просачиваясь между ними и гильзами, пошла в картер! Затаив дыхание, вынул мерочный щуп — и ахнул!.. Ибо он показывал аж два уровня!.. Я тотчас отвернул спускную заглушку, и вода, поскольку она тяжелее масла, упругой струёй хлынула на цементный пол! Всё это, к ужасу моему, означало, что запланированная на завтра недельная командировка в Жербу для закладки речного льда в подвалы, в котрых на летнике доярки с помощью скотников обычно охлаждали перед отправкой по реке в город на переработку в сметану парное молоко, на грани срыва! А значит, мне предстояло и самому опозориться перед старшими коллегами, и страшно подвести отца, тогда возглавлявшего отделение совхоза! Этого допустить я, ну хоть убей, не мог! Но одно дело — сохранение чести, какой-никакой, но репутации, а совсем другое, образно говоря, выйти из воды и не замочить ног! Выход был один: за ночь успеть к утренней разрядке перебрать весь двигатель, заменить уплотнительные кольца, которые ещё надо было где-то достать! Я вспомнил: мой природный технарь, дорогой родственник Владимир столько всяких запасных частей по случаю натаскал домой, что их вполне хватило бы на сборку целого трактора! Тотчас побежал к нему, он ещё вовсю бодрствовал, поэтому, поняв меня с полуслова, не только одолжил мне нужный позарез комплект уплотнительных колец, но ещё и вызвался помочь с ремонтом! Семёна, ничего не смыслившего в технике, я отпустил домой, а мы с Владимиром, всего за десять часов напряжённого труда, словно каким-то чудом, справились с таким большим объёмом работ, на который обычно по всем нормам выделялось от пяти до десяти дней, и не в гаражных условиях, а в цеховых, оборудованных всеми необходимыми приспособлениями, агрегатами, намного облегчающими и ускоряющими капитальный ремонт... Таким образом, каждая гайка, каждый болт, каждая деталь, от поддона до головки блока дизеля прошла через мои руки. Мною вкрученные, отрегулированные, они для меня стали той практической школой, которая только и даёт истинные технические навыки, глубокие знания, без которых в наших северных, страх каких суровых условиях, случись что неладное с трактором во время дальнего рейса на сильном морозе, запросто от тоски лютой и горькой безысходности, как миленький, волком завоешь! Конечно, своё слово сказали и те знания устройства трактора в целом, которые я получил в школе механизации. Но в некотором роде, повторяю, только о том деле, которое от начала до конца, пусть и с доброй помощью, ты совершил сам, имеешь все основания сказать, что знаешь его, как свои пять пальцев!

— Да вы, Анатолий Петрович, как говорится, успели в самом деле и огонь, и воду пройти! — сказал главный инженер, едва директор умолк. — С этим можно только поздравить! И больше не удивляться, откуда же у вас столько заразительной энергии, целеустремлённости в достижении всё новых и новых целей, которые, кстати, вы сами перед собой ставите!

— Хорошо, что ты это правильно понимаешь, а не уподобляешься небезызвестным тебе, занимающим ответственные должности, коллегам, которым, увы, в самом деле — тамбовский волк товарищ! — и, немного помолчав, Анатолий Петрович заключил: — И всё же Господь им судья! Ну, а мы с тобой сегодня хорошо поговорили и главное — не без толку! Можем и дальше с чистой совестью стремиться к полному достижению всего намеченного, значимость которого ясно видим и чётко понимаем!

Однако вечером, за ужином Анатолий Петрович спросил Марию:

— Ну, как тебе новый главный агроном?

— Это Виктория Николаевна?

— Ага!

— Да она с самого начала, как я только приступила в отделе к исполнению своих обязанностей, ко мне отнеслась доброжелательно! Очень хорошо отзывалась о твоём отце, мол, он пользовался большим уважением у рабочих, можно сказать, они за него всегда стояли горой!

— Интересно! Интересно! Ну, а что же она говорит обо мне?

— Сегодня, когда вернулась с планёрки, сказала, что ты представляешь собой спрессованный сгусток огромной волевой энергии, которая буквально волнами исходит

от твоей быстрой речи, твоих резких движений рук с такой силой, что невольно душой заражаешься действием на выполнение строго поставленных перед подчинёнными производственных задач...

— И ты с ней согласна?

— Более чем!.. И солнечно горжусь тобой! Мне прежде казалось, что я от природы очень энергичная, в состоянии увлекать за собой других, не зря же в институте была комсоргом. Но встреча с тобой меня словно с головой накрыла огромными волнами целеустремлённости в достижении своей сокровенной мечты, жадной братья за порученное дело со всей душой с обязательным доведением его до полного конца, и я поняла, что в трудные минуты жизни надо пример стойкости брать с тебя!

— Спасибо, дорогая, за тёплые слова! И за ужин спасибо, я очень вкусно поел! Перед сном немного погуляю по улице. Хочу в глубоком одиночестве, как не раз бывало, попытаться найти ответы на все вопросы, что поставила передо мной уборочная кампания!

Но с жадностью вдохнув свежего, прохладного, немного влажного воздуха, едва колышимаго свежим речным ветерком, Анатолий Петрович, в первую очередь, не без тихой грусти подумал: “Интересно, сколько же пройдёт времени от гордости жены за мужа до самой настоящей, заветно жертвенной любви ко мне? Месяц, полгода, год? А может быть, она так никогда и не сможет полюбить меня по-настоящему, хотя бы уже потому, что слишком любит себя?.. Впрочем, разве это так важно сейчас мне, считающему, что главное — любить самому, это важнее, чем быть любимым!.. Скорей бы родила ребёнка, ведь без него семья, увы, как не до конца убранное урожайное поле — уже почти без прошлого, но ещё и, как ни смотри, и без будущего, в любом случае — неполная...”

А на тёмно-синем августовском небосводе бесчисленные, ярко горевшие звёзды, словно краснобокие яблоки в саду, за лето созрели настолько, что казались прозрачно золотыми. Но от этого они не стали менее загадочными! Как прежде, словно магнит огромной силы, манили и манили к себе взгляд, притягивали душу, как будто в самом деле могли каким-то чудесным образом в полном объёме предсказать не только завтрашний день, но и всю жизнь наперёд, до конца! А надо ли? Скорей всего — нет! Ведь если бы ты заранее знал всё о себе и людях, окружающих тебя, жизнь потеряла бы тот любопытный интерес, который и заставляет людей, надеясь на лучшее, жить каждый день если не как последний, то на полном пределе своих физических и духовных сил!

29

Райкомом партии было принято решение о начале уборки картофеля в совхозах с первого сентября. Однако первая же пробная копка показала, что клубни в полной мере налиются на неделю, а то и полторы раньше. Анатолий Петрович понимал, что, поскольку кредит взят под капусту, необходимо как можно дольше тянуть с рубкой этой культуры. А чтобы она всё же не ушла под снег, как в некоторых хозяйствах района в прошлом уже не раз бывало, хорошо бы иметь возможность всеми силами совхоза враз навалиться на её трудоёмкую уборку. Это значило, что прежде во что бы то ни стало необходимо выкопать картофель на всей четырёхсотгектарной площади... Поэтому на расширенной планёрке-совещании с приглашёнными не только управляющих отделений, но и руководителей всех полеводческих бригад, по директорскому указанию план уборочной кампании был тесно увязан с таким расчётом, чтобы уже к двадцать пятому августа все подразделения совхоза были готовы без какой-либо раскочки приступить к копке картофеля в ударном темпе!

Когда Анатолий Петрович после заключительного выступления, в котором призвал руководителей подразделений отнестись в высшей мере ответственно к подготовке уборочной, не упустить ни одной мелочи, ибо она в условиях Крайнего Севера, способного преподносить печальные сюрпризы в виде затяжных, обложных дождей или, того хуже, неожиданных заморозков, может вырасти в неразрешимую проблему, вдруг прорезался нагловатый голос хитрого, пронизательного Бахтина:

— Я спросить хочу! Можно?

Анатолий Петрович, заранее зная, что ничего доброго главный зоотехник специально не скажет, а вот внести смятение в души руководителей среднего звена может запросто, тем не менее, даже не взглянув в его сторону, спокойно, даже буднично произнёс:

— Конечно! Только по существу рассматриваемого вопроса!

— Спасибо! Будьте добры, ответьте прямо, уж не собираетесь ли вы в нарушение распоряжения райкома и в самом деле начать копку картофеля раньше строго установленного срока? И если это так, то не скажете, какими рабочими силами думаете начать уборочную кампанию, ведь согласно постановления райисполкома выделить в помощь

совхозным рабочим учащимся городских профессиональных технических училищ и организаций вступит в силу не раньше первого сентября?

— Хотя к рассматриваемым сегодня вопросам, — хладнокровно ответил Анатолий Петрович, — ни вы лично, ни возглавляемая вами зоотехническая служба никакого отношения не имеет и иметь не может, я всё-таки отвечу на них так, как считаю необходимым. Во-первых, хороший руководитель не тот, кто сломя голову бросается выполнять спущенное сверху распоряжение, а тот, кто исключительно в интересах дела не боится брать на себя ответственность! Да и, в конце концов, не зря же в народе укрепилась выражение, что победителей не судят! Во-вторых, никакие учащиеся со стороны не потребовались бы, если своевременно были бы пущены в работу, а не стояли под открытым небом, ржавея и разворовываясь по частям, дорогостоящие капустные комбайны!

— И всё-таки! — никак не унимался самодовольный Бахтин. — Я понял, что уборку картофеля придётся начать своими силами! Так?

— На ваш вопрос, уважаемый Семён Викторович, — чувствуя, что душа начинает нервно закипать, сказал Анатолий Петрович, — я отвечу самым что ни на есть простым, но верным вопросом: а что в этом плохого?

— Ну, понимаете, каждый работник совхоза должен делать своё дело! К примеру, слесарь — ремонтировать технику, а не таскать мешки...

— В таком случае, пожалуйста, потрудитесь объяснить, почему учащиеся из города должны не постигать азы полюбившейся им профессии, а работать на уборке картофеля или рубке капусты?

— На свой вопрос вам, Анатолий Петрович, лучше попытаться получить ответ у первого секретаря райкома партии! — резко, с нескрываемым чувством неприязни произнёс Бахтин.

— Ошибаетесь! Ох, как вы ошибаетесь! Поскольку заработную плату за производство сельскохозяйственной продукции исправно получаем мы все, здесь сидящие, — и только! Послушал я вас — и тотчас вспомнил так называемых руководителей, которые дешёвым разглагольствованием пытаются заработать хоть какой-нибудь авторитет среди своих коллег. Недавно о таких товарищах, извините, которые мне совсем не товарищи, я, вспомнив юность, написал стихотворение “Болтуны”. Думаю, для всех присутствующих будет весьма полезно его внимательно послушать.

И Анатолий Петрович, повернувшись к окну, за которым хорошо виднелся большой частный огород с разросшейся буйно картофельной ботвой, правда, уже тёмно-зелёной, даже начавшей желтеть, что свидетельствовало о начале увядания, чеканя каждое слово, словно с клубной сцены, начал повышенным голосом читать:

*Вновь правду о дельцах не скрою...
Приняв сегодня на словах,
на самом деле меж собою
они его разносят в прах.
И, видимо, понять не в силах:
как это можно позволять
судьбу их прямо в коллективах,
открыто, миром всем решать.
Но мы-то знаем: всё им ясно,
и даже больше, чем другим,
но эта гласность, эта гласность —
она как суд извечный им!
Они не сеют и не пашут,
дома не строят, хлеб не жнут,
они с трибун руками машут
да речи-лозунги плетут.
Одно и скажешь: прохиндеи,
а если проще — болтуны,
взобравшиеся к нам на шею,
увы, без пользы для страны!*

Едва он закончил читать стихи, как Бахтин тотчас обиженно в суматошном крике чуть ли не до небес вихрем взвился:

— Вы сейчас нанесли мне жестокое оскорбление! Я буду жаловаться!

— Сколько угодно — это ваше право! — совершенно спокойным, твёрдым голосом победителя сказал Анатолий Петрович. — Тем более, надо ещё разобратсья, на что у главного зоотехника уходит больше рабочего времени: на работу или на писание

всяких доносов! И не смотрите на меня так удивлённо! Повторяю: доносов! И подписание более чем сомнительных договоров, о которых мне прекрасно известно! И я обязательно во всём разберусь! Ну, а пока не забудьте с завтрашнего дня немедленно приступить к выполнению приказа о комиссионной приёмке во всех отделениях заскирдованного сена! А то заготовители кормов из-за вашей, пока скажу так, нерасторопности не успеют вовремя прийти к полеводам на помощь!.. — И, быстро пробежав пытливым взглядом по напрягшимся лицам участвующих в совещании специалистов и управляющих, деловито спросил: — Ещё у кого-нибудь конкретные вопросы есть?

— Да какие могут быть вопросы! — сказал председатель профкома Авдеев. — Чай, не первый год будем убирать выращенный урожай!

— В таком случае, совещание объявляю закрытым!

Через два дня Анатолий Петрович, верный известной народной поговорке: “Доверяй да проверяй!..”, с целью ознакомления, как идёт на местах подготовка к уборочной, начал, где на моторке, где на “уазике”, управляемом Петром, объезжать все отделения — от самого ближнего Натурского до самого дальнего Беченчинского. Но везде, к сожалению, должен был снова и снова убеждаться, что одно дело — принять до мелочей рассмотренный производственный план, и совсем другое — успешно претворять его в жизнь. Если в каком-то звене не хватало денег, то в другом — запасных частей, а где-то просто механикам и бригадирам не хватало глубокого знания порученного дела. Одни проблемы Анатолию Петровичу удавалось успешно решить на месте, в отделении, другие — строгим озадачиванием по телефону главных специалистов управления совхоза срочными решениями неожиданно возникших вопросов, а вот для полного снятия технических проблем, порой самых сложных, требовалось срочно мчаться по тряскому, пыльному гравийному шоссе в районный центр, где чаще всего приходилось заезжать в “Сельхозтехнику”.

Она находилась сразу за каменным, высоким забором, по соседству с успешней всего за год стать родной Анатолию Петровичу “Сельхозхимией”, но не в специально построенных, а приспособленных под ремонтные мастерские, гаражи и склады старых, огромных и тёплых помещениях, в которых во времена строительства производственных мощностей алмазной промышленности в городе Мирном хранились завезённые в летнюю навигацию по Лене все необходимые строительные материалы, запасные части и механизмы. Пристроили только из щелевых бетонных блоков к торцу одного новоявленного гаража двухэтажную контору управления с окнами, выходящими на улицу Транспортную, за которой текла красавица Лена. Директором с самого создания организации вот уже на протяжении десяти лет бесменно работал Наумов Пётр Иванович, мужчина сорока лет, среднего роста, с начальственным животиком, при этом с сухощавым славянским лицом, на котором выделялись своей природной мудростью вдумчивые сине-голубые глаза, а тонкие губы говорили о сильном, волевом характере. Пётр Иванович заслуженно пользовался авторитетом как у совхозного директорского корпуса, так и у районного партийного начальства, ибо к порученному делу, к нуждам хозяйств и обслуживающих предприятий относился с пониманием и душой. Именно поэтому неоднократно выдвигался на должность заместителя начальника управления сельского хозяйства по механизации, но каждый раз вежливо отказывался, аргументируя своё решение тем, что он до мозга костей практикующий инженер. И действительно, мог, образно говоря, с закрытыми глазами не только умело и быстро собрать двигатель, но и отладить его на выдачу максимальной мощности, при этом ещё и расходуя минимум горючего!

Кабинет, который он занимал, был строго прямоугольной формы, небольшой; в нем смогли разместиться лишь длинный стол для совещаний да примыкающий к нему рабочий, на котором стояло несколько телефонов и аппарат внутренней громкой связи. Стены были аккуратно обшиты древесно-стружечными плитами, замешанными на смоле и покрытыми в несколько слоев весело переливающейся в свете олифой. С невысокого белёного потолка свисала обычная трёхрожковая люстра с закрытыми, матовыми стеклянными плафонами. Вдоль правой и левой стен стояли в длинный ряд стулья с обтянутыми дерматином сиденьями.

Можно было сказать, что с первого дня знакомства между Анатолием Петровичем и Наумовым сложились устойчивые, не то чтобы дружеские, но вполне доверительные отношения, позволяющие многие производственные вопросы решать по-деловому, чётко и быстро, а главное — грамотно! И в тот подготовительный период к уборочной, едва Анатолий Петрович зашёл в кабинет к управляющему “Сельхозтехники” с целью выпросить сверх лимита, установленного министерством, дефицитных запчастей для картофелеуборочных комбайнов и сварочных электродов, между ними с первых слов завязался обстоятельный, доверительный разговор, в ходе которого Наумов произнёс:

— Слышал, что ты решил механизировать обработку капустных кочанов, смонтировав для этого из ленточных транспортёров целую конвейерную линию! Это замечательно! Как и то, что для уборки картофеля закупил у меня целых десять комбайнов. Но с этим добрым делом встаёт и серьёзный вопрос: “А как будешь управляться с сортировкой клубней, которые только в одном центральном отделении хлынут потоком сразу от пяти комбайнов и трёх навесных копалок?”

— Имеющимися сортировками!

— Хорошо! Только, если ты не знаешь, то я тебе точно скажу, что их производительных мощностей хватит на безостановочную работу в поле всего двух, максимум — трёх комбайнов!

— Если это действительно так, то что же ты предлагаешь?

— Я ещё три года назад завёз из Якутска самый настоящий сортировочный комплекс мощностью в сто тонн за смену! Этого с лихвой хватит для уборки картофеля одновременно с площади двадцати гектаров! Но ни один из директоров, которым я предлагал приобрести этого гиганта, на покупку его не согласился, — чудачки, да и только!

— А может, просто твой чудо-комплекс совхозам не по карману?!

— Да, ничего не скажешь, стоит он прилично! Но ведь и отдача от него огромная! У тебя, Анатолий Петрович, в районе самые большие картофельные площади. Хорошо зная твой характер, уверен, что ты их ещё больше увеличишь. Так покупай, слово даю, не пожалеешь! Или я хоть когда-нибудь советовал тебе не по делу, не по совести, без перспективы?..

— Нет! Но твоё предложение настолько неожиданно, что было бы хорошо экономически все плюсы и минусы просчитать!

— Считай! Только моргнуть глазам не успеешь, как уборочная кампания ко двору твоего совхоза на горячих вороних подскочит!..

— Это точно!

— В таком случае...

— В таком случае, беру соватанный тобой мне комплекс! Но на двух неменных условиях! Первое — это в разумную рассрочку! Второе — ты к началу уборки картофеля своими силами смонтируешь комплекс непосредственно рядом с хранилищами, чтобы можно было ещё и полностью механизировать засыпку всего семенного материала!

— Согласен! Да как поступить иначе, если я ещё и денег на монтаже, да и перевозке деталей сортировки заработаю!

— Вот и хорошо! Вот с этим я тебя и поздравляю!

Анатолий Петрович снова на директорском “уазике”, чей спидометр за последнее время намотал не одну тысячу километров, понёсся в обратную сторону, но не прямо домой. Несмотря на то, что уже вечерело, решил ещё заехать по дороге в Батамайское отделение, чтобы собственными глазами убедиться, оправдался ли его риск: он в самом начале директорства под свою ответственность, письменно закреплённую, взял из местной колонии на должность управляющего молодого уроженца заполярного морского порта “Черский”, выпускника заочного зоотехнического факультета Якутского университета, осуждённого на три года за участие в коллективной драке со смертельным исходом, Геннадия Семёновича Корякина, тридцатилетнего, сухощавого, ниже среднего роста, с симпатичным, открытым лицом, со смешанными пополам русской и якутской кровью. На совещании по подготовке к уборочной кампании то ли потому, что от природы был немногословен, то ли оттого, что продолжал слишком стесняться своей судимости, он не проронил не слова, но, одним из последних выходя из кабинета, посмотрел уверенно в глаза директору, как бы говоря, что не переживайте, я вас не подведу!

Батамайское отделение отличалось от других, в первую очередь, высокими надоями коровьего стада, насчитывавшего двести пятьдесят голов, и такой природной полевой сложностью, как невозможность применять на уборке картофеля комбайны из-за пашни, сильно засорённой речным галечником, приносимым в каждое весеннее наводнение вместе с огромными льдинами. Поэтому вынужденно приходилось обходиться на уборке картофеля одними прицепными копалками, что было очень экономически затратно, трудоёмко, ибо требовало за каждым агрегатом закреплять до пятидесяти рабочих для собирания клубней в мешки, и ещё бригаду грузчиков в количестве десяти человек, которые в конце рабочего дня до ночи со всего убранного поля стаскивали и грузили в тракторные телеги мешки, предварительно накрепко завязав их шпагатом.

Анатолия Петровича молодой управляющий встретил, как и договаривались по телефону, у сельского клуба, ещё в первые послевоенные годы рубленного в лапу из сосновых, кондовых брёвен. В этом году его временно разделили деревянной тесовой

перегородкой на две половины — женскую и мужскую. Они были скреплены друг с другом в ряды при помощи стульев со спинками и тесно заставлены железными двухъярусными кроватями. В старом помещении остро пахло древесной смолой и сухим сеном, набитым в матрасы и наволочки. Была полностью готова к приёму городской рабочей силы и столовая, представляющая собой крытый тёсом и рубероидом высокий навес, под которым в два длинных ряда стояли сколоченные из строганных досок длинные столы и лавки. Для приготовления пищи у воинской части, охраняющей заключённых в колонии, находившейся в сосновом лесу на окраине районного центра, были взяты в аренду походные, на резиновом ходу, вместительные котлы. Под тесовым навесом, защищённым от частых осенних дождей рубероидом, проложенным в несколько слоёв, стояли ровно в ряд и полностью отремонтированные копалки, очищенные от ржавчины, с приводными цепями, жирно отливающими солидолом в электрическом свете, падающем от фонарей-прожекторов, закреплённых на столбах по всему периметру технической бетонной площадки.

Подготовительными работами, проведёнными в полном объёме для успешной уборки картофеля, Анатолий Петрович остался доволен, но ему ещё очень хотелось посмотреть и капусту, своими глазами убедиться, что и здесь она уродилась на славу, однако темень сгустилась настолько, что в двух шагах ничего не было видно, и он не без тревоги спросил:

— Геннадий Семёнович, а как, по-вашему, наливаются вилки?

— А куда они, родные, денутся? Полным ходом! Да и разве иначе может быть, когда сильных лесных пожаров в этом году не было, солнечного света хватало, полив до сей поры производим два раза в неделю, а вчера еще раз капусту подкормили калийными удобрениями!

— А управляющий-то в самом деле толковый! В самом деле было бы хорошо, если бы он и после окончания невольного срока остался работать в совхозе, набрался бы опыта и, глядишь, через год-два лучшей замены, чем он, Бахтину не нашлось бы! А то ведь может запросто получиться так, что райком снова, когда я о дальнейшей работе его поставлю вопрос ребром, образно говоря, шило в мешке, а не грамотного, порядочного человека на должность главного зоотехника предложит, и никуда не денешься — согласишься со спущенной сверху, как по разнарядке, аховой кандидатурой...” — подумал Анатолий Петрович, но вслух заинтересованно спросил Геннадия Семёновича:

— Ты ходатайствовал передо мной о получении директорского согласия на вызов к себе семьи с Крайнего Севера. И что — вызвал?!

— Конечно, сразу, как вы на это дали добро! И жена с дочкой уже прилетели. Алёна, так зовут супругу, ужин приготовила, ждёт вас в гости!

— Подкрепите силы, да после тяжёлого, затянувшегося рабочего дня было бы и в самом деле совсем не лишним! Но, как сам понимаешь, время больно уж позднее! А надо ещё до дома не менее часа ехать. Не обижайся — зайду как-нибудь в другой раз. А в этот передавай своей распрекрасной Алёне от меня самое искреннее поздравление с прибытием на нашу ленскую землю! — тепло сказал на прощанье, крепко пожимая руку управляющему, Анатолий Петрович.

Едва он сел в машину, как Пётр спросил:

— Поедем в объезд или напрямик — в подъём?

— Ну, зачем время, которого и так до наступающей ночи — кот наплакал! — осталось, без толку терять? Конечно, напрямик!

— Я так же подумал!

Пётр, включив передний мост, уверенно вывел “уазик” на двухкилометровую дорогу с глубокими песчаными колеями, ведущую по крутому, лобастому склону на самый верх сопки, где проходила соединяющая Ленск с Ньюей за многие годы езженная-переезженная по производственной и личной надобности гравийная трасса. Фары, включённые на дальний свет, выхватывали из кромешной темноты лишь стоящие вдоль обочин вековые, меднокорые, с хвойными, густыми кронами сосны да редкие можжевельниковые кусты. Но Анатолий Петрович знал, что вокруг на сотни километров простирается труднопроходимая тайга со стелющимся сплошным ковром сочным оленьим серым мхом, из которого вот-вот должны начать выглядывать белые грибы, но с коричнево-чёрными шляпками. Собрать их было одно удовольствие. Только вряд ли этой осенью из-за работы, которой, как всегда, не в продых, удастся выкроить хотя бы полдня, чтобы вдоволь порадовать грибную душу.

— А всё-таки, как здорово провели бы мы с Марией ближайшее воскресенье! — стал думать Анатолий Петрович. — С утра пораньше, когда ещё на нижних ветках деревьев белёсый, густой туман, как ключья медицинской стерильной ваты, висит повсюду в лесу на густых, тянущихся вверх ветках, а солнечный золотистый свет, радушно озаряя

острые, как пики, верхушки, пятнает хвойные тропинки, вьющиеся между могучими стволами, где-нибудь на полянке, поросшей брусничником, устроили бы привал, сложили бы у корневича огромной разлапистой лиственницы рюкзаки с продуктами и с одними ведрами, налегке, лишь вооружившись острыми ножами, побрели бы по бору, вглядываясь и вглядываясь в мох, один за другим находя и срезая любимые белые грибы, от одного прикосновения к которым на душе светлеет, да настолько, что хочется негромко, пусть про себя, но влечь петь.

К обеду, немного притомившись, но с верхом наполнив ведра лесным даром, вернулись бы на полянку, где я из сухого хвороста быстро развёл бы из-за безветрия ровно горящий, но от этого не менее языкастый костёр, вспыхнувший жарким вертлявым пламенем, словно исполняющий какую-то языческую пляску древних якутов; вскипятил бы воду, а Мария на взятом с собой куске материи разложила бы продукты, и мы с огромным удовольствием на чистом, как стерильные бинты, пропитанном терпким запахом хвои, прохладном воздухе подкрепили бы силы бутербродами, запивая их горячим чаем. Красота, да и только!

Потом дражайшая супруга, оперевшись спиной о могучий ствол, вытянула бы свои стройные, натруженные ноги, а я, удобно, как на подушку, положив на них голову, разлёгся бы и, блаженно чувствуя, как Мария то нежно гладит меня по волосам, то игриво накручивает их на палец, смотрел бы и смотрел в высокое, синее небо. К этому времени солнце перевалило бы через свой экватор, прогрел воздух настолько, что его можно было вдыхать всей грудью до лёгкого головокружения от чистейшего озона. Он оказывал бы на душу успокаивающее действие, и мысли, словно перистые облака в вышине, снизу позолоченные золотистыми лучами, поплыли бы ровно, как будто в жизни нет ни тревожных забот, ни горестных печалей... А где-то в глубине чащи щедрая кукушка, усевшись на самый высокий сук, наобещала бы целый короб счастливых лет жизни. И хоть я принимал бы, что она безответственно напропалую врёт, всё равно мне было бы ох, как приятно..."

— Анатолий Петрович! — вдруг почему-то неожиданно как-то уж очень тоскливо раздался голос Петра. — Пока вы были погружены в свои размышления, мы с вами уже почти и приехали!

— Да?! Но это же хорошо!

— Согласен! Только с такой, можно сказать, круглосуточной работой жена меня скоро точно из дома выгонит или на развод подаст!

— Что так?!

— А подумайте сами: на кой ляд я ей нужен, если вот уже неделю, причём каждый день приезжаю домой за полночь, когда она уже давным-давно без задних ног спит, а уезжаю на работу, когда, сколь гляди не гляди — даже признаков её пробуждения не видно!

— Уж не хочешь ли ты, уважаемый товарищ, откровенно признаться, что свои супружеские обязанности не выполняешь в полной мере?! — в меру шутливо спросил водителя Анатолий Петрович.

Но тот на полном серьёзе воскликнул:

— Вот-вот! Но я был бы рад, но — когда?!

— Ох, и не говори... У меня, честно говоря, такая же история: в последнее время только чувствую тепло, исходящее от тела жены, да слышу её сладкое сонное дыхание. Но ведь тот бешеный рабочий ритм, который я задал нам обоим, временный! И продиктован исключительно заботой о нуждах рабочих, государства, наконец! И потом, уверен, что наши дорогие женщины, если даже нас не поймут, то в обязательном порядке простят — не глупые же...

— Анатолий Петрович, как порой говорят между собой, да и нам, молодым, наши поселковые старики, от времени словно обросшие, как вековые пни густым, лохматым мхом, прозорливой мудростью, ваши справедливые слова — Богу бы прямо в уши!..

30

Больше недели ушло на рабочий объезд всех пяти отделений совхоза, готовящихся к уборочной. За это тяжёлое время, когда в сутки удавалось отдохнуть во сне не больше пяти часов и порой оставаться без обеда, Анатолий Петрович сильно спал лицом, скулы обострились, живот втянулся, и он стал походить на себя — студента-заочника после сдачи полуторамесячной сессии за десять, максимум, двенадцать дней! Но его синие глаза, ставшие ещё больше, от сознания на совесть выполненного намеченного плана удовлетворённо светились тем светом, когда жизнь кажется прекрасной, а о неминуемой смерти совсем не думается даже в самые тягостные минуты. Ведь бешеный рабочий ритм оказался оправданным, и точно двадцать четвертого августа,

как и было условлено на совещании, управляющие по телефону доложили, что подготовка к уборочной в полном объёме завершена. Лишь в одном отделении, самом ближнем после центрального, том самом, что находилось за величественной Леной, — Наторинском — из-за внезапного выхода из строя двигателя единственной в совхозе самоходной баржи необходимое для проведения уборочных работ количество горюче-смазочных материалов, как в ответ на строгое замечание пообещал управляющий, закончат силами “Сельхозтехники” завозить только сегодня.

Но Анатолия Петровича это хотя и расстраивало, но не пугало, ибо он был уверен, что упущенный день наторинцы быстро наверстают. Живя на протяжении многих веков по несколько месяцев в году — и в наводнение, и в ледостав — оторванно, как на острове, от всего мира, они привыкли бытовые и производственные проблемы разрешать всем коллективом, дружно, с полной самоотдачей не только рабочих, но и приходивших на помощь их подросших детей. Поэтому Анатолий Петрович не без основания спокойно подумал: “А какой будет день — двадцать шестого?” — и, быстро посмотрев на настольный, перекидной календарь, прочитал: пятница! Это значило, что если даже немного позже, чем строго намечалось, он прикажет начать уборку картофеля, хотя бы в одном — центральном отделении, то его точно до понедельника — целых три дня! — никто из райисполкомовских чиновников или управления сельского хозяйства сурово не одёрнет, грубо не попытается поставить на место, заставляя придерживаться спущенных сверху, как с потолка, сроков уборочной кампании. А тем временем производственный маховик уборочной удастся раскрутить настолько, что его остановить не решится даже первый секретарь райкома!

“Ну, не здорово ли? Здорово!” — про себя воскликнул Анатолий Петрович. Его душу охватила радость, которой тотчас захотелось поделиться с любимым человеком, и он немедленно направился в кабинет растениеводства. Проходя через приёмную, весело подмигнул секретарше, от чего она, смутившись, опустила подкрашенные чёрной тушью глаза и ниже склонилась над печатной машинкой. В коридоре приветливо поздоровался с главным инженером, направлявшимся в экономический отдел с какими-то важными бумагами текстов, расчётов и графиков. Однако когда, словно весенний, свежий ветер, распахнул дверь с табличкой “Главный агроном”, вынужден был встать, как вкопанный, ибо увидел перед собой сидящего, как ни в чем не бывало, на стуле с мягкой спинкой между столами жены и Виктории Николаевны Хохлова, одетого поперх светлой рубашки в строгий чёрный костюм, к которому был тщательно подобран свободно повязанный, тёмный в белую полоску шёлковый галстук. В такой одежде он походил на какого-то великосветского щёголя, срочно приехавшего по приглашению на очень важный для себя праздник, а не в качестве представителя управления в рабочую командировку. Оценив ослепившего своего бывшего подчинённого, Анатолий Петрович, конечно, напрочь забыв о причине своего появления у агрономов, подчёркнуто не поздоровался с Хохловым первым, что не делало ему чести, и, понимая это, он, недовольный собой, порывисто вошёл в кабинет с многозначительным вопросом:

— А что тут у нас главный агроном района делает?

— Так я ведь к вам не в первый раз приезжаю! — немного смутившись, как можно важней ответил Хохлов, автоматически пригладив русые волосы, аккуратно зачёсанные набок. — Да что-то всё никак вас застать в кабинете не могу, говорят, вы с утра до ночи по отделениям мотаетесь! А цель моей командировки состоит в том, чтобы окончательно определиться с урожайностью капусты в совхозе, поскольку в других хозяйствах района виды на него, честно говоря, неважные.

— Что так? Вовремя не пропололи, не полили, как надо, по норме не подкормили необходимыми минеральными удобрениями?

— А я-то откуда знать могу!

— Согласен!.. И вопрос свой я снимаю! Но задам другой: “Чего следует ожидать от выполнения тобой задания руководства?”

— Думаю, пересмотра разрядки поставок!

— А как же в таком случае быть с договорами, ведь для того они и заключаются, чтобы выполняться, ибо за ними живые люди стоят?!

— Правильно вопрос ставите! Но высокопоставленным отцам района, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Исходя из этого, они думают, в первую очередь, о рабочих родного города, тем более, что многие из них трудятся на предприятиях алмазной промышленности. Таким образом, договора поставки не сильно-то и будут нарушены.

— Ну, а что тогда сидишь, ляды с женщинами занятыми точишь! Думаю, пора вспомнить, зачем приехал! Или дорогу на капустные поля забыл, без провожатого никак не обойдёшься?

— Да не мешало бы кого-нибудь из агрономов со мной отправить! — словно утопающий за соломинку, жадно схватился за предложение директора почему-то враз покрасневший Хохлов.

— Виктория Николаевна мне самому по срочному делу нужна! Значит, Мария Васильевна, ты одна остаёшься! — обратился директор к жене. — Пойдёшь к представителю управления в провожатые?

— Как скажете!..

— А я промолчу — сама решаю!

Анатолий Петрович вышел из кабинета. На прозвучавший ему вслед голос Виктории Николаевны: “Так мне с вами идти?” — ответил не без удивления: “А как же! И побыстрее, пожалуйста!” И когда они пришли в директорский кабинет, он сразу же, лишь дав Кокорышкиной сестрь поудобней на стоящий у стола совещаний стул, заговорил:

— В общем так. С завтрашнего дня начинаем уборку картофеля своими управленческими силами, да и других пока нет. Необходимый приказ сроком действия до первого сентября по совхозу я подпишу сразу, как он будет готов. Организацию работ и их ход возлагаю на тебя. В конторе, чтобы меня по пустякам не отвлекали, оставь одну секретаршу, а в мастерских — лишь техническую бригаду, монтирующую капустный конвейер. Всех женщин отряди для работы на сортировке и на комбайнах, а мужиков — во главе со мной! — под мешки. Всё поняла?!

— Кажется, да! А вам вопрос можно задать?

— Можно! Но коротко!

— А вы, Анатолий Петрович, не боитесь печальную судьбу всех своих четырёх предшественников горько разделить? Ведь это же просто!..

— Даже и не думаю об этом! В народе правильно говорят: “Волков бояться — в лес не ходить!..” Да и потом, я ведь от природы ещё тот максималист! Мне, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах! Ладно, иди уж. Хотя постой-ка! Я давно хотел тебя спросить, да всё никак времени подходящего не находил.

— О чём?

— Скажи, как на духу, что за чёрная кошка между тобой и моим любимым отцом в недалёком прошлом пробежала?

Кокорышкина, глубоко вздохнув, задумалась, словно решала, отвечать или не отвечать. Наконец, собравшись с духом, заговорила:

— Тогда в отделе работал трактористом Дмитрий Николаевич Авдеев, небольшого росточка, но страсть как вечно то тем, то другим недовольный. В твоём отце ему конкретно не нравилось, что тот всячески помогал, порой и за счёт совхоза, рабочим: одному за полцены пиломатериал на постройку личного дома отпустит, другому трактор на вспашку приусадебного участка по льготной цене даст, третьему выделит машину для перевозки на городской рынок сельхозпродукции, выращенной своими руками. Всё это, может быть, было бы и ничего, но Авдеев ещё и доносы в дирекцию на твоего отца строчил, и не случайно, ибо знал, что многие главные специалисты совхоза всё никак не могли простить своему управляющему то, что он как бы в обход их, на самом деле просто проявил хозяйскую инициативу и заключил с алмазными предприятиями в Мирном шефские договора, на основании которых они за свой счёт мощными бульдозерами за одну зиму целых сто гектаров леса свели! Сколько же денег совхоз на этом сэкономил! За такое дело вместо того, чтобы к государственной награде представить, твоему отцу за самоуправство строгий выговор самодовольные завистники объявили! А потом вообще по-иудски поступили: взяли и голую землю на баланс отделению как полноценную пашню поставили, пустили в оборот, и уже следующей весной в приказном порядке заставили посадить на ней картофель. Будто не понимали, что, как бесплодная женщина рожать не может, так и от земли, ни грамма не удобренной, с нулевым содержанием гумуса урожая ждать всё равно, что у моря погоды! Естественно, план по выращиванию картофеля отделение завалило! А спрос за это с кого? С руководства! Вот твоего отца, не посмотрев даже, что ему до пенсии чуть больше года оставалось, сняли с должности управляющего и, как в насмешку, в разнорабочие перевели! Лучше бы, чтобы враги в глаза заслуженному человеку не злорадствовали, вообще уволили из совхоза. Но твой отец на такую подлую поверку оказался человеком очень сильным духом. Выполнял все тяжёлые работы так, как будто ничего с ним плохого не произошло, лишь задумчивый взгляд порой говорил, как ему было обидно. Потом, уже накануне выхода на пенсию, зимой в цеху по изготовлению из торфа горшочков для капустной рассады ночами печку топил, да посадочные ящики из обрезного теса сколачивал, а летом, вооружившись лопатой, кайлом и ломом, продолжал претворять в жизнь свою сокровенную мечту, закладывавшуюся в том, что за счёт разницы высот между озером Теллях и совхозными пашнями пустить на них самотёком

для полива картофеля и овощей воду, считай, задарма — деньги требовались лишь на эксплуатацию нескольких дождевальных установок! Благо, гидросооружение в виде дамбы, позволяющей поднимать уровень воды в озере до необходимой отметки, было построено шефами ещё во время, когда отделением он сам руководил. И оставалось ему только до нужных отметок спланировать по нисходящей сваренный из толстенных труб водовод. Помню, в воскресенье идёшь в лес по ягоды, по грибы ли, а он всё, как заводной, то землю тяжёлую суглинистую лопатой копает под листовничными лёжками, то ломом орудует, выравнивая трубы, то кайлом плитняк долбает. Рубашка на нём от пота была мокрая до того, что хоть выжимай. Но как бы ему тяжело, с надрывом ни дышалось, он на обычное при встрече с работающим человеком “Бог — в помощь!..” обязательно, пусть через силу, но светло улыбался, благодарил. И добился же своего: потекла вода самотёком, как миленькая! Года три трудом твоего отца, считай, задарма, но с огромной выгодой для отделения пользовались.

— Только три года? А что с водопроводом случилось потом?..

— Суп с котом! Пшик! Да и только!

— Это как же?

— Очень просто! Создали ещё одну обслуживающую совхозы организацию “Мелиорация”. Строительные объёмы для работы ей нужны были? Нужны! Так вот, в погоне за ними даже на то пошли наши бывшие районные горе-руководители, что дармовую, высокоэффективную поливную систему — детище твоего отца — забросили. Да и почему это не сделать? Ведь, во-первых, совхоз на её строительство никаких затрат не понёс, во-вторых, на балансе она нигде не числилась, как бы и вовсе не существовала никогда. Значит, и спроса за неё никакого! Вот и сварили новый водопровод, только уже от Лены, вогнали в это дело миллионы рублей — и никакого мошенничества! А то, что совхоз вынужден был закупать мощные дорогостоящие насосные станции, чтобы сначала поднять воду на стометровую береговую высоту, а потом гнать её несколько километров в обход посёлка на поля по трубам, никого из дирекции не волновало, как и то, что за эксплуатацию новой поливной системы пришлось чужой организации в лице “Мелиорации” большие деньжищи отваливать! А почему? Да потому, что рублики без счёту, можно сказать, на ветер выбрасывали не свои кровные, потом да здоровьем заработанные, а государственные. Одним словом — бардак!

— Может!.. Но сейчас газетчикам стало модно это наперебой характеризовать как экономический, затяжной спад! Хотя — хрен редьки не слаще! Но ты свой исповедальный рассказ закончила?

— В общем-то, да!

— Слушал я тебя, Виктория Николаевна, и ещё раз удивлялся. Ведь получается, что годы сменяются годами, десятилетия — десятилетиями, с ними меняется природа окружающей среды, совершенствуются орудия труда, в квартиры приходит бытовая и электронная техника, облегчающая домашний труд, а вот пороки человеческие словно из одной души, как полноводные реки, в другую перетекают, обедняя человеческую жизнь и делая её нестерпимой для порядочных, честных, трудолюбивых людей. Понимать это настолько противно и обидно, что порой даже жить не хочется, а надо! Причём во что бы то ни стало! Может быть, только потому, что, как говорят в народе, надежда умирает последней!

Анатолий Петрович посмотрел на часы: время подходило к обеду, надо было заканчивать разговор. Несмотря на это, он испытующе посмотрел вдруг ставшим строгим взглядом прямо в спокойные глаза Кокорышкиной и жёстко, с металлической нотой в голосе сказал:

— Все, что ты, надеюсь, честно поведала, отвечая на вопрос, меня не расстроило, не удивило! Возмутило одно: как ты, мать пятерых детей, могла пойти на поводу стукача Авдеева? Ну, ладно, он без души, но ты-то женщина душевная! Или я ошибаюсь? В любом случае, извини, что коснусь твоего прошлого. Потеря первого любимого мужа вместо того, чтобы сделать тебя более участливой к проблемам других, неужто в самом деле обернулась жестокосердием, и ты стала похожей на того человека, который, убиваясь в горе, плачет не потому, что его корова сдохла, а потому, что у соседа всё ещё жива! Но ведь это непозволительно дико! А теперь знай, что смерть твоего Алексея по времени пришлась на мою работу двенадцатилетним парнишкой на высадке поздней весной капустной рассады в поле, на участке Подмогильник. Он был нашим бригадиром. Именно он давал мне ежедневно задания и принимал их выполнение, при этом его голубые глаза светились добрым, я бы даже сказал, отеческим светом. И он как человек настолько глубоко запал в мою юную душу, что когда, словно гром среди ясного неба, до меня донеслась весть, что он в густом ельнике, в каких-то пятистах метрах от поля, наложил на себя руки, я испытал горе, сравнимое лишь с потерей кого-нибудь из

родственников! Как тогда, я и сейчас не хотел бы знать, что именно толкнуло его на такой отчаянный шаг, хотя, как говорится, шила в мешке не утаишь, и по деревне гуляли слухи о твоей измене ему с тем мужчиной, с которым ты сейчас живёшь. Каждый раз, когда я проходил мимо места, где он так трагично свёл счёты с жизнью, то я не только жалел его, но и думал о тебе, молодой матери, оставшейся с четырьмя детьми, один другого меньше, на руках. Из этого выходит, что у меня, пацана, ещё почти ничего не видевшего в жизни, многого не понимавшего, душа оказалась куда отзывчивей, извини, человечней, чем твоя! Поверь, так сурово может, даже жёстко, я говорю не потому, что обижен за любимого отца, нет! Во мне в голос кричит протест против бездушия, зависти, подлости, бесчестья — всего того, что нас, людей, превращает в самых настоящих животных! Поэтому я ничуть не обвиняю тебя, а глубоко сожалею, что, пусть на время, пусть, как говорят, чёрт попутал, но твоя душа, как больные глаза, ослепла! И лишь одно может тебя в какой-то мере оправдать — это любовь, пусть не первая, но настоящая, очистительная для каждого человека в том смысле, что делает его по-настоящему участливым к другим суровым судьбам... Но ведь этого, если судить по примеру с моим отцом, не произошло! Так что извини, но тебе надо, ох, как отмаливать грехи свои...

Во время своей речи Анатолий Петрович даже не заметил, как вышел из-за стола и, нервно пройдя по кабинету взад-вперёд, стал, отвернувшись от своего главного агронома, смотреть в окно, словно в её лице говорил со всеми теми людьми, чьи самодовольные, наглые рожи благодаря сильно развитой зрительной памяти видел перед собой. Это были люди, которые сыграли в судьбе отца такую неприятную роль, что её простить и забыть было невозможно, сколько бы времени ни прошло! Кокорышкина сидела, напрягшись всем телом, видно, вполне понимая справедливость сказанных ей молодым директором слов, и даже не пыталась хоть что-то сказать в своё оправдание. Анатолий Петрович принял это за пускай позднее, но глубокое раскаяние и, когда закончил говорить, вернулся на место, в душе почти успокоившись, вполне мирно заключил:

— Ладно, как говорят, проехали! Жизнь продолжается, и сейчас главное делать её такой, чтобы никогда, никому за неё не было стыдно!

— Вы совершенно правы! Только после вашей суровой речи, прозвучавшей для меня едва ли не приговором, мне ничего не остаётся, как только заявление на увольнение писать...

— Нет! И не потому, что за одного битого семь небитых дают, а потому, что мы, работая вместе на разрыв аорты, должны всем свидетелям того печального времени доказать торжество справедливости над злом! — и уже добрым тоном, словно только что не гремел словами, как раскатистый весенний гром, произнёс: — Да, Виктория Николаевна, круто мы с тобой поговорили, только так увлеклись, что время обедать пришло! А ты мне так и даже словом не обмолвилась о своих отношениях с отцом, верней я, с головой вошедший в горячий раж, не дал тебе это сделать!

— Согласна! Но и сказать-то мне нечего, кроме того, что я по старой дружбе, начавшейся ещё в школе, связалась с Авдеевым, поддерживала его везде, где только могла. Вот и выходит, что в самом деле грешна я!

— Бог рассудит! — сказал Анатолий Петрович, — Только воистину верно сказано об осознании вины таких, как ты: “Лучше поздно, чем никогда!..” На этом наш разговор заканчиваем. Или хочешь ещё что-то сказать?

— Да ведь если мы коснулись не такого уж дальнего печального прошлого, то мне хотелось бы выяснить всё до конца!

— Я не против! — легко согласился Анатолий Петрович. — Но при одном непременном условии, что ты накормишь меня своим вкусным обедом, ведь на дорогу домой и обратно по любому не меньше часа уйдёт! А дел важных, запланированных на сегодня, ещё хоть отбавляй, и будь у меня такая возможность, я бы смело отбавил!

— Да без вопросов! Тем более, что, как в посёлке говорят, фазенду, положенную директору по должности, вы нашей семье выделили, а я вас даже на новоселье не пригласила, застеснялась что-то!

— Ладно, спрашивай, что ещё тебя волнует!

— Почему вы, в то время молодой, работающий, вскоре после отстранения отца от руководства отделением уволились и, если верить поселковым бабам, то даже в Мирный уезжали, где работали мотористом то ли на алмазоперерабатывающем комбинате, то ли на автобазе, на огромных машинах руду из карьера возили?

— Точно, уезжал! И причина для этого у меня на самом деле была. Новый управляющий как-то в начале осени, по своему обычаю под хмельком, приехал на картофельное поле, посмотрел со стороны, как споро идёт уборка, да и поднялся на ходу ко мне, на мостик машиниста. Несколько минут вглядывался в поднятую ножами земляную ленту с ботвой и клубнями, которая по транспортёру, пройдя между комкователями,

должна поступать на поднимающий элеватор, и, прекрасно видя, что в накопительном бункере нет ни одной даже поцарапанной картофелины, все же, издевательски улыбаясь, спросил:

— А тебе, Анатолий, не кажется, что мелко копаешь?

— Не кажется! — обидчиво ответил я, ибо сразу понял, почему управляющий мне задал именно такой вопрос. Тем не менее я, до хруста сжав зубы, призвал на помощь волю, чтобы как можно спокойнее спросить: — А вообще-то, чем это вы так обеспокоены?

— Только тем, что не весь картофель будет выкопан!

— Извините, но как такое может быть, если вы своими глазами прекрасно видите, что все клубни невредимы? Если я ножи опущу ниже, то земля, не успев просеяться, поступит на стол, где женщины, откидывающие мусор, ещё будут вынуждены очищать картофель и от нее, то есть по сути делать пустую, лишнюю работу. В результате этого, как куры в пыли, они вконец запурхаются, а главное в другом, более серьезном — комбайн встанет или, того хуже, не выдержав неоправданной земляной нагрузки, надолго выйдет из строя! Чем это обернется для отделения в такое горячее время, когда вот-вот ударят морозы, а выпавший за одну ночь метровый снег похоронит все великие летние труды растениеводов, не мне вам объяснять!

— И всё-таки! — не унимался хмельной управляющий, продолжая идиотски улыбаться. — Попробуй копать поглубже!

Вдруг я понял, что он просто не доверяет мне! Подло думает о моей мести за отца! Мерзавец — и только! И вместо того, чтобы исполнить просьбу этого, так сказать, начальника, я сказал, как отрезал:

— Знаете, я бы ещё понял ваше незнание технологии уборки, но простить вам мелочную подозрительность, унижающую меня как честного работника, — никогда! Не мешайте работать другим, если сами к своему седовласому возрасту так ничему и не научились!

А на завтра, несмотря на то, что о другой работе даже и не думал, я без объяснения причин уволился по собственному желанию!

— Ну, и правильно сделали! Тем более, что ваша судьба в скором времени пошла в гору. И, словно во имя восстановления справедливости, вернула, можно сказать, в родной совхоз, где началась ваша трудовая биография. Да и как вернулись-то! Можно без всяких натяжек сказать, на белом коне, ибо заняли, будто прежде ваш отец, не должность управляющего, а самого директора! Представляю, как тот же Авдеев сейчас задыхается в бессильной злобе. Но хватит ли вам, Анатолий Петрович, сил, чтобы поставить окончательно на своё место некоторых — надеюсь, что вы знаете, кого именно, — главных специалистов, всё ещё работающих не по совести, а из-за страха перед вашим крутым характером, вашей напористостью, которой они словно оглушены! Но ведь придут в себя, сговорятся против вас!

— Не переживай, это вряд ли может случиться! Моя уверенность базируется на том, что, во-первых, ну, совсем некогда будет им подлой ерундой заниматься, во-вторых, себе же станет дороже, ну, а в-третьих, никакого терпения у них не хватит, ведь я пока совхоз, как прежде другие предприятия с ничуть не меньшими проблемами, из отстающих в передовые не выведу, никуда, даже на очередное повышение не пойду!

— Хотела бы я дожить до исполнения вашей мечты, да боюсь, не получится — годы-то своё берут! Уже на следующий год на пенсию выйду, внучат буду нянчить, у меня их ого-го сколько!

— А за нашими с Марией детьми будешь приглядывать, когда мы в отпуск на мой любимый Кавказ уезжать будем? — вдруг спросил Анатолий Петрович, чем красноречиво дал понять своему новому главному агроному о совершении окончательного и бесповоротного примирения.

— Почему бы и нет! — тотчас услышал он в ответ.

— Несмотря ни на что, всё же ты, Виктория Николаевна, хороший человек! — как бы подытоживая разговор, сказал Анатолий Петрович. Но вдруг по глазам собеседницы увидел, что она до конца не удовлетворила свою любознательность. И, представляя ей возможность задать все волнующие её женскую душу вопросы, нетерпеливо спросил:

— Если я не ошибаюсь, то у тебя ещё что-то вертится на языке?

— Да! Но даже не знаю, как сформулировать совсем не простой вопрос, — уж больно он деликатный, касающийся лично вас!

— А ты не мудри! Задавай его напрямую, в лоб!

— Хорошо!.. В общем... Вы на Марии правда женились по любви?!

— Интересный вопрос!.. — многозначительно сказал Анатолий Петрович и сделал продолжительную паузу, словно решил совсем не отвечать или хотел хорошенько

собраться со сложными мыслями, тяжело, как камни на дне горной, со стремительным течением реки, заворочавшимися в голове. Наконец, вместо того, чтобы начать отвечать, спросил:

— А если не секрет, пожалуйста, скажи-ка мне, чем именно вызвано такое пристальное внимание к моей личной жизни?!

— Понимаете, в посёлке родственники вашей первой жены, как лопухи листья по теплу, распускают слухи, что вы женились по расчёту!

— Почему-почему?! — Анатолий Петрович удивился вопросу не меньше, чем внезапному проливному дождю в ясный день.

Но Виктория Николаевна, хотя и поняла, что вызвала горькое недоумение в душе человека, все же решила получить исчерпывающий ответ, тем более, что привыкла любое дело доводить до конца:

— Чтобы стать директором!

— Вот глупость какая! Но меня огорчает другое, то, что ты, прекрасно это понимая, пошла у слитен на поводу! Зачем?

— Да вашу супругу Марию жалко! Больно добрая она! И, как мне кажется, на своём небольшом жизненном веку уже так обожглась кипятком, что на воду холодную дует!

— В таком случае я тебя очень даже хорошо понимаю и со всей ответственностью серьёзного человека отвечаю: “Люблю я свою жену, люблю!” Такое признание, надеюсь, тебя успокоит?

— Вполне! И ещё раз извините меня!

— Ладно! Как говорится, с кем не бывает!..

Вернувшись после обеда в кабинет, Анатолий Петрович, чтобы не отрываться от уборочной в пятницу и субботу, решил подписать все важные документы, подготовленные службами главных специалистов. Но их оказалось так много, что, когда он поставил подпись на последнем и положил его в растолстевшую папку “К исполнению”, за конторским окном стало быстро смеркаться. Как быстро ни шёл он с работы, к своему дому подходил почти в непроглядной, густой, словно хорошая сметана, тёмно-синей темноте. Мария давно приготовила, как всегда, вкусный ужин, но почему-то на удивление сухо поприветствовав мужа, пошла на кухню разогревать еду и накрывать на стол. Анатолий Петрович, помыв руки, сел на своё место у окна, невольно искоса следя за женой, поскольку она, обычно разговорчивая, интересующаяся, как прошёл рабочий день, в этот поздний вечер было словно сама не своя...

Чёрные, тонкими дугами брови сдвинула к самой переносице, тем самым показывая, что её одолевают какие-то больно уж непростые раздумья.

— Мария, дорогая, что-нибудь плохое случилось, уж не заболела ли ты?! — встревоженно спросил её Анатолий Петрович.

На мужний голос жена, резко вскинув голову, посмотрела отсутствующе в сторону и лишь через некоторое время, как будто собиралась с тяжёлыми мыслями, словно через силу ответила:

— Да вроде всё нормально! Может, просто мне что-то и правда нездоровится!.. Ты почему сегодня на обед не приходил?

— Так получилось, что из-за нехватки времени к твоей начальнице на обед напросился, да заодно и посмотрел коттедж, в котором мы с тобой должны были в любви да согласии проживать. Он мне понравился! Отдельно стоящий на самом берегу, четырёхкомнатный, с большими окнами, выходящими на красавицу Лену, по которой, к какое время суток ни посмотришь, обязательно увидишь то вниз по течению, то вверх плывущие грузовые и пассажирские суда! А моторные лодки вообще одна за другой снуют, стройно жужжа, как пчёлы. Мне даже ярко вспомнилось одно лето, когда я, девятиклассник, в отделении временно подрабатывал мотористом, возил на дальнюю ферму — это за тридцать водных километров! — каждый день, неважно, дождь ли льёт или ведро стоит, свежевыпеченный в сельповской пекарне хлеб. Вот налюбовался-то речными пейзажами! А скалы-то, скалы какие напротив старого, исконно русского посёлка Джерба — одно загляденье: высоченные, как пики, острые, уходящие глубоко в чёрную, затенённую от солнца воду, которая стремительно течет мимо них — смотри, не зевай, а то и ахнуть не успеешь, как о гранитные стены лодку в щепки разобьёт!

— Ты с таким упоением вспоминаешь! — сказала Мария. — На таком душевном подъёме говоришь о бывшем директорском коттедже, о событиях юности, связанных с ним, что невольно возникает вопрос: а ты в самом деле не жалеешь о таком щедром подарке семье Викторова?

— Что ты, милая, такое говоришь! Разве можно жалеть о добром поступке, добровольно, с душой сделанном?! Конечно, нет! Не знаю, поймёшь ли правильно своего супруга, но в ранней юности на моторной лодке “казанке” я часто в выходные ездил на

другой берег Ньюи, где от её широкого устья в обе стороны, и вверх по течению таёжной реки до самого Красного камня тянутся кварцевые, восхитительно величественные, отвесные, можно сказать, самые, что ни на есть неприступные скалы; и вниз, вплоть до Туруктинского острова простираются более чем на десять километров заливаемые в паводок внешними водами раздольные луга с таким богатым и высоким разнотравьем, что входишь в него, как в воду, по самые плечи, а местами и с головой скрываешься!.. Красота! Причём в нём ни мошкара, ни комары, словно загутаившись в крепкой паутине стеблей, не досаждают. И даже в самый знойный день там стоит прятая тенистая прохлада, сладко пахнущая резедой, мятой и терпко — пыреем. В общем, лежал бы и лежал блаженно, осязаемо чувствуя, как в тело невидимыми, но как бы звенящими ручейками перетекают, делают его упругим, сжатым, как хорошая стальная пружина, силы земли! А какой на заречных лугах дикий лук вырастает! С ладонь — не меньше! — вымахивает щавель! А саранкам, этим нашим якутским диким розам, вообще нет числа! Любуешься их светло-красными, бархатными, в белых крапинках, большими бутонами, и от красоты аж дух захватывает!

Как-то раз, набрав для обеденного стола по заданию матери по несколько тучных пучков лука и щавеля, а ей в подарок — огромный букет саранок, я возвращался на берег к лодке. Недалеко от меня, сразу за ветвистыми тальниковыми кустами, увидел пожилого мужика, якута. Пригляделся к нему — и ахнул! Представляешь, он без руки, самый настоящий инвалид, а как же лихо управлялся и с лошадьми, и с конной сенокосилкой, намотав на культю вожжи, а здоровой рукой, как пушинку, поднимал на крутых, как на пяточке, разворотах тяжеленное полотно с режущими сегментами! Удивлённый увиденным, я, наверно, не меньше часа наблюдал за его работой! За это время он почти со всего луга до самого болотистого озера траву скошил и ни разу не остановился передохнуть, лишь зычным кличем погонял и погонял вспотевших, с пеной на губах крепких лошадей, запряжённых парой!

Поздно вечером, когда отец наконец-то вернулся с работы, я узнал у него, что этот пожилой, убелённый сединой якут — ветеран войны, боевой офицер-разведчик, кавалер многих боевых орденов и медалей, перед самой победой, можно сказать, дойдя до вражеского логова — Берлина! — потерял руку, но, вернувшись домой, не записался, как некоторые, в нетрудоспособные, а стал продолжать на равных с молодыми рабочими работать в родном совхозе. И к любому порученному делу он относился настолько ответственно, что его каждое лето руководство стало назначать бригадиром сенокосной бригады. И жил он, оказывается, рядом с нами — буквально через проулок! — в старой, рубленной ещё в царские времена из кондовых сосновых брёвен избе-пятистенке, окна которой были обрамлены резными наличниками с резными глухими ставнями. Дом вроде большой, но, когда сначала сын Дмитрий женился, а потом старшая дочь, Виктория, вышла замуж и, понятно, один за другим, дети пошли, стало трём семьям под одной крышей тесновато. Но ничего, жили в мире и согласии и, понимая, как тяжело в отделении с жильём, даже ни разу заявление на разделение в совхозный профком не подавали!

Тут Анатолий Петрович почувствовал, что жена его не слышит, и точно — Марии и в кухне-то не было. Оторвался от тарелки с супом, который за рассказом даже и не заметил, как уплёл за обе щеки.

— Милая, ты где? — расстроено спросил он. Ведь получается, что самому себе так вдохновенно и долго рассказывал о делах юности, об удивительной ветеране, наконец, о её прямой начальнице, которая, между прочим, ещё в молодости трагически, при до сих пор ни местной, ни районной милицией не выясненных до конца обстоятельствах потеряв мужа, с четырьмя малыми ребятами на руках осталась, правда, вскоре вторично замуж вышла, ну, так это дело житейское...

— В гостиной, на диван прилегла! — как-то недовольно ответила жена. — Говорила же, что мне сегодня что-то нездоровится!..

— Да, болезнь — это, в любом случае, дело серьёзное! Шуток не терпит! — встревоженно, сразу забыв о своём рассказе, сказал Анатолий Петрович. — Так, может, завтра ты не на работу пойдёшь, а на приём к своей новой знакомой Ирине Дмитриевне Климовой — главному врачу поселковой больницы? Она специалист толковый, с серьёзным лечебным опытом, и вообще, по всему видно, что человек порядочный!

— А ты откуда знаешь? — живо, словно враз почувствовав себя вполне здоровой, с ревнивыми нотками в голосе спросила Мария.

— Да совсем недавно она заходила ко мне с просьбой о выделении для машины “скорой помощи” горюче-смазочных материалов, поскольку свой фонд у них на местной автозаправке закончился, — словно не заметив скоротечной перемены в настроении жены, ответил Анатолий Петрович. — И теперь на срочные вызовы, говорит,

как в стародавние времена, хоть на лошади верхом выезжай!.. Конечно, я ей без лишних вопросов в полной мере помог. И опять же по её просьбе, воспользовавшись случаем, обговорил с ней все условия для удобства рабочих центрального отделения, да и работников конторы тоже, чтобы она распорядилась расширить деятельность уже существующего фельдшерского пункта, вплоть до выдачи больным листков о временной нетрудоспособности на месте, чтобы им не тащиться в летний зной и в зимний сорокаградусный мороз с безжалостным, вертлявым, как уж, хиусом, за несколько километров на другой конец посёлка в поликлинику! И там ещё сидеть и томиться, нетерпеливо дожидаясь врачебного приёма, а после него идти в аптеку за лекарствами!..

Заботливо подумав: “Пусть жена отдохнёт!..” — Анатолий Петрович прошёл в гостиную, сел в своё любимое кресло и хотел взять с журнального столика полюбившийся ему ещё в школе великий роман Михаила Шолохова “Тихий Дон”, который начал перечитывать несколько дней назад, но вдруг передумал читать, ибо торчавшие в голове, как гвозди, нерешённые управленческие вопросы не давали ему покоя, а теперь нахлынули с новой силой, и он погрузился в них, чётко решив именно в этот поздний вечер найти все необходимые исчерпывающие ответы, благодаря которым новый день будет непременно удачливей в трудовой деятельности, чем прошедший. Но и это сделать до конца, к сожалению, не удалось, ибо вдруг вспомнился разодетый по-праздничному Хохлов, и невольно пришлось задаться вопросом: “Интересно, по какому случаю?..” Но сколько он не думал, напрягая до предела мозга, ответить не смог, только зря потратил такое дорогое перед завтрашним первым, а значит очень ответственным, волнительным днём начала уборки картофельного урожая ночное время. А с учётом того, что из-за недостатка опыта в организации столь сложной кампании не мог сполна предвидеть возможные сбои, неполадки, вообще уснуть ему удалось лишь перед самым рассветом.

31

В первый раз Анатолий Петрович не проснулся по внутреннему времени... Разбудил его залиvistый звонок часов, поставленных Марией для себя. Ещё толком не протерев глаза, он ошарашенно подумал: “Ничего себе — проспал!.. Надо же!” Лихорадочно оделся по-рабочему, махнув рукой на ставшее с годами необходимостью обливание холодной водой. На кухне достал из холодильника пакет кефира, открыв его, выпил вприкуску с черным хлебом, с вечера так и оставшимся не убраным в навесной шкаф. Тут услышал, что и Мария проснулась, стала одеваться, полусонным голосом не совсем ясно произнесла:

- Анатолий, подожди — я сейчас хоть глазунью сделаю!
- Спасибо! Я уже позавтракал! Лучше скажи, как себя чувствуешь?
- Настолько нормально, что, надеюсь, работать смогу!
- А куда тебя Виктория Николаевна направила?
- На сортировку!

— Можешь сильно не торопиться, — первый картофель раньше, чем через полтора, а то и два часа после начала рабочего дня вряд ли с поля на сортировку поступит!.. — сказал Анатолий Петрович и, на ходу одевая брезентовую куртку, пулей выскочил на улицу.

Свежий воздух за длинную ночь остыл настолько, что ободряюще, свежо пахнул в лицо, словно огнём, обжёг гортань. От сильного выдоха он мгновенно превращался в белёсый пар и, как хорошо просушенное сено, весело шуршал. А вокруг — и на вянущей, поникшей траве, и на желтеющих листьях деревьев, и на дворовых постройках и оградах — везде влажно блестел самый настоящий, с белыми иглами, первый иней. В розово-золотистых лучах, радуя глаз, он сверкал чистейшим серебром! Казалось, что это лебяжий пух по воле свыше был щедро рассыпан вокруг... Солнце незаметно для глаз, медленно, словно в глубоком раздумье о земле и жизни на ней, вкатываясь в небесную гору, светило приветливо, зажигая верхушки деревьев золотым огнём и как бы стекая по их стволам вниз, делало все бронзовое и бронзовое шершавую, но такую яркою, жёлто-красную, блестящую, словно тщательно отполированную, кору деревьев.

Однако любоваться природной красотой было некогда, и, плотнее запахнув куртку, Анатолий Петрович, как ни жалко было ступать на первый, такой ослепительно-красивый иней, всё же быстрым шагом, оставляя за собой влажные, тёмные следы, пошёл через сосновую рощу на одну из картофельных посадок. Она находилась сразу за капустным полем. Лишь показалось светло-зелёное море, росисто переливающееся звёздным светом, радостно подумалось: “Надо же, как удачно получилось: на капусту,

верней, задавленную мощными сорняками рассаду, от недостатка влаги и света завянувшую, многие в совхозе махнули рукой, мол, Бог дал, Бог и забрал! А она, считай, всем поселковым миром спасенная, с душой, агрономически грамотно выхоженная, так разрослась, что листья-лопухи завернулись в вилки, которые, с каждым днем прибавляя в весе, всё увеличивались и увеличивались! И теперь на фоне районного неурожая стали для горожан главной надеждой, что без борщей и голубцов в эту зиму они, ну, никак не останутся!.. Однако праздновать успех было ещё рано. Якутская суровая погода крайне непредсказуема. Вот запланировал я начать убирать капусту не ранее двадцатого сентября, а снег к этому времени возьмёт да и выпадет за одну ночь в таком количестве, что уже до весны не растает, как за последние десять лет уже не раз бывало... И что тогда? Нет, об этом, особенно в такой погожий день, лучше не думать”.

Ещё на подходе к картофельному полю Анатолию Петровичу было хорошо видно, что один комбайн на тракторной тяге не просто начал копку, а уже произвёл её в таком объёме, что бункер-накопитель заполнился доверху розово-фиолетовыми крупными клубнями. Об этом говорили горящие фары “Беларуса”, являющиеся по установившейся практике сигналом для водителя самосвала, чтобы он немедленно подъезжал под погрузку... “Это кто же такой ответственный, такой трудолюбивый, ни свет ни заря приступивший к работе?!” — удивлённо воскликнул в душе Анатолий Петрович. Подойдя ближе, он увидел Иннокентия Авдеева, своего старого друга, который, держась за открытую дверцу, всем телом подался наружу, вглядываясь в дорогу... Видимо, с нетерпением смотрел, не едет ли, наконец, самосвал. Первыми быстро подходящего директора увидели девчата-сортировщицы. В своих слегка утеплённых болоньевых куртках и в платочках, плотно повязанных на голове, с задорными, светлыми огоньками в глазах, они смотрелись весьма привлекательно. Едва увидели директора, подходящего прямо к комбайну, тотчас приветливо замахали ему своими гибкими руками, очень похожими на птичьи лёгкие крылья... Заметив это, Иннокентий резко повернулся и, увидев своего старого товарища, вместо того, чтобы с ним тепло поздороваться, недовольным, суровым голосом заворчал:

— Петрович!.. С такой организацией труда мы и до следующей осени картофель не уберём!.. Время уже давно рабочее, а самосвала всё нет и нет! Ну, хоть на межу клубни выгружай! И, в самом деле, давно выгрузил бы, да больно уж они знатно богатые уродились в этом году!

— Вот расшумелся, как старик-ревматик поутру! Будто не знаешь, что первый блин почти всегда комом выходит!

И, уже обращаясь ко всем, Анатолий Петрович тепло сказал:

— А за трудовое радение весь девичий коллектив комбайна сердечно благодарю! Петухи ещё не допели, а вы уже в поле! Молодцы!

Наконец, поднимая огромные, клубящиеся столбы пыли, на краю поля показался запоздавший самосвал. Облегчённо вздохнув, Анатолий Петрович все же не удержался — уж очень хотелось посмотреть своими глазами на новый урожай! — и, как в рабочей юности на этом же самом поле, поднялся по железной лестнице на мостик машиниста. Выкопанные клубни размером с ладонь в утренних лучах красиво отливали розовыми боками. Хотелось взять их в руки, погладить по шершавой крепкой коже, хотя бы приблизительно определить их вес, но и так было видно, что они уродились на славу! Вспомнив о задании главному экономисту, Анатолий Петрович про себя удовлетворённо отметил, что его решение — основной упор сделать на развитие продукции растениеводства — верно, значит непременно даст положительный результат!

Когда самосвал подъехал, он, с согласия машиниста, переключил тумблер на подъём бункера, а едва кузов оказался под ним, включил электродвигатель, приводящий в ровное движение засыпанную картофелем прорезиненную ленту, при помощи рычага открыл бункер, и клубни, сплошной массой двинувшись, начали загружаться в самосвальный железный кузов. Не прошло и пяти минут, как Иннокентий, увидев, что можно трогаться, снова включил вал отбора мощности, до упора нажал на педаль газа... Картофель вместе с земляными рядками устремился в комбайн, где, пройдя весь процесс отделения от ботвы и очищения от разного мусора, стал сыпаться в бункер в таком количестве, что уже через час заполнил его с верхом. Комбайн остановился, и девчата с потными, запылёнными лицами облегчённо вздохнули. Ой, непросто, сосредоточенно вглядываясь в ленточный переборочный медленно двигавшийся стол, чтобы не пропустить мимо своих быстрых рук ни одного некачественного клубня, безостановочно работать и работать!..

Выгрузив и этот до краев наполненный, бункер, Анатолий Петрович, тепло махнув Иннокентию рукой — пока! — сел в запылённую кабину самосвала, чтобы быстрее доехать до работы. Едва выехали на дорогу, по косоугору ведущую в посёлок, он удов-

летворенно увидел, что и на других картофельных посадках три комбайна в сцепке с тракторами приступили к копке. Проехав в конец совхозной улицы, самосвал, недобольно поскрипывая от тяжёлого груза рессорами и степенно переваливаясь с боку на бок, подрулил к сортировочному комплексу, который технические работники “Сельхозтехники”, несмотря на краткий срок, — всего в десять дней! — оговоренный договором, всё же успели собрать и настроить к началу уборки. Молодцевато выпрыгнув из кабины и захлопнув дверцу, Анатолий Петрович тревожно огляделся, но, увидев Марию, с облегчением вздохнул. Она стояла вместе с другими сотрудницами управления, сгрудившимися и, как синицы, щебечущими между собой у самого въезда на территорию овощехранилища. А неподалёку мужчины, успев разжечь из старых досок небольшой костёр и присев вокруг него, на короточках с наслаждением покуривали...

Но при неожиданном появлении директора все работники, как по строгой команде, быстро встали, тем более, что самосвал, развернувшись, уже начал осторожно подъезжать к приёмочному объёмному бункеру для выгрузки в него картофеля, и вольноневолью, но надо было с минуты на минуту приступать к непривычной работе.

— Здравствуйте! — громко, чтобы слышали все специалисты управления, временно переведённые в связи с производственной необходимостью в рядовые чернорабочие, произнёс Анатолий Петрович и тотчас, повернувшись в сторону женщин, пёстро, но тепло и по-рабочему одетых, спросил: — А где наша уважаемая Виктория Николаевна? Не скажете?!

— Да здесь я, здесь! — ответила она сама, выходя из овощехранилища через калитку больших деревянных ворот, добротнo утеплённых на суровую зиму толстым серым войлоком. И, поздоровавшись с директором, продолжила: — Ходила для спокойствия души своими глазами убедиться, верно ли оборудованы системой вентиляции закрома, ведь пока стоит сухая, солнечная погода, надо, в первую очередь, успеть как можно больше засыпать на зимнее хранение семенного материала!

— Очень правильно думаешь! — похвалил её Анатолий Петрович. — А я по дороге с утра пораньше успел зайти на поле, даже свою трудовую юность вспомнил — целый бункер картофеля накопал вместе с конторскими девчатами и смог сам убедиться, что все запланированные на сегодня четыре комбайна выехали для работы в поля.

— То-то я смотрю, у вас хорошее настроение!

— А когда оно было на работе плохим? Думаю — никогда! Строгим, суровым — это часто! Но по-другому быть не может с руководителем, душой болеющим за свое хозяйство, — и тут Анатолий Петрович, посмотрев в сторону жены, резко понизил голос. — К сожалению, в отличие от меня, Мария что-то вчера неожиданно плохо себя почувствовала. И хотя сегодня сказала, что у неё всё со здоровьем хорошо, я продолжаю сильно переживать! Пожалуйста, хорошенько присмотри за ней и, если она вновь занеможет, то на дежурном автобусе отправь её поскорей в больницу. Лады?

— Конечно!

— Теперь поговорим об организации сегодняшней работы. Урожай картофеля, как я сам убедился, в этом году неплохой! И у меня есть сомнения, что три самосвала справятся с его вывозкой. Но торопиться выделять ещё один не будем — до обеда посмотрим, как дело пойдёт. А здесь, непосредственно на сортировке, думаю, надо сделать так: женщин расставить вдоль лент, подающих картофель в закрома и на затарку мешков... Мужчин же разделить на две группы: первая пусть встанет у конца транспортера, чтобы вовремя сменять наполняющиеся мешки, а вторая, во главе со мной, будет их относить и складывать у забора, рядом с курящими сейчас мужиками. Ритм работы установим такой: через каждый час труда — десять минут отдыха! Возражений нет?

— Нет!

— Тогда командуй!

И, махнув рукой механику центрального отделения, на которого временно были возложены обязанности машиниста сортировального комплекса, уверенный, что тот его верно понял, быстрыми шагами подошёл к пульту управления, вмонтированному в несгораемый железный довольно большой шкаф с закрывающейся на ключ дверцей.

— Анатолий Петрович, запускать? — спросил механик.

— Конечно! Пока картофель из бункера поступит на выгрузочные транспортеры, минут пять пройдёт, не меньше!

— А может — дело-то важное, даже в какой-то мере праздничное! — вы сами проведёте первый рабочий пуск? — спросил механик?!

— Мысль хорошая! Говори, на какую кнопку нажать?

— На красную!

— Понял!

И, зычно крикнув занимающим свои рабочие места сотрудникам управления: “Внимание! Будьте осторожны! Сейчас эта громада из железа, резины и пластмассы закрутится-завертится так, что держи глаз остро, чтоб, не дай Бог, не травмироваться!..” — Анатолий Петрович произвёл первый рабочий пуск сортировочного комплекса. Тотчас огромная, величественно возвышающаяся стройная махина высотой не менее, чем с двухэтажный дом, пришла в движение, стройно загудев мощными электромоторами, размеренно зашуршав прорезиненными лентами транспортёров, хлёстко захлопав выгребаящими из бункера и подающими на сортировочный стол пластмассовыми гибкими лопатками. Смотреть со стороны без душевного восхищения на сортировочный комплекс было нельзя — настолько солидно и убедительно он выглядел в своей рассчитанной заводскими конструкторами и инженерами работе! Но в первые же минуты выяснилось, что мужчины, поставленные для затарки мешков, не справляются с той массой товарного картофеля, которая неудержимым потоком хлынула по транспортёрным рукавам, и Анатолию Петровичу пришлось им в помощь из своей бригады срочно выделить ещё четырёх человек, таким образом значительно увеличив объём складирования картофеля на оставшихся под его руководством работников.

“Ничего, до обеда как-нибудь сдюжим!..” — подумал он и уверенно взялся за первый мешок, который при взваливании на плечо показался ему не таким уж и тяжёлым, как со стороны представлялось. Но нельзя было по своему опыту не понимать, что с каждым часом, по мере уменьшения сил, каждый мешок будет казаться всё тяжелей и тяжелей. Поэтому Анатолий Петрович принял единственно верное решение: без суеты, размеренно, с самого начала в посильном темпе делать свою сегодняшнюю тяжёлую работу. И всё равно до первого отдыха-перекура он успел основательно разогреться до такого состояния, что вот-вот его должно было бросить в рабочий пот. И действительно, почти сразу, как он вновь стал переносить мешок за мешком, пот сначала крупными каплями выступил на лбу, потом полил с такой силой, что стал застилать глаза. В висках, как ночной филин, заухала горячая кровь, дыханье ещё не сбилось, но значительно участилось, как при беге в крутой подъём.

Ближе ко второму перерыву, омывшись сполна и первым, и... пятым потом, Анатолий Петрович стал чувствовать, как ещё и ноги наливаются такой свинцовой тяжестью, что удаётся лишь со всё возрастающим трудом переставлять их. А самосвалы с картофелем продолжали чётко, как по часам, лихо подъезжать и, осторожно сдав назад, чтобы встать вплотную к бункеру, выгружаться и выгружаться... Это одновременно и радовало, потому что уборка шла полным ходом, и настораживало, поскольку надо было во что бы то ни стало до обеда выдержать, нет, даже виду не подать своим подчинённым, что ему страшно тяжело, тем более, что многие из них, как и он, их начальник, давно физически, да еще в таком режиме не трудились, но, вдохновлённые его примером, тоже старались быть, в первую очередь, на высоте. Поснивав брезентовые куртки, они остались в одних рубашках, которые на спине потемнели от пота.

А беспощадное солнце, как раскалённая чугунная плита, малиново-золотое, войдя в полную августовскую силу, давно уже растопило выпавший на рассвете иней и ближе к двенадцати часам настолько прогрело воздух, что он больше не драл гортань, не остужал лицо и тело, чем ускорял накопление усталости. Можно сказать, для всех без исключения работников, переносящих мешки с картофелем, жара стала ещё одной трудностью, которую невозможно было не учитывать, с чем нельзя было не считаться. Вдыхая прогретый воздух как можно глубже, чтобы окончательно не задохнуться, Анатолий Петрович, когда горячие лучи ослепительно ударили по глазам, чуть ли не со злостью взглядывал на небесное светило. Тем не менее, он старался по нему не определять, скоро ли наступит время обеда. Но едва дежурный автобус, взвизгнув тормозными колодками, остановился у самых ворот, облегчённо, даже радостно вздохнул: “Пора!..” — и, уложив в штабель мешок, который, казалось, стал за несколько часов изнурительной работы вдвое тяжелее, громко, чтобы услышали все работники, произнёс:

— Уважаемые коллеги! Объявляю обеденный перерыв! — и, не без жалости посмотрев на распалённые лица мужчин, потом — на женщин и участливо подумав, что они, бедные, приехав домой, вместо того чтобы хоть немного передохнуть, станут, едва сполоснув руки, хлопотать у плиты, разогревая обед, накрывать на стол, сказал: — Продлеваю обед до полутора часов, только, пожалуйста, уж не задерживайтесь!

— А вопрос можно?! — обратилась к нему молоденькая, в не проходящих круглый год рыжих веснушках, с голубыми задорными глазами, с запылёнными розовыми щеками сотрудница бухгалтерии.

— Можно!

— Анатолий Петрович, будьте добры, скажите, а детский садик тоже предусмотрено переведён на десятичасовой рабочий день?

— А разве вас с приказом по управлению не знакомили?

— Нет! Просто главный бухгалтер строго предупредила, что до первого сентября будем трудиться на сортировке с восьми утра до семи часов вечера, и просила одеться соответствующим образом — по-рабочему!

— Плохо, если это действительно так! Но для вас и всех, кому следует знать, ответственно объявляю: садик будет работать до тех пор, пока последнего ребенка не заберут родители, работающие на уборке картофеля! — и, добродушно улыбнувшись, добавил: Так что не волнуйтесь — успеете забрать своих ненаглядных ребятишек! А теперь ещё раз прошу всех в автобус!.. Время, к сожалению, не ждёт!

После обеда стало ещё теплее. Однако Анатолий Петрович удовлетворенно почувствовал по первым перенесённым и уложенным в штабель мешкам, что молодой организм успел за полтора часа физически почти полностью восстановиться. Это вдохновляло. И хотя к вечеру усталость с новой силой навалилась на плечи, свинцом налила ноги, отчего снова каждый шаг приходилось делать с трудом, словно в замедленной киноленте, при одном взгляде на выросший с добротный дом-пятистенок штабель пересортированного и затаренного в мешки картофеля на душе становилось радостно от глубокого чувства на совесть, с полной самоотдачей совершённой ответственной работы.

В десятиминутные перерывы женская половина продолжала дружно собираться в свой кружок, кто-то хотя и покуривал, но успевал поддерживать оживлённый разговор. По тому, как часто раздавались задорные возгласы, можно было судить о его весёлости и, конечно, ещё на одном примере можно было убедиться в удивительной выносливости, как говорят, слабого пола, а на самом деле, в упорстве почти не уступающего сильному... Между тем его представители тоже не падали духом, рассказывали по очереди забавные, а иной раз, приглушив голос, и любовные анекдоты, подтверждая древнюю, как мир, истину: “Кто о чём, а мужики — о бабах...” Анатолий Петрович, хотя порой и морщился от слишком откровенных, порочных слов, но не обрывал несколько развязных рассказчиков, по себе хорошо понимая, что раз шутят, значит, ещё далеко не выдохлись, а его некстати резкое вмешательство хуже всякой усталости лишь притушит их душевный огонь.

Так, поддерживая друг друга свободным общением и трудовым примером, работники управления совхоза, страшно устав, удовлетворённо закончили рабочий день. На случай ночного заморозка в уже начинающих сгущаться вечерних сумерках Анатолий Петрович распорядился закрыть огромным брезентовым пологом плоды богатого нового урожая. И когда это было сделано, прежде чем объявить о посадке в автобус, чтобы развезти работников по домам, выразил глубокую благодарность всем своим сотрудникам, особенно отметив женщин за их самоотверженный труд, чтобы хоть как-то поднять им настроение, поскольку для них хлопоты закончатся лишь с отходом ко сну — ещё ох, как нескоро!.. Потом хотел окликнуть Марию, но, повернувшись, увидел, что она стоит рядом, с усталыми глазами, казавшимися поэтому ещё огромнее, ещё грустнее... Ему стало глубоко жаль её, чувство огромной нежности окатило волной молодое, пылкое сердце, и захотелось обнять родного человека за плечи, тепло прижать к груди, но он лишь дрогнувшим голосом произнёс:

— Садись в “уазик”, Пётр отвезёт тебя домой!

— А ты? — спросила она.

— А мне ещё надо зайти к себе в кабинет, кое-какие документы просмотреть... Но, слово даю, что надолго не задержусь!

Анатолий Петрович, честно говоря, на необходимость поработать в конторе лишь сослался. На самом деле вдруг душу охватило какое-то тягостное, тревожное предчувствие чего-то неожиданного, и ему казалось, что именно в своём кабинете он найдёт ему объяснение. И как в воду глядел!.. На самом видном месте рабочего стола лежал лист бумаги, на котором размашистым, крупным почерком секретаршей был записан текст телефонограммы: “Приглашаетесь в понедельник к десяти часам утра в районное отделение милиции, кабинет номер десять. Следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры Зайцев”. Как сильно ни было притуплено усталостью сознание, Анатолий Петрович от неожиданной вест, скорей вслух, чем в душе, недоуменно произнёс: “Что за чертовщина?!” Но сколько волей не напрягал мозги, не насиловал память, но найти на свой вопрос необходимый ответ так и не смог.

Тут его внезапно, как молниевая вспышка, озарила мысль: “Может, Эльза знает, для чего конкретно меня вызывает следователь, ведь как-никак в городе живёт, а земля, не зря говорят, слухами быстро полнится...” И тотчас набрал её телефонный номер. Ему повезло: она только что вернулась с работы и, ещё не успев снять пальто, всё же побежала к телефону, взяла трубку и, услышав знакомый голос, искренне обрадовалась.

“Молодец! Не забывает...” — довольно подумал Анатолий Петрович. Но затем, чем больше он говорил с ней, тем сильнее и сильнее мрачнел душой, все ближе и ближе сдвигал к самой переносице брови. И хотя всё услышанное от своего бывшего заместителя по экономическим вопросам в “Сельхозхимии” искренне посчитал большим недоразумением, даже чьей-то грубой, невероятной ошибкой, твёрдо решил: чтобы лишний раз не расстраивать Марию, пока сам не переговорит со следователем, о вызове к нему сообщать ей не будет.

32

Обладая от природы творческой натурой, Анатолий Петрович на протяжении всей своей жизни, за какое бы дело ни брался, вершил его не только с размахом, но и предельно глубоко, при этом проявляя полную самостоятельность. О нём можно было безошибочно сказать, что не работа ждёт его, а он сам её ищет. И тут неважно, спущена ли она сверху или увидена им самим в огромном производственном процессе. Конечно, как и прежде, добрый совет, справедливое замечание опытных людей, лучше него знающих дело, которым он занимался, почти всегда принимал безболезненно, с пониманием. И если считал, что они действительно верны, то в обязательном порядке с их помощью ещё полней и упрямей шёл к намеченной цели. И иначе быть не могло, поскольку, пусть не сразу, пусть через неудачи и разочарования, но, в конце концов, пришёл вслед за другими рассудительными личностями к глубокому убеждению, что на своих горьких ошибках учатся лишь дураки.

Возглавив районное объединение “Сельхозхимия” и довольно быстро постигнув смысл его деятельности, он сделал для себя конкретный вывод, что невозможно без создания при управлении мощной производственной базы в разы увеличить объём годовых работ по главному направлению — вывозке и внесению в совхозные поля минеральных и органических удобрений в виде торфа и навоза. И это было более, чем верно, ибо весь многочисленный автомобильно-тракторный парк содержался в кое-как приспособленном под гараж старом деревянном полуподземном овощехранилище. Строительство ремонтных мастерских в самом начале было остановлено то ли из-за отсутствия финансовых средств, то ли по причине кадровой чехарды с председателями, устроенной незрячей политикой райкома партии. Дорогостоящие комплексные минеральные удобрения, в огромном количестве завезённые из центральных областей страны за тысячи километров, через несколько перевалочных баз, лежали под открытым небом прямо на земле, причём никем не охраняемые. Из-за воздействия на них воздушной и дождевой влаги, проникающей через разрывы в целлофановой лёгкой упаковке, они превращались в довольно крепкий камень. И перед самым внесением в землю их надо было дробить на специальной машине, что увеличивало и без того немалую себестоимость агрохимических работ. Также требовались неотложные работы по строительству из лиственничных брёвен и ошкуренных хлыстов непосредственно в торфяных карьерах новых погрузочных эстакад.

Единственное, что можно было поставить в добрый зачёт предшественнику, так это окончание строительства и сдачу в эксплуатацию двухэтажной конторы управления, в которой в соответствии с занимаемой должностью каждому специалисту было предусмотрено отдельное помещение. Особенно поражал своими большими размерами кабинет председателя с высокими окнами, выходящими на две стороны: во внутренний двор и внешний, за которым даже вдаль виднелась красавица река Лена. Первый раз переступив порог своего нового рабочего места и оглядевшись, Анатолий Петрович чуть не воскликнул удивлённо: “Да! Любил же себя старый председатель — руководящее гнездо свил в два раза просторней, чем у самого первого секретаря райкома партии! А то, что сделал это за счет приёмной, и посетители должны были из-за отсутствия места для необходимого количества стульев дожидаться приёма в коридоре, стоя на ногах, его, видать, не больно-то волновало!” А вот пришедшему ему на смену молодому председателю это, всякий раз, когда он входил в свой кабинет, портило настроение. И Анатолий Петрович твёрдо принял решение: после создания для рабочих условий в виде бытовок с душевыми кабинками рядом с их трудовыми местами, за счёт председательского кабинета значительно расширить приёмную.

Выполнить всё из намеченного можно было при наличии проектно-сметной документации, утверждённой соответствующим образом в строительном институте при министерстве сельского хозяйства республики, а также наличии финансовых средств и материалов. Всю зиму до самой весны Анатолий Петрович увлечённо занимался своим проектом, для чего ему пришлось даже несколько раз летать в Якутск, ходить по всевозможным министерским чиновникам, доказывая исключительную важность

проекта. Если первое, в конце концов, удалось решить почти в полном объёме, то второе и третье, к сожалению, — лишь наполовину. Но это не расстраивало, тем более, не могло заставить отступить от задуманного... За годы работы на ответственных должностях в сознании накрепко, естественно, в положительном смысле, засела народная поговорка: “Лиха беда — начало...” Она помогала утвердиться в том, что после того, как высокому начальству будет документально предъявлен весь начальный цикл развёрнутых строительных работ, для их успешного завершения всё же будет найдена возможность выделения недостающих финансовых и материальных средств. За счёт чего? Да хотя бы за счёт родственных обслуживающих организаций, руководители которых по каким-то причинам не решают даже плановые задачи.

В самом конце апреля, когда под напором солнечного тепла мороз окончательно ослабел настолько, что даже по ночам не имел сил возвращаться, и снег быстро начал сходить, превращаясь в текучую влагу, а та, сливаясь в говорливые ручьи, стала сбегать по распадкам и оврагам в малые и большие реки, Анатолий Петрович дал распоряжение разместить в местной газете информацию о том, что возглавляемой им организации срочно требуется строительная бригада, которая может сдавать объекты “под ключ”. И уже через неделю к нему в кабинет вошёл мужчина, взглянув на которого, Анатолий Петрович вопросительно подумал: “Знакомое лицо! Где же я его видел?” Это был человек пятидесяти-пятидесяти пяти лет, чуть выше среднего роста, но из-за сухой фигуры казавшийся выше, со скуластым, словно азиатским, лицом, со светлыми, зачёсанными назад, начавшими седеть волосами, в очках, через линзы которых спокойно и уважительно глядели карие, умные глаза. Одет он был в спортивную куртку поверх вязаного шерстяного свитера с глухим воротом. Анатолий Петрович встал из-за стола, подойдя к гостю, сдержанно, по-деловому представился и услышал в ответ:

— Геннадий Викторович Сухих! Бригадир строительной комплексной бригады! Я к вам зашёл по объявлению в газете!

— Очень хорошо! Присаживайтесь! — сказал молодой председатель и резким жестом руки пригласил за стол. Сам сев напротив гостя, положив руку на стол и собираясь с мыслями, несколько раз пальцами постучал по столешнице и, чтобы долго не мучиться догадками, напрямую спросил:

— Мы с вами прежде нигде не встречались?

— Нет! А что?

— Да лицо мне ваше кажется больно уж знакомым!

И, сказав это, вдруг сам вспомнил, что сидящий перед ним человек не кто иной, как один из счастливых победителей очень тогда популярной в народе, особенно её интеллектуальной части, телевизионной передачи: “Что? Где? Когда?” И всё же, решив лишний раз утвердиться в крепости своей молодой памяти, вновь пытливо задал вопрос:

— А вы случайно не выигрывали у знатоков?..

— Было дело!

— Здорово! А обещанный денежный выигрыш получили?

— Да! Полной суммой!

— Поздравляю!

Встретившись с одним из победителей популярной телепередачи, Анатолий Петрович, конечно, сполна не мог сразу проникнуться к нему глубоким доверием, но удовлетворённо подумал: “Приятно сотрудничать с умными людьми!..” И перевёл разговор в русло обсуждения пунктов договора о выполнении всего объёма запланированного на лето строительства и денежного расчёта за него. После того, как все документы обеими сторонами были подписаны, Сухих со своей комплексной бригадой приступил к выполнению договора. А Анатолий Петрович, из-за отсутствия в кадровом штате должности прораба поручив контролировать ход и качество строительных работ главному инженеру, лишь иногда сам, не чаще, чем раз в неделю, обходил строящиеся объекты, в ход строительства которых старался вникнуть как можно глубже. Если что-то шло не так — снижался взятый с самого начала высокий темп, падало качество производимых работ, — то на планёрке делал соответствующее замечание — и всё! На большее просто не хватало времени, поскольку в совхозах полным ходом готовились к посевной компании, немалый успех которой зависел и от работы механизированных отрядов “Сельхозхимии”, вносящих перед вспашкой в поля минеральные и органические удобрения, компосты в строгом соответствии со спущенным сверху годовым планом...

Сухих и на самом деле оказался человеком толковым, думающим. И специалистов подобрал под стать себе, можно сказать, мастеров на все руки. Благодаря их трудолюбию буквально на глазах с каждым днём всё выше и выше поднимались стены из щелевых бетонных блоков нового, на тридцать машинных мест, гаража и других объектов,

в том числе и такого специфического, как двухэтажная проходная с раздевальными и душевыми кабинками для водителей и слесарей. Но спустя месяц после того, как Анатолий Петрович в связи с назначением директором совхоза передал управление “Сельхозхимией” главному инженеру, неожиданно в бригаде строителей то ли при несправедливом разделе заработанных денег, то ли по пьяному делу или по какой другой причине произошёл серьёзный разлад, закончившийся тем, что один из членов бригады, посчитав себя несправедливо сильно обиженным, в срочном порядке накатал в республиканскую прокуратуру длинную жалобу-заявление. В ней он бездоказательно, можно сказать, огульно сообщал о огромных приписках при составлении ежемесячных табелей учёта рабочего времени во всех пяти организациях города, в которых, согласно заключённым договорам, бригадой Сухих одновременно строились многочисленные промышленные и гражданские объекты. И, конечно, настоятельно выражал просьбу произвести по горячим следам произведённых работ строжайшую проверку с последующим привлечением к ответу в соответствии с законом всех виноватых в большом объёме приписок, а значит, и незаконном получении государственных денег всеми членами бригады, кроме него, в первую очередь, самим бригадиром.

Тогда к управлению огромной страной после престарелого, можно даже сказать, немощного Черненко, пришёл Андропов, тоже в преклонном возрасте, к тому же неизлечимо больной, но сохранивший прозорливый ум, что позволяло ему много лет подряд возглавлять самое грозное государственное учреждение — Комитет государственной безопасности. Он не понаслышке в силу своих должностных надзорных обязанностей знал истинное положение и настроения в обществе, экономике и финансах. И справедливо считал крайне необходимым в качестве эффективных мер по наведению порядка в стране как можно быстрее поднять производственную дисциплину на государственных предприятиях, а также значительно усилить ответственность за народное добро руководителей всех рангов и уровней... Для этого по его указанию были изданы соответствующие весьма жёсткие постановления партии и правительства. И стоящие на охране законодательства страны правоохранительные органы всех уровней — прокуратура, милиция, народный контроль и даже КГБ — немедленно приняли эти суровые документы к исполнению.

Но, к горькому сожалению, как не раз бывало в великой российской истории, многие из них стали неоправданно, словно продолжали находиться в застойных брежневских временах, перестраховываться и вместо того, чтобы сначала трезво вникнуть в поступающие с мест сигналы, а только потом, в строгом соответствии с законом, принимать конкретные меры, вплоть до уголовного наказания, сразу взяли спускаемые сверху указания, скажем так, на своё, ну, совсем неразумное вооружение. В результате этого в стране наступил пусть временный, но трагичный *тридцать седьмой год*, как известно, избитый бесчисленными сфабрикованными, так называемыми *раст-рельными делами*, печальное эхо которых будет острой болью отзываться в каждом русском человеке, помнящем свои родственные корни...

Генеральный прокурор республики, охваченный общей истерией своих коллег из других областей и республик необъятной страны, ознакомившись с жалобой-заявлением члена бригады Сухих, дал поспешное указание по фактам, изложенным в нём, сразу же возбудить уголовное дело. Для его срочного расследования и был направлен в районный центр Ленск следователь по особо важным делам Зайцев. Тот сразу же по прибытии на место создал из независимых строительных экспертов чрезвычайную комиссию, перед которой строго поставил задачу провести тотальную проверку хода возведения всех объектов, в том числе и в “Сельхозхимии”, бригадой, возглавляемой Сухих. По первым же результатам её деятельности было установлено, что действительно, при суммировании табелей, составленных при закрытии нарядов во всех пяти городских организациях, рабочий день у каждого строителя составлял не восемь и даже не двенадцать, а целых сорок часов! Также подтвердились и переплаты за некоторые из работ. Этого вполне хватило следователю Зайцеву, чтобы, к примеру, директора лес-промхоза, в котором выявились, по мнению комиссии, самые большие нарушения по оплате строительных работ, арестовать и препроводить в камеру следственного изолятора. Со дня на день тревожно ждал взятия под милицейскую стражу и начальник городского строительного управления алмазной компании.

Обо всём этом Анатолий Петрович узнал по телефону от Эльзы. И на протяжении всей дороги к следователю мучился догадками, какие именно нарушения были допущены при месячных и авансовых расчётах с бригадой башковитого Сухих, и, если они в самом деле обнаружались, то что за карательные меры будут применены лично к нему. Но как ни напрягал свои мозги, так и не пришёл хоть к какой-то ясности... От этого на душе было настолько тоскливо, что хоть волком вой, тем более, что ничего нет

тяжелей неизвестности, поскольку она не позволяла даже в самом худшем случае всё же пусть судорожно, но искать выход...

Кабинет, в котором разместился Зайцев, находился в самом начале длинного коридора, проходящего через весь первый районного отделения милиции. Он был с обшарпанными тёмно-синими панелями, с давно не белённым, с потрескавшейся штукатуркой, низким потолком. Кабинет представлял собой небольшое квадратное помещение, где и смог-то разместиться лишь небольшой деревянный диванчик, кроме рабочего, видавшего виды стола на четырёх высоких ножках и шкафа со стеклянными дверцами, на полках которого теснились потрёпанные, пронумерованные папки. Единственное достаточно высокое окно, но с грязными подтеками на давно не мытых витражах, выходило на парадное крыльцо с длинным козырьком, отчего дневной свет настолько слабо проникал через оконные стекла, что если бы не ярко горевшая лампочка, то в кабинете было бы, несмотря на позднее утро, довольно сумрачно.

Когда Анатолий Петрович со смешанными чувствами тревоги и неопределённого ожидания в душе чего-то непонятого, но очень сурового, несильно постучавшись, вошёл в кабинет и сухо, по-казённому поздоровался со следователем, Зайцев, читавший какой-то документ, оторвал от него взгляд и медленно, словно никак не мог переключиться с мысли, захватившей его сознание, на разговор с вызванным им человеком, поднял голову и вместо того, чтобы, следуя правилам вежливости, ответить на приветствие, с какой-то ехидной улыбкой, ясной лишь ему одному и не предвещавшей ничего хорошего, громко произнёс:

— Анатолий Петрович, вы! Наконец-то мы с вами встретились!..

И, широким жестом пригласив бывшего председателя “Сельхозхимии” сесть на диванчик, стоявший слева у окна, стал с явным, можно даже сказать, наглым любопытством разглядывать посетителя. Этим же занялся и Анатолий Петрович. Зайцев на вид был мужчиной сорока-сорока восьми лет. Поскольку он высоко возвышался над столом, то можно было предположить, что ростом был намного выше среднего, а из-за полноты, раздавшись в плечах и животе, вообще казался огромным, таким дядей Степой из самого известного детского стихотворения Сергея Михалкова. Крупная голова отсвечивала замасленными, наполовину поседевшими волосами, а на квадратном полном лице светились узковатые серые глаза с пронизательным, словно стреляющим взглядом. Одет следователь был не в строгую прокурорскую синюю форму, а по погоде — в обыкновенную ситцевую клетчатую рубашку с короткими рукавами.

Допрос Зайцев, используя известный в правоохранительных органах приём, призванный усыпить бдительность подозреваемого, чтобы через некоторое время внезапно обрушиться на него лавиной, неважно — неопровержимых или выдуманных — фактов, лишь бы он от растерянности признал выдвинутое обвинение, начал не с конкретных вопросов по существу дела, а как бы доверительного рассказа о своём недалёком прошлом.

— Знаете, Анатолий Петрович, — сказал он, — а я ведь, честно говоря, ваш земляк — тоже родился под Якутском в посёлке речников Жатае. Более того, после окончания юридического института по распределению почти пятнадцать лет отработал в этом отделении милиции, пройдя путь от простого оперуполномоченного до начальника уголовного службы. И с вашим отцом, Петром Ивановичем, меня судьба сводила. Правда, по печальному для него случаю: я расследовал уголовное дело о превышении должностных полномочий с отягчающими последствиями, в котором, к сожалению, он проходил в качестве обвиняемого, а ведь, как я убедился, допрашивая его, ваш отец был вполне заслуженным человеком...

— Почему был?! — резко перебил следователя по особо важным делам Анатолий Петрович. — Мой отец, слава Богу, до сих пор здравствует, причём достойно. Только вот, выйдя на пенсию, уехал на Северный Кавказ, чтобы быть поближе к целебным грязям, так необходимым ему для успешной борьбы с коварным недугом, нажитым на фронте!

— Да! — удивился Зайцев, — А я и не знал! Привет ему передавайте!

— Обязательно, при первой же возможности! — сказал в ответ на вроде бы добрые слова следователя Анатолий Петрович.

При этом ему вспомнился тот, один из самых тревожных периодов отцовской жизни незадолго до выхода на пенсию. Да и не только его, а всей семьи, мучительно переживавшей за родного, любимого человека. Суть дела в том, что у Анатолия Петровича в юности был друг, якут Иван Колмогоров, с которым они вместе, закончив школу, пошли работать в совхозное местное отделение на ферму рядовых скотниками. Через год друга забрали в армию. Но, отслужив положенный срок, он вернулся и, за время службы заматеревший, полный здоровья и сил, был занаряжен в кузницу

молотобойцем. К тому времени молодой Анатолий Петрович, закончив школу механизации как тракторист широкого профиля уже трудился на колёсном “Беларусе”. Подошла горячая пора сенокоса. При формировании бригады, которой предстояло заготавливать грубые корма на отдалённом участке в районе срединного течения таёжной реки Нюя, порожистой, но вместе с тем изобилующей глубокими омутами, богатой разнообразной рыбой, — ленком, язём, шукой и окунем, — оказалось, что управлять небольшим трактором Т-20 с прицеппной сенокосилкой некому... Иван, которого Анатолий Петрович ради забавы неплохо научил в свободное время водить “Беларуса”, попросил друга, чтобы тот упрямил управляющего — своего отца, чтобы именно его, пусть и не имеющего необходимых прав профессионального тракториста, в порядке исключения направили в сенозаготовительную бригаду трактористом.

Отец, к сожалению, не отказал сыну, на свой страх и риск пошёл ему навстречу. Неизвестно, почему он, человек с огромным стажем руководителя, дал убедить себя и принял такое решение, по сути пошёл на должностное преступление. Объяснить это большой любовью к Анатолию было бы слишком простым делом... И, может быть, всё и обошлось бы, если бы механик отделения Терентий Васильевич Авдеев не опростоволосился, не обеспечив трактор исправным аккумулятором. В отсутствие такового дизель на покосе пришлось заводить с включённой сразу пятой скоростью, разогнавшись с самого верха крутого берега. Каждое утро на протяжении двух недель это делалось удачно, но потом произошло непоправимое несчастье: то ли Иван до конца не проснулся и не был вполне сосредоточен, то ли оказалось неисправным ещё и рулевое управление, только на самом разгоне трактор резко перевернулся, и вылетевшего из кабины Ивана насмерть придавил стальным ободом заднего колеса.

По факту чрезвычайного происшествия районная прокуратура по горячим следам возбудила уголовное дело, в течение нескольких месяцев провела следствие, закончившиеся решением суда, приговорившего управляющего к двум годам условно с двадцатипроцентной выплатой от заработной платы, но не семье погибшего, а, увы, государству... Такое в общем-то мягкое наказание, верней всего, было назначено в связи с предпенсионным возрастом обвиняемого, его многочисленными заслугами перед Отечеством, в том числе и фронтовыми, а также с учётом ходатайства родителей погибшего о том, чтобы к виновному не применяли крайне суровых мер. Мол, сына, хоть всю страну пересажай, не вернешь, тем паче, что он, можно сказать, сам выбрал свою судьбу, а на иждивении по воти невиновного управляющего находится неизлечимо больная старшая дочь. Определение меры наказания механику оставили на усмотрение вышестоящего начальства, то есть условно осуждённого. Но он был настолько благородным человеком, что посчитал гибель человека исключительно на своей совести и даже выговора своему подчинённому не объявил.

Если за отца из-за нависшей над ним бедой Анатолий Петрович переживал всей душой, то за столь раннюю смерть школьного друга — до острой сердечной боли, а глубокое сознание вины перед его памятью и старенькими родителями до такой степени усиливало её, что ещё вполне не окрепшая психика, словно сухая ветка, не выдержав напора ветра, надломилась, и духовных сил лишь кое-как хватило помочь сердобольной женщине, соседке, перед тем, как положить в гроб, омыть и одеть тело Ивана в новую белую сорочку и чёрный костюм, а воти проводить в последний путь, сказать у свежесрытой могилы прощальные слова — нет. Из непоправимого горя, в конце концов, обернувшегося тяжёлым нервным срывом, Анатолий Петрович выходил мучительно долгие-долгие несколько лет, когда порой кажется, что время стоит на месте. И, наверно, в большей степени он смог это сделать не упорным, систематическим, грамотным лечением, а благодаря своей страстной жажде жизни в стремительном времени, которое, словно целебными бинтами, неумолимо перевязывало и перевязывало его впечатлительную душу надвигавшимися и происходившими как хорошими, так и плохими событиями.

33

И вот годы спустя этот чёртов Зайцев, может быть, и заслуженный следователь по особо важным делам, так не вовремя ворвавшийся в его жизнь, своими расчётливыми воспоминаниями разбередил в кровь, казалось бы, зажившую душевную рану. Заставил по новой глубоко страдать и страдать... Анатолию Петровичу остро захотелось в ответ употребить такое выражение, от которого ему бы самому стало невыносимо горько. Но не потому, что отдавал себе полный отчёт в печальной, может быть, даже трагичной зависимости своей будущей судьбы от действий Зайцева, а потому, что был правильно воспитан: вовремя взял себя в руки и лишь отчуждённо, как бы исключительно для себя сказал:

— Извините, товарищ следователь, а вообще-то какое отношение имеет ваше прошлое к тому делу, из-за которого меня телефонограммой вызвали?! Может, всё-таки перейдёте непосредственно к допросу?

По той уверенности, даже твёрдости, которая прозвучала в голосе Анатолия Петровича, Зайцев понял, что проверенный милицейский приём неожиданности в этот раз не пройдёт, и, с враз посуровевшим лицом, с вдруг ставшими стальными глазами, недовольно произнёс:

— А вы, я вижу, с характером! — И, по выработанной за долгие годы служебной привычке, хотел добавить: только приходилось и не таких ломать! Но, словно на полном ходу споткнувшись обо что-то каменное, чертыхнувшись про себя, согласился: — Хорошо! Пусть будет по-вашему. Только в таком случае ответьте: фамилия Сухих вам что-нибудь говорит?..

— Да! — тотчас твёрдо произнёс Анатолий Петрович и, предупреждая следующий возможный, как ему казалось, более существенный и конкретный вопрос по возбуждённому делу, добавил, не дрогнув лицом: — Я с ним знаком как с бригадиром, с которым был заключен строительный договор!

— А когда-нибудь раньше вы с ним встречались?

— Нет! Только один раз видел его по телевизору, в одной из очень известных программ: “Что? Где? Когда?”! Но это, думаю, к уголовному делу совершенно не имеет никакого отношения!

— А случайно в сговор с ним не вступали?!

— В сговор!.. Ну, вы и даёте! — протестующе воскликнул подозреваемый, но, все-таки с трудом взяв себя в руки, спросил: — На предмет чего?!

— Анатолий Петрович, не забывайтесь! Вопросы в данной ситуации могут задавать только я! — с налившимися кровью глазами, с вспыхнувшими, как порох, щеками, нетерпимо сделал ему замечание Зайцев.

Но, стараясь быстрее обрести былую уверенность, достал из помятой пачки сигарету, прикурил её от пластмассовой зажигалки и глубоко затянулся дымом, помолчал с минуту-другую и, как ни в чем не бывало, продолжил ну, совсем мирно начавшийся допрос:

— Я жду ответа!

— И отвечаю: не входил!

— А что, за красивые глаза переплатили бригаде восемьсот шестьдесят рублей за строящийся до сих пор автомобильный гараж? — и сам же частично ответил: — Да быть такого не может!

— Полностью согласен с вами! Но считаю, ни за глаза, ни, извините, за волосы, да и за ум тоже, хотя он у Сухих такой, который было бы совсем неплохо иметь многим людям, разбрасываться, как дерево по осени сухими листьями, государственными деньгами — преступление! — уже совершенно уверенно, даже с некоторым вызовом сказал, спокойно улыбнувшись своими тонкими волевыми губами, Анатолий Петрович.

А в вспыхнувшем мозгу лихорадочно заносились беспокойные вопросительные мысли: “Как такое могло произойти?! Неужели мой преемник — главный инженер — что-то, в самом деле, с бригадиром Сухих намудрил? Если это так, тогда он форменный дурак! А может, всё-таки я сам где-то нечаянно маху дал, чего-то из-за вечной занятости недоглядел?” И, в надежде прояснить причину переплаты, хотя и помнил о весьма суровом предупреждении враз ставшего строгим следователя, как можно вежливой, но твёрдо обратился к нему:

— И всё-таки можно задать хотя бы ещё один вопрос?

И на удивление тотчас получил согласие:

— Валяйте! Только по существу!..

— Спасибо! Не скажете, за какие именно работы выявлена переплата?

— В настоящее время ответственная комиссия как раз это и уточняет! Только надо понимать, что растрата есть растрата! И отвечать за неё придётся! Причём по всей строгости существующего закона! Вот так!

— Согласен, и такое может случиться, но при условии, что у меня был мотив и существовало злое намерение извлечь личную выгоду!..

— Вот-вот! А иначе я уже предъявил бы вам обвинение в полном объёме, и мой допрос закончился бы, сами должны понимать, чем! — как ни старался оставаться грозным, всё же несколько упавшим голосом произнёс следователь, ибо, огорчая, прежде всего, себя самого, подумал: “А этого сына бывшего управляющего — настоящего директора совхоза — голыми руками не возьмешь! Юридически, видать, вполне подкованный! Не только обязанности, но и права свои знает!..”

И поняв, что дальше продолжать допрос не имеет смысла, словно враз потеряв к подозреваемому интерес, вяло разрешил:

— Можете быть свободны! Но, увы, пока!..
— Однако у меня есть к вам просьба, — прежде, чем уйти, сказал Анатолий Петрович и, чтобы Зайцев не успел отказать, скороговоркой добавил: — Продиктованная государственным интересом!

— Даже так?!

— Именно!

— В таком случае внимательно вас слушаю!

— В настоящее время в районе началась одна из самых ответственных, значительных сельскохозяйственных кампаний — уборочная, — сказал молодой директор. — Поскольку, как вы знаете, я возглавляю совхоз, то от моей самоотдачи и верных, вовремя принятых решений зависит, можно без преувеличения сказать, успех годовой деятельности всего хозяйства. Поэтому, с учётом государственных интересов, пожалуйста, следующий раз вызовите меня лишь тогда, когда уважаемая ревизионная комиссия окончательно закончит проверку по всем строящимся объектам! А я, в свою очередь, даю честное слово, что, как только себе докажу ошибочность действий при заключении договора с Сухих, тотчас сам явлюсь к вам, не дожидаясь вызова, с повинной!.. Хорошо?!

— Подождите, подождите! Уж не думаете ли вы, что я приехал за тысячу километров в бирюльки играть?!

— Нет! Но по-умному, одно важное дело не должно мешать другому!

— Ладно, я подумаю!..

Выйдя на улицу из душного, давящего своей казённостью и угрюмостью тесного кабинета, Анатолий Петрович посмотрел на часы — они показывали полуденное время. И подумал: “Не зайти ли самому в сельскохозяйственный отдел райкома к Выборовой, поскольку неприятного разговора, на который напросился сам, раньше установленного срока начав копку картофеля, в любом случае, при любой обстановке не избежать, то есть в своём роде вызвать, как на самом настоящем фронте, огонь на себя?..” Но от разговора со следователем почему-то на душе было настолько пусто, что не хотелось больше сегодня ни с кем ни встречаться, ни говорить, тем более толочь в ступе воду, упрямо доказывать свою несомненную правоту. И, лишь тяжело вздохнув, Анатолий Петрович сел в стоящий напротив здания милиции, рядом со столовой, “уазик” и дал распоряжение водителю возвращаться.

— А разве не перекусим? — спросил он.

— В городе — нет! Зато дома сразу и пообедаем, и поужинаем!

И больше за всю почти трёхчасовую дорогу не проронил ни слова. Но, немного успокоившись и дав некоторое время мыслям, волнами прокатывавшимся в мозгу, улечся, подумал о своих отношениях с женой, которые в последнее время стали ему непонятными, и, словно пытаясь хоть каким-то объяснением их перекрыть спорный разговор со следователем, стал рассуждать: “Как ни смотри на мою вторую женитьбу, но по-всякому выходит, что я правильно поступил... Одна моя любовь к Марии, горящая в душе величественным, мощным огнём, пусть и потрескивая на жизненном ветру мелкими ссорами и случайными обидами, делает меня ещё сильнее, ибо теперь я в ответе за свою любимую и значит — должен всегда быть готовым вдвойне бороться со всем горьким, плохим, что может произойти, если не в ближайшем будущем, то в дальнейшем — точно! Думать иначе, значит, быть глубоко самонадеянным человеком, ведь, как сказал один известный поэт, — *жизнь прожить — не поле перейти!* На всем её протяжении, хорошо ещё, если в равной мере будут накрывать с головой горе со счастьем! И потом, великий древний учёный Архимед, пусть несколько самоуверенно, но все же верно заявил: “Дайте мне точку опоры, и я переверну мир!..” Для меня такой точкой всё больше и больше становятся рассветные чувства к Марии. Я люблю её, и значит, какие бы чёрные силы ни преграждали мне путь из мрака к свету, я, пусть и пройдя через всё новые и новые лишения, одолею их, поскольку, прежде всего, духовно непобедим!..”

А между тем безжалостное время неудержимо подходило к вечеру. В уже наступивших синих сумерках, когда машина остановилась у самой калитки дома, печально, словно от боли, скрипнув сильно изношенными тормозными колодками, Анатолий Петрович, вдохновлённый своими дорожными мыслями, на вопрос Петра: “На завтра какое будет указание?” — твёрдо и уверенно, будто при колке дров с силой отпустил топор на огромную листовничную чурку, решительно ответил: “Обычное — работать и работать!” И, порывисто выйдя из машины, резко захлопнув дверцу за собой, стремительно, словно весенний верховой ветер, родившийся в быстрой смене температур воздушных масс, взбежал на крыльцо.

Несмотря на то, что рабочий день закончился лишь час назад, Мария в светло-коричневом фартучке, свободно подвязанном на тонкой талии, что делало её фигуру как бы подчёркнуто стройной, уже вовсю хлопотала на кухне. Услышав в коридоре шум, тотчас выглянула, но встретила мужа с тревогой на лице. И всё же, как ни подмывало расспросить его о внезапной поездке в район, нашла в себе силы сначала накрыть на стол к ужину... И пока Анатолий Петрович молча, словно страшно проголодался, долго и много ел, тоже не проронила ни слова. Зато едва он отодвинул от себя тарелку и положил на неё вилку с ножом, сразу подступила к нему:

— А почему ты утром, уходя из дома, не сообщил мне, что тебя вызывал следователь, да не простой, а по особо важным делам?!

По глазам жены, смотревшим грустней обычного, было понятно, что она знает об уголовном деле, поэтому ходить вокруг да около не имело никакого смысла. И Анатолий Петрович, как на духу, не спеша, взвешивая каждое слово, рассказал всё, что происходило с ним в милиции, заострив внимание на своём непонимании, как могла произойти переплата... Поверила Мария или нет, ему, конечно, хотелось знать, но всё же не настолько, чтобы спрашивать об этом тогда, когда в башке, как вбитый в доску по самую шляпку гвоздь, вновь дал о себе знать возникший ещё в кабинете следователя вопрос: “Где же произошла ошибка, приключился недогляд?..” А что это было именно так, сомнений уже никаких не было.

— Скажи честно, — в свою очередь, как бы между прочим, спросил Анатолий Петрович Марию, — ты про следователя у Эльзы узнала?!

— У неё! А кому я еще могла позвонить, когда секретарша Пака сообщила, что ты в управлении не появлялся!

— А ещё о чём она с тобой по секрету, как всему свету, — шучу! — поведала, ведь, уверен, Зайцев её, мою бывшую заместительницу, одной из первых на допрос вызывал!

— Надеюсь, ты никоим о том, что я скажу, не расскажешь?

— Что за вопрос?! Конечно!

— Так вот, этот следователь по особо важным делам, — произнесла Мария, — оказывается, ещё тот юбочник! Представляешь, после строгого допроса, нагло давая понять испуганной женщине, что теперь исключительно от него зависит её свобода, пригласил её в тот же вечер к себе в гостиничный номер, сам должен понимать для чего!

Анатолию Петровичу ну совсем было не интересно, чем приглашение Зайцева закончилось, но в голове ярко вспыхнула одна мысль, и поэтому, не дав договорить жене, он её высказал вслух:

— Раз следователь, хотя мне он и показался порядочным человеком, тем не менее, так развязано себя ведёт, прямо скажу, не по-мужски, значит, у него на самом деле мало надежд завершить расследование уголовного дела, по крайней мере в отношении меня, в свою пользу!

— Ты в этом уверен?!

— Почти!

— Ну, знаешь, всякое бывает!

— Согласен, бывает, причём нередко! Но теперь, когда с Эльзой всё выяснили, ты, дорогая моя половинка, ответь мне — как себя чувствуешь? Что с твоим недомоганием — окончательно прошло?

— Вроде да!

— Ну, и отлично! Только в твоих прекрасных глазах что-то в последние дни больше грусти стало, как будто жизнь неожиданно сделалась тяжелее, хотя она, по крайней мере, на мой взгляд, не совсем уж и плоха... Лично у меня, да, думаю, у тебя тоже, времена бывали намного похуже нынешних! Так что же всё-таки произошло, не скажешь?

Мария прежде, чем ответить, сначала на секунду задумалась, потом села напротив на самый краешек табуретки, зачем-то взяла со стола кухонное полотенце и, нервно комкая его, ответила:

— Может, ты меня и осудишь, но постараюсь быть перед тобой предельно откровенной. Когда я от Эльзы узнала о твоём вызове к следователю, то на меня вдруг разом навалилась такая тоска, что я даже невольно подумала: а посильна ли мне ноша — быть женой человека, который... — Тут она замолчала, словно не смогла сразу найти нужных слов, но, глубоко вздохнув и с силой выдохнув, всё же продолжила: — Который, конечно, достоин уважения за своё стремление жить, как ты часто выражаешься, на разрыв аорты, тем не менее, исполнен такой огромной духовной энергии, что иной раз кажется: вот сейчас муж пронесется, как ураган, мимо и даже не заметит, что своим мощным крылом смял меня, а я ведь только с виду могу показаться хрупкой, но в душе моей бушует ещё тот огонь! Не зря же я в институте была заводилой многих добрых дел, даже служила примером для некоторых сокурсниц... В общем, милый, мне тяжело с тобой!..

Откровенный ответ жены, неважно, полный или нет, не оказался для Анатолия Петровича неожиданным, ибо он знал и по другим людям, какой большой харизматической силой его наделила природа. Но из-за, можно сказать, дара небесного пожертвовать своей любовью он считал слишком уж большой платой, в любом случае, был не готов, да и в корне не согласен ни душой, ни разумом на это. Но и, как по щучьему велению из известной сказки, стать не собой — тоже, сколько ни думай, было выше сил! Тем более, что прежде жена в отношении его целеустремлённости и иных волевых духовных качеств была совершенно другого мнения! Что же случилось? И, не найдя ответа, он только взял жену за руку и в первый раз, — слово от безысходности, — с силой сжал ее...

Говорить ни о чём больше не хотелось... Но сознание, что его сильное биологическое поле, оказывается, отрицательно действует на родную жену, не сказать, чтобы неожиданно обидело душу, но требовало скорого ответа, лучше, конечно, действенного, как всегда, высказанного напрямую, ибо ходить вокруг да около возникшей проблемы было не в правилах Анатолия Петровича. И он, не спеша собравшись с мыслями, не отпуская руки Марии, смотря в её такие милые, такие любимые, с лёгкой, никогда, словно зимняя льдинка, не тающей грустинкой глаза, смиряя душевное волнение, как морской прибой, вдруг почему-то резко охватившее его, вполголоса произнёс:

— Дорогая, ты только что надрывно сказала, будто ставишь мне в какую-то необъяснимую вину то, что своей бешеной энергетикой угнетаю, нет, даже, словно снежолдыстый ураган, сметаю тебя начисто, ну, словно осенний лист с заснеженного поля!.. Из-за этого всё чаще и чаще тебе хочется побыть одной, чтобы хоть немного отдохнуть уставшей душой, собраться с нелёгкими мыслями. Я не против! Только мне кажется, что выход из того психологического тупика, в котором ты, пусть, действительно, частью по моей вине, частью по определённым свойствам своего характера находишься в настоящее время, в другом. Для примера я тебе предлагаю такие условия, надеюсь, нашего временного существования, а именно — постараюсь тревожить тебя лишь в самых-самых крайних случаях, словно меня в нашей квартире и вообще нет. Тем более, что сделать это будет не так уж и трудно, ведь домой я прихожу лишь ночевать, а все дни, даже в воскресенье, мотаюсь, как угорелый, по полям да покосам... Но знай, это своё предложение я сделал с доброй надеждой, что со временем мы всё-таки сможем вполне адаптироваться друг к другу, конечно, при одном обязательном условии, что по-настоящему любим и хотим быть любимыми... Договорились?..

— Договорились! — как-то неуверенно, с какой-то глубокой, идущей из самой души тревогой, чуть слышно ответила Мария.

Это не могло ускользнуть от острого внимания Анатолия Петровича. И он, — вот страстно жизнелюбивый, уверенный в своих силах человек! — с лёгкой улыбкой, но без пустой иронии спросил:

— Ты, как я заметил, согласившись со мной, тем не менее, считаешь, что чудес на этом грешном свете не бывает, так?

— Вот именно!

— Спорить с твоим мнением, чтобы лишний раз не волновать, я не буду. Да в этом и никакого смысла нет! Потому что я, хотя и крещённый в православии, в глубине души, как наши далёкие незабвенные предки, продолжаю оставаться язычником, свято верящим в такие природные явления, как солнце, наводнение, лес, ураган, душой и сознанием глубоко почитающий их, преклоняющийся перед ними... Но, тем не менее, всегда, прежде чем обратиться к ним за помощью, следуя известной в народе поговорке: “На Бога надейся, да сам не плошай...” Но в этот раз хочу прочитать тебе гениальную строчку русского поэта Александра Твардовского: “Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...”

И, прочитав, добавил:

— Надеюсь, теперь тебе, моя дорогая, всё ранее сказанное, настолько хорошо понятно, что любые комментарии излишни... Или всё-таки по какой-то причине ты остаёшься в недоумении?

— Понятно-то понятно, только знаешь, блажен, кто верует!..

Но в самых последних словах её уже не было той категоричности, того глухого протеста, что ли, из-за которых Анатолий Петрович, едва остыв от производственных забот, дел и тревожений, поздно вечером, затемно возвращаясь по душной и пыльной дороге домой, иной раз без страстного оптимизма, с тяжёлой грустью в притомившейся душе смотрел на их совместное будущее. И он легко, словно боясь испугать жену, как цветастая, луговая бабочка бархатными крылышками, нежно прикоснулся горячими губами к родному лбу, но, почувствовав, что Мария покорно замерла, запечатлел на нём жаркий поцелуй, словно укрепляя любимую в значимости всего им не без труда,

как на духу, высказанного, и с заметным облегчением всей грудью выдохнул. На протяжении последнего времени незримые тучи неясности в отношениях с женой, словно плотные, тёмные небесные облака, разгоняемые вешним, напористым ветром, сначала стали понемногу розовато светлеть, а потом и вовсе расходятся по бескрайнему небу свода души, словно с готовностью освобождая место для яркого, лучезарного солнца радости, которое, казалось, вот-вот должно начать восходить всё выше и выше по ступеням светлых надежд, освещая золотым всполохом далеко вперед, ох, какой сложный, ох, какой тяжкий, редко когда предсказуемый жизненный путь!

В этот раз непосредственно для Анатолия Петровича сказавшийся тем, что он по неумолимой воле судьбы ради скорейшей умелой настройки, как zelo опытный механик машинного двигателя, на ритмичную, исполненную созидательной энергии, плодотворную работу всего огромного механизма совхоза, всё ещё продолжавшего, образно говоря, как престарелый человек, болезненно кашляя и кашляя, испытывая огромное напряжение всех производственных и людских сил, вставать с трясущихся колен, ежедневно вынужден был ещё и неумолимо психологически бороться со своими непосредственными заместителями. В первую очередь, с Бахтиным, а также с теми, пусть немногими, управленческими разгильдяями — работниками среднего звена, которые вместо того, чтобы в нелёгкое страдное время, когда день год кормит, разделить тяжкий труд со всем коллективом на прополке, а вернее, самом настоящем спасении капусты от, казалось бы, неминуемой гибели от сорняков, трусливо спрятались по большичным листам, легкомысленно надеясь без каких-либо серьёзных последствий для своей дальнейшей работы в совхозе отсидеться в тенёчке да сытости. А Анатолий Петрович должен теперь, как волевой мужчина, во что бы то ни стало ещё найти в себе и те дополнительные психологические силы, которые позволили бы ему в полной мере противостоять своему от природы взрывному, крутому характеру. И не только...

Простым условным отстранением, пусть лишь на некоторое время, от горячо любимой, несмотря на её ярко выраженный эгоизм, женщины, нарочно, словно для проверки на излом своих же духовных сил, оставленный Анатолием Петровичем без внимания, скорей всего, в большой мере-то и способствовал развитию того душевного дискомфорта Марии, из-за которого вернуть её томящееся сердце к терпимому восприятию семейных неурядиц было ох, как трудно. Обязательно надо всем своим добрым обращением и, конечно, набравшись чуткого терпения, как-то ненавязчиво сперва расположить дорогую супругу к бывшему доверительному общению, а потом уже и к желанию его, как единственного мужчины, как глубинного источника животворного света, жизнь без которого на этой грешной земле для женщины вообще теряет всякий смысл. И быть не может, чтобы он, выходивший из многих судьбоносных споров и противоборств торжествующим победителем, проиграл в этот раз, как бы жизненные обстоятельства для него тяжело и сложно, а порой и вообще невыносимо не складывались!

Согласившись с собой, вместо того, чтобы ещё более облегчённо выдохнуть, Анатолий Петрович тем не менее вдруг задался вопросом, который и прежде то и дело тревожил его беспокойное сознание: “А вообще, эгоизм, вернее, самолюбие, так часто в словах и поступках упрямо движущее характерами многих людей, что же, конкретно говоря, из себя представляет?!” И опыт напряжённых отношений с женой за последнее время привел к одному лишь, весьма горькому ответу: “Разрушающую силу, равно как доброе, так и недоброе, у которой виноваты все, кроме нее самой!..” В таком случае, волей-неволей напрашивается ещё один, более сложный, чем первый, вопрос: “Человек, страстно любящий только себя, способен ли по-настоящему навсегда полюбить другого той жертвенной любовью, без которой семейного счастья быть не может?..” Задав его, Анатолий Петрович неожиданно, против своей воли ушёл в глубокое раздумье... И чем больше оно длилось, тем мрачней и плотнее сдвигались его тёмные брови, острый, как скальпель, взгляд голубых глаз настолько потяжелел, что казалось, налил свинцом, скуластое лицо удручающе побледнело, как на внезапном пятидесятиградусном морозе, сердце словно захолонуло от ледяной воды. Да, по-другому и быть не могло, ибо он начинал всё явственнее приходить к отрицательному выводу, всё более усугублявшемуся. И на его основе уже и родилось что-то наподобие духовной формулы: самовлюблённость — это неумение любить вообще!.. А коль она дана от природы, то получается, что и спорить с ним всё равно, что в ступе воду толочь!

“Пусть будет так! Но не плыть же безвольно, заранее обрекая себя на всевозможные несчастья, по бурному течению жизни? — продолжали, словно горная река на каменистых перекатах, всплывать взволнованные мысли. — Верно, с человеческим эгоизмом, как с любой другой природной, разрушительной силой, бессмысленно бороться

без судьбоносной цели... Но если его невозможно победить до конца, то надо хотя бы твёрдо попытаться направить, словно весенний паводок, в русло ясного сознания, что, как бы ты сильно не любил себя любимого, в одиночку ну, никак не выжить в этом страхе как несправедливым, постоянно, увы, чаще в худшую сторону меняющемся мире. К тому же любая борьба за жизнь, вернее, за любовь, прежде всего, является надеждой, а она, как известно, умирает последней и только тогда, когда исчерпывается всякая возможность компромисса сначала с самим собой, а потом и с объектом твоей любви... Во всяком случае, семейная жизнь не может состоять из одних только уступок своих устоявшихся взглядов, правил, привычек. Но попытка понять характер другого человека при определённых условиях способна обогатить, сделать ещё глубже и сокровенней твою жизнь...”

Всё это ярко, как сухой порох, вспыхнувшее в разгоряченной голове, а потом и глубоко осмысленное, Анатолию Петровичу было несложно принять, ибо оно, неважно в какой мере, но без всякого сомнения относилось и к нему самому... Тем не менее, он не мог не отдавать себе полный отчёт в том, что в семье, пусть и безоглядно созданной, можно сказать, по воле случая, Мария со своей от природы духовно слабой натурой подвержена опасности впадать в растерянность, а в самый критический момент, может, даже и в самую настоящую панику, и значит, не в состоянии служить ему надёжной опорой. А поскольку он не намерен и впредь пасовать перед судьбой, то, может быть, народная поговорка “Один в поле воин!...” относится к нему, как ни к кому другому. Жаль, конечно! Но не настолько сильно, чтобы велевой душой, вынужденной по судьбе больше страдать, чем радоваться, впадать в горькое уныние...

Наконец, можно было позволить голове, сильно уставшей от весьма непростых размышлений, отдохнуть, но неожиданно сознание Анатолия Петровича озарила, как молниевая пламенная вспышка, на первый взгляд показавшаяся уж совсем сложной и потому непривычно тяжёлой вопросительная мысль: “А может ли мужчина, оправданно знающий себе цену, верно понимающий, что всё, свершаемое им самоотвержено, от души, исполнено глубокой заботой о других, любить по-настоящему глубоко эгоистичную, пусть и необыкновенно красивую женщину?” Чувствуя, что ответ сразу найти не удастся, захотелось тотчас отвлечься от мысли-вопроса хотя бы просмотром какой-нибудь захватывающей телевизионной передачи или чтением интересной книги, в конце концов, просто заснуть!.. И, скорей всего, так бы он и поступил, но вдруг чуть ли не в отчаянье, словно по карающей воле свыше, пусть не без сомнения, но до острой боли в сердце подумал: “Если всё-таки моя внезапная озабоченность воспалённого сознания не лишена твёрдых оснований, значит, чувства к Марии, в лучшем случае, являются огневой страстью, которая, как известно, быстро и дотла сгорает, словно костровой хворост на порывистом ветру. Ну, а в худшем — остаётся чрезмерной жадой той солнечно-вдохновенной любви, которая распалилась ещё в ранней юности, частью в силу мужской природы, частью под влиянием созданных писателями в своих классических произведениях ярких персонажей, с которых всей душой хотелось брать пример... И значит, я, так и не сумев до встречи с Марией по-настоящему, — до ликующего восторга неутомимого сердца! — никого полюбить, невольно сам стал заложником созданного мной, как поэтом по духу и по сути, восхитительного образа любви, который, к сожалению, ничем иным не может быть, кроме знойного зыбкого миража... Но я так мастерски, с таким воодушевлением, с таким пылом, словно талантливый артист, играю в жизни роль любовника, что невольно поверил, как в божественную истину, в свои чувства, которые, увы, в реальности могут являться лишь страстным плодом моего богатого, яркого от природы воображения...”

Пусть эти ох, какие болевые, словно ударившие обухом по голове, размышления были только предположением, которое рано или поздно, но обязательно будет подтверждено или отвергнуто жизнью, но от него на душе у Анатолия Петровича стало ещё тяжелей, ещё горше, будто его загнали в каменный мешок, выход из которого если и был, то исключительно через новые, невероятные тяжкие страдания! Но время стремительно, как вспугнутая на озере утка, летело. Надо было хоть немного поспать, чтобы набраться сил для нового трудового дня. И, в очередной раз призвав на помощь свою крепкую, будто чудом выкованную из стали волю, Анатолий Петрович несколько раз всей грудью глубоко вдохнул и с силой выдохнул, резко встряхнул головой, словно сбрасывая налетевшую тучу кровожадных комаров, прямо в гостиную быстро разделся и решительно прошёл в спальню, будто хотел, как в морскую штормовую пучину, нырнуть с головой в спасительный сон.

О, жизнь!.. Пусть по случаю, пусть по неожиданному стечению многих обстоятельств, но встретились два молодых человека, чтобы и боль, и радость делить по-

полам, жить взахлёб делами и мыслями друг друга... Но ещё даже не успели завести ребёнка, как правило, скрепляющего семью крепче, чем цемент строительные кирпичи, как уже по сути, можно честно признать, обратились в два одиночества... Ещё пока не несчастных до того, чтобы всерьёз помышлять о полном разрыве с горькими воспоминаниями, может, даже с чрезмерно жестоким сожалением к самим себе о решении скоропалительно, впопыхах соединиться ради будущей семьи. Той самой дорогой и желанной, в которой с утра до вечера звучал бы, как серебрянный колокольчик, живительный смех детей, куда бы хотелось скорей вернуться с работы, в уют и тепло, созданные с душой руками любимой. И откуда бы и когда бы ни возвращаться, лететь в своё родное гнездо, словно по ранней весне стремительная птица, на мощных крыльях огневой любви. С умилением думать о доме не иначе, как о верном, крепком причале, приносящем сердцу, бьющемуся в созидательной, самоотверженной работе на разрыв, добрый покой и удовлетворение счастливым настоящим, ну и, конечно, неистовым желанием приблизить будущее, ибо очень часто кажется, что самый значимый, самый удачный день всегда тот, который еще только предстоит прожить. О том, что вместе с этим придётся идти сознательно навстречу смерти на самом всё расширяющемся развороте молодых, задорных лет, даже думать не хотелось.

И всё-таки, как убедительно ни говори, как здраво, до боли в темени ни думай, нет и не может быть прощения человеческой жизни... Конечно, с этим она может спорить и спорить! Но прежде чем так опрометчиво поступить, пусть трезво, со всей ответственностью посмотрит на длинный, многомиллионный список тех людей, которые оказались виноваты перед ней лишь потому, что дорогая матушка-природа почему-то не наделила их в необходимой мере крепким духом и здоровым телом. По этой, ох, какой важной причине не в состоянии противостоять ей они не получили ни желаемого счастья, ни заветной любви. Только что всё это значит для неё, столь заносчивой, высокомерной и в тоже время такой удивительно беспредельной, словно косматый, взвихренный звёздными потоками космос, во всю его бесконечность засеянный, как хорошо возделанное, удобное за многие, многие годы пшеничное поле, неисчислимыми, серебристо горящими, таинственными звёздами-всполохами? Комариный писк... Мышиная возня... Сорочья трескотня... Увы, не более...

Однако не станет ли печальный душевный надлом одного одиночества самой настоящей проверкой для другого на умение сохранить дорогое, ставшее судьбоносным чувство? Скорей всего, так и есть! В случае с Анатолием Петровичем, родившимся борцом, это замечательно! Да-да, именно так! Ибо его сильная, можно сказать, стальная мужская натура и создана природой, чтобы в борьбе за свою любовь пожать в ней не только солнечный успех, но и осознание своей непроходящей значимости человека, для которого, в общем-то, лишь условно имеет определённый смысл слово “невозможно”. И пока есть горящая ярко светом будущего счастья надежда, ему по силам обратиться даже самую неимоверную трудность в единственную верную любовь.

Когда Анатолий Петрович нырнул под одеяло, Мария, как часто делала прежде, не повернулась к нему лицом, не положила тёплую, пахнущую гречишным мёдом руку на его широкую, мускулистую грудь. А словно отгородившись толстым стеклом, лежала за ним, вытянувшись в струнку, в непоколебимом молчании. Однако в этот вечер уже ничто не могло его удивить, тем более, что и раньше в тяжёлые минуты супружества жена вместо того, чтобы вместе с мужем дружно, общими усилиями пережить жизненную невзгоду, ободряя друг друга добрыми словами, сообщила размышляя, как облегчить навалившуюся железобетонной плитой судьбу, надолго, порой даже на несколько дней уходила глубоко в себя и о чём напряжённо думала — только Богу одному было известно. И всё же в этот раз Анатолий Петрович о жене с саднящей грустью подумал: “Только бы не стала скоропалительно жалеть о том, что вышла за меня замуж, чтобы потом, когда выяснится в полной мере моя невиновность в переплате денег бригаде Сухих, и вместе с тем неминуемо спадёт то напряжение в наших отношениях, которое мы оба сейчас ох, как остро переживаем, ей не стало передо мной неловко и, может, даже печально и стыдно за свою временную слабость. Я-то точно, даже с великой радостью как можно скорее прощу свою половинку, а вот она себя со своим самолюбивым характером — ещё тот вопрос!..”

И всё-таки уставшую за такой трудный вечер, оказавшийся исполненным тяжких раздумий и не менее трудным разговором, душу, словно здоровенным гранитным камнем, придавило горькое сожаление, что так непросто складываются, можно сказать, ещё в самом начале их с Марией супружеские отношения. С каждой минутой это сложное, угнетающее дух чувство всё усиливалось, пока в разгорячённом мозгу не вспыхнули по понятным причинам совсем не оптимистические стихи, но в общем-то

верно передающие сложившуюся на данный момент ситуацию. И Анатолий Петрович, чтобы скорей освободить душу для сна, про себя прочитал их:

*Лежу, на целый мир в обиде,
и про тебя забыл... почти.
Нет, ничего у нас не выйдет...
Прости, любимая, прости.
Ведь этот мир такой тяжёлый
и так ко мне несправедлив...
Уйду до времени за доли,
не домечтав, не долюбив...
Но путь всё больше в гору, в гору,
всё меньше, меньше под уклон.
Зря ищешь ты во мне опору...
Напрасно я в тебя влюблён...
Но кто мы, кто мы, в самом деле —
и наяву, и в тайных снах?
В одном доме, в одной постели,
а как на разных берегах...*

(Окончание следует)

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ



ОТ ПЕРВЫХ СЛЁЗ ДО КРАЙНЕЙ ТОЙ ВЕРСТЫ...

ДИАЛЕКТИКА

Река времён вбирает
все судьбы вперемешку,
и солнце в ней играет
с волной в “орла и решку”.

Судьба тасует роли,
испытывает болью,
любовь рифмует с кровью,
рифмует кровь с любовью...

Хоть нищенствуй, хоть царствуй —
всяк горек мёд познания,
и рядом с каждым “здравствуй”,
как стражник, — “до свиданья!..”

Расставленные сети —
с рождения до тризны,
жизнь любит сны о смерти,
смерть любит сны о жизни.

КРАСНИКОВ Геннадий Николаевич родился в 1951 году в г. Новотроицке Оренбургской области. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. В течение двадцати лет был редактором альманаха “Поэзия” вместе с Н. Старшиновым. Автор книг стихов: “Птичьи светофоры”, “Пока вы любите...”, “Крик”, “Не убий!”. В последнее время выступает в печати как переводчик, публицист, эссеист. Член Союза писателей России. Живёт в Подмоскowie.

И пусть нам смысл неведом,
живём в кругу нелепом
то — не единым небом,
то — не единым хлебом...

* * *

Деревья устали стоять,
листвою шуметь, ветвями махать...
Деревья хотят полететь
или хотя бы присесть,
с места сойти, уйти,
сменить обстановку, пропасть...
Но нет им пути...
Можно только упасть.

* * *

Однажды он наступит — жизни вечер,
и пусть тогда не задрожит рука!
Лови вчерашний день, вчерашний ветер,
тень птицы, тень цветка и мотылька...

Не торопясь, у моря жди погоды,
порядок слов и снов перебирай,
и словно книги, собственные годы
с невольным удивленьем открывай.

Все звуки с миру соберёшь по нитке,
но в памяти останется один
тревожный скрип незапертой калитки,
перед которой замер блудный сын...

Осенний сад увенчан и развенчан,
и первый снег уже посеребрил
тень девочки, тень девушки, тень женщин,
которых ты так искренно любил...

...Ловец теней!.. Храни, что было мило,
от первых слёз до крайней той версты,
всё, что тебя спасало и хранило,
что, может, слишком поздно понял ты.

* * *

Повторение зимы,
вёсен, лета повторенье
принимать привыкли мы
просто, как стихотворенье,
как природы вдохновенье.

Вспомним осени сюжет —
каждый год с её страницы
шумно улетают птицы,
листья им летят вослед.
Грустный лес стоит раздет.

Что за осень? Зима...
Хоть сейчас на ней печатай
рой фантазий непочатый,
занесённые дома,
белоснежные тома...

За зимой спешит весна,
озорства полна и шалости,
и на трон зимы без жалости
самозванкою она
вся в цветах вознесена!..

Лето... Хочется летать,
слушать времени движенье
и в речной волне листать
(словно в первый день творенья), —
звёздной книги отраженье...

* * *

Зачем Колумб Америку открыл?
Николай Гумилёв

Колумб открыл, а Бог тебя закроет.
Г. К.

1

Соединённые Шавки Америки
мечутся, бесятся, бьются в истерике...

Мелкобритания, Польша, Германия —
передовая цепная компания.

Галльский петух, словно пёс беспородный,
гордый свой дух позабыл благородный!

А — сбоку бантики — страны Прибалтики
тявкают так, что слышать до Атлантики.

И — пополнение в стае Госдепии —
новая шавка по кличке “Мазепия”...

Жалким хвостом перед боссом виляя,
свора озёрна, стозевна и лаййяй...

2

...Сколько ни злятся они, ни стараются,
русские кланяться не собираются.

Сколько в ряды они вражды ни строятся,
русские только сильнее становятся!..

3

...Но чтоб укус этой лающей братии
не заражал столбняком демократии,

следует этих холуйских угодников
не выпускать никуда без намордников,

Ну, а хозяину их — с неизбежностью
срочно назначить уколы от бешенства!..

4

Экс-президент США Джордж Буш-младший, посетивший панихиду по погибшим в Далласе полицейским, удивил окружающих тем, что начал танцевать во время исполнения “Боевого гимна республики”...

Хватит, Европа!.. Ты же — не шавка,
ты не в ошейнике, это удавка.

Это не Буш, не мираж, не истерика, —
это пред Иродом пляшет Америка!

Новая пляшет пред ним Саломея
с жертвенною головою твоею!..

* * *

Перед этим полем цветущим	хочется полететь,
перед этим ручьём поющим	хочется петь!
перед этим запахом хлебным	хочется всё отдать,
перед этим холмиком бедным	хочется зарыдать.
Перед этим лепетом детским	хочется поумнеть,
перед этим щенком соседским	хочется протрезветь...
Перед этим всемирным адом	хочется устоять,
хочется перед женским взглядом	голову потерять.
Перед этим парящим снегом	хочется всех прощать,
перед этим безмолвным небом	можно только молчать.

ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ



В ДУШЕ У МЕНЯ ТИШИНА

* * *

В небе вольные птицы
Рассекают простор.
В белой Божьей рубашке
Софийский собор.

С покаянною дрожью
На молитву встаю.
Мне за пазухой Божьей
Хорошо, как в раю.

В жизни брэнной и тяжкой
До скончания лет
Всем нам служит рубашкой
Божий праведный свет.

На пиру и на плахе
Русский зла не таит,
В белой отчей рубашке
Перед Богом стоит.

И в Господней вселенной
Осеньют простор
Крест нательный нетленный
И Софийский собор.

СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич — выдающийся современный поэт, секретарь Союза писателей России, автор 10 поэтических книг, лауреат всероссийских литературных премий. Живёт в городе Новокуйбышевск Самарской области.

* * *

Листобоем напролом
В дом вломившись спозаранку,
Осень за моим столом
Стелет скатерть-самобранку.

Ломит тучный каравай
И поводит томно бровью.
Говорит: “Отец, давай
Выпьем за твоё здоровье!”

— За здоровье! — Я не прочь,
Хоть глаза твои — туманы,
Но к здоровью приторочь
Спирта полные стаканы.

Коли ты — родная мать,
Невзирая на погоду, —
Гулевать так гулевать! —
Разбавлять не будем воду.

На двоих с тобой вдвоём
Каравай судьбы разделим
И отчаянно споём
Колыбельную метелям.

Неспроста, не задарма
Нынче праздник в доме нашем.
А сварливая зима
За окошком пусть попляшет.

ЮГРА

Проделав путь томительный неблизкий,
Приветствую тебя, моя сестра,
В Самарове (читай, в Ханты-Мансийске)
Вогульская остяцкая Югра.

Сорвавшийся с лихого крутояра,
Твой волжский брат, растроганный до слёз,
Земной поклон от города Самара
И жигулёвской вольницы привёз.

Готов поклясться нашей общей мамой,
Что не один я нынче с толку сбит.
Раскопанный в степи заволжской мамонт
Своим югорским родичам трубит.

Когда бурлит над Волгой вешний ливень,
Тараня грозовые облака.
Над степью выгибается, как бивень,
Гудящая Самарская Лука.

Когда клубятся волжские туманы,
Вздымаясь до небесной высоты,
Толпяся жигулёвские курганы,
Как первобытных мамонтов хребты.

Самарово — и я самарский, то бишь! —
В любви моё признание прими.
Ведь все мы — дети мамонтовых стойбищ,
По Божьей воле ставшие людьми.

* * *

Душа у меня молода —
Из хрупкого, тонкого льда.
Когда лёд оттаёт,
В душе расцветает
Подснежников нежных гряда.

В душе у меня бирюза
Прозрачная, словно слеза.
Звенящее лето.
И сполохи света
Мои застилают глаза.

В душе у меня тишина.
Душа несказанно пьяна.
Небесная просинь.
Бездонная осень.
Во всё виновата она.

В душе моей снежная тьма.
Наполнены всклень закрома.
Сварливая печка.
Замёрзшая речка.
Горбатая ведьма — зима.

АНДРЕЙ ФУРСОВ

“ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ, ПО САМОМУ ПО КРАЮ”

Февральский переворот в русской и мировой истории

*Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
[...]
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож.*

М. Ю. Лермонтов

Часть первая

Россия и Европа на пути к 1914 году

Неславный юбилей

В этом году исполняется 100 лет со дня события, которое одни называли Февральским переворотом, другие – буржуазной революцией. Одни видели в данном событии “весну демократии”, другие – катастрофу. В любом случае, именно крушение самодержавия, произошедшее в форме безвольного отречения от престола безвольного и бесталанного царя, открыло “кладёзь бездны”, захлопнуть которую было суждено тем, кто против своей воли превратился из интернационал-социалистов, земшарников в государственников. Речь, понятно, о большевиках.

Всё многообразие точек зрения по поводу Февральского переворота на то, что к нему привело, что (и почему) за ним последовало, можно свести к двум базовым подходам.

Согласно одному из них, в позднесамодержавной России, то есть в России конца XIX – начала XX века, всё было не так плохо. XIX век был успешным веком России (“и хруст французской булки”, правда, не для всех), развивался капитализм, ещё чуть-чуть – и Россия стала бы подлинно великой капиталистической державой, но всё испортили большевики, низвергнувшие её в Тартар истории, в “тоталитаризм-коммунизм”, в Гулагию и т. д., и т. п.

ФУРСОВ Андрей Ильич — директор Института системно-стратегического анализа; директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета; автор более 400 публикаций, включая 11 монографий.

Здесь необходимо сразу же сделать два замечания. Во-первых, в катастрофу Россию, свергнув самодержавие, толкнули либералы-февралисты и их англо-французские поделщики (они же – кураторы). Во-вторых, мнение о том, что при спокойном развитии в течение лет эдак двадцати России было суждено великое буржуазно-либеральное будущее вкупе с экономическим процветанием и геополитической мощью, чаще всего навеяно знаменитым тезисом классово весьма близкого нынешнему правящему слою РФ П. А. Столыпина о значении двадцати спокойных лет для России. Предполагается, что в этом случае успех его реформам и их блестящим результатам был бы гарантирован. На самом деле, по иронии истории именно Столыпин, несмотря на провал реформы, ускорил ею революцию в России. А вот если бы реформа не провалилась, то революцию Россия получила бы уже году в 1912-м, самое позднее – в 1913-м, и “мощный человек” Лермонтова с булатным ножом явился бы на пять лет раньше. Однако сторонники схемы “блестящая Россия конца XIX – начала XX века” (“Россия, которую мы потеряли”) всего этого видеть не желают.

Но есть и другая точка зрения, другой подход: конец самодержавия был вполне логичным и закономерным финалом, развязкой нараставшего в течение нескольких десятилетий и ускорившегося с начала XX века кризиса. Строй стремительно загнивал, а его руководители и охранители оказались совершенно неадекватны наступающей эпохе. XIX век, согласно этой точке зрения, был почти катастрофическим для России, и уже в первые годы века XX Россия была на грани катастрофы. Вот как писал об этом блестящий русский публицист М. О. Меньшиков: “Девятнадцатый век окончательно утвердил наш духовный плен у Европы; народно-культурное творчество у нас окончательно сменилось подражанием, и в самом таинственном истоке жизни мы, “русые”, уже поработаны “белокурами”. Вы скажете, что хорошее подражание лучше плохого творчества, что в подражании – наше спасение и что стоит нам, например, остановиться в подражании вооружению соседей, как мы будем немедленно разгромлены. Я на это замечу, что подражание всегда отстаёт от творчества и подражатель всегда жертва своему образцу. Били могучие, хотя и неясные причины, почему народ русский не выдержал умственных влияний Запада; может быть, не хватило энергии выработать свою столь же определённую и роскошную культуру. Но, раз подчинившись, народ русский подвергается опасности дальнейших, постепенных, всё более тяжких подчинений. Из подражания Западу мы приняли чужой критерий жизни, для нашей народности непосильный. Мы хотим жить теперь не иначе, как с западною роскошью, забывая, что ни расовая энергия, ни природа наша не те, что там. Вынеся из доисторических времён страшную упругость духа, *furor teutonicus*, свежесть тела и сердца, германцы укрепили себя долговременною историческою дисциплиною, обогатили невероятно изобретениями, мореплаванием, промышленностью, грабёжом колоний; они легко могут позволить себе великолепие их городов с дворцами, театрами, храмами, роскошь полей и парков, обилие фабрик, железных дорог и флотов. Они вдесятеро богаче нас и вполне естественно, без напряжений устроили себе богатую обстановку жизни. Нам же, народу континентальному, расплывшемуся по стране суровой и далеко не одолевшему всех природных препятствий, народу земледельческому, не торговому, свойственна сравнительная бедность и культура менее пышная, менее искусственная, более близкая к природе. Для нас естественнее было бы натуральное хозяйство, нежели денежное, промыслы кустарные, нежели фабричные, вообще, земледельческий, деревенский уклад, нежели капиталистический. Но Запад поразил воображение наших верхних классов и заставил перестроить всю нашу народную жизнь с величайшими жертвами и большою опасностью для неё. Подобно Индии, сделавшейся из когда-то богатой и ещё недавно зажиточной страны совсем нищей, Россия стала данницей Европы во множестве самых изнурительных отношений. Желая иметь все те предметы роскоши и комфорта, которые так обычны на Западе, мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба, но, как Индия, необходимые его запасы. Народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению, и всё это для того только, чтобы поддержать блеск европеизма, дать возможность небольшому слою капиталистов идти ногой в ногу с Европой. Девятнадцатый век следует считать столетием постепенного и в конце тревожно-быстрого упадка народного благосостояния в России. Из России текут реки золота на

покупку западных фабрикантов, на содержание более чем сотни тысяч русских, живущих за границей, на погашение долгов и процентов по займам и пр., и неисчислимое количество усилий тратится на то, чтобы, наперекор стихиям, поддерживать в бедной стране богатое культурное обличье. Если не произойдёт какой-нибудь смены энергий, если тягостный процесс подражания Европе разовьётся дальше, то Россия рискует быть разорённой без выстрела (подч. мной. — А. Ф.); “оскудение”, захватив раньше всего прикосновенный к Европе класс, доходит до глубин народных, и стране в таком положении придётся или иметь мужество отказаться от соблазна, или обречь себя на вечный плен...”*

По сути, это описание системного кризиса, развивавшегося в России как минимум с середины XIX века и включавшего быстрый и всё ускорявшийся упадок благосостояния низов, разложения верхов, более быстрый процесс разложения старого, чем оформления нового, постепенный рост зависимости от иностранного капитала, а следовательно, и частичную утрату суверенитета. Иными словами, прогресс капитализма в России есть фактор и мерило регресса России, русского народа и центральной власти, центроверха. Следует обратить особое внимание на мысль М. О. Меньшикова о необходимости “смены энергий” для спасения России. Сам по себе Февральский переворот — abortивная попытка кривобокой буржуазной революции в России, застрявшей, главным образом, в политической сфере, не стал сменой энергий, которой требовало развитие России с середины XIX века. Более того, он вверх Россию в хаотическое состояние, в “мутной водичке” которого могли “ловить рыбку” лишь ловкие дельцы, да вот беда (для них): времени история им отвела очень мало, и *пир во время чумы* быстро закончился.

Политические карлики и ничтожества, умевшие только красноречиво-вать, смотреть в рот британцам и французам, не знавшие свою страну и свой народ, все эти милюковы-набоковы-керенские, боявшиеся ответственности и не умевшие ничем управлять, развязали (пользуясь метафорой А. Блока) “дикие страсти под игом ущербной луны”, сами стали жертвами этих страстей и страну вверх в погибель. Вспоминается пушкинское “В поле бес нас водит, видно, // Да кружит по сторонам”. Впрочем, есть некая логика, я бы даже сказал, закономерность в том, что последние гвозди в гроб самодержавия вбивали именно самонадеянные ничтожества. Кстати, так же произошло и с советской системой, пир на костях которой справляли (а во многом и до сих пор справляют) проходимцы, моральные уроды, а то и просто преступники. О европейских событиях 1848 года Маркс и Энгельс написали, что теперь знают, какую роль в революции играет глупость и как мерзавцы умеют её использовать, маскируя в виде глупости банальный корыстный злой умысел. То же можно сказать о многих революциях.

Один из руководителей советской разведки 1980-х годов Л. В. Шebarшин как-то заметил: “Роль ошибки, легкомыслия и просто глупости никогда не учитывается в анализе политических ситуаций. В материалах исследований, отчётах, публицистических статьях, научных трудах логика и разум вносятся туда, где господствовали неразбериха и некомпетентность, отмечается элемент случайного, все события нанизываются на железный стержень рациональной, злой или доброй воли. В жизни так не бывает”. Это похоже на один из “законов Мерфи”: не ищи злого умысла там, где достаточно глупости. Однако в социальных процессах, особенно в острой борьбе с большими ставками, не всё так просто. Нередко лучший способ спрятать зло или протолкнуть его — это представить в виде глупости. Как говаривал Швейк: “Осмелюсь доложить... идиот!” Однако это лишь одна сторона дела касательно исторической глупости или неадекватности, есть и другая. Дело в том, что имеются жёсткие классовые ограничения адекватного восприятия реальности, в результате чего умные люди, руководствующиеся классовым (классово определённым или, если угодно, классово зашоренным) видением, совершают грубые ошибки — случай П. А. Столыпина. Другой пример: в начале XX века немало представителей верхушки уверенно-обречённо говорили о почти неизбежности революции. И при этом продолжали действовать так, что эту самую революцию приближали, как могли. Недаром в советское время ходила шутка

* Меньшиков М. О. Кончина века // Меньшиков М. О. Выше свободы. М., “Советский писатель”, 1998. С. 29-30.

о том, что Хрущёв не успел наградить (посмертно) Николая II за вклад в дело революции в России. В каждой шутке есть доля шутки, и уж если награждать, то не одного Николая II, а значительную часть верхушки господствующего класса Российской империи: чиновников, капиталистов, помещиков. Так же, как и разрушение советской системы и СССР — заслуга не одного Плохиша с чёрной отметиной, а коллективного плохиша. Понять, как нарастает неадекватность верхов и как мерзавцы используют её, равно как и порождённую ею глупость низов, — значит, понять долго- и среднесрочные тенденции развития больших структур и широкомасштабных процессов. Как говорил ещё один руководитель разведки, только не нашей, а американской — Аллен Даллес, — человека легко запутать отдельными фактами, но если он понимает тенденции, его уже не обманешь.

Нас в данной работе интересуют тенденции развития событий в большие исторические отрезки, хроноблоки.

1917 год стал переломным в ходе того периода русской истории, который начался в 1861 году отменой крепостного состояния и завершился в 1939 году XVIII съездом ВКП(б), окончательно погасившим последний всполох большой революционной эпохи, кризиса Большой системы “Россия” — холодную гражданскую войну 1930-х годов; её ошибочно сводят к репрессиям, которые к тому же заярычивают как “сталинские”, и сквозь её призму рассматривают многомерный, фрактальный по своей сути процесс. Понять 1917-й с его Февралём и Октябрём и их скрытыми шифрами можно только в контексте большой эпохи. Как говорил французский историк Фернан Бродель, “события — это пыль”, и их суть можно постичь только в контексте времён средней (*conjuncture*) и большой (*très-très longue durée*) длительности. Это тем более верно по отношению к таким крупным, многоплановым, каскадным событиям, как Февральский и Октябрьский перевороты 1917 года, ставшие прологом двух разнонаправленных революций, одна из которых раздавила другую.

1917 год стал переломным и в ходе того периода мировой истории, который начался Французской революцией 1789 года и возникновением Большого Левого (якобинского) Проекта эпохи Модерна и завершился разрушением СССР и системного антикапитализма в 1991 году.

Что касается конкретно Февральского переворота, то он тоже вековое событие как в русской истории, так и в европейской. В России Февраль стал логическим кризисным завершением кризисных же тенденций развития с середины XIX века, а то и несколько раньше. Февральский переворот стал попыткой узаконить уродливый капитализм (впрочем, иным в России капитализм и быть не может) в виде либерального политического строя. И вышло по Достоевскому: если кто и погубит Россию, то это будут либералы. В этом плане Октябрь 1917 года стал ответом исторической России на навязываемую ей неорганику.

В европейской истории Февральский переворот стал важным моментом в борьбе за господство в Европе и мире, которую вела Великобритания и тесно связанные с ней закрытые наднациональные структуры мирового согласования и управления. Одной из задач этой борьбы был разгром России в ходе запланированной британцами русско-германской войны, которая внешне должна была быть обставлена, как европейская (вышло — Первая мировая). Будучи российским явлением, Февральский переворот не будет понятен не только вне контекста долго- и среднесрочной русской истории, но и в контексте примерно такого же отрезка европейской истории. Исходя из этого, ниже история и анализ Февральского переворота 1917 года будут предварены кратким рассмотрением:

— некоторых долгосрочных тенденций русской истории, которые подвели Россию к революции (к февралю 1917 года идёт прямая линия от февраля 1861 года, по сути, толкнувшего Россию на определённый путь: “а в конце дороги той — плаха с топорами” — В. Высоцкий);

— развития событий в России в 1890-е — 1914 годы, сделавших революцию неизбежной, причём неизбежной уже в краткосрочной перспективе;

— развития европейских событий в последней трети XIX — начале XX века в условиях обострившейся борьбы за господство в Европе. Февральский переворот был бы почти немислим вне контекста мировой войны, однако сама эта война была неизбежной, поскольку только она могла решить главную проблему Великобритании и англо-американских финансистов: уничтожение

России и Германии; Февральский переворот необходимо рассматривать и под таким углом зрения;

– хода событий и механики подготовки заговора по свержению самодержавия (1914–1916). Вне широкого исторического контекста мы рискуем не только упустить многое в Февральском перевороте, но просто не понять его суть. Более того, только анализ пятидесятилетия, предшествующего двум переворотам 1917 года, второй из которых стал прологом социалистической революции (речь и о реформе 1861 года, и о российском капитализме, и о реформе Столыпина), может показать, что Россия шла к социальной революции, что революция не была случайной; случайным было бы, если бы она не произошла. Именно картина **пореформенной** России показывает, что то была Россия **предреволюционная** и что у буржуазно ориентированной революции – с учётом предшествующей эволюции – никаких шансов не было. Единственное, на что была способна такая революция, – это столкнуть Россию в пропасть.

Только после такого анализа можно реально понять Февральский переворот, его последствия для России и его уроки, особенно в контексте исторической переклички “февраль 1917-го – август 1991-го”, “позднесамодержавная” и “февральская” Россия – постсоветская РФ. Только это позволяет понять главное: больше полувек Россия шла к социальной, по сути – к социалистической революции. Недаром Льву Толстому приснился сон (о чём он записал в дневнике): в России произошла революция, не против частной собственности – против собственности вообще. Февральский переворот с его буржуазными обертонами был попыткой столкнуть Большую систему “Россия” с этого пути, а для Запада это была вообще попытка выбить Россию из истории.

Крот Истории роет медленно

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...*

Ф. И. Тютчев

Хорошо известна фраза о том, что Николай I “подморозил Россию”. Обычно в неё вкладывают негативный смысл. На самом деле Николай I подморозил-замедлил процесс разложения российского общества, подморозил на тридцать лет реакционным способом; в XX веке аналогичную подморозку проведёт Сталин, но только не посредством реакции, торможения, а посредством революционного рывка в будущее, отодвинув на многие десятилетия, во-первых, то, что ожидало бы Россию в случае (впрочем, весьма маловероятном) остановки революционного процесса на Феврале; во-вторых, то, что наступило после 1991 года.

Процесс разложения российского социума был обусловлен в значительной степени его включением в мировой рынок, в капиталистическую систему. Маркс подобного типа ситуации характеризовал так: “язычник, чахнувший от язв христианства”. Имманентно не (вне-, анти-) капиталистическая по своему хозяйственному, социальному и психологическому типу Россия начала чахнуть от “язв капитализма”. Первые признаки этого проявились в екатерининское правление в виде усиления эксплуатации как частновладельческих, так и государственных крестьян в 3–3,5 раза. Причина была проста. Во второй половине XVIII века русские дворяне стали всё больше жить материальными потребностями западноевропейского дворянства и буржуазии. При этом совокупный общественный продукт, создаваемый русским сельским хозяйством, оставался таким же, как и прежде, в XVI–XVII веках, то есть относительно небольшим (значение этого факта для русской истории хорошо показано Л. В. Миловым и его школой). Если, например, в XVII веке потребности бояр и детей боярских (будущих дворян) соответствовали местной системе хозяйства (системе работ), адекватно удовлетворялись ею, то во второй половине XVIII века эти потребности формировались уже иной системой работ – западноевропейской (с урожайностью её земледелия не сам-3 – сам-4, как в центральной России, а сам-6 – сам-7), иной исторической ситуацией (возможность грабить слабых – афро-азиатский мир – и тем самым увеличивать богатство; организационно-технические факторы развития).

Для того чтобы удовлетворять потребности, сформированные более сложной и развитой системой работ, чем своя собственная, русскому дворянству пришлось усилить эксплуатацию, а государству российскому в лице Екатерины II — впервые в русской истории — залезать в долг к иностранцам. 2 апреля 1769 года через посредство амстердамских банкиров де Смет был заключён заём на сумму 7,5 млн гульденов (3,7 млн руб.) под 5% годовых. К концу царствования Екатерины II внешний долг составил 41,5 млн руб., внутренние неоплаченные счета — 15,5 млн руб., беспроцентный долг в ассигнациях — 150 млн руб.; итого — чуть более 200 млн. Такова была цена, разумеется, не только за потребление и расточительность дворянства и царского двора — Россия к тому же вела войны. И тем не менее жизнь по чужим потребностям ложилась тяжёлым бременем и на государство, и на само дворянское сословие.

Чтобы вести социально приемлемый дворянский образ жизни, нужно было иметь либо 100 душ крепостных (то есть около 500–600 человек), либо денежный эквивалент. Этим могли похвастать лишь 20% дворян. Неудивительно, что социально приемлемая (*“comme il faut”*) дворянская жизнь обеспечивалась проеданием будущего: к 1859 году 66% крепостных были заложены помещиками государству. Однако даже это не стало спасением для очень большой части помещичьих семей: в правление Николая I (точнее, с 1833-го по 1850 год), несмотря на все меры правительства по улучшению экономического положения дворянского сословия, из 127 тысяч дворянских семей 24 тысячи — почти 20% — разорились, лишившись земли и крепостных. К этим проблемам добавлялись отчётливо выявившееся уже в 1820-е годы относительное аграрное перенаселение, начинавшееся разложение не только помещичьего хозяйства, но и крепостничества (кризис постепенно охватывал как барщинную систему, так и оброчные хозяйства), финансовые проблемы (реформа Е. Ф. Канкрин лишь притормозила их негативное развитие, позволив расхлебать ту “кашу”, которую когда-то заварил “матушка Екатерина”).

Николай I стремился “подморозить” Россию полицейскими мерами, особенно во второй половине царствования, и попыткой создания бюрократии — попыткой, в целом провалившейся, как и петровская. Вместо бюрократии получилось всё то же русско-самодержавное чиновничество, только более многочисленное темп роста чиновничества в России в XIX веке превышал темп роста населения в 3 раза: в 1796 году 1 чиновник приходился на 2250 человек, в 1851-м — 1 на 929 человек, в 1903-м — 1 на 335 человек. Процесс стартовал при Николае I, когда тот после декабрьского восстания перешёл от дворянского к преимущественно разночинно-аппаратному принципу формирования чиновничества. В середине XIX века только 20% чиновников были выходцами из дворянства, 80% были разночинного происхождения; в результате Россия получила малоэффективное, бедное и, как следствие, ещё более измождённое, то есть, выражаясь современным языком, коррумпированное чиновничество. Материальное обеспечение было серьёзной проблемой не только дворянства, но и чиновничества. В середине XIX века 40% представителей высшего чиновничества не имели крепостных, а если говорить о чиновничестве в целом — 50%.

Николаю I не удалось превратить российского чиновника в бюрократа в строгом смысле термина по нескольким причинам. Во-первых, в условиях хозяйства с низким уровнем прибавочного продукта почти невозможно создать эффективную бюрократию: мало средств, поэтому в России определённую часть чиновных функций власть вынуждена была передавать помещикам. Во-вторых, обширная территория и плохие средства коммуникации затрудняли контроль со стороны власти не только над населением, но и над чиновниками. В-третьих, надзаконный характер русской власти не способствовал развитию контроля над её представителями не только снизу, но и сверху. В-четвёртых, самодержавие (а впоследствии, и советская система) — слабоинституционализированная система власти, и это тоже не даёт возможности превращения чиновника в бюрократа. В-пятых, бюрократия как слой есть персонификатор государства (state) — самодержавие (и советская система) не являясь этой формой власти, представляя собой один из принципиально иных видов политики.

1861 год: освобождение как форма грабежа

*Распалась цепь великая,
Распалась и ударила:
Одним концом по барину,
Другим по мужику.*

Н. А. Некрасов

Иных решений, кроме “подморожения” ситуации в России, у Николая I не было, однако уже в 1840-е годы стало ясно, что этот курс порождает больше проблем, чем решает их. Отсюда смена курса с “николаевской реакции” на реформы Александра II — “царя-освободителя”, который освободил, а точнее, высвободил, прежде всего, процессы социального гниения, разложения, развивавшиеся значительно быстрее, чем оформление здоровой новизны. Да и самая главная из “великих реформ” была проведена так, что закладывала фундамент для будущих грозных революционных потрясений (которые К. Маркс предсказал уже в 1870 году), а её развитие вырабатывало социальный динамит; в начале XX века оставалось лишь присоединить к нему бикфордов шнур и поднести к нему спичку. В том, что реформа 1861 года породила русские революции начала XX века, сходились столь разные по политическим взглядам персоны, как М. О. Меньшиков и В. И. Ленин. Первый отметил, что “шестьдесят первый не сумел предупредить девяност пятый”, а второй высказался ещё определённое: 1905-й был порождён 1861-м. От себя добавлю: 1917 год доделал то, что не было сделано ни в 1861-м, ни в 1905 году.

Крестьянская реформа (отмена крепостного состояния) была проведена так, что ударила по интересам как дворян-помещиков, так и крепостных крестьян. Недаром Н. А. Некрасов заметил, что реформа ударила “одним концом по барину, другим по мужику”. Барина заставили, принудили позволить крестьянам выкупать землю, а крестьянин, выкупив землю, не имел права отказаться от надела в течение 10 лет (в реальности срок растянулся ещё больше), а выкупные платежи были отменены только после революции 1905–1907 годов. В результате реформы крестьяне потеряли 20% своих земель, средний надел уменьшился до 3,3 десятины.

Права специалисты: отмена крепостного состояния в той форме, в какой она была проведена, исключала возможность появления свободной рабочей силы в аграрном секторе России. Более того, крестьянская реформа привела к тому, что главной задачей огромного числа крестьян стало выживание; раньше, в крепостничестве, это была тяжёлая, но жизнь. К концу XIX века величина крестьянского надела сократилась в 1,7–2 раза: если в крепостные времена это было 5,24 га на человека, то стало 2,84. На четверть или треть снизилась калорийность питания крестьян.

Не будет преувеличением сказать, что освобождение крестьян стало средством и одновременно побочным продуктом ограбления их государством, власть и собственность имущими. Это ограбление освободило не столько крестьян, сколько те силы гниения и разложения, которые находились в состоянии “подморозки”; речь не о том, что крестьян не надо было освобождать, вопрос в том — как; освобождение как грабёж (или грабёж как освобождение) и реальная свобода — вещи разные. В 1990-е годы ельциноиды, грабившие страну и сокращавшие своими людоедскими “реформами” население почти по миллиону в год, тоже говорили, что принесли свободу. Не потому ли так быстро в постсоветской России появился памятник Александру II как классово и социально-технологически близкому новым господствующим группам?! Не менее показательно и то, что в правление Александра II была ослаблена борьба с лихоимством — лихоимцам 1990-х и более поздних времён это должно быть “в масть”.

“Разморозив” Россию и получив кризис, включавший революционную ситуацию второй половины 1870-х годов, Александр II уже довольно скоро попытался “подморозить” сам кризис, чем придал ему дополнительный импульс. Весьма важно и то, что в правление Александра II Россия из автономной мир-системы, какой она была в течение четырёх столетий (с середины XV века) превратилась в элемент мировой системы, ядром которой была Великобритания (в 1930-е годы СССР превратится в альтернативную капитализму мировую систему, а в 1990-е РФ, как и Российская империя в 1860-е годы, превратится в зависимый сырьевой элемент капиталистической системы, только уже не

мировой, а глобальной). С 1860-х годов Российская империя начинает постепенно превращаться в финансово зависимый сырьевой сегмент капиталистической системы. Справедливо ради необходимо отметить, что Александр II и Александр III в силу возможностей и в меру понимания тормозили, как могли, этот процесс, стремясь защитить Россию (и свой правящий дом) от финансовых хищников, от тех же Ротшильдов, чем вызвали их ненависть. Однако процесс шёл, и при Николае II развернулся полностью, став одной из составляющих деградационно-катастрофической динамики империи. И тем не менее, уже при обоих Александрях в Россию пошёл иностранный капитал, активизировалось развитие связанного с ним российского капитала. Появились новые группы собственников – капиталисты. Продолжился процесс упадка дворянства, сохранившего привычку жить в долг и таким образом проедать будущее.

После отмены крепостного состояния дворяне аккумулировали в своих руках 10 млрд рублей – в 1,5 раза больше стоимости российской промышленности накануне Первой мировой войны, однако, как отмечает А. В. Островский, они не создали сильный аграрный сектор, а предпочитали закладывать и перезакладывать землю, то есть вели, по сути, паразитический образ жизни. Изменился лишь объект заклада: в первой половине XIX века дворяне закладывали крепостных, во второй половине, лишившись крепостных, стали закладывать землю. Если в середине 1870-х годов в залоге было 4% дворянских земель, то в середине 1890-х – уже 40%; при этом в начале XX века половина дворян не служила. В канун Первой мировой войны землю имела только треть дворянских семей, причём в их собственности оставалась половина земель, которой они или их предки владели в 1861 году. Из владельцев 75% частной земли на рубеже 1860–1870-х годов к концу века дворяне превратились во владельцев 50% земли. Несмотря на это, даже в 1905 году стоимость земель, находившихся в руках дворян в 50 губерниях европейской части России, составляла 4 млрд рублей, что на 60% больше общей массы капитала акционерных капиталов. Иными словами, земельная собственность составляла огромную, если не бóльшую часть национального богатства – и это после почти полувека развития капитализма в России!

Как отмечает А. В. Островский, к началу XX века данные о соотношении национального богатства между промышленностью и сельским хозяйством таковы: 6 млрд и 24 млрд рублей. “Это означает, что процесс индустриализации России вплоть до начала Первой мировой войны находился на начальной стадии”*. Недоразвитость индустриального развития России по сравнению с Западом можно иллюстрировать массой примеров, ограничусь одним – из жизненно важной военной сферы. В Первую мировую войну Россия вступила, имея 240 орудий тяжёлой артиллерии; для сравнения: Австро-Венгрия – 1000, Германия – 3260. Немецкая промышленность производила 250 тысяч снарядов в день; неудивительно, что в мае 1915 года в боях на линии Дунаец – Горлице немцы всего лишь за 4 часа выпустили по русской Третьей армии 700 тысяч снарядов (за всю франко-прусскую войну 1870–1871 годов немцы выпустили лишь немногим больше 817 тысяч снарядов).

Самым крупным землевладельцем, заводчиком, оптовым купцом, кредитором и т. п. выступало государство, причём государственный (казённый) сектор той же промышленности развивался нередко за счёт частного, а то и в ущерб ему. Роль государства в экономике росла быстрее роли российского частного капитала, что, естественно, не устраивало капитал, особенно крупный, и порождало конфликт между ним и государством, достигнувший смертельной остроты в 1915–1916 годах.

Россия и иностранный капитал

“...тайное общество, постепенно поглощающее богатство мира”.

С. Родс

Вся пореформенная эпоха – это время возрастания “зависимости России от иностранного капитала, усиления её эксплуатации извне. Когда-то считалось, что в результате этого к началу Первой мировой войны Россия

* Островский А. В. Российская деревня на историческом перепутье. Конец XIX – начало XX веков. М., “Товарищество научных изданий КМК”, 2016. С. 78–79.

превратилась в полуколонию. В 1950-е годы эта точка зрения была поставлена под сомнение, хотя выдвинутые в связи с этим аргументы трудно назвать убедительными. В любом случае, факт усиления зависимости России от иностранного капитала — это бесспорный факт.

С одной стороны, приток иностранных инвестиций сопровождался внедрением новых технологий, с другой стороны — выкачиванием из России необходимых ей самой ресурсов, в том числе капитала. В результате этого иностранный капитал становился одновременно двигателем и тормозом внутреннего накопления. Баланс этих двух тенденций не подведён. Однако можно утверждать, что иностранные инвестиции двигали вперёд промышленность и транспорт, а откачиваемые средства поступали, главным образом, из деревни, что способствовало разрушению крестьянского хозяйства. Процесс первоначального накопления приобретал однобокий характер: в России оставались разорённые крестьяне, а прибыль от инвестиций уплывала за границу, что сдерживало формирование отечественной буржуазии**.

Неудивительно, что всё это вкупе с исчерпанием возможностей экстенсивного развития, с одной стороны; резким сокращением ввиду развития городской промышленности возможностей сельских промыслов — с другой; сырьевым характером экономики, жившей в значительной степени за счёт зерна (отсюда лозунг: “Недоедим, но вывезем” — недоедали, естественно, крестьяне) — с третьей стороны, привело к небывалому массовому голоду 1891–1892 годов. В России критическим уровнем для начала голода считались 19,2 душевого сбора, но зерно продолжали продавать и при 14 пудах! В результате в 1892–1893 годах голодало 30 млн человек, из которых 400 тысяч умерли (1,5 млн спас Красный Крест). Голод 1892–1893 годов вместе с восшествием на престол Николая II подвёл черту под целой эпохой; по пересечении этой черты Россия ещё быстрее устремилась к революции. Впрочем, проницательные и дальновидные люди предсказывали это ещё в середине 1880-х годов. Так, в 1886 году министр финансов Н. Х. Бунге писал: “Упадок российских финансов особенно стал обнаруживаться с 60-х годов (то есть с началом реформ Александра II. — **А. Ф.**), а с 1880 года он приобрёл характер угрожающий”. И далее: “Всё это при отсутствии даже намёка на какое-либо улучшение готовит в недалёком будущем тяжёлую развязку” — “государственное банкротство”, а за ним — “государственный переворот”. За такой прогноз Н. Х. Бунге 1 января 1887 году был отправлен в отставку, но его прогноз через тридцать лет подтвердился.

В советской историографии, особенно в 1920–1950-е годы, положение России на рубеже XIX–XX веков нередко квалифицировалось как полуколониальное. Начиная с 1960-х годов эта оценка несколько смягчилась, однако роль и значение иностранного капитала в России в предреволюционный период были исключительно велики, причём в наиболее важных отраслях промышленности (90% шахт России, 50% предприятий химической промышленности, 40% металлургических и машиностроительных предприятий, 30% текстильной).

Что касается банковской сферы, то там иностранный капитал был просто сверхпредставлен. На 1 января 1917 года удельный вес иностранного капитала, в основном капитала ведущих коммерческих банков, составил 47%, в том числе в Русско-Азиатском банке — 79%, в Петроградском частном коммерческом банке — 58%, в Соединённом банке — 50%**.

А. А. Мосолов вообще даёт убийственные цифры: если в начале царствования Николая II иностранцы контролировали 20–30% капитала в России, в 1913 году — 60–70%, то к сентябрю 1917 года — 90–95%***. Возможно, это некоторое преувеличение, но тенденция налицо: нарастающий удельный вес иностранного капитала в России.

В российских банках доля иностранного капитала выросла с 7,5% в 1870 году до 43% в 1914 году; в период войны эта цифра резко взлетела. Можно приводить ещё и ещё цифры подобного рода, но данная работа — не по экономической истории; интересующихся можно отослать к отличной работе

* Островский А. В. Ук. соч. С. 80.

** Хромов П. А. Очерки экономики России периода монополистического капитализма. М., 1960. С. 385.

*** Мосолов А. А. При дворе последнего Российского императора. Записки начальника канцелярии Министерства императорского двора. М., 1993 (цит. по: Борьба. М., 1995. № 12. С. 2).

О. А. Арина*. Здесь же остаётся зафиксировать растущую зависимость самодержавия (“государства”) от иностранных займов. Уже в начале XX века российское правительство прочно сидело “на игле” иностранных займов (особенно 1906 и 1909 годов), оплата одних процентов с 1904-го по 1913 год составила 1,7 млрд руб. (получено в качестве займа – 1 млрд!). “Из всей внешней задолженности всех стран мира, составлявшей к началу 1914 года сумму в 6317 млн долл., на Россию приходилось 1998 млн долл. (31,2%)”**. При этом наибольшую задолженность Россия имела перед французским финансовым капиталом, а также британским (Ротшильды и аффилированные с ними структуры). Французский капитал размещение русских займов ставил в зависимость от увеличения русской армии и строительства стратегических железных дорог.

Концерны Антанты, пишет Г. Хальгартен, “не только снабжали Россию извне, но контролировали также немногие мнимо русские предприятия и таким образом закрепляли за странами Западной Европы монополию поставок для русской армии, а это, согласно, правда, пристрастному мнению тогдашнего русского военного министра Сухомлинова, препятствовало созданию достаточно сильной национальной военной промышленности и тем самым обусловило русскую катастрофу 1915 года, которая, несомненно, была вызвана, в первую очередь, недостатком боеприпасов”***. Неудивительно, делает вывод О. А. Арин, что Россия, имевшая более высокий уровень торговых связей с Германией, чем с Францией или Великобританией (и, добавлю я, демонстрировавшая большее сходство именно с ней в политическом плане и в то же время не имевшая столь острых противоречий со Вторым рейхом, чем Великобритания), оказалась на стороне Антанты, таская каштаны для этих стран. Это и есть показатель частичной утраты суверенитета поздним самодержавием, логичное следствие развития пореформенной России как во внешнем, так и во внутреннем плане.

О том, как развивалось рабочее движение в начале XX века, вряд ли стоит много писать. Достаточно вспомнить революцию 1905 года, бои на Красной Пресне, первые советы, забастовки как до, так и после революции.

Полуфинал (1892/4–1914)

*Суровые, грозные годы!
Но разве всего описать?*

С. Есенин

В это двадцатилетие, которое я назвал полуфиналом смертельной игры самодержавия с историей, а точнее – с народом, с одной стороны, и с капиталом (русским и иностранным) – с другой, уместилось много важных событий: русско-японская война, революция 1905–1907 годов, эсеровский террор, третьеиюньский переворот и одноимённая монархия, окончательный поворот России к ориентации на Великобританию и её пристяжную – Францию, столыпинская реформа, убийство самого Столыпина и многое другое. Однако главным было то, что слабеющая и олигархизирующаяся самодержавная монархия Николая II загоняла Российскую империю во всё больший тупик нерешаемых, а впрочем, и неразрешимых для данной власти внутренних (аграрный вопрос, проблемы капиталистического развития и его стыковки с русской жизнью) и внешних (зависимость от иностранного капитала, частичная утрата суверенитета) проблем. Всё это – на фоне гниения строя (с 1890-х годов “единодержавие мало-помалу обращалось в олигархию, увя! не достойных, а только более бесстыдных”. Н. Е. Врангель) и катастрофически нарастающего паралича системы управления, что и облегчило перехват власти в феврале и, прежде всего, в сфере государственной безопасности, безопасности системы. Впрочем, как заметил О. Маркеев, “когда система не может выдержать лавину Хаоса, первым трещит компенсаторное звено”,

* Арин О. А. Правда и вымыслы о царской России. Конец XIX – начало XX века. М., “ЛЕНАНД”, 2010.

** Мосолов А. А. Ук. соч. С. 561.

*** Хальгартен Г. Империализм до 1914 г. М., 1961. С. 631.

при этом бо́льшая часть пороков любой системы сконцентрирована в подсистеме защиты, то есть в госбезопасности и структурах внутренних дел. А какое количество работников этих структур Российской империи, включая высокопоставленных, сотрудничало с оппозицией, начиная с кадетов и заканчивая большевиками! Количество таких “сотрудничающих” едва ли уступало числу представителей британской агентуры влияния, которой российский истеблишмент был едва ли не нашипигован. Но главным, конечно же, было нарастание проблем в аграрном секторе общества, а также в промышленности и в сфере международных отношений.

В начале XX века Россия была аграрной страной, в которой, согласно переписи 1897 года, 70% населения – крестьянство (а сельское население вообще 87%!); доля сельского хозяйства в национальном доходе составляла 75–80%, и вот эта главная для России сфера экономики находилась в состоянии кризиса, потому-то аграрный вопрос и стал “гвоздём русской революции” (В. И. Ленин). Прежде всего, необходимо отметить малоземелье. Для того чтобы жить с землей в Центральной России, нужно 4 га на душу населения. В 1913 году было, по разным оценкам, от 2 до 0,4 га. При этом, повторю, возможности экстенсивного развития к концу XIX века были исчерпаны, а городская промышленность резко сократила возможности сельских промыслов.

В начале XX века, по мнению специалистов, роль центральных губерний в качестве центра зернового производства снижалась. Эту роль перехватывали южные губернии, причём перехватывали именно тогда, когда уже исчерпали возможности интенсивного развития. В кризисе находились зерноводческие и животноводческие хозяйства, которые с капиталистической точки зрения были убыточными; по мере роста их убыточности росла роль кабальной аренды. Здесь мы подходим к очень важному вопросу: об уровне развития капитализма в русской деревне. Как известно, накануне революции 1905 года В. И. Ленин существенно завышал этот уровень, что признал после поражения революции в работе “Аграрная программа социал-демократии”. Однако в реальности уровень развития аграрного капитализма был ещё ниже, чем это готов был признать Ленин. Укрепления позиций капиталистически организованного сектора в помещичьем хозяйстве не происходило, капиталистические хозяйства представляли “резкий базис”. Купеческий капитал тоже утрачивал интерес к земле из-за низкой доходности сельхозпродукции.

Показательно, что главную роль на рынке сельхозпродукции на рубеже XIX–XX веков в европейской части России играли средние и бедные хозяйства, которые едва ли можно отнести к мелкотоварным в силу вынужденного характера их товарности. Неудивительно, что впоследствии революция развивалась успешнее в тех районах, где аграрный капитализм и товарность сельского хозяйства были слабо развиты. Аналогичным образом гражданская война “поыхала от темна до темна” именно в той части России – на востоке и на юге страны, – где наибольших успехов добилась в целом провальная аграрная реформа П. А. Столыпина.

Явление Столыпина народу и народный ответ Столыпину

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стёкла затрепцали, сыпались, пылающие брёвна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: “Горим, помогите, помогите!” – “Как не так”, – сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.

А. С. Пушкин. “Дубровский”

По сравнению с советским временем в постсоветский период официальное отношение к этому персонажу русской истории изменилось со знака “минус” на знак “плюс”, по-видимому, в силу ощущения классового сходства. Появился даже Столыпинский клуб, организаторы которого, по-видимому, плохо знают историю и не ведают того, что реформа Столыпина провалилась,

и сам он — один из крупных неудачников в нашей истории. А ведь известно, что “как вы яхту назовёте, так она и поплывёт”: “Победа” — это одно, “Беда” — совсем другое. Реформа Столыпина — это из разряда “Беда”, впрочем, как и сегодняшние столыпинцы.

Начать с того, что главная цель столыпинской реформы была вовсе не экономической (это вторично, это — средство), а социально-политической по форме, классовой по содержанию: разрушение общины как готовой оргформы сопротивления власти и господствующему классу. События 1906–1907 годов это качество и этот потенциал общины продемонстрировали со стекляннoй ясностью. И если всю вторую половину XIX века власть исходила из необходимости сохранения общины любой ценой как средства против пауперизации крестьянства и революции по западному образцу, то в начале XX века, после революции 1905 года, ситуация изменилась. Второй пласт целей реформы — экономический по форме и опять же классовый по содержанию: разрушить, как верно заметил Н. И. Кротов, “систему хозяйствования, основанную на коллективизме и взаимопомощи, а также провести массивную приватизацию — сделать землю предметом свободной продажи и залогов. Ничего вам это не напоминает?! Аналогичные цели ставил через 85 лет А. Б. Чубайс”. Разумеется, реформа должна была подавить самую возможность развития революционных настроений у крестьянства, а если они и возникнут у его части, то на их пути в качестве социального волнореза должны были, по задумке П. А. Столыпина, встать “крепкие и сильные” мужики, то есть индивидуальные хозяева, мелкие аграрные капиталисты.

Интересы дворян-помещиков реформа не задевала. Более того, она должна была обеспечить помещика младшим союзником в виде “крепкого мужика”. Странно, что Столыпин, по-видимому, плохо понимал, что в российских условиях начала XX века крестьяне и помещики — смертельные конкуренты в борьбе за землю. Вопреки ожиданиям Петра Аркадьевича, “крепкий мужик” не только не стал союзником помещика, но в 1916–1917 годах сам повёл гольтьбу громить усадьбы, и пока гольтьба жгла, ломала, гадила в барских комнатах и топила рояли в пруду, “острые крепкие мужички” грузили помещичье добро и свозили его к себе на двор.

Ничего не вышло и с попыткой разрушить общину. За десять лет проведения реформы из общины выделилось лишь 2,5 млн дворохозяйств (27%), владевших 15,9 млн десятин (14%), причём нередко выделение носило формальный характер — чтобы обмануть власти, ведь реформа проводилась в значительной степени с помощью насилия: аресты, порки целых групп крестьян, высылки.

Когда в 1910–1911 годах стало ясно, что реформа проваливается (исторически оказалось: уже провалилась), были изданы новые законы, нацеленные на принудительную приватизацию общинных наделов. Экономист А. Финн-Енотаевский писал, что эффект “столыпинской кампании” (он даже не употребляет слова “реформа”!) был ничтожным, а во многом и контрпродуктивным — упали практически все показатели: количество лошадей (с 23 голов на 100 человек в 1905 году до 18 в 1910 году), крупного рогатого скота (с 36 до 26 голов на 100 человек), средняя урожайность зерновых (с 37,9 пуда с десятины в 1901–1905 годах до 35,2 пуда в 1906–1910 годах); производство зерна на душу населения сократилось с 25 пудов в 1900–1904 годах до 22 пудов в 1905–1909 годах; нарастал процесс обнищания крестьянства центра страны; избыточное население деревни (без учёта вытеснения живого труда машинами) увеличилось с 23 млн в 1900 году до 32 млн в 1913 году*. Неудивительно, что в 1906, 1907, 1908 и 1911 годах голод охватывал центральные и восточные губернии страны; в 1911 году голодали 30 млн человек, причём даже в плодородной Новороссии. А в урожайном 1909 году в 35 губерниях (общее население 60 млн человек) было произведено по 15 пудов зерна на человека — на тот момент это было несколько меньше физиологического минимума.

Показательно, что Лев Толстой характеризовал речи Столыпина как “бесчеловечные, глупые, чтобы не сказать отвратительные”. Жёсткую оценку ре-

* Я благодарен Н. И. Кротову, обратившему моё внимание на работу С. В. Онищука “Исторические типы общественного воспроизводства (политэкономика мирового исторического процесса)” (М., “Восточная литература”, 1995), который привёл цифры А. Финн-Енотаевского.

формам Столыпина как ведущим к революции дал С. Ю. Витте: “Не подлежит, по моему мнению, сомнению, что на почве землевладения, так тесно связанного с жизнью всего нашего крестьянства, то есть, в сущности, России, ибо Россия есть страна преимущественно крестьянская, и будут разыгрываться дальнейшие революционные пертурбации в империи, особенно при том направлении крестьянского вопроса, которое ему хотят в последние столыпинские годы дать, когда признаётся за аксиому, что Россия должна существовать для 130 тысяч бар и что государства существуют для сильных”. А вот для постсоветского режима радевший о благополучии 130 тысяч бар Столыпин стал чуть ли не героем, 150-летие со дня рождения которого помпезно отметили в РФ.

Если Толстой и Витте могли вербализировать свои чувства, то у простых крестьян они оставались на уровне эмоций, и эмоции эти были просты: столыпинская реформа сыграла для деревни ту же роль, что “Кровавое воскресенье” для города: она подорвала веру в царя у большей части слоя, ранее весьма консервативного, но благодаря Столыпину начавшего превращаться в стихийного революционера, и 1916–1917 годы в деревне продемонстрируют это.

Столыпинская реформа даже в своём провальном варианте, безусловно, приблизила революцию; если бы она увенчалась успехом, то революция произошла бы лет на пять раньше или в самый канун мировой войны: 20–25 млн выброшенных в город и ненужных промышленности мужиков просто смели бы режим.

Приговор столыпинским преобразованиям в деревне был вынесен сначала в 1913 году на I сельскохозяйственном съезде в Киеве, зафиксировавшем, что большинству крестьян реформа ничего не даёт; нужны не отдельные хутора, а артели; а затем – в 1917 году – Временным правительством, официально признавшим реформу “несостоявшейся”, и в совместном докладе Московского общества сельского хозяйства и Союза кооператоров. В докладе подчёркивалось, что решение аграрного вопроса в России (и Европе) должно идти не по-столыпински, а на путях национализации земли и кооператизации сельхозпроизводства. Ну, а привели приговор в исполнение сами крестьяне, вернувшие к 1920 году более 90% земли в общинную собственность.

Отдельный вопрос – кто и почему сегодня распространяет миф о великом и успешном государственном деятеле, чуть ли не образце для подражания? Почему – понятно. Первая причина заключается в том, что Столыпин – классово близкий, чем существенно отличается и от Сталина и даже от Ивана Грозного, которые, как заметил А. Гусев, “главный удар наносили по элите. Они били по сильным мира сего [...] Столыпин бил по самым слабым и незащищённым – по крестьянству. Террор Столыпина был направлен в пользу элиты, против большинства населения. То есть задача Столыпина была совершенно иная, чем у Грозного, Петра и Сталина. Если они перedelывали систему под нужды государства, то Столыпин пытался перedelать народ под нужды системы. Если говорить по-марксистски, то Грозный, Пётр и Сталин меняли надстройку под нужды изменившегося базиса, а Столыпин пытался перedelать базис под нужды устаревшей надстройки”.

В принципе, здесь есть повод возразить А. Гусеву. Во-первых, из приведённой им тройки русских властителей по своей классовой ориентации со всей очевидностью выпадает Пётр I. Во-вторых, самодержавие было не только надстроечным элементом, но и самостоятельным агентом производственных отношений. В-третьих, Столыпин спасал не только надстройку, но и класс помещиков. Однако общая оценка А. Гусева отличия действий Столыпина от “великой тройки” абсолютно верна, как и его отличия от “тройки” по линии “прогрессивный – реакционный”. Столыпин при всей его риторике, конечно же, реакционер, а его реформа – попытка ещё раз ограбить крестьянство под флагом “свободы”, как в 1861 году. Но если 1861 год обернулся трагедией, то столыпинщина – трагифарсом.

Вторая причина распространения мифа о Столыпине и его реформе заключается в том, что в истории России практически нет героев среди буржуазии, а официальный спрос на таковых после 1991 года появился. Иными словами, на буржуазном безрыбье... Кто распространяет миф? Отчасти – власть, отчасти – обслуживающая её либероидная научная и СМИшная тусовка, у которой заказ хозяев накладывается на презрение к низам и плохое

знание истории, отсюда – “Столыпин – наш рулевой”. При этом, однако, надо помнить, куда нарулил этот “рулевой”, ставший – против своей воли – одним из “толкачей” революции 1917 года. Чуть меняя фразу Тютчева, можно сказать: *нам не дано предугадать, как дело наше отзовётся*. Сказано в Библии: “Толцые, и отверзется”. Столыпин “толкнул” слишком сильно и не ту дверь – и отверзлось...

Столыпинская реформа резко обострила и без того копившиеся в деревне противоречия и антагонизмы. В начале XX века эти антагонизмы подогревались и усиливались тем, что именно в это время процесс первоначального накопления (который, как известно, предшествует капиталистическому и капиталистическим не является; специфика России и периферийных обществ капиталистической системы заключается в том, что два эти процесса сосуществуют, причём первый, некапиталистический, постоянно подсекает и подавляет капиталистический) в деревне подошёл к своей кульминации. Вот что пишет об этом А. В. Островский: в России “крестьянское население, не затронутое процессом пролетаризации и пауперизации, составляло около 56,8 млн чел., 46% всего населения. Это значит, что на рубеже XIX–XX вв. процесс первоначального накопления и связанная с ним перестройка социально-демографической структуры населения Европейской России вступили в кульминационную стадию”. Причём происходило всё это на фоне весьма неблагоприятных для самодержавной системы процессов в промышленном секторе – в среде рабочего класса, с одной стороны, и буржуазии – с другой, в среде которой шла своя острая борьба и зрели антиправительственные настроения, а также в финансовой сфере с её играми иностранного капитала”.

Тезис о том, что в начале XX века Россия переживала успешную буржуазную модернизацию, не просто не подтверждается фактами. Это либо глупость, либо околонатурное жульничество с политико-идеологической (антисоветской) и коммерческой направленностью. Именно в первые полтора десятка лет XX века стало ясно, что русская деревня не может двигаться ни по одному из путей аграрно-капиталистического развития – ни по американскому, ни по прусскому. О каком вообще капитализме или буржуазной модернизации может идти речь, если не завершилась трансформация патриархального уклада в (мелко)товарный, если наиболее активным в деревне был ростовщический капитал, который, как известно, ничего не создаёт, а разлагает, если в России в канун 1917 года, несмотря на наличие капитализма, основы буржуазного общества не сложились?

Только при узкоэкономическом, эконо-детерминистском взгляде, к тому же не принимающем в расчёт роль и значение иностранного капитала и его собственности, Россия в начале XX века могла казаться колоссом, особенно тем, у кого от страха перед Россией были глаза велики, например, у немцев. 7 июля 1914 года канцлер Германии Бетман-Гольвег писал: “Будущее за Россией, она растёт и растёт, и надвигается на нас, как кошмар”. Немецкая правительственная комиссия, посетившая Россию во время столыпинских реформ, пришла к выводу: после их окончания, через десяток лет, война с Россией будет непосильна, а ещё через десятилетие по промышленному и демографическому потенциалу Россия обойдёт все крупнейшие европейские державы, вместе взятые.

В основе такой оценки лежит абстрагирование экономики от социальной и властной структур, экономредукционизм, подмена целого одним из его элементов. Немцы не учли ни хрупкости социальной структуры российского общества, ни того, что, чем успешнее в позднесамодержавном социуме развивается экономика, тем острее социальные проблемы, что иностранные займы и капитал, подрывая суверенитет, делают маловероятными внешнеполитические успехи и т. д.* Там, где немецкий канцлер видел мощь, его современник, знавший и понимавший ситуацию изнутри, умный по-русски, а не по-немецки барон Н. Е. Врангель (отец главкома Русской армии П. Н. Врангеля) видел пустоту и рисовал совершенно иную картину и иные перспективы. В начале XX века, писал барон, в России “оказалась пустота. Возглавлялась она катящейся по наклонной плоскости аристократией, за аристократией следо-

* Подр. см.: Фурсов А. И. Великая война: тайна рождения XX века // De Aenigmate / О Тайне. Сборник научных трудов. М., “Товарищество научных изданий КМК”, 2015. С. 260.

вало вырождающееся дворянство, за дворянством шла не имеющая опыта правления интеллигенция и, наконец, позади всех – громадная толпа, крестьянская Россия, тёмная, униженная и лишённая энергии. И опять приходится верить, что Россия, может, воскреснет тогда, когда проснётся легендарный Илья Муромец”*

Здесь два очень важных момента. Во-первых, Н. Е. Врангель, по сути, описал тотальный, системный кризис. Во-вторых, по его мнению, только проснувшийся Илья Муромец, то есть народ, способен воскресить Россию. Можно возразить, что мы имеем дело с пессимизмом представителя гибнущего класса, но, во-первых, классы гибнут вместе с системами, значит, диагноз “системный кризис” поставлен верно; во-вторых, аналогичное мнение высказывали представители других социальных групп – И. Солоневич, М. Меньшиков. Кстати, с тезисом последнего о “смене энергий” как средства спасения России перекликается мысль Н. Е. Врангеля о том, что Россия, прежде всего народ, должна проснуться. Проснуться в тех условиях означало одно: революцию. Только хирургическое вмешательство могло решить проблемы России. Проблема, однако, заключается в том, что у Февральского переворота не только внутренний (аграрный, промышленный, политический) след, но и внешний, по преимуществу, наднациональный и британский. Именно внешний фактор, внешний субъект способствовал взлому складывающейся в России патовой ситуации. Дело в том, что завязавшийся в России узел противоречий имел своим результатом некое, пусть хрупкое, но равновесие сил. А противоречия эти были самые разные. Если к противоречиям между крестьянством и помещиками, пролетариатом и буржуазией добавить таковые между буржуазией и дворянством, между дворянством и правительством, между буржуазией и правительством, между различными группами буржуазии, в региональном плане – между питерской буржуазией, тесно связанной с госаппаратом империи, и московской буржуазией, таких связей не имевшей, то мы получаем полномасштабный социосистемный кризис. При этом различные общественные силы уравнивали друг друга, создавая некую закупоренную, патовую ситуацию, и субъект стратегического действия, способный прорвать её, внутри страны отсутствовал, если, разумеется, не считать субъектом крестьянскую стихию, “новую пугачёвщину”. Последняя действительно развернулась, но уже после Февральского переворота. И развернулась под воздействием внешнего фактора, внешнего субъекта, его действий. Речь, прежде всего, идёт о мировой войне.

Британцы, ложи, ФРС: путь к войне

*Всё смешалось в общем танце,
И летят во все концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.*

Н. Заболоцкий

С окончанием наполеоновских войн Россия стала соперником № 1 Великобритании в Европе, и британцы начали настраивать европейское общественное мнение против России, запустив в 1820-е годы информационный проект “русофобия”. Он стал психоисторическим средством подготовки общеевропейской войны против России, которой стала Крымская война. В результате этой войны британцам не удалось загнать Россию в границы XVII века, однако из-за войны и последовавших за ней реформ Александра II Россия перестала быть автономной мир-системой и превратилась в элемент мировой (уже без дефиса) системы капитализма.

Однако пока британцы занимались Россией, набирала силы Пруссия, которая в войне 1870–1871 годов нанесла поражение Франции, и возник Второй рейх. С неприятным удивлением британцы поняли, что в Европе появилось государство, способное бросить им вызов. В это же время в Центральной Азии развивалось противоборство Британской и Российской империй – “Большая игра” (А. Конолли).

* Врангель Н. Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М., “НЛО”, 2003. С. 329.

В связи с этим в 1880-е годы перед британской верхушкой остро встали два вопроса: германский и русский. Нужно было устранить конкурентов в геополитике и экономике и постараться поставить под контроль промышленность Германии и ресурсы России. И, конечно же, британцы не могли допустить реализации их ночного кошмара – континентального союза России и Германии. Более того, остановить немцев британцы могли только с помощью России. Как заметил А. Е. Едрихин-Вандам, решение британцами германского вопроса “возможно не единоборством Англии и Германии на Северном море, а общеевропейской войной при неперменном участии России и при том условии, если последняя возложит на себя, по меньшей мере, три четверти всей тяжести войны на суше”.

Итак, внимание: в конце XIX века само существование Британской империи, доминирующие позиции её верхушки и закрытых наднациональных структур – всё это в решающей степени стало зависеть от разрушения Германии и России, но средством разрушения мог быть только конфликт между ними. Завязанный тугим узлом русско-германский вопрос стал центральным вопросом существования британской, а с определённого момента и американской верхушки в их глобалистских устремлениях. Глобалистский и имперский принципы организации пространства несовместимы, особенно когда имперский принцип воплощается белой же, христианской, но не протестантско-католической, а православной и к тому же некапиталистической по сути цивилизацией – Россией.

Решение германского вопроса британцами упиралось, во-первых, в европейскую войну, которую надо было каким-то образом подготовить и развязать, причём так, чтобы впоследствии обвинить в её развязывании Германию; во-вторых, в необходимость создания союза с Россией.

Схему реализации союза с Россией и развязывания войны в Европе англы раскинули на несколько этапов со стандартным для них горизонтом планирования в 25 лет. Сначала с помощью Ротшильдов и Папы Римского британцы подтолкнули Францию к союзу с Россией, который был заключён в 1892–1893 годах. Следующим шагом было развернуть Францию к союзу с Великобританией. На решение этой задачи ушло около десяти лет; задача была разделена на две части: сначала нужно было привести к власти во Франции если не пробританских деятелей, то хотя бы готовых к диалогу. Акцией прикрытия этой операции стало “дело Дрейфуса”; затем нужно было показать французам, что Россия не так уж и сильна, а потому полагаться только на неё ошибочно. Последнее было достигнуто с помощью русско-японской войны. В свою очередь, эта задача потребовала превращения Японии в относительно сильную региональную державу; средство достижения – победоносная для Японии война с Китаем 1894–1895 годах, в которой британцы играли значительную роль. Ну, а после русско-японской войны можно было протянуть руку России, и в 1907 году заключением англо-русского договора оформилась Антанта. Перед этим британская агентура влияния в России сорвала последнюю попытку сближения России и Германии, сыграв на политической близорукости, личных качествах и весьма среднем интеллекте Николая II и Вильгельма II.

В 1907–1908 годах сцена для русско-германской войны была подготовлена. Однако, во-первых, война нуждалась в финансовом обеспечении; во-вторых, в самой Великобритании нужно было убедить в её необходимости значительную часть как господствующего класса, так и истеблишмента. И здесь необходимо сделать оговорку о том, кого я всё время имею в виду, говоря о реализации 25-летнего плана Великобритании по разгрому Германии и России путём стравливания их между собой и провоцирования в них в условиях войны общественных и политических беспорядков. Речь идёт далеко не только об официальных структурах, а в большей степени об иных, закрытых.

Столкнувшись с серьёзными экономическими (экономическая рецессия 1873–1896 годов, конкуренция со стороны США и Германии) и геополитическими трудностями (конкуренция со стороны Германии и России), а также с утратой после 1871 года контроля над немецкими масонскими ложами, британцы были вынуждены перестраивать и модернизировать весь скрытый (“второй”) контур власти. Ситуация потребовала появления нового типа закрытых структур мирового стратегического действия, и они были созданы. Одной из таких структур стало общество неброским названием “Мы” (“We”) или “Группа” (“The Group”). После смерти её организатора, тесно связанного с Ротшильдами, Сесила Родса это общество возглавил Альфред Милнер. Из “Группы” выросла уже его собственная структура – “Круглый

стол” (“Round Table”). Новые структуры, во-первых, активно включились в решение германско-русского вопроса; во-вторых, стали обрастать гражданами и подданными других государств, прежде всего, из высших политических, дипломатических, экономических и интеллектуальных кругов Франции и России. Кто-то знал о своей принадлежности к британским закрытым структурам, но большую часть агентуры влияния использовали вслепую.

С самого начала общество Родса (а затем Милнера) взяло курс на англо-американское сближение. В результате в начале XX века в США появился пробританский и антироссийски настроенный президент Теодор Рузвельт. “Группа” и “Круглый стол”, в которые входили влиятельнейшие британские политики, разведчики и журналисты, стали тем глобальным “геополитическим спецназом”, который потащил Европу к русско-германской войне под маской войны Антанты против Германии и её союзников.

В 1907–1908 годах для войны всё было готово – почти всё. Нужны были деньги, а для этого мало было контроля над финансами Великобритании и ряда европейских стран, необходим был контроль над финансами США. В решении этой задачи были заинтересованы не только британский капитал (Сити) и Виндзоры, но и наднациональные англо-американские структуры мирового согласования и управления. Иными словами, Альбион как государство был не единственным субъектом, который работал на войну. Он был главным **международным** субъектом в этом плане. Однако рядом возник и сформировался **мировой** субъект, англо-американский, финансово-политический по своему содержанию. Между двумя субъектами существовали тесные связи.

Вообще нужно сказать, что именно на противостоянии России ещё в 1820-е годы сформировался западный трёхглавый монстр “Великобритания – финансовый капитал (тогда это были почти единственным образом Ротшильды) – закрытые наднациональные структуры мирового согласования и управления (тогда это были масонские ложи)”. Со временем наполнение “голов” менялось (к Ротшильдам добавлялись другие семьи, Британию сменила Америка, масонские ложи – структуры более современного типа), но “монстр” оставался прежним, и его главным не противником даже, а врагом была Россия, как бы она ни называлась.

По сути, “монстр”, объединявший Великобританию и определённые сегменты англо-американского финансово-политического истеблишмента (что не исключало конфликтов между этими сегментами), выражал целостные и долгосрочные интересы верхушки мирового капиталистического класса, его англосаксонского ядра. В 1913 году “властелины капиталистических колец” поставили перед собой следующие задачи:

1) установить контроль над оставшимися на конец XIX века вне зоны их досягаемости мировыми ресурсами – юг Африки, Россия (по иронии истории, и в конце XX века судьба Южной Африки оказалась связанной с Россией: её завалили одновременно с СССР – де-факто в 1991 году. Запад убирал индустриальных конкурентов, судьба чёрной Южной Африки чем-то похожа на РФ, особенно времён ельцинщины: деиндустриализация, социальная деградация, криминализация);

2) устранить евразийские империи – Германию, Россию, Австро-Венгрию, Османов. Объективно, в силу самого факта своего существования империи препятствовали реализации целей мирового капиталистического класса с его (прото)глобалистскими принципами: глобалистский и имперский принципы несовместимы: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...” (И. А. Крылов);

3) уничтожить Россию и особенно Германию как потенциальных континентальных конкурентов Великобритании – пунктов прописки и портов приписки мировых высоких финансов;

4) уничтожить Германию как военно-политический каркас немецких масонских лож и парамасонских структур, бросивших вызов британским наднациональным структурам управления и согласования;

5) создать на месте разрушенных евразийских империй единое европейское политическое образование – “Венецию размером с Европу” – и что-то вроде мирового органа власти банкиров (первая попытка создания подобных структур – Лига Наций);

6) взять под полный контроль мировые финансы; для этого необходимо было установление контроля над финансами США группой британских и аме-

риканских финансовых воротил; внутри этой задачи британцы стремились решить ещё одну, Родс сформулировал её так: “Возврат Соединённых Штатов Америки как составной части Британской империи”;

7) организовать евразийскую, как минимум, войну в качестве лучшего средства решения одним ударом всех перечисленных выше задач.

В 1913 году была создана Федеральная резервная система (ФРС) — храм мирового финансового капитала, адекватный задачам англо-американских криптополитических кругов. Развязывание войны финансово нужно было в системе именно такого типа, однако после создания ФРС уже её владельцам просто необходима была война: они знали, что государства будут вынуждены брать займы у ФРС, а деньги должны работать.

Война и революция были определены не только в качестве основы источника дохода (экономика), но и как средство разрушения континентальных евразийских империй (геополитика). Собственно, план разрушения этих империй и установления контроля над их ресурсами, прежде всего, над русскими, возникший в Великобритании в 1880-е годы, не особо скрывался. Так, в конце XIX века в британской газете *Truth* — “Правда” — был опубликован памфлет “Сон кайзера”. Снится Вильгельму, что в результате войны Германия и Австро-Венгрия потерпели поражение, на их месте на новой карте Европы — мелкие республики, созданные по национальному принципу. Интересно, что на месте России — политическая пустыня (что означает намёк на установление прямого контроля над территорией). И в значительной степени план этот был реализован. К нему приступили уже в конце 1913 года, а в начале 1914 года информация стала просачиваться. Так, лидер эсеров В. Чернов вспоминает, что, выступая в феврале 1914 года во Французском географическом обществе в Париже, Йозеф Пилсудский (будущий диктатор Польши, а тогда ещё социалист) заявил: вскоре в Европе начнётся война, в результате которой будут уничтожены Германия, Австро-Венгрия и Россия.

Заговорщики и поджигатели

“Шовинизм и подготовка войны, как основные элементы внешней политики, обуздание рабочего класса и террор в области внутренней политики, как необходимое средство укрепления тыла будущих военных фронтов, — вот что особенно занимает теперь современных империалистических политиков”.

И. Сталин
“Я дров нарубил, я сена натащил, и жжёт я все ящики с чёрными бомбами, с белыми снарядами да с жёлтыми патронами. То-то сейчас грохнет!”

Аркадий Гайдар

В начале 1914 года “хозяева мировой игры” приступили к финальной части организации войны. Атака должна была развиваться по нескольким направлениям:

— интенсификация натравливания России на Германию и Австро-Венгрию с активным использованием Балкан в качестве зоны создания будущего *casus belli*;

— провоцирование Германии на военный конфликт, чтобы впоследствии всю вину можно было бы свалить на немцев, рассчитавшись с ними за “вероломство” начала 1870-х годов, — так британцы воспринимали выход из-под их контроля немецких лож с последующим объединением их в единую национальную *Geheimes Deutschland*;

— создание у немцев впечатления о полном нейтралитете Великобритании в случае военного конфликта “фланговых” держав (Россия, Франция) с “центральными” (Германия, Австро-Венгрия), то есть заманивание Германии в британскую ловушку;

— активная работа на Балканах по созданию там ловушки для всех континентальных держав, прежде всего, для российской и двух немецких империй, то есть работа на осуществление предсказания Бисмарка о том, что если

в Европе вспыхнет новая война, то это произойдёт из-за какой-то глупости на Балканах. Речь, таким образом, шла о подготовке этой глупости, причём так, чтобы она и выглядела глупостью, случайностью, в которой можно было бы обвинить кого угодно, только не британцев.

Решая все эти проблемы, “Группа” и её союзники расширяли свою сеть в Европе, активно включая в нее российских дипломатов – бывшего министра иностранных дел, ставшего послом во Франции А. П. Извольского и посла в Сербии Н. Г. Хартвига; были установлены контакты с новым министром иностранных дел Российской империи С. Д. Сазоновым. Трудно сказать, до конца ли последний понимал все детали игры, но суть игры и то, что его “играют”, он не понимать не мог.

Кстати, именно А. П. Извольский и Н. Г. Хартвиг создали Балканскую лигу, объективно направленную против союзников Германии – Австро-Венгрии и Османской империи. В 1912 году британская верхушка дважды посредством двух балканских войн пыталась спровоцировать Вильгельма II на войну, но неудачно. Британские и русские агенты “Группы” продолжали стараться. Н. Г. Хартвиг, посол России в Сербии, по сути контролировал правительство Н. Пашича, был тесно связан с полковником Д. Дмитриевичем (Аписом) – руководителем полумасонской-полутеррористической организации сербских националистов “Чёрная рука”, участником убийства короля Александра в 1903 году и (по официальной версии) одного из организаторов убийства Франца-Фердинанда в 1914-м. В то же время Дмитриевич имел контакты с британской разведкой.

28 июня 1914 года член “Чёрной руки” Гаврило Принцип убивает сторонника мира с Россией австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жену. 12 июля тяжелейшую (планировалось – смертельную) рану от удара ножом получает Распутин. Позже он скажет, что если бы был не в больнице (там он оставался до 17 августа), а при дворе, “папа” (так он называл Николая II) не стал бы воевать, поскольку он, Распутин, сумел бы убедить его. 31 июля (ещё одно “совпадение”!) в Париже будет убит влиятельный противник войны социалист Жорес. “Зачищали” всех, кто так или иначе мог встать на пути войны, ну, а Франц-Фердинанд – это ещё и *casus belli*. Британцы были уверены в победе тем или иным способом, ведь помимо войны, у них в рукаве был припрятан ещё один козырь – революция (политическая или социальная – как получится), причём применить это средство они готовились не только в Германии, но и в России.

Попытка Гаврилы Принципа покончить с собой сразу же после убийства эрцгерцога не удалась: цианистый калий не сработал. Так и должно было быть – убийца-серб был необходим для дачи показаний, для следствия, для суда, то есть для разжигания конфликта. Ну, а после того, как мавр сделал своё дело, он мог и умереть: Принцип умер в 1918 году от туберкулёза в тюрьме. Хартвиг скоропостижно скончался в том же 1914 году в австро-венгерском посольстве в Белграде (*sic!*); Аписа расстреляли в 1917-м; в 1917 же году таинственно исчезла переписка Хартвига с Сазоновым. Ну, а в 1919 году, как только принялся за мемуары, внезапно скончался Извольский. Мёртвые молчат (впрочем, не всегда).

Сразу же после выстрела в Сараево британцы, главным образом, члены “Группы” и их союзники, начали манипулятивную игру в Вене и Петербурге. Британские политики и пресса – внимание! – однозначно выступили на стороне Австро-Венгрии, поддержали её претензии к Сербии и осудили сербов. У австро-венгров создавали впечатление, что европейское общественное мнение или, как сейчас говорят, “мнение международного сообщества” на их стороне. Более того, британская пресса квалифицировала убийство как акт агрессии со стороны Сербии, на который Австро-Венгрия просто обязана ответить. Центром важнейших политических решений для Европы становился в этой ситуации Петербург, точнее, британцы умело переместили его туда.

Задачей агентуры “Группы”, которым в России активно помогали посол Франции Ж. М. Палеолог и посол Великобритании Д. У. Бьюкенен, было обеспечить жёсткую позицию Петербурга по отношению к Вене. Все робкие попытки Сазонова смягчить ситуацию – он понимал, что России война не нужна, более того, она для неё опасна! – пресекались этой “бригадой”. А царь вёл себя по обыкновению вяло, словно полагаясь на волю рока. Роль “рока” исполняли “Группа” и её агентура.

Манипулировать Россией нужно было для того, чтобы спровоцировать на агрессивные действия Германию: “Группа”, Э. Грей (министр иностранных дел Великобритании, член “Группы”), Бьюкенен и К° прекрасно понимали, что в самой Великобритании мало кто хочет войны и что военные настроения не возникнут до тех пор, пока Германия не проявит агрессию по отношению к России и Франции. В свою очередь, это проявление зависело от позиции Великобритании. Если бы та заявила о своей солидарности с “фланговыми” державами, кайзер ни в коем случае не стал бы рисковать, никакой войны бы не было и многолетние усилия поджигателей и заговорщиков пошли бы прахом. Поэтому “Группа”, Эдуард VII и Грей сделали всё, чтобы убедить Вильгельма в британском нейтралитете; Грей постоянно говорил о возможном конфликте только как о “конфликте четырёх”, автоматически исключая Великобританию из числа его возможных участников; британские журналисты и парламентарии писали и говорили (многие вполне искренне) о Германии и Австро-Венгрии в спокойном тоне, убаюкивая тем самым немцев. Кстати, Г. Уэллс в “Автобиографии” признал, что Э. Грей начал (!) войну, позволив кайзеру и правительству Германии поверить в то, что Британия не вступит в неё даже в том случае, если Германия её начнёт. И простак-фрицы поверили! По-видимому, не на высоте оказалась и немецкая разведка, пропустившая важный знак: по признанию лорда Луиса Маунтбеттена, его отец, второй лорд Адмиралтейства, привёл британский флот в боевую готовность за неделю до начала войны, о чём сообщил королю.

“Группе” и их “клубным” союзникам удалось дезинформировать многих британских парламентариев по вопросу о том, как реально развивается ситуация в Европе и насколько она взрывоопасна. Между тем, к 25 июля 1914 года Грей уже знал, что Россия готовится к войне, поскольку действия Австро-Венгрии и их умелая интерпретация агентурой “Группы” сделали своё дело: 26 июля, реагируя на частичную мобилизацию Австро-Венгрии (в ответ на сербскую мобилизацию), царь отдал приказ о частичной мобилизации русской армии. Несмотря на это, убаюканный британцами (как же, они ведь сохраняют нейтралитет!) кайзер был уверен, что конфликт между Австро-Венгрией и Сербией не выйдет за локальные рамки и не станет серьёзным. Но британцы кашу заварили вполне серьёзно, и Вильгельм уже оказался в ловушке, причём он даже не понимал, до какой степени.

Многие члены кабинета министров Великобритании и парламентарии, если не большинство, были против войны, и “Группа” должна была обойти, переиграть их, навязать свою волю. Здесь-то и проявилось преимущество небольших, хорошо организованных и действующих тайно, практически в режиме заговора групп, контролирующих власть, информацию и собственность, над так называемыми “политиками” открытого контура – последних в такой ситуации иначе как “лохами” назвать нельзя.

Не только не имея разрешения, но и не поставив кабинет в известность, Черчилль начал мобилизацию флота; премьер-министр Асквит отправил Холдейна в военное министерство для мобилизации армии, а Грей заверил Поля Камбона, что Великобритания защитит Францию от агрессии. 3 августа 1914 года Грей выступил в палате общин с абсолютно лживой речью о том, что министерство иностранных дел сделало всё, чтобы сохранить мир. Несмотря на то, что члены палаты поддержали воинственные заявления Грея, они всё же заявили о необходимости дебатов. Асквит попытался резко одёрнуть их, однако решение о необходимости дебатов по речи Грея всё же было принято. “Групповикам” нужно было срочно спасти ситуацию, поскольку дебаты могли развернуться не в их пользу. Решающую роль сыграл Э. Грей. Сразу после перерыва он спешно покинул парламент и отправил жёсткий ультиматум Германии, зная то, чего не знали парламентарии: что немецкое вторжение в Бельгию в ответ на действия Франции уже началось и никакие ультиматумы его не остановят. Однако ультиматум нужен был для предъявления парламентариям, то есть в качестве парализующего ум и волю психодура.

Когда после перерыва палата общин собралась для дебатов, против сторонников мира выступил член “Группы” А. Бальфур. Он заявил, что для дебатов не хватает кворума, а сами они произведут плохое впечатление на публику, и парламентарии скисли. Вопрос о войне был решён, и 4 августа Георг V в Букингемском дворце объявил войну Германии. Это стало неожиданностью и ударом для Вильгельма, своеобразной “чёрной меткой”: *“Дело сделано,*

Вилли". Только вместо стивенсоновского Слепого Пью сработали деятели из "Группы", тоже весьма неравнодушные к сокровищам. Теперь Вильгельм мог сколько угодно топтать ногами в ярости, изрыгать проклятья в адрес "подлых торгашей": ловушка захлопнулась, Германия оказалась в состоянии войны на два фронта с тремя ведущими европейскими державами.

Занимаясь европейскими делами и будучи уверенными в лояльности США, и британский истеблишмент, и "Группа", похоже, несколько выпустили из виду некоторые процессы в этой стране. А там далеко не все крупные капиталисты и компании готовы были играть вместе с британцами, далеко не все были в восторге от идеи "англо-американского истеблишмента". Иными словами, у государства США и части американского капитала были свои интересы и свои планы относительно России и Германии. Эти интересы и планы не просто не совпадали с британскими, но противоречили им, вступали в конфликт, подрывая (на тот момент) идею англо-американского истеблишмента. Во многом это было связано с нефтью, и эта линия тоже прочерчивается к России, к русским революциям 1905-го и 1917 годов.

В 1870 году была зарегистрирована как корпорация компания Рокфеллера (получившего финансовую поддержку от Ротшильдов через Я. Шиффа – того самого, который будет финансировать антиправительственную деятельность в России в начале XX века) Standard Oil of Ohio (далее – Стандарт Ойл или СО). Всего через 30 лет, к концу XIX века, как верно отмечает Ю. Т. Трифанков, семья Рокфеллеров получила контроль над большинством нефтяных промыслов мира. Однако монополии не получилось: в России было открыто огромное Бакинское месторождение нефти, и уже в конце XIX века Россия пригласила братьев Нобелей и семью Ротшильдов помочь в разработке нефтяных богатств Каспия и Грозного. К 1900 году нефть из этих регионов составляла половину производимой в мире нефти. Началась конкуренция, и к 1890 году треть российской нефти делили между собой Ротшильды и Рокфеллеры. Из 214 млн долларов, вложенных в нефтяную промышленность России до 1914 года, 130 млн принадлежало иностранцам.

Соперничающие наднациональные (протоглобальные) кланы старались использовать местные, российские силы в своей борьбе, причём как местную власть, так и революционеров. Так, в 1905 году Рокфеллеры через "Кун энд Лееб" финансировали Л. Д. Троцкого (Троцкий и вернётся в Россию в 1917 году на деньги Рокфеллеров). Рокфеллеры через посредников передавали деньги бакинским рабочим организациям (в частности, группе И. Т. Фиолетова, куда какое-то время входил Сталин) на организацию забастовок "во владениях" Нобелей, тесно связанных с Ротшильдами.

Главным противником Рокфеллеров в Европе была Royal Dutch Company, за которой стояли британские и голландские круги. Революция и гражданская война в России была выгодна прежде всего СО – это убирало её конкурентов. Есть сведения, что Рокфеллеры через ложу "Великий Восток народов России" передали Керенскому и Временному правительству около 50 млн долларов*, чтобы удобнее было договариваться. Иными словами, как минимум с 1911 года (начало открытого соперничества Рокфеллеров и Ротшильдов в России, на Ближнем Востоке и в Мексике) у хозяев СО была прямая заинтересованность в политических потрясениях в России, способных убрать российскую нефть с рынка. *Cui bono? Cui prodest?* – "Кому хорошо? Кому выгодно?" – спрашивали римляне.

В преддверии войны, или Неуслышанные "Кассандры"

*Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.*

Ю. Энтин

Машина, толкавшая мир к войне, уже работала на полную мощь, она не могла дать задний ход, слишком многое было поставлено на карту: огромные капиталы, судьбы целых империй, власть, новое мироустройство без

* Трифанков Ю. Т. Капитал, война, революция и Россия. Борьба за мировое господство в первой половине XX века. Брянск, 2013. С. 88.

Германии и России, отвечавшее интересам, в первую очередь, британского и американского капитала. В этой ситуации России было трудно избежать вовлечения в войну, особенно если учесть её задолженность британскому и французскому капиталу, представленному в основном еврейскими банкирскими домами. Впрочем, царь не очень и стремился избежать войны, о ней, как о деле почти решённом, он говорил ещё в начале 1914 года. Степени катастрофичности последствий войны для Российской империи он, по-видимому, не представлял и на предупреждения не обращал внимания. А предупреждения были и, как оказалось, абсолютно верные. Речь идёт о записке П. Н. Дурново и размышлениях В. К. Плеве.

В феврале 1914 года П. Н. Дурново направил царю “Записку”, в которой писал о необходимости создания континентального блока против англосаксов как фактора стабильности в Европе и о гибельности для России и династии участия в войне, тем более на стороне Великобритании. Война, по его мнению, не могла не привести к социальным потрясениям. “Особенно благоприятную почву для социальных потрясений, — писал Дурново, — представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма... Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав, ему и ненужных, и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землёю, рабочий — о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, и дальше этого их вождения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозвратно допустить агитацию в этом направлении, Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пережитую ею в присконпамятный период смуты 1905–1906 годов... Война с Германией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи, — будем надеяться, частичные, — неизбежными окажутся и те или другие недочёты в нашем снабжении. При исключительной нервности нашего общества, этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение, а при оппозиционности этого общества всё будет поставлено в вину правительству”.

Ну, а дальше — революция.

Двенадцатью годами раньше Дурново, то есть в 1902 году, поразительный по точности прогноз в споре с С. Ю. Витте дал министр внутренних дел В. К. Плеве. Он писал: “Революция у нас будет искусственной, необдуманно сделанной так называемыми образованными классами, общественными элементами. У них цель одна: свергнуть правительство, чтобы самим сесть на его место, хотя бы только в виде конституционного правительства. У царского правительства, что ни говори, есть опытность, традиции, привычка управлять. Заметьте, что все наши самые полезные, самые либеральные реформы сделаны исключительно правительственной властью, по её почину, обычно даже при несочувствии общества... из лиц, из общественных элементов, которые заменят нынешнее правительство — что будет? — одно лишь желание власти, хотя бы даже одушевлённое, с их точки зрения, любовью к родине. Они никогда не смогут овладеть движением. Им не усидеть на местах уже по одному тому, что они выдали так много векселей, что им придётся платить по ним и сразу идти на уступки. Они, встав во главе, очутятся силою вещей в хвосте движения. При этих условиях они свалются со своим теориями и утопиями при первой же осаде власти. И вот тогда выйдут из подполья все вредные преступные элементы, жаждущие гибели и разложения России, с евреями во главе”*

Последний тезис Плеве подтвердил после революции не кто иной, как В. И. Ленин, который писал: «Большое значение для революции имело то обстоятельство, что за годы войны в русских городах осело много еврейских интеллигентов. Они ликвидировали тот всеобщий саботаж, на который мы натолкнулись после Октябрьской революции»; т.е. речь идёт о том, что Е. Киржниц в работе «Еврейский рабочий» (1926 г.) охарактеризовал просто: «...нам удалось овладеть государственным аппаратом». Иными словами, прогноз Плеве полностью сбился. Кроме того, Плеве, во-первых, очень чётко

* Цит. по: Пыжиков А. Питер — Москва: схватка за Россию. М., “Олимп”, 2014. С. 125-126.

определил характер революции, которую сотворят “образованные классы” (“цитатная интеллигенция”, как называл их И. Солоневич), как искусственный. Во-вторых, он абсолютно верно предсказал тот факт, что эти “революционеры” не удержат власть и что стихия их сметёт. Так и вышло. Россия вступила в войну и двинулась к тому, что предрекали Плеве и Дурново, – к революции.

Если Плеве и Дурново предсказывали ситуацию внутри страны, то замечательный русский геополитик А. Е. Едрихин (Вандам), соглашаясь с М. О. Меньшиковым по поводу кустарности внутренней политики, фиксировал то же (кстати, как и Н. Е. Врангель) во внешней политике – отсутствие стратегии. С учётом этого в 1912–1913 гг. он предсказал то, как англосаксы в ближайшие годы будут загонять Россию в угол: “Простая справедливость, – писал А. Е. Едрихин, – требует признания за всемирными завоевателями и нашими жизненными соперниками англосаксами одного неоспоримого качества – никогда и ни в чём наш хваленый инстинкт не играет у них роли добродетельной Антигоны. Внимательно наблюдая жизнь человечества в её целом и оценивая каждое событие по степени влияния его на их собственные дела, они неустанной работой мозга развивают в себе способность на огромное расстояние во времени и пространстве видеть и почти осязать то, что людям с ленивым умом и слабым воображением кажется пустой фантазией. В искусстве борьбы за жизнь, т. е. политике, эта способность даёт им все преимущества гениального шахматиста над посредственным игроком. Испещрённая океанами, материками и островами земная поверхность является для них своего рода шахматной доской, а тщательно изученные в своих основных свойствах и в духовных качествах своих правителей народы – живыми фигурами и пешками, которыми они двигают с таким расчётом, что их противник, видящий в каждой стоящей перед ним пешке самостоятельного врага, в конце концов, теряется в недоумении, каким же образом и когда им был сделан роковой ход, приведший к проигрышу партии?

Такого именно рода искусство увидим мы сейчас в действиях американцев и англичан против нас самих”* (подч. мной. – **А. Ф.**)

Плеве, Дурново, Едрихин и другие оказались не то кассандрами своего времени, не то “гостями из будущего”, которым не поверили и которым словно пришлось заклинать, чтобы “прекрасное далёко” не было жестоко – к ним, к России. Заклинания не помогли. “Далёко” оказалось вовсе не прекрасным, в том числе и потому, что к заклинателям не прислушались.

(Окончание следует)

* Вандам А. Е. Наше положение // Вандам А. Е. Геополитика и геостратегия. Жуковский; М.: Кучково поле, 2002. С. 43–44.

ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ

“СВОЕВОЛИЕ ЭЛИТ”

О рационализме и духовности, массовой культуре и девальвации ценностей, о великом опыте ученичества и попытках обезличить учение и образование.

Нарине Укумян: Мне хотелось бы начать нашу беседу с изречения известного немецкого учёного и публициста Георга-Кристофа Лихтенберга и попросить Вас его прокомментировать: “Почти невозможно пронести факел истины через толпу, не опалив кому-нибудь бороды”.

ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ: Афоризмы очень красивы, но их можно трактовать по-разному. Теоретически я согласен с этим утверждением. Практически, как человек уже далеко не юный, много видевший в своей жизни, много знающий не только в теории, по книгам, но и практически, в том числе и о политике, могу сказать: сейчас проблема не в толпе. На данный момент проблема как раз в том, что называется “элитой”. Элиты не дают пронести “факел истины”, а не толпа.

Н. У.: То есть вы полагаете, что, в соответствии с вашей теорией конкурирующих деспотий, демократия – это совокупность конкурирующих деспотий? Тогда напрашивается вывод: “элиты сами опалют бороды друг другу, и это не нравится ни той, ни другой стороне”.

В. Т.: Дело не в том, что они опалют бороды. Бороды – это ещё слабо сказано. Когда-то жгли на кострах с бородами и без бород. А сейчас убивают людей дистанционно с помощью беспилотников, не испытывая никаких угрызений совести, которые всегда испытывал человек, даже злой, когда он убивал врага собственными руками. Он ощущал эту кровь на себе и мог чувством вины потом мучиться. А когда ты, сидя в комфортных условиях, куря сигару и выпивая чашку кофе, нажимаешь на кнопку, и продолжение твоей руки с помощью современных технологий убивает людей (неважно, врагов или не врагов, случайных людей, детей, женщин) – вот это новая проблема. Убийство без чувства вины. Даже без ощущения, что ты лично кого-то убиваешь. И элиты – это “золотой миллиард”, западные страны не хотят от этого отказываться, так как в этом их технологическое преимущество. Они считают недопустимой любую жертву со своей стороны. В первую очередь, кстати, не из особого человеколюбия, а потому, что это угрожает успеху на очередных выборах. Если убили одного их солдата – это проблема, если десять – трагедия, если тридцать – могут вообще выйти из войны. Но если убили тысячи, сотни тысяч со стороны противника – из-за этого США и Запад вообще войны не прекращают. Этот “золотой миллиард” чувствует себя элитой, позволяет себе всё, что ему хочется и нравится.

Вот пример из последнего “своеволия элит”: решили назвать браком сексуальные игры между мужчинами, которые испокон веков известны, и нового в них ничего нет. Многим это не нравится: европейской цивилизации — христианской, мне это, например, не нравится. Но если мне это не нравится, и я об этом заявляю, то автоматически становлюсь “гомофобом” и вообще недалёким человеком, нецивилизованным, нетолерантным, которого начинают обвинять во всех грехах. Однако если люди на Востоке, с восточными традициями, хотят жить по законам своих предков, допустим с многоженством, то это запрещается, рассматривается как отсталость, нецивилизованность той самой восточной цивилизации. Многоженство нельзя, а однополые браки можно.

Вырисовывается любопытная картина: себе разрешаем всё, а всякого несогласного моментально обвиняем в нецивилизованности и нетолерантности. Пока ещё в тюрьмы не сажают, но дело идёт к тому, что если ты будешь выступать против этих браков, тебе назначат какой-нибудь штраф. А от этого и до тюремного заключения недалеко.

Это известная методика, давно применяемая “элитой”: валить всё на массы, на народ, на людей, которые “не доросли”, “нецивилизованные”, пока деспоты или демократы не появятся и не укажут путь к “истине”. Миром всегда правили элиты, но сейчас это происходит откровенно и в открытую, уже под прикрытием “демократии”. И все народы разделены на те, которые имеют право всех судить, и те, кто такого права не имеет. Не говоря уже о народах, странах, которые зачисляются во враги человечества — в страны так называемой “оси зла”. Я считаю, что это гораздо более человеконенавистническая теория, чем отрицание права называть семьёй сексуальный союз двух мужчин или двух женщин. Однако если позволить себе с подобным заявлением выступить где-нибудь в Париже, на интеллектуальной площадке, или в Берлине, тебя непременно обвинят в поддержке разного плана диктатур: иранской, северокорейской и т. д. К сожалению, приходится констатировать, что в этом смысле русские воспринимаются как априори чуждые европейской цивилизации, этикие азиаты, привыкшие к диктатуре, к тоталитаризму, сталинизму.

И последнее, что хотелось бы заметить по этому поводу. К сожалению, по всем тенденциям, которые становятся все более очевидными в последние десятилетия, когда мы, люди этой страны, большой России, именованной и Советским Союзом (что сути дела не меняет), попробовали то, что ранее нам казалось запрещённым, хотя тут тоже много преувеличенного, когда со многим, что знали из этой теоретически западной жизни, познакомились на опыту за эти последние десятилетия, то мы увидели (я отчётливо это вижу), что европейская цивилизация умирает, причём сама себя упорно подталкивает к этой смерти. Европейская цивилизация создала высшие достижения мировой культуры, это фактически признают все, поскольку на них ориентируются, несмотря на моду на восточные культуры, которая периодически охватывает западное общество. Всё равно высшие культурные достижения, высшие достижения искусства — это европейская цивилизация от Античности и до середины XX века. Сейчас сама европейская цивилизация отрицает созданные ею ценности, губит их и разрушает. Элиты ведут толпу в тупик, в пропасть. Я не хочу в этом участвовать и в меру своих сил этому сопротивляюсь словом и делом, которое я делаю, пытаюсь предложить и поддержать что-то конструктивное, противоположное. Не в толпе дело, не толпа виновата. Виноваты элиты.

Н. У.: Поясните, пожалуйста, кого именно Вы подразумеваете под “элитой”?

В. Т.: Пожалуйста. Правящий класс, как угодно называйте.

Н. У.: Если рассматривать Европу, то под “элитой” Вы, скорее всего, имеете в виду финансовую олигархию и крупный бизнес?

В. Т.: Финансовая олигархия плюс интеллектуалы, плюс богема. Они всегда соседствовали. Учёные и художники всегда работали, как правило, не в пещерах, а при дворах царствующих особ, тех, кто мог заплатить, за счёт этого достигалась и творческая свобода. Делал что-то по заказу — в свободное время делал то, что считал нужным. Это всегда соседствовало. Просто сейчас это уже практически одно и то же. Богема, правящий класс (прежде всего финансовый), интеллектуальная обслуга — всё едино.

Н. У.: Это очень интересная точка зрения, потому что появляются новые исследования, непосредственно связывающие конец христианской культуры

и зарождение арт-бизнеса в начале XX века. Кстати, этой теме посвящено прекрасное эссе философа и поэта Рубена Ангаладяна о “Чёрном квадрате” Казимира Малевича.

В. Т.: Существует множество разных теорий относительно квадрата Малевича и русского авангарда в целом. Это – икона, чёрная икона с не прорисованным ликом, и в этом смысле – да, это конец. Другие рассматривали в этой черноте метафизические глубины. Взгляд может быть разным. Однако и в конкретных произведениях русского авангарда, и в архитектуре русского конструктивизма начала XX века усматривается не только конец Серебряного века с его декадансом, но и, одновременно, попытка прыжка в будущее, в коммунистическую утопию, которой тогда все поклонялись, от которой потом все отреклись. Интеллигенция сначала очень легко клянется в верности некоторым идеалам, а потом столь же легко топчет их ногами – этом смысле это самые непоследовательные и циничные люди.

Н. У.: Может, с лабильной психикой?..

В. Т.: Лабильные – это такое позитивное слово. Лабильные – это когда люди приспособляются к обстоятельствам. Циничный – тот, кто других приспособляет под свои интересы и постоянно меняющиеся якобы идеалы, им же самим и провозглашаемые.

Н. У.: Лабильный больше употребляется как более адаптивный и легко поддающийся влиянию?..

В. Т.: Сейчас много теорий. В каждой теории один и тот же термин трактуется по-разному. Так вот, можно сказать так: предаёт свои собственные идеалы, причём те, которые она навязывала год назад или столетие назад другим, в первую очередь, – интеллигенция. Не народ и даже не правящий класс... У него всегда один интерес – властвовать.

Политики, финансисты – это более консервативны. Может, потому, что для сохранения власти консервативное начало надо сочетать в себе с неизбежной модернизацией. Старые рычаги управления ветшают. Но прежде чем войдут в силу новые, ты старые тоже не выпускаешь. Интеллигенции же всё равно. Она отрицает всё, в первую очередь, то, что раньше воспевала, и за новое хватается, которое потом тоже оплеет и отвергнет.

Как бы ни подходить к конкретным произведениям и именам, для меня очевидно, что произошло своеобразное перерождение авангарда сначала в китч, а затем – в современное постмодернистское искусство, которое, скорее, смахивает на бизнес-проект, чем на творчество и, тем более, на духовное возрождение. Это можно идентифицировать как своеобразный рубеж. Я бы мог усмотреть в европейской цивилизации, несмотря на её политические тупики, перспективу, если бы она не отрекалась от достижений своего высочайшего искусства и образцов прекрасного, чему поистине нужно поклоняться, и перестала бы признавать замечательным то аморальное и безобразное, что было отражено в искусстве и раньше, но никогда не воспевалось в качестве идеала. До середины XX века классическое искусство руками таких творцов в России, как Шолохов, Платонов, а на Западе, например, Томаса Манна, активно развивалось, и модернистские мотивы там вполне присутствовали!

Сейчас же мы наблюдаем полное отречение от классики, складывается впечатление, что все вершины великого искусства позади, за нашей спиной, и мы всё больше и больше отдаляемся от этих вершин, уже даже не оглядываясь и не сравнивая, а всего лишь упоминая – для придания статуса какому-то своему произведению искусства (к примеру, ссылаясь на Леонардо да Винчи, говорим, что и у него когда-то что-то подобное было...). Мы уже не в долину спускаемся, мы уже в пропасть то ли катимся, то спускаемся... А если высшие интеллектуальные, культурные достижения какой-либо цивилизации (не в технике дело, не в технологиях) отрицаются в пользу безобразного, гармоничное – в пользу какофонии, – это и есть падение, конец. Поэтому Малевич, относясь ещё к тому, классическому искусству, велик, и всё созданное им – прекрасно. Но коль скоро его берут, как знамя, уже нынешние якобы творцы, якобы художники – это уже падение. Для меня тут всё ясно, потому что массовая культура сейчас правит миром во всех его проявлениях. Массовая культура, массовая политика со всей её театральностью царит во всём. Никогда правители не пытались быть похожими на “массы”. Были случаи, когда они соединялись в минуту трагедий с народом, но никогда они не приравнивали себя к народу по внешним проявлениям. Это и называлось

аристократизмом. А теперь наступила эпоха “псевдодемократичности”. И сейчас, хотя так же кулуарно, так же в закрытых кабинетах и тайне от широкой публики, принимаются принципиальные решения, но внешне всё подаётся как референдум, как демократия. Дескать, мы летаем теми же самолётами. Лучше бы они не летали теми же самолётами, но меньше принимали тайных от своих парламентов, от своего народа решений. Массовая политика, массовое образование, которое снижает среднюю планку. Она уже приближается к тому, что раньше считалось невежеством. Это удивительный феномен: раньше в рамках европейской цивилизации образованность всё больше отдалялась от невежества – это было вполне естественным процессом. А теперь пошло в прямо противоположном направлении. “Образованный человек” теперь может быть невеждой и даже не стесняется этого. У него диплом о высшем образовании, а он не стесняется показать, что не знает этого и не хочет знать, и не стыдится своего незнания: “А почему я должен знать? А почему я должен читать “Каренину” или Кафку? Да я же фильм смотрел”. Вот в чём проблема. Искусство становится объектом бизнеса. Люди всегда были равнодушны к деньгам, это понятно. На деньги покупаются блага. Но всегда оставалось то, что не должно оцениваться деньгами. Начиная от любви, хотя всегда существовала и продажная любовь, и браки по расчёту. Существовала граница между добром и злом, она очень медленно сдвигалась. А сейчас нет никакой границы. Что хочу, как хочу, так и буду делать, потому что я – свободная личность. Утрированное до невежества понимание свободы. Стремление определить всему материальную цену. Сейчас, к примеру, в первую очередь фильмы оцениваются по тому, каков был кассовый сбор; картины, в том числе, классиков, оценивают по денежному эквиваленту предложений на аукционе за то или иное полотно. Сейчас не стесняясь говорят, что деньги – это главное мерило ценности человека...

“Бизнес-план” – это очень популярный сейчас термин, это главное. А то, что ты хочешь сделать лучше других, интереснее других – это всё на полях, а главное – бизнес-план и прибыль. Будет прибыль – мы тебе позволим сделать это лучше других, не будет – нам не нужно твоё “лучше других”. Будет прибыль, если ты сделаешь хуже других? Под это мы тебе дадим денег.

Н. У.: Замечательный пассаж! Мы сейчас как раз подошли к теме ценностей и их девальвации. Я хотела бы с Вами поговорить о культуре и соотношении культуры и рациональности. Вы уже это затронули, сказав о так называемой рациональной любви. Рациональная любовь, рациональная политика – “realpolitik” – и то, что стоит за этими понятиями. В начале нашей беседы Вы сказали: если не видишь, как ты убиваешь, у тебя пропадает чувство вины. Скажите, есть какое-либо решение в эпоху “девальвации ценностей” и можно ли спасти культуру, “реанимировать” её, если можно так выразиться?

В. Т.: “Realpolitik” как раз неплохо. Плохо, когда говорят, что всё стало демократическим, а проводят ту же самую политику, целью которой является подчинение одних другим, рассказывая при этом сказки, что хотят “не подчинить, а цивилизовать и осчастливить” и т. д.

Если отойти от политики, в целом от цивилизационных наших проблем, опять же я вижу признаки того, что европейская цивилизация изжила себя в поведении людей, которые эту цивилизацию представляют наиболее активно. И через этот рационализм мы прошли. Эпоха Просвещения и есть эпоха рационализма, когда в отличие от чувственного восприятия и просто веры в нечто божественное, высшее и прекрасное нужно было подключить разум, чтобы доказать, что верую, потому что мне это нужно, или верую, потому что это абсурдно.

Эпоха Просвещения привела к массовому образованию, фактически к расцвету университетского образования, к всеобщему, сначаланачальному, а потом среднему образованию на просторах Европы, включая Россию. Дальше соотношение было нарушено. Если до того нашей цивилизации не хватало этого рационального, то сейчас рациональное, в том числе, в денежном эквиваленте, преобладает. Я, будучи неверующим человеком (не знаю, есть Бог или нет), исхожу из того, что если человечеству Бог понадобился, то это неслучайно! В этом есть естественная необходимость, а не расчёт какой-то секты, которой было нужно именно так, чтобы они выдвинули “лидера”, а потом для управления другими построили Церковь, христианскую, допустим.

Я имею в виду, что существуют в жизни человека вещи, которые выходят за рамки рационального, иногда сплетаясь с ним. Чувство боли, например. Оно рационально или нет? В принципе боль не рациональна, а эмоциональна, но даже на своём теле ты знаешь точки, которые, если на них нажать, будет больно, а на другие можно нажимать, не чувствуя боли. И если ты или другой человек приближаешь палец к этой точке на теле, ещё не почувствовав физической боли, ты заведомо представляешь, как это может быть, и поверьте, это ещё ужаснее, чем сама боль.

Феномен Бога, Церкви, веры отвечает в нашей цивилизации за мораль. Не уголовный кодекс, а именно это. Казалось бы, гораздо слабее христианские заповеди, чем уголовный кодекс, за которым система наказаний, слежки, поминки того, кто нарушил что-то, наказания и даже казни. А вот с помощью этого оружия преступность победить не удалось. Были теории, что когда-нибудь преступности не будет. Теперь от них отказались. В то же время вера, моральные запреты, несмотря на свою эфемерность, гораздо более эффективны и, возможно, как раз они, а не уголовно-репрессивная система сдерживают самопожирание человечества, в частности, нашей цивилизации. Я уже не говорю о роли церквей разных религий просто в строительстве отдельных государств, в консолидации народов, в консолидации самой христианской цивилизации – это просто исторические факты.

Поэтому я считаю, что есть вещи, которые нельзя трогать. Человек создан так: можно заменить руки, ноги, но тоже до определённого предела, потому что тогда это будет не человек, либо уже другой человек. А человеком является тот, кто родился от мужчины и женщины, от других людей. Потом ты ему можешь что угодно поменять, обновить, однако родиться он может только от естественных отца и матери, в противном случае это уже не человек, а что-то другое. И наша цивилизация – человеческая. По крайней мере, пока, на данный момент. И раз человек родился с необходимостью верить во что-то иррациональное, Бог ли это называется, или Вселенский Разум, значит, так это и должно быть. Причём это же коллективное. Это же не так, что Бога придумал кто-то один и навязывает другим. Это, видимо, имманентное свойство человеческой цивилизации. И второе: это коллективность, потому что мы не знаем отдельно живущих людей. Миллиардеры могут строить себе замки, уединяться там. Но они, как минимум, нуждаются в обслуживании. Если даже это роботы для обслуживания, то этих роботов кто-то создаёт. И они нуждаются в любви, в каких-то её проявлениях, а для этого нужен партнёр, как минимум, один из других людей. Человечество – это не семь миллиардов отдельно взятых людей. Это сумма человеческих общностей. И общественное, коллективное, соборное, солидарное – оно выше индивидуального. Для меня совершенно это очевидно. Выжить в одиночку ни один человек не может. Ни взрослый, ни ребёнок. Ребёнок, понятно, до определённого возраста всегда находится под опекой взрослых. Но и взрослый не может в одиночку выжить. Пусть возьмёт копьё, топор и выйдет в тайгу. Посмотрим, сколько в степи, в тайге он продержится в одиночку.

Н. У.: А как же опыт Робинзона Крузо?

В. Т.: Робинзонада – это замечательный научный эксперимент. Но Робинзон выжил именно благодаря тем достижениям человечества, которые крохами сумел сберечь после кораблекрушения. Там зерно, тут горстка табака, плюс навыки строительства жилища. Не сам же он всё это придумал! Поэтому отрицание прав общего во имя права одиночки я даже не рассматриваю как философскую проблему, как моральную проблему, я рассматриваю это как естественную, физиологическую проблему. Человек – коллективное животное, он выживает только в роде, в коллективе. Продолжение рода – это один и главнейших инстинктов человека, на это, кстати, любовь сексуальная наслаивается и институт семьи. Традиционной, а не однополый.

Поэтому те, кто в нашей цивилизации отрицает необходимость веры... Я-то сам не верю в Бога...

Н. У.: Поэтому я с огромным интересом слушаю... Знаете, Ваши ценностные ориентиры мне понятны. Кажется, Лев Николаевич Гумилёв говорил о том, что "... в критический момент найдутся какие-то люди, которые опять поставят во главу угла не свой личный эгоистический интерес, не свою шкуру, а свою страну, как они ощущают её, свой этнос, свою традицию".

В. Т.: Вынесение веры на периферию и отрицание примата коллективности над правами одного — это делают люди, которые фактически выступают против того, чтобы человечество выжило. Умные, глупые, циничные, какие мечты у них в головах, какие обоснования научные — меня это не интересует. Человек, который отрицает фундаментальные основания для выживания моей семьи и моего рода — это человек, который так или иначе пытается вести меня и всех остальных к гибели. Я не хочу его слушать, я не хочу с ним спорить, я не хочу, чтобы он руководил и навязывал мне так называемые толерантность и политкорректность. Этот человек должен быть изолирован гуманными способами, отстранён от власти и общественной трибуны.

Н. У.: Уточните, пожалуйста: в начале нашего разговора Вы говорили об “элитах”. Должны быть отстранены “элиты” или “отдельная личность”?

В. Т.: Я повторяю: во всём виноваты элиты. Можно рассматривать отдельные исторические казусы, но общество, масса, толпа захватываются с помощью массовой культуры, моды. Захватываются элитами для того, чтобы та или иная точка зрения доминировала. Поэтому я не вижу никаких противоречий. Либо менять элиты нужно, либо нужно разрушать механизмы — всё, что сейчас построено на механизмах массовой культуры. Не в одиночках дело.

Н. У.: Нет, мы просто перешли от элиты к отдельно взятой, доминирующей и диктующей “правила игры” личности. Соответственно, не можем не затронуть темы свободы личности. На мой взгляд, не следует путать понятие “индивидуальности” и свободы отдельно взятой личности — это принципиально разные вещи. Элита же — это понятие социально-политическое и общественное, индивид — нечто другое.

В. Т.: Никакой свободы отдельно взятой личности не существует и не может быть. Если ты свободен, возьми мотыгу, иди в пустыню и будь там свободен, добывай себе хлеб, но ты живёшь в семье, в сообществе людей... и без этого ты ничто, не человек и не личность.

Н. У.: Не все художники были придворными, если говорить об искусстве. В целом, да, они должны продавать свои произведения, чтобы зарабатывать на хлеб насущный.

В. Т.: Какие-то да. Какие-то были не придворными, но мечтали ими стать. Так или иначе, если говорить о том, что высшее образование вышло из стен монастырей, точно так же можно констатировать, что искусство, которое сегодня признаётся классическим, сформировалось благодаря “придворному искусству” — при власти, при тех, кто лучше мог платить.

Н. У.: Однако сегодня мы имеем другую картину. Нет дворов, но есть богатые люди, которые тоже вполне платежеспособны.

В. Т.: Какая разница-то? “Свободная личность”. Нет для меня понятия такого. Есть семья. Мы не можем отрицать, что люди, несмотря на весь идиотизм, который на Западе происходит, рождаются от людей. И семья полигамная, моногамная, это можно долго рассматривать, но семья — это мужчина и женщина, в первую очередь, потому что от них рождаются дети. Маленькая семья — это часть большой семьи под названием племя, род, нация, народ. В этой семье, пока дети маленькие, их все опекают, когда старятся родители — их опекают. Зачем? Легче их убить, не кормить, не поить. Семья — это всегда коллективное действо. Никакой демократии там нет. Глава семьи не демократией заниматься должен, а принимать решения в интересах всей семьи, а не себя самого. Если нужно, то и авторитарные решения. Ты можешь принимать решения в угоду себе одному, но тогда у тебя погибнет вся семья. Что, это называется свободная личность? Если это так, то я против таких свободных личностей. Эти личности являются преступными. Получается, если ты свободная личность, то вправе игнорировать интересы рода и семьи, что, впрочем, со многими художниками и происходит: они жертвуют интересами родителей, детей, жен ради того великого, что они сотворят. Если великое сотворят. Но таких, творящих великое, мало. А желающих игнорировать интересы других, не создавая великое, вот таких-то сколько угодно.

Н. У.: Это свобода личности?

В. Т.: Скажем так: да, если ты создал действительно великое произведение искусства и оставил его человечеству. Ты презрел интересы семьи, свои личные интересы, может, ты гениальный художник, но родственники в дневниках своих пишут “мерзавец ещё тот”. Но нам это неважно. Пострадала

твоя семья. Многие семьи страдают – и совсем не только от гениальных людей. Но ты оставил “большой семье”, человечеству, образцы прекрасного – тогда эта жертва может быть приемлемой. Но если ты не создал ничего, а просто говоришь: “Я свободная личность, поэтому пошли вы все на фиг, как хочу, так и действую”. Причём эти якобы свободные личности свои личные интересы очень любят ублажать. Зачем мне такая свободная личность? Ты отрицаешь то, что многие до тебя пытались отрицать, а что ты даёшь взамен? Где то гениальное полотно, которое ты оставил? Да, ты гомосексуалист, да, пожалуйста, тебе никто не запрещает. Но какую симфонию ты оставил после себя, кроме примитивной мелодии на гей-параде?

Н. У.: Кто-то оставляет. Скажите, где та грань между дозволенной границей “свободы самовыражения” и соблюдением интересов коллектива (семьи, общества), нарушение которой чревато неприятными последствиями как для индивида, так и для общества?

В. Т.: К сожалению, в Россию активно экспортируются образцы западной культуры, а цивилизация европейская идёт в тупик, в пропасть, поэтому, на мой взгляд, перспектива плачевна. Кто-то сопротивляется, кто-то говорит, что у нас *особый путь*, а в реальности идёт не особым. Какое может быть высокое образование, когда главный навык образования – умение творить самому, научившись до этого чему-то, писать своей рукой текст, например, сочинять и сравнивать его не с текстом соседа по парте, а с образцами классики, потому что до тебя очень уже было много написано, от Гомера до остальных, – так вот, этот принцип уже давно не соблюдается! Сколько “шедевров” развелось! Что ни текст, то – “шедевр”! Как документ – да, всё имеет право на существование, как произведение искусства – нет. Но сейчас произведение искусства – всё, потому что каждый ребёнок талантлив, каждый ребёнок гениален, каждая свободная личность творит себе образцы и идеалы. Абсурд! Если мы не возвращаем сочинения в русскую школу, то о каком возрождении высшего образования может идти речь? Мы не собираемся ничего возрождать. Всю жизнь, испокон веков, знания передавались от учителя к ученику, глаза в глаза, уста в уста. Вот самое эффективное. А нам навязывают дистанционное образование. Дистанционное образование – это когда человек идёт в библиотеку и берёт книгу, потому что автор умер и он не может с ним поговорить. А когда можно образовываться, сидя у себя дома, лежа на диване и с помощью компьютера “шагать по всей Сети”, о каком возрождении настоящего образования можно говорить? Абсурд.

Всё, что мы видим, включая компьютеры и интернет, создано теми, кто жил до нас на основе принципов: учитель и ученик в одном помещении беседуют, тексты сочиняются и пишутся своей рукой. Проверяются они не на основе того, что ты здесь правильно что-то обвёл или галочки поставил, а читают два текста и разбирают их. Обсуждается не то, что неправильно в трёх клетках что-то указано, а в целом анализируется весь текст. Ошибок может быть много – мало что из великих писателей без ошибок писал, однако важна логика размышлений, стиль изложения, его оригинальность, глубина анализа и масштаб описания, а не наличие или отсутствие трёх правильных дат.

Заметьте, что чем больше мы ориентируем нашу школу (по указу, а скорее всего – даже по приказу Запада) на тестовую проверку знаний, тем меньше этих самых конкретных знаний остаётся в памяти школьника. То есть и здесь результат прямо противоположен цели, если даже она не была ложно поставлена.

Если бы у древних греков был интернет и телевизор, мы бы сейчас не имели ни интернета, ни телевизора.

Так вот, мы вошли в стадию, когда у нас есть интернет и ТВ, и мы, возможно, уже ничего другого иметь не будем. И все усилия сводятся только к одному: чтобы создать искусственный мозг, искусственного человека, то есть нечеловека. Зачем? Создать не себя...

Н. У.: Вы говорите о массовой культуре и об универсализации ценностей. Как Вы относитесь к технологиям управляемого хаоса? Считаете ли Вы, что они были применены в эпоху перестройки и подразумевали содействие либеральной демократии и развитию рыночных отношений как своеобразный трамплин для укрепления политического влияния. Похоже, прав был Бисмарк, когда говорил: “Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить ложные ценности, и тогда они победят сами себя”.

В. Т.: В некоторых отдельных небольших странах теория управляемого хаоса, управляемого конфликта, безусловно, работает, она применяется на Ближнем Востоке, в частности, и мы это видим. Сейчас всё технологично, можно с помощью “Твиттера” или чего-то подобного запускать слухи, сеять панику. Конечно, такой гигант, как СССР, с помощью управляемого хаоса развалить было невозможно, если внутри не было бы чего-то, что уже не “выдерживало собственного веса”. Тут много всяких причин разных. Но и здесь главное – безответственное поведение элит, правящего класса, включая богему, интеллигенцию, которая вообще по дешёвке продала свои идеалы. Всё, чего они хотели, – это замшевые пиджаки, джинсы, да не одну пару, а три. Ничего больше. При этом ещё говорили о свободе самовыражения. А кто из них в спецхранах работал? Да всё можно было прочесть в СССР. Да, это не валялось на прилавках, но в спецхранах всё было. И желающие – читали.

Н. У.: А может, и не следовало?

В. Т.: Информационных границ не бывает.

Н. У.: Кто хотел, тот находил и читал?

В. Т.: Просто закрыть себя от вредной информации не рационально. В этом смысле Запад выиграл. Но я о другом: клялись на высоких идеалах, а реальные инстинкты и интересы были пиджаки, костюмы, магнитофоны. А они потом это увидели. Где это в СССР было видно, чтобы школьная учительница в Москве в мусорном баке искала еду? У нас в рабочем районе Москвы в 60-е годы пять пьяниц было. Все их знали в лицо, они только пустые бутылки собирали на бульваре, чтобы сдать их, могли и из мусорного бака достать бутылочку, но не одежду, тем более, не кусок хлеба. Уже 25 лет экономических реформ и свободной экономики. Где все эти гуманисты? Куда они исчезли? Все за права человека. А где права этой старой учительницы?

Н. У.: Справедливое замечание! Как может процветать нация, если учитель побирается?..

В. Т.: Профессия учителя обесценена до предела. Вышедший на пенсию только из мусорного бака что ли есть может? Вот и Болонская система. Всё происходит автоматически. Человеческое желание хорошо жить, хорошо одеваться естественно. Но вы либо сами себя обманывали, думали только о шмотках, либо других обманывали. Всё последующее поведение нашей интеллигенции доказывает, что никаких настоящих идеалов (“свобода, демократия, равенство”) у неё не было. Нам нужно было общество потребления с потреблением, как на Западе. Только этого мы и хотели.

Н. У.: Наверное, это в природе человеческой.

В. Т.: В природе человеческой лукавить, врать, обманывать. Но редко какой лгун выходит и начинает учить других морали. Претензия не в том, что интеллигенция лжет. Мы все грешны. Только мы не выходим и не учим всех, как жить благочестиво, а сами потом прямо в грех и в бардак. А они же выходят. Я своим студентам говорю об этом, не приукрашивая, но и не обливая грязью всё подряд, поскольку моральных проблем в журналистике, телевидении очень много. “Тот, кто с этой трибуны – без меня ли, при мне ли – вам начнёт читать лекцию о морали, бойтесь его. Личность, мастер, рассказывает не о морали. Он делится профессиональными навыками и при этом говорит, что есть проблема, которую можно так решить, а можно решить по-другому”. Я никогда не говорил, что если так решишь, то ты отвратителен. Да, я знал, кто у меня в газете публикует заказные статьи. Когда я их ловил, увольнял авторов. Но я никогда не осуждал их морально. У этого человека есть семья. Либо он получает здесь столько, что его семья спокойно живёт, жена покупает платья по крайней мере раз в месяц, дети нормально питаются, тогда я говорю: что ж ты, зараза, ещё при этом и “заказуху” гонишь? А если я как начальник не могу обеспечить ему нормальное существование, то я бороться с этим могу, выгонять, но не осуждать. Этого я никогда не делал.

Н. У.: По ходу Ваших размышлений раскрываются всё новые грани, новые взгляды – от “высокого искусства” и до простой, житейской философии, основанной на библейских заповедях.

В. Т.: В данном случае о Боге ничего говорить не буду. Я просто скажу, что даже если бы вы брали интервью у самого гениального и самого известного из ныне существующих людей, время, тем не менее, должно быть ограничено. Того, что мы наговорили, вполне достаточно для публикации. Либо это вызовет интерес, либо нет.

Н. У.: Благодарю Вас за интересную беседу.

АЛЕКСАНДР СМОЛКО

“МИРЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА”

После просмотра в Австрии фильма “Союзники. Верой и правдой” один из участников просмотра задал мне вопрос: почему люди воюют, что заставляет их убивать друг друга? То, что такие мысли появляются у зрителя после просмотра нашего фильма, а я являюсь автором идеи, соавтором сценария и генеральным продюсером, говорит о многом. Слова ветерана войны из нашего фильма: “Люди, перестаньте воевать, научитесь договариваться”, – зрители услышали и, похоже, задумались.

Так почему же люди воюют? Что касается профессиональных военных и любителей адреналина, объяснить можно. Они воюют за деньги, ордена, славу. Но основная масса воюющих – это рядовые солдаты и матросы. В нашем фильме показаны именно они, и вопрос касался именно их. Что заставляет воевать их?

Отвечая на этот вопрос зрителя, я отметил, что человек является существом биосоциальным. Биологическое начало предполагает наличие в человеке двух, можно сказать, взаимоисключающих, качеств: агрессии и альтруизма. Агрессия заставляет человека бороться за место под солнцем, чувство альтруизма агрессию сдерживает. В конечном итоге побеждает альтруизм. Доказательством является то, что жизнь на нашей планете ещё существует. Социальное начало заставляет человека следовать правилам, которые общество выработало и нарушать их, как говорится, себе дороже. Если агрессивное начало побеждает, человек начинает воевать.

Не знаю, удовлетворил ли такой ответ нашего зрителя, но ничего другого в тот момент я предложить не смог. Меня он точно не удовлетворил, поскольку без ответа оставался главный вопрос. Что заставляет человека нарушать баланс между скрытыми в человеке агрессией, альтруизмом и социальными ограничениями? Что его всё-таки заставляет воевать? Вопрос меня, что называется, зацепил, и появилось желание узнать, что по этому поводу думают историки и философы, есть ли ответ у них?

Темой войны ввиду чрезвычайной важности её роли в жизни общества на протяжении многих веков занимались лучшие умы человечества. Особенно глубоко в проблему я не лез, не специалист, но кое-что почитать пришлось. В обзорах, с которыми мне довелось ознакомиться, отмечается, что уже в древние века китайские, индийские, древнегреческие мыслители высказывали идеи о социально-политической природе войны.

Согласно Демокриту, причиной войн является имущественное неравенство людей, произвол властей, бедность граждан, другими словами, факторы

социально-политические. Платон считал войну естественным состоянием общества, инструментом для захвата новых территорий и строительства государства на основе права силы. Как тут не вспомнить: “у сильного всегда бессильный виноват...” Так было всегда. Преимущественно политические причины в возникновении войн видел Аристотель. Российский историк В. С. Соловьёв считал, что война не столько социально-политическое явление, сколько острейший духовный конфликт различных культур.

Философское определение войны, признанное классическим, дал немецкий военный теоретик фон Клаузевиц, простое, как и все гениальное: “Война есть не что иное, как продолжение государственной политики другими средствами”. Список учёных различной степени гениальности и известности, оставивших свой след в исследовании причин возникновения войн, можно продолжать, но необходимости в этом нет. Все они в своём мнении более или менее едины. Причины войны несут, в основном, социально-политический и нравственный характер. Отметим только, что в работах современных учёных больше внимания уделяется исследованию причин нравственного характера.

Что касается роли войн в жизни человеческого общества, такого единства мнений в учёном мире не наблюдается, скорее наоборот. Гуманисты XVI–XVII веков (Т. Мор, М. Монтень, Эразм Роттердамский), мыслители XVIII века (Монтескье, Дидро, Вольтер) осуждали войны и насилие, выдвигали идеи равноправия всех народов. Идею ликвидации войн как инструмента политики правящих классов поддерживали Фурье, Маркс, Энгельс, Ленин, связывая это с появлением бесклассового общества.

Апологеты войны (Шпенглер, Ницше, Фрейд, Гегель) видели в войне некую очистительную силу, способствующую устранению перенаселения планеты (Мальтус), в том числе и неполноценными расами (Гитлер) и обеспечивающую жизненное пространство более цивилизованным народам. Отмечается также положительная роль войны как фактора, стимулирующего научно-технический прогресс. Много ещё чего можно прочесть о войне, но ответа в более или менее явном виде на интересующий меня вопрос – почему люди воюют? – я не нашёл.

Но удалось выяснить, что почти за 6 тысяч лет истории человечества произошло более 14,5 тысячи больших и малых войн, в том числе две мировые войны. При этом погибло, умерло от голода и эпидемий свыше 3,5 миллиарда человек, уничтожены неисчислимы и невосполнимые материальные и духовные ценности. Понятно, что войны ведут люди, и войн не было бы, если бы люди не воевали. Так почему люди воюют, зная при этом, что у многих из них шансов остаться в живых практически нет? Что или кто их заставляет воевать? Я далёк от мысли такой ответ предложить, но некоторыми соображениями поделиться готов.

Если принять в качестве допущения, что история человечества – это череда войн и периодов подготовки к ним, то получается, что тот, кто делает войну, тот и делает историю. Так кто же делает войну? Народ, который воюет, или вожди, которые этим народом руководят? Цезарь или его легионы, Наполеон или его гвардия, Ленин или рабоче-крестьянская армия, Сталин или Красная армия, Гитлер или вермахт? Отметим, что и Ленин, и Сталин, и Гитлер были, прежде всего, политиками; Цезарь и Наполеон сочетали в себе качества политиков и полководцев, что, собственно говоря, подтверждает известную мысль, что “война слишком серьёзное дело, чтобы доверять его военным”. Всё правильно, “война – это продолжение политики другими средствами”.

Но корректно ли вообще такое противопоставление: вожди или народ? Ведь вождь не появляется сам по себе. Вождь – это продукт выбора народа при условии, что кандидат в вожди понимает предпочтения своего народа, улавливает тренд народных посягательств, и если он предлагает народу что-то такое, что народу требуется, он становится вождём. Не факт, что выбор народа всегда правильный. Но народ прав всегда, как говорится, “глас народа – глас Божий”. Философ с мировым именем Ортега-и-Гассет выразил эту мысль такими словами: “Против общественного мнения править нельзя”.

Чтобы приблизиться к пониманию того, что людей заставляет воевать, обратимся к опыту Второй мировой войны и событиям, ей предшествовавшим. Несмотря на то, что война закончилась 70 лет тому назад, ещё живы участники войны, имеются богатые архивы, много мемуарной литературы, есть с кем и с чем работать. Организаторами войны были представители

мирового финансового капитала. Они финансировали политическую кампанию Гитлера и привели его к власти, на их средства был создан вермахт и немецкая военная промышленность, с их одобрения и молчаливого согласия Гитлер покорил всю Западную Европу. Но Европа была не более чем увертюрой, главной целью был Советский Союз.

Согласно мнению такого крупного специалиста по современной военной истории, каким является генерал-полковник Л. Г. Ивашов, “германские вооружённые силы к лету 1941 года являли собой лучшую в мире военную организацию, дисциплинированную и обученную на основе самого современного военного искусства, оснащённую самым эффективным оружием и военной техникой, руководимую военными профессионалами самого высокого мирового уровня.

Добавим к этому, что Германия имела богатый боевой и организаторский опыт ведения современных военных действий, отмобилизованную экономику и нацию, фанатично настроенную на войну ради не только победы, но и во имя превосходства над всеми другими расами и народами. То есть мы вправе говорить не только о военно-стратегическом, военно-техническом, военно-экономическом превосходстве фашистской Германии, но и стремлении немецкой нации к превосходству духа, ибо фанатизм, вера в божественное предназначение немцев и фюрера, готовность к самопожертвованию пронзали всё германское общество – солдата, бюргера, генерала. И так до последних дней войны”.

Возьму на себя смелость предположить, что именно в этом абзаце содержится ответ на вопрос, кто и что заставляло немецкого солдата воевать. Немецкого солдата заставляла воевать вера в божественное предназначение фюрера и идея превосходства немецкой нации, идея порочная, преступная, стоившая человечеству десятков миллионов жизней. Но фактом является то, что немцы боготворили Гитлера, боготворили за ликвидацию безработицы, преодоление экономического кризиса, присоединение Австрии и Судет, отмену Версальского договора, избавление немецкой нации от унижения, к которому её подвергли победители в первой мировой войне.

Провозглашенная Гитлером идея о превосходстве немецкой нации “Deutschland, Deutschland uber alles”, о “голубой крови” в жилах немцев стала национальной идеей, и за идею и фюрера, провозгласившего эту идею, немцы отдавали свои жизни. И ладно бы они отдавали только свои жизни, они забирали жизни других людей, присвоив себе моральное право определять, какая нация имеет право на существование, а какая – нет. Нелишне напомнить, что число этих жертв было более 34 миллионов. Как такое было возможно для представителей нации высочайшей культуры, давшей человечеству великих поэтов, музыкантов, художников? Как оказалось, возможно. Немцы воевали и убивали. Правда, предварительно их убедили, причём без особого труда, что люди, которых они убивали, полноценными не являются.

Но если для немцев Гитлер реально был демонической личностью, то его влияние на мировое сообщество, его авторитет в других странах, в том числе в тех, где идеи фашизма пользовались популярностью, было минимальным. Добившись абсолютного успеха в зомбировании немецкой нации, Гитлер делать то же самое по отношению к народам других стран не стал. Не думаю, что это было ошибкой Гитлера, которая, в конце концов, стоила жизни ему и миллиону немцев. Он понимал, что предлагаемая им идея национального превосходства немецкой нации имеет ограниченное применение.

Было бы неправильно скрывать то, что среди советских граждан нашлись предатели, которые по разным причинам служили фашистам, но при этом идеологию фашизма, идею превосходства немецкой расы они не разделяли и умирать за эту идею они не собирались. Война это подтвердила. Число желающих воевать за великую Германию уменьшалось по мере того, как немецкая армия терпела поражения. Это, кстати, касается и немалого числа граждан государств-союзников Германии и стран, побеждённых Германией.

В полной уверенности в лёгкой и скорой победе Германия начала войну с Советским Союзом. Однако, несмотря на военную мощь и высокий моральный дух нации, Германия потерпела в этой войне поражение, немецкие военные преступники были осуждены, немецкая нация принесла покаяние за совершенные преступления перед человечеством. Благодаря Красной армии и союзникам по антигитлеровской коалиции мы никогда не узнаем, как далеко

могли бы зайти немцы в своих претензиях на мировое господство и сколько человек они ещё могли бы убить.

В отличие от немцев, русские войны не хотели, но знали, что воевать придётся, и страна к войне готовилась. Моё поколение знает это не только из литературы о войне. Нам рассказывали об этом живые свидетели, наши родители, наши дедушки и бабушки, наши знакомые, которым всё это пришлось пережить. Начало войны было для Красной армии катастрофой. Причины катастрофы называют разные.

Можно говорить о том, что высшее руководство страны плохо подготовилось к войне, совершало ошибки, в том числе и кадровые, и это будет правда: командиры не имели необходимых знаний и опыта, и это тоже будет правдой, солдаты в массе своей были плохо обучены, и это правда. Но у нас не было других руководителей, других командиров, других солдат. Все они вышли из нашего народа. Другого человеческого материала у нас просто не было. Как тут не вспомнить, что русские медленно запрягают, да быстро едут.

Да и не в этом была главная причина наших тяжелейших поражений. Все дело было в том, что враг в тот момент был сильнее. Почему он был сильнее, вопрос другой. Подтверждением мощи немецкой армии является то, что за 6 недель одна из сильнейших в Европе – армия Франции – была ими разбита, и немцы вошли в Париж. Про армию Польши, тоже не самую слабую, говорить не приходится. Она была разбита за полторы недели. Казалось, что и нам не устоять против силы объединённой Европы. Достаточно сказать, что накануне войны экономические потенциалы СССР и Германии совместно с союзниками соотносились как 1 к 4.

Потери Красной армии и в технике, и в живой силе в начале войны были огромными. Но моральный дух нации ни на фронте, ни в тылу сломан не был. Уже в начале сентября 1941 года немецкому командованию стало понятно, что блицкриг не получился. Потом была битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская дуга, взятие Берлина. Победа, полная и безоговорочная капитуляция Германии.

Для многих это было чудом, но кто в это чудо мог поверить в июне 41-го года? И в том, что это чудо случилось, большую роль, если не решающую, сыграл высокий моральный дух советского народа и вера народа в своего вождя. Но дух не возникает сам по себе. В основе духовности лежит идея, и у советского народа, во всяком случае, у подавляющей и наиболее активной его части, она была.

Не думаю, что для большинства нашего народа было важно, как назывался наш общественный строй: социалистический, коммунистический, советский. Важно другое. Этот строй дал подавляющему большинству населения социальные права и гарантии – гарантии работы, образования, медицинского обслуживания, отдыха, пенсий. Работали социальные лифты: выходцы из народа, дети рабочих и крестьян, становились инженерами, руководителями предприятий, учеными, генералами и даже маршалами. И в войне с этим народом, защищавшим этот строй, Германия и её союзники потерпели поражение.

А разве не было чудом то, что примерно за 5 лет страна восстановила разрушенную войной экономику, создала атомное и ракетное оружие, стала второй в мире супердержавой? Если не материализацией духа, то чем ещё это можно объяснить? Лучший пример тому, что “идея становится материальной силой, когда овладевает массами”, придумать трудно.

Именно наша страна была государством с общественным строем, который явно или неявно поддерживала, как минимум, половина населения нашей планеты, и число наших сторонников увеличивалось. Помню случайный разговор с парижским таксистом, марокканцем по национальности. Когда он узнал, что его пассажиры русские, а для него русские значит советские, он стал вспоминать, что советские люди у них в стране строили, их учили, лечили. Французы, отметил он, нас никогда за людей не считали, да и сейчас не считают, добавил он.

Для русских, правильнее сказать для большей части народов Советского Союза, Сталин, бесспорно, тоже был личностью демонической. “Был культ, но была и личность”, причём личность мирового масштаба. Оставим для желающих поговорить о том, что абсолютной власти Сталин добился методами, которые гуманными не назовёшь.

Как отметил наш великий современник, между прочим, антисталинист А. А. Зиновьев: “Чтобы ответить на вопрос о сущности сталинизма, надо установить, чьи интересы выражал Сталин, кто за ним шёл. Почему моя мать хранила портрет Сталина? Она была крестьянка. До коллективизации наша семья жила неплохо. Но какой ценой это доставалось? Тяжкий труд с рассвета до заката. А какие перспективы были у её детей (она родила одиннадцать детей!)? Стать крестьянами, в лучшем случае – мастерами. Началась коллективизация. Разорение деревни. Бегство людей в города. А результат? В нашей семье один человек стал профессором, другой – директором завода, третий – полковником, трое стали инженерами. И нечто подобное происходило в миллионах других семей. Я не хочу здесь употреблять оценочные выражения “плохо” и “хорошо”. Я хочу лишь сказать, что в эту эпоху в стране происходил беспрецедентный в истории человечества подъём многих миллионов людей из самых низов общества в мастера, инженеры, учителя, врачи, артисты, офицеры, учёные, писатели, директора и т. д., и т. п.

Сталин был адекватен породившему его историческому процессу. Не он породил этот процесс, но он наложил на него свою печать, дав ему своё имя и свою психологию. В этом была его сила и его величие. Не исключено, что молодёжь ещё будет когда-нибудь тосковать по сталинским временам. Народ (тот самый, якобы обманутый и изнасилованный) уже тоскует и встречает упоминание его имени аплодисментами”.

Парфразируя поэта, можно сказать, что Сталин и Советский Союз – близнецы-братья. Для всего мира понятия Сталин и Советский Союз были неразделимы. Сталин очаровывал и делал своими союзниками деятелей мировой культуры, политиков и государственных деятелей, учёных с мировым именем, простых людей и аристократов. Лион Фейхтвангер, Теодор Драйзер, Ромэн Роллан, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Луи Арагон и другие не менее известные писатели как коммунистических, так и просто левых взглядов посвящали Сталину свои произведения. К голосу этих людей прислушивались народы всего мира и становились нашими союзниками.

Высокую оценку Сталину как государственному деятелю даёт в своей удостоенной нобелевской премии книге антикоммунист Уинстон Черчилль. Американский посол США в Советском Союзе антикоммунист Джозеф Дэвис в своей книге “Миссия в Москву”, которая была напечатана в количестве более 2 миллионов экземпляров и стала в США бестселлером, пишет о Сталине как о человеке сильном, собранном и мудром. Премник Дэвиса на посту американского посла, тоже, кстати, антикоммунист, Аверелл Гарриман отмечал глубокие знания Сталина, его острый ум и способность схватывать детали, тонкое понимание человеческого характера.

Большим поклонником Сталина был и Генри Форд, который немало сделал для создания нашей автомобильной и тракторной промышленности. Фордзон-путиловец – красиво звучит!

Увлечённый социалистическими идеями гениальный авиаконструктор Рудольфо Бартини, гениальный настолько, что некоторые современники называли его пришельцем с другой планеты, итальянский граф по происхождению, приехал в нашу страну с целью оказать ей помощь в создании авиации. Авиационные специалисты не могли поверить, что цельнометаллический самолет “Сталь-5”, который спроектировал Бартини, сможет летать. Они решили, что это макет. Вклад Бартини в развитие нашей авиации, к сожалению, мало известен даже специалистам. Физик-ядерщик с мировым именем Бруно Понтекорво принимал участие в создании нашего атомного оружия. Сотни иностранных специалистов руководили строительством наших предприятий. И для многих из них главным были не деньги, а желание помочь народу первого в мире социалистического государства.

Английские аристократы из “кембриджской пятёрки”, члены обширной европейской шпионской организации, известной под названием “Красный оркестр”, шпионская сеть Шандора Радо, известная под именем “Дора”, и многие другие граждане иностранных государств, имён которых мы не узнаем никогда, были идейными сторонниками СССР. Деятельность этих людей на благо нашей страны, их вклад в нашу победу над Германией напрямую связан с симпатиями к социалистическому государству.

Можно иронизировать по поводу лозунгов того времени: “Сталин – лучший друг детей” или “Сталин – лучший друг физкультурников”. Но Сталин действительно считал необходимым встречаться с детьми, и можно не сомневаться,

что эти встречи остались в детской памяти на всю жизнь. Однажды на заграничном курорте мне пришлось наблюдать, как официанты на полном серьёзе обслуживали большой стол, за которым были собраны дети отдыхающих.

На мой вопрос, с какой целью устроен этот спектакль, ответ был простым: детская память очень цепкая, скоро эти дети будут нашими клиентами. Встречаясь с детьми, товарищ Сталин далеко смотрел. С его одобрения и при его непосредственном участии создавались спортивные общества “Спартак”, “Динамо” и другие, проводились физкультурные парады и спартакиады, внедрялись комплексы ГТО, что означает “готов к труду и обороне”, если кто забыл.

Комсомол шесфтовал над авиацией, существовали кружки “Ворошиловский стрелок”, секции парашютистов и много чего другого, что формировало патриотический дух нации и военные навыки у молодёжи. Патриотические песни, фильмы, обращение к славным страницам русской истории – всё делалось для сплочения нации. Что-то сделать удалось, что-то – нет. Бесспорно то, что Сталину удалось сформировать ядро нации, молодых, образованных, преданных социалистическому государству людей, которые, в конечном итоге, и выиграли войну.

Особая тема – это отношения Сталина с главами государств антигитлеровской коалиции. Тегеран, Ялта, Потсдам – это, во многом, личные победы Сталина, в каком-то смысле аналоги побед Красной армии под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. В результате этих побед послевоенные соглашения участников антигитлеровской коалиции определили мировой порядок таким образом, как если бы Советский Союз выиграл войну не только у Германии, но и одержал победу над своими главными союзниками, что позволило ему распространить своё влияние за пределы своих официальных завоеваний.

Однажды журналист, который брал интервью у Черчилля, обратил внимание на то, что его предшественник на посту премьер-министра отличался большой скромностью. Мистер Черчилль за словом в карман не лез, и в ответ заметил, что у его предшественника были для этого все основания. Это я к тому, что культ Сталина был, но для этого были все основания. Он дал народу идею, он вдохновлял народ на реализацию этой идеи, и советский народ, в основной своей массе, Сталина боготворил. Достаточно вспомнить похороны Сталина. Его смерть люди воспринимали как личное горе. Моё поколение это хорошо помнит. И со словами “за Родину, за Сталина” бойцы шли в бой, который для многих из них был последним.

Ещё один участник трагедии под названием Вторая мировая война – Япония. Примерно 33 миллиона граждан, в основном, китайцев, стали жертвами японцев. Как и немцы, японцы жизнями людей других наций распорядились, как хотели или как указывал им японский император. Император для японцев был богом по должности. Японская сверхидея – это, как и у немцев, идея превосходства японской нации. И хотя Япония потерпела в войне поражение, японский император богом для японцев быть не перестал. Отметим, что расовые идеи как у немцев, так и у японцев проверку войной не прошли.

Из приведённых исторических примеров можно было бы сделать вывод, что для того, чтобы народ воевал, нужен вождь с задатками демонической личности и идея, понятная и близкая народу, которую вождь предлагает. Можно было бы сделать такой вывод, если бы не Наполеон, который никаких идей не признавал в принципе. Но, тем не менее, умереть за своего императора солдаты его гвардии считали за честь. А солдаты, которые гвардейцами не были, мечтали ими стать.

Чем брал “маленький капрал”, большой вопрос. Может быть, близостью к своим солдатам, многих из них, как пишут, он знал по имени, наличием реальных социальных лифтов в наполеоновской армии, в которой в ранце каждого солдата лежал маршальский жезл? Может быть, согласно теории пассионарности Л. Н. Гумилева, число пассионарных французов в это время зашкаливало, что и заставляло их воевать?

Может быть, именно этим объясняется и французская революция, и многочисленные французские философы того периода, и достижения в науке и искусстве. В те годы Франция реально была ведущей мировой державой. Возможно, что корни французского снобизма произрастают из того давнего времени. По числу памятников военным, между прочим, Франция находится на первом месте в мире или на одном из первых, а Россия, к сожалению, на одном из последних.

Отметим, что войн, подобных наполеоновским, французы больше не устраивали и особыми военными успехами не отличались, в последующих войнах им удавалось отделяться малой кровью. К примеру, французы считают себя победителям в Первой мировой войне и очень торжественно отмечают эту дату. Неплохо было бы при этом, чтобы они почаще вспоминали слова маршала Фердинанда Фоша, главнокомандующего союзными войсками: “Если бы не Россия, Франция была бы стёрта с карты Европы”. Да и англичане с американцами тоже тогда кое-что сделали для победы французов. Можно вспомнить и то, что во время высадки в Нормандии в июне 1944 года в десанте союзников численностью 157 тысяч человек французов было всего 177 человек.

Эти маленькие подробности не в упрёк французам. Франция – великая страна, и то, что союзники помогли французам её сохранить в двух мировых войнах, это подтверждает. Но фактом является и то, что символом величия Франции и французом номер один в истории Франции является корсиканец Наполеон Бонапарт, несмотря на то, что наполеоновские войны, инициатором которых он был, генофонд нации в плане воинственности сильно подпортили.

С итальянцами случай аналогичный. Те ещё вояки, что не раз отмечал их вождь Муссолини. А ведь было время, когда гладиаторы выходили на арену Колизея со словами: “Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!” Красиво звучит, не так ли? Итальянцев всегда отличала театральность. Вот и шли на смерть римские легионы. Что ими двигало в те времена, остаётся только догадываться. В наше время итальянцев, желающих идти на смерть, не находится, возможно, что все перевелись во времена Цезаря.

Пацифистами стали и немцы, большие любители повоевать в недалёком прошлом. После Второй мировой войны желания воевать у них не наблюдается. Урок, что называется, пошёл впрок. На память пришел анекдот из советских времен. Четыре парадокса нашего (того) времени: евреи стали воевать, грузины стали торговать, русские борются с пьянством, а немцы борются за мир. Воинственность мусульманских экстремистов, очень даже возможно, объясняется тем, что их давно по-настоящему не били. Бывшим участникам коалиции пора об этом подумать. Но, будем реалистами: воевать придётся, в основном, российским солдатам. Но для нас это дело привычное.

“Русские прусских всегда бивали”, как говорил генералиссимус А. В. Суворов. Приходилось бивать и немцев, и французов, и представителей других европейских и неевропейских наций. Не в этом ли корни патологической боязни европейцев России и русских? Этой боязни не было бы, если бы европейцы лучше знали историю России.

Европа никогда не знала нашествия иностранных армий. Если русские солдаты и появлялись в Европе, то они приходили туда как освободители. России же и русским пришлось отражать нашествия и Наполеона с союзниками, и Гитлера с союзниками, и Чингисхана, и “разных прочих шведов”. Русский же солдат для Европы всегда был защитником, а не агрессором.

Попытаемся обобщить приведённые факты. В естественных науках существует так называемое правило индукции. Этого правило состоит в том, что на основании совокупности отдельных фактов делается вывод общего характера. Исторический опыт Германии, Советского Союза, Японии говорит о том, что начинают войну и посылают на смерть людей вожди. И народ, вдохновлённый идеями своих вождей, идёт умирать за эти идеи.

Такой вывод можно было бы сделать, если бы не Наполеон, который отрицал всякую идеологию в принципе. Поэтому от ответа на вопрос, почему люди воюют, воздержимся. Вопрос оставим открытым. Понятно только то, что наличие вождя является условием необходимым. А что касается идеи, то она может быть, а может и не быть. Возможно, что это зависит от национального характера.

Но обсуждение темы национальной идеи продолжить необходимо. Особенно это важно сейчас, поскольку в наше время борьба между странами проходит в виде информационных войн, а информационные войны – это борьба идей. И имперская Россия, и её наследник Советский Союз были государствами идеократическими. Поэтому победить их военной силой не удавалось никому. Сначала надо было убить идею. Идеологией имперской России была триада “православие, самодержавие, народность”. В силу разных исторических причин, одна из них та, что на Николае Втором природа отдохнула, не самый успешный был царь, слабым местом в триаде стало самодержавие, и ему была объявлена самая настоящая информационная война.

Началась кампания по дискредитации царя, царицы, дома Романовых. Инструменты информационной войны были известные – ложь, клевета, искажение фактов. История с Распутиным тому пример. Противники Николая Второго в России хотели, естественно, как лучше, знакомая история. Иностранные “партнёры”, как их принято сейчас называть, преследовали при этом свои цели, направленные на разрушение России. В результате царь отрёкся от престола, и имперская Россия как государство прекратило своё существование. Временное правительство предложить народу свою идею оказалось не в состоянии. Это сумели сделать большевики во главе с Лениным.

Что касается Советского Союза, то даже после такой разрушительной войны он стал ещё сильнее. Идея не была убита. Военный и политический триумф Советского Союза и Сталина заставил вчерашних союзников, избегая военных действий по причине бесспорного на тот момент военного превосходства Советского Союза, несмотря на наличие у США атомного оружия, искать способ разрушения нашей страны невоенными методами. Другими словами, начать, правильнее сказать, активизировать идеологическую информационную войну против СССР, получившую в те годы название “холодной войны”.

Наши противники понимали, что победой в войне мы были обязаны нашему народу, разделявшему идею справедливого социального государства, и вдохновителю этой идеи Сталину. Чтобы превратить победу в поражение, надо было лишить нацию идеи и вождя. И сделать это не военными методами, а с помощью войны информационной. На Востоке говорят: “Собака лает, а караван идёт”. Возможно, что это и так, если собака одна, но если их много, они могут поднять такой лай, что караван сначала остановится, а потом пойдёт в другую сторону. Наш караван им, прямо скажем, затормозить удалось.

Понятие “информационная война” появилось сравнительно недавно. Информационные войны существовали всегда. И одними из первых в политическую практику их ввели большевики. Вспомним указание Ленина: “Взять под контроль почту, телеграф, телефон”, – другими словами, средства передачи информации. Не могу не вспомнить товарища Сталина, большого мастера информационной войны, который уже тогда в борьбе за власть организовал информационную блокаду вокруг тяжелобольного Ленина. Особое значение информационные войны приобретают в наше время, поскольку скорость полёта информационных снарядов сравнима со скоростью снарядов артиллерийских.

Коммунистическая идеология с привлекательной идеей всеобщего равенства, организации Коминтерна в более чем 30 странах, всевозможные движения неприсоединения и фонды мира, растущее влияние братских коммунистических и рабочих партий, победа во Второй мировой войне позиции СССР и Сталина в мире укрепили очень сильно. С этим надо было считаться и информационную войну против СССР, которая получила название холодной войны, надо было готовить грамотно.

Началом была речь Черчилля в Фултоне 75 лет тому назад, когда он декоративно назвал Советский Союз причиной международных трудностей. Черчилль говорил об опасности коммунизма, отсутствии свобод в нашей стране и у наших союзников, железном занавесе. Через много лет президент США Рональд Рейган открыто назовёт СССР империей зла, и мировое сообщество при этом не возмутится, но в 1946 году американский президент Гарри Трумэн, несмотря на весь свой антисоветизм, позволить себе сказать такое не мог. Американское общество его не поняло бы. Сначала он должен был зачистить собственную территорию от коммунистов и подготовить соответствующим образом общественное мнение американцев.

В 1947 году Трумэн принял программу по обеспечению безопасности и лояльности. В 1950 году американский сенатор Джозеф Маккарти инициировал антикоммунистическую кампанию, которая получила название “охота на ведьм”. Маккарти заявил, что имеет список из 205 сотрудников Госдепартамента, которые поддерживают компартию США. За передачу СССР атомных секретов был арестован физик Клаус Фукс, который рассказал о существовании целой шпионской сети, в результате чего были арестованы, а впоследствии казнены Юлиус и Этель Розенберги. Учёные, писатели, актёры, режиссёры, художники, учителя и вообще люди из всех слоев американского общества подвергались преследованию за свои политические убеждения. Несколько сотен

человек угодили в тюрьму, около 12 тысяч человек потеряли работу. В результате свою территорию американцы зачистили.

Советская пропаганда представляла эту кампанию как мракобесие, но американцы — это не те люди, которые потратят копейку без нужды. Проблема была, и очень серьёзная. Коммунистическая партия США становилась реальной силой. Заметим, что и в Европе в послевоенные годы влияние коммунистических партий, особенно Франции и Италии, также становилось проблемой для власти. Идеи коммунизма овладевали массами. Понятно, что не без помощи Советского Союза и Сталина.

Следующим шагом в информационной войне Запада против СССР стала кампания по компрометации Сталина. Понятно, что реальной целью был не Сталин, а советский коммунистический режим, но открыто объявить об этом в тот момент, когда мир был свидетелем заслуг СССР в победе над фашизмом, было невозможно тактически. Народы бы этого не поняли. А вот объявить Сталина диктатором, организатором репрессий, обвинить в подавлении демократии и нарушении прав и свобод граждан был вариант беспроблемный.

Активным обличителем Сталина был, между прочим, американский президент Герберт Гувер, который, будем справедливы, много сделал для СССР, возглавляя комиссию по борьбе с голодом. Уже после своей отставки он осуждал сталинский режим за «самую кровавую тиранию и ужасы, когда-либо созданные в человеческой истории». Миллионы рабов и коренного населения Америки, уничтоженных белыми американскими «демократами», не в счёт. В своём глазу и бревна не видно.

Борец с культом личности Н. С. Хрущёв ничего не придумал сам. Он реально попался на провокацию, задуманную и организованную нашими противниками, и продолжил борьбу со Сталиным, правильнее сказать, с духом Сталина, поскольку его уже не было в живых, назвав это борьбой с культом личности. Тем самым он оказал Западу неоценимую помощь. Фактически Хрущёв боролся не со Сталиным, а со сталинским режимом, другими словами, с Советским Союзом.

Эта информационная война велась последовательно, методично и не оставляла нам никаких шансов на победу. Были отдельные попытки сопротивления. Мы пытались создать «железный занавес», построили Берлинскую стену, глушили «вражеские голоса», подавляли восстания в Германии, Польше, Венгрии, Чехословакии, оказывали экономическую помощь странам третьего мира. Но вести активную коммунистическую пропаганду, завоевывать новых сильных союзников, как это делал в своё время Сталин, нападать, а не защищаться, не получилось.

Не получилось, несмотря на многочисленный идеологический партийный аппарат. Советская идеологическая машина оказалась неспособной представлять положительные достижения своего общественного строя и критиковать дефекты западного. Не сработал этот аппарат и в части кампании противодействия деидеологизации советских граждан. Шестидесятники, диссиденты, самиздат, тамиздат, деградация правящей элиты — всё это продукты проводимой Западом информационной войны. Советский Союз своих союзников терял, а Запад их приобретал. Советский Союз реально находился в информационной блокаде.

Приведу один пример из не слишком давнего прошлого. Главным образом, с целью прорыва информационной блокады было принято решение провести в Москве в 1980 году Олимпийские игры. Согласно правилам Международного олимпийского комитета, государственные телеканалы стран-участниц Олимпиады обязаны определённое время транслировать передачи, подготовленные страной-организатором игр. Понятно, что в этих передачах мы хотели показать всему миру достижения нашей страны, раскрыть людям глаза на наш образ жизни, на наши достижения в разных областях.

Под предлогом ввода наших войск в Афганистан, а предлог можно найти всегда, было бы желание, США принимают решение бойкотировать Олимпиаду в Москве, их союзники это решение поддерживают. Олимпиаду мы успешно провели, но главная цель достигнута не была. В результате счёт 1:0 в пользу США. Через 4 года мы бойкотируем Олимпиаду в Лос-Анджелесе и, тем самым, лишаем себя возможности продемонстрировать всему миру достижения советских спортсменов. Счёт становится 2:0 в пользу США.

Отметим, что правильных выводов из поражения в информационной войне мы не делаем. Информационные потоки, которая Россия направляет против Запада, ни в какое сравнение не идут с тем информационным ураганом, который Запад обрушивает на Россию. При этом Запад работает на опережение и, словно в насмешку, обвиняет Россию в идеологической подрывной деятельности. Стоит нам выпустить информационную пулю, как в нашу сторону летит информационный снаряд. И ничего противопоставить этому мы не можем. Отдельные СМИ, которые трудно отнести к патриотическим, у нас процветают, а для патриотических “денег нет...”. Да и не в деньгах дело, по правде говоря. У нас нет идеи, которая позволила бы идеологически победить наших врагов-“партнёров”.

Победа в “холодной войне” пришла к США в 1991 году – через 45 лет после окончания войны, в которой мы с американцами были союзниками. Результаты этой победы следующие. Советский Союз как государство прекратил своё существование. Победители назначили нам свою администрацию, написали конституцию, дали уважаемого человека в качестве смотрящего, его имя Генри Киссинджер, если кто-то ещё этого не понял, что-то давно он у нас не появлялся, определили нашу внутреннюю и внешнюю политику. Мы заплатили и продолжаем платить победителям контрибуцию, храним наши финансовые резервы в банках США. До оккупации, слава Богу, дело не дошло, но и того, что произошло, достаточно. Обошлась эта победа США в немалые деньги, но они своё вернули с избытком и продолжают возвращать.

Как оказалось, по сравнению с боевыми действиями информационная война более эффективна по своим результатам, поскольку воздействует на сознание человека, подрывает моральный дух нации и разрушает её как единое целое. Потери духовные имеют характер более разрушительный, чем потери материальные. Германия потерпела в первой мировой войне жесточайшее поражение, но через 20 лет она восстановила свою экономику, создала армию и начала новую войну, превратившуюся в мировую. Будучи побеждённой, но не сломленной морально, Германия довольно быстро восстановила свою экономику и после Второй мировой войны.

Советский Союз понёс в войне колоссальные потери, но примерно за 5 лет восстановил до довоенного уровня экономику и в скором времени стал супердержавой. А поражение Советского Союза в информационной войне превратило эту супердержаву в страну третьего мира, и уже 25 лет мы благополучно пребываем в состоянии, близком к тому, несмотря на то, что запрос на изменение места России в мировом табеле о рангах у нашего народа имеется. Поддержка политики президента по Крыму и Сирии тому пример.

Была ли победа наших противников в информационной войне единственной причиной развала СССР? Были экономические трудности, падение темпов роста, технологическое отставание, межнациональные проблемы, бунт национальных элит – всё это было. Но корни всего этого, по большому счёту, также связаны с деидеологизацией и советского народа, и правящей элиты, с разрушением нашего сознания под воздействием информационных атак Запада.

Поражение Советского Союза в “холодной войне” ударило не только по России и по русским, но и по другим, когда-то братским народам бывшего СССР. Масштабы и результаты, правда, были для них не столь трагичными. Что касается русских как государствообразующей нации, самое страшное – это то, что нас лишили идеи, веры в справедливое социальное государство. Мы это государство строили, мы, было время, им гордились, оно было предметом зависти граждан многих стран. Мы стали нацией без идеи, а следовательно, и без будущего.

Лучшее средство от перхоти, как известно, это гильотина. Удалять идею из головы, так уж вместе с головой. Нас, похоже, лишили голов, а уж мозгов – точно. Чем-то другим объяснить многие вещи, которые происходили и происходят в республиках бывшего Союза и между республиками, бывших когда-то братскими, объяснить нельзя.

Советская империя, употребив этот термин с оговоркой, распалась, как распались многие другие империи. Не была исключением Британская империя, потеряла свои многочисленные колонии Франция. И Британии, и Франции было, что терять, поэтому расставание метрополий с колониями оказалось непростым. Терять такие источники богатств кому захочется! Запасы, которые они накопили за многие годы колониального господства, ещё долго работали на экономику метрополий.

Франция пыталась решить свои проблемы силовым путём, развязав войны в Индокитае и Алжире. В этих войнах великая держава Франция потерпела поражение, а бывшие колонии получили независимость. Колонии боролись за идею, а метрополии — за блага материальные.

Но нельзя не отметить и другое. По инициативе, подчеркиваю это, бывших колоний для сохранения солидарности и прочных связей с бывшей метрополией была создана международная межправительственная организация “Франкофония (La Francophonie)”. В настоящее время эта организация объединяет около 60 различных государств и более двух десятков наблюдателей. Девизом организации является “Равенство, дополняемость, солидарность” (Egalite, complementarite, solidarite).

Британия, если не считать двух мировых войн, которые она инициировала с целью сохранения своей колониальной системы, развод со своими колониями провела идеально. Империя трансформировалась в Британское содружество наций. Политическое влияние Британия при этом в какой-то мере сохранила, но о том, чтобы грабить свои бывшие колонии так, как это ранее она делала на протяжении нескольких столетий, пришлось забыть.

И, как ни странно, репараций от Британии бывшие колонии не требуют. Уговаривать становиться членами Содружества тоже никого не приходится, всё делается на добровольной основе. Между прочим, вторые в мире по рейтингу игры (на первом месте, естественно, Олимпиада) — это игры стран Британского содружества. Остаётся завидовать англичанам и только вспоминать о нашей Спартакиаде народов СССР.

Распад Советского Союза на первый взгляд прошёл без особых проблем. Проблемы появятся позднее. Главы России, Украины и Белоруссии объявили о ликвидации Советского Союза и создании Содружества независимых государств. Бывшие союзные республики, за исключением прибалтийских, в той или иной форме вошли в состав этого Содружества. Но уже в названии “Содружество независимых государств” (СНГ), не очень удачной кальки с названия Британского содружества, содержится принципиальная ошибка.

Ключевым словом в этом названии является “независимые”. Как такое может быть в принципе? В сегодняшнем мире все государства в той или иной степени зависят друг от друга. Как могут быть независимыми государства, возникшие после развала СССР на территориях, которые веками были частью императорской России или Советского Союза? Как корабль назовёшь, так он поплывёт. Делали корабль в спешке, хотели создать “Русофонию”, а получили “Русофобию”.

Как не вспомнить: “Хотели как лучше...”. Правящей элите “независимых государств” не хватило ни политической мудрости, ни здравого смысла, чтобы понять то, что худой мир лучше доброй ссоры, а “ласковый телёнок двух маток сосёт”. А ведь бывшие советские республики, так называемые “колонии”, Россию-“метрополию” сосали, и ещё как сосали. Они хотели бы сосать и дальше, и чтобы Россия при этом говорила им спасибо.

С момента распада СССР прошло 25 лет. Если использовать спортивную терминологию, то можно сказать, что от нокаута 1991 года Россия оправилась. Оправилась, чтобы получить порцию новых ударов. Информационная война продолжается. Советский Союз сопротивлялся 45 лет и, в конце концов, был побеждён. Россия с переменным успехом сопротивляется уже 25 лет. Есть ли у неё шансы победить или нас ожидает судьба Советского Союза? Не приходится сомневаться в том, что в своей борьбе Запад во главе с США останавливаться не собирается, иллюзий питать не приходится. Вопрос только в том, хватит ли у нас сил их остановить?

Отдаю себе отчёт в том, что ни специальных знаний, ни информации, за исключением общедоступной, у меня нет. Исхожу исключительно из соображений здравого смысла и некоторых логических построений. Экономическая и военная мощь США и России в настоящее время не сопоставимы. Но принципиального значения это не имеет.

Если за 25 лет воспользоваться этим преимуществом они не рискнули, вряд ли они рискнут и в дальнейшем. Воевать с русскими пытались многие, но победить их не удавалось никому. Да и зачем воевать? У Запада есть проверенное оружие в виде идеологической информационной войны, имеется и проверенный сценарий, который однажды уже позволил им добиться победы. И всего-то было нужно лишить нацию идеи и вождя, заставить забыть и отказаться от своего прошлого, перечеркнуть свою историю.

Тем более, что в нашей современной ситуации всё обстоит гораздо проще. Поскольку национальной идеи у нас нет или, скажем так, пока нет, информационный удар направлен исключительно против президента России. Всему миру и нам в том числе внушают, что Путин не просто демон, он исчадие ада, и в мире всё зло от Путина. Достаётся и русскому народу, только потому, что он русский. Ругать русских, обвинять их во всех мировых проблемах стало хорошим тоном. Если так пойдёт дальше, то скоро нас объявят неполноценной нацией, не имеющей права на существование.

Правда, российское правительство наши “партнёры” не ругают. У нас был лучший в мире министр финансов, сейчас у нас лучший в мире глава Центрального банка. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, как тут не вспомнить. Но если президенту приходится лично заниматься проблемами электричек и газификации домов, то о каком правительстве мы говорим? В начале 90-х довелось мне беседовать с одним из руководителей польской авиакомпании “LOT”. На мой вопрос, поменялось ли что-то в вашей стране по сравнению с недавним прошлым, ответ был следующим: “Да, господин Смолко, поменялось, у нас начали ценить мозги”.

Как ценили мозги в России, писал Ф. И. Тютчев: “Почему имеет место такая нелепость? Почему эти жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже даже нашего собственного, кстати, очень невысокого уровня, эти выродки находятся и удерживаются во главе страны, а обстоятельства таковы, что нет у нас достаточно сил, чтобы их прогнать?” Не в этом ли причина революционных потрясений 1917 года, да и 1991-го тоже? Да и в наше время отличников во власти, по правде говоря, немного.

На фоне бесцветного правительства наш национальный лидер смотрится настолько авторитетно и уверенно, что несколько ярких людей в его окружении только подчеркнули бы его силу. Тенденция усиления команды, замены людей из ближнего круга на людей профессиональных в действиях нашего президента просматривается, что внушает оптимизм. Но как-то уж слишком осторожно он это делает.

Не могу не обратить внимания на то, как формирует своё правительство вновь избранный президент США. Господин Трамп – успешный бизнесмен, человек дела. И не приходится удивляться тому, что свой кабинет он формирует из людей, себе подобных. Насколько успешным будет такой кабинет технократов, покажет время. Но думаю, Трамп знает, что делает. Есть над чем подумать и нашему президенту, хотелось бы видеть в правительстве профессионалов, показавших себя в реальных делах.

Особенно это важно сейчас. Мировое сообщество стоит на пороге глобальных перемен. “Энергетическая сверхдержава” – это уже вчерашний день. Наступает эпоха знаний. Страна будет сильна не природными ресурсами, не территорией, не количеством населения, а знаниями и профессиональным мастерством работников разного уровня, и управленческого аппарата, прежде всего. “Кадры решают всё” – так было и будет всегда. Лучше других это понимают американцы. Импорт умов у них – государственная политика. Было время, когда еврейская эмиграция из царской России внесла свой немалый вклад в развитие США, сейчас это делают эмигранты из современной России. А к нам личности уровня Бартини или Понтекорво почему-то теперь не едут.

Да и не в правительстве, по правде говоря, дело. “Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает”. Было время, когда и мы имели другое правительство. Легендарные сталинские наркомы и руководители предприятий, великие конструкторы и учёные – всё это у нас было. Но тогда и мы были другими. Мы над этим не задумывались, но у нас была идея, мы ценили своё государство и в большинстве своём по мере сил работали на его благо. Сейчас у нас идеи нет, отсюда и проблемы.

О том, что идея становится материальной силой, я слышал, будучи студентом. Но понял это много позднее. Толчком, как ни странно, была поездка в Китай. Там я понял, что китаец номер один в современном Китае – это Мао Цзэдун, а номер два – Дэн Сяопин. Хотя первый дал китайцам всего лишь идею, которую на хлеб не намажешь, а второй китайцев впервые за много лет реально накормил. Советская власть тоже не всегда могла накормить свой народ досыта. Но народ поддерживал и защищал эту власть за то, что она дала народу идею, открыла дорогу к образованию и культуре, дала ему надежду на светлое будущее. Вот и думай теперь, что для народа важнее?

Идею формулирует и предлагает нации её лидер. Это его право и обязанность. В нашем случае это президент В. В. Путин. В качестве национальной идеи нам всем предлагается стать патриотами своей страны. Быть патриотами — это правильно, возражать не приходится. Возьмём, к примеру, американцев. Слова американского солдата стали поговоркой: “Wrong or right it is my country”. Буквально это переводится так: “Не правильно или правильно, но это моя страна”. Если по смыслу — “Моя страна всегда права”. Чем не идея? Правда, последние выборы в США показали, что у американских избирателей по этому поводу появились сомнения.

Наша страна всегда не права, у нас принято не хвалить, а ругать себя. И патриотизм мы проявляем весьма своеобразно. Как шутил М. М. Жванецкий по этому поводу, в драке не помогут, а в войне победят. Да и патриотизм — это не идея. Патриотизм — это чувство любви к Родине, не к обществу — своему строю, не к государству. И понятие Родины для каждого человека — своё. Вера и христианские ценности при всей их важности для человеческого общества тоже не могут быть идеями. Вера — это что-то такое мистическое: либо ты во что-то веришь, либо нет. Идея — это другое. Это то, что человек принимает, прежде всего, умом, а потом и сердцем. Настоящая идея не должна быть идеей одной нации, она должна быть глобальной, общественно значимой. В Советском Союзе такая идея была. Это была идея государства со справедливым общественным строем.

“Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы”. Золотые слова нашего президента. В них есть и сердце, и голова. И, думается мне, в голове у Путина есть идея, которая народу нужна. И это идея справедливого социального государства. В своём послании Федеральному собранию президент эту идею озвучил. Услышали ли это либеральные члены правительства Путина, вот в чём вопрос. Но, как говорится, “В начале было слово”.

“Как это слово отзовётся” в стране, находящейся в состоянии информационной войны? Мазать чёрной краской нашу советскую историю — это политкорректно. А сказать, что 74 года советской власти были уникальным экспериментом, во многом изменившим, причём в лучшую сторону, судьбы мира — это неполиткорректно. И неправильно говорить, что этот эксперимент не удался, его искусственно прервали. Продолжение эксперимента обязательно последует.

Славословить Солженицына политкорректно. А сказать, что число жертв политических репрессий только на Колыме им завышено более, чем в 15 раз, это неполиткорректно. Между тем, имеются объективные данные, их приводит дальневосточник адмирал Штыров, согласно которым за 17 лет существования колымских лагерей наличные транспортные средства в виде двух теплоходов теоретически могли доставить туда не более 510 тысяч человек. Всего — и заключённых, и обслуживающего персонала. Единожды солгавший, кто тебе поверит? Ругать Сталина за всё и про всё — политкорректно, а сказать, что под руководством Сталина Советский Союз спас от уничтожения свой народ, а заодно и народы Запада, да и Востока — тоже неполиткорректно.

Приближается столетие Великой Октябрьской революции. Кампания против этого эпохального события, реально изменившего мир, уже началась. Как наше общество подойдёт к этой дате, с какими мыслями и чувствами? История даёт нам информационный повод дать всему миру отчёт о работе, проделанной нашими народами за сто лет. Отдадим мы должное поколению, которое сохранило Россию в форме Советского Союза, провело индустриализацию страны, спасло мир от мирового зла немецкого фашизма, первым послало человека в космос, показало всему человечеству путь к справедливому государству или будем каяться и просить прощения?

Непонятно, правда, кто должен каяться и перед кем, у кого и за что просить прощения. “Мы рубим лес, и сталинские щепки, // как раньше, во все стороны летят”. Была такая популярная в определённых кругах песня. Щепки, действительно, летели во все стороны.

Понятно почему, революции в белых перчатках не делаются нигде. Был красный террор, но был и белый террор. Жертвы красного террора были людьми образованными, могли свои претензии изложить, и о красном терроре мы много знаем. А жертвы белого террора и писать-то толком не умели,

да и в генетической памяти у них ещё были воспоминания о том, как их предков пороли на конюшне, к террору они были привычны. Поэтому о белом терроре мы знаем значительно меньше, чем о красном.

Число жертв китайской культурной революции, к примеру, во много раз превосходит число жертв сталинских репрессий. Но Компартия Китая решила, что из всего сделанного Мао 70% было сделано правильно и 30% неправильно. Китайский народ с этим согласился, идеи Мао воспринял и делает свою страну первой экономикой мира.

Казалось бы, пора уже и нам перестать заниматься историческим мазохизмом и заняться делом. Но ситуация реально складывается так, что от ответа на вопрос, как народ оценивает наше советское прошлое, нам не уйти. Что думают об этом “прогрессивные” историки и писатели, тоже, между прочим, часть народа, известно. Их голос слышен хорошо, дорога на все федеральные каналы, на страницы массовых газет им открыта. Но их “непрогрессивные” оппоненты с ними не согласны.

Понятно, что к согласию “прогрессивные” и “непрогрессивные” учёные не придут никогда. Для наших интеллигентов не слышать друг друга — это норма. То, что говорят учёные, определённый интерес представляет, но не более того. Главное то, что думает народ. А чтобы выяснить это, необходимо провести всенародный референдум с одним, а может быть, с двумя вопросами: **Октябрьская революция — это благо или зло? Сталин — персона в нашей истории положительная или отрицательная?** Вот и послушаем, что народ скажет. Не думаю, что при этом он будет руководствоваться принципом политкорректности.

Но для того чтобы такой референдум провести, власть должна принять неполиткорректное решение. Результаты такого референдума можно предугадать без особого труда, речь может идти только о процентах. Почему можно предугадать, понятно из труда А. И. Казинцева “Возвращение масс”. “Брексит” в Англии, результаты выборов президентов в США, Болгарии, Молдавии являются продолжением того, о чём пишет Александр Иванович. Народ не хочет, чтобы его обманывала власть, он требует справедливого к себе отношения, хочет жить в социально ориентированном, не на словах, а на деле, государстве. Народ хочет, чтобы государство защищало его интересы. Российский народ исключением не является.

“Худшее из зол — это оставить всякую несправедливость без наказания”. Это сказал Платон, тот самый, который из Древней Греции. Современные философы на такие глубокие мысли вряд ли способны. Революция 1917 года в России была таким наказанием за несправедливость правящего класса по отношению к своему народу. Многим она стоила жизни, кто-то потерял всего лишь состояние и общественное положение. Парижане ещё помнят времена, когда российские аристократы работали таксистами. Сейчас их место заняли арабы.

Выдающийся экономист Йозеф Шумпетер в 1949 году пророчески высказал мысль, что “капиталистический порядок имеет врождённую тенденцию к саморазрушению, а централистский социализм является его вероятным наследником”. Время пришло, и свидетелями такого системного кризиса капитализма мы являемся сейчас. Кризис уже начался, и мы, к сожалению, становимся его жертвами.

А вот пример централистского социализма мы имели возможность наблюдать в Советском Союзе. Наш общественный строй опередил своё время лет на 100. Мировое сообщество, и наш народ в том числе, не увидели и не поняли достоинств и перспектив этого строя, не выступили на его защиту и позволили врагам его разрушить.

“Советский социальный строй, политическая система, система воспитания, образования и просвещения, система жизненных ценностей, тип культуры и т. д. и т. п. были вершиной русской истории вообще. Это, повторяю и подчеркиваю, был оптимальный вариант “обустройства” России, вершина её исторического бытия”. Это цитата из книги нашего гениального современника А. А. Зиновьева “Русский эксперимент”.

Как известно, новое — это хорошо забытое старое. Нашему президенту ничего не надо придумывать, надо просто отказаться от “политической невинности”, называемой политкорректностью, назвать белое — белым, а чёрное — чёрным, и предложить народу строить государство со справедливым общест-

венным строем. Это и будет идея, которую народ хочет услышать. Без идеи не будет ничего, 25 лет истории современной России это подтвердили. Какое бы ни было правительство, какие бы решения оно ни принимало, выполнять эти решения должен народ. А для этого он должен быть идейно вооружён.

Как предсказывал Шумпетер, приходит время социализма. Скандинавская модель общественного устройства с акцентом на всеобщую занятость, гендерное равенство, обширные социальные пособия, большую степень перераспределения богатств является тому подтверждением. Построение такого общества и могло бы стать нашей идеей, тем более, что есть ещё в нашей стране люди, которые когда-то такое общество строили.

Сто лет нашей истории можно разделить на три периода. 70 лет мы строили социализм, 5 лет мы ломали то, что построили, 25 лет мы строим капитализм. За первые 70 лет сначала в стране ликвидировали неграмотность, провели индустриализацию промышленности, что позволило нам победить фашизм и спасти свой народ и народы других стран, стать второй в мире супердержавой, на многие годы обеспечить военный паритет и избавить народы от мировых войн, создать экономическую систему, которая производила треть всей мировой продукции. Надо сказать, что 5 лет так называемой перестройки тоже были успешными, но с точки зрения деструктивной. Развалить такую махину, как Советский Союз, — это надо было постараться. Постарались, за граница помогла.

И вот уже 25 лет мы проживаем советское наследство, а утешение находим в том, что называем себя энергетической супердержавой. Значит, мы торгуем тем, что дано нам природой. Обидно это признавать, но если вещи называть своими именами, мы, в основном, торгуем своим “телом”, на большее у нас ума не хватает. В советское время Россия была главным спонсором союзных республик, стран, входящих в Совет экономической взаимопомощи, помогала странам молодой демократии, обеспечивала военный паритет с потенциальными противниками. Хватало денег и на бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, да и на многое другое. Сейчас “денег нет, но вы держитесь”. Наши премьеры оставляют в истории след не делами, а своими перлами.

Всякое наследство, если его не пополнять, когда-то заканчивается. Необходимым условием возрождения нашей страны, помимо новой экономической политики, о чём говорят экономисты-государственники, необходима политика национального возрождения. И первым условием национального возрождения является уважение к своему прошлому, своей истории, признание героев, создавших нашу Родину.

Два вопроса требуют ответа: по силам ли нам возрождение нашей страны и хотим ли мы этого? На первый вопрос положительно ответило правительство Примакова-Маслюкова после дефолта 1998 года. Правда, с тех пор в стране ситуация изменилась. Запас прочности, который мы имели 18 лет назад, стал существенно меньше, но он пока есть.

Второй вопрос является скорее риторическим. Россия и русские будут всегда, пока существует наша планета. Формы существования, правда, могут быть различными. Слишком крупное это явление, Россия. Людям уничтожить её не под силу, это может только Бог. А он пока на нашей стороне. Почему — это науке неизвестно. Но, как говорится, человек предполагает, а Господь Бог располагает. Рискнул сделать следующее предположение и я.

Ф. М. Достоевский сказал, что “не будет у России, и никогда ещё не было таких ненавистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными”. Похоже, русский гений был прав. Наш русский крест, наше послушание — это славянское братство, и нести этот крест — наша судьба. Бог, похоже, это видит и ценит.

А жизнь нам будет только добавлять проблем. Интересные события можно наблюдать сейчас в Белоруссии. Руководителям Евросоюза хватило ума понять, что прессовать президента Лукашенко неконструктивно, и они свою тактику изменили. Европа, похоже, согласна его признать, и как поведёт себя наш последний союзник — большой вопрос. Но, как было сказано, славянское братство — это наша судьба. Не могу не вспомнить слова другого русского гения: “Умом Россию не понять, // Аршином общим не измерить: // У ней особенная стать — // В Россию можно только верить”. Будем верить в Россию и мы.

ЛИДИЯ СЫЧЁВА

ТРИ ДНЯ ОДНОГО ГОДА

1. Наследники

По Патриаршему мосту, соединяющему институт “Стрелка” Александра Мамута и храм Христа Спасителя, шли трое весёлых молодых людей и громко разговаривали матом.

– Зря вы это, ребята, – не выдержала я. – Не ругайтесь, поберегите себя.

– Вам-то что?! – вскинулся самый маленький, похожий на взъерошенного воробья. – Мы вас не трогаем!

– Это всего лишь слова, – снисходительно пояснил рыженький, с сергой в ухе.

Третий, мускулистый крепыш, помалкивал (возможно, подбирал какой-то цензурный аргумент, а это непросто).

– Слова? И они ничего не значат? Вас как зовут? – спросила я рыженького.

– Кирилл.

– Прекрасное имя! А вот представьте, я к вам обращаюсь не Кирилл, а...

– ..! – радостно заорал крепыш и повторил несколько раз нехорошее слово, коим вошёл в историю один из киевских дипломатических работников.

– Да ты чё? С катушек съехал? – опешил Кирилл. – Я тебе сейчас по чайнику настучу!

Крепыш нервно смеялся и аж подпрыгивал, радуясь удачной шутке. Он на все лады смаковал обидную кличку.

– Ёлы-палы... Пожалуй, вы правы, слова – это важно, – с удивлением выговорил маленький.

– Молчи, Максим, – отмахнулся рыженький. – Одно дело имя, а другое – всё остальное.

– Но ведь все слова – имена. Они что-то или кого-то называют. За каждым словом есть живой образ! А вы всё сводите к грязи.

– А Пушкин? – запальчиво выкрикнул маленький.

– Он написал “Гавриладиу” в юности, а после стыдился этой поэмы и даже отрекался от неё, называя “гадостью”.

– Вы чё, это... путинистка? – подозрительно выговорил крепыш.

– С чего вы взяли?!

– А то, – закричали все трое разом, перебивая друг друга, – учить нас решили! Везде ложь, враньё! К геям этим привязались – да пусть живут, как хотят! Дворцы за границей понакупили! Сами туда смоятся, а мы будем тут сидеть в полной заднице! Под санкциями, как лохи! От нас весь мир отвернулся! Вот ваши доходы за год как упали? А дальше ещё хуже будет!

– А Путин – плохой?
– Да!!!
– А должен быть справедливым, честным, умным, не говорить “мочить в сортире”...

– Да!!!

– То есть у него полно обязанностей, он должен быть идеальным правителем, а вы в общественном месте, рядом с храмом, себя даже сдержать не можете? Так получается?

– Мы – другое дело, – вывернулся рыженький. – Мы – свободные люди, что хотим, то и делаем. Это наша жизнь!

– То есть вы – просто люди?

– Да.

– Или – русские люди?

Дружный хохот был мне ответом.

– Русские, – взялся мне объяснять крепыш, – это миф. Вот вы – смуглая, черноглазая, вы что, кровь свою знаете?! Можете на сто процентов сказать, что вы – русская?

– Ну, в себе-то я не сомневаюсь. А вас спрошу вот о чём: вы живёте в государстве, которое, в основном, построили русские. Так?

– Пожалуй... – пожал плечами маленький.

– Говорите на языке, который создал русский народ. Расходуете слова, пачкаете, низводите их до помоев, в общем, проматываете. И русскими себя не считаете. Так кто же вы?!

– Мы – люди, и мы никому ничем не обязаны! – взвился рыженький. – Наша жизнь, как хотим, так и проживаем, что хотим, то и делаем. И мат – это здорово! Не надо копить в себе эмоции! Пришло в голову – высказался, освободился... Это психологически правильно, отрицательное чувство не должно разрушать здоровье человека!

– Замечательная логика! А вот представьте, идёт 1941 год, бойцы сидят в окопах под Москвой и рассуждают таким же образом: с какой стати мы будем биться с немцами, если все мы – люди? Нам страшно, а мы тут будем копить эмоции, сдерживаться... Не правильной ли дать дёру, сохранить здоровье?! И вообще, мы никому ничего не должны. Сталин – сатрап, тиран. Что мы тут, за него помирать, что ли, будем?! От нас весь мир отвернулся, Европа нас презирает, хочет наказать за коммунизм.

– Это вроде другое... – неуверенно выговорил крепыш. – Сравнили войну и трёп!

– Но словами обозначается всё: мама, родина, народ, имя! И если вы десять тысяч раз назвали что-то грязно, то в решительный момент у вас просто воли не хватит сказать и подумать по-другому. Привычка сработает.

– Мы люди маленькие, – убеждённо заговорил рыженький. – Все ваши аргументы для нас – дым сигаретный! Нас политика и религия не интересуют, потому что это – полный отстой, враньё, сказки! Мы – потребители, нас качество сервиса волнует.

– Маленькие, а какие большие претензии! Если вы предъявляете требования к Путину (он, кстати, согласно вашей логике, должен жить в своё удовольствие, потому что никому ничем не обязан), то почему я не могу предъявить претензии к вам: не ругаться в общественном месте?!

– У Путина есть обязанности, он должен к народу прислушиваться, – быстро сказал маленький.

– К какому народу?! К чеченскому, что ли?

– Почему к чеченскому?

– Ну, вы ж сказали, что русские – миф, значит, никакого народа нет.

– Народа нет, а есть просто люди, и к людям надо прислушиваться, – поправил маленького рыженький.

– Но чеченский народ есть? Есть. Татарский? Есть. Даже чукотский народ есть! Почему же вы отказываете в существовании русскому народу?! Это раз. А во-вторых... Вот представьте, – с моста, несмотря на вечернее время, был хорошо виден Кремль, – представьте, что Путина окружают такие же люди, как и вы. Их всех волнует качество сервиса и больше ничего. Все они считают, что: 1) никакого народа нет, есть просто люди, и между ними существует конкуренция; 2) надо жить в своё удовольствие, не обращая внимания на других; 3) никто никому ничего не должен.

– Бред... – растерялся маленький. – Не может быть такого! Нет, они так думать не должны! Они о нас заботиться обязаны!

– Не, ну, а для чего жить-то? Вы что, знаете, что ли?! Каждый за себя отвечает! Мы все умрём! – зачастил рыженький. – На что хотим, на то и расходует себя!

– То, что все умрут, с этим не поспоришь. Вопрос в другом: народ русский тоже должен умереть вместе с вами, или у него есть шанс выжить?! Посмотрите, вы пришли в мир на всё готовенькое: у вас есть государство, которому больше тысячи лет, язык, на котором написана великая литература, и вы всё это хотите прожить “в ноль” и ничего не оставить после себя?! Так получается? Кирилл, а дети у вас будут? Они вообще-то где должны жить? Что-то не особо в Европе привлекают беженцев из Африки! А ведь это тоже люди, так?

– Прямо голова заболела от ваших слов! – пожаловался крепыш. – Поговорили – и хватит! Я домой хочу!

– Останемся каждый при своём, – буркнул рыженький. – У нас свои права!

– Вы как будто в лихие 90-е не жили!.. А мы – их дети! – упрекнул на прощанье маленький.

Да, дети! “Рождённые в года глухие // Пути не помнят своего. // Мы – дети страшных лет России – // Забыть не в силах ничего...”

2. Самозванцы

Анна Н. – человек в московских кругах известный. Трижды за последние четыре года она прокатилась на “русских горках” – пережила карьерный взлёт и стремительное крушение. Хотя работать умеет, не ворует, характер нордический, без вредных привычек и проч.

Специализировалась Анна на госучреждениях – федеральных партиях, департаментах и министерствах, и теперь вернее любого социолога может описать качество управленческих кадров и “спасителей Отчества”. Оно примерно такое же, как у владельцев шахты “Северная” и иных советских активов. То есть в лучшем случае – нулевое, в худшем – с глубоким отрицательным знаком. Потому, произоюди “взрыв метана” в общегосударственном масштабе, элитарии спишут всё на действие природы. “А как же Россия? – А мы её затопили...”

Казалось бы, чем темнее ночь, тем ярче звёзды – на фоне этих чёрных дыр достоинства свежего профессионала должны были воссиять! Не тут-то было. Послушаем Анну: “Все мои великие начальники были либо из “блатных” (чьи-то сынки), либо “ширмы” (подставные фигуры), либо лъстцы и лизоблюды. Последние, кстати, самая тяжёлая категория. Если “блатным” всё, кроме красивой жизни в Мюнхене или Ницце, по барабану, а “ширмы” придают косметическое благообразие воровству, то лизоблюды полностью зависят от мимики своих повелителей. Ну, а те, соответственно, попали наверх по знакомству. Замкнутый круг!”

Что же становится “моментом истины” при столкновении с новой номенклатурой? “Каждый человек, претендующий на должность в структуре власти, должен пройти процедуру инициации. Но поскольку люди, находящиеся на вершине пирамиды, за редким исключением, занимают свою должность не по чину и подсознательно это чувствуют, они играют на понижение. В “сытые годы” любой новичок должен был обязательно замараться – поучаствовать в коллективном воровстве. Ныне обряд посвящения принял иные формы: человека должно публично унижить и оскорбить, сломить морально. Психологически действие оправдывается так: мы тоже терпели, нам “чистенькие” не нужны. Чувство человеческого достоинства – непозволительная роскошь для госслужащего. А народ вообще воспринимается, как биомасса, из которой лепят востребованные моментом фигуры”.

Интересные наблюдения! Игру на понижение мы видим везде: деятели новой культуры кричат, что без мата они не то, что шедевры создавать, но и говорить уже не могут, про телевизионную “воронью слободку” вообще промолчим, школа должна растить “потребителей” по примитивным программам, власть... Ну, это только слепой не видит, что делает власть! Культурное, языковое, ментальное качество народа целенаправленно понижается

много лет. И не только с помощью распахнутых границ со Средней Азией. Но и, прежде всего, средствами информационной, образовательной, кадровой политики. Качество народа надо было срочно понизить до качества управителей — для комфортного властвования последних.

Ой, вовсе не золото всплыло наверх! Причем в любой отрасли.

Когда же произошло это трагическое для страны “окукливание” новой номенклатуры, превращение её в совершенно безнравственный, с элементами неадекватности легион? Ну, разве будет нормальный человек, а не kleptomан, сам себе назначать сверхзарплаты в миллионы рублей в день?! Но срабатывает механизм психологической компенсации — деньгами наши самозванцы “заливают” свою профессиональную и нравственную несостоятельность. Трудно понять сию логику, но попробуйте: “Мы в госкорпорации получаем огромные оклады, значит, мы действительно великие управленцы, достойны!” Шизофренический круг замыкает служба пиара, платными “аллилуями” окончательно бетонируются остатки разума. “В газетах пишут, что мы хорошие, значит, так оно и есть”. А другие, критические публикации можно и не читать — у великих всегда будут недоброжелатели.

Из новейшей истории. В 2003–2004 годах в России проходила очередная реформа госслужбы. Советниками кадровой революции выступили Нил Парисон, главный специалист Всемирного банка по вопросам госуправления, и Горд Эванс, старший консультант Института государственного управления (Канада). Зарубежные специалисты подготовили для нашего правительства “Аналитическую записку по административной реформе”. Советники скорбели об увиденном: слишком мал разрыв в зарплатах между простым смертным бюджетником и замминистра — всего 1:3,7. Вот тебе и “лихие 90-е”! Ельцин-то, оказывается, социальное государство строил! Недоработал-сь Борис Николаевич! Посему Парисон и Эванс рекомендовали увеличить разрыв до 1:20. Ну, а люди с горячим сердцем и чистыми руками план перевыполнили в сотни раз...

Что же мы имеем на выходе? Начальник — это не ответственность, не профессионализм, не эффективность, а огромная зарплата, пожалованная за личную преданность. Что требуется от такого руководителя? Сиди, грей место, наслаждайся жизнью, славь царя-батюшку и закрывай глаза на всё остальное.

А как же народ?! В нашем Отечестве, где теперь всё делается по воле Божьей, а не по плану охваченных бесом коммунак, народ занимает то место, которого он и достоин! Народ рождён для низкооплачиваемой работы, дирижируемых выборов, рейтингов и массовок. Ну, и ещё всякие калечные-увечные, которым надо платить пенсии да содержать для них здравоохранение. Идеал народа у нынешней власти — азиатский гастарбайтер в расцвете лет. Приехал, приумножил богатства начальников, отбыл на историческую родину. На него и равнение, он язык мата быстрее поймёт, чем романы Толстого и Достоевского.

Игра на понижение изрядно проредила и нынешний правящий класс, в нём практически не осталось ярких фигур, дабы они не рождали опасных сравнений, например, с председателем нынешнего правительства. Да и возвышение Дмитрия Медведева, будем говорить откровенно, тоже результат игры на понижение.

Интеллигенция? Учёные? А сколько купленных диссертаций или даже добросовестно написанных — ни о чём! Целые массивы мёртвого, пустого слова. Но ведь и эти “учёные” кого-то учат, кем-то руководят, понижая и без того невысокий уровень нашей науки.

Топ-менеджеры-самозванцы, которым нельзя доверить даже управление колхозной бригадой. СМИ-самозванцы, воспевающие самозванцев. В магазине — сыры-самозванцы, фальсификаты, наспех состряпанные “по велению партии” из пальмового масла по программе “импортозамещения”. Богачи-самозванцы, поднявшиеся не талантом и трудом, а воровством и присвоением чужого добра. Писатели-самозванцы, за которых работают литературные “негры”. Офицеры-самозванцы, осуждённые за взятки, но не лишённые чинов, погон и должностей. Орденосцы-самозванцы, награждённые за несуществующие заслуги.

Резко пишу?! Но ведь всё это — правда!

Самозванцы подозрительны и завистливы, они живут “здесь и сейчас”, не рассчитывая на “потом”. Самозванцы боятся конкуренции, потому что

у них нет опоры, они вознесены на вершины власти игрой случая и готовностью следовать путём подлости.

Вопрос: почему всё это случилось с нами? Есть что-то глубинно-нерусское, антинациональное в той системе власти и управления, которые сложились ныне в России. Что же потеряно, выронено нами прежде, если эта самоубийственная, саморазрушающая основы государства программа так последовательно и неотступно реализуется правящим классом, втягивая в неё всё новые и новые сферы жизни? Где же вы, патриоты, герои, государственные люди? Где тот спастительный ключ, рычаг, который мог бы повернуть страну к лучшему, изменить самоубийственный расклад? Неужели новая смута и распад нашей родины неизбежны, и мы ничего не сможем сделать?!

Украина была репетицией. Разница между нами невелика. И не надо думать, что майдан и его итоги удержат Россию от потрясений. У бедняков, униженных и оскорблённых, есть своя духовная радость – анархия. Им всё равно ничего “не светит” в нынешней системе координат. Так почему для них, многократно обобранных и “выдоенных”, государство должно быть ценностью? Для “вертикали”, у которой недвижимость и дети в Лондоне, Россия – не ценность, а для ипотечников и безработных люмпенов – ценность?! Окститесь, товарищи бывшие члены КПСС, а ныне “глубоковерующие” управители наши.

Формирование сословия самозванцев, больших и малых клептоманов – результат долгосрочной игры на понижение. Но рано или поздно Анны и Иваны, Татьяны и Фёдоры встретятся лицом к лицу со своими дорогостоящими “слугами”. Столкновение правды и лжи неизбежно. Как поведёт себя ложь, думаю, понятно. А вот народ... Даже “пониженный”, он-то и есть главная сила русской истории!

Народ знает, что ему ради самосохранения нужно обязательно вернуться к себе. Вопреки всему! Потому что “Нашу жизнь не сделают красивей // Те, сегодня в мире непростом, // Кто торгует нами и Россией // Перед обелиском и крестом”.

3. Недальновидные люди

Мы сидели в кафе с кандидатом в депутаты Законодательного собрания, и он мне буднично рассказывал, как 15 лет назад “играл в демократию”. Его хорошего знакомого, главу одного из районов, областная власть засадила в тюрьму за несовпадение коммерческих интересов. Попытки договориться миром ни к чему не привели. Случай был по тем временам вопиющий. Тогда мой собеседник, в ту пору депутат, и ещё пять таких же “дураков” протестно проголосовали против губернатора при очередном утверждении его в должности.

“Ну, держитесь”, – торжественно сказали строптивцам. За два месяца все были разорены в ноль – проверками, заморозкой кредитов, “наездами” криминалитета, возбуждением уголовных дел и пр. Двое сдались сразу, бросили всё и уехали из области. Один умер от инфаркта. Ещё один бился до конца, и потому до сих пор в долгах, а в глазах местного населения – вор и мошенник; такую репутацию ему соорудили подконтрольные СМИ. Двое, спустя годы, были “прощены” – им разрешили мелкий бизнес – на прокорм семьи. Но из политики ушли все.

Мой собеседник пережил предательство – с ним, как с прокажённым, боялись общаться бывшие коллеги, “принудительный дефолт” – бизнес его разорили, унижение – вчерашний народный избранник стал изгоем, “хромой уткой” в глазах местной “элитки”.

И вот, спустя столько лет, он снова идёт на выборы. По одномандатному округу – дверца во власть слегка приоткрылась, и самовыдвиженец решил рискнуть. Наивность недобитого кандидата? Или правильное понимание политического момента – коррупционные пивяки, насосавшись народной крови, потеряли манёвренность, значит, можно попробовать их “отцепить” от отощавшего гостела? Или кандидатом движет жажда мести? (Достойная, по-моему, причина!) А может, его призвание – служить Отечеству? Идеализм ещё не полностью убит в русском народе, и как не подставить плечо государству в трудный момент?! Ситуация-то в стране критическая. Этого не понимают только слабоумные...

После обеда мы поехали в деревню, бывший совхоз, где люди живут в аварийных домах. Это пенсионеры, отышачившие всю жизнь на родимое

государство. Дома стали аварийными после масштабного стихийного бедствия. Природный катаклизм показали по телевидению, была создана комиссия, прозвучали солидные заверения, что “ни одна семья не останется без помощи” и пр. Как всегда, кроме слов, пиара и распила, почти ничего сделано не было. Да, помощь получили, но те, кто понаглей и попронурыливей, и не всегда это были люди из аварийного жилья.

И вот на носу зима, а в подполе дома, вровень с половицами — вода. Фундамент подмыт, стены пошли трещинами, рамы на окнах “поехали”. Если смотреть на дом с улицы, видно, как провисла крыша.

Мы с кандидатом стояли посреди грязной улицы (дорог нет — не Европа, чай!), вокруг нас собралась толпа пенсионерок в калошах, одни возмущённо кричали, некоторые плакали, другие рассказывали, что им чиновники посоветовали приватизировать муниципальные развалюхи, мол, “так будет лучше”. А в воображении моём проносились, как в кино, кадры роскошных дворцов “слуг народа” — в Подмосковье, в Ницце, в Майями, в Монако... Никогда прежде в истории России воровство не возводилось в высшую добродетель, а воры не требовали себе таких державных почестей и поклонения!

“Зайдёмте в дом”, — звала нас хозяйка, вытирая слёзы и заглядывая в лица. Она надеялась, что, может, очередная “комиссия” сдвинет дело с места, замолвит за неё словечко. “Домом” она назвала жалкую хибару с перекошенными стенами, с подмытым фундаментом. “Дом” был далеко от Москвы, от Сирии и Пальмиры, от саммитов с Обамой и Меркель, от роскошных церквей с нарядными священнослужителями, от большой политики с весомыми зарплатами и судьбоносными записями в соцсетях.

Мы вошли. Комната была почти свободна от мебели. На старом обтёрханном креслице сидел хозяин в куртке (в доме было холодно) и хлебал пахучий борщ. Железная миска стояла на табуретке, застеленной газеткой. Хозяин смотрел старенький телевизор, по экрану шла политическая реклама — партии обещали “светлое будущее”, показывали лощёных, сытых лидеров, грозили врагам, призывали прийти на выборы и проголосовать за их номер в бюллетене.

“Это комиссия”, — объяснила хозяйка мужу. Мы поспешили в другую комнату — совершенно пустую. Здесь хозяева провели ремонт — покрасили полы. В углах пошли трещины, обнажив кирпичи. На одной из стен — я подошла ближе — к стареньким обоям был приклеен предвыборный календарь прошлых лет с улыбающимся губернатором. Картинка выцвела, и лозунг под портретом — “Только вперёд!” — читался с трудом.

... И тут память услужливо перенесла меня в сегодняшнее утро, которое мы провели на городском базаре. Власти расстарались перед выборами и устроили крестьянам счастье — полдня можно торговать беспощинно, если товар с личных подворий, а не от перекупщиков. Мы ходили по утреннему базару втроём: кандидат в депутаты, парнишка-агитатор и я. Студент вручал листовку прохожему или продавцу и, если наше трио не прогоняли сразу, завязывалась эмоциональная беседа. “Познакомьтесь, вот кандидат в депутаты Заксобрания. — Тю!.. Очень надо! Все вы одинаковые! — С чего вы взяли? Вы нас первый раз видите. — И последний, я не сомневаюсь. — Приходите на выборы! — Без нас проголосуют и посчитают. — Ничего не изменится, если вы будете сидеть дома и ругать власть! — А что вы можете?!..”

В ответах этих усталых, преждевременно состарившихся людей с натруженными руками была своя правда. Они не верили ни в какие “демократические процедуры”, откровенно потешались над агитацией. Эти люди с землёй, с огородами, из заброшенных деревень, где до сих пор печное отопление, а газовая труба — недостижимая роскошь, уже перевидали всякого, и потому беззлобно подначивали кандидата: “Ну, чё ты там обещаешь? — Ничего! Работать будем вместе! — Ха, насмешил! А мы думали скажешь: мёд будем ложками черпать...”

Но странное дело, чем чаще мы натыкались на убеждённых критиков, тем больше приободрялся кандидат, тем уверенней себя чувствовал, говоря с селянами. “Только народная власть может быть крепкой и устойчивой. Вы говорите: мы тебя не знаем, почему мы должны тебе верить?! Но я пришёл к вам за помощью, я прошу вашего голоса. Неужели лучше “кот в мешке”, которого вы выбираете, даже не видя его, голосуя за список?! Или клоуны в телевизоре, которые сидят там десятилетиями? Бездельники! Неужели они вам надоели? Я же ваш, свой! Я живу здесь, я весь как на ладони”.

Видя сей горячий идеализм, крестьяне морщились или отводили глаза в сторону. А общий скепсис суммировал мужик, продававший картошку: “Выборы! Соревнование, кто больше наврёт. Мы в твою жизнь не лезем, давай отсюда, вали! Только вперёд!”

...На джипе кандидата в депутаты (очень кстати была эта машина – на другой бы не выехали из хляби) мы покинули, наконец, депрессивную деревню с аварийным жильём, которое вполне могло сойти за метафору современной России. С нами был молодой парень, помощник кандидата. “Я считаю, они сами виноваты, что оказались в таком доме, – сказал он. – Недальновидные люди. Тут же всегда топило, уезжать надо было раньше”.

Кандидат в депутаты молча вёл машину. Тогда я сказала: “А вы видели, в сенях у этой семьи стоят банок сорок со свежими закрутками на зиму? И корзина только что собранных грибов. – И что? – Они на своём месте делают, что могут. А что сделали мы?!”

Иностранное авто – чудо немецкого автопрома – летело по пустой русской дороге. Все молчали, только натужно гудел мотор. “Что же эта за тайная рать – // Я разгадывать не обессилю – // Вдруг сумела у нас отобрать // Радость счастья и труд, и Россию?” – ответа на этот вопрос поэта у нас пока не было...

ГАЛИНА ЗАСУХИНА-ПЕТРЯНОВА

ЧТО Я ЕЩЁ МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?

К 110-летию со дня рождения академика И. В. Петрянова-Соколова

По телевидению ежедневно показывают коррупционеров-чиновников, убийц, воров в законе, которых наконец-то поймали. Многих знаем в лицо, нам демонстрируют, какие у них дворцы, квартиры, дачи, ювелирные украшения, нам даже известно, какими болезнями они болеют. “Героя” показывают многократно, наверное, чтобы мы его лучше запомнили. О госпоже Васильевой из оборонного ведомства, при которой пропали миллионы рублей, сообщалось, какие картины она пишет, какие стихи сочиняет, находясь под следствием не в СИЗО, а в своей шикарной квартире. Одним словом, героями нашего телевидения становятся люди, незаконно приобретающие богатства, многократно превышающие их потребности, да и вообще все разумные пределы даже для общества бесконечного потребления.

Однако всегда были и есть те, кто стремится сделать как можно больше для людей. К ним принадлежал академик И. В. Петрянов-Соколов. Его профессиональная деятельность была связана с созданием фильтрующих материалов, которые получили название фильтры Петрянова (ФП). На основе ФП был сделан противогаз, которым была оснащена наша армия во время войны. ФП оборудованы атомные станции, благодаря чему они являются экологически чистыми и безопасными. ФП используются на химических производствах, в палатах для аллергиков, в помещениях для производства вакцин, даже в Оружейной палате и в Театре кукол им. С. В. Образцова, чтобы пыль не проникла в экспонаты. Наконец, “Лепесток”, сделанный на основе ФП, широко применялся во время Чернобыльской аварии. И в настоящее время это изделие выпускается миллионами экземпляров. “Лепесток” может служить идеальной защитой людей в период эпидемии гриппа и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.

Таким же важным делом, как охрана здоровья людей и окружающей среды, Игорь Васильевич считал общественную деятельность — необходимость защиты Памятников Отечества. В 1966 году он был одним из создателей Всероссийского Общества охраны памятников культуры (ВООПИК). Когда просили защитить какой-либо памятник, подписать письмо “наверх”, Игорь Васильевич писал не только о культурно-исторической ценности, но и об экономическом ущербе, который может быть нанесён потерей этого объекта. Игорь Васильевич стал одним из первых председателей Общества книголюбов, в котором был и музей миниатюрной книги, и музей экслибриса с постоянно меняющи-

мися выставками. По линии этого общества Игорь Васильевич бывал в разных странах, республиках и городах Советского Союза, где говорил горячо и искренне о роли книги в формировании человека, о необходимости всегда быть рядом с книгой.

Он не мог оставаться равнодушным, когда речь шла о строительстве Байкальского бумажного комбината или о повороте северных рек.

Помогать людям – было главным для него. Он постоянно хлопотал о квартирах для сотрудников, кого-то устраивал в больницу, кому-то доставал нужные лекарства, не говоря уже о том, чтобы делать необходимое для родного института, в котором он проработал со дня окончания университета до конца жизни. Он никогда не покупал ни дачи, ни машины. Все комнаты и коридор его небольшой квартиры от пола до потолка заставлены полками с книгами, которые он собирал всю жизнь и читал, читал, читал.

Его деятельность была по достоинству оценена советским руководством: он был Героем Социалистического Труда, у него было 3 ордена Ленина и ряд других орденов и медалей. Он был лауреатом Ленинской и дважды лауреатом Государственной премии.

Участие в атомном проекте

Атомный проект – это пример глубочайшего понимания государством роли науки в реализации поставленной цели, показатель возможности собрать учёных разных учреждений и направлений для организации и решения государственных задач в кратчайшие сроки, способность найти огромные средства в ситуации, когда они жизненно необходимы. Объясню последнее. “Распоряжение № 2352сс по организации работ по урану” было подписано И. Сталиным 28.09.1942 года и направлено в Академию наук СССР. На эту тему опубликована великолепная статья А. Абрамычева в журнале “Наш современник” (2016 год, № 7), в которой изложены основные этапы осуществления атомного проекта, назван ряд фамилий, процитировано высказывание Президента США Дж. Кеннеди в 1961 году, после полёта Гагарина в космос: “Победило советское образование”. Остаётся только сожалеть, что сегодня, мягко говоря, и образование стало другим, и наука оказалась невостребованной.

Остановлюсь только на двух фрагментах участия Игоря Васильевича и его учеников в атомном проекте. Перед коллективом института в 1947–1948 годах И. В. Курчатовым была поставлена задача анализа состава радиоактивных аэрозолей, образующихся в облаке ядерного взрыва. Необходимо было разработать не только метод анализа, но и отбора аэродисперсной фазы из огромных объёмов радиоактивного облака на любых высотах без нарушения соотношения между концентрациями изотопов, образовавшихся при взрыве и последующем распылении (Б. И. Огородников. Вестник Российской Академии наук. 2011, 81, № 2). Перед взрывом первой советской атомной бомбы на Семипалатинском полигоне в 1949 году были оборудованы пять радиоуправляемых самолётов, на каждом крыле которых находились гондолы, оснащённые фильтрами Петрянова (ФП). Однако оптимально решить эту задачу удалось только в 1951 году на том же полигоне. Пробы были взяты, и фильтрующий материал поступил в радиохимическую лабораторию. Так заработал аэрозольный метод контроля ядерных взрывов. Затем уже были разработаны методы анализа данных подводных ядерных взрывов на полигоне на Новой Земле.

Лаконичное изложение не может, конечно, отразить огромный объём работ как по созданию и отбору наиболее эффективных ФП, так и методов доставки материала из радиоактивного облака. Эти разработки позволили, например, в 1952 году провести анализ проб воздуха после американского термоядерного взрыва и дать информацию о материалах, входящих в состав бомбы, а также о зарубежных ядерных взрывах в различных точках нашей планеты, в том числе и в стратосфере. Игорь Васильевич рассказывал мне, что финансирование этих работ осуществлялось по первому требованию учёных в пределах суток, хотя все эти исследования проводили в военные и послевоенные годы, когда страна нуждалась в восстановлении разрушенной фашистами европейской части СССР.

Второй фрагмент при выполнении Игорем Васильевичем и его коллективом советского атомного проекта касается создания аналитических фильтров и фильтрующих лент, которые стали определяющим элементом в ядерном

приборостроении. В 1960-х годах были разработаны и внедрены многие средства не только для контроля, но и для улавливания радиоактивных изотопов и газов, что позволило считать атомные станции экологически безопасными. Под руководством Игоря Васильевича и его коллег были разработаны основы производства для безопасного выполнения работ с химическими, в том числе токсическими веществами. На предприятиях ядерного цикла им впервые была осуществлена зональная планировка, которая теперь является основой проектирования и строительства предприятий, занятых производством, переработкой и использованием радиоактивных веществ. Это заводы, ФЭС, корабли и подводные лодки с ядерно-энергетическими установками, лаборатории и т. п. Принципы стерегающей защиты, газгольдерная система обеспечивали при радиоактивном распаде улавливание аэрозолей в высокоэффективных фильтрах. Все эти принципиально новые подходы сделали возможным снижение выброса радиоактивных веществ до уровня ниже предельно допустимых в сотни и тысячи раз.

Атомный проект – это яркий пример быстрейшего решения задач государственной безопасности учёными. Игорь Васильевич всю свою жизнь посвятил проблемам защиты человека и окружающей среды и никогда не работал в области создания оружия, связанного с гибелью людей. Это была его принципиальная позиция.

Идея безотходной технологии

Игорь Васильевич совместно с академиком Н. Н. Семёновым в 1961 году выдвинул идею безотходной технологии. Вначале её не просто приняли “в штыки”, а даже признавали полностью утопической. Однако время расставило свои акценты: от принятия в нашей стране закона “Об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов” до принятия в 1979 году в Женеве, на совещании всех европейских стран, а также США и Канады “Декларации о малоотходной и безотходной технологии и использовании отходов”.

Игорь Васильевич доказывал: для удовлетворения потребностей людей ежегодно добываются миллионы тонн минерального сырья, но из этого количества используется только два процента, остальное в искажённом виде выбрасывается в окружающую среду. Он считал, что в мире накопилось примерно 200–300 миллиардов тонн такого ненужного сырья. При этом в своих расчётах Игорь Васильевич учитывал и воду, и воздух, которые используются при добыче нужного материала. Что касается воздуха, то Игорь Васильевич установил, что степень увеличения промышленного производства за период в 8–10 лет коррелировала со степенью загрязнения воздушного бассейна, то есть если за век прошло 10–12 таких периодов, то соответствующее загрязнение воздуха возросло более чем в 1000 раз. Если такая тенденция сохранится в XXI веке, то пройдёт ещё 10 периодов, и загрязнение воздуха увеличится уже в 1 млн раз! Он не предлагал срочно переоборудовать существующие производства, понимая, что это сделать невозможно, а предлагал строить новые только на основе рациональной переработки промышленных отходов в полезные продукты, то есть перейти на безотходную технологию. Игорь Васильевич показал, что осуществление принципа безотходной технологии приводит не только к охране природы, получению других полезных продуктов, но и к значительному экономическому эффекту. Он понимал, что для осуществления этого принципа в практике промышленного производства потребуется много времени, сил и энергии, но главное – изменение мышления людей: необходима экологическая воспитанность. Бережное отношение к природе, пронизанность любого образовательного процесса экологическим мышлением Игорь Васильевич считал обязательным компонентом воспитания человека, начиная с детского сада! Поддерживая принцип безотходной технологии, в 1984 году Игорь Васильевич опубликовал статью “И цикл замкнулся” о работе Уралцемента: “Разработка и широкое промышленное внедрение замкнутой безотходной системы высокоэффективной очистки и рециркуляции воздуха в корпусах обогащения асбестовых горнообогатительных комбинатов”, представленную на Государственную премию.

В настоящее время идея безотходной технологии признана мировым обществом.

ВООПИК

Сразу после революции в 1918 году Максим Горький предложил создать комиссию по охране памятников. В. И. Ленин в 1918 году выделил средства для приобретения самых необходимых материалов для спасения ряда соборов в Ярославле, пострадавших во время подавления мятежа в этом городе, и послал в Ярославль архитектора-реставратора П. Д. Барановского. Эти факты указывают на то, что сразу после Революции идея охраны памятников возникла неоднократно. Пакт Рериха подготовил основу международной правовой защиты объектов культуры как в мирное, так и в военное время. В 1948 году вышло постановление Совета Министров СССР № 3698 за подписью И. В. Сталина “О мерах улучшения охраны памятников культуры”* . Отмечено, что первые нормативные документы составлялись И. Э. Грабарём и П. Д. Барановским. Появились подвижники этого движения, во главе которого в последующие годы стояли деятели научной-технической и культурной интеллигенции: авиаконструкторы О. К. Антонов и А. Н. Туполев, певец И. С. Козловский, художники П. Д. Корин и Н. А. Пластов, космонавт А. Леонов и др.

В июле 1965 года было принято решение о создании ВООПИКа. В мае 1966 года состоялся учредительный съезд, на котором был принят Устав Общества. В его Президиум вошли Л. Леонов, Б. Рыбаков, В. Янин, В. Севастьянов, Г. Орлов, И. Петрянов-Соколов, Д. Лихачёв, И. Глазунов, Н. Пластов и др. Председателем ВООПИКа стал зампредела Совета Министров РСФСР В. Кочемасов. Знаменательно, что одна из первых встреч Кочемасова была с Патриархом Алексием I, который согласился через ВООПИК осуществлять финансирование работ по целевой реставрации некоторых храмов (например, Успенского собора во Владимире). Трудно охватить огромный объём и разнообразие деятельности этой организации, которая поддерживала создание “Золотого кольца”, подготовила список нуждающихся в реставрации исторических городов, начала планомерное обследование севера европейской части СССР, проводила работы по реставрации мемориальных усадеб: Хмелиты А. С. Грибоедова, Спасского-Лутовинова И. С. Тургенева, Константинова С. Есенина и др. В отношении Ясной Поляны Общество было вынуждено обратиться за помощью к Союзному правительству.

К 1970 году членами Общества были 14 млн человек, на взносы которых и осуществлялись многие проекты. В фонд охраны памятников, созданный при Обществе, постоянно поступали пожертвования, благотворительные взносы как от организаций, так и от многих людей. С 1980 года стал выходить альманах “Памятники отечества” (тираж 50 тысяч экземпляров), председателем редакционного совета которого стал И. В. Петрянов-Соколов. В редакционный совет входили Д. А. Жуков, В. Н. Иванов, И. С. Глазунов, Д. С. Лихачёв, Л. М. Леонов, Н. А. Пластов, Б. А. Рыбаков, В. Л. Янин и др.

Отдельные моменты деятельности Игоря Васильевича по сохранению культурного наследия будут описаны ниже, но невозможно охватить разнонаправленность и объём этой работы, в которую можно включить массу выступлений (например, в Знаменском соборе в Москве, который после реставрации был Домом пропаганды ВООПИК), встреч с общественностью и выступления по радио и телевидению (в г. Новосибирске и др.) и т. п. Именно в Знаменском соборе я впервые услышала потрясающее выступление замечательного хора В. Минина, с которым Игорь Васильевич меня тут же познакомил. В Церкви Святого Власия много лет выступал оркестр народных инструментов “Боян” под руководством народного артиста СССР И. Полетаева, который исполнял русскую народную музыку.

Несмотря на смутные 90-е годы, Общество сохранилось и в те времена, когда многие организации, как, например, Всесоюзное общество “Знание”, закончили свою работу.

В настоящее время ВООПИК успешно продолжает свою благородную деятельность, председателю ВООПИКа Г. И. Маланичевой четыре года назад была присуждена Государственная премия РФ. Общество объединяет бескорыстных подвижников-энтузиастов, которые ранее боролись с невежеством

* Здесь и далее изложено по книге Г. И. Маланичевой и В. А. Ливцова “Этапы истории ВООПИК (К 50-летию образования)” – Орел, 2016.

ными чиновниками, а теперь не только с ними, но и с обладателями огромных денег. Одной из побед Общества за последние годы можно считать запрет на строительство гигантской башни Газпрома в Санкт-Петербурге. Невозможно подсчитать количество бумаг, совещаний, привлечений авторитетных людей и организаций, включая ЮНЕСКО, которые, в конечном счёте, помогли решению этого вопроса. Пять лет назад Игорь Васильевич посмертно был награжден специальной премией ВООПиКа “Хранители наследия”.

Являясь членом Президиума ВООПиКа, я считаю невероятной трудной опережение всех многоплановых аспектов деятельности нашей организации, направленной на сохранение культуры нашего народа в самом широком смысле этого слова.

Фрески Дионисия

Как-то раз к Игорю Васильевичу домой пришла взволнованная женщина-искусствовед и стала умолять его спасти фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре, что в Вологодской области. В церкви протекла крыша, бесценные фрески мокнут и разрушаются, а денег на ремонт нет. В общем, обычная история. “Надежда только на Вас!” – было сказано со слезами на глазах. Игорь Васильевич растерянно ответил, что сейчас не то время, когда можно получить деньги на ремонт храма, даже если в нем есть фрески Дионисия. Он ничего не обещал, но стал думать, как помочь. И, конечно, придумал. Во время деловой поездки в Ленинград Игорь Васильевич зашёл к директору Эрмитажа Б. Б. Пиотровскому, с которым был в добрых отношениях. Поговорив на общие темы, он спросил, сколько стоит квадратный метр фресок Дионисия. Борис Борисович онемел от изумления. Выждав минуту, Игорь Васильевич рассказал историю с фресками и объяснил, что собирается идти в ЦК КПСС по своим научным делам, а заодно попытается убедить начальство найти деньги на ремонт храма. Но для этого надо знать примерную стоимость фресок по мировым стандартам. Посоветовавшись, друзья решили, что надо найти эквивалент в мировой живописи того же времени. Остановились на Джотто. Посмотрели в каталогах страховочную стоимость картин Джотто и, исходя из этого, определили цену фресок Ферапонтова монастыря. Цифра получилась внушительная.

Когда в соответствующем отделе ЦК было сказано, что пропадают бесценные сокровища на баснословную сумму, вопрос был решён в течение двух недель, и крышу отремонтировали. Благодаря этому фрески Дионисия радуют нас и по сей день.

Спасение дома В. И. Даля

Дом В. И. Даля решили снести. Разные общественные организации трагитали массу времени, чтобы дом уцелел. Всё было напрасно. Ведомственные интересы Министерства геологии СССР были выше сохранения драгоценного памятника, уцелевшего после пожара Москвы 1812 года, обгоревшего при битве за Москву, возраст которого – более полутора сотен лет. Передо мной копия письма, написанного Игорем Васильевичем XXIV съезду КПСС – последней из возможных инстанций. Кратко рассказывается связанная с русской культурой история дома, в котором жили основоположник русского языковедения В. И. Даль – друг Пушкина (А. С. Пушкин скончался у него на руках), академик архитектуры, первооткрыватель русского деревянного зодчества Л. В. Даль, писатель П. И. Мельников-Печерский (автор эпопеи “В лесах” и “На горах”), всемирно известный учёный, создатель теории строения химических соединений А. М. Бутлеров. Стены этого дома хранят память об Аксакове, Одоевском, Лескове, Хомякове и других знаменитых деятелях русской литературы. Самый важный аргумент был припасён в конце письма: точные расчёты показали, что реставрация и снос дома будут стоить примерно одинаково, но в случае реставрации Москва получит 600 кв. м полезной площади. Попытка сноса этого здания является вопиющим примером бесхозяйственности, сохранность здания – 90%, стоимость восстановления – 103 тысячи рублей, снос здания с вывозом стройматериалов и благоустройством обойдётся в 100 тыс. руб. Рукой Игоря Васильевича приведены все расчёты. Доводы Игоря Васильевича победили, и дом был спасён.

Возрождение Казанского собора на Красной площади

День рождения Игоря Васильевича в 1988 году праздновали в храме Святого Власия в Гагаринском переулке. Выступления друзей сменялись русской народной музыкой в исполнении прекрасного, горячо любимого Игорем Васильевичем оркестра “Боян” под руководством народного артиста СССР А. И. Полетаева.

На сцену поднимается архитектор О. Журин и дарит Игорю Васильевичу картину-реконструкцию Казанского собора, которая была создана архитектором Г. Мокеевым и подарена П. Д. Барановскому – знаменитому архитектору-реставратору. Теперь эту картину вручают Игорю Васильевичу с горячей просьбой – содействовать возрождению Казанского собора на Красной площади, выполнить мечту-завещание П. Д. Барановского. Игорь Васильевич растерян – такое наследство от Петра Дмитриевича, и как же немислимо трудно что-либо сделать!

Немного истории. Казанский собор был построен на пожертвования князя Пожарского и его воинов в честь Казанской иконы Божьей Матери, с которой они победили поляков в смутное время 1612 года. Храм был освящён в 1633 году и почитался как символ русской воинской славы. При Екатерине Великой храм претерпел многие изменения не в лучшую сторону. Знаменитый “огненный” архитектурный стиль был заменен на безликую белую окраску, упрощены некоторые архитектурные детали. П. Д. Барановский решил сделать всё для воссоздания храма в прежнем облике. Рано-рано утром привязывал себя к кресту собора, делал замеры, угадывая очертания переделанных древних кокошников, сводов. Он мечтал показать людям истинную красоту древнего храма. Но, увы! В 1937 году он увидел уничтожение Казанского собора. Остался только фундамент. Всю жизнь он мечтал возродить храм, ведь у него были все замеры, чертежи, и главное – мечта!

И вот Игорь Васильевич стал во главе общественной комиссии по возрождению собора. Долго он не знал, что делать, с чего и как начать, к кому из высокого начальства обратиться... Однажды по своим научным делам ему нужно было пойти к члену Политбюро ЦК КПСС В. Медведеву. Дома он упаковал картину и сказал, что будет пытаться убедить Медведева возродить храм. Окончив деловую часть разговора о науке, Игорь Васильевич стал разворачивать картину, а Медведев с помощниками с любопытством наблюдали за его действиями (подношения и взятки в те времена не были приняты). Изумлению присутствующих не было предела: на картине сиял храм! Игорь Васильевич рассказал историю его создания и гибели, пояснил, как много бы значило для Отечества возрождение именно этого собора на Красной площади. В. Медведев усомнился в финансовых возможностях (денег в государстве не очень много) и спросил о примерной стоимости всех работ. Игорь Васильевич ответил, что цена примерно равна стоимости одного жилого дома – около 1,5 млн рублей (совсем старых, дорогих рублей!). Через 10 дней позвонили из ЦК КПСС и сообщили, что действительно стоимость этого сооружения соответствует названной им цифре и принято решение о возрождении храма.

Игорь Васильевич и его сподвижники были счастливы: будет собор и будет исполнена мечта-завещание П. Д. Барановского!

Между прочим, в наше время принято ругать всё прошлое, а уж в особенности КПСС. Но нужно быть справедливым. Игорь Васильевич был беспартийным, но всегда мог попасть в любой отдел ЦК, не то что к теперешним недоступным, тщательно охраняемым начальникам. Если были какие-то просьбы, то ответ на них приходил быстро, а решения выполнялись.

1 апреля 1990 года в “Правде” была опубликована статья “А храм пылал в полнеба...”, в которой говорилось о начале работ по возрождению Казанского собора. Через полгода состоялось Патриаршее Богослужение по случаю закладки камня воссоздаваемого Казанского собора и начала сбора пожертвований. А вечером мы с Игорем Васильевичем были приглашены на приём в Патриаршую резиденцию Свято-Даниловского монастыря по поводу этого торжественного события, на котором, кроме нас, было ещё 3 гражданских лица, остальные – иерархи.

Сейчас все могут видеть великолепное сооружение – Казанский собор на Красной площади – воплощенную мечту П. Д. Барановского и И. В. Петрянова. Однако внутри храма висит доска, на которой написано, что восстановление шло по инициативе президента Б. Н. Ельцина и мэра Г. Х. Попова. Архи-

текторы Виноградов и Журин, которые восстанавливали храм, показали Игорю Васильевичу эту доску с извинениями за “неправду”, но Игорь Васильевич только улыбнулся: главное – храм стоит, а остальное неважно!

Каждая дорога должна вести к храму

Если стоять на Октябрьской площади и смотреть вдоль улицы Большая Якиманка, то открывается замечательный вид на Кремлёвские златоглавые соборы и колокольню Ивана Великого. А этого могло бы и не быть, если бы Игорь Васильевич и ещё несколько неравнодушных людей не написали письмо в “компетентные органы” с убедительной просьбой не строить корпуса правительственной гостиницы. В настоящее время построен только Президент-отель, а другие два корпуса остались малоэтажными. Если бы они были построены, как планировалось, Кремля не было бы видно. А ведь это дорога от главных ворот Москвы – Внуковского аэропорта, по которой проезжают все наши высокие гости. В те времена разумные доводы были услышаны, и гости уже издалека могут видеть величие Кремля.

Всесоюзное Общество любителей книги Книги в его жизни

*Мой кров — убог. И времена — суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы...*

М. Волошин

Для Игоря Васильевича Петрянова-Соколова чтение книг было образом жизни. Он читал каждую свободную минуту, начиная от необходимых научных статей, популярных очерков на научные темы, которые ему пачками присылали для журнала “Химия и жизнь” (создателем и главным редактором этого журнала Игорь Васильевич был до конца своих дней), включая что-то любимое, многократно прочитанное, и заключая случайно подвернувшейся книгой. У Игоря Васильевича была прекрасная память, поэтому он помнил прочитанное давным-давно, а любимые выдержки мог цитировать почти дословно. Стихов он знал несметное количество. Мог целый вечер читать А. Пушкина, или Н. Гумилёва, или А. Блока. Самое интересное, что он помнил и читал разные версии того или иного стихотворения. В. О. Осипов (автор книги о М. Шолохове из серии ЖЗЛ, в прошлом главный редактор издательства “Молодая гвардия”; лауреат Шолоховской премии) в своей книге “Корифеи моего времени” (издательство “Русский раритет”, 2013) в разделе об Игоре Васильевиче “Химик + лирик + просветитель” описал, что он как-то показал Игорю Васильевичу ксерокопию страницы “Литературной газеты” с отрывками из “Евгения Онегина”. Игорь Васильевич произнёс: “Эта вот строфа в окончательной редакции звучит чуть иначе”. И продекламировал её по памяти.

Игорь Васильевич не только знал, но и прекрасно читал стихи. В. Захарченко (многолетний главный редактор журнала “Техника – молодежи”, а потом – “Чудеса и приключения”) как-то рассказал мне, как однажды они с Игорем Васильевичем в Ленинграде пошли вместе ужинать в ресторан, и к ним подсел его знакомый. В разговоре зашла речь о поэзии, и Захарченко попросил Игоря Васильевича прочитать что-нибудь. Это “что-нибудь” вылилось в коктейль из самых разных русских и зарубежных поэтов. Знакомый был потрясён не только количеством стихов, но и профессионализмом чтения. Оказалось, что этот знакомый – В. Ливанов.

Естественно, что Игорь Васильевич всю жизнь собирал книги и читал их. Вспоминается Л. Толстой: “Для чего читают люди, для чего они дают деньги на книги? Люди хотят быть счастливы”. Думаю, что постоянное общение с книгами делало и Игоря Васильевича счастливым.

Вот эта неугасимая любовь к книгам и привела Игоря Васильевича в Общество книголюбов. В. Шкловский как-то очень удачно сказал: “Я вижу, что не только вы собрали книги, но и книги собрали вас...” В Обществе книголюбов Игорь Васильевич увидел прекрасных, преданных книге и посвятивших себя просвещению людей. Он как-то сразу подружился с С. Г. Шуваловым и И. А. Котомкиным, самые тёплые чувства к которым пронёс через всю свою

жизнь. В Общество входило 16 млн членов. Съезды Общества собирали огромное количество людей, с трудом вмещавшихся в Колонный зал Дома Союзов. У меня есть фотография, на которой показан Президиум съезда, не менее 30 человек из разных республик, партийных и советских органов. Игорь Васильевич по линии Общества бывал в Болгарии, Молдавии – трудно перечислить все посещаемые им “книжкины праздники”.

Мне хочется остановиться на двух моментах. Прежде всего, Игорю Васильевичу с его верными друзьями-книголюбями удалось сохранить Общество. Ныне оно превратилось в Международный союз, на пленумы которого приезжают люди не только из наших бывших республик – Азербайджана, Киргизии, Эстонии, – но даже из Великобритании. Это, безусловно, связано с энтузиастами, которых всегда объединяла любовь к книге, а не политическая конъюнктура. Правда, теперь следует добавлять – любовь к хорошей книге потому, что в последнее время появились книги, которые читать или противно, или стыдно. Игорь Васильевич был истинным защитником книги. Однажды в Художественном театре им. М. Горького отмечали юбилей Государственной библиотеки (тогда им. В. И. Ленина). Игорь Васильевич смиренно сидел в Президиуме. Выступала тогдашний замминистра культуры РФ госпожа Т. Никитина (“бардовая певица”) и говорила, что в свои молодые годы часто ходила в Ленинку, а теперь можно не ходить, потому что книги заменены телевизором, видеофильмами и т. п. После этого слова попросил Игорь Васильевич. Можно себе представить, как и что он говорил, как защищал книгу от невежества, если зрительный зал, состоящий в основном из библиотечных работников, практически бескорыстно выполняющих свою нелёгкую работу, устроил ему овацию.

Поворот северных рек

Куда только не ходил Игорь Васильевич, пытаюсь доказать, что гигантские деньги, выделенные на бредовый поворот северных рек, пропадут напрасно, что поворот приведёт к непредсказуемым и непредсказуемым необратимым последствиям! К предсказуемым, в частности, относилась страшная участь Вологодской области, которая должна была превратиться в болота и топи, среди которых окажутся Кирилло-Белозёрский и Ферапонтов монастыри. Кроме того, Игорь Васильевич рассчитал, что объём воды из северных рек, перебросенный в южные области, почти полностью будет испаряться, так как на юге климат жаркий. Но, несмотря на все возражения против этого безумного плана, проектирование неумолимо продолжалось. Иногда вместе с Игорем Васильевичем, иногда независимо от него абсурдность этой идеи пытался доказать академик А. Л. Яншин, вице-президент АН СССР. Академик Д. С. Лихачёв тоже относился к активным противникам этого проекта. Писатели С. Залыгин, В. Белов писали об ужасных последствиях его реализации в журналах “Новый мир”, “Наш современник”, в газете “Советская Россия”. Всё было тщетно. Тогда мы с Игорем Васильевичем решили поехать в Вологду, поговорить с местным начальством. Председатель облисполкома оказался очень приятным, по-настоящему образованным человеком. Его не надо было убеждать в очевидном. Он всё понимал, тоже побывал во всех высоких инстанциях, но ничего не получалось. Но капля и камень долбит. Не знаю, что случилось, но, к счастью, проект спустили на тормозах и тихо похоронили. Не знаю, произошло бы это, если бы Игорь Васильевич и его единомышленники промолчали и не пытались переломить ситуацию.

Принципы, которым он никогда не изменял

Книга воспоминаний об Игоре Васильевиче опубликована в серии “Творцы ядерного века” (1998). Однако в отличие от большинства учёных-творцов ядерного века, он никогда не принимал участия в создании каких-либо вида оружия. Он всегда работал только для защиты людей и от атомной энергии, и от вредных химических веществ, и от аллергенов, и от вирусов. Он защищал и исторические памятники, спасал разрушающиеся церкви и фрески, книги и книгохранилища. Одним словом, Игорь Васильевич был защитником.

В эпоху “гайдаровщины”, когда зарплату или вообще не платили, или платили доли того, что мы получали раньше, Игорь Васильевич однажды пришёл с работы воодушевлённый и сказал, что американцы предложили им совместную

работу и будут платить зарплату сотрудникам и ему – руководителю – обещают немалые деньги. Переговоры были на следующий день. Игорь Васильевич вернулся не просто расстроенный, а даже злой, что для него вообще было нехарактерно. Помолчав немного, сказал: “Знаешь, я отказался. Они предложили принять участие в проекте по научным основам использования аэрозолей для распыления веществ. Это же можно использовать для бактериологической и химической войны. Для меня и моего отдела такие работы невозможны”. Естественно, дискуссии по этому вопросу у нас дома не было.

Есть люди, которые целью своей жизни считают карьеру – научную, политическую и т. п. Наверное, в этом нет ничего плохого. Однако пути к достижению вершин бывают разные. Многие выбирают путь безоговорочного согласия с вышестоящим начальством. Несмотря на выгодность такого согласия, Игорь Васильевич никогда не колебался в выборе решений и меньше всего думал о карьере. Честно говоря, карьера его просто не интересовала.

Он рассказывал, что однажды, много лет назад, его и несколько других академиков вызвали в ЦК КПСС (хотя он никогда не был членом партии) для обсуждения строительства целлюлозного комбината на озере Байкал. Он выступил категорически против, аргументированно отстаивая свою точку зрения, объясняя возможные последствия и т. п. Против был и академик А. Д. Сахаров (он написал о своей позиции и мнении Игоря Васильевича в своих воспоминаниях). Другие академики – не хочется называть их фамилии – были дружно за. Некоторые из них после этого стали директорами институтов, членами Президиума Академии и т. п. А Игорь Васильевич попал в опалу. Такая же несгибаемая позиция у него была по поводу строительства ленинградской дамбы. Игорь Васильевич, тщательно изучив проект, дал научно обоснованное отрицательное заключение и опять попал в немилость. И ещё пример – Чернобыльский. Он был приглашён на заседание комиссии Госдумы по Чернобылю. В это время по телевизору нагнетались страхи показом двухголовых телят и других страшных картинок. Игорь Васильевич всю жизнь занимался атомной энергетикой, знания имел глубоко профессиональные и выступил, как и академик Л. А. Ильин (высочайший профессионал в области радиационной биологии), с научной аргументацией против нагнетания страхов. Контраргументом против их выступлений были речи некоторых политических деятелей, главным козырем которых было выражение “А народ думает по-другому...”. На следующий день появилась статья в “Известиях”, где последними словами были обруганы выступления Игоря Васильевича и Л. А. Ильина. В то время выгоднее было занимать другую позицию. Но Игорь Васильевич никогда не изменял своим принципам.

Ленинская премия

В 1965 году Игорь Васильевич и его сотрудники (П. И. Басманов, Н. Б. Борисов, В. И. Козлов, Б. И. Огородников, Б. Ф. Садовский) были представлены к Ленинской премии за научную работу “Технология получения новых фильтрующих материалов и их внедрение в промышленность”. В начале 1966 года, когда в высоких сферах решался этот вопрос, Игоря Васильевича вызвали к одному из ответственных начальников и сообщили ему, что премия будет присуждена, но при одном условии: если Игорь Васильевич среди авторов останется один, как руководитель. Игорь Васильевич сначала даже лишился дара речи. Потом возмущился: как можно присуждать премию одному, если работу выполнял коллектив. Ему, естественно, возражали: он руководитель и т. п. Игорь Васильевич сказал, что в таком случае он решительно отказывается от премии.

Премию дали всем.

В том же году на Ленинскую премию была представлена работа по внедрению живой вакцины против полиомиелита в нашей стране. Авторами были академик АМН СССР М. П. Чумаков (директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР) с сотрудниками и академик АМН СССР А. А. Смородинцев с сотрудниками. Я тогда работала в Институте полиомиелита, и мы все очень радовались, что лауреатами станут наши молодые коллеги (В. А. Лашкевич, С. Г. Дроздов, С. Г. Дзагуров), которые и разработали основы производства живой вакцины, критерии её безопасности и оценки эпидемиологической эффективности. Однако премия в том же 1966 году была присуждена только руководителям – М. П. Чумакову и А. А. Смородинцеву,

с которыми высокое начальство, видимо, имело тот же разговор, что и с Игорем Васильевичем. Я далека от осуждения поступка этих достойнейших людей, но просто в одних и тех же ситуациях разные люди ведут себя неодинаково.

О праздновании 1000-летия Крещения Руси

Как-то в один из дней 1987 года мы с Игорем Васильевичем были в гостях у моего дяди (маминого родного брата) В. Э. Раушенбаха. В гостях также был академик Борис Викторович Раушенбах с женой и дочками. Разговор зашёл о том, что никто ничего не пишет о предстоящей великой дате – 1000-летию Крещения Руси. Несколько слов об академике Б. В. Раушенбахе, который был одним из пионеров отечественной космонавтики. Им была создана система ориентации орбитальных станций, сфотографировавших, в частности, обратную сторону Луны. Борис Викторович разработал математическую теорию перспективы в живописи: им написана книга “Геометрия картины и зрительное восприятие”, в которой, в частности, объясняются особенности изображения в иконописи. Им также написаны замечательные книги “Штрихи к судьбе народа” – о судьбе русских немцев (2000) и “Постскриптум” – удивительно доверительная книга о себе и своей жизни (1999). Уже после его кончины вышла книга “Праздные мысли”, в которую включены его воспоминания об академике С. П. Королёве, Ю. Гагарине и др. Борис Викторович был глубоко верующим человеком, о чём неоднократно говорил в своих выступлениях на ТВ. Об этом недавно написано в прекрасной книге член-корреспондент РАН И. А. Захарова-Гезехуса “Учёные верят в Бога” (2015). Борис Викторович доказал непротиворечивость богословского учения о Святой Троице.

Возвращаясь к нашей встрече с Борисом Викторовичем и его семьёй. Игорь Васильевич был очень рад возможности поговорить о 1000-летию Крещения Руси и неожиданно обратился к Борису Викторовичу со словами, что он – один из немногих, кто мог бы написать о значении этого события для нашего Отечества, и попросил его написать статью о 1000-летию Крещения Руси для публикации в альманахе “Памятники отчества”, председателем редакционного совета которого Игорь Васильевич был с момента основания этого издания. Борис Викторович легко и с удовольствием согласился. Проходит некоторое время, и Раушенбах сообщает, что он не только написал статью, но и показал её какому-то начальнику, который решил немедленно опубликовать её в журнале “Коммунист”, что и было сделано. После этого статья была напечатана и в альманахе. Таким образом, был дан старт для празднования этого великого события. Журналы и газеты захлестнула лавина публикаций на эту тему. Кто-то наверху, наверное, узнал о первоначальных истоках возникновения интереса к этому событию, и в 1988 году Игорь Васильевич в составе делегации вместе с В. Г. Распутиным, В. Н. Крупиным, митрополитом Кириллом (теперь Патриархом), акад. Н. И. Толстым и др. был приглашён в Италию на празднование 1000-летия христианства на Руси.

Главным для него было дело, а не признание заслуг

В 1984 году Игорь Васильевич получил премию Калинги “За популяризацию научных знаний” (Международная премия ЮНЕСКО). Она была не только за популяризацию научных знаний на страницах “Химии и жизни”, но и за огромное число статей, например, в Детской энциклопедии. Очень важной Игорь Васильевич считал серию “Ученые – школьникам”, постоянным редактором которой он был. Благодаря его усилиям было издано более 100 книг, написанных ведущими учёными нашей страны, каждого из которых он уговаривал лично: Е. И. Чазов “Сердце и XX век”, Ф. Г. Углов “Береги здоровье и честь смолоду”, В. Л. Янин “Берестяная почта столетий”. Игорем Васильевичем совместно с Н. Н. Семёновым написана книга “Неведомое на вашу долю”, с Д. Н. Трифоновым – “Великий закон”, без соавторов – “Самое необыкновенное вещество в мире” – о воде. Эта книга была переиздана после его кончины.

После возвращения из Парижа, где вручалась премия ЮНЕСКО, он сказал мне, что необыкновенно расстроился, увидев карту мира, всю испещрённую данными о памятниках под эгидой и охраной ЮНЕСКО. Советский Союз на этой карте выглядел огромным белым пятном. Прошло немного времени, и Игорь Васильевич говорит, что считает своим долгом съездить в московский

офис организации и объяснить им необходимость исправления этой ошибки. Помню, что офис находился на проспекте Калинина (теперь улица Воздвиженка), напротив Дома Дружбы. Я, естественно, ждала его в холле, и когда через час он вернулся, то был очень радостным, сказав, что встретил полное понимание и уверен, что дело сдвинется с мёртвой точки. Действительно, через некоторое время ему сообщили, что Красная площадь внесена в этот замечательный список памятников ЮНЕСКО. Кажется, это был первый прецедент. Мне ничего не известно о том, знает ли кто-нибудь, что Игорь Васильевич был инициатором этой акции, связанной с ЮНЕСКО. Никогда не слышала, чтобы он кому-либо говорил об этом. Для него главным было дело, а о признании заслуг он не заботился.

Второй случай необыкновенной скромности Игоря Васильевича связан с “ядерной зимой”. Понятие “ядерная зима”, которая наступила бы в результате ядерной войны, неразрывно связано с именем академика Никиты Николаевича Моисеева. В 1970–1980 годы на эту тему были телестюды “СССР–США”. Все газеты писали об этом как и о триумфе советских учёных, предсказавших жуткие последствия возможной ядерной войны и наступление “ядерной зимы”, губельной для всего человечества. Игорь Васильевич был в приятельских отношениях с Н. Н. Моисеевым, человеком невероятной энергии, одним из организаторов Эколого-политологического университета, имеющим много заслуг в науке. Он часто с женой бывал у нас дома, так же, как и мы у них. Когда Игорь Васильевич и Николай Николаевич удалялись для беседы, я, естественно, не присутствовала при их разговорах. Но ни один из них мне не говорил о том, что Игорь Васильевич, как и академик Георгий Сергеевич Голицын, был соавтором разработки проблемы “ядерной зимы”. Я узнала об этом только в 2007 году из доклада одного из учеников Игоря Васильевича. И хотя у нас в разговорах эта тема поднималась, Игорь Васильевич скромно умалчивал об участии в научных обоснованиях, послуживших основой для запрещения ядерных испытаний. Повторю: для него главным было дело, а признание его мало интересовало.

Как возникают новые слова

Игорь Васильевич рассказывал, что ФП нашли распространение в самых неожиданных областях. Когда он со своими сотрудниками предложил использовать ФП для “поглощения” шума, не знали, как назвать этот новый маленький агрегат. Вдруг Игорь Васильевич говорит: “Ведь мы это сделали для того, чтобы беречь уши, значит, и назвать нужно – беруши”. Этот термин так прижился, что в аптеке вам спокойно продадут беруши, их предлагают в самолётах, даже если они сделаны без ФП. Авторство, естественно, забыто. Игоря Васильевича это не огорчало, он не стремился к закреплению приоритета. Главное – сделано полезное дело для людей. Привожу цитату из книги В. М. Лейчика “Люди и слова” (издательство “Наука”, 1982): “На основе реализации этой тенденции (телескопические слова: скрепление слов в одно целое автором) появилось оригинальное телескопическое слово “беруши”: так назвали новый аппарат, созданный советским учёным для борьбы с вредным влиянием шума на человеческий организм. Слово “беруши” образовано от предложения-призыва “Берегите уши!”. Теперь это обычное существительное, вроде ножницы, сани и т. п. И оно склоняется, как эти слова: нет берушей, работают с берушами... Это совсем новый способ словообразования, находящийся где-то между аббревиатурой и телескопией”.

Так что Игорь Васильевич не только изобретатель ФП, но и нового русского слова!

“Химия и жизнь” в жизни Петрянова-Соколова

Этот журнал был создан по инициативе академика Н. Н. Семёнова и Игоря Васильевича, который с самого начала существования журнала и до конца своих дней был его главным редактором. Вспоминается несколько случаев, связанных с журналом, но без хронологической последовательности.

Когда М. Б. Черненко решил оставить должность зам. главного редактора журнала, встал вопрос, кто мог бы продолжить “журнальное дело”. Игорь Васильевич рассказал мне, что на собрании коллектива он предложил канди-

датуру Л. Н. Стрельниковой, но главным аргументом против было то, что она находится “в положении”. Игорь Васильевич объяснял, что этот процесс носит временный характер, но победили его противники. Тогда был назначен В. Станцо. В конце концов, Л. Н. Стрельникова после ухода В. Станцо всё же стала зам. редактора, а после кончины Игоря Васильевича – главным редактором журнала, сохранив все традиционные разделы, высокий научно-жизненный уровень, благодаря чему и в наши дни журнал держит высокую планку и интересен не только химикам, но и любителям жизни!

Традиционно в новогодние и другие праздники в редакции проводили вечера, на которые приглашали авторов, читателей и просто хороших людей. Там были и занятые шарады, песни в исполнении Вероники Долиной, и чай, и весёлые шутки.

Сколько времени уделял Игорь Васильевич журналу? Можно ответить на латыни: *Quantum satis* – “Сколько нужно”. Он ходил на все заседания редколлегии и всегда гордился, что в составе редсовета были не только учёные, но и государственные деятели (Первухин, зам. пред. Совета Министров СССР, а также министр химической промышленности и др.), которые, несмотря на постоянную занятость, считали важным для себя присутствовать на обсуждении статей, освещающих последние достижения науки или злободневные вопросы современности.

Когда надо было или хлопотать о помещении для редакции, или решать какие-либо проблемы в высших инстанциях (издательство “Наука”, ЦК КПСС), Игорь Васильевич всегда сам выполнял эти функции. Почти каждый вечер Игорь Васильевич читал рукописи, присланные для печати, что-то одобрял, что-то отклонял. Однажды был такой случай: главный научный сотрудник нашего института (Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН) профессор А. П. Акифьев написал статью, которую посвятил критическому разбору некоторых аспектов теории Дарвина. Игорь Васильевич спросил моё мнение об этом учёном, с которым меня всегда связывали самые дружеские отношения, который был профессионалом высокого класса, написал прекрасные книги по генетике: не только учебник (в соавторстве с профессорами С. И. Алиханяном и Л. С. Черным), но и книгу для массового читателя “Генетика и судьба”. Между прочим, даря мне эту книгу, Алексей Павлович написал “Галине Дмитриевне с благодарностью за многолетнюю дружбу. Среди этих событий запомнились два: Ваша бескорыстная и самоотверженная помощь в моё трудное время и незабываемая беседа с Игорем Васильевичем, которую Вы устроили. Хранит Господь Вас и Ваших близких”. Игорь Васильевич тогда смущённо сказал мне, что в таком виде он не может рекомендовать статью А. П. Акифьева в журнал. Тогда я предложила Игорю Васильевичу встретиться с Алексеем Петровичем. И вот он у нас дома. Я только слушала, не вмешиваясь в разговор, но с удивлением поняла, что Алексей Петрович, прекрасно выступающий в дискуссиях, имеющий всегда своё мнение по самым сложным вопросам, соглашается со всеми замечаниями и пожеланиями Игоря Васильевича. На следующий день он меня бесконечно благодарил за знакомство с Игорем Васильевичем, удивлялся, как он, физико-химик, так тонко разбирается в вопросах эволюционной биологии, и признался, что все его замечания бесценны и безоговорочно будут приняты.

Когда редакция журнала находилась в подвальном помещении на Ленинском проспекте, Игорь Васильевич один, а иногда два раза в неделю ходил (мы жили рядом) посмотреть рисунки художников. Нужно сказать, что и раньше, и теперь журнал иллюстрирован замечательными “картинками”, иногда смешными и остроумными, но всегда чётко выверенными и подходящими к тексту.

Игорь Васильевич каждый месяц получал корректуру очередного номера. Брал ручку с красными чернилами и выправлял, если нужно, букву или запятую. Поскольку он предварительно читал рукописи, корректуру ему читать было неинтересно, тем более, обладая великолепной памятью, всё наиболее интересное он уже запомнил. Позже, когда наступили в 1990-е годы “смутные” времена, журнал стали печатать в Финляндии. Это оказалось дешевле, чем в подмосковном городе Чехове, так что чтение корректур отпало. Это один из многочисленных парадоксов того (да и, к сожалению, нашего времени!), что очень удивляло, огорчало и возмущало Игоря Васильевича.

Эти строки – штрихи к портрету Игоря Васильевича, который всегда считал, что популяризация достижений науки – главное дело каждого истинного учёного.

Не было людей, которые были ему безразличны

Читаю письмо, написанное писателем А. Марейным из Дагестана на четырёх страницах, которое кончается словами “Помогите!”. Он пишет, что выступление Игоря Васильевича в Союзе кинематографистов СССР по поводу охраны природы побудило его обратиться к Игорю Васильевичу с просьбой-надеждой о помощи в защите уникальной природы его замечательного края. Писатель перечисляет огромное число вопиющих фактов об осушении, например, Астраханского залива Каспийского моря, где было пристанище осетров, место гнездовой и зимовки водоплавающих птиц из стран Азии и Африки, что привело к засолению пастбищ; о вырубке лесов, прославленных в “Хаджи-Мурате”, “Казаках”; о браконьерстве, осуществляемом с участием работников Государственной охотничьей инспекции Дагестана. Перечисляются фамилии и конкретные факты. Что делает Игорь Васильевич? При всей своей безумной занятости, “удалённости” Дагестана, незнании с автором письма, Игорь Васильевич пишет письмо в Прокуратуру СССР и в Министерство сельского хозяйства. Ответ (7.09.1978) из Прокуратуры СССР приходит по домашнему адресу Игоря Васильевича. В нём подтверждаются “факты нарушения законодательства об охране природы”. По ним приняты меры прокурорского реагирования. Этот документ рассмотрен на заседании комиссии Верховного Совета Дагестанской АССР по сельскому хозяйству и охране природы. Намечены конкретные меры, направленные на устранение нарушений природоохранительного законодательства.

Это один из бесчисленных фактов помощи людям, которые не могут молчать, быть равнодушными.

Он восхищался своими друзьями

“Служить людям” – так называлась одна из статей Игоря Васильевича. Его замечательным качеством было видеть самое хорошее, что есть в каждом человеке, рассказывать об этом другим, восторгаясь какой-то одной характерной чертой и не сосредотачиваясь на недостатках человека. Меня всегда удивляло, какие замечательные люди его окружают. После того как Игоря Васильевича не стало, эти люди остались и со мною. Не так давно я поняла, что “плохие” люди к нему не “приживались”, или он им был не интересен, или как-то мягко он их сам отталкивал. Не знаю.

Наверное, к Игорю Васильевичу очень точно подходит высказывание И. Гёте: “Чтобы быть достойным человеком, признай достоинство других”.

И он действительно искал, опирался, уважал достоинство каждого человека, с которым ему приходилось общаться. Игорь Васильевич многих людей называл своими друзьями. Вероятно, в понятие дружбы он вкладывал взаимную симпатию, близость взглядов, какие-то качества, которыми он особенно восторгался. Поэтому друзей у него было много. Перечислять всех невозможно. Напишу о тех, кого уже нет с нами. Игорь Васильевич буквально поклонялся Леониду Максимовичу Леонову. За его талант, за высочайшую стилистику русского языка, его гражданскую позицию, его постоянное страдание за страну. Леонид Максимович был одним из основателей ВООПиКа. Мы бывали у него и в московской квартире, и на даче в Переделкино. Говорили подолгу и обо всём. Он подробно рассказывал, как бывал на обедах у М. Горького в его особняке Рябушинских, на которых часто присутствовали И. Сталин, Н. Бухарин, К. Ворошилов и другие. Как постепенно из числа приглашённых навсегда исчезали люди, например, Н. Бухарин. Леонид Максимович накануне визита к нему М. С. Горбачёва (в связи с 90-летием писателя) советовался-делился с нами своей тревогой, стоит ли говорить генсеку о том, что курс у него неправильный, что он делает очевидные ошибки. Потом, когда мы увиделись после визита Горбачёва, Леонид Максимович снова сказал, что он пытался говорить с ним откровенно, но Горбачёв ничего не понял. Леонов считал, что Россию спасет чувство патриотизма, если оно возродится у людей, и Православие.

В этой связи хочется подчеркнуть, что с самого начала основания альманаха “Памятники Отечества” Л. М. Леонов был членом редсовета и очень приветствовал такое издание, где впервые за много-много лет появились публикации о церквях, об исторических памятниках, о замечательных людях.

Когда Игорю Васильевичу исполнилось 80 лет, Леонид Максимович подарил ему своё полное собрание сочинений, каждый из 10-ти томов которого был им подписан. Леонид Максимович много рассказывал о болгарской прорицательнице Ванге. Он был у неё несколько раз. Абсолютно все её предсказания сбылись, вплоть до пожара в доме Леонида Максимовича. Он говорил, что единственное, в чём, вероятнее всего, ошиблась Ванга, — это предсказание, что его самый главный роман — “Пирамида” — будет опубликован при его жизни. “Я никак не могу закончить этот роман, он очень сложный, многоплановый, я его без конца переделываю”, — говорил Леонид Максимович. Действительно, трудно верилось, что эта громадная книга, учитывая тщательность автора в построении каждой фразы, мысли, будет когда-нибудь закончена. И вдруг книга кончена и опубликована в приложении к журналу “Наш современник”. И здесь Ванга оказалась права! Через несколько дней после выхода романа в свет Леонид Максимович скончался во сне.

С академиком Анатолием Петровичем Александровым Игоря Васильевича связывали очень тёплые отношения. Они много раз ездили вместе в командировки по “атомным” делам. Однажды поехали на Урал глубокой зимой. После тяжёлых, занятых работой дней Игорь Васильевич и Анатолий Петрович решили принять участие в охоте. Снег глубокий, проваливались, но шли вперёд и вперёд. Вдруг кто-то из сопровождающих взволнованно говорит: “А где Анатолий Петрович?” Начали звать, искать, нигде нет. Все в панике. Академик пропал. Как будто его и не было. Через какое-то время все взбудораженные находят Анатолия Петровича. Он тихо сидит в глубоком сугробе. Его спрашивают, что же он не откликнулся? Он, смеясь, отвечает: “Я же знал, что вы меня всё равно найдёте, не бросите”.

Фёдор Дмитриевич Поленов, внук знаменитого художника, пять лет был председателем ВООПиКа и снискал любовь и уважение всех, с кем он соприкасался. Он пригласил нас на юбилейный вечер, посвящённый памяти своего деда, в Малый театр. В другой раз мы были приглашены им в посольство Франции, в котором дети из ближайших к Поленову сёл (Бёхово и др.) принимали участие в детском спектакле, показанном для детей посольских служащих. Спектакли для детей, поставленные женой Фёдора Дмитриевича Натальей Николаевной, являются традиционными для Поленово. Традиция не прерывалась и идёт от деда, который устраивал и ёлки для деревенских ребятишек. О Наталье Николаевне нужно сказать особо. Она была много лет директором Поленовского музея-усадьбы. Это просто сгусток энергии, неиссякаемый источник доброжелательности. Про таких женщин Н. Некрасов сказал: “Коня на скаку остановит, // В горящую избу войдёт”. К ней из села приходят все — кто за советом, кто за лекарством, кто за чаем (около Поленово нет близко продовольственных магазинов). И никому никогда нет отказа. Могут это утверждать, потому что была гостией этой семьи и жила там несколько дней.

Глубочайшая интеллигентность Фёдора Дмитриевича проявлялась во всём. Но что меня не просто поразило, а потрясло — это экскурсия по Поленовскому музею. Фёдор Дмитриевич, во-первых, занятой человек, пишущий очень интересные книги по русской культуре; во-вторых, он уже тогда был не очень здоров — сердце. Тем не менее, он лично в течение более двух часов показывал мне всё наиболее интересное в музее. Я была единственным экскурсантом. Мне было очень неловко. Но все мои робкие попытки хотя бы сократить его неутомимый показ и рассказ заканчивались полным непониманием. Он считал, что если я его гостья (И. В. уже не было), то он должен сам провести полную экскурсию. От Фёдора Дмитриевича просто струилась какая-то доброта, спокойствие, внимательность.

У Игоря Васильевича была привычка: во время сессии Академии наук “прихватывать” кого-нибудь домой на обед. Это было всегда неожиданно. И вот однажды — звонок в дверь, открываю и вижу Игоря Васильевича с академиком Никитой Ильичом Толстым — праправнуком Л. Н. Толстого. Никита Ильич — высокий, с седой бородой и с небольшими светлыми глазами, очень похожий (или это только от знания, кто он?!) на Льва Николаевича. Игорь Васильевич и Никита Ильич садятся поговорить в кабинете, а я хлопочу на “обеденную тему”. Приглашаю к столу в комнату. Никита Ильич вдруг спрашивает меня: “А что, Вы хотите меня обидеть?” Трудно передать моё состояние: вижу в первый раз, счастлива познакомиться, много слышала о нём, и вдруг такое... Он продолжает дальше: “Где Вы обедаете обычно?” Я отвечаю: “На кухне”. А он: “Почему же Вы меня приглашаете в комнату, на кух-

не – лучше”. Вот такая необыкновенная простота и нежелание причинить какие-то дополнительные сложности. Ещё один штрих к его портрету. Когда Игорь Васильевич и Никита Ильич, будучи членами делегации, возвращались из Италии с торжеств, посвящённых 1000-летию христианства на Руси, оказалось, что за Игорем Васильевичем была послана машина-микроавтобус. Поэтому мы развозили по домам всех членов делегации (писателей В. Распутина, В. Крупина и др.). Пока мы ехали из аэропорта Шереметьево, встречалось по дороге много церквей. И каждый раз Никита Ильич встретился и кланялся. Для него, его облика, это было удивительно естественно.

Ещё один яркий человек в окружении Игоря Васильевича – В. Д. Захарченко. Несколько десятилетий он был главным редактором журнала “Техника – молодёжи”, а в последние годы создал и возглавлял очень оригинальный журнал “Чудеса и приключения”. Василий Дмитриевич был очень доверчивым человеком. Возможно, по этой причине иногда он поддерживал в своём журнале людей с сомнительной репутацией или истолковывал известные факты в новом, неожиданном ключе. Так, он представил на каком-то из вечеров этого журнала “наследника” царского престола, сына царевича Алексея Романова-Дальского, который в своём выступлении говорил, как в 1918 году его отцу удалось спастись. Он даже раздавал княжеские титулы. Он производил впечатление культурного, образованного, мягкого человека, и невольно возникал вопрос: зачем ему всё это нужно?

Но возвратимся к образу В. Д. Захарченко. Он был поэт, писатель, горнолыжник, путешественник, горячий патриот, собиратель вокруг себя интересных людей. Ему принадлежит изумительное стихотворение, пронизанное истинной любовью к нашей стране:

*О, родина, за всё меня прости!
За нищету при сказочном богатстве,
За ложь у вечной правды на виду,
За то, что потонула в казнокрадстве,
За то, что я беду не отведу.
За то, что, позабыв родные песни,
Талдычишь зарубежный тарарам.
Но всё равно,
Хоть лопни ты, хоть тресни,
Я никому Россию не отдам!
Хочу домой...
Влеком магнитной силой,
Ползу, бегу, лечу к тебе всегда
На вечный зов моей Отчизны милой...*

Много лет 1 августа, в день его рождения, мы с Игорем Васильевичем бывали приглашены в летний дом Захарченко и ехали на речном пароходе или, реже, на машине в Аксаково, где у них была в деревне обычная крестьянская, очень уютная изба с длинным столом, уставленным всякими яствами. Однажды я познакомилась там с избретенателем, который из старых выброшенных машин сделал великолепный лимузин-амфибию. Я была первой, не побоявшейся с небольшой горки съехать с водителем на машине прямо в речку и, к восторгу деревенской детворы, мирно поплыть против течения.

В доме Василия Дмитриевича мы познакомились и подружились с космонавтами В. Джанибековым и В. Аксёновым; экс-чемпионом мира по шахматам Смысловым, который, между прочим, прекрасно пел; с народным артистом СССР Н. И. Некрасовым и его женой.

В этом же доме мы много беседовали с министром культуры РФ в советские времена В. С. Мелентьевым, которому мы все обязаны возрождением народных промыслов, прекрасными книгами о “Золотом кольце”, изданием Евангелия с иллюстрациями палехских мастеров. Он был неутомимым пропагандистом русской культуры, высокообразованным, добрым человеком.

Всех этих разных по своим интересам и профессиям людей умел объединять Василий Дмитриевич Захарченко, для каждого находил какие-то добрые, но характерные именно для этой личности слова.

К плеяде замечательных людей, которые были в окружении Игоря Васильевича, безусловно, принадлежит академик А. Л. Яншин, с которым Игорь Васильевича связывали очень тёплые отношения. А. Л. Яншин, как и Игорь

Васильевич, был активным членом ВООПИК, знатоком русской истории, глубоко понимающим проблемы культуры. Незабываемо для меня посещение Александром Леонидовичем и Игорем Васильевичем Крутицкого подворья – второго Кремля Москвы, в прошлом – духовного центра Российского государства. Первый раз мы были в Крутицах в 1976 году, убежав с очередной сессии Академии наук. Тогда под руководством реставратора-архитектора П. Д. Барановского шли интенсивные работы по реставрации Крутицкого подворья. Постройки внутри и снаружи были покрыты лесами. Нас вначале не хотели пускать, но потом кто-то из строителей, узнав Игоря Васильевича и Александра Леонидовича, пригласил нас внутрь. Даже трудно вообразить, как лихо Игорь Васильевич и Александр Леонидович, который недавно начал только ходить после перелома ноги, прыгали с одной шатающейся доски на другую, рассказывали друг другу, что здесь было и что должно быть. Я была в предельном напряжении, потому что понимала: если кто-то из них упадёт, то я не смогу его поднять и вытащить из тех катакомб, в которых мы находились.

В Крутицах с Александром Леонидовичем мы бывали много раз – случайно или специально, потому что и Игорь Васильевич, и Александр Леонидович – оба – были обеспокоены судьбой этого знаменитого места Москвы, особенно после того, как не стало П. Д. Барановского. Между прочим, в наше смутное время бесконечно говорят о том, что большевики разрушали храмы. А вот Крутицкое подворье почти наполовину было разрушено при Екатерине II, на части территории была создана гауптвахта. Внутренним смыслом этого “деяния” было показать, что светская власть выше духовной, сосредоточие которой и было напротив Кремля в Крутицах. Кстати, Екатерина сделала “безликим” и храм Казанской Божьей Матери на Красной площади, приказав разрушить апсиды и выкрасив его в белый цвет (он был красно-огненный, как реставрирован сейчас по записям Барановского, который сделал чертежи храма “доекатерининской” эпохи). С Александром Леонидовичем мы были на одном из первых духовных концертов в Нарышкинском храме в Филях; несколько раз были у него дома, он тоже бывал у нас. И когда я слушала их беседы, то всегда поражалась их единомыслию, их одинаковому видению проблем (например, о чём уже было сказано, о повороте северных рек). Последний раз я видела Александра Леонидовича на заседании ВООПИК, когда уже не было Игоря Васильевича. Ему было трудно ходить, я проводила его до машины...

Он не умел быть равнодушным. Визит к митрополиту Питириму

После многолетнего ремонта открылась Третьяковская галерея, и Президиум общества охраны памятников истории и культуры был приглашён ещё до официального открытия посетить галерею. Мы с Игорем Васильевичем и другими членами Президиума медленно двигались из зала в зал, встречаясь со знакомыми картинами с каким-то новым чувством восхищения. Останавливаемся с Игорем Васильевичем перед иконой Владимирской Божьей Матери, и оба чувствуем, что оторваться от неё невозможно, понимаем, что это – шедевр шедевров. Икона плотно упакована в раму со стеклом. Игорь Васильевич внимательно рассматривает “упаковку” и вдруг говорит, что воздух, наш агрессивный московский воздух, попадает внутрь, и икона может разрушаться, особенно если учесть, что в большие праздники её выносят на службу в церковь Николы в Толмачах, где и влажность, и температура другие. “Придётся идти к митрополиту Питириму, – сказал Игорь Васильевич, – и объяснить ему необходимость герметизации этой уникальной иконы ФП”.

Через несколько дней мы были на Погодинке, в резиденции митрополита Питирима. К сожалению, продолжительный разговор с ним не окончился пониманием проблемы. Митрополит Питирим был необыкновенно любезен, но посчитал, что икона надёжно защищена, и он не видит необходимости менять конструкцию защиты, посоветовав при этом обратиться к директору Третьяковской галереи. Через несколько дней мы посетили также и очень любезного директора, но – увы! – с тем же результатом. Игорь Васильевич был опечален, что “хранители” реликвии не в состоянии осознать, что не сразу, но через 10–15 лет икона будет нуждаться в реставрации. Не помогли доводы, что в Кремлёвских музеях, в частности, Оружейной палате, все экспонаты защищены ФП, а раньше шапку Мономаха, например, ежегодно выбывали чуть ли не палкой от всепроникающей пыли.

Казалось бы, какое дело Игорю Васильевичу, человеку, чрезвычайно занятому, уже немолодому (но молодому духом!), до иконы. Но он не мог иначе. Всегда делал всё, что считал необходимым для сохранения, защиты, сбережения реликвий.

На одном из вечеров воспоминаний об Игоре Васильевиче директор Института физической химии им. Карпова рассказал, что в “гайдаровское” смутное время, когда всё рушилось, а наука превращалась в ненужный предмет, Игорь Васильевич каждую неделю приходил к нему с единственным вопросом: чем он может помочь институту. Таким путём, с помощью Игоря Васильевича, удалось достать для института ксерокс, факс и т. п.

Игорь Васильевич не мог оставаться безразличным, равнодушным не только к людям, но и к делам, которые он считал своим долгом делать.

Учителя

Сейчас как-то померкло понятие “учитель”. Меняются, к сожалению, нравственные ориентиры, исчезает чувство признательности, благодарности, а именно они являются непременными атрибутами культурного человека. Игорь Васильевич писал: “Учитель – понятие святое. Высокая должность. Она подразумевает обязательно хорошего, порядочного человека...” Игорь Васильевич вспоминал своего школьного учителя арифметики, который давал пример великой любви к ученикам, бесконечного терпения. Когда Игорь Васильевич защитил диссертацию, поспешил к нему. Дал телеграмму, когда получил государственную награду.

Школьный учитель русского языка Н. Н. Волков был и крупным учёным-искусствоведом, художником (его акварели есть в Третьяковской галерее). Этот учитель не только научил писать сочинения, но и почти все его ученики становились “поэтами”. Игорь Васильевич был тесно связан с ним до конца его жизни, а потом дружба продолжилась с его женой – скульптором О. В. Кванихидзе. Она автор памятника Прянишникову около Тимирязевской академии. Бюст её работы стоит на могиле Игоря Васильевича. Мы были у неё на 95-летию, вспоминая учителя Игоря Васильевича – Н. Н. Волкова, о котором всегда говорили восторженные слова.

Игорь Васильевич часто и тепло вспоминал своих учителей в университете, всех их просто невозможно перечислить. Смешная история с академиком А. Н. Бахом была рассказана Игорем Васильевичем в передаче профессора С. П. Капицы “Очевидное – невероятное”. Как-то раз жаркой летней ночью Игорь Васильевич со своим товарищем ставили в Институте опыты. Горели горелки, что ещё больше повышало температуру. Они решили раздеться совсем – так легче было работать. Вдруг они слышат шаги, и догадываются, что, вероятнее всего, это директор Института А. Н. Бах, который в то время жил в стенах Института физической химии им. Карпова. Мгновенно они принимают решение спрятаться и лезут под стол. Открывается дверь, входит А. Н. Бах, видит горящие горелки, никого нет, стоит немного и выходит. Игорь Васильевич идёт на то место, где стоял директор, и убеждается, что он видел их, голых, под столом и тактично ничего не сказал, чтобы не смущать.

Наверное, невозможно перечислить огромное число рассказов о замечательных учителях, которых он всегда с благодарностью вспоминал.

Так хотелось бы, чтобы нынешнее поколение сумело ценить то, что оно получило от своих учителей – людей, которые дают не только знания, но и учат думать и, надеюсь, использовать свои знания на благо людей.

Таинственные совпадения

Игорь Васильевич родился в селе Большая Якшень Горьковской (Нижегородской) области. С родителями он часто ходил на богомолье в Саровский монастырь. Величие храмов, песнопения, таинственные лики святых – всё это врзалось в память маленького мальчика и воспринималось, как дивное чудо.

Много-много лет спустя, когда Игорь Васильевич был поглощён научными разработками по защите от атомной радиации, ему сказали, что он должен выехать в один закрытый город. Для этого со своим сотрудником П. И. Басмановым он должен приехать в аэропорт Быково и сесть на скамейку. Они так и сделали. К ним подошёл человек и повёл к самолёту. Через некоторое время

самолёт приземлился, их встретили и повели на объект. Спустя некоторое время Игорь Васильевич говорит своему спутнику под секретом: “Я знаю, где мы находимся. Я узнал Саровский монастырь”. Это был, как мы теперь знаем, Арзамас-16. Игорь Васильевич впоследствии бывал в этих местах много раз.

Игорь Васильевич похоронен на Донском кладбище. Тогда, более пяти лет назад, в середине кладбища возвышалось здание крематория (оно уже тогда не функционировало). Однако через год это здание начали перестраивать в храм, который теперь уже работает. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что эта церковь – единственная в Москве церковь Серафима Саровского!

Эти удивительные совпадения напомнили мне нечто подобное с А. Ахматовой. В Ленинграде она долгое время жила в Фонтанном доме, некогда принадлежавшем графу Шереметьеву. Когда Анна Андреевна скончалась, то прощание с нею было в морге больницы Склифосовского, как известно, построенной Шереметьевым как странноприимный дом. В Ленинграде прощание с А. Ахматовой было в Доме учёных, также принадлежавшем ранее графу Шереметьеву.

Такие совпадения – что это?..

Предчувствие

В жизни много загадочного. Некоторые люди обладают даром предвидения. Многократно описано, что даром прозорливости обладали все знаменитые старцы Оптиной пустыни (Антоний, Илларион, Амвросий, Анатолий и др.). Из мирских людей это свойство присуще было многим поэтам: Ф. Тютчеву, А. Блоку, А. Ахматовой, Н. Гумилёву, которые в своих стихах предсказывали будущее страны, своих близких, даже свои последние дни. Так, Н. Гумилёв писал:

*И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.*

Французский поэт Аполлинер предвидел своё ранение в голову, которое свело его в могилу:

*Минерва рождена моею головой,
Кровавая звезда — венец мой неизменный.*

За месяц до роковой дуэли М. Ю. Лермонтов написал:

*С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана;
По капле кровь точилась моя...*

Мне хочется рассказать о двух случаях в жизни Игоря Васильевича.

Накануне 1996 года к нам домой пришёл один из ближайших учеников Игоря Васильевича П. И. Басманов и попросил, чтобы Игорь Васильевич сказал что-нибудь новогодне-поздравительное сотрудникам руководимого им отдела (в этот день Игорь Васильевич неважно себя чувствовал и не мог пойти, как бывало ранее, на Новогодний праздник в институт). Включили магнитофон, Игорь Васильевич сказал много тёплых слов и пожеланий в адрес сотрудников и вдруг в последней фразе поздравляет всех с наступающим 1966 годом. Удивился и сам Игорь Васильевич. Выключили магнитофон. Почему-то мне стало ясно, что Игорь Васильевич, как говорят психологи, вытесняет 1996 год, и у меня мелькнула ужасная мысль, что это горькое предчувствие. А вспомнился 1966 год неслучайно: это был удачный год в его жизни. Он стал академиком и получил Ленинскую премию. В 1996 году Игорь Васильевич скончался.

Второй случай. На даче 18 мая 1996 года мы с Игорем Васильевичем гуляем по лесу. Прошу почитать стихи, и он читает:

*Уедем, бросим край докучный
И каменные города,*

*Где вам и холодно, и скучно,
И даже страшно иногда.*

Я запомнила эти строки, хотя раньше не знала этого стихотворения. Других стихов он читать не захотел, предложил ещё погулять, но меня искушали комары, и я попросилась домой.

19 мая Игоря Васильевича не стало.

Я не знала, кто автор этих стихов, но мне казалось, что Гумилёв. Оказалось, именно так. Конец этого стихотворения такой:

*Когда же Смерть, грустя немного,
Скользя по роковой меже,
Войдёт и встанет у порога,
Мы скажем Смерти: “Как, уже?”
И, не тоскуя, не мечтая,
Пойдём в высокий Божий рай,
С улыбкой ясной узнавая
Повсюду нам знакомый край.*

“Пытайся, пытайся...”

Однажды на дружеской встрече с оркестром народных инструментов “Боян” под управлением народного артиста СССР А. И. Полетаева Игорь Васильевич выразил сожаление, что исполняемая певицей народная песня “Лучинушка” на самом деле более длинная, а короткая интерпретация искажает её глубинный смысл. Он сказал, что может пропеть эту песню целиком. И запел. Все были поражены. Песня была длинной, когда он кончил, спросили, откуда он знает слова. Он ответил, что помнит их с детства. Память у него была великолепная. Ещё больше был удивлён А. И. Полетаев тем, насколько точным в музыкальном отношении было исполнение Игоря Васильевича. Голос у Игоря Васильевича был небольшой, но тембр очень приятный. Стали просить его спеть что-то ещё. Он, как оказалось, знал много народных (и не только) песен. Под конец Игорь Васильевич исполнил шуточную песню про зайку, которая заканчивалась словами: “Пытайся, пытайся, пытайся у ворот!” Главное в этой песне – не нужно отступать, надо пытаться открыть ворота. Хочется пожелать нам всем не отступать, а добиваться желаемого!

Двойка за экзамен на значок ПВХО

Сразу после Великой Отечественной войны в СССР была организована поголовная сдача экзаменов по основам противохимической защиты. К Игорю Васильевичу, который тогда уже был профессором, пришёл молоденький лейтенант и попросил рассказать об устройстве противогаза. Игорь Васильевич обстоятельно всё рассказал. “К сожалению, профессор, Вы не знаете ответа на этот вопрос”, – с улыбкой сказал лейтенант. “В таком случае, – сказал Игорь Васильевич, – я могу рассказать об устройстве другой модели противогаза”. Игорь Васильевич изложил данные по двум моделям, но лейтенант резюмировал, что профессор экзамена не сдал. Игорь Васильевич был удивлён, растерян и не знал, что сказать. За создание новой модели противогаза Игорь Васильевич несколько лет назад был награждён орденом Ленина.

Post scriptum

Сократу принадлежит очень точный ответ на вопрос: “Какое из чувств уходит из памяти первым?” Его ответ: благодарность. Моё глубокое убеждение, что благодарность – это элемент высокой культуры человека, которая, к сожалению, свойственна далеко не всем. Поэтому это чувство встречается достаточно редко. Игорю Васильевичу повезло. Его ученики, коллеги, люди, с которыми он сотрудничал в разных научных и общественных организациях, с благодарностью чтут его память. Каждые два года в Институте физической химии им. Карпова проводятся “Петряновские чтения”, на которых заслушивают научные доклады и обязательно вспоминают эпизоды из научно-общественной деятельности Игоря Васильевича. Организаторами этих чтений были профессор Ю. Н. Филатов, который теперь успешно руководит отделом

Игоря Васильевича и которому удалось в последние годы в труднейших для Института условиях организовать экспериментальное производство ФП, развивать научные исследования, привлекая к этим работам молодёжь. Огромный вклад в организацию чтений внесли недавно ушедший П. И. Басманов, профессор А. В. Будыко и многие другие ученики Игоря Васильевича. Я им всем бесконечно благодарна. У нас есть “обязательные” дни для встреч с профессором Б. Ф. Садовским, профессором Б. И. Огородниковым, кандидатом наук А. В. Шепелёвым — это 19 мая, день кончины Игоря Васильевича, и 18 июня — день его рождения, а также “необязательные” встречи. Со всеми учениками Игоря Васильевича у меня сохранились самые тёплые дружеские отношения. Игорь Васильевич всегда гордился своими учениками, и я благодарна судьбе, что его, а теперь и меня окружают такие замечательные благородные люди.

В 2012 году Российским союзом химиков была выпущена Золотая медаль академика И. В. Петрянова, которой наградили академиков А. Л. Бучаченко, Б. Ф. Мясоедова, П. С. Голицына, Л. А. Ильина, а также учеников Игоря Васильевича, проработавших с ним долгие годы.

Воспоминания о себе, своём деле, об Игоре Васильевиче и его делах в серии “Творцы ядерного века” (1999), составителем которой был ученик Игоря Васильевича профессор, лауреат Ленинской премии Б. И. Огородников, написаны с глубокой любовью многими людьми: академиками А. Л. Бучаченко, Н. А. Платэ, Б. Ф. Мясоедовым, Л. А. Ильиным и др.; писателем и публицистом В. О. Осиповым, хранителем музея-заповедника “Поленово” Ф. Д. Поленовым, народным артистом СССР А. И. Полетаевым и др. В этой книге опубликованы некоторые стихотворения Игоря Васильевича, печатавшиеся ранее в книге “Муза в храме науки”, его прозаические произведения “Память — это совесть”, “Ирик”, “Природа всегда права” и др. В 2007 году опубликованы его “Избранные труды”. Замечательный писатель-публицист В. О. Осипов, который, будучи редактором издательства “Раритет”, опубликовал повторно книгу Игоря Васильевича “Самое необыкновенное вещество” (1998), позже посвятил Игорю Васильевичу главу в своей книге “Корифеи моего времени” (2013). Шуваловым, заместителем Игоря Васильевича по Обществу книголюбов, написана книга “Мгновения общения” (1998), которая начинается с главы об Игоре Васильевиче. В 2009 году была опубликована замечательная книга Н. А. Платэ “О моих учителях и друзьях в химии и в жизни”, в которой отдельная глава “Феномен Петрянова” посвящена Игорю Васильевичу. Мною написана книга воспоминаний об Игоре Васильевиче “С тобой... и без тебя” (2007), которая была удостоена Союзом писателей России премии “Имперская культура”; статьи в книге “Реставратор всея Руси” (2010) “Ямщики, Петрянов и Марк Аврелий” и “Несколько слов о “Лепестке” в книге “Лепесток” (2015).

В “Литературной газете” (2015, № 49) была опубликована статья В. Бондаренко “Русская партия Советского Союза”, в которой также было написано об Игоре Васильевиче как одном из организаторов ВООПиКа. Однако, к сожалению, автором было допущены две ошибки. Во-первых, было написано, что Игорь Васильевич был первым председателем ВООПиКа, тогда как им был первый зам. председателя Правительства РФ В. Кочемасов. Во-вторых, Игорь Васильевич будто бы был учёным, “всю жизнь занимавшимся созданием боевых отравляющих веществ”. Дело в том, что Игорь Васильевич всегда из принципиальных соображений работал только для защиты и создания безопасности для людей. И в “Атомном проекте” — только для защиты людей от действия радиоактивных веществ, хотя и с глубоким уважением относился к учёным — создателям атомной бомбы. Когда я сказала об этом В. Бондаренко, он опубликовал прекрасную статью “Защитник всего живого” в газете “День литературы” (2016, № 6) с извинениями за “оплошность”. Хочется процитировать последнюю фразу из этой работы: “На мой взгляд, академик Петрянов — один из главных защитников России в нашем трагическом XX веке. Думаю, миллионы людей, спасённых фильмами Петрянова, “лепестками” Петрянова, должны теперь подать свой голос за установку памятника Игорю Васильевичу в Москве, у Института Карпова, как спасителю всего живого, в том числе и памятников истории и культуры старой Москвы”.

ЛЕОНИД БАСНИН,
АНАТОЛИЙ ЩЕЛКУНОВ

О ЧЁМ ШУМИТЕ ВЫ, НАРОДНЫЕ ВИТИИ?..

В последнее время в болгарской печати появилось множество публикаций, авторы которых с какой-то зоологической злобой пишут о российских и болгарских деятелях, сыгравших историческую роль в Освобождении Болгарии. Многие их имена стали священными для наших братских народов. Не опираясь на исторические документы, сознательно извращая факты, эти публикации сеют ложь в медийное пространство. Приведённые выше слова Пушкина свидетельствуют о том, что и раньше так называемые *народные витии* с ненавистью писали о России. Но в современных условиях градус этой злобы, как у нас говорят, “зашкаливает”.

Нам довелось многие годы работать в Болгарии в советских и российских дипломатических учреждениях. Мы побывали по роду службы во многих уголках этой замечательной, с полным правом можно сказать, благословенной земли. Имели незабываемые многочисленные встречи с болгарскими людьми разных возрастов и социальных групп. И неизменно отмечали дружеские чувства болгарского народа к России и русскому народу, уважение к русской культуре, бережное отношение к бесчисленным памятникам русским воинам, погибшим за освобождение Болгарии.

Эти чувства стали нашим общим достоянием, которое мы должны передать будущим поколениям.

Именно поэтому мы не можем молчать, когда это достояние какие-то люди пытаются принизить и оболгать. Они не могут даже освободиться от патологической злобы, которая их переполняет, а пытаются облить грязью тех, кто своих жизней не жалел за освобождение Болгарии. В своих выступлениях и статьях они руководствуются пропагандистским принципом Третьего рейха: чем больше ложь, тем больше надежд, что в неё поверят.

Великий день в истории болгарского народа – 3 марта, День Освобождения – кое-кто предлагает считать днём русской оккупации. Попытки подретушировать историю в угоду современной политической конъюнктуре унижают болгарский народ, оскорбляют его национальное достоинство. В исторической перспективе эти попытки тщетны, поскольку никому не удастся минимизировать значение роли России в освобождении болгар, заменить в памяти народной реальные исторические события различного рода инсинуациями,

Леонид БАСНИН — генеральный консул России в Варне (1998–2003), почётный гражданин города Варны, член правления Союза друзей Болгарии;

Анатолий ЩЕЛКУНОВ — генеральный консул России в Варне (2005–2009), почётный гражданин города Варны, член правления Союза друзей Болгарии.

потому что болгарский народ – древний, мудрый. Он бережно хранит историческую память о своих освободителях – русских воинах и героях-болгарских ополченцах и передаёт её из поколения в поколение. Ежегодно 3 марта мы вместе с болгарским народом отдаём высшие почести всем павшим за освобождение Болгарии от османского ига и вспоминаем подвиги наших предков.

Многовековая борьба родила своих героев, чьи имена навеки вписаны в историю наших народов. Мы не будем касаться тех писаний, в которых якобы “по-новому” подаются материалы о болгарских Апостолах Освобождения. Замечательная болгарская журналистка Велислава Дырева в своих блестящих статьях срывает маски лицемерия со всех, кто называет белое чёрным и кто извращает исторические факты.

Мы лишь попытаемся защитить честь и достоинство российской дипломатии и государственных деятелей России, которые подвергаются злобным нападкам. При этом будем использовать материалы книги “Дипломат России” одного из авторов этой статьи, написанной с привлечением подлинных документов Архива внешней политики Российской Империи при Министерстве иностранных дел РФ, Государственного архива Российской Федерации и многочисленных публикаций российских и зарубежных авторов. Издание этой книги осуществил Фонд “Устойчивое развитие Болгарии” совместно с российским издательством “Художественная литература”.

В ответ на попытки оболгать светлое имя Царя-Освободителя скажем лишь то, что принятие решения о начале войны против Османской империи далось ему нелегко. Но он не смог далее терпеть, как войска султана и головорезы-башибузуки потопили в крови болгарский народ, восставший против их пятиякевого владычества. Об этом свидетельствует манифест, подписанный Александром II. Вот его слова: *“Всем нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое мы всегда принимали в судьбах угнетённого христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить положение его разделял с нами и весь русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова... Усилия наши не привели к желаемой цели. Порты не вяла единодушному желанию христианской Европы. Исчерпав до конца миролюбие наше, мы вынуждены приступить к действиям более решительным... Турция отказом своим ставляет нас в необходимость обратиться к силе оружия”*.

Не приобретение новых территорий, не грабежи и мародёрство, не захват проливов, в чем обвиняла Россию европейская и, как всегда, английская пресса (подобные обвинения слышатся и поныне), а “облегчение участи христиан” являлось главной целью этой войны. Отсюда массовое проявление русскими воинами в жестоких боях с недругом небывалого самоотречения и высочайшего человеколюбия, свойственного подлинно православному сознанию.

Откуда взялось это в русском народе?

Активная политика России на международной арене сопровождалась невиданным ранее по своим масштабам движением солидарности с братьями-славянами внутри страны. Почти во всех крупных городах были созданы славянские благотворительные комитеты, собиравшие средства в помощь борющимся за свободу народам. Известны случаи, когда даже каторжники с рудников в Забайкалье собирали гроши и просили своих охранников отправить собранные суммы болгарам. Об этом писал в своей книге почивший в Бозе митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл.

Огромную роль в просвещении народа сыграла Русская Православная Церковь, служители которой в своих проповедях разъясняли историческую и духовную близость русских и юго-восточных славян. Самые авторитетные русские писатели и деятели культуры посвятили яркие и страстные произведения теме борьбы балканских народов. Сквозная мысль в них – особая освободительная миссия России. Этот всенародный подъём и оказал влияние на царское правительство, принявшее решение объявить войну Турции. Тысячи добровольцев от рядового до генерала шли освобождать своих братьев по вере, движимые христианским сознанием самопожертвования: “Не пожалеем живота своего за други своя”. В этих добродетелях русского человека увидел австрийский поэт Райнер Мария Рильке то, что заставило его написать: “Все страны граничат друг с другом, а Россия – с Богом”.

Не можем мы пройти мимо тех нелепостей, которые очерняют имя замечательного российского дипломата – графа Николая Павловича Игнатьева. Некоторые из авторов с претензией на научную добросовестность интерпре-

тируют его деятельность в отрыве от исторического контекста. Более того, эти люди ничтоже сумняшеся не понимают различия в дипломатических рангах, называя Игнатьева консулом в Константинополе, в то время как даже болгарские школьники знают, что он был послом России в столице Османской империи. Всем очернителям мы бы, прежде всего, посоветовали прочитать уникальную книгу о нём “Н. П. Игнатиев – графът на България”, а в русском переводе “Рыцарь Балкан граф Н. П. Игнатьев”, которые были написаны замечательным писателем, журналисткой Калиной Каневой.

К примеру, извращается роль графа Игнатьева в отстаивании экзархата Болгарской церкви. Документы свидетельствуют, что именно Игнатьев сумел добиться от султана согласия на экзархат. Падишах поручил своему высшему сановнику Гаврилу Крстевичу (*болгарину по происхождению*), который имел основательную юридическую подготовку в Париже, разработать новый проект. Игнатьев, используя свои связи, нашёл возможность повлиять на окончательную редакцию подготовленного проекта. Постепенно Николай Павлович склонил и патриарха Григория согласиться с включением отдельных округов смешанных епархий в создаваемый Болгарский экзархат. Документ был учреждён в феврале 1870 года ферманом султана. Предусматривалось, что Болгарский экзархат имеет автономию и возглавляется экзархом, которым стал известный деятель движения за национально-церковную автономию, выпускник Московской духовной академии Анфим Виденский. (*Позднее он будет председателем Первого Учредительного собрания и Первого Великого народного собрания освобождённой Болгарии*). С известной долей удовлетворения от результатов многолетней и напряжённой работы Игнатьев сообщает канцлеру Горчакову в очередной депеше: “...сама Высокая Порта даёт ферман болгарам на создание самостоятельной церкви, сама признаёт принцип национальности, который она всегда стремилась исключить из своего внутреннего устройства. Сегодня она принимает народные желания и делит своих православных подданных на славян и греков. Следовательно, мы можем оправданно считать подобное разрешение болгарско-греческого церковного вопроса счастливым концом наших пятилетних усилий”.

Но такой исход греко-болгарского церковного спора не удовлетворил ни фанариотов, ни сторонников политики жёсткой османизации. Фанариоты не избавились от имперского мышления. Они считали себя наследниками Византийской империи. В течение нескольких сотен лет это мышление питалось монополией греческого языка в духовной сфере. По мере национального пробуждения болгар всё очевиднее для них становилась противоестественность этой монополии, всё менее они мирились с таким положением.

Игнатьев глубоко осознал и всей душой разделял выстраданное болгарам стремление к духовной и национальной свободе. Он был убеждён, что это стремление совпадает с политическими интересами России, и она не может оставаться к этому безучастной. В своём дневнике он записал: “Религиозная сторона вопроса имеет второстепенное значение. Религиозное знамя прикрывает истинно народное возрождение, в основе которого лежат исторические условия достижения более широкой политической свободы”.

Хотелось бы нам внести ясность и в вопрос о том, какое участие граф Игнатьев принимал в спасении болгарских деятелей от преследования османских властей. С самого начала посольской миссии Игнатьева в Константинополе для болгарских деятелей было очевидно, что русский посол им сочувствует. Это сразу вызвало у них симпатию к Игнатьеву. Они отвечали ему доверительностью и готовностью информировать его по самым щекотливым вопросам. Постепенно он завоевывает среди болгар и других балканских славян громадную популярность, что помогало ему в его благородной миссии. Большой позитивный резонанс среди болгар вызвало энергичное заступничество Николая Павловича перед турецким правительством за епископа Иллариона Макариопольского и руководителя церковно-национального движения Авксентия Велешского, которые находились в заточении. Он добивается их возвращения в Константинополь. Заступничество русского посла за деятелей болгарского освободительного движения продолжалось на протяжении всей его миссии в Константинополе. Узнав об аресте турками Васила Левского, который был главой тайной революционной организации, Николай Павлович направляет Найдёна Герова в Софию, чтобы он оказал ему посильную помощь, а сам заявил протест правительству султана. Но дипломатический статус Н. Герова не позволял ему вмешиваться в это дело, которое имело сугубо внутреннюю

юрисдикцию. Над Н. Геровым, которого турки обвиняли в пособничестве восстанию, нависла опасность ареста, поэтому Игнатъев перевёл его в посольство, направив на его место в Пловдив секретаря посольства Алексея Николаевича Церетелева.

Тем, кто сегодня пытается в ложном свете представить графа Игнатъева в судьбе Васи́ла Левского, мы бы посоветовали внимательно почитать те книги, список которых приведён в одной из ярких статей В. Дыревой, а также исторический роман о славном сыне болгарского народа, который был написан в результате многолетних исследований Константином Дуфевым. Роман называется “Обречённость”.

Много написано в русской и болгарской литературе о роли Игнатъева в подписании Сан-Стефанского мирного договора. Мы бы в этой связи отметили следующее: Сан-Стефанский договор не только разделил Османскую империю на азиатскую и европейскую части. Он провёл чёткую цивилизационную границу между варварством и гуманизмом, между дикостью и европейской культурой, между религиозным мракобесием и просвещённостью, между застоём и развитием, между прошлым и будущим Турции и народов Балканского полуострова. В этом смысле даже оскопленные на Берлинской конференции его статьи стали прологом всех тех достижений и взлёта материальной и духовной культуры, которых добились в последующие годы балканские народы.

Отношение к графу Игнатъеву болгар — его современников — является лучшим свидетельством оценки его исторических деяний. Вот как встречали его в Софии. С балкона смотрел граф на море огней, разлившееся на Соборной площади Софии, где несколько тысяч жителей города приветствовали его с факелами и зажженными фонарями в руках перед домом русского дипломатического агентства. От переполнявших его чувств он не мог сдержать слёз. В этих огнях чудились ему пожарища, в которых погибли миллионы сынов и дочерей болгарского народа за пять веков иноземного рабства, превратились в пепел достижения труда, творчества и таланта многих поколений болгар. Это были огни памяти о воинах русской армии, не пожалевших “живота своего за други своя” и павших в кровопролитной войне за свободу братского народа. Это были огни искренней благодарности лично ему, графу Игнатъеву, за многолетние усилия на дипломатическом поприще, которые способствовали тому, что мир признал право болгарского народа на свободу, и было восстановлено Болгарское государство. Нет в мировой истории другого примера такой всенародной любви к дипломату иностранного государства, как та, которую встретил он в Болгарии. Жители городов и сёл из уст в уста передавали новость о его прибытии в страну по случаю двадцатипятилетия героической эпопеи на Шипке, ставшей прологом освобождения Болгарии. Они украшали к приезду дорогого гостя улицы и площади. Встречать его выходило всё население, от мала до велика. Как писал очевидец: “Болгарский народ ликова́л. Все великие события, известные мировой истории, как бы побледнели по своему значению перед этим дивным часом, когда болгарский народ встречал творца нашего народного идеала в болгарской столице”.

Увидев графа на балконе, все собравшиеся на площади приветствовали его дружным “Ура-а-а!” Он с волнением смотрел на происходящее. Его до глубины души растрогали обращённые к нему слова ученицы шестого класса софийской школы, произнесённые с удивительно трогательной детской искренностью: “Бабушка мне велела всегда помнить графа Игнатъева. Я, когда стану бабушкой, также накажу своим внукам не забывать графа Игнатъева!”

Замечательные слова о графе Игнатъеве были сказаны Иваном Вазовым на заседании Славянского благотворительного общества в Софии: “Через несколько дней наша столица будет иметь честь радостно и триумфально, почти с царскими почестями, приветствовать того самого великого русского человека, великого почитателя болгар, чьи заслуги перед нашим народом сделали его имя известным и почитаемым в самой последней болгарской хате, милым и дорогим каждому болгарскому сердцу. А именно Его сиятельство графа Игнатъева”.

Настоящую статью нам хочется завершить фрагментом из упомянутой книги “Дипломат России”: *“Могли бы сегодняшние болгарские хулители графа Игнатъева оказаться на машине времени в Свищове, только что освобождённом русскими воинами, и поделить с его жителями своими измышлениями об этом человеке. Интересно было бы посмотреть на то, что бы они сделали с этими якобы “знатоками” подлинной истории?”*

Когда автор этих строк пытался ответить на вопрос: что заставляет некоторых болгарских журналистов и писателей во что бы то ни стало найти какие-то материалы, порочащие русских политических деятелей, а если не находят таковых, то идут на откровенный подлог, он увидел сон, который можно интерпретировать как вещий. Ему приснилось, что он посетил известного в Болгарии в 80-е годы прошлого века журналиста Стефана Продева. Он был главным редактором партийных газет “Работническо дело” и “Думы”. Отличался широкой эрудицией, прекрасным пером, умел аргументированно отстаивать свою позицию. Внешним видом Стефан напоминал портрет апостола болгарского освободительного движения, поэта и публициста Христо Ботева. Автор имел удовольствие во время дипломатической службы в Софии не раз беседовать с Продевым. Свою встречу с ним во сне он начал с того, что рассказал ему о работе над книгой, посвящённой графу Игнатьеву:

– Недавно я встретил болгарскую публикацию, в которой некий журналист пишет о том, будто бы граф Игнатьев сыграл зловещую роль в казни Васила Левского. Пытаясь разобраться, откуда взялась такая злобная клевета, я спросил об этом у знакомого вам писателя и журналиста Константина Дуфева, который является автором исторического романа о Левском “Обречённость”. Он мне ответил, что таких материалов нет. Может быть, вы смогли бы объяснить мне, почему появляются в современной Болгарии такие публикации?

Продев раскурил свою трубку. Положил зажигалку и задумчиво произнёс:

– Я знаю этого журналиста... Он когда-то окончил в Москве университет, который носит название Дружбы народов... Уверен, что во время учёбы говорил и писал о “вечной дружбе”... Некоторые психологи называют такие проявления “бременем благодарности” у людей, которые пытаются избавиться от довлеющего над ними психологического комплекса неполноценности. Другие идут на это, стремясь быть оригинальными и привлечь внимание публики чем-нибудь “жареным”.

Прервав на секунду свои рассуждения, он повернулся к книжному шкафу, стоявшему справа от него, взял какую-то книгу и сказал:

– Я вам сейчас прочту своё стихотворение “Окалина”, в котором вы найдёте ответ.

И в этот момент сон прекратился. Вам судить, уважаемый читатель, ответил ли Стефан Продев названием своего стихотворения на мой вопрос?!

Но следует признать, что таких хулителей не так и много в современной Болгарии. Воспользоваться злобными нападениями на Игнатьева турецкой или западноевропейской прессы того периода – дело немудрёное. Гораздо труднее попытаться воссоздать подлинную картину событий того времени в их многосложной взаимосвязи на основе конкретных исторических документов. Попытка опорочить светлое имя Н. П. Игнатьева – это не просто амбициозное стремление некоего автора продемонстрировать “новый взгляд” на историю. Это частное явление общего процесса – одно из проявлений мощной пропагандистской кампании Запада. Далеко не случайно появление такого рода публикаций совпало по времени с так называемым “новым подходом” к истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в освобождении Европы от фашизма, культивируемым в последнее время в европейском информационном пространстве. В этом проявляется не только психологический комплекс неполноценности под названием “бремя благодарности” потомков того поколения в Европе, которое было освобождено Красной армией от чумы XX столетия, но и стремление принизить её историческую заслугу перед мировой историей.

“РУССКОЕ СЛОВО, РУССКАЯ МЫСЛЬ, РУССКАЯ БОЛЬ И РАДОСТЬ”

В новой подборке читательских писем, публикуемых нашим журналом, сквозит всё та же тема — тема любви читателей к журналу писателей России “Наш современник”. Где, как не на страницах нашего журнала, может российский читатель высказать своё отношение к современному состоянию литературы? Где он может поделиться своими болями и радостями — русскими болями и радостями, как не на страницах любимого журнала? “Наш современник” остаётся трибуной русской мысли, русского слова, русской боли и радости. Поддержать наш журнал — это всенародное русское дело, это святая обязанность всех честных людей в России. С вами, наши дорогие читатели, мы выживем, с вами мы победим.

“НАМ НУЖНЫ ВСЕ ЛЮДИ, КОТОРЫХ МЫ ПОТЕРЯЛИ”

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Вы никогда не задумывались над тем, почему вхождение Крыма в состав России стало для нас таким естественным событием? Ведь все предыдущие годы мы, наоборот, стремились всеми силами быть поближе к Америке да Европе, гордились, что, наконец, стали европейской страной, что с нами считаются. А потом — бац! — и как отрезало. Крым — наш. И мы его не отдадим. Ни за какие коврижки, премии и участия в разных европейских ассамблеях. Уперлись так, что ни санкции, ни ухудшение экономической ситуации, ни даже теракты нас не запугали.

Почему?

Что такого с нами произошло за короткое мгновенье 2014 года, что теперь за Крым мы готовы бороться точно так же, как за Урал, Сибирь или Москву? Более того, если в 2014 году уверенных в том, что Крым должен входить в состав России, было 73% опрошенных россиян, то в 2015-м сторонников этой идеи стало уже 87%. И это несмотря на всё мировое осуждение, санкции и прочие неприятности.

Люди говорят, что Крым всегда был российским, и потому это нормально, что он перешёл к нам. Большинство в связи с этим испытывают гордость за страну и даже за президента.

В общем, мы за, и всё тут!

Спросите себя, чему вы обрадовались, когда Крым вошёл в состав России? Тому ли, что земли у нас стало больше на 27 тысяч квадратных километров и государство пополнилось двумя с лишним миллионами человек? Разве только в этом дело? Не только и, как я думаю, не столько. Мы были рады тому, что обрели тех людей, которых, несмотря на годы “отчуждения”, всегда считали своими. Это наши люди, которые практически все говорят по-русски, которые с нами связаны и кровно, и духовно. У нас одна ментальность, которую не смогли стереть годы разрыва.

Подумать только! Прошло четверть века, но за эти годы чувство утраты так и не притупилось. Нам нужны все те люди, которых по вине и безумному попустительству властей начала 90-х годов мы потеряли. И нужны не потому,

что у нас станет больше народу или появятся новые квадратные километры. Нет. В основе этого желания лежит что-то намного большее и значимое.

Русская многонациональная культура много веков подряд выступала как основа единого, большого и сильного государства, в состав которого абсолютно органично вливались разные народы. Россия в течение длительного времени, как на ниточку для ожерелья, нанизывала один за другим народы, как драгоценный жемчуг. Каждая из жемчужин была по-своему уникальной, но только все вместе они составляли единое целое и усиливали красоту и самобытность друг друга.

С развалом Советского Союза ожерелье рассыпалось, остались лишь отдельные жемчужины, но без всех остальных такое ожерелье полноценным украшением назвать уже нельзя. Неполющенными стали не только Россия, неполющенными стали и те страны, которые лишились объединяющей силы большой страны.

Практически никто из стран бывшего Советского Союза так и не смог за большой временной срок стать по-настоящему сильным государством, способным быть самобытным, отстаивать интересы своей страны и своего народа. А те, что стали таковыми, как, к примеру, Белоруссия и Казахстан, всё равно тянутся к большому давнему другу и соседу. ЕврАзЭС появился не на пустом месте.

В Белоруссии, по опросам ВЦИОМ, число сторонников обратного объединения составляет 62%, в Киргизии – 67%. В России, по оценкам “Левада-центра”, в декабре 2014 года сожалели о роспуске СССР 54% россиян. В 2015 году распад Советского Союза отрицательно оценили 63% граждан. Больше 60% россиян хотят интеграции в том или ином виде.

В 1991 году за сохранение федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности, высказались 76,4%. Прошло двадцать пять лет. И почти те же самые “проценты” хотят объединения вновь. При этом, в 2008 году 56% россиян считали, что Россия – это европейская страна, сейчас таких осталось всего 32%, а 59 % не считают Россию Европой. Так чего ж туда стремиться?! Может быть, нужно просто снова стать самими собой?

Вопрос состоит не в том, чтобы заново создавать Советский Союз со всем его государственным и административно-хозяйственным устройством. Если бы он был жизнеспособен, то не развалился бы. Вопрос совершенно в другом – в том, что мы нужны друг другу. Как бы ни бесились наши соседи, ни орали “кто не скачет, тот москаль”, на подкорке каждый знает это. Нам нужно чувство “локтя”, добрососедства, дружбы народов, уверенности в завтрашнем дне и друг в друге. И очень важное ощущение, без которого мы не засыпаем спокойно каждый день, что все свои – дома. А остальные вопросы о том, как это будет выглядеть, в какой форме и деталях, – это вопросы обсуждаемые, но по отношению к чувству единства, на самом деле, вторичные.

С уважением
Маргарита Нифонтова
г. Москва

“ГЛАВНОЕ – ПАТРИОТЫ РОССИИ”

Дорогой Станислав Юрьевич!

Примите мою сердечную благодарность за публикацию моей подборки в № 11 “НС”, за поздравления с 80-летием!

“Наш современник” – это Русский остров национальной культуры, это бастион, где никогда не сдавали и не сдают русской поэзии. Всё в журнале важно, своевременно, принципиально. Журнал отважно поднимает проблемы, которые все трусливо замалчивают.

Вот и в № 11 – замечательная статья Игоря Янина про наши рыбные дела. Дешёвая дальневосточная лососёвая рыба спасала в войну от голода народ Приморья, а теперь у нас на прилавках рыба из Чили, из Норвегии – с другого конца света по тысяче рублей за кг! Свою дешёвую рыбку наши рыбные магнаты гонят в Юго-Восточную Азию. Спасибо Игорю Янину за очень важную для нас статью.

Юбилей мой прошёл весьма скромно. Книжку издать не удалось. Магнатам и буржуям не нужна русская поэзия. Зато порадовали публикации в журналах. Посмотрите мой “Сонет о тигре”. Петрарка Лауре писал сонеты, а я – тигру!

*Амурский тигр, красавец грациозный,
Во всей своей бесстрашной силе грозной,
Ужели мы тебя не сохраним?..*

Молодцы, что ввели в Совет журнала Прилепина и Шаргунова – этих двух молодых тигров нашей литературы. Достойные, талантливые люди, главное – патриоты России.

Дорогой Станислав Юрьевич, сердечно поздравляю Вас, близких Ваших с Новым годом и Рождеством! Здоровья Вам, новых творческих успехов, благополучия!

Мои наилучшие пожелания Александру Ивановичу Казинцеву, всему коллективу редакции. Храни вас Бог!

Борис Лапузин
г. Владивосток

“МЫ ПО РУКАМ ПУСКАЕМ КАЖДЫЙ НОМЕР...”

Дорогой и многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Ваш ответ для меня явился неожиданно щедрым подарком! Это была “радость со слезами на глазах”. Огромное Вам спасибо за книжку “Нет печальней измены...” и за добрые слова в мой адрес! Книгу прочитала дважды. Эта тема для меня очень болезненна, так как два моих брата живут на Украине. В Донецке и в Луганске. Семьи их детей там же. Господи! Сколько слёз и переживаний за время этих ужасных событий! Два племянника со своими семьями выезжали, но, поплутав два года вдали от родных мест, вернулись домой. Переживаниям не видно конца.

Очень благодарна Вам за эту замечательную книгу, Вы глубоко погрузились в эту тему, увязав наши дни с событиями прошлых времён. А как удачно и органично вплелись живые голоса авторов писем в повествование! Смерть Олеса Бузины была для меня потрясением. Гибнут лучшие сыны народа...

Станислав Юрьевич, я давняя поклонница Вашего таланта, спасибо Вам огромное за Вашу поэзию, прозу, за дружбу с Рубцовым и Передреевым, за журнал “Наш современник”! Мы по рукам пускаем каждый номер и делаем ксерокопии отдельных, самых интересных статей. Я уже одиннадцать лет являюсь членом клуба “Врачующая книга”. Ксерокопии делала для членов нашего объединения. Спасибо Вам за всё!

С Новым годом Вас поздравляю и Ваших замечательных коллег по работе в журнале. Здоровья всем им, счастья, вдохновения, творческих успехов, достойных зарплат! А журналу – процветания! Мы его очень любим, и каждый номер ждём с нетерпением.

С благодарностью и любовью
А. Коробейникова
г. Белая Холуница Кировской области

“БОГ МИЛОВАЛ – ПОДПИСКА ОФОРМЛЕНА”

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Пишет Вам беженец из Новороссии, из Краматорска. Являюсь постоянным читателем журнала. К сожалению, сейчас нет средств, чтобы подписаться на журнал. Беру “Наш современник” в библиотеке. Очень переживал, когда узнал, что у библиотеки не будет средств подписаться на следующий год. Однако Бог миловал, и подписка оформлена.

Позвольте поздравить Вас и всех “наших современников” с 60-летием журнала! Огромное спасибо за Ваш благородный труд во благо нашей Святой и Великой России-Матушки, а значит – во славу Божью! За то, что помогаете

нам – Русским людям – сохранить Наши Русские ценности. Лично я считаю, что различие между западными ценностями и нашими русскими – в отношении к Победе и Бессмертному полку и нашим Крестным ходам.

Позвольте также поздравить Вас и Ваших близких с Новым годом, Рождеством Христовым. Храни Вас Господь!

Ваш Алексей Пшеничный
г. Боровичи Новгородской области

“Я ВЫПИСАЛА “НАШ СОВРЕМЕННОК”...”

Уважаемый Станислав Юрьевич и весь коллектив редакции!

Прежде я жила в Казахстане, где в основном отношении к русским нормальное, но душа тянулась в Россию. Объездила несколько областей, чтобы познать русскую жизнь и русскую душу, углубиться в российскую безграничность. Началась подписка, и я выписала “Наш современник”, который до развала Советского Союза был моим первым журналом. Слава Богу, не ошиблась, он и сегодня – лучший. Читая номера, поняла, что у журнала очень хорошая обратная связь с читателями, что редколлегия прислушивается к нашему мнению.

Благодаря “Нашему современнику”, ставшему для меня путеводителем, навигатором по общественной жизни, я узнала по-новому и глубже историю нашей страны, её духовный стержень, проблемы. Публикации журнала – это не верхоглядное видение жизни, а серьёзное волнующее размышление, поиски настоящих патриотов, духотворцев, пророков.

Есть такое явление в нашей жизни – переселенчество. У меня сжалось сердце, когда в одной из статей А. Проханова я прочла, что это явление нуждается в исследовании. С одной стороны, от боли, ведь это явление волнует не только меня, а многих, как и я, вернувшихся на свою родину. С другой стороны, я порадовалась, что есть люди, которые понимают весь трагизм этого явления и готовы передать своё отношение к нему другим. Я беседовала, встречалась с теми, кто, как и я, ищет приюта. Очень много боли, проблем. Я даже написала “Исповедь переселенца”. Я могу массу живых примеров привести для тех, кто возьмётся за эту тему. Организовать встречу с этими людьми.

От всей души поздравляю коллектив редакции Новым годом!

Людмила Скрипченко
село Никоново Верхнехавского района Воронежской области

“ВЫ УМЕЕТЕ ВООДУШЕВЛЯТЬ НА СВЕТЛЫЕ ДЕЛА...”

Дорогой Станислав Юрьевич!

С днём рождения Вас! Ничего, кроме здоровья, Вам и Вашим близким не желаю: остальное у Вас есть, а жизненной стойкостью Вы щедро делитесь с окружающими, в том числе с незримыми для Вас, и я – среди них.

Для меня Вы вожак журавлиной стаи. Под Вашим водительством и широким крылом нашли и находят прижизненное и посмертное укрытие многие достойные люди, великие и малые.

У Вас есть уникальный талант, стоящий Вашего литературного, публицистического и организаторского талантов, хотя и проявляющийся через них: Вы умеете воодушевлять на светлые дела и отстаивать правду. Я подобного человека не знаю ни среди русских, ни среди представителей иных племён, ни среди современников, ни среди исторических персон. Мне кажется, что в этой Вашей уникальности – главная причина “печальности” Ваших побед и несправедливости Ваших поражений. Такое вот “горе от ума”. Всей душой чую Ваше почти космическое одиночество и хотя бы этим признанием пытаюсь развеять его.

Также в моих силах сочинять песни на Ваши стихи. Год назад я переслал Вам три таких песни. Сейчас отправляю две новых: “Разговор с покинувшим родину” и “Я, как молодое государство”. Есть на примете ещё несколько Ваших стихотворений.

Часто бывает, что сочиню музыку, а стихов для неё нет. Тогда начинаю рыться в сборниках, и мои главные кандидаты идут в таком порядке: сначала Куняев, потом Рубцов, затем Кузнецов, к которому обычно обращаюсь от безнадёги и с опаской. Такое впечатление, что он на моих глазах натянул струну между космосом и преисподней “и пустил электрический ток”. А меня этим током лупит, только поддайся. Я бы и не поддавался, но была куняевская наводка – Ваши обширные и, как всегда, в точку рассуждения о Кузнецове. Положившись на Вас как на вожака журавлиной стаи, я рискнул вжиться в поэтический мир Кузнецова, в хрупкий момент поиска стихов для только что сочинённой музыки. И началось: читаю его стихотворение – и сочиняется новая мелодия (он и тут диктатор), листаю дальше сборник – и опять, и опять... Позже, очухавшись и остыв, привёл в более-менее человеческий вид эти опусы. Думаю, ему бы понравилось.

Кроме того, я чувствовал себя должником Юрия Поликарповича. В 1997 году он в составе десанта авторов “Нашего современника” выступал в нашем университете. Когда пришло время записок от публики, я поднялся на сцену с двухстраничным посланием к Валентину Григорьевичу Распутину. Увидев меня, Юрий Поликарпович подался в мою сторону, мне даже показалось, привстал, уверенный в том, что я иду к нему (а к кому же ещё?). Я видел весь нескладный ужас ситуации, и мне хотелось вырвать своё сердце и положить его к ногам этого невольно и безжалостно обманутого мной взрослого ребёнка! Но, увы, даже сил написать что-то ободряющее для него у меня тогда не осталось. А теперь остаётся утешаться тем, что русские сильны задним умом. Зато как сильны! – это я уже не о себе, а о нас.

А музыку на стихотворение Рубцова “Наступление ночи” я сочинил легко; видно, не зря он был “с людьми прост”. Выходя из вагона метро, я уже готов был закрыть перечитываемую мной книжку Вадима Валерьяновича Кожина о Рубцове, как вдруг зацепился за это стихотворение. И сразу пошла мелодия.

Со Светланой Анатольевной Сырневой получилось тоже интересно. Я просматривал в интернете подборки её стихотворений и ни о какой музыке не помышлял. Минут сорок читал (почти до конца школьного урока, Светлана Анатольевна!), и с интересом. Наверное, за это время я напился мелодикой её поэзии, потому что последнее стихотворение в последней на тот день прочитанной подборке – “Романс” – оказалось “тем самым”.

А что же это я не говорю о том, как сочиняю песни на Ваши стихи, Станислав Юрьевич? А сказать-то и нечего, кроме того, что все названные выше поэты для меня – куняевцы. Сочиняю музыку на их стихи, и вижу Ваши могучие журавлиные крылья.

Александр Юрьевич Горбачёв,
старший преподаватель кафедры русской литературы
Белорусского государственного университета
г. Минск, Республика Беларусь

“ВАШИ КНИГИ УЧАТ МЫСЛИТЬ”

Дорогой Станислав Юрьевич!

Много лет слежу за Вашим творчеством, покупаю всё, что могу найти на прилавках магазинов. Но все толки там завалены макулатурой. Исчез Лермонтов, остались единицы экземпляров Пушкина, Шолохова, Толстого. И вдруг, как чудо, Ваша книга: “От Есенина до Рубцова”. Одна книга, тиражом всего 1000 экземпляров. Сижу, конспектирую. После прочтения и изучения Ваших книг отдаю их в библиотеку нашего городского университета. Молодёжь должна знать Ваши книги, которые учат мыслить. Таким образом, они ознакомились с Вашей и Вашего сына работой: “Жизнь Есенина”, с Вашими книгами: “Мои печальные победы”, “Любовь, исполненная зла”. Теперь задумаются и над книгой “От Есенина до Рубцова”.

К моему великому сожалению, я не смог найти Вашу, как я понимаю, главную книгу: “Поэзия. Судьба. Россия”. Но, конечно, найду.

Дорогой Станислав Юрьевич, желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. Передайте мой дружеский привет Вашему сыну, Сергею Станиславовичу Куняеву.

Евгений Васильевич Буровлёв
г. Елец

“ОБЕСПОКОЕНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБОЙ РОССИИ...”

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Прочитав в Вашем журнале № 1 за 2016 год очерки Андрея Фурсова “Русофобия – психоисторическое оружие Запада” и Александра Севастьянова “Византийская мозаика”, не мог не откликнуться, не выразить своё читательское мнение. Оба автора, каждый по-своему, обеспокоены дальнейшей судьбой России: быть ей или не быть! Это в условиях разнузданной русофобии, развязанной Западом и “пятой колонной” внутри страны. Непонятно, правда, кого Фурсов относит к “пятой колонне” – демократов-прозападников или ещё кого? Не буду касаться правильных умозаключений, изложенных авторами в своих очерках, замечу лишь, что Фурсов заблуждается, называя марксистов-революционеров XIX столетия русофобами, причисляя их к масонам. Марксисты-революционеры, являясь, по сути своей, интернационалистами, боролись против эксплуатации всех трудящихся, независимо от национальности, нещадно клеймили всех угнетателей земного шара, не только России. Если они критиковали порядки, существовавшие в Российской империи, то совершенно заслуженно, ведь Россия была более отсталой страной в сравнении со странами Запада, в ней существовали большие пережитки крепостнических отношений. Но несмотря на отдельные искажения истории, автора вдохновляет оптимистический пафос в его уверенности в победном исходе борьбы с русофобией.

Что же касается очерка Севастьянова о Византии, то благоприятное впечатление от этого материала смазывается допущенными автором противоречиями, когда он называет Византийскую империю “богатой и удачливой страной” и тут же говорит, что она тысячу лет пребывала в агонии. Агония – предсмертное состояние организма, и нельзя в агонии прожить тысячу лет. Главной причиной падения Византийской империи автор считает её многонациональность и нравственное разложение правящих кланов, не учитывая борьбу низших классов против правящих верхов, а ведь империю постоянно сотрясали народные восстания и бунты. Сплочение наций возможно на основе социального равенства граждан и общей идеологии.

С уважением

Иван Кривопапов

пос. Кольцово Новосибирской области

“ПРАЗДНИК ЖУРНАЛА – ПРАЗДНИК ДУШИ”

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Мне, адвокату, который целыми днями пропадает в судах и хлебает “правду-матку” не пригоршнями, а ушатами, оказаться на юбилее “Нашего современника” было большой удачей. Я помню, как позвонил заместителю главного редактора журнала Александру Ивановичу Казинцеву, и он своим неповторимым добрым голосом сказал: “Приезжайте” – и я, не задумываясь, перенёс очередные заседания в судах и прыгнул в поезд.

И вот я в столице. У меня всегда, когда приближаюсь к месту, где могут находиться дорогие мне люди, поднимается настроение. Я знал, что юбилей в Центральном Доме литераторов, и там могут оказаться многие из них. И не ошибся. В холле увидел Александра Казинцева, Станислава Зотова – редактора отдела публицистики. Обнялся с писателем Константином Скворцовым, с которым познакомился летом, собирая материал об абхазце Фазиле Искандере. Он оказался соседом Искандера по даче, и именно Константин Васильевич с супругой пытались спасти писателя в тот роковой июльский день 2016 года, но безуспешно. Переговорил с Владиславом Артёмовым, у которого в журнале “Москва” публиковался. Увидел Геннадия Зюганова и даже договорился с ним по поводу интервью о Егоре Исееве, которого тот ценит. Разве мог я в ином месте увидеть сразу столько интересных людей, коллег и друзей!

Зал был заполнен людьми до отказа. Сразу проникся царящим здесь оживлением гостей, которые пришли и приехали сюда по зову души, и это ещё больше воодушевляло.

Вот на сцену своей бодрой походкой вышел Станислав Юрьевич Куняев и открыл вечер.

Вы думаете, кого-то в зале утомил его рассказ об истории журнала? Нисколько! Прикосновением к Александру Пушкину, основавшему 180 лет назад журнал “Современник”, к Алексею Лосеву, к нынешним авторам журнала, которых не счесть, он словно открывал створы в ранее скрытые для всех нас арсеналы прошлого, прикасаясь к событиям ушедшего столетия, к которым я оказался кровно причастен. И этот рассказ превращался во что-то более значимое, нежели просто разговор о пережитом, в какое-то большое общение, для которого зал Дома литераторов казался безумно мал: оно выходило за его пределы и распространялось на пространства всей России.

Я слушал слова Станислава Юрьевича о любимом детище Александра Сергеевича “Современнике”, в котором, наряду с его поэмами и повестями, печатались повести Гоголя, стихотворения Тютчева, Лермонтова и воронежского поэта Кольцова, с каким трудом журнал выживал, как его недопонимали. Слова Куняева о вырожденцах и вырожденках, которые заплоняли и теперь заплоняют нашу жизнь, как с этим боролся и борется журнал, никого не оставили равнодушными в зале. Я сам не могу спокойно смотреть на алчных дельцов, льстивых приспособленцев и откровенных преступников, которые наводнили мою страну и кому давал и даёт бой “Наш современник”, названный Валентином Распутиным “Брестской крепостью”.

Когда сидящий рядом с главным редактором Александр Казинцев объявил, что перед нами с экрана выступит ныне покойный бывший главный редактор журнала Сергей Викулов, я невольно вспомнил историю о том, как метался с посвящённой Александру Твардовскому повестью о собаке Гавриил Троепольский. Тогда с ней он пришёл именно в “Наш современник”. А как разобравшись в своих поступках Гавриил Николаевич, рассказывать не надо.

На экране появился Сергей Васильевич Викулов. Он заговорил:

— И вы сами понимаете, что начинать дело было нелегко. Завоевать место под солнцем, как мы говорим, среди таких журналов, которые давно известны нашим читателям, как “Новый мир”, “Москва”, “Октябрь”, “Знамя” и другие, было не так-то просто. И вот когда мы собирали силы для того, чтобы журнал мог нормально жить, функционировать, мы поняли, что рассчитывать только на Москву — значит, задачу эту не решить. И мы решили, что оставим открытую дверь для москвичей, но мы внимательно будем смотреть, а что происходит на литературном фронте в глубине России. Иными словами, мы сделали ставку на глубинную, провинциальную, периферийную Россию. Первым пришёл в журнал “Наш современник” Гавриил Николаевич Троепольский, проживающий в городе Воронеж и предложивший нашему журналу знаменитую повесть “Белый Бим Чёрное ухо”...

На экране возникли изображение книги о Биме и фотография Троепольского. Я несколько лет собирал материал о жизни Гавриила Николаевича перед тем, как вышел мой роман о нём “Человек Чернозёма”, и то, что сказал Викулов, невольно отразилось во мне кровной связью с журналом. И думаю, многие в зале ощутили на себе такую связь.

А Викулов с экрана закончил:

— Пришёл к нам в журнал Василий Иванович Белов из Вологды...

На экране появился Василий Белов, который заговорил:

— У нас существует много людей, которые считают, что славянская культура — это второстепенная культура. Мы должны развеять такое мнение. Мы должны доказать, что это неправда, что это ложь. Славянская культура — великая культура.

Свет в зале вспыхнул, а я горько сожалел, что не встретился с Василием Беловым при его жизни. Был в Вологде, на своей родине, несколько раз и всякий раз мог по совету поэта Егора Исаева встретиться с Василием Ивановичем, но меня в Вологде отговаривали от этого шага местные коллеги: мол, Белова так опекают, что к нему не попадёшь. Тогда я отступил, о чем вспоминаю с досадой. Но теперь встреча с писателем с экрана как бы восполняла утраченную возможность.

Я во всём происходящем находил какой-то отклик у себя в душе, ведь адвокат не должен сидеть, сложа руки, когда унижают или обижают моего соотечественника.

Поэтому когда очередной поздравляющий Альберт Лиханов вспомнил четверостишие Станислава Куняева:

*Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.*

Я только взбодрился и следом за Лихановым повторял строки. Я знал много трусоватых редакторов журналов, газет, которые сглаживали углы, боясь попортить отношения с тем или иным чиновником, с тем или иным спонсором, ретушировали действительность и воспевали тех, кто очередным божком взбирался на временный Олимп, чтобы через какое-то время с него свалиться.

Когда прозвучали слова, что дано слово Александру Проханову, я невольно захлопал в ладоши. Между Станиславом Куняевым и Александром Казинцевым сел крупный мужчина со встрёпанным волосами. Это был тот, о ком Егор Исаев при жизни мне говорил: “Миша, иди к Саше Проханову. Он такой же горячий!”

Проханов начал задушевно:

— Для меня “Наш современник” — это дом. Родной. Тёплый. Светлый. С великолепными окнами. С видами на восхитительные аллеи. С маленькими окнами, откуда видны пажити, озими, деревни, с первой пургой, русской природой. Я в этот дом приносил самое дорогое, что у меня есть — мои произведения. Журнал “Наш современник” был моей охраной. Был моей обороной, как беззащитного художника. Все мы, художники, беззащитны, у нас нет ни воздушных армий, ни бронетранспортёров. Нашими защитниками являются наши собратья, наша культура.

Проханов продолжал:

— Ещё “Наш современник” для меня является оружием. Потому что мы всё время, всё время литературное, весь наш век сражаемся. Это постоянная схватка. Это не упование и обольщение красотой слова, это жесточайшая, смертельная схватка. И “Наш современник” был орудием, был пушкой гладкоствольной, из которой мы стреляли, из которой летели наши тексты. Иногда попадали в цель, приносили разрушение в стан врага, иногда мы промахивались, но сражались. Многие из нас погибли. И мы сами не погибли, потому что они погибли. А выжила Россия, выжила восхитительная русская словесность благодаря тому, что были те, кто погибал. Были страшные времена...

Мне захотелось взбежать на сцену и крепко-крепко пожать руку этому бойцу.

А вечер преподносил один подарок за другим. Вот микрофон взял Сергей Куняев и объявил, что теперь произойдёт встреча с Валентином Распутиным. У меня было несколько встреч с Валентином Григорьевичем, но эпизодических и очень коротких. Но несколько раз я слушал его выступления. Он воспринимался мной, как воспринимался братией Оптиной пустыни тогдашний духовник отец Илий. Я познакомился с отцом Илием в горький 1993-й, после трагедии на Пасху, и длительное время наблюдал за ним. Подобным “духовником жизни” мне представлялся Валентин Распутин, который теперь словно вернулся к нам и говорил с экрана:

— Деревенская литература, она уже была известной, она уже широко была известной. И “деревенщиков” было не так уж и мало. И я примкнул к ним. Это была моя литература. А в деревенской литературе фальшивить нельзя. И не писать поверхностного человека. Когда пишешь поверхностного человека, ты и сам поверхностен. Надо в какие-то свои глубины заглянуть. И они существуют, глубины. Это не писатель, если он обходится без этих глубин, если он не сумел их разработать. А это требует разработки определённой. И чтением, и размышлением, и просто молчанием... Я не назад зову. Я за сохранение тех ценностей, тех традиций, всего того, чем жил человек... Ведь правительству... не доверяет народу... И довело дело до того, что народа, в той слитности, в которой он был, его не стало теперь. Вот это преодолеть, это самое страшное. В год мы можем сколько угодно нефти добывать, сколько угодно электростанций строить, но пока не будет этой слитности, не будет могучего государства. Никогда не будет... Будем вот так продавать, найдутся всегда люди, которые умеют этим пользоваться, которые умеют наживать, которые везде проникают... Задача — убережение народа.

Я вспомнил своего друга писателя из Самары Эдуарда Анашкина, который был близок к Валентину Григорьевичу и теперь пишет книгу о нём, и лишь мысленно попросил, чтобы скорее он её окончил. Она нужна была, чтобы отделить шелуху от зёрен, от валом примазывающихся к писателю после его кончины людишек.

Сергей Куняев продолжил вести вечер:

– Сейчас вы увидите на экране замечательного прозаика, который по возрасту не смог здесь присутствовать, но он с нами, он жив. На экране – Юрий Бондарев.

В который раз погас свет и на полотне появился мужчина со звездой Георгия на лацкане пиджака, который сжимал руки в кулак и, немного склоняя голову, говорил:

– Прошло уже много лет, а ту тяжелейшую, священную, Отечественную войну забыть никто не может. Высказывали такие мысли, что наш солдат не так уж хорош, что наши полководцы допускали ошибки, и это стоило огромных жертв. Бывший генерал вермахта Блюментритт сказал удивительную фразу, которую у нас по определённым, наверно, обстоятельствам и из-за патологической стеснительности, наверно, не говорят: “Мы никогда не ожидали встретить такую Красную армию. Мы поразились её стойкости. Ведь каждое сражение стоило нам пятидесяти процентов личного состава. В Европе Дания была завоевана за одни сутки, Голландия – за пять дней, Бельгия – за девятнадцать дней, Франция – за шесть недель, и то для нашей армии, – говорит он, – были просто манёвры. А то, что произошло здесь, это ужасно...”

С Юрием Васильевичем я тоже до сих пор не встретился, хотя по совету и даже договорённости Егора Исаева с Юрием Бондаревым это должно было произойти лет пять назад. И тут вечер в ЦДЛ восполнял и это моё упущение.

Он запомнился мне ещё поздравлениями, которые зачитал Александр Казинцев: от владыки Тихона, от писателя Захара Прилепина. За душу задело каждое сказанное с экрана слово композитора Георгия Свиридова. Говорил старичок, поднявшийся на сцену. Он оказался академиком и когда-то воевал против изменения направления сибирских рек. Потом бывший ректор Литинститута, редактор журнала, газеты. Читали стихи поэты, актёры МХАТа. Много ещё было интересного, животрепещущего, задушевного.

Даже тогда, когда вечер затянулся, зал не пустел. Певица Татьяна Петрова спела песню “Зачарованная даль”, которую просила исполнить для юбилеев Александра Николаевна Пахмутова:

*Нас осталось так немного,
Нас ещё томит печаль.
Заповедная дорога,
Зачарованная даль.*

*Здесь до боли всё знакомо,
Здесь родные берега.
И ведёт дорога к дому
Сквозь невзгоды и века...*

Когда стали расходиться, я подошёл к Станиславу Куняеву, и он подписал мне свою книжку просто и по-отечески:

“Мише!
Ст. Куняев”.

Теперь она стоит у меня на полке, вместе с книгами, подписанными мне Гавриилом Троепольским, Егором Исаевым, Владимиром Фирсовым, Евгением Догой, Александром Казинцевым и многими дорогами для меня людьми.

Я вышел из Центрального Дома литераторов и пошагал к метро.

“Вот, говорят, литература умирает, а она живёт. И как!” – звучало в голове у меня, а в ушах стоял гул зала и отрывки из записанных на киноплёнку выступлений Валентина Распутина, Василия Белова, Николая Рубцова, Юрия Бондарева, Вадима Кожина, которые смешивались со словами из песен.

Для кого юбилей – праздник журнала, а для меня – праздник души, почерпнувшей столько русского слова, русской мысли, русской боли и русской

радости, русской музыки, и я ничуть не жалел, что бросил все свои адвокатские дела и приехал в столицу.

Михаил Фёдоров,
адвокат, писатель
г. Воронеж

ШТРИХИ К РОМАНУ О РОКОССОВСКОМ

Дорогой Станислав Юрьевич!

С большим удовлетворением прочитал в пятом и шестом номерах журнала “Наш современник” за 2016 год роман-биографию Сергея Михеенкова “Рокоссовский. Клинок и жезл”. Отрадно, что на страницах журнала с большой теплотой и так широко представлен выдающийся полководец Великой Отечественной войны, глубоко порядочный и очень интеллигентный человек – Константин Константинович Рокоссовский. Его по праву называли советским Багратионом, а наши враги – гитлеровские генералы – считали его лучшим военачальником Красной армии.

Заслуживает всяческого одобрения и то, что журнал опубликовал роман-биографию о Рокоссовском в год его 120-летия. Это хороший подарок не только тем, кто имел честь воевать под началом маршала, но и проходил под его командованием воинскую службу в послевоенное время. Известно, что Рокоссовский после завершения войны с немцами командовал Северной группой войск, затем, вернувшись из Польши, где Константин Константинович семь лет был министром обороны этого государства, он продолжал свою службу в качестве заместителя министра обороны СССР.

К сожалению, Рокоссовский – один из тех героев Великой Отечественной войны, которые оставили для потомков в силу ряда причин довольно скромные мемуары, мало рассказали о своих непростых судьбах и жизненных перипетиях. Между тем маршалу было что поведать о событиях в годы войны, и особенно в её начальный период, когда он командовал корпусом. И здесь следует отметить, что эта категория военачальников плюс командиры дивизий по существу были главными фигурами в ходе боевых действий вплоть до вооружения Знамени Победы в поверженном Берлине.

Именно они на полях сражений претворяли в жизнь стратегические замыслы и планы, которые разрабатывали большие военачальники. А порой дрались с врагом и без всяких стратегий. Особенно на начальном этапе войны. Эти офицеры и генералы приняли на себя ошеломляющий удар вермахта, испытали горечь поражений и отступлений в июне–ноябре 1941 года, а затем – тяжесть оборонительных боёв на всех участках фронта. Именно эти командиры сумели в непростых условиях организовать отпор врагу, остановить его продвижение к Москве, а затем и начать громить. Рокоссовский – яркий их представитель. Характерна и такая деталь. Среди боевых потерь высшего состава Красной армии велики были потери среди командиров дивизий и корпусов. Но следует отметить, что именно эта категория командиров была наиболее поощряема высокими наградами: Героями Советского Союза в годы войны стали многие комдивы и комкоры. Правда, Рокоссовский свою первую Звезду Героя получил в 1944 году, уже будучи командующим войсками фронта, хотя этому предшествовали бои на подступах к Москве, где Рокоссовский как командующий армией сумел вместе со своими бойцами остановить врага, Сталинградская битва и Курская дуга, где он – командующий войсками фронта – проявил себя как отважный, смелый и грамотный защитник Родины. Награды, конечно, за все эти баталии были. Но довольно скромные. Видимо, сработала история “сидельца”.

Так что и самим Рокоссовским, и авторами, рассказывающими об этом полководце, ещё многое недосказано. И очень бы хотелось надеяться, что со временем этот пробел будет устранён. В этой связи представляется уместным к труду С. Михеенкова сделать некоторые дополнения. В частности, известно, что Рокоссовский был арестован 17 августа 1937 года и по 22 марта 1940 года содержался в тюрьме. В Ленинграде, в зловещих “Крестах”. Но известно и то, что рассмотрение его дела состоялось в Москве осенью в 1939 году. Военная коллегия Верховного Суда СССР не признала обвинения против Рокоссовского. Дело против него было прекращено. И здесь возникает зако-

номерный вопрос: почему после закрытия уголовного дела наш герой ещё почти полгода содержался в тюрьме?

Автор романа также задаёт такой вопрос, но ответа у него нет. Всё вроде бы покрыто мраком. Существует несколько версий на сей счёт. Автор этих строк об одной из таких версий в определённой степени осведомлён. В начале 70-х годов прошлого столетия я работал корреспондентом сельхозотдела газеты “Правда”. По соседству с нашим располагался военный отдел, который был весьма немногочисленным, – три сотрудника. С одним из них – полковником Петром Студеникиным – у меня сложились приятельские отношения, несмотря на некоторую разницу в возрасте. В отделе он вёл несколько направлений по освещению военной тематики, в том числе и мемуары. К нему часто захаживали видные военачальники-фронтовики, их порученцы. Особенно активно это происходило в 1974–1975 годах, когда отмечались веховые события минувшей войны. Студеникин нередко делился со мной интересной информацией о малоизвестных фактах, имевших место в ходе крупномасштабных операций в годы войны. Такие беседы хорошо складывались в дни, когда совпадали наши дежурства по отделам: газета зачастую подписывалась в печать далеко за полночь. Так что времени для познавательных разговоров хватало. Не могу точно воспроизвести причину, но однажды темой нашей беседы стал К. К. Рокоссовский.

Пётр Студеникин поведал мне, где же пребывал Рокоссовский в конце 1939 года до дня своего освобождения 22 марта 1940 года. Но сначала некоторые коррективы к тексту С. Михеенкова. Действительно, как рассказывал мой коллега, вся фабула обвинения Рокоссовского строилась на показаниях его бывшего сослуживца Арнольда Юшкевича. Между тем Рокоссовский хорошо знал, что этого товарища уже нет в живых 19 лет: он героически погиб в бою. Рокоссовский, используя это обстоятельство, грамотно построил свою защиту, а главное, он вспомнил о том, что о гибели однополчанина рассказывалось в 1920 году в одной из центральных газет. На судебном заседании Рокоссовский с блеском использовал этот неопровержимый аргумент и развалил всё обвинение следствия. Суду ничего не оставалось, кроме как закрыть дело. С. Михеенков назвал газету “Красная звезда”. На самом деле это была газета “Правда”. Военная газета была создана спустя несколько лет после данной публикации, решение ЦК ВКП(б) о её учреждении было принято в 1923 году. Поэтому было бы целесообразным при переиздании данного произведения внести в текст соответствующие коррективы.

Теперь о главном: почему Рокоссовский ещё полгода томился в “Крестах”? Оказывается, после этапирования из Москвы в Ленинград начался процесс оформления документов для освобождения из-под стражи. Проводил все эти действия следователь, который вёл дело. Так вот, как рассказывал П. Студеникин, чуть ли не на последнем этапе этой процедуры Рокоссовский заявил следователю, а это был сравнительно молодой человек и к тому же представитель “малого народа”, о том, что теперь на освободившиеся в камере место следует поместить его. Естественно, в НКВД таких вещей не терпели. Последовала бурная реакция и, как результат, – Рокоссовский ещё почти полгода “загорал” на тюремной койке, несмотря на решение суда о его невиновности. А вот какие сработали рычаги в марте 1940 года, когда Рокоссовский вышел на свободу, это загадка и по сей день. Одни утверждают, что перед Сталиным за будущего полководца ходатайствовал Жуков. Другие говорят о том, что это заслуга маршала Тимошенко. Но прямых доказательств этих версий нет.

Ещё одна из деталей рассказов Студеникина. К. К. Рокоссовский, уже будучи командующим войсками фронта, весьма “нелюбезно” относился к представителям особых отделов. Дело в том, что ему как командующему предписывалось утверждать решения трибуналов в отношении тех военнослужащих, которые проявили трусость, измену Родине, паникёрство и т. д. Словом, воинские преступления. Порой такие обвинения особистов носили весьма тенденциозный характер, то есть подводили того или иного военнослужащего под расстрел необоснованно. Комфронта хорошо знал по своему собственному опыту стиль работы органов, очень внимательно изучал документы в отношении осуждённых и нередко требовал от особистов аргументированных доказательств их вины. Порой таким “обвинителям” здорово прилетало от Рокоссовского.

Заслуживает внимания и ещё одна история, характеризующая полководца. Он был глубоко убеждён в нашей победе над фашистами даже в самые критические минуты, когда немцы уже разглядывали в бинокли очертания Москвы. Студеникин рассказал мне о том, как однажды корреспондент “Красной звезды” Павел Трояновский, а будущий маршал его хорошо знал, явился по вызову командарма в его штаб. Рокоссовский внимательно изучал карту, видимо, осмысливал какие-то действия своих войск. Оторвавшись от карты, Рокоссовский начал разговор с корреспондентом. Беседа была продолжительной, даже успели выпить по стакану чая. Но Рокоссовский периодически обращался к карте, скорее всего, что-то обдумывал. Здесь Трояновский воспользовался моментом и задал генералу такой вопрос: какая самая сокровенная мечта у командующего армией, которая дерётся из последних сил на подступах к столице? Ответ командарма очень сильно удивил Трояновского. Рокоссовский стал говорить о том, что вот сейчас ему приходится искать участки фронта, где можно бы с наименьшим риском снять небольшое количество бойцов для создания оперативных резервов на случай возможного прорыва немцев, а мечтает он о том, как будет разрабатывать варианты наиболее эффективного наступления на Берлин! Напомним, разговор этот состоялся в середине ноября 1941 года. До контрнаступления Красной армии под Москвой оставалось ещё почти полмесяца. Да и догадывался ли тогда о нём командарм, поскольку натиск фашистов усиливался день ото дня, и его 16-я армия дралась из последних сил, а командующий был рад каждой прибывшей в его распоряжение танковой роте и батальону пехоты. Вот только редки были эти радости.

Нельзя не упомянуть и о таком интересном событии, где одним из действующих лиц стал Рокоссовский. Происходило это на Центральном фронте. Вышеупомянутый П. Трояновский – “старшина” корпункта на этом фронте. Представлены, как полагаются, все центральные газеты, ТАСС. На фронте за тишь. Майсь в ожидании главных событий, журналистская братия, узнав, что тассовец где-то разжился спиртом, решила завладеть этим ценным продуктом. Придумали ход: “сфабриковали” сообщение о пленении генерала Моделя и продали эту дезу тассовцу за спирт. Но на узле связи штаба фронта договорились, чтобы никаких сообщений подобного рода в Москву не передавать. Дежурный офицер по узлу связи отлучился, и в этот момент сообщение о пленении Моделя войсками Рокоссовского ушло в Москву. Через несколько часов в штабе фронта начался переполох. Расследованием вынужден был заниматься сам Рокоссовский. Когда он выяснил обстоятельства случившегося, то принял очень мудрое решение: все корреспонденты, прикомандированные к штабу фронта, должны убыть в течение нескольких часов в боевые порядки полков и батальонов. И без особой команды в штабе не появляться. Знал, что кое-кто в Москве таких шуток может не понять. Кстати, об этом факте упомянуто на традиционной встрече правдивостов – участников Великой Отечественной войны в феврале 1979 года и рассказано в многотиражке “Правдивост” № 23 от 8 марта 1979 года.

Буду рад, если моя информация поможет автору романа-биографии о К. К. Рокоссовском несколько расширить это произведение дополнительными штрихами к биографии выдающегося полководца.

Евгений Соснин,
член Союза журналистов России
г. Москва

“РАДУЮСЬ, ЧТО БОГАТА РОССИЯ ТАЛАНТАМИ”

Здравствуйтесь, уважаемый Станислав Юрьевич и Сергей Станиславович!

Мне всегда тревожно за Вас и за “Наш современник”. Вот почему всегда повторяю слова, начертанные на иконке святого Фёдора Ушакова: “Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России”.

Станислав Юрьевич, хочу выказать Вам слова благодарности за Вашу подвижническую работу в “Нашем современнике”. Всё самое лучшее, современное, остро необходимое, появляется на страницах журнала. Читая, радуюсь, что так богата Россия талантами. Вот и восьмой номер порадовал повестью

Михаила Тарковского “Полёт совы”. Читала её несколько раз и захотелось поделиться радостью своего открытия с другими. На скорую руку написала заметку для районной газеты. Очень спешила, чтобы успеть опубликовать её к Дню учителя. А ведь повесть заслуживает большой критической статьи, в ней отражены многие наши большие проблемы: состояние дел в школьном образовании, положение учителя в современном обществе, защита русского языка, природа и человек, вера и атеизм, и многое другое. А каким точным и ёмким языком написана повесть! Начинающим прозаикам стоит поучиться!..

Ещё раз хочу поблагодарить за публикацию моих стихов в “поэтической мозаике”.

Остаюсь верной читательницей и подписчицей “Нашего современника”.

В. Г. Останина
пос. Таврическое Омской области

ПОМОЩЬ ЖУРНАЛУ

Дорогой Станислав Юрьевич!

Присоединяюсь ко всем поздравлениям по поводу 60-летнего юбилея журнала “Наш современник”.

“Обожгла” меня Ваша вступительная статья в № 12 за 2016 год: “Пушкин – наш современник”, а особенно высказывания ненавистников о России и о русских. Как же обидно это слышать! Я всё время себя ощущаю обсчитанной, обманутой, оболганной. Может быть, мы и правда полные “придурки”, ни на что не годные! И как нам, “придуркам”, удалось построить гигантскую страну и выиграть войну?

В воздухе повисает вопрос: почему эти негодяи вслух высказываются о нас в таком ключе и это не считается ни разжиганием национальной ненависти, ни оскорблением... Что-то я не слышала, чтобы кого-то из них привлекли по 282-й статье. А многие русские люди сидят по этой статье, и защитников-то особенно не сыщешь. Слышала однажды, как по телевидению выступал Никита Михалков, но не очень убедительно. Я не восхитилась его выступлением, но всё равно спасибо ему за эту попытку помочь.

По всем, по всем направлениям идёт скрытая атака на нас, и многие русаки даже не замечают этого. Правители и церковь призывают к толерантности, особенно русских. Быть может, это и правильно, так как гнев народа может быть ужасен. Интересно бы узнать, сколько русских парней сидят по 282-й статье и за что именно. Ведь только через Ваш журнал узнаёшь очень много полезных сведений. Даже больше и читать ничего не надо!

Увидев в № 12 за 2016 год скромный список жертвователей, я поняла, какую ошибку совершила, не догадавшись помочь журналу.

Станислав Юрьевич! Не стесняйтесь, бросайте клич, когда нужна материальная помощь журналу. Патриоты обязательно откликнутся и помогут, кто сколько сможет.

Хочу исправить эту ошибку и посылаю небольшую сумму в фонд журнала.

С большим уважением,
Славянка Зоя

“МНЕ СТЫДНО ЗА ТЕХ, КТО СЕЕТ ПЛЕВЕЛЫ”

Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич и все члены редколлегии и сотрудники журнала “Наш современник”, от всей души поздравляю вас всех с наступившим Новым годом и желаю здоровья, удачи, успехов, счастья и всего наилучшего в вашей жизни!

Пятого января 2017 года мною на имя главного редактора еженедельной газеты “Литературная Россия” В. В. ОГРЫЗКО выслана по электронной почте моя критическая статья по поводу безобразной публикации Александра БАЙГУШЕВА. Вам высылаю копию статьи.

Опубликованная в газете “Литературная Россия” № 41 от 25.11.16 статья Александра Байгушева “Бесстыдство Станислава Куняева” привела меня в шок. Не могу молчать, когда позволяют себе так бессовестно лгать. “От вранья не мрут, да вперёд веры неймут”, – говорили на Руси во времена “казака Луганского” – Владимира Даля.

В 1982 году в предисловии к сборнику “Путь” Вадим Кожинов писал: **“Понятие пути – одно из важнейших при характеристике творчества поэта... В начале 1960-х годов имя Станислава Куняева оказалось в первых рядах “эстрадной поэзии”. Но, пройдя по этой дороге, в сущности, всего несколько шагов, поэт вдруг решительно свернул с неё. При этом он, безусловно, пожертвовал своей уже нарастающей шумной известностью, ибо даже в самом его поэтическом мире словно наступила глубокая тишина – тишина раздумья и пристального, чуткого вслушивания в голоса природы и истории... В те годы Станислав Куняев обрёл бесценных сподвижников на своём новом пути – таких, как Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Владимир Соколов. Вместе они создали основу целого направления или, вернее, периода в развитии отечественной поэзии...”**

Литературный критик Владимир Бондаренко в статье о поэтическом сборнике Куняева “Лирические хроники” отмечал, на мой взгляд, главное в нём: **“Станислав Куняев всегда идёт и в жизни, и в литературе своим путём... Волевое, гражданское, бойцовское начало, направленное на сопротивление, как определяло, так и определяет до сих пор и поэзию, и жизненное поведение Станислава Куняева. И это прекрасно. Это редкий дар, которого были напрочь лишены и многие его друзья-единомышленники, и оппоненты-шестидесятники, подменявшие суровую требовательную социальность в своих стихах сиюминутными выплесками модных сентенций. Именно потому его “Добро должно быть с кулаками!” у Евгения Евтушенко абсолютно не прозвучало и не запомнилось. Это была громкая фраза, не более, а в стихотворении Куняева была уже тогда выношенная жизненная позиция”**.

Обе эти точки зрения я полностью разделяю.

Прежде чем перейти к размышлениям по поводу позорной статьи Александра Байгушева, процитирую ещё одно бессмертное стихотворение Станислава Юрьевича:

*Реставрировать церкви не надо —
пусть стоят, как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготе и в разрухе своей.
Пусть ветшают...*

*Недаром с веками
В средиземноморской стороне
Белый мрамор — античные камни, —
Что ни век, возрастают в цене.
Штукатурка. Покраска. Побелка.
Подмалёвка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.
Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный тёмный собор?
Всё равно на просторах раздольных
ни единый из них не поймёт,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поёт!*

На Северном Кавказе, в Карачаево-Черкесской Республике, как напоминание о далёком прошлом наших предков, стоит остов Сентинского храма –

одного из наиболее знаменитых христианских храмов эланской культуры X–XI веков. Он имеет форму равнобедренного креста с притворами у северной, южной и западной сторон. Кое-где на стенах до наших дней сохранились остатки фресок. В бытность свою гидом я с экскурсантами поднималась сюда и рассказывала им о христианском прошлом адыгов. И хотя позже карачаевцы и черкесы стали магометанами, но в Коране упоминают святые для них имена Богородицы Девы Марии (Марьям) и Иисуса Христа. Когда-то гадостное впечатление произвели на меня роман Байгушева “Сатанинские признаки закулисного человека” и публикации в “Литературной газете” глав из его мемуарной книги. Комментарии историка Сергея Кургиняна по поводу “Русской партии внутри КПСС” Байгушева высветили продажную сущность Александра Иннокентьевича, и он как автор мне стал противен. Кому нужны бесовские наваждения человека, который явно не владеет собой?

Многие высказывания Александра Иннокентьевича впрямую бесчестны и подходят под соответствующие статьи Гражданского и Уголовного кодексов РФ. И если ещё никто его не привлёк к ответственности, то, возможно, только из нежелания сутяжничать. Но сколько верёвочке ни виться, а концу быть.

Мне лично в жизни не довелось встречаться ни с Куняевым, ни с Байгушевым. А это значит, что воспринимать и обсуждать их я буду по заслугам, а не по услугам. Внимательно вглядываюсь в их лица на опубликованных в газете фотографиях. Брезгливая гримаса на лице Байгушева вызывает неприязнь, умный взгляд Куняева – симпатию.

Досадно, что такой ничтожный литератор клеветает, и на кого? На поэта, имя которого широко известно на всей территории бывшего Советского Союза со времени выхода его первого поэтического сборника “Землепроходцы” (1960). Его имя внесено во все энциклопедии не случайно! Не говоря уже о том, столько разножанровых книг Станислава Куняева издано с тех пор! Десять лет назад было издано 12 книг исторической публицистики, прозы, критики и более 30 поэтических сборников. Знаю это потому, что публиковала статью о его творчестве. Главное – за его книгами “охотятся” до сих пор даже в нашей теперь малочитающей стране. Разве не глупость автора и редактора газеты “Литературная Россия” – назвать первый раздел скабрёзной писанины Байгушева о любимом тремя поколениями читателей авторе **“Наш “поэт без свойств”?** У Куняева как раз налицо все отличительные особенности и **свойства** недюжинного таланта, твёрдая гражданская позиция, публицистичность, опирающаяся на глубокое знание истории, глубоко русское мировоззрение. А какими причинами (свойствами) может поразить читателей скандальный завистник? Разве лишь тем, что “промышляет публицистикой”, пока имеет доступ в газету “Литературная Россия”? Действительно, Станислав Юрьевич Куняев черпает темы для своей публицистики из жизни, широко и полноценно общаясь с разными интереснейшими авторами – единомышленниками и оппонентами. Его эрудиция восхищает, рискованность суждений завораживает, талант организатора вызывает уважение. Ещё в 1989 году в газете “Московский литератор” он не побоялся смело выступить с резкой критической статьёй о русофобии члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева. Раздумьями о судьбе России изобилуют его беседы, интервью, разговоры в книге “Стас уполномочен заявить...” (М., 2007). Всколыхнула польское общественное мнение его неотразимая публицистика в книге “Шляхта и мы” (М., 2012). Поисками истины наполнены все его книги о русских поэтах и писателях, в том числе и переизданная в 2013 году книга “Любовь, исполненная зла...”. Особое место в этом ряду занимает высококлассная историческая книга “Жрецы и жертвы холокоста”.

То, что пишет о холокосте Байгушев, – невежество полнейшее! Либо он читать не умеет, либо талантом литературным и знаниями истории он обделён. На Кавказе более ста разных национальностей и народностей, а потому были и есть у меня близкие друзья из горских, европейских и израильских евреев, из мусульман и православных. Свои книги дарили мне настоятель московской Православной церкви и игумен Ставропольской и Черкесской епархии, иеромонах Валаамского монастыря и чернецы из Второ-Афонского, Киевской и Псково-Печерской лавр. Библия, Коран и Пятикнижие – мои настольные книги. В молодости по поручению отдела пропаганды ГК КПСС я писала монографию о молоканах, баптистах и свидетелях Иеговы на Северном Кавказе.

Что касается книги Куняева “Жрецы и жертвы холокоста”, могу напомнить всем, кто это забыл, что массовая гибель евреев во Второй мировой войне 1933–1945 – страшная трагедия человечества и спекулировать на этом – величайший грех. Станислав Юрьевич правдив и эрудирован в своих публикациях, и то, что при этом он поддерживает и понимает поэтов, журналистов, писателей всех национальностей из бывших братских республик Советского Союза, несомненно, делает ему честь! Он настоящий патриот своей многонациональной Родины! Вот ведь и по признанию самого Байгушева, не побоялся он в своё время подняться против латыша, оскорбившего национальное достоинство журналистки Аллы Гербер. К сожалению, и тут наш Байгушев “опустился” до наушничества, заявив: **“не просто еврейки, а еврейки вызывающе политически окрашенной, широко всем известной активной сионистки и оголтелой русофобки”**. Мужской поступок Куняева мне понятен: рыцарь готов идти в бой с открытым забралом. Это ещё надо посмотреть, кто “снимает пенки” с чужой репутации и кто есть писатель “без свойств”, да ещё и “в старческом маразматическом возрасте”? Кавычу выражения, позаимствованные у Александра Иннокентьевича, и отношу их к нему лично. Не у московских ли дореволюционных дворников, сотрудничавших с полицией, или представителей “сусловской политической разведки” получил Байгушев воспитание доносчика и собутыльника “застолый в забегаловках”?

С каким упоением Александр Байгушев разбросал по всему тексту статьи с десятком издевательских, по его понятиям, словосочетаний “душка Стасик” – в кавычках! Только ведь это отнюдь не оскорбление, а всего лишь признание того, что Станислав Куняев смолоду был и поныне остаётся милым приятным человеком с богатейшим внутренним миром, открытым добрым сердцем. И почему бы Куняев не вспоминать в своих мемуарах о своих дружеских отношениях с талантливым поэтом-фронтовиком, евреем Борисом Абрамовичем Слуцким? Возможно, молодой русский поэт и перенимал у старшего коллеги-еврея жестокость стиля и разговорные интонации в поэтике. Байгушеву же, так и не сумевшему “примазаться к страшно влиятельному еврейскому поэту” Слуцкому, в итоге и “бахвалиться” нечем. Вот он и не в силах скрыть своей низменной зависти к более успешному талантливейшему коллеге и самозабвенно вываливает на страницы “Литературной России” “чудовищный” компромат на Б. А. Слуцкого и П. П. Полторацкого, добытый им якобы из рассекреченных архивов “партийной разведки”, а скорее всего, из кулуарных сплетен “стукачей”. Гадливость это вызывает у меня, прежде всего, к “информатору” Байгушеву с его неуместными рассуждениями о том, что **“Ленин был хазарином по своим предкам... чья настоящая фамилия была не Ульянов, а Улянов**. Чей бек Ули – это ещё вопрос. Далеко не все “неразумные хазары” были иудейской веры. Хазары – тюркоязычный народ болгарской группы. Следовало бы незадачливому романисту знать, как и когда в пустынные прикаспийские степи попали сначала спасавшиеся от погромов беглые персидские евреи, а позже – изгнанные из Турции ранее бежавшие туда еврей-толстосумы. С их появлением в Хазарии власть постепенно перешла от хазар к ним. Но ведь родословную все евреи ведут по матери. Родившиеся в смешанных браках от отцов-евреев младенцы так и считались хазарами, татарами, тюрками, булгарами, но никак не иудеями. Чтобы различать категории евреев, следовало бы Байгушеву в этом, прежде всего, самому разобраться, а не разводиться на страницах “Литературной России” вульгарную кухонную националистскую болтологию. Топорная заключительная фраза 2-го раздела статьи Байгушева **“Станислав Куняев не критикует евреев за их отдельных представителей, а мажет всех евреев чёрной краской, охаивая их на самом патологическом уровне фашистского огольного антисемитизма”** – явный оговор! Не страшно клеветнику схлопотать по полной?

“Писательскому сообществу, – вещает Байгушев, – пора освободиться от прилипал и провокаторов”. Но “Литературная Россия” поступает как провокационный листок, когда в 44-м номере за 2016 год в статье **“Давайте спасём Михаила Гуцериева от подхалимов и лакеев”** называет Гуцериева “осетином”. И это не описка, потому что в следующем абзаце автор повторяет: **“Неужели в детстве осетинский мальчик прочитал 1000 книг?”** “Перепутать” осетинов с ингушами, зная историю отношений этих кавказских племён, может только или полный идиот, или подлый провокатор. Огрызкина жёлтая газетка, желая “распутать” национальный вопрос и **“спасти”** Гуцериева

“от подхалимов и лакеев”, не знает даже того, к какому народу принадлежит сам Гучериев.

Прибалты и азиаты, славяне и закавказцы дарили мне свои книги. Многие из них вошли в мировую литературу, благодаря русским переводчикам. Вряд ли мы знали бы Расула Гамзатова, если бы не блистательный поэт Козловский. Переводила я как-то книгу для детей одного талантливого черкеса, великолепно владеющего русским языком, пишущего прозу на русском, а стихи – на черкесском. Его произведения давно вошли в хрестоматию для школьников. На мой вопрос: “Зачем Вам переводчик?” – он откровенно ответил: “Русский язык так многогранно богат, что моего словарного запаса недостаточно, чтобы передать всю красоту моих чувств”.

Любой высокообразованный публицист, касающийся еврейского вопроса, просто обязан ознакомиться с работами еврейского политического деятеля Теодора Герцля, организатора Первого Конгресса сионистов **в 1897 году** и с принятой его участниками программой возвращения Палестины. И это совсем не значит, что мы его ученики! Зато всё, что написано Байгушевым в этом разделе, воистину “ересь жидовствующих”, плод большого воображения амбициозного завистливого старикашки или, ещё того хуже, – бред потенциального пациента психиатра. Доказательств убедительных во всей этой его абракадабре нет никаких. Несомненно только то, что ингуш Михаил Гучериев – олигарх, полиграфисты выпустили его роскошный сборник стихов, и Станислав Куняев посвятил автору свой отклик на изданную книгу, опубликовав его в своём журнале. То, что в заголовок статьи автором взята строка из стихотворения Пушкина, отнюдь не означает, что автор **“приравнял Гучериева к русскому великому поэту”**, как пишет Байгушев. Вчитываюсь в текст байгушевской злобной статьи, и всё более утверждаюсь в мысли, что такой человек не только не способен кого-либо любить, но и просто уважать. Он с маниакальной ненавистью относится не только к евреям. В его устах слова “ингуш” и “душа-человек” – ругательные. Мне стыдно за тех, кто выдаёт за “литературную полемику” его малограмотные писания, сеет плевелы и поощряет так называемых “писателей” типа Байгушева, походя пачкающего грязью Станислава Куняева, Вадима Кожина, Владимира Бондаренко, Александра Проханова и других. Я не знаю и не хочу знать, кто по национальности Байгушев. Но я твёрдо уверена в том, что такой человек способен принести только зло. Мудрым четверостишием Валентина Сорокина я и закончу свои размышления о Добре и Зле в современной русской литературе, культуре и морали (на примере публикации в газете “Литературная Россия”):

*Беру коня судьбы я под уздцы
Без суеты и лишнего испуга,
Поскольку понял: в мире подлецы,
Как близнецы, похожи друг на друга.*

Галина Шевченко,
член Союза писателей России
автор 28 книг по истории Кавказа

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ЗДРАВСТВУЙ, ЗАВТРА!

Вот и нельзя, а улыбаюсь при чтении Канона утрени четвертка первой седмицы Великого Поста, услышав об апостолах, что они “заря воздержания” (прекрасно!), а там уж они и “лира духовдвижимая”, и “духа трубы Христовы”, и уже видишь, как матушка-поэзия начинает теснить простую мужественную правду апостольского делания.

Ах, литература, литература! Свет и искушение, спасение и смущение. Но там и тогда, в высоком воздухе аскетике и духовного строительства, она уравнивалась Евангелием, долгим трудом молитвы, скудностью быта и тяготами послушаний. А уж сегодня слово окончательно отлетает от плоти жизни и становится “слишком видно”. Слово всё необратимее расстается с земной, телесной реальностью смысла, с райским садом, где мир был назван впервые, и всё было: земля и небо, дерево и птица, вещь и дело.

Мы сами изгнали себя из рая цельности. Василий Осипович Ключевский намекал, что и Смутное время началось с того, что разошлись понятия государь и государство, свобода и воля, долг и право, что слова стали подменять реальность. И потом эти разрывы и Евангелием было не заживить.

А тут попадетса на глаза “Охранная грамота” Пастернака (именно попадетса, словно сама прыгает в руки откуда-то, опять подтверждая, что как только о чём-нибудь начинаешь думать всерьёз, книги торопятся разделить с тобой мысль), и я читаю там, что вместо философии перед Первой мировой войной явилась “странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещения”. “История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология вырождалась в ветреную пустяковину брошюрного пошиба”.

Эх, думаешь, разве тогда всё обращалось в беллетристику, если работали И. Ильин и Г. Шпет, С. Франк и Н. Бердяев. Это уж от молодой требовательности и нетерпения могло сорваться. Но предчувствие наступления “беллетристики” было верно. Она ещё “кралась”, ещё стыдилась себя, тем более время посуровело, и слово стало сильно и опасно, и литература ещё возвращалась в живой крепости и правде у Шолохова, Фадеева, Федина, Эренбурга, в сильной послеоттепельной прозе у Казакова, а там и у мощных “деревенщиков”: у Абрамова, Астафьева, Белова, Распутина, — так что мы на время ободрились и поверили, что русское слово вернётся в прежней цельности и спасительной силе. Но только на минуту, потому что при высоте и евангельском духе уже предчувствовалась нота прощания: “Последний поклон”, “Последний срок”, “Прощание с Матерой”.

И сегодня мир в лучших сочинениях ещё договаривает старые правды, досматривает прежние сны, разве что уже с иным чуть *остраненным* вглядыванием, как выздоравливающий после болезни дивится вчера такому обычному, а сегодня словно омытому дню, торопя окончательное заживление реальности.

В горьких, порою страшных книгах (увидишь их в детской номинации и смутишься) Ольги Громовой “Сахарное дитя” и Нины Тетерской “В плену у блокадного детства” смущённо и утешно обрадуюсь, что и посреди безумия истории растёт живое прощающее человеческое сердце. На невысказанных путях скитаний вполне нынешней старообрядческой семьи в “Повести и житии Даниила Терентьевича Зайцева” XVII век со своею ветхой лестовкой совершенно естественно живёт, житийствует посреди XX-го и XXI-го веков, не теряя и не роняя себя, опять доказывая, что в духовно правильном мире времени нет.

Договаривается эта правда и в старинно обстоятельных книгах, среди которых, наверное, всех её читателей задела, почти смутила своей живой старомодностью (опять времени нет) книга Гузель Яхиной “Зулейха открывает глаза”, начиная с простосердечного названия (почти как некогда всеобщезвестной, а нынче позабытой книги Тихона Сёмушкина “Алитет уходит в горы”) до предельно открытого доверчивого рассказа о судьбе молодой татарской женщины перед революцией и в пору самых тяжёлых пореволюционных лет. Книжка отсылает нас к высокой советской классике, как будто навсегда утраченной, а вот — счастливо возвращённой, словно книга была до времени потеряна, забыта на чердаке, а вот теперь нечаянно счастливо возвращена, не повредив во времени ни страницы.

Кажется, и сама матушка-история ищет возвращения, но уже не узнаёт себя, потому что *не возвращается, а воскрешается*, как “четверодневный Лазарь”: “Лазаре, гряди вон!” Да только разве Лазарь встал тот же, что “ушёл”, оплаканный Марфой и Марией четыре дня назад? Он узнал что-то последнее в своей важности и вышел в новую дорогу. Так и мы после прочтения этих оглядчивых книг воскрешали небывшее, словно видели историю, преображённую, очищенную смертью для более разумной жизни, и, боюсь, мы теперь не сможем написать единого учебника истории, потому что она уже была художественным текстом, который всегда убедительнее факта.

Живут ещё, конечно, как во всякое время, и книги “как ни в чём не бывало”, словно история писана не про них. Их все побранивают, зовут “второстепенными”, как некогда Слепцова, Эртеля, Терпигорева-Атаву, Златовратского, а они между тем, просто почва, без которой гениям неоткуда было бы взяться.

Так Евгений Максимов пишет “Приключения Славки Шукина”, словно новосовский “Витя Малеев” вышел вчера и ему надо бы подыскать товарища по школе и на улице, чтобы не скучал. Так писаны “Старый рояль” Александры Житинской, “Мужской день” Бориса Минаева, “Предчувствие любви” Ирины Дружаевой. Выгорают на летнем дачном солнце, пока читаешь, обложки и не отличишь от прозы 60-х— 70-х годов. И это не укор, а только радость, что мир не везде торопится переодеться в броское платье непрременной новизны, понимая, что на старых путях таятся живые чудеса.

Но уже не спрячешься от жестокой опустошённости времени. И вот в детской же номинации явятся “Рассказы бывшего детдомовца” Леонида Фролова, писанные не в дали “злой советской истории”, а прямо сегодня. Но их уже читателям толстовского “Детства” не покажешь, потому что там будут “микрощёлки”, “грёбаный бизнес”, вокзальные проститутки и много страшного “опыта века сего”, так что сердце сожмётся, и поймаешь себя на мысли, что, может, наша детская-то номинация не для детей и создана, а чтобы батюшка-государство и матушка-политика отшатнулись, поняли, что они наделали со своими детьми, и начали что-то поправлять.

А что эти большие книги о нынешнем детстве не случайность, не “ошибка” отборочной комиссии, скажет роман Анастасии Ермаковой “Пластилин”, где опять детский дом и невыносимая, добрая, злая, печальная любящая жизнь в срывах, пьянстве, проституции, во всей своей агрессивной низости, не перекрываемой высотой нашего самообмана, которой бы хотелось не знать, но которая от твоих закрытых глаз не перестанет существовать.

Разный выходит портрет времени. И, увы, чаще неприятный, но уж как-вы есть, таков и портрет: поотражаемся...

“Когда на человечество наступил двадцать первый век, на земле начало твориться что-то жуткое. Слушать новости стало страшно; все потихоньку привыкли к сводкам катастроф, спискам жертв, сметам на возращение невозвратного. Где не сгорело, там утонуло, кто не разбился, того задавило. Количество гляцевых эротических журналов превысило предельно допустимую

концентрацию... Люди переоделись, но забыли сменить выражение лица, и оно осталось, так сказать, невежливым ...” (Е. Черникова, “Зачем?”).

“Появились наркоманы, колбаса, книги, лифчики, заказные убийства, доллары, страх, решётки на окнах и парадные на ключах, СПИД и компьютеры. Исчезли зарплата, пафос, чистота, бескорыстие, скромность и волосы на женских ногах” (А. Матвеева “Подожди, я умру и приду”).

“С детства мы учились на отвратных примерах, на террористических романах или выискивали негативное в нормальных произведениях. Мы учились без Бога, и нам было хорошо. И в душе у нас всегда жило сомнение, что люди могут быть добрыми, бескорыстными, смелыми и преданными... Мы не можем нормально жить, мы привыкли разрушать. А земное – жена, дети и добрые дела – нас почему-то не греет и кажется бессмысленным” (Ф. Нагил “Земные одежды”).

И уж как совершенная формула поколения: “Мир стал невинен. Мир стал юн. Всё пофиг. Перезагрузка с потерей всех сохраненных данных” (М. Кучерская, “Тётя Мотя”). “Переагрузка” для возможности с “обаятельным цинизмом” ни за что не отвечать.

Таковы эти “жанровые картинки” времени, нынешнее “передвижничество”. А можно поглядеть в литературе и портреты поколения. Там в детских домах готовят мальчиков для “голубых” олигархов. Там сорокалетние “пропащие люди”, секс без разбора, пьянство и безысходность. Там “чморят ловов” и делят госбюджет, как “общак” (не стану обозначать кавычек – язык стал обыденным), там рядовые граждане – “съявки позорные”, там жизнь “по понятиям”, там можно прочесть, как у М. Кантора в его “Красном свете” о Солженицыне: “Не выгорело у фраера. Послали топтать зону. А фраер откинулся, огрѐб бабла и схарчил советскую идеологию” (компьютер исподчеркивался, не находя в своей памяти этих слов. Привыкай, тебе всё чаще придётся сталкиваться с этим).

И вот тут уже не про “наступление беллетристики” приходит пора говорить, а про её всемирный потоп, поскольку “наступает не календарный, настоящий XXI-й век”.

Культура вступает с цивилизацией в лесбийские отношения: обе стали гламурны, развратны, громки, стали жить “на показ” и демонстрировать “стильность”. И тонкость. Там, в этом зеркале, чиновники безнаказанно наглы, журналы продажны. Там принципиального человека съедят и не подавятся, если он не примет блатных правил игры, и заставят уйти в бомжи, спиться. Бедные писатели – медиумы безвременья.

Можно было бы закричать от гнева, уйти в партизаны, обрадоваться, что такой мощный отряд литераторов видит мир насквозь, не даёт ему вывернуться и провести нас, менее зорких. А только однажды вдруг с подозрением обнаруживаешь, что мерзость-то мира для прозаиков уже “товар”, что осветись мир и спасись человек, так они, пожалуй, и озлятся. Они “подсели” на зло, как наркоманы на иглу.

Я дочитываю книжку Анны Никольской “Валя off line” и вдруг понимаю, что не хочу жить, потому что это уже какая-то другая параллельная, необратимо другая жизнь, где всё моё прошлое – **наше** прошлое! – все эти революции, войны, целина, космос, Куба, победы и страдания не нужны, а нужны деньги, “Мерседесы”, успех – “ты этого достойна”! А повесть-то о том, как 13-летняя девочка мечтает о ресницах, макияже, Америке и стыдится матери, её бедного мира и надеется как-то согласить в душе и мать, и Англию, и желанную домработницу, и Кембридж, то есть немножко предать и вчера, и сегодня. Одна ли такая Валя? Реальнее ли и прочнее ли мир героев Марии Ряховской “Записки одной курёхи” с её фанатами и фанатками Цоя, БГ, Башлачёва, Кинчева? Тоже ведь целое поколение, которое Л. Аннинский зовёт в предисловии “освободившимся от Советов” и славит простор, в который они вышли. Да только не пустыня ли этот простор, где и деревня, куда их сплавляют на лето, поворачивается к ним не живой болью и светом, а распавшим, пьянством, воровством, на фоне которого, конечно, затоскуешь по Цюю, изнеженной эстетике БГ или декоративному сопротивлению Кинчева.

Дочитываю Веру Нарбикову, заглядываю по дороге в Александра Геласимова, вспоминаю чтение прошлых лет и останавливаюсь перед другой особенностью молодой литературы: она предпочитает раздеваться до пояса снизу.

Явилась всеобщая подворотня, не просто требующая себе места, а корящая прошлую литературу за “фарисейское целомудрие”: чего же вы нам главного-то не говорили? И вот образчик “романтического” чувства: “Рада! Моя Рада! Мог ли я допустить, когда ты танцевала со мной под “Spice girls” в “Старом замке”, а я, оцепенев, пялился на тебя, что когда-нибудь буду делать с тобой такое? Сильнее возбуждения благодарность тебе. И твоей руке на моей ширинке. Расстегивает пуговицу, тянет молнию вниз. Ей бы меня этому научить. Ведь, Аристотель, сука, такого не напишет. И Платон, мудака, будет тереть о другом. А главное, вот оно: как, ловко спустив штаны, заполучить пульт управления”. (Бедные Платон и Аристотель не знали, что “главное-то вот оно” – “рука на ширинке”, а знали бы, глядишь, и не приговаривались к изгнанию, как Аристотель, или к смерти, как Платон.)

Наверно, да даже и действительно, эти нынешние “открытия” и тонкости чувствований – правда, но отчего же душа, защищаясь, шепчет: “Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены?”. И уже не жалко новых потерянных или только теряющихся себя молодых героев, и не радостно за зорких авторов, умеющих написать эту тоскующую бедность с ловкостью и мастерством, потому что они расхищают твою жизнь, и ты выходишь из книги беднее, чем вошёл в неё, и порой торопишься мстительно закрыть, не дочитав, чтобы уберечь остатки души и веры в человека.

Художники стали ироничны и злы, словно каждый маркиз де Кюстин и проездом в России. Любить человека стало “не модно”, да и жизнь тоже. За что её любить – такую ущербную, мелкую, потребительски-жалкую? И интернет начинает мерещиться, что вся проза пишется, как фотография “в цифре” – ярко и сиюминутно, не веря в существование завтрашнего дня. Да ещё и обрабатывается в “фотошопе” – контраст, яркость, обрезка сюжетов. Герои умны, всезнающи, игривы по отношению к жизни. Но всё время чувствуешь, что они этим умом и блеском норовят закрыть от себя какую-то отчетливую пустоту и живут всё время чуть наружу с тайной уверенностью, что всех их “кинут”, и потому все мотивации – “лишь фантики, обёртки от дешёвых ирисок”, как пишет Андрей Геласимов, уверенный, что “все мы – части какого-то текста”, а не земной твёрдой жизни. И таковы все мы, дети законов, “писанных на коленке” (Олег Рябов), отравленные воздухом постоянного преступления и сомнения, “твоя ли это страна”, съеденные демоном пустоты.

Вот-вот станет общим местом разговор о “перепроизводстве литературы”. Это как-то соглашается в нашем сознании – читают всё меньше, а книг всё больше. И слово становится предметом насилия, за него некому заступиться (хоть создавай Комитет по защите прав слова!). Его используют как дешёвую рабочую силу, и оно теряет достоинство. И герой Павла Крусанова из романа “Американская дырка” может спокойно сказать, что “культура, традиция, долг – это всё попсня”, потому что время зовёт за “жирной новизной”. В том числе и за жирной интеллектуальной новизной. Евгений Попов покажет свой первый интернет-роман, провоцируя “посетителя” (не читателя же) в своем блоге нарочито раздражающим текстом, а потом выставляя этого посетителя дураком.

А Дмитрий Бавильский отыщет в “Живом журнале” “заговор против власти” и попытается проникнуть в “логово” сетевого переворота (“Ангелы на первом месте”), и тут герой Крусанова, уставший от “попсни традиции”, спросит нас напрямую, когда же мы, в конце концов, перестанем путаться под ногами вместе с раздражающей кутерьмой наших мелких смешных проблем, чтобы, наконец, стремительно расширяющийся виртуал полностью слился с реальностью, так чтобы уже невозможно было отличить одно от другого. Следствием явятся роман-фьюжн (“Москва-ква-ква” В. Аксёнова), роман-квест (“Квартал” Д. Быкова), арт-роман (М. Палей “Клеменс”), роман-центон (“Воскресенье в третьем Риме” В. Микушевича), где мир есть только повод к тексту (прав Геласимов: мы давно только часть текста, поспешного слова, которое используется до того, как вспомнит своё Господне значение), а жизнь уже не жизнь, а “омонимы, кальки, анаграммы и иной лингвистический реквизит”.

Не мудрено, что в этом подменном полувиртуальном пространстве, как пишет товарищ Крусанова по питерской прозе Андрей Столяров, “люди давно махнули на всё рукой. Им теперь всё до лампочки: кто, что, зачем, почему? Мы превращаемся в рыхлую неопределённую массу. Мы объелись политикой, обещаниями, проектами, проповедями. Мы хотим одного: чтобы все

они куда-нибудь провалились”. Так бы и продолжил А. И. Герценом, свидетелем-похожим в час истории: “постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустоту интересов, отсутствие энергии... всё ясно мельчает, делается дюжиннее, пошлее. Посмотрите – душа убывает...”

Нет, хватит. Иначе не остановишься и только умножишь перепроизводство слов. Уже и по приведённым примерам равно строгого и игрового свойства видно, как в сущности полегчала жизнь, и всё отчетливее сознаётся, что отсутствие большого дела автоматически приводит к отсутствию большого стиля, заставляя художников прятаться в садах слова. Да ведь только за один язык, даже и такой богатый, как русский, без родного неба не удержишься, он начнёт выстывать до театра, где всё, как в жизни, но никак не забудешь рампы и искусственного освещения.

“Мысленный волк” межвременья расставляет сети игры, обманчивой свободы и эстетических забав, чью опасность так знали юноши прошлого, “пытающиеся вопрос разрешить”, которые бежали внешней красоты, предпочитая ангела этики дьяволу эстетики.

Одессит Борис Херсонский, наглядевшись, как “очередную эпоху сметают дворники с мостовых, опять листовки расклеены поверх театральных афиш”, посмеивается: “Русская проза – это собрание карикатур на фоне прекрасных пейзажей”. Карикатур – да, но где он нашёл прекрасные пейзажи? Мы все давно дети города и слова, а не неба и смысла. Обстоятельный пейзаж ушёл с “обстоятельной” жизнью. А уж чтобы дожидаться прямого открытого признания в любви к Родине (“О, Русь моя! Жена моя!”) – так и представить себе нельзя.

Я нарочно (не от слепоты) не говорю о редких книгах “коротких списков”, хотя даже и нашей “Ясной Поляны” возьми лауреатов и потом посмей продолжать о слепоте – что же ты, брат? Как же ты сам-то голосуешь при утверждении “короткого списка”?

А только человек-то живёт в “длинном списке” и может в жизни не дочитать до “короткого”.

Да и свою-то досаду как преодолеть, свой-то “длинный список” не выговорить и хоть тем утолить раздражение и усталость?

А между тем уходит, расточается неодошевлённым словом твоя единственная жизнь.

И как взглядишься в своё стареющее сердце, там всё та же вековечная тревога: *Русь, куда ты несёшься?*

И у кого спросить об этом, как не у русской литературы?

НАТАЛЬЯ КОРНИЕНКО

Член-корреспондент РАН

“УПАВШЕЕ НЕБО”

К 125-летию К. А. ФЕДИНА

Моя вина в том, что я не проволочный.
К. Федин. “Города и годы” (1924)

Основные празднования 125-летия со дня рождения одного из крупнейших русских прозаиков XX века Константина Александровича Федина пройдут не в Москве, а на родине писателя – в Саратове. И это правильно. Когда в конце XX века “счастливая Москва” лихо сбрасывала с “корабля современности” наших главных реалистов-романистов XX века М. Шолохова, Ал. Толстого, К. Федина, Л. Леонова, верная дочь писателя Нина Константиновна Федина и её дети безвозмездно передавали в Саратов богатейшее наследие: литературный архив Федина, собранную им живопись начала века, рисунки самого Федина, автографы русских писателей XIX и начала XX веков, книги с дарственными надписями, мебель из переделкинского кабинета и другие ценнейшие раритеты. В научную библиотеку Саратовского университета была подарена библиотека Федина. Эти события представляют не только часть биографии писателя, но и неотделимую и неотчуждаемую от истории нашей страны страницу бытования русской литературы XX века в постсоветский период...

Чудесные, милые филологини из Саратовского музея К. А. Федина, созданные ещё при советской власти, в огромных сумках, коими пользовались в те годы “челноки”, перевозили в 90-е годы из Москвы в Саратов бесценные архивные материалы... Это тоже наша история, и без неё не понять, как в Саратове появилась единственная в нашей стране уникальная музейная экспозиция “Дом русской литературы XX века”. Основой экспозиции стало переданное семьёй Федина... В столице продолжали мусолить тему поведения “литературного функционера” – руководителя Московской писательской организации, затем Союза писателей СССР – в истории с присуждением Б. Пастернаку Нобелевской премии и изданием А. Солженицына, а в Саратове ежегодно стали проходить “Фединские чтения”, собиравшие исследователей на серьёзный разговор о творчестве и наследии Федина.

...Открытие его нам ещё предстоит. Для честного историка литературы очевидно, что именно романы Федина об интеллигенции и революции (“Города и годы”, 1924; “Братья”, 1928) стоят у истоков осмысления данной темы в русской литературе советского и постсоветского периодов...

По масштабу выявленных идеологических пороков пастернаковский Живаго явно уступал обвинениям, предъявленным в 1920-е герою романа “Города и годы” Андрею Старцову, во многом также автобиографическому герою романа Федина.

Подчеркнём, что в двадцатые годы мимо романа “Города и годы” не прошёл ни один из ведущих критиков, о нём говорили и писали в русском зарубежье, роман читался и страстно обсуждался собратьями-писателями... Это первый русский роман на жгуче актуальную для времени, живую и в некотором смысле сокровенную для каждого писателя, вне зависимости от его политической ориентации: попутчики, пролетарские, внутренние и внешние эмигранты, сменовеховцы и т. п. – тему самоопределения молодого русско-интеллектуала нового века в революционной современности. К роману возвращаются и в тридцатые годы, возвращаются, хотя уже написаны “Братья”, и бесприютному Старцову, кажется, найден выход. Композитор Никита Карев – художник, хотя и он заканчивает свою жизнь, как и Андрей Старцов, на “пустыре”, фактически в пустыне полного, почти экзистенциального одиночества. В возвращении на родину его спасение как художника, а в традиции сокровенной связи с русской жизнью, “одушевлении” реальности открываются для Карева не разрывы, а связь современной и исторической России:

“Он не ошибся: источник, питавший его воображение, неиссякаемо бил на родине, там, где он впервые увидел мир, где возникали и забывались первые противоречия любви и жестокости. И он мучительно хотел вознаградить эти камни, деревья, дома, весь этот убогий и милый клочок земли, вознаградить созданием, достойным их расточительности. Он надеялся бессловесный, жалкий степной оазис волей и великодушием, он чувствовал себя должником яблоневых садов, тихого, стоячего Чагана, сгнившего крыльца у избы Евграффа, путаных зарослей луки.

Он думал о родном, о повелевающей силе родного, о том, что созданное человеком создано преемством, и, если сын имеет уши, он должен услышать голос камня, положенного отцом, – и счастлив тот, кто его слышит” (“Братья”).

Выход “Братьев” – одно из главных литературных событий 1928 года. Природе этого события посвящено восторженное письмо Бориса Пастернака Федину (от 9 августа 1928 года):

“...читал и переживал я восхитительных “Братьев”, – непомерный по полноте подвёденья и полноте погашения расчёт по целому ряду серьёзнейших наших долгов, и громадный вклад в нашу тематическую культуру; глотали “Братьев” кругом, в моём экземпляре и других, благоприобретённых и библиотечных; разволновывались и мирились, благодаря Вам, со всем тем, что им должно казаться чепухой, старики, бывшие помещики и генералы (Вы улыбаются, думая, что эта фраза из печатного воззвания, но нет! Это живая обстановка айвового и орехового сада, наши соседи и хозяева); “допускали” женственно лирического интеллектуала, интеллектуала вообще обычно не приемлющие его красные девицы, племянницы и дочери вышеназванных; захлебывался, в лице всех временных обитателей и обительниц (и если бы Вы видели одну из них!) весь олеандровый участок; главное же впереди, и вот оно: каждое сотое слово этого молчаливого, подвижного и полного незнакомых встреч и разминок, частью – путевого лета были “Братья”.

Разговоры эти подхватывались и поддерживались, когда говорившие нравились, и только невольно подслушивались, когда они не располагали к сближению: на вокзале в Новороссийске, на палубе “Кречета” на переходе от Сочи, ещё где-то раз, не помню где, может быть, на Голодном шоссе близ Туапсе. И все они были радостны и лестны для Вас. Так вот: что я могу ещё сказать?”

Публикация романа в 1928 году читалась критикой как дерзкий вызов, ибо герой романа Никита Карев просто демонстрировал всей своей жизнью и творчеством ту самую “правую опасность”, борьба с которой составила пафос и направление главной государственно-партийной кампании этого года.

Эти романы Федина нам не обойти как в истории с “Доктором Живаго” Б. Пастернака, так и в истории отношений Федина к феномену А. Солженицына.

Мемуарно-биографическая книга Федина “Горький среди нас” (1944), посвящённая литературному Петрограду 1920-х годов, и сегодня, когда мы значительно больше знаем о той эпохе, остаётся одной из лучших книг этой серии.

Федин был блистательным рассказчиком, а его “Анна Тимофевна” (1923), пронзительная притча о страдающей русской женщине, потрясла в своё время

самых взыскательных современников писателя. И, заметим, столь же властно потрясает читателя и сегодня.

Федин оставил большое эпистолярное наследие, и мы только начали его осваивать: в 2016 году вышла 1-я книга “Константин Федин и его современники. Из литературного наследия XX века”...

Ждут своего издания потрясающие дневники Федина 1928–1960 годов, которые в советское время печатались с большими купюрами, можно сказать, вообще не печатались.

Особая тема – международные литературные связи Федина. Это тоже целый материк забытых страниц истории нашей литературы.

И, конечно, Федин – писатель с биографией... 1910-е годы. На учёбе в Германии, где его застаёт Первая мировая война. Плен. Возвращение из германского плена в революционную Россию 1918 года – “с толпой хромых, безруких, чахоточных и умирающих, которые звались солдатами Российской армии” (Автобиография 1921 года). Гражданская война. Сызрань. Вступление в партию. Работа в местных “Известиях”, издание журнала “Отклики”. Петроград, 1920 год. Публикации в “Петроградской правде”. Кронштадтский мятеж 1921 года и его подавление. 1921 год – выход из партии. Группа “Серапионовы братья”. Петроградский отдел Всероссийского Союза писателей, заместитель председателя ВСП Ф. Сологуба. Создание “Издательства писателей в Ленинграде”...

Это лишь некоторые вехи внешней биографии Федина 1920-х годов. На сложнейшем переплетении внешней и внутренней биографий писателя рождались его романы об интеллигенции 1920-х годов.

В нашей публикации представлены некоторые материалы из творческой истории первого романа Федина “Города и годы”, интересные, на наш взгляд, самому широкому кругу читателей: хранящиеся в Рукописном отделе ИРЛИ РАН (Ф. 172. Ед. хр. 1166) прозаические зарисовки (написаны в Германии) и рабочие записи к роману 1922 года, а также опубликованное в журнале “Отклики” (Сызрань) эссе “И на земле мир...” (1919)*, посвящённое Версальскому договору 1918 года, которым определялось окончание Первой мировой войны.

“Упавшее небо” – одно из заглавий романа. Их было несколько. В мае 1922 года, когда началась работа над романом: “Зачатье”, “Семь лет”, “Проволочный человек”. Потом будут появляться другие: “Ещё ничего не кончилось”, “Бурелом”, “Побеждённые”, “Города”, “Колода лет” и др. В 1923-м приходит окончательное название: “Города и годы”.

Рабочие записи к роману насыщены интеллектуальной атмосферой Петрограда 1922 года, философскими вопросами культуры, наполнены бытийной трагедией России, “достоевскими” темами и героями, той метафизикой русской истории, вокруг которой разворачивались идейная схватка и шли политические баталии в первый год нэпа. Вопрос нового человека из сферы интеллектуально-дискуссионной и литературной (теории “производственности” Пролеткульта, “жизнестроения” футуристов, “Восстания культуры” А. Гастева, “Заката Европы” О. Шпенглера и др.) перешёл тогда в самую наипрактичную и современную. Власть не скрывала откровенно атеистического характера новой идеологии, презрения к исторической и литературной традиции России, утилитарного отношения к вопросам культуры: “1) переделка самой психологии человека; 2) соединение марксистской теории с американской практичностью и “делячеством”; 3) уничтожение гуманитарного направления в образовании и замена его техническими практическими знаниями; 4) замена универсализма специализацией; 5) физическая, волевая и умственная тренировка человека”**. Это не краткое изложение проекта Великого Инквизитора (“Братья Карамазовы”) или труда Шигалёва (“Бесы”), а тезисы доклада одного из вождей и теоретиков нового государства, опубликованные в начале 1922 года на страницах газеты “Правда”. Упоминание “шигалёвщины” в фединских записях о новом человеке вполне вписывается в философский

* Благодарим сотрудников Государственного музея К. А. Федина (Саратов) за предоставление журнала “Отклики” с публикацией Федина 1919 года.

** Бухарин Н. Проблема культуры в эпоху рабочей революции // Правда. 1922. 11 октября. С. 3.

контекст первого романа. К “общественной формуле” исторического прогресса Шигалёва – “Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом”^{*} – в эти годы не раз обращались русские философы в своих размышлениях о “духах” русской революции, “крушении гуманизма”, “бесноватости русских революционеров” и антихристианских основах “социалистического муравейника”: “Все русские революционеры-максималисты смотрят так, как смотрел Шигалёв, все ждут разрушения старого мира послезавтра утром. И тот новый мир, который возникнет на развалинах старого мира, есть мир шигалёвщины”^{**}.

Упомянутая в записях к роману статья с евангельским заглавием “И на земле мир...” (1919) также указывает на глубинные связи философских исканий молодого Федина с русской религиозной мыслью XX века. Философско-публицистические статьи Федина 1919 года с их “сомнительной философией” (по характеристике Горького) и “остатками ошибочных идеалистических концепций” (по характеристике советских исследователей творчества Федина), отзовутся в большом своде “проклятых” вечных вопросов жизни и культуры, вопросов Достоевского и Толстого, которыми мучится и от которых так и не сможет отказаться герой романа (“рохля” Старцов) и сам автор. “Победа достигнута, но благоденствия не наступило не только у немцев, но и у англичан, французов и прочих “победителей. <...> Все страны оказались инвалидами, нуждающимися в лечении. Победителей нет” (статья “Версаль – этап мировой революции”, 1919); “... мировая война вскрыла вены, и кровь хлещет из них, как из рукава” (статья “И на земле мир...”, 1919). Это из публицистики Федина 1919 года, в которой язык официальной идеологии (“мировая революция”) во многом поглощается и преодолевается языком русской литературы, а мировая революция мыслится не как перманентная гражданская война во всём мире, а как всеобщий мир после кровавой бойни. Этими мечтаниями о мире живут в германском плену мужик Лепендин и интеллигент Старцов, своеобразные литературные двойники толстовской пары в романе “Война и мир” (Пьер Безухов и Платон Каратаев в плену у французов). Толстовскими и достоевскими вопросами войны и мира болеет сам автор романа, о чём и говорят его записи и пометы на полях страниц рукописи романа. Мы приведём лишь некоторые из этих авторских комментариев разной направленности.

Две страницы с записями под эмблематическим названием:

“Основное

Нужно, необходимо что-то сделать, чтобы не было страданий.

Война ужасна.

Война – позор, крах, зло [цивилизации], проклятие!

Пока война – нет ничего, не о чем спорить, нечего добиваться.

Революция – борьба со злом, позором.

Революция – протест против страдания!

Вот почему –

Ещё ничего не кончилось.

Старцову, поэтому, нужно видеть страдания, чтобы загораться ненавистью и идти в революцию. Но в революции самой – страдание, и это отталкивает Старцова, и он нигде не может жить органически, войти в жизнь, свариться с ней, как сваривается гвоздь или болт с обломками железных рельсов.

Так он и бежит!

В наше время надо уметь погибать – больше ничего”.

* Достоевский Ф. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 10. Л., 1974. С. 311.

** Аскольдов С. А. Религиозный смысл русской революции [1918] // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992. С. 89.

Вновь и вновь Федин возвращался к “основной” теме романа – войны и мира в новом веке. В папке сохранилось огромное количество записей с вечными вопросами к этой вечной теме человеческой истории:

“К гл. I о 1914.

В Германии – почему все обрадовались войне? Не потому ли, что она раз-била невыносимые условия обычной жизни, быта и вдохнула в каждую душу, замурованную в стену цивилизованного рабства, надежду на... что? Надежду на что-то!”;

“Он вечно разгадывает, как могло случиться, что человечество свергло себя в войну. И его не успокаивает никакая разгадка.

Вся революция покрывается войной.

Война – это главное событие, она – всё.

Человек, который был потрясён (поражён) войною, раз и навсегда вы-бывает из строя обычных людей. Его воображение поражено язвой. Она не-излечима. Такой человек вечно думает о войне. Он пропитан ею, как море пропитано солью. Отнимите от него эту его вечную думу о войне – его суще-ствование потеряет смысл”;

“1919

С тех пор, как на яблоне повесили человека, она перестала цвести”.

Некоторые из записей Федина приоткрывают лабораторию рождения его математически точных и блистательных формул. К примеру, эта запись “Га-зеты – насекомые = распространители эпидемий”, представляющая формулу любой агитпропаганды, появляется на полях большого “документа” из эпохи гражданской войны, со всеми характерными для него темами, интонация-ми и клише:

“Из резолюции, помещен. в “Изв. Семид. Совета” после разгрома белых:

“Приветствуя полное поражение и разгром белогвардейцев, которые пре-дательски из-за угла занесли руку на наш уезд и подняли кулаков-пайков Саньшинской волости в лице товарищей, которые приняли участие в разгро-ме названных зелёных банд. Мы клеймим позором и пролетарским прокляти-ем всех, кто осмелится помешать мирному восстановлению труда, которому мешает из злобы и ненависти буржуазия. Но мы не боимся её угроз. Победа недалеко и за нами.

Общими усилиями мы прорубим второе окно – в Европу и Америку, как хотел сделать Петр I, но у него это было с враждебной целью пролетариату. Красный Семидол рука об руку с мировой революцией протянет руку народам Востока, Запада и Северной и Южной Америки, чтобы раз <i>и</i> навсегда ска-зать обнаглевшей буржуазии: руки прочь! Мы не позволим устраивать заго-воров против власти мозолистого рабочего и бедняков-крестьян! Да здравст-вует Красный Семидол! [Да здравствует мировая революция!] Да здравствует полная победа пролетариата”.

Этот микросюжет, в котором безусловно нашла отражение собственная журналистская работа в 1919 году в сызранских “Известиях”, будет преобра-зован; в окончательном тексте от него останется только упоминание о “воз-звании семидольской ревтройки” и замеченной Голосовым в гранках опечат-ке в последней фразе воззвания: “Да здравствует победа рабочих и крестьян во всем пире”. Приведённая формула выражает отношение автора не только к данному воззванию (известно, чем занимались ревтройки), но и к другим текстам подобного типа, в частности, к тексту воззвания “друга мордовского народа” Шенау.

Записи для себя на листке из школьной тетради в клетку посвящены ана-лизу “каратаевского” и “карамазовского” начал в Старцове.

“Старцов

А с моим маленьким добрым, куда я?

<...> Повесят белые безногого, а это вдохновит Старцова, будет за “правду” биться. А без “науки белых” (ужасы и несправедливость) Старцовы биться не умели. Бились только продкомиссары, Голосовы да Лейтсины (по-следние научены были ещё прежде)”.

Несмотря на то, что Евангелие в записях пишется Фединым по новой ор-фографии, евангельские темы истины, идеала, оправдания добра, любви, страдания, преступления, наказания и покаяния остаются главными для са-мого Федина и героя его романа. Характерная “запись для себя” на крохотном фрагменте листа: “1920 = А я не могу до сих пор пройти мимо нищего, чтоб

не подать ему. . .” – войдёт в самохарактеристику Старцова в его знаменитом диалоге с Куртом о ненависти и любви:

– Ужасно. Этот призрак заслоняет собою всё. Голод! Чтобы переступить через него, нужно быть очень смелым. И что за ним?

– Эх ты, революционер! Стыдно, Андрей.

– Я – революционер? Мне до сих пор совестно пройти мимо калеки, не подав ему милостыни”.

На альбомной странице с записями “К похоронам профессора для последней главы” после зарисовки бытовой картинки из жизни Петрограда 1920 года записаны слова из покаянного псалма царя Давида (Пс 50 : 19):

“«Песня о могильщиках».

Отводились участки кладбища – кресты – на продажу на топливо.

Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит (Из Псалмов Давидовых)”.

Замысел романа об интеллигенции возникает у молодого Федина в знаменитом 1922 году, когда из России в Европу отчалит “философский пароход” с авторами “Вех” (1909) и “Из глубины” (1918), русскими интеллигентами, давшими самый жёсткий анализ “вклада” русской интеллигенции, с её идеалами европейского гуманизма, в “совершившееся крушение” России. Русские философы предложили перевести разговор о миссии интеллигенции на новый уровень содержания жизни и сделать предметом рефлексии и анализа её *собственную* мысль о человеке, русской и мировой истории и культуре. И, похоже, именно эта позиция беспощадного *самоанализа* оказалась наиболее близка Федину.

КОНСТАНТИН ФЕДИН

КТО ВИНОВАТ?

Двое гибко-мускулистых, литых из чугуна, обтянутых стальной кожей тел озлобленно наносят друг другу удары. . .

Чем свирепее нападает одно, тем ожесточённее отбивается другое, чем лукавее и неожиданнее задумываются выпады, тем гениальнее оказываются отражения. . .

Наконец, один из бойцов изловчается и разит противника решительным ударом в висок.

– За что ты нанёс ему этот удар?

– Если бы я этого не сделал, то этот удар получил бы я!

– А ты за что его хотел ударить?

– Чтоб он не ударил меня. . .

– Но почему у вас обоих на руках эти страшные рукавицы??

– Почему? Да потому что мы – профессиональные боксёры!!!

Мировая война???.

Ноябрь, 1916

НАСТРОЕНИЕ

Там, в Бессарабии, в Восточной Галиции ряд за рядом бегут серые герои в атаку. Падают или навеки, или подымаются и бегут снова со штыками наперевес, с безумными, бессмысленными лицами, бегут за победой, за славой, за смертью. Их встречает ураган металлических шариков и ошмётков, а они бегут за победой. Об этом можно говорить, это можно обрисовать с силою, которая изувечит душу, но охватить это умом или представить себе невозможно, как нельзя представить, что будет через миллионы лет. Но это терзает, гнетёт. И всё думается, что прибегут к победе или расплянутся в вихре смертоносных гранат эти серые, безумные герои. И ещё. Что-то дикое творится на Руси. Оупение, гнёт и неправда небывалые, ужас страшный, точно смерть за воротами. Бедная страдалница! Есть ли выход у тебя, непонятная? Мозг леденеет от дум.

И вдруг. . .

– Хотите послушать музыку? – Мой сосед по комнате, вольноопределяющийся местного полка, инженер по профессии, с обворожительной улыбкой входит в комнату. – Что вы тоскуете! Пойдём ко мне; мой приятель – редкий игрок на цитре.

Цитры я не люблю – уж очень плаксивый инструмент, и силы в нём нет, мощи... Соседа тоже не люблю – уж очень немец, мысли нет и фантазии, при разговоре пересказывает своими словами передовицы из гаденькой газетки. Но соглашаюсь.

– Позвольте представить – унтер-офицер такой-то.

– Очень приятно...

Вольноопределяющийся варит на спиртовке чай и извиняется, что у него всё слишком по-холостяцкому. За столом сидит чернявая немочка, видно, глупая, глупая – всё хихикает.

Цитра на столе чистенькая, гладенькая. У игрока лицо, точно у вяземского мужика, – корявое, усы в разные стороны, морщинки смешные, точно нитки из распущенного чулка, глаза хитро-добрые, светлые. И мне уже не жалко, что пошёл: такой хороший мужичонка, хоть и немецкий унтер-офицер. Пальцы у него ровные, длинные и белые, всё он улыбается, струны перебирает с любовью и ни словом, ни одним нехорошим словом не обмолвился, только предупредил:

– Очень давно не упражнялся. Немного трудно играть.

Сосед разливает чай сквозь ситечко, немочка хихикает до удивления глупо, а струны воркуют, серебрятся и звенят целомудренно. Цитра не хнычет и не жалуется, а рыдает, разрывается, словно всю печаль мировую на полноправных своих боках выдерживает. И лицо у игрока – немецкого солдата – похоже на мужицкое, умное и много горя перенесшее. И всё точно где-то в России, в келье что ли какой или в просфорне, чем-то даже пахнет таким церковным. Он играл какую-то шотландскую песню – странную песню, тоже напоминавшую русскую. То зарыдает, задумается, то успокоится, прояснится, загорится и разразится хохотом с присвистом, а потом опять упадёт и затуманится. Немочка, глядя, как танцуют по грифу белые пальцы, открыла рот, а вольноопределяющийся шепчет мне, чтобы не помешать музыканту:

– Сегодня ваших земляков видел...

– Военнопленных?

– Да. Врача и вольноопределяющегося.

– Ну?

– Ничего... Хорошо по-немецки говорят.

– Сыграйте ещё что-нибудь! – прошу я.

Вяземский мужичонка собирает лоб в гармонику и брякает тоскливо. Рокочут о чём-то милом бойкие струны. Ползёт вверх пар из чашки, окурок дымит в пепельнице. Уютно и просто.

– У русских замечательно красивые песни, – шепчет мне сосед.

– Да...

Мучится неразрешимый минорный аккорд. У немца лицо усталое и больное. Выискивает, как бы передать загадку песни. И уже как будто разгадывает, улыбаться начинает, губы толстые свои приоткрыл.

– Вам, поди, скучно, – слышу я, – что вы целый день делаете?

– Читаю, пишу... – мямлю я.

– Это должно быть ужасно! – сожалеет он.

“Что же ужасного,” – думаю я. Разве это ужас? Ужасно другое. Ужасно и... слова не хватает... Немец-солдат играет мне – русскому, может быть, больше русскому, чем он сам немец, на цитре, и улыбается мне добро и ласково. Другой германский солдат наливает мне сквозь ситечко чай и сердится, что я не ем его печенья, и спрашивает, не скучно ли мне. И так всё просто и ровно. И каждый из нас – чувствую это и удивляюсь, что есть и такие немцы! – боится говорить о том, что может обидеть, сделать больно. А там, в Бессарабии и в Восточной Галиции, обливают лавиной металла немцы русских и русские бегут навстречу смерти и несут с собой тоже смерть...

Немецкий унтер-офицер улыбается смешно голосистому звону цитры. Немочка хихикает и строит глазки, стараясь угодить всем нам троим.

– Хотите ещё чашечку? – обворожительно спрашивает бош.

Да будет всё проклято!

И НА ЗЕМЛЕ МИР...

Две тысячи лет назад нашёл свои прекрасные формы на земле великий демократический идеал равенства и братства. Цель земного существования всего человечества была указана. Оставалось только её достичь. Оставалось только воплотить на земле идею, за которую было пролито так много крови, — идею любви...

И через две тысячи лет человечество запятнало свою совесть несмыслаемым позором страшной, невиданной войны. Человечество, которое больше девятнадцати столетий считало себя носителем религии непротivления, обрелось в лоне церкви братства, церкви всепрощения!

Одно из многих евангельских изречений, искавших весь глубочайший смысл гениально простого учения о любви, омрачивших всю абсолютную красоту христианства, гласит премудро:

“Кесареви — кесарю, богами — Богу”...

В сотнях тысяч храмов, воздвигнутых во всех частях света, протестантские, католические, англиканские и православные служители церкви ежечасно воздавали богам Богу. И все эти наместники Христа ежечасно благословляли войска и ежедневно освящали закладки муниципальных заводов, кропляли святою водою 42-х сантиметровые пушки и бронированные корабли...

Словно какой-то исполин-циник воссел на земной престол и нагло хохочет в страдальческий, искажённый от боли лик человечества. Подлым, жирным смехом:

— Ты думаешь, что ты достигнешь намеченной цели непротivлением? Кесареви — кесарю? Так благословляй же одной рукою то, над чем другая поднимется у тебя с проклятием! Проповедуй с амвонов и папертей любовь и братство и строй, строй ружья, пулемёты, пушки, митральезы! Строй! После обедни, где ты сказал проповедь на великую тему “не убий”, спеши, спеши скорей в казармы, чтобы воздеть руки над головами, обречёнными на убой. Спеши, спеши! Ведь тебе нужно поспеть воздать кесареви — кесарю, не только богами — Богу! Спеши!..

Подлый смех раскатисто и страшно носится над вселенной. Исполин-циник издевается над человечеством.

Безумие! Человечество запуталось, смешалось, пришло в тупик. Где же выход, где путь к прекрасной цели, поставленной две тысячи лет тому назад? Где?

И неужели мир, в котором поют дивные песнопения столетие за столетием, никогда не воцарится на земле? Неужели никогда не победит любовь?

О, да! Она победит! Но там, где говорят о победе, необходима борьба. Только в борьбе побеждают.

И “горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!” Служить можно только или кесарю, или Богу... тот путь, по которому шло до сих пор человечество, приравливая и приспособлявая христианство для сокрытия преступлений и вопиющей неправды, этот путь пройден. Этот путь был усеян шипами, на которых висят клочья человеческого мяса. Этот путь устлан острыми камнями, залитыми потом и кровью. Этот путь привёл человечество на Голгофу.

Но за Голгофой следует Воскресение!

I

Трагедии, подобной той, которая совершается сейчас в Версале, где англо-франко-американцы заключают, если так можно выразиться, мир с побеждённой Германией, не видал свет, на протяжении всей истории. Простое физическое завоевание народа и обращение его в рабство — мера гораздо более “гуманная”, чтобы употребить любимое выражение союзников. В самом деле, почему они называют версальские переговоры “мирными”? Неужели только из простой деликатности? Но разве можно назвать деликатным грабителя, который в то время, как он душит в тёмной улице свою жертву, галантно спрашивает: “Простите, вам воротничок не жмет?” Впрочем, союзники отлично знают, что с тех пор, как они начали блокировать германское побережье, немцы могут надевать воротнички через голову, и если сейчас и раздаются вопли со всех концов Германии, то это объясняется не малым номером воротничка, а мёртвой хваткой английского бульдога.

Мирные условия, поставленные союзниками немцам, представляют собою истерическое бесстыдство обезумевших от упоения победой шовинистов.

Никто, никогда в Германии, даже самые непримиримые враги союзников, не допускали и мысли о возможности, в случае поражения, предъявления подобных требований. Эти требования всем слишком хорошо известны из газет, чтобы распространяться о них здесь. Эти требования невыполнимы...

И нам хотелось бы попытаться представить себе, какие последствия могут разыграться на почве версальских безобразий. Для этой цели необходимо бросить взгляд назад и посмотреть, какой путь прошла Германия и другие народы, участвовавшие в войне.

От прошлого к настоящему; через настоящее к неизбежному будущему...

В 1871 году в Версале — на родине напудренных париков, придворных этикетов и неотразимого величия французского победителя — немецкий сапог наступил на горло Франции. Железный канцлер, кумир немецких фабрикантов и мещан, Отто Бисмарк одним росчерком пера уничтожил окончательно последнее обаяние напудренных париков, подписав мир, по которому Франция должна отдать Эльзас и Лотарингию и заплатить пять миллиардов франков.

Вскоре после этого в Германии почти не стало ни одного города, где бы не высился бронзовый памятник Бисмарку с мечом или саблей в руках. Это оружие можно было бы заменить акушерскими щипцами, потому что если Бисмарк был крёстным отцом объединенного германского капитализма, то он безусловно способствовал рождению милитаризма во Франции, Германии и других странах. Того милитаризма, который сделал мировую войну такой безжалостной и страшной.

Одновременно с версальским миром родилась во Франции идея реванша. Во всей Европе началась бешеная стройка всех видов судов, оружия, крепостей и пр. Франция лила пушки, чтобы отомстить Германии. Германия — чтобы не дать отомстить себе, Англия — чтобы не отстать от соседей и не потерять своего морского могущества, Россия — чтобы не оказаться слабее каждого из европейских государств и, главным образом, Германской империи. С каждым годом народы затрачивали больше и больше сил, чтобы вести огромные тяготы вооружённого мира. С каждым годом правительства расходовали больше и больше средств, чтобы доказать своим народам всю неизбежность вооружения и неизбежность войны. Война была действительно неизбежна, логически неизбежна, потому что всё благополучие старого мира строилось на фортах и держалось штыками.

Но человек создан верящим в добро. И ни одно правительство, зная природу человеческого духа, никогда не решилось бы сказать, что оно вооружается с целью захвата чужих земель, чужих капиталов и с намерением поработить чужие народы. Если бы это случилось, то такое правительство осталось бы без всякой опоры, за ним оказалась бы не дисциплинированная армия, а кучка грабителей и преступников. Поэтому все правительства империалистических государств непрерывно доказывали, что это *не они* хотят грабить, а на них нападают, их насилуют, их вынуждают защищаться. И в июле 1914 года трагикомедия достигла своего апогея. Сцепились в смертном бое люди, желавшие задушить друг друга и клявшиеся, божившиеся и уверявшие, что они ни в чём не повинны, что они добрые, хорошие, святые и борются за счастье, свободу и справедливость. Англичане доказывали, что в войне виноваты немцы, немцы, наоборот, винули англичан...

Исполн-циник, восседавший на троне, сложенном из человеческих костей, демонически хохотал... А люди, жалкие, обманутые, с верой, что они защищают правое дело, шли на великие страдания, умирали, убивали, несли на своих хитроумных пушках ненависть и злобу...

Война раскрыла глаза слепцам. Они увидели, что их обманывали. Что кровь лилась не во имя достижения демократических идеалов, а во имя карманных интересов, во имя насилия и обмана...

Для тех, кто ещё сомневается в наступившем переломе и поэтому не верит в осуществление всемирного поворота именно в тот период истории, в котором живём мы, для тех, кто не верит в близость момента, начиная с которого история человечества покатится по рельсам мира, а не по рельсам войны, по которым она бежала до 1914 года, для тех особенно поучительно должно быть пережитое за последнее пятилетие Германией.

В этой стране выразилось наиболее характерно и выпукло то течение, под знаком которого европейские народы жили и развивались последние годы: милитаризм.

Вслед за Версальским миром Германия пережила небывалый хозяйственный расцвет. Этому, несомненно, способствовали и вновь приобретённые области, и полученные с Франции миллиарды, и проведённый Бисмарком союз дотоле разрозненных и незначительных немецких государств. За сорок три года мирного строительства Германия путём умелой капиталистической политики успела доказать на практике всем своим верноподданным, что удачно проведённая победоносная война — очень хороший “гешефт”. Армия капиталистов, многочисленная армия купцов и ещё более многочисленная армия странствующих приказчиков-комиссионеров бросились на мирное завоевание иностранных рынков. По мере того как росло материальное благоденствие, руководители народов, опираясь на очевидное, бросающееся в глаза довольство, наступившее после победы над французами, стали постепенно приучать массы к мысли, что достатком, сытостью и развитием хозяйственной жизни страны они обязаны исключительно политике своего правительства, сумевшего и сумеющего победить в случае, если — избави Бог! — наступит новая война. Школа была превращена в военную лабораторию, где изготовлялись массами “истинные патриоты своей страны”. Школьная политика предусматривала все возможности, чтобы доставить государству человека, у которого на каждый вопрос был бы готов ответ, угодный политике общегосударственной. Из школы привыкший к дисциплине и мышлению чужими мыслями человек попадал в обработку прессы, певшей умилительные хоралы правительственной мудрости.

Целое поколение было выращено в таких условиях. Колоссальная организация, продуманная до последнего винтика, не позволяла подданному германского кайзера оторваться от уготованных ему шаблонов мысли и духа. И он шёл за школой, церковью, судом, прессой, полицией, кружками, обществами, партиями, как слепец идёт за поводырём, шёл под звуки гимна, начинавшегося и кончавшегося словами “Германия превыше всего на свете”!

Ты счастлив, говорила германская политика своему подданному, но твоё счастье принесли штыки; если ты хочешь обеспечить его, ты должен держать в руках своих оружие. Потому что — смотри! — кругом враги, у которых глаза горят при виде твоего достатка, и стоит только тебе задремать от сытости, как тебя ограбят. Ты добр, ты не хочешь никому зла, тебе ничего не нужно. Но ведь ты — единственный в своём роде, тогда как все твои соседи злы и преступны. Конечно, война — это ужас, но ты не должен забывать закона железной необходимости!

В конце концов, из германца был сделан тип сентиментального варвара, который всегда готов был прослезиться при мысли о том, что “он добр и справедлив”, и впасть в дикую ярость при мысли о “неблагодарных преступных иностранцах”, вынуждающих его “защищаться”! Государство принуждено, в силу закона жизни и природы человека, воспитывать и беречь в своих гражданах начало добра. Иначе невозможно никакое общество. Но государство прошлого, заставляя своих сынов быть “добрыми и покорными” внутри своей страны, воспитывало в них убеждение, что вследствие того, что другие народы хуже и преступнее его, он должен быть нещадным за пределами своего государства. В этом направлении успела, как мы уже сказали, больше всех Германия.

И когда неизбежное случилось, и люди, как безумцы, начали истреблять друг друга, германское правительство могло только потерять руки от удовольствия: воспитание не прошло даром!..

II

Нет надобности описывать то, что происходило в Германии до революции и, особенно, в начале войны. К услугам историка на книжных полках покоятся миллионы книг, отразивших в себе ту или иную черту Германии-победительницы. Интересно проследить те этапы, которые прошла страна от победного ненавистничества 1914 года до борьбы с большевизмом 1919-го.

Именно на Германии — стране, где меньше всего думали о перевороте, — легче всего убедиться, что переворот всемирный неизбежен, как неизбежен восход солнца ранним утром.

Как один, бросилась вся Германия памятным летом на своих врагов. Государственный механизм, строившийся в течение 43 лет, был приведён в движение одним поворотом рукоятки на улице Фридриха в Берлине. Люди рванулись с пеною у рта защищать своё отечество от окруживших их “заговорщиков”. Не было человека, который усумнился бы в разумности начавшейся вакханалии. И если бы такой человек нашёлся и поднял свой голос, то дыхание обезумевших масс испепелило бы смельчака мгновенно.

Война для Германии была победным шествием. Льеж, Брюссель, Антверпен, Седан, Лилль, Мобез, целый пояс французских крепостей, целые провинции, целые страны очутились в руках немцев в течение двух-трех недель. Вот-вот должен был пасть Париж, за ним Петроград, за ним Лондон, потом — мир. Прочный, выгодный мир! Немцы упивались. Это было что-то необъятное, стихийное, страшное. Это был сплошной праздник, каких никогда не бывало в мирное время. Германия захлёбывалась победами, предвкушая ещё более упоительное удовольствие, готовясь к заключению торжественного мира и всенародному признанию её величия.

Но этого не случилось. Другой народ, в котором горело ещё больше ненависти, чем в германце желания наступить сапогом на весь земной шар, другой народ нечеловеческим усилием приостановил бешеный бег германского колеса. Французы дали битву на Марне, и Париж остался за ними. Эта битва только приостановила колесо. В обратную сторону оно было повернуто значительно позже. . .

Началась окопная война. Успех оставался почти всё время на стороне Германии. Но война показала свою настоящую сущность, свой отвратительный, ужасный лик. Становилось всё труднее и труднее жить. Недоставало продуктов, не хватало материалов, останавливалась промышленность, увеличивались расходы, умирали люди, возвращались с полей брани калеки, и всё реже и реже приходили вести о победах. Былая уверенность в том, что мир будет продиктован побеждённым противникам, казалась уже мечтой. Но ещё горела вера в то, что мир вознаградит за все страдания и, главное, покроет убытки.

С какую постепенностью и насколько незаметно для широких масс просачивалась в общественную жизнь утомлённость и тоска по миру! Как трудно было признаться в том, что хочется мира, что силы тают, что руки опускаются! Но жизнь диктовала, жизнь повелевала, и через три года от немца, с пеною у рта оравшего, что “через неделю мы покажем, что значит нападать на мирную страну”, не осталось ничего. Его подбодряли победы, действительные и бумажные, порой просыпалась надежда на победу окончательную, но сейчас же и угасала, как одинокая искорка, попавшая на камень. Жить становилось в тяготу.

Старожилы, помнившие ещё австро-прусскую войну 1866 года, жившие на тех местах, где она разыгрывалась, — Восточная Саксония, Северная Богемия, Верхняя Силезия — перенесли все её тяготы, в раздумье заявляли, что такой нужды, какую приходилось испытывать уже на третий год мировой войны, они не знали, даже сидючи под пулями. Бывали войны, тянувшиеся дольше, поднимавшие также всю Европу на ноги, но ни одна война не истощала народы до такой степени, как великая всемирная война 1914 года. Через три года люди были настолько захвачены войной, что мир казался несбыточной, невозможной мечтой. Мира не стало. . . В одной небольшой социал-демократической газете появилось стихотворение, в котором бабушка рассказывала внучке сказку, начиная своё повествование словами: “На свете был однажды мир”*. . . Да, мир стал сказкой, небылицей, о которых старухи рассказывали детям, выросшим “на пайке”, под треск барабанов и раскаты выстрелов. . . Голодным, хилым, не одетым детям.

У немцев, рвавшихся в драку, как звери, у немцев, метавших пламенные речи о “наказании” всех наций, появилась тоска по миру.

И вот в это время с востока впервые раздалось слово, которому уже не суждено сойти с человеческих уст и которое будет благословляться будущими поколениями:

— В России — Революция!

* Буквально — “в стране”: Es war einmal im Lande Frieden.

III

Всё встрепенулось, всё ожило в Германии, когда по свету прокатилось тысячеголосое эхо: Революция... Ближе к миру – почувствовали массы. И даже в прессе, не успевшей сразу сориентироваться на неясную политику правительства, словно против воли, проскользнуло это чувство – ближе к миру. И в мире, которого ждали от революции, уже не чудился мир, вдохновлявший Германию в медовые месяцы войны, а намечался сам собою какой-то особенный, новый, действительно достойный названия мира. Однако влияние правительственной политики на народ в то время хотя и ослабло, но не исчезло бесследно. Посредством мобилизации всех сил, находившихся в его распоряжении и к его услугам, правительство сумело ещё натравить широкие круги на вступившую в войну Америку. Но это был шаг отчаяния, шаг безвыходности, шаг последний. К этому времени не только радикальная партия независимых, но и армия большинства социал-демократов и даже умеренные буржуазные партии встали в оппозицию к зарвавшемуся правительству. Известный журналист, редактор ежешестимесечника “Будущее” Максимилиан Гарден* в статье, посвящённой вступлению Америки в войну, пророчески писал, что германские лейтенанты и юнкера напрасно громыхают саблями и стараются доказать, что война с Америкой не внесет никаких изменений в создавшуюся ситуацию. Наоборот, Америке суждено сыграть решающую роль в мировой войне и, в частности, в подписании мирного договора, и простая арифметика подсказывает, что, чем больше голосов за мирным столом окажется у союзников, тем труднее будет вести с ними переговоры. В этой же статье Гарден ясно высказывал свой взгляд на мир вообще и говорил, в связи с русскими событиями, что заря мира загорается на Востоке.

Мысль о мире, как грибок, попавший в благоприятную среду, стала неудержно распространяться... Но самое решающее значение в психологическом переломе германских масс имело значительно позднее заявление русских большевиков в Бресте, когда была объявлена демобилизация всех русских сил и в то же время к стопам германских генералов и экспертов был положен почтительный отказ подписать насильнический мир. С точки зрения политической, этот шаг был мудрейшим агитационным средством!

– Да, мы не хотим войны, – заявила русская революция, – и это – не лицемерие, не ханжество, не обман; и чтобы доказать это на деле и всенародно, мы разоружаемся. Но чтобы показать всему миру, что мы имеем дело с насильниками, а вовсе не с людьми, которые защищаются и ведут “навязанную” им войну, мы не подписываем с вами договора...

Сами того не сознавая, немцы, не согласившись на неподписание мира и поведя наступление на сложившую оружие Россию, сагитировали за революцию внутри своей страны гораздо больше, нежели русские. Уверить, что тобою руководят соображения гуманности, что ты защищаешься, и в то же время открыто идти грабить – не значит ли это заставить задуматься самого глупого и усумниться самому легковерного? Брест анатомировал перед глазами германских масс душу господствовавших классов, оказавшуюся алчной и падкой до наживы, будь эта нажива и простым, неприкрытым грабежом. Германский народ был уже измучен, истощён ко времени заключения договора в Бресте. И после него он окончательно изверился в своих правителях. Революция пришла и в Германию. Страна решила отказаться от безумия “войны до победного конца” и заключить мир, продиктованный разумом. Но этому не суждено было стать.

IV

Тем, кто бряцал саблями и красовался эполетами перед расчётливым американским профессором, не пришлось сидеть с ним за одним столом. Во главе с великолепной и смешной фигурой Нерона 20 века – кайзера Германии и короля Пруссии – все громовержцы немецкого милитаризма разбежались давным-давно по заграницам и провинциям. А те, кто надеялся на “единолично справедливый” человек, ставшего во главе союзников, жестоко разочаровались в своих наивных мечтаниях. Бостонский профессор

* “Zukunft”, Monatliche Zeitschrift, Herausgegeben von Maximilian Harden.

и вашингтонский президент Вудро Вильсон вдруг улыбнулся своею коммерческою улыбкой и неожиданно обнаружил ряд крепких, здоровых и крупных зубов. Четырнадцать пунктов его мирных условий, на которые немцы с некоторой поспешностью, понятной, впрочем, в их положении, были вынуждены согласиться, претерпели моментальную метаморфозу.

— Совершенно верно, — сказал американский профессор, — четырнадцать пунктов... Но они, видите ли, не про вас писаны...

Версальские переговоры — это какое-то утончённое издевательство победителя над побеждённым. В том самом Версале, где поставленная на колени Франция подписала насильственный акт, теперь бывший насильник бьёт челом новым господам положения, унижается, молит о пощаде, просит живота.

Но не было ещё на свете раба, который, стоя на коленях перед своим господином, вымолил бы себе право свободно дышать. И германские либералы не вымолят этого права у своих новых помещиков; Германия стала крепостной, стала обречённой... Версаль — второй “мир”, заключаемый старыми государствами. Истощённая Германия не может удовлетвориться подобным миром. Она требует другого мира, мира демократического, мира равенства, свободы, братства. Когда же наступит он, когда вздохнут с облегчением измученные люди? И наступит ли он?

То, что пережито за эти годы Германией, пережито и другими странами Европы. Народы истощены. Смерть, голод и болезнь пронесли по всему Старому Свету. Всюду нищета, всюду безработица и страшная, нечеловеческая усталость. Тоска по миру, гарантирующему свободное, здоровое развитие, в одинаковой степени сильна у всех народов. Все жаждут мира, как влаги пустыня. И ни один народ не удовлетворится мирным договором, вторгающим его снова в кабалу “вооружённого мира”, когда призрак войны неотвязно стоит перед глазами каждого и над головами детей, не знающих радости, висят дамочковым мечом казарма, пушка и окоп.

Страны-победительницы напрасно думают, что они сумеют “возместить” убытки. Разве можно вернуть матерям, жёнам и детям миллионы сгнивших в неведомых ямах-могилах сыновей, мужей и отцов? Разве можно вернуть миллионам калек оставленные на чужбине руки, глаза, потерянное здоровье? Разве можно возместить подрастающее поколение новыми силами, миллионы пленных — новыми радостями, миллионы сумасшедших — новым рассудком? Разве, наконец, можно восстановить расплывённые в воздух богатства? Нет, правительства стран-победительниц стоят перед той же безысходностью, что была причиной гибели правительств стран побеждённых. Война 1870—1871 годов продолжалась несколько месяцев вместе с переговорами, и Германия, получив с французов груды золота, могла тогда замазать свои царапинки и самодовольно упрочиться, как внутри, так и вовне. Но настоящая война нанесла не царапинки, а вскрыла вены, и кровь хлещет из нас, как из рукава. Никакое золото, особенно такое дешёвое, как теперь, не в силах остановить этого кровавого потока, и ни один праздник, устроенный в Лондоне и Париже по случаю победы над немцами-варварами, не удешевит цен на хлеб и не заткнёт рта ни одному голодному ребёнку!

Чтобы преодолеть великую разруху, чтобы успеть перетянуть вскрытые вены, пока народы не истекли кровью, чтобы залезать бесчисленные раны, нужно всему свету, — не только одной Европе! — дружно взяться за единое дело восстановления и созидания. Нужно уничтожить границы, разорвать все договоры, тарифные и пошлинные, морские и сухопутные, и написать новый, из четырёх слов:

— Земля образует единую Республику...

Пока же существуют Версали и Бресты, люди будут умирать в тоске по миру. Будут умирать одинаково и победители, и побеждённые, будут мучиться, голодать и нищенствовать.

Неумолимой неизбежностью стоит этот выход перед всеми народами. И путь, ведущий к этому выходу, одинаков для всех наций: путь свержения классов, мечтающих о возмещении, реванше и силе оружия, путь принудительных мер по отношению к людям, намеревающимся поладить с прошлым, прийти с ним к соглашению, путь диктатуры масс, восставших во имя царства мира.

Но будем смотреть в глаза истине. Мы переживаем самый тяжёлый момент человеческой истории. Нам, наверное, не суждено увидеть воспрянувшее от великих недугов человечество. Нам трудно, необычайно трудно жить с сознанием, что путь осуществления демократических идеалов свободы, равенства и братства идёт через диктатуру. Но нам очевидно, что этим идеалам противостоит объединённая сила, которую нельзя убедить и нельзя разжалобить. Силу должна победить сила. И если мы хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки не корчились в предсмертных судорогах, отравленные ядовитыми газами в окопах, если мы хотим, чтобы они не хирели в сырых подвалах фабричных посёлков, если мы хотим, чтобы они не умирали на третий день после рождения, не находя молока в груди измождённой матери, — тогда мы *обязаны* терпеливо перенести все страдания, уготованные нам нашими предками. Несомненно, для самих масс, осуществляющих сейчас диктатуру, эта диктатура более тягостна, чем для классов, против которых она направлена. Потому что именно массы знают и чувствуют глубже идеалы, за которые они борются. Старая революционерка Клара Цеткин говорит в своей статье “Через диктатуру к демократии”*: “Диктатура пролетариата имеет своё историческое оправдание в том, что она проводится в интересах огромного большинства народа и представляет собою *исключительно переходную меру*, с целью встать на ноги и сделать возможным осуществление идеала демократии: свободный народ на свободной земле, за свободным трудом”. И в той же статье, говоря о Советской Республике, К. Цеткин заканчивает: “. . . в то время, как путь правительства двух революционных периодов шёл от прекрасных идеалов демократии к грубой и жестокой действительности диктатуры, *путь господства Советов поведёт от грубой и жестокой действительности диктатуры к прекрасному и осуществлённому идеалу демократии*”.

Непротivление привело нас на Голгофу. Сейчас мир переживает ещё крестные страдания. Но если мы хотим избавить от вечного распятия наши поколения, мы должны отказаться от тактики непротivления и не воздавать более кесареви кесарю. И тогда новая религия, религия осуществлённого братства, словами старой, умершей и чуждой, скажет, наконец, облегчённо на древнем языке:

“И на земле мир, в человецех благоволение” . . .

(Журн. “Отклики” (Сызрань). 1919. № 6. С. 6–13)

<ИЗ ЗАПИСЕЙ К РОМАНУ “ГОРОДА И ГОДЫ”, 1922 г.>

Петербург 1919 — ночь — ноябрь.

Человек несёт за плечами котомку с мороженой картошкой. Человек останавливается у недостроенного. Со страшными усилиями отрывает доску от гнилого строения, тащит её на плече, озираясь: видел милиционер?

Человек тащит котомку и доску. Думает о Петрарке, Возрождении, о буржуйке и картофельных лепёшках, о Микеланджело.

Человек — писатель.

Дома, на столе, в хранимом хламе бумаг, такая:

Уведомление отдела изящных искусств Парижской академии об отзыве о его — человека, писателя — книгах, данном на заседании. . . etc<ete>r<a>.

Человек, писатель жарит лепёшки на железной печке, думает о Петрарке. Легко. . .

Книга о войне, любви и революции [и бандитах.]

У писателя лоб изрезан морщинками. По морщинкам видно, как бежит, извивается его мысль, когда он говорит.

Весь писатель — в кулачок.

Сухой, выжатый, точно его подержали под прессом. Как копировальную бумагу.

О сожительстве бандитов-анархистов с милицией и Ч.К. в одной деревне — в 20 в. от ж.д. — “зоны влияния”, условия “невыдачи”, очко, рамс, учитель, топограф.

* Klara Zetkin. Durch Diktatur zur Demokratie. Welt-Revolution. № 51. 1918. Перевод и курсив автора.

Семь лет в одном: кровь, страдание и вера в воскресенье, в чудо, в мир, в покой.

Моим друзьям,
Спутникам тяжких и прекрасных дней петербургских –
Серапионовым Братьям –

Отдаю эту книгу.

О зачатии новой Руси. Значит – о смерти старой.

Старый мир кончился после выстрела в Сараеве (дать Nurnberg). Кончилась с ним и Россия. Последующие семь лет – война, в России – революция – предсмертная агония, которой суждено продлиться ещё годы. Пусть. В 21-м году зачалась новая Русь. Старая догнивает. В спёртой вони разложение растёт зародыш. Плодом он станет ещё не скоро. Пусть.

В чём он? В чём зачатие? И что зачато в смерти?

Человек, который научился прощать.

Научился на своей страшной ошибке: думал ускорить приход воскресенья мечом (цель оправдывает средства – моя статья “И на земле мир” – идеология этого разбора), но разбился, упал и понял, что ошибся жестоко и что враги его так же жестоко ошибались, что правд много, а истина – в дружбе, в прощении и мире, а не во вражде – (это интернационально).

Такой человек зачат в России в 1921 году.

Человек научился прощать, поняв, что прощение необходимо. Это вывод из его страданий. Внешне человек пришёл к этому выводу так:

1) Несправедливость стала очевидной каждому, кто не утратил чувства совести и способности видеть. В войну несправедливость предстала оголённой: социальное неравенство, рабство, диктатура класса.

2) Надо было восстать против несправедливости. Революция. Надо было сделать попытку осуществить новый справедливый уклад жизни. Социальный переворот. Надо было сломить упорство врага. Диктатура класса-победителя, террор.

3) И вот – навстречу друг другу: победа за победой и поражение за поражением. Революционная схема социальной справедливости оказалась верной и побеждала вопреки всему. Объективные условия, в которых росла революция, оказались непригодными для какого-то бы то ни было социального уклада (крах у белых и у красных!): в нужде, нищете, болезнях скорее мыслима деспотия, чем коммунизм.

4) И вот: все силы на преодоление нужды; все силы на создание ценностей. И путь – техника, наука, новый проволочный человек, – и это он, человек, который умеет прощать, потому что проволочному человеку нужна ассоциация, сотрудничество, сотрудничество.

5) И вот: проволочный человек с мировоззрением Тимирязева – научным мировоззрением – сухой, металлический, быстрый, заводной человек, немного безумный, как и все пионеры, отводит клинок социальной борьбы в сторону борьбы с природой (одна батарейка Лакланше* для меня дороже утопии Мора).

Ибо доколе у нас не будет в излишке средств борьбы с природой, орудий борьбы, до тех пор всякая наша попытка устроить мир и водворить в мире мир разобьётся на нашей нищете, а нищета – предпосылка всякой деспотии –

как великая Р. С. Ф. С. Р. разбилась

(зацвела кабаками!)

на голоде, вшах и бездорожье.

(Троцкий сказал: Первейшая задача социалистического строительства – борьба со вшами! **).

* Лекланше элемент – первичный источник электрического тока, назван по имени его изобретателя Ж. Лекланше. Французский инженер и изобретатель Жорж Лекланше (1839–1882) создал в 1865 году угольно-цинковую электрическую батарею, используемую в радиоаппаратуре, телефонных аппаратах, электронных часах и т. п.

** Имеется в виду программа борьбы за “новый быт”, выдвинутая Л. Троцким в статьях 1923 года, опубликованных в газете “Правда” и составивших его знаменитую книгу “Вопросы быта. Эпоха культурничества и её задачи” (1923); см., например, “Борьба с “выражениями” является такой же предпосылкой духовной культуры, как борьба с грязью и вошью – предпосылкой культуры материальной” (Троцкий Л. Борьба за культурность речи // Правда. 1923. 16 мая).

6) У нищих и людоедов не может быть социальной справедливости; они (нищие) даются только управлению деспотов. А если и возможно в 1921 году равенство на Волге*, то только равенство шегулёвское <sic>, социализм Шегулёва <sic>.

И Маркс учил (может быть, потому же?), что социализм приходит, а не вводится, и что предпосылка его – необычайное наличие средств и орудий производства, то есть расцвет техники, которая ни шагу без науки, то есть расцвет науки.

Приход человека, отстранившего проблему социальную до разрешения проблемы научной, приход человека проволочного есть Возрождение, Ренессанс и... победа Революции: ценою своей смерти Революция одарила мир проволочным человеком (для которого Лакланше дороже Т. Мора), чтобы воскреснуть и победить, когда этот человек сделает своё дело

(построит свой элемент Лакланше).

Вот что случилось в России –

(Россия станет новой Америкой – электрификация вовсе не Томас Мор, который – социальное равенство и братство. Справедливость – после электрификации)

пришли проволочные люди, оценившие горечью борьбы, поражений и бесплодных побед (ведь победа революции оплачена параличом всего мира так же, как победа военная на полях Франции) весь пустозвон громких и пышных слов об индивидуальной (буржуазной) и коллективной (пролетарской) свободах и справедливости в условиях быта Европы и особенно России.

Путь проволочного человека:

1) Гнилой окоп, вшивый концентрационный лагерь, мурманские болота, где дошли пленные немцы, мазурские, где тонули русские.

2) Восстания в России и Германии, победа их, завоевания, провал.

3) Победа над Колчаками вопреки восстаниям, вопреки голоду, вопреки отсутствию дорог.

4) После каждой победы – поражение в социальном быту. Усиление болезней, падение материальной культуры города, смерть города (мёртвый Петербург!). Замыкание круга первобытности деревни.

5) Плуг, лампочка в деревне. Etr. Осознание главного: силы вещи над человеком!

<По левому полю резюме 5-ти пунктов:> Как это не смешно, как это не подозрительно в агитационном смысле! (Это для эстетов и формальников).

Этот путь – кровавый, крестный, жертвенный, верный, однако. На нём препона. Она вот в чём:

Люди, которые не могли стать проволочными, которые сильны по-своему, то есть располагали всей культурой и верили в силу человека над вещью, пережили страшное. Культура материально ушла от них (была вырвана из их рук), вещь стала управлять ими.

(буржуйка, полено дров, пшёнка и академии, университеты, которые отняли у непроволочного человека вместе с каминами, поваром и паровым отоплением)

Очевидно, культура разбита, если...

(здесь всё, что так мучило русского горожанина и гражданина, от гнилой картошки, от пшёнки до Ч.К. и большевистской газеты).

Очевидно, всё сгибло, если победила Революция, победила деспотически (как только могла! Ведь Керенский не победил же!), жестоко и не уступает, не уходит, правит, как деспот.

Отсюда – упадок. Отсюда – вера в чудо. Отсюда – сектанство, лампадка, икона, кликушество.

(Кликуши – писатели, врачи, адвокаты, кликуши – торговцы и спекулянты.)

Это – каркас – путь проволочного человека,

понявшего новое и сумевшего внутренне простить, и путь бесхребетного человека, не понявшего нового, возненавидевшего его и кликушествующего в вере в чудо.

* Речь идёт о поволжском голоде 1921 года.

Человек ушёл с головой в книги – антирелигиозные, советские, партийные, подпольные; газеты, сводки, отчёты, журналы и вдруг – вдруг –

Этот человек видит, что все эти книги, листы, плакаты – сеют зло.

Каждое слово – зло.

Каждый звук – разжиганье страсти.

Страшно, ужасно человеку от того, что нет доброго слова и он – партийный, старый – вдруг ищет в памяти: есть ли книга, где говорится о любви?

И вот – с детства – Евангелие.

Он писал сам книги, писал о книгах, всю жизнь – в книгах

Не странно ли – нигде нет такого простого слова – любовь...

И даже такие слова, как братство, свобода, в книгах дышат злобой.

И в груде плакатов, в кипах книг, брошюр, в целых стенах из газет человек вдруг затих, читая Евангелие.

Все это – может быть – через три года непрерывной, безумной работы...

Человечество прилагало так бесконечно много усилий к тому, чтобы развить в себе чувства, которые отличают его от зверя. Почти ничего не достигнуто в этом направлении. Чаще человечество хуже зверя; редко, почти никогда, лучше него. Что же будет, если из поколения в поколение мы будем вытравливать в себе возвышающее нашу душу чувство любви?

МАРК ЛЮБОМУДРОВ

ЧУЖОЕ

*Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.*

А. С. Пушкин

Режиссёр Валерий Фокин называет себя наследником и продолжателем знаменитого в советское время театрального деятеля Вс. Э. Мейерхольда.

В своих спектаклях Фокин стремится реанимировать идейные принципы и эстетику своего вероучителя. Не случайно он является и руководителем московского Центра им. Мейерхольда.

Тому, кто знаком с наследием самого Мейерхольда и смотрел спектакли Фокина, очевидно, что он действительно стремится ему подражать, и небезуспешно. Быть может, полезно вспомнить об идейно-эстетических принципах мастера, как любил называть себя Всеволод Эмильевич. Скажем без обиняков – это мрачноватое наследие.

На протяжении десятилетий Мейерхольд являлся лидером российского сценического авангардизма, для которого характерны были воинствующая безбожность, непримиримая русофобия, отрицание русских национальных традиций и ценностей, а также вызывающе игровое (и даже игровое), в сущности, бездуховное миропонимание.

Ещё в предреволюционные годы наступление модернизма на театр (впереди – Мейерхольд!) шло под лозунгами ничем не ограниченного “раскрепощения” искусства, эмансипации, как тогда выражались, сцены из-под власти любых внетеатральных элементов: театр должен оставаться, прежде всего, театром, а не “кафедрой”, не “школой жизни” и т. п. И, в первую очередь, стремились освободить сцену от драматургии, от литературы, то есть, в конечном счёте, от Слова. Тогда распространилась и стала крылатой фраза, что пьеса – только “предлог” для спектакля и значение её едва ли не второстепенное. Мятёж против “засилья” литературы сразу обнаруживал всю глубину пропасти, отделяющей авангардизм, “театр исканий” от наследия русской культуры, словоцентричной по самой своей природе. По отношению к ней господствовали нигилизм и вседозволенность, что с особой наглядностью обнаруживало искусство Мейерхольда. Напомнить об этом, пожалуй, полезно современными его апологетами.

Творчество В. Фокина унаследовало многие из вышепоименованных особенностей мейерхольдовского подхода к театру. В дуэте Мейерхольд-Фокин есть любопытное биографическое совпадение: Всеволод Эмильевич был главным режиссёром Александринского театра перед революцией 1917 года,

Фокина назначили художественным руководителем того же театра спустя почти 90 лет.

Как и у его предтечи, у Фокина особое пристрастие к русской классике: многие пьесы из этого ряда были им поставлены и на сцене Александринского театра. Моё внимание привлекли следующие произведения: “Живой труп”, “Ревизор”, “Женитьба”, “Маскарад”.

Что объединяет эти широко известные пьесы? Прежде всего, их глубокая, не потерявшая актуальности содержательность, драматизм и острота конфликтов, проникновение в психологию характеров, взыскующий нравственный пафос, замечательный афористичный русский язык, благородное сопереживание людским страданиям и боли.

Увы, почти ничего из названных достоинств в спектаклях Фокина вы не увидите. Пьесы представлены в оскопленном виде, тексты зачастую купированы, извращены или искажены, сюжеты перемонтированы. Никакого пиетета к ценностям классического наследия у режиссёра нет, да и не могло предполагаться. Ибо есть полное доверие к театральному наставнику, кредо которого весьма откровенно: “Мы будем часто пользоваться классическими произведениями, как канвой для наших сценических построений”.

“Канва” в творениях Фокина узнаваема, а вот “построения” – скорее плод болезненного ёрничества, нередко весьма пошлого, а иногда и бесстыдного, отталкивающего в своих физиологических подробностях. Если вдуматься в корень проблемы, то не почувствуем ли мы, что русская классика, жизнь, в ней запечатлённая, характеры, их судьбы – чужие режиссёру, а возможно, и чуждые его менталитету?

Фёдор Протасов, Арбенин, персонажи Гоголя (на комизм которых сам автор смотрел “сквозь слёзы”) – в их толковании ощущается холодное презрение, злая обличительность и сарказм, отношение к ним, как к неким туземцам, к чему-то стороннему и даже враждебному. А если так, то можно порой и поглумиться над героями, что и видим в спектаклях... Однако как же далеко всё это от правды жизни, от нашего правдоискательства и добротолубия, от русского понимания комизма, страданий, мечты о справедливости.

Мейерхольд и его последователи, их творчество противостоят исконным принципам отечественного искусства – реализму, народности, учительному, внеэстетическому призванию художественной культуры. Адепты модернизма исповедуют методологию эстетского, эпатажного театра, разработке приёмов которого Мейерхольд отдал много сил: “монтаж аттракционов” как движитель сценического действия, “биомеханика” как технология лицедейства, культ “дурачества и кривлянья”, которые “необходимы для актёра, – самая простая простота должна иметь элемент кривлянья” (цитата из Мейерхольда). Выстраиваемая на сцене искусственная среда создавалась, как вызов реализму, как неприятие правды соответствия жизни.

Поставленные Фокиным пьесы (классические!) подверглись переименованию, бесцеремонному вмешательству в текст и даже в сюжет произведения. Он непреложно верит в авангардистский постулат: видеть в драматургии лишь “предлог” для сценических экспериментов. Уже в такой изначальности видна степень неуважения к классическому наследию. Собственно, Фокин и не скрывает, что ставит “по пьесе” (“Живой труп”), “по драме” (“Маскарад”), “на основе пьесы” (“Ревизор”), аналогичен и подход к “Женитьбе”.

В господствующем на сцене режиссёрском произволе нашлось место и откровенно русофобским проявлениям.

Очевидна установка на заземление персонажей, в которых выпячиваются порочные стороны характеров, низменные побуждения и поступки. Беспорочно пьяный и безнадежно опустившийся Протасов (“Живой труп”), монструозные фигуранты, почти утратившие человеческий облик в “Ревизоре”, женихи-идиоты и придурковатые главные герои “Женитьбы” – Подколёсин и Агафья Тихоновна, которая никак не может разобраться, кого же она “хочет” – Подколёсина или Кочкарёва. Наконец, inferнальные фантазмагии в спектакле “Маскарад”, где Арбенин вдруг превращается в современного бытового уголовника, подробно изъясняющего зрителям, как в семейной склоке он убил жену, а потом расчленил её труп.

В спектаклях доминирует “био” и просто техническая механика, где актёры втиснуты в жёсткий каркас вычурной режиссёрской заданности, где обезличенные персонажи-маски движутся, как марионетки, вздёнутые нервной,

капризной рукой закулисного кукловода, где артист рассматривается, как “вешалка” для его часто сумасбродных идей.

В своё время великий Станиславский, выражая сердцевину русской театральной традиции, говорил как о сверхзадаче сцены о познании “жизни человеческого духа”, о воспитании у людей стремления “жить лучшими чувствами и помыслами души”. Однако в эстетике и театральной методологии Фокина мы обнаружим мало внимания к духовной сути сценического действия. Преобладает подчинение движениям “плоти”, а приёмы служат глазу и уху зрителей (против чего всегда резко протестовал Станиславский). Вот почему нынешние постановки Александринского театра, в сущности, формалистичны, нравственно мертвы и бессодержательны. По этой же причине ещё и скучны.

Творчество Фокина – своеобразный мастер-класс для студентов, где наглядно и разнообразно показано, как искусственно преувеличенная форма душит содержание. При таком подходе возникает лишь тот театр, который, по слову Станиславского, рождает “зрелищный, забавляющий, постановочный спектакль”.

Эпатажный характер имеют и попытки “осовременить” классику. В частности, включение в звуковую партитуру модных песенок и романсов советского периода (например, в “Женитьбе”). Впрочем, проблема жизненной достоверности, соответствия эпохе, видимо, и не возникла перед постановщиком, следующим за своим причудливым воображением.

Общее впечатление от спектаклей: на них лежит печать неизгладимой мрачности, окаменевших человеческих пороков и умственной ущербности. Не ведаю, извлёк ли эти свойства Фокин из собственной души или привнёс, проникшись восторгом, из наследия своего учителя, незабвенного Всеволода Эмильевича...

В таком угнетающе беспросветном ключе истолкована пьеса “Живой труп”.

Страсть Фокина к перелицовкам оригиналов обозначилась даже в названии пьесы, которое он изменил, наименовав спектакль “Третий выбор”. В пятом действии “Живого трупа” Протасов говорит о стоявших перед ним “трёх выборах”: служить или быть героем, “или третье: забиться – пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допился (пьёт)”.

“Третий выбор”, а точнее – реплику “и вот допился” режиссёр и делает сквозным действием спектакля, усиливая его сценическим курсивом.

В спектакле доминирует образ неволи. На авансцене постоянно возникает клетка, напоминающая современную КПЗ, в просторечии называемую “обезьянником”. В ней на полу, среди бутылок с вином лежит пьяный, всклокоченный и неопрятный Протасов (арт. П. Семак). Время от времени он почёсывается и отхлёбывает из бутылки. По ремаркам Толстого, лишь в пятом акте Федя – “опустившийся, оборванный... грязный”. Но театр решает не томить зрителей ожиданиями и сразу, не медля, даёт понять суть его характера – “допился!”.

В “обезьяннике” происходят свидания с Машей (О. Соколова). Туда проведён водопровод с настоящей водой. В какой-то момент Маша хватается голову своего вконец запаршившего избранника и моет её под струей воды. Если бы эту сцену ставил Мейерхольд, то, безусловно, добавил бы в эту клетку парашу и побудил исполнителей справлять нужду, не стесняясь зрителей. Не забудем: мэтр был убеждён, что на сцене не должно бояться непристойности, что не раз обнаруживал в своих спектаклях. Воображение Фокина здесь несколько потускнело, не дотягивая в дерзости до учителя, – в клетке всего лишь обычное ведро...

Шокового эффекта режиссёр достигает в диалоге Протасова и князя Абрессова (Н. Мартон), которого Толстой характеризует так: “60-летний, эlegantный, бритый, с усами старый военный с большим достоинством и грустью”. Русский генерал “с большим достоинством”, видимо, для Фокина непереносим, и на подмостках появляется человек в штанах, очень похожих на кальсоны, и кители на голое тело, видимо, он тоже алкаш.

Развитие характера Протасова, его психология мало заботят режиссёра, и он сразу надевает на главного героя маску забулдыги, вконец оскотинившегося, морального отщепенца.

Диалектика образа театру не интересна. Но ведь Протасов в пьесе действительно очень “живой” человек, как о нём говорит Маша, – сердечный,

отзывчивый. И совесть в нём притупилась, но не погасла, не исчезло и чувство стыда. Однако те сцены и тексты, где это может обнаружиться, решены буднично и скороговоркой. В пьесе есть короткий, но глубокий по смыслу монолог героя: “Я не стараюсь сделаться лучше. Я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать”. В спектакле Протасов-Семак произносит его с вялой невнятистью, похожей на бормотанье подвыпившего человека. Театр не видит просветов в его душе.

И финал выстроен не как благородная жертва кающегося, а как импульсивный жест пьяницы, которому уже безразличны все и всё. И звук выстрела (самоубийство происходит за сценой) звучит вполне буднично, он похож на щелчок дверного замка... Приговор театра Протасову однозначен – в “обезьянник”! И нет в спектакле никакого, якобы интересного Фокину (по его словам) “процесса долгих раздумий” над “внутренней душевной проблемой” героя.

“Тюремность” атмосферы спектакля сгущается ещё и усилиями сценографа А. Боровского. Сценическое пространство окаймлено чёрной тканью. В центре его – многоэтажная металлическая конструкция с балюстрадами и лестничными переходами. Она напоминает внутреннее устройство знаменитой питерской тюрьмы “Кресты” (иногда мелькает в криминальной хронике по телевидению). Чернота и железо источают мертвечину. Ещё один вариант России как “тёмного царства”, “тюрьмы народов” – в терминологии либерастов.

Внешнюю динамику усиливает вмонтированный в конструкцию лифт – им пользуются многие действующие лица. Своего апогея движение лифта – вверх-вниз в стремительном темпе – достигает в сцене развратной оргии судебных чинов. Пьяные, в расхристанном виде они с гиканьем проносятся по второму этажу конструкции в компании полуголых “девиц” (А. Негинская, П. Теплякова), издающих плотоядные вопли. В сознании – не знаю, хотел ли этого Фокин, – неволью возникла потрясший в своё время страну телевизионный пасквильный порноролик, где показали человека, “похожего на генерального прокурора”.

Эпизод “осовременивают” ещё и тем, что сопровождают его исполнением в рок-стиле старинной цыганской песни “Невечерняя”. В спектакле немало замысловатых “находок”. Например, размещённое у левой кулисы трио музыкантов, которые вдруг вступают в действие, начиная играть. Часто возникает фигура (введённая театром) Турецкого (В. Захаров), который дежурит при входе и повадками напоминает соглядатая (сексот?!). Необычайно утомительна для восприятия непрерывная беготня персонажей по лестницам и переходам декорации. Естественно, что смысл текста, произносимого в движении, скороговоркой (биомеханика!), утрачивается.

Что сказать о постановке “Ревизора”?

Многозначительно уже само предуведомление о том, что спектакль создан “на основе сценической версии Вс. Мейерхольда и М. Коренева (Гостим, 1926)”. Поэтому можно ли удивляться тому, что на подмостках царствует балаган, куклы вместо живых характеров, обилие эмоционально-речевой и пластической судороги, эстрадно-цирковое пересмешничество, монструозность и алогизм, множество эксцентричных спецэффектов, – одним словом, столь любезная когда-то Мейерхольду, а нынче и Фокину “классика дыбом”!

И пронизывает этот – в лексике модернизма – “сенсорный коктейль” демоническая и даже сладострастная русофобия. Россия представлена бесконечно тёмным царством, населённым дремучими идиотами, трусами, ворами и мошенниками, с гнусными харями вместо обычных лиц. И – “оставь надежду, всяк сюда входящий”...

Начинается спектакль со сцены в приёмной Городничего, где сидят, застыв в нелепых позах, сонные чиновники. Им навстречу выходит патлатый господин в тапочках, почти в неглиже, но всё же в штанах. Вялой, будничной скороговоркой сообщает о приснившихся ему двух крысах и возможном прибытии ревизора. Ни у самого Городничего (С. Паршин), ни у его подопечных известие не вызывает никакой тревоги, что объясняется, разумеется, их полевой тупостью. Оживление вносят лишь вбежавшие Бобчинский (В. Шуралёв) и Добчинский (В. Лисецкий). Энергично толкаясь ягодицами, они торопятся сесть на один стул. Фокину, видимо, кажется, что эта клоунада очень смешна, но не переоценивает ли он уровень человеческой смешливости?..

Готовя своих подопечных к встрече, Городничий не только наставляет их, но и прыскает им в разинутые рты вполне современным дезодорантом (здесь

зрители должны прямо-таки задохнуться от смеха!..). В дальнейшем чиновники неоднократно маршируют по сцене – попарно и в лакейских позах, под бодрые марши, оглушающие зал из мощных динамиков. Всячески обихаживают Хлестакова, даже встают перед ним на колени, потом в восторженном подобострастии уносят его на руках.

Хлестаков (В. Коваленко) – в чёрном костюме, с цилиндром на лысой голове, в очках и с сигарой в губах – оставляет нелепое впечатление. Актёр играет крайне неуравновешенного, едва ли не душевнобольного человека с замашками криминального авторитета и высоким уровнем сексуальной озабоченности (“осовременивание”!).

Интерес Хлестакова к супруге (С. Смирнова) и дочери (Е. Зиминая) Городничего театр делает более чем наглядным. В первой редакции спектакля (2002) кульминация секс-напора Хлестакова (тогда его играл А. Девотченко) возникла, когда, нависая над опрокинутой на спину Марией Антоновной, он начинал ритмические покачивания, а стоявшие вокруг чиновники начинали вести счёт этим телодвижениям... Теперь эта сцена “смягчена”: вместо хулиганской имитации интима герой похотливо ощупывает все дамские выпуклости, принохивается к бедрам. Неожиданно по-бандитски сжимает пятернёй лицо Марии Антоновны и взасос её целует.

Фокин не забывает, что театр – искусство синтетическое: действию сопутствует энергично разработанная звуко-музыкальная партитура. Для этого использованы динамики-усилители. Кроме, того в прилегающей к сцене ложе бельэтажа размещён некий хор, периодически оглашающий зал ухорезными камланиями. Этим хором в одном из эпизодов начинает дирижировать и сам Хлестаков.

В спектакле множество сумасбродных нагромождений, должных подтвердить богатство режиссёрской фантазии. Появляется завёрнутый в ковёр, с торчащими из него голыми ногами Бобчинский... Осип (А. Фролов) выносит ночной горшок из дамской спальни... В эротическом томлении пребывает не только Хлестаков. Анна Андреевна вдруг прикивает всем телом к сценической колонне и начинает страстно о неё тереться, а рядом с виноватым видом топчется и робко пытается приобнять её супруг...

Неожиданно сгрудившиеся в толпу действующие лица, как по команде, напяливают на свои головы резиновые колпачки, похожие в том числе и на те, которыми пользуются в бассейнах, потом почему-то дружно стаскивают их с себя. Думаю, что Мейерхольд в этой сцене надел бы на актёров зелёные или лиловые парики... Мастер никогда не комментировал подобные свои кунштюки, отвечал недоумевающим зрителям: сам не знаю, почему зелёные, но критики вам всё объяснят...

Завершает спектакль сцена, полностью повторяющая его начало: сидят сонные чиновники, к которым в тапочках выходит их начальник. Вялая, ленивая, вороватая и туповатая Россия запечатлена в этой дублированной мизансцене. И в таком повторе не прочитывается ли реплика знаменитого скептика Экклезиаста: “Что было, то и будет”. И сколь многим из русоненавистников хотелось бы, чтобы так было и на самом деле, и так было всегда.

Просмотр “Женитьбы” понуждает вспомнить одноимённый спектакль в Театре Колумба, описанный в одном из романов Ильфа и Петрова: он шёл под аккомпанемент клистирных кружек, с кульбитами и прочими цирковыми номерами. Там Агафья Тихоновна двигалась по натянутой проволоке, манипулируя зонтиком, на котором было написано “Хочу Подколёсина”. Считают, что это якобы пародия на приёмы Мейерхольда, а на самом деле изложенное в романе близко тому, что реально происходило в его театре.

В этой связи вспоминается предсказанный в “Роковых яйцах” М. А. Булгакова конец режиссёра, “погибшего при постановке пушкинского “Бориса Годунова”, когда обрушилась трапедия с голыми боярами”. И это вовсе не писательская выдумка. В своём сарказме Булгаков исходил из проекта, обозначенного самим Мейерхольдом. Репетируя “Бориса Годунова” в Вахтанговской студии в 1924 году, режиссёр в изображении бояр искал “возможности раздеть их или вообразить себе голыми”.

В спектакле Фокина Агафья Тихоновна не по проволоке ходит, а лихо носится на коньках по покрытой льдом сцене. Полезна была бы и ещё поправка в порядке оптимизации классики: если бы в руках героини был зонтик, то на нем следовало бы написать “Хочу Кочкарёва”.

Откровенно выраженная сексуальная истома – характерная черта предстоящей перед зрителями Агафьи Тихоновны (Ю. Марченко). В эпизодах с Кочкарёвым (Д. Лысенков) она бесстыдно приникает к нему, кладёт его руку себе на колено. Катаясь по льду в паре с Кочкарёвым и обнимая его, героиня изнемогает от вожделения. Перед женихами она появляется в исподнем. Неравнодушна героиня и к Степану (Т. Жизневский) – слуге Подколёсина. Обнажённой ножкой зазывно прикасается к нему. Озабочен и сам Степан – при случае без стеснения хватает за груди сваху Фёклу Ивановну (М. Кузнецова), показанную в самом монструозном виде.

Трудно не заметить, что Подколёсин (И. Волков) предстает с поведенческими ужимками мужчины нетрадиционной ориентации. Быть может, поэтому внимание прозорливой Агафьи Тихоновны переключилось на Кочкарёва, которого не заподозришь в “голубизне”...

Воспалённый эротизм пронизывает партитуры рассматриваемых спектаклей. Ироничный В. В. Розанов, определяя сущность “творцов” такого типа, замечал: менталитет их сосредоточен в “точке обрезания”... Эта зудящая “точка” не даёт покоя Фокину, постоянно будоражит его воображение. Не отсюда ли такое обилие эротики и сексуальных мотивировок в его спектаклях? Понятно увлечение нашего мейерхольдовца творчеством польского режиссёра Е. Гротовского, восторженная оценка его нашумевшего спектакля “Апокалипсис кум фигурис”. В своё время, будучи в Польше, я посмотрел это действо. Кульминацией его было изощрённо показанное коллективное онанирование исполнителей с краяхами хлеба...

Как в “Ревизоре”, так и в “Женитьбе” театр использует приёмы карикатуры. Персонажи и, прежде всего, “женихи” – мерзкие уроды, тупые и похотливые. Когда они гурьбой двинутся по сцене вслед Агафье Тихоновне, это напоминает “собачью свадьбу”.

С комплекцией лилипута чиновник Пантелеев (персонаж, лишь упоминаемый в пьесе, который по воле театра стал действующим лицом) (Л. Бутырская) на четвереньках ползёт за героиней... Морьяка Жевакина (В. Захаров) сделали безногим инвалидом, передвигающимся на дощечке с роликами...

Степан предстает тяжёлым алкоголиком, едва стоящим на ногах от перепоя. Не отстаёт от него и вечно пьяная сваха. Как отдельная буффонада показана сцена, где вусмерть упившиеся Степан и сваха громко храпят, забыв обо всём и обо всех.

И в “Женитьбе” режиссёр демонстрирует своё пренебрежение текстом, неуважение к Слову. Дело не только в произвольной перестановке эпизодов и перемонтировке текста. Главное – он плохо слышен. Важнейшие монологи и реплики пробалтываются как бы мимоходом. Диалоги происходят во время катания на коньках, и внимание зрителя сосредоточено не на смысле слов, а на том, не шлепнётся ли ненароком кто-либо из актёров, не очень устойчиво чувствующих себя на льду...

По необъяснимой логике режиссёру важен не текст, а его резкие динамические перепады: персонажи часто срываются на крик, после чего вдруг переходят почти на шёпот. Эта припадочная судорожность сценической речи – ещё одна примета творческого почерка Фокина.

Иногда создавалось впечатление, что присутствуешь не на спектакле по классической пьесе, а на пошловатом театральном капустнике, созданном по методу “монтажа аттракционов”. Ошарашивают зрителя вдруг раздающиеся из репродукторов популярные в советскую эпоху шлягеры “Любимые глаза”, “Вернись”, “Летят перелетные птицы”. Над планшетом сцены поднимаются кубические “трибуны”, с которых герои произносят свои монологи. Всё это, увы, вне логики гоголевской драматургии и сценического действия. Однако обилие скоморошества вполне сопринудно, например, фантастическим сновидениям Софьи Павловны из “Горя от ума”, где были “какие-то не люди и не звери, для совершения чуда раскрылся пол”, а также явились “и черти, и любовь, и страхи, и цветы”...

Как и в других спектаклях, ошутим знакомый пафос: с ёрническим сладострастием изображены нелепость, беспросветность русской жизни, монструозность персонажей, которые погрязли в лени, пьянстве, разврате, тупости и в безнадёжных поползновениях что-либо изменить в своем бытии.

Все эти “аттракционы” были бы, возможно, и забавны, и даже занимательны, если бы не возводились на руинах замечательных, классических

пьес. Превращая их героев в дегенератов, в скотоподобные существа, режиссёр манифестно выразил свою идейно-эстетическую и нравственную позицию, не имеющую ничего общего с национальными художественными традициями, которые так ревниво защищал Гоголь. Он призывал “изгнать вовсе карикатуру”, освободиться от “побрякушек” и помнить, что театр – “это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра, отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий... и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца”.

В спектакле “Маскарад” пьесу Лермонтова насилуют, кромсают, кастрируют с холодной жестокостью. Впрочем, об этом зрителей информируют с завидной предупредительностью. Купив “программу”, вы узнаете, что покажут действие “по драме “Маскарад” и по спектаклю Вс. Мейерхольда 1917 года”, кроме того, осуществлена “историко-документальная реконструкция фрагментов сценического текста 1917 г.”, её проделал завлит театра, профессор А. Чепуров, которому оказалось не стыдно записаться в соавторы Лермонтова. Вас предупреждают также, что “в спектакле использованы тексты” ещё одного соавтора – Владимира Антипова. Мало этого! Чтобы снять последние ваши недоумения, сообщают, что вы увидите не пьесу XIX века, а некие “воспоминания будущего”.

Тем самым театр надеется снять с себя ответственность за то, что на сцене лишь призрак, лишь тень Лермонтова и его великой драмы. Однако о чём же писал автор? В его произведении развернута драма вечных чувств – испепеляющей любви и неизбывной ревности, картина саморазрушающего эгоизма и безрассудной мести, гордых притязаний и страшного падения. Здесь и беспощадность пустого обличения развратного “света” – правящего слоя, разлагающейся аристократии, тех, о ком Лермонтов писал: “Вы, жадную толпой стоящие у трона, // Свободы, Гения и Славы палачи!”

Ничего похожего в нынешнем спектакле Александринского театра нет! Отодвинув драматурга, бесцеремонно распластав пьесу, постановщики воздвигли над нею, сокрушённой и искромсанной (ведь это всего лишь “предлог” для режиссёра!), свой “авторский” вариант.

Наклонный планшет сцены вдруг разверзается, и из его отверстий поднимаются прозрачные гробы-саркофаги. В них в странных позах застыли окоченевшие персонажи спектакля. Затем они, поддурмяненные и замысловато костюмированные, оживают и выходят из своих футляров. Между ожившими “покойниками” возникают отношения. Ассоциации с известным рассказом Ф. Достоевского “Бобок” весьма прозрачны. Там поднимающиеся из могил мертвецы начинают общаться между собой. Если учесть, что текст, качество слова театру не важны – преобладает бормотальная невнятица (очень похоже на “бобок, бобок”...), – то сходство возрастает.

Чёрные кулисы и задник сцены ещё более усиливают кладбищенские мотивы. Звуковым аккомпанементом служат загробные, со зловещим шипением завывания, издаваемые “хором масок”, расположенным в ближней к сцене ложе бельэтажа.

Потом начинает работать массовка: из глубины сцены медленно, с кошачьими ужимками движутся участники маскарада. Внезапные конвульсии приостанавливают это движение, потом оно возобновляется, перерастая в общее – под оглушительный грохот барабанов – вихревое смятение. В другом эпизоде карнавал масок перерастает в оргию, похожую на свальный грех с его плотскими страстями и непотребствами. И снова адский грохот и клубы дыма (или пара?).

В спектакле воспроизведена и прямая реинкарнация. Во втором акте на авансцену к установленному перед занавесом микрофону выходит человек, похожий на Арбенина. В полуодетом виде, со спущенными подтяжками, в рубаше, которая выбивается из штанов. Быстро выясняется, что это наш современник (едва ли не из зала), обычный обыватель. Он сообщает (весьма бесстрастно!) жуткие подробности того, как из ревности задушил свою жену (“Машку – суку”), а для надёжности ещё и пырнул её “ножом в сердце”. Потом рассказано о том, как убийца перетащил труп в ванну, где расчленил его (“это нетрудно было сделать – я повар...”). Вот оно, обещанное театром “воспоминание будущего”! Все тот же навязчивый фокинский мотив: “что было, то и будет”. Здесь уместно было бы развить это “будущее” и показать, как Лермонтов переворачивается в своём гробу...

В стык к этому эпизоду поднимается занавес, и нас возвращают в “прошлое”, где два ливрейных лакея одевают Арбенина во фрак.

В холодно-эстетском, вычурно-экзотическом пространстве сцены, среди персонажей-манекенов вопреки всему этому возникло и несколько психологически достоверных мгновений, лишённых кукольной манерности: диалоги Арбенина (П. Семак) и Нины (Е. Вожаккина). Я не сверял текста, но, видимо, в данной сцене он предстал без “реконструкции фрагментов сценического текста 1917 г.”. На короткое время рассеялась мертвечина “биомеханики”, преодолелись абстракции и сумасбродство режиссёрской инструментовки, и перед нами явились живые лица, участники тяжкой человеческой драмы. Но тут же стало очевидным, насколько индивидуальность артиста Семака (с его душевной открытостью) не соответствует характеру Арбенина, в котором Лермонтов раскрывает мрачные глубины его демонизма: “Прочь добродетель: я тебя не знаю!”

Эти краткие фрагменты, однако, быстро растворяются в калейдоскопе сценографических фокусов, в сумбурной игре формой, в том, что обращено, прежде всего, к глазу и уху человека. Если у Лермонтова маскарад является символом бессовестной лжи, обмана, клеветы и подлости, то постановка Фокина – “по драме...” и “по спектаклю Мейерхольда” – почти совсем отвлечена от этой всегда актуальной темы, подменяя её карнавальной пестротой красок и звуков, игровым отношением к миру, который не принимается всерьёз. И ничего не остаётся для ума и сердца человека, не трогает его нравственных чувств.

В финале “труп” Арбенина распластан на авансцене. И через него небрежно перешагивают артисты, выходящие к публике на поклон. “Что наша жизнь – игра!” Игра, в которой позволено всё...

Как мы убедились, Фокин является истинным мейерхольдовцем и продолжателем традиций своего наставника. Фундаментом этого направления является примат формы над содержанием, гипертрофия стилизации, крайне субъективистское понимание задач художника. Отношение к человеку, как к игрушке внешних сил, взгляд на актёра, как на марионетку, которая должна повиноваться своему кукловоду. В таком подходе проявляется мизантропическая суть режиссуры мейерхольдовского типа. На российской сцене это часто оборачивалось обнажённой русофобией.

Противостояние мейерхольдовщины (этот термин употреблял и сам мастер) русской театральной школе пролегает в сфере диалектики жизни и искусства. Лицедейство, штукарство, биологизация, напыщенная искусственность отвергались нашей национальной актёрской школой, для которой важнее всего был внутренний мир человека, его судьба в мире, психология характера. В своих достижениях русский театр шёл от жизни, а не от сцены. Постулаты реализма, идейности, национальной самобытности были для него основополагающими. И порой не воскликнем ли мы вслед за классиками русской мысли (противостоявшими модернизму): “Искусство это или большой бред? Художественное творчество или духовное разложение? Культура или гниение?” (И. А. Ильин).

Практикуемая в Александринском театре мейерхольдовская методология разрушительна для его репертуара и, прежде всего, для русской классики. Но не только. Она опасна и для труппы, для традиционно понятого актёрского искусства. Когда режиссёр превращает артистов в марионеток, регулярно втискивая их в жёсткий каркас искусственных схем с преобладанием претенциозного кочевряжества и пошлых дурачеств, это не проходит бесследно. Становясь участником режиссёрской дрессуры, утрачивая своё лицо, которое заменяют маской, артист может потерять соприкосновение с естественной, живой действительностью. Когда такая система культивируется годами, актёр неизбежно теряет индивидуальность и органические творческие навыки. Только крупные таланты с сильной волей способны выдержать этот напор. А скольких перемалывают жернова “аттракционов” и “биомеханики”?

В руках руководителя-штукайстера послушные ему исполнители неизбежно становятся штукарями. Называя модернистское искусство “душевно-большим и духовно-невменяемым”, великий мыслитель XX века И. А. Ильин предостерегал: “Сумасшествием заразительно: большой или вывихнутый душевный механизм передаётся от человека к человеку на путях незаметного воспроизведения и произвольного подражания”.

Искренне жаль труппу Александринского театра – напомним, старейшего в России! Нынешнее его искусство принадлежит дегенеративному направлению. Мертвечиной и разложением веет от его спектаклей. Разве не подавлен и зритель, ошарашенный скабрёзной буффонадой и русофобскими вывертами?!

Уместно напомнить характеристику искусства Мейерхольда, которую дал поэт Александр Блок (он любил театр и глубоко понимал его природу). Блоку были чужды отвлечённо-умозрительный характер экспериментов Мейерхольда, его холодное безразличие к человеку. О его творчестве поэт писал: “Узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает истоков истинной любви. Так как нет никакого центра”. Касаясь способностей режиссёра, Блок относил его к числу “прирождённых плагиаторов с убогим содержанием души, но с впечатлительностью, которая производит впечатление таланта”. Не повторим ли мы похожего приговора и по адресу нынешнего руководителя Александринского театра? Ведь и сам он столько раз заклинал нас: “Что было – то и будет”...

Неискущённого зрителя может обескуражить несметное количество наград, призов, премий, которыми отмечена деятельность Фокина. Например, “Ревизор” удостоен государственной премии “Золотая маска” и премии “Золотой софит”, “Женитьба” – лауреат “Золотой маски” в номинации “лучшая работа режиссёра”, “Маскарад” создавался “при финансовой поддержке Министерства культуры РФ”. В 2000 году Фокин удостоен Государственной премии РФ за “развитие наследия Мейерхольда и создание центра его имени”. В 2006 году режиссёр включён в Президиум Совета при президенте РФ по культуре и искусству. В 2008 году получил специальный приз жюри “За возрождение (!! – М. Л.) Александринского театра”. Думаю, что Фокин, подобно Хлестакову, мог бы воскликнуть: “Я везде, везде...”

Как видим, и в области театра мы живём в *королевстве кривых зеркал*...

Нынешний российский театр, вся его система опасно больны, поражены раковой опухолью русофобии и безнравственности (о безбожности я и не говорю!), а ещё воинствующего эстетского формализма. Русскоязычность спектаклей не должна нас обманывать – во многих из них пограны основы русской культуры и классических традиций национальной сцены.

Разрушители нашей культуры имеют в распоряжении глубоко эшелонированную и дисциплинированную “армию”. В ней есть свои сапёры, атакующие штурмовые отряды, пропагандистский аппарат и свои СМИ, свои агенты влияния и покровители едва ли не на всех уровнях властной вертикали. Поэтому вряд ли возможно быстрое возвращение нашего театра в лоно своих исконных художественных традиций. Однако надеюсь, что силы сопротивления авангардистской чуме не исчерпаны. Российское Косово – в пространстве сцены – не победило. Пока...

Русские классики представляли художественное творчество как служение ради истины, добра, справедливости, сострадания и красоты, как выражение своей воли перед лицом Божиим. Вот идеалы, которые почти утрачены многими современными театрами (и драматургами!) и которые мы призваны восстановить. Вернуть на сцену благородный идеализм русской культуры, возродить национальную школу реализма – первостепенные наши задачи.

.....

*Редакция с радостью и благоговением поздравляет
Марка Николаевича Любомудрова
со славным юбилеем — 85-летием!*

ПЛАТОН БЕСЕДИН

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЖИЗНИ

Путевые заметки о поездке в Хатынь

В конце уходящего года так или иначе подводишь итоги. И в декабре мне задавали вопрос: что стало главным впечатлением 2016 года? Понятно, что рождение дочери – это всегда на первом месте, но что ещё? Могу ответить – поездка в Хатынь, Беларусь. Место, святыню, где должен побывать каждый русский человек. Чтобы помнить. Чтобы чтить. Чтобы жить.

Хатынь для меня – второй Сталинград. А я был в Сталинграде в 2015 году. Помню, как стоял у подножия Мамаева кургана. Как купил у лысоватого мужчины десяток кроваво-красных гвоздик. Да, знаю, “кроваво-красные” – жуткий штамп, но в случае Сталинграда он более чем уместен. Здесь родились мои предки. Здесь воевал мой дед. Не просто воевал – выжил.

И когда я поднялся по ступеням, вышел на Площадь Героев, когда стоял на самой вершине, нечто высшее, непокорённое вошло в меня. Да, понимаю, эти строки могут выглядеть странными, но, написав их, я вновь испытываю то сильнейшее чувство. Оно сначала пронзает, а после наполняет всего меня. Отнимает старую жизнь и даёт новую. Оно есть перерождение.

Я стоял на Мамаевом кургане и не мог унять слёз, не мог собрать себя воедино, чувствуя то, что случилось там 72 года назад. В Хатыни это высшее, непокорённое вновь вернулось ко мне. Коснулось, пронзило.

Я добирался в Хатынь своим ходом. Сначала на рейсовом автобусе “Минск–Витебск”, а после – пешком. Шёл по извилистой асфальтированной дороге, и указатели отсчитывали мой путь: каждый километр – всего пять. Я шёл меж деревьев. Зелень, повсюду была зелень, она окутывала меня. Я растворился на этом пути в Хатынь.

Мимо проезжали редкие машины, едва ли не каждая притормаживала. Добрые люди предлагали меня подвезти. Я отказывался. Мне казалось, что этот путь я должен преодолеть сам, пешком. Меж деревьев. Мне вспомнилась песня Вакарчука: “Сльози, колишуться за вікном сосни, // навколо моя стіна...” Это было так сильно и так странно: мне, русскому человеку, стоять на белорусской земле и вспоминать украинскую песню.

Я остановился и взглянул на чащобу. Зашёл в неё. Там было так чисто, так светло. И в воздухе, и на земле. Ни одной бумажки, ни одного окурка, ни одного плевка – ничто не нарушало эту чистоту. В ней, с ней я и дошёл до Хатыни.

На парковочной площадке стояли автобусы – экскурсионные группы; в основном, школьники. Они выходили такие бойкие и шумные, а потом умолкали, растворялись в святой тишине. С ними были экскурсоводы, и я решил держаться их. Но почти сразу же отказался от этой идеи. Решил просто идти.

Но, ступив на землю мемориального комплекса, уже не мог пошевелиться. Шаги не давались мне. Я растворился в вязкости тишины. Перестал существовать в силе мгновения. Я вновь слышал голоса того, что произошло здесь. И сквозь них, хоть я того не желал, доносился голос экскурсовода, и каждые полминуты звонили колокола на обелисках. Под ними значились имена погибших. Самому младшему было семь недель.

Вы знаете, что произошло в Хатыни. Должны знать. А если знаете – прикоснитесь к этой земле, поклонитесь ей, возьмите с собой. Когда я был школьником, дед подарил мне землю из Сталинграда – с осколками и пулями. Она была в пластиковом куполе, а на куполе возвышалась Родина-мать. Её миниатюрную я впервые увидел ещё подростком, но во всю величину, всё её величие и монументальность – уже взрослым.

И я не из тех, кто жалеет, что где-то не был, но тогда, в сентябре 2015 года, я корил себя, что не приехал в Сталинград раньше. На Мамаевом кургане я решил ехать в Хатынь. Русское сердце ещё ярче разгорелось во мне. Чтобы летом 2016 года привезти к земле сталинградской землю Хатыни.

Наконец, я смог ступить по ней. Идти мимо символических колодцев. Ощущать боль, волю погибших.

Передо мной возвышался непокорённый человек – тот, кто выжил. Кузнец Иосиф Каминский держал на руках своего умирающего сына Адама. В час трагедий я вспоминаю эту скульптуру, а вместе с тем подвиг миллионов непокорённых людей.

А вокруг – такая природа! Божественная. Собственно, если верить древним, природа и есть одно из проявлений Бога. Он наблюдал за тем, как люди искупают страданиями чужие грехи. Не ради себя – ради всех нас. Чтобы мы не потеряли своих детей. Ни физически, ни ментально.

Беларусь чудовищно пострадала от нацистского беснования. Оно унесло каждого четвёртого жителя этой многострадальной земли. Об этом в Хатыни напоминают три берёзы, а место для четвёртой пустоует. Так может ли покориться Беларусь новой нацистской чуме?

Допускаю, что есть и те, кто не знает ничего о Хатыни. Или знает совсем немного. Допускаю, что есть русские люди, стремящиеся не в Хатынь, а в какую-нибудь Турцию или Египет. Ну что ж, это победа тех, кто сжигал людей Хатыни. Потому что, уничтожив память новых поколений, они продолжили своё чёрное дело – зло перешло из одной формы в иную и одержало верх в душах и сердцах, ни родства, ни святынь не помнящих.

Бесы сожгли людей Хатыни весной 1943 года. Эти же бесы сегодня выжидают нашу историческую память, культуру. И у многих из нас нет ни той воли, ни того мужества, которые были у людей Хатыни, дабы противостоять злу. Мы сосредоточились на мелких вещах. И даже большие события, большие трагедии всё меньше трогают нас. Мы очерствели, покрылись эгоистической слизью и готовы продать то, что давно уже и без нас продано.

Я возвращался к трассе той же извилистой дорогой. Остановилась машина. Я уже мог сесть в неё. В машине ехали парень и девушка. Они приехали в Беларусь из Стаханова. Мы были вместе совсем немного, перекинулись парой фраз. Мы только что видели Хатынь. И мы хорошо помнили о том, что случилось в стране, в которой мы когда-то жили: я – в Севастополе и Киеве, они – на Донбассе. У нас была связь – незримая, но нерушимая.

Потом в Беларуси у меня было ещё много встреч. Разной теплоты и глубины. Но Хатынь стала первой точкой притяжения в моём белорусском маршруте. Собственно, ради неё я и ехал.

Хотя официальная причина была иной – фестиваль словесности в древнейшем Полоцке. Здесь Франциск Скорина первым в Восточной Европе начал книгопечатание. Я говорил об этом, выступая на центральной городской площади, в музее того же Скорины и в библиотеке. Говорил и вспоминал Кирилл и Мефодия, принесших русское слово в русский мир из моего родного Севастополя, из Корсуни. Такова связь времён, линия смыслов.

Но один профессор – он вёл круглый стол в музее, – услышав словосочетание “русский мир”, возбудился, стал объясняться, кричать. Согласен, с русским миром сегодня, как, впрочем, и всегда, не так чтобы просто; и становится ещё сложнее от того, что к нему примазываются мерзавцы и дураки. Однако в истоке своём каждый русский человек знает, что это такое.

Ведь в основе — слово, честь, справедливость, память, совесть. И, конечно, в основе — подвиг (слово, которое вы в должной мере не переведёте ни на один язык мира). Подвиг, обогранный кровью Хатыни и Сталинграда, Севастополя и Одессы, Брестской крепости и Ленинграда. И в этом подвиге — слово Василя Быкова и Фёдора Достоевского, Николая Гоголя и Андрея Платонова. Это слово помогает нам петь там, где умирать должно, помогает выстоять там, где орды — со всех сторон.

Но седовласый вздорный профессор, до мысли о клонах похожий на персонажа из кинофильма “Назад в будущее”, делал вид, что не понимает. Хотя на самом деле прекрасно всё понимал. И говорил о белорусском пути в Европу. Но позвольте, сказал я, Полоцк и есть географический центр Европы; какой Европы вам ещё хочется? И в этом центре мы говорим на русском, на украинском, на белорусском языках. Говорим — и понимаем друг друга; люди из Минска и Севастополя, Киева и Парижа, Москвы и Витебска, Хельсинки и Дебальцево, Херсона и Праги, десятка других городов. Какого понимания вы ещё хотите, люди, объединённые словом и памятью?

Тогда я снова вспомнил Хатынь. Сказал о том, что видел, чувствовал, слышал. И люди на площади и в музее сразу всё поняли. Даже седовласый вздорный профессор.

Ещё был мужик. Он подобрал меня на трассе — стахановские ехали в Витебск, а мне надо было в Минск — и повёз в столицу. Он жаловался на жизнь. Я сказал: “Вы едете на хорошей “Ауди”, и у вас айфон”. “Разве это показатель?” — удивился он. “У вас есть нормальная работа”, — я слышал, о чём он говорил по телефону. Он заспорил вновь. Но я знал, как срезать его. “Тогда вам на Майдан, как в Киеве, чтобы жить лучше...” И он замолчал.

В Беларуси украинский пример — перед глазами. Белорусы всё понимают, как мир ни расшатывай. Они мудрые, наученные горем люди.

А ещё они очень занятые люди. Знаете, что меня поразило в Минске? Там постоянно что-то делается: то брусчатку кладут, то деревья сажают, то траву поливают. И город — как из конструктора: чистенький, правильный. Настоящий европейский город с русской душой.

По Минск меня возил Владимир. Я встретил его возле гостиницы “Спутник”. И снова убедился — свой всегда выбирает своих. Там было много такси, но я подошёл, спросил — и оказался с Владимиром. Он повёз меня в Троицкое предместье, в Лошицкий парк. Он сказал: “Меня все знают. Я единственный таксист в Беларуси на российской машине”. У него на “торпедо” было три флажка — российский, украинский и белорусский. А ещё — наклейка “ВеЛю-На”, что значит “Вера, Любовь, Надежда”.

Владимир прошёл Афган и говорил мне о той войне, о той жизни. А я рассказывал ему об Украине. И о Хатыни, и о Сталинграде. Сказал, что там воевал мой дед, и Владимир проникся ещё сильнее. Со слезами он просил передать деду низкий поклон. Говорил искренне, горячо. И мы понимали друг друга, и становились родными в Минске, пахнущем свежескошенной травой.

Потом я сел в поезд. Вечером — в Полоцке, а утром — в Москве. Без задержек и бюрократии. “Между нами нет границ”, — сказала мне кудрявая проводница, возможно, подразумевая и метафизическую сторону вопроса. И я подумал, что так и должно быть между братскими странами. Так бы нам зажить с Украиной.

Хотя, сев в поезд, отложив книгу, я думал о настроениях в Беларуси. Порой я встречал там то, что видел за два года до революции в Украине. Но потом я достал магнитик: на нём был кузнец, державший на руках сына. И я вспомнил Хатынь, всех её непокорённых людей — и меня пронзило, как разрядом.

Ведь пока есть такие места и такое отношение к ним — бес останется за воротами града. Сказано во всех религиях: зло приходит лишь к тем, кто разрешает ему прийти. Бес не властен над человеком без его воли. Человек способен изгнать его отовсюду словом и памятью. Какое счастье, что это есть в Беларуси! В братской нам Беларуси, у которой есть своё, у которой нельзя отнять своё — оно их, оно родное, и это правильно, — но и наше, исконно русское, едино русское, выбить, выкорчевать оттуда ни в коем разе нельзя. Никогда и ни за что! Так не будет. Пока есть Хатынь и наша память о ней.